

Александр Дюма Джузеппе Бальзамо. Том 2

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава 1. БРАТ И СЕСТРА

Итак, Жильбер все слышал и видел.

Андре полулежала в кресле, лицом к застекленной двери, другими словами, лицом к Жильберу. Дверь была приотворена.

На столике, заваленном книгами, – единственное развлечение хворавшей красавицы, – стояла небольшая лампа под абажуром, освещавшая лишь нижнюю часть лица мадмуазель де Таверне.

Время от времени она откидывала голову на подушку, и тогда свет заливал ее лоб, белизну которого еще больше подчеркивали кружева.

Филипп сидел к Жильберу спиной, примостившись на подножке кресла; рука его по-прежнему была на перевязи, и он не мог ею пошевелить.

Андре в первый раз поднялась после злополучного фейерверка, а Филипп впервые вышел из своей комнаты.

Молодые люди еще не виделись со времени той ужасной ночи; им только сообщали, что они чувствуют себя лучше.

Они встретились всего несколько минут назад и говорили свободно, так как были уверены в том, что они одни. Если бы кто-нибудь вздумал зайти в дом, они были бы предупреждены об этом звонком колокольчика, висевшего на двери, не запертой камеристкой.

Они не знали об этом последнем обстоятельстве и потому рассчитывали на колокольчик.

Как мы уже сказали, Жильбер все прекрасно видел и слышал: через приотворенную дверь он не упускал из разговора ни единого слова.

– Значит, тебе теперь легче дышится, сестричка? – спросил Филипп в ту самую минуту, как Жильбер устраивался за колыхавшейся от ветра занавеской на двери туалетной комнаты.

– Да, гораздо легче. Правда, грудь еще побаливает.

– Ну, а силы к тебе вернулись?

– До этого еще далеко; впрочем, сегодня я уже смогла подойти к окну. До чего хорош свежий воздух! А цветы! Миге кажется, пока человека окружают цветы и свежий воздух, он не может умереть.

– Но ты еще чувствуешь слабость?

– Да, ведь меня так сильно сдавили! Я пока передвигаюсь с трудом, – улыбаясь и покачивая головой, продолжала девушка, – и держусь за мебель и за стены. Ноги подкашиваются, мне кажется, я вот-вот упаду.

– Ничего, Андре, свежий воздух и цветы поднимут тебя на ноги. Через неделю ты сможешь отправиться с визитом к ее высочеству, – мне говорили, что она часто спрашивается о твоём здоровье – Надеюсь, Филипп; ее высочество в самом деле очень добра ко мне.

Андре откинулась в кресле, положив руку на грудь, и прикрыла глаза.

Жильбер сделал было шаг вперед, протянув к ней руки.

– Что, больно, сестренка? – взяв ее за руку, спросил Филипп.

– Да, какая-то тяжесть в груди..., иногда кровь начинает стучать в висках, а то еще свет меркнет в глазах, и сердце словно останавливается.

– Это неудивительно, – задумчиво проговорил Филипп, – ты пережила такой ужас! Ты просто чудом уцелела.

– Именно чудом, ты это хорошо сказал, дорогой брат.

– Кстати, о твоём чудесном спасении, – продолжал Филипп, придвигаясь к сестре и словно подчеркивая этим важность своего вопроса, – ты ведь знаешь, что я еще не успел поговорить с тобой о случившемся несчастье?

Андре покраснела. Казалось, она испытывает некоторую неловкость.

Филипп не заметил или сделал вид, что не замечает ее смущения.

- Я думала, что когда я вернулась, ты мог узнать все подробности. Отец мне сказал, что рассказ его вполне удовлетворил.
- Разумеется, дорогая Андре. Этот господин был чрезвычайно деликатен – так мне, по крайней мере, показалось. Однако некоторые подробности его рассказа показались мне не то чтобы подозрительными, а... как бы это выразиться... неясными!
- Что ты хочешь этим сказать, брат? – простодушно спросила Андре.
- То, что сказал.
- Скажи, пожалуйста, яснее.
- Есть одно обстоятельство, – продолжал Филипп, – на которое я сперва не обратил внимания, а теперь оно представляется мне весьма странным.
- Что это за обстоятельство? – спросила Андре.
- Я не совсем понял, как ты была спасена. Расскажи мне, Андре.
- Казалось, девушка сделала над собой усилие.
- Ох, Филипп, я почти ничего не помню, ведь мне было так страшно!
- Ничего, дорогая, расскажи, что помнишь.
- О Господи! Ты же знаешь, брат, что мы потеряли друг друга шагах в двадцати от Гардмбель. Я видела, как толпа потащила тебя к Тюильри, а меня к Королевской улице. Еще мгновение – и ты исчез из виду. Я пыталась к тебе пробиться, протягивала к тебе руки, кричала: «Филипп! Филипп!», как вдруг меня словно подхватил ураган и понес к решеткам. Я чувствовала, что людской поток, в котором я оказалась, несет на стену, что он вот-вот об нее разобьется. До меня доносились крики тех, кого прижали к решеткам. Я поняла, что сейчас наступит моя очередь, и я тоже буду раздавлена, растоптана. Я считала оставшиеся секунды. Я была полумертва, я почти потеряла рассудок, и вдруг, подняв руки и глаза к небу, увидела человека со сверкавшими глазами, словно возвышавшегося над толпой, и люди ему повиновались.
- И человек этот был барон Джузеппе Бальзамо, не так ли?
- Да, тот самый, которого я видела в Таверне; тот, который еще там поразил меня, тот, который будто заключает в себе нечто сверхъестественное. Этот человек подчинил себе мой взгляд, заморозил меня своим голосом, заставил трепетать все мое существо, едва коснувшись пальцем моего плеча.
- Продолжай, Андре, продолжай, – мрачно проговорил Филипп.
- Мне показалось, что человек этот парит над толпой, словно человеческие несчастья не могут его коснуться. Я прочла в его глазах желание спасти, я поняла, что он может это сделать. В эту минуту со мной произошло нечто необъяснимое. Несмотря на то, что я вся была разбитая, обессиленная, почти мертвая, я почувствовала, как неведомая, неодолимая сила поднимает меня навстречу этому человеку. Мне казалось, будто чьи-то руки напряглись, выталкивая меня прочь из людского месива, откуда неслись предсмертные стоны, эти руки возвращали мне воздух, жизнь. Понимаешь, Филипп, – продолжала Андре в сильном возбуждении. – я уверена, что меня притягивал взгляд этого человека. Я добралась до его руки и была спасена – Увы, она видела его, – прошептал Жильбер, – а меня, умиравшего у ее ног, даже не заметила. Он вытер со лба пот.
- Значит, все произошло именно так? – спросил Филипп.
- Да, до той самой минуты, как я почувствовала себя вне опасности, все так и происходило. То ли вся моя жизнь сосредоточилась в этом моем последнем усилии, то ли испытываемый мною в ту минуту ужас оказался выше моих сил, но я потеряла сознание.
- В котором часу ты потеряла сознание, как ты думаешь?
- Минут через десять после того, как потеряла тебя из виду.
- Значит, было около двенадцати часов ночи, – продолжал Филипп. – Как же в таком случае вышло, что ты вернулась домой в три часа? Прости мне этот допрос, дорогая Андре, он может показаться нелепым, но для меня он имеет большое значение.
- Спасибо, Филипп, – сказала Андре, пожимая брату руку – спасибо! Еще три дня назад я не смогла бы ответить, но сегодня, – это может показаться странным, – я отчетливее вижу все внутренним взором; у меня такое ощущение, будто чья-то чужая воля повелевает мне вспомнить, и я припоминаю.

– Дорогая Андре! Я сгораю от нетерпения. Этот человек поднял тебя на руки?

– На руки? – покраснев, пролепетала Андре. – Не помню... Помню только, что он вытащил меня из толпы. Однако прикосновение его руки подействовало на меня так же, как в Таверне. Едва он до меня дотронулся, как я вновь упала без чувств, вернее, словно уснула, потому что обмороку предшествуют болезненные ощущения, а я в тот раз просто заснула благодатным сном.

– По правде говоря, Андре, все, что ты говоришь, представляется мне до такой степени странным, что если бы не ты, а кто-нибудь другой мне это рассказал, я бы ему не поверил. Ну хорошо, договаривай, – закончил он невольно дрогнувшим голосом.

В это время Жильбер жадно ловил каждое слово Андре, он-то знал, что пока все до единого слова было правдой.

– Я пришла в себя, – продолжала девушка, – и увидела, что нахожусь в изысканной гостиной. Камеристка вместе с хозяйкой сидели рядом со мной и, казалось, ничуть не были встревожены, потому что, едва раскрыв глаза, я увидела, что меня окружают улыбающиеся лица.

– Ты не помнишь, в котором это было часу?

– Часы пробили половину первого.

– Ага! Прекрасно! – с облегчением проговорил молодой человек. – Что же было дальше, Андре?

– Я поблагодарила женщин за хлопоты. Зная, что ты беспокоишься, я попросила немедленно отправить меня домой. Они отвечали, что барон опять пошел на место катастрофы за ранеными; он должен был скоро вернуться вместе с каретой и отвезти меня к тебе. Было около двух часов, когда я услышала шум подъезжавшей кареты; меня охватила дрожь, какую я уже испытывала при приближении этого человека. Я упала без чувств на софу. Дверь распахнулась, и, несмотря на обморок, я почувствовала, что пришел мой спаситель. Я опять потеряла сознание. Должно быть, меня снесли вниз, уложили в фиакр и привезли домой. Вот все, что я помню.

Филипп высчитал время и понял, что сестру привезли с улицы Экюри-дю-Лувр прямо на улицу Кок-Эрон, так же как раньше она была доставлена с площади Людовика XV на улицу Экюри-дю-Лувр. С нежностью взяв ее за руку, он радостно произнес:

– Благодарю тебя, сестричка, благодарю! Все расчеты совпадают с моими. Я пойду к маркизе де Савиньи и поблагодарю ее. Позволь задать тебе один второстепенный вопрос.

– Пожалуйста.

– Постарайся вспомнить, не видела ли ты в толпе знакомое лицо?

– Я? Нет.

– Жильбера?

– Да, в самом деле, – проговорила Андре, напрягая память. – Да, в тот момент, когда нас с тобой разъединили, он был от меня в нескольких шагах.

– Она меня видела, – прошептал Жильбер.

– Дело в том, Андре, что когда я искал тебя, я нашел бедного парня.

– Среди мертвых? – спросила Андре с оттенком любопытства, которое существа высшего порядка проявляют к низшим.

– Нет, он был только ранен; его спасли, и я надеюсь, что он поправится.

– Прекрасно, – заметила Андре. – А что с ним было?

– У него была раздавлена грудь.

– Да, да, об твою, Андре, – прошептал Жильбер.

– Однако во всем этом есть нечто странное, вот почему я говорю об этом мальчишке. Я нашел в его напрягшейся от боли руке клочок твоего платья.

– Это действительно странно.

– Ты его не видела в последнюю минуту?

– В последнюю минуту, Филипп, я видела столько страшных лиц, искаженных ужасом и страданием, столько эгоизма, любви, жалости, алчности, цинизма, что мне кажется, будто я целый год прожила в аду; среди всех этих лиц, промелькнувших перед моими глазами, я, вполне возможно, видела и Жильбера, но совсем этого не помню.

– Откуда же в его руке взялся клочок от твоего платья? Ведь он – от твоего платья, дорогая

Андре, я выяснил это у Николь...

– И ты ей сказал, откуда у тебя этот клочок? – спросила Андре: ей вспомнилось объяснение с камеристкой по поводу Жильбера в Таверне.

– Да нет! Итак, этот клочок был у него в руке. Как ты это можешь объяснить?

– Боже мой, нет ничего проще, – спокойно проговорила Андре в то время, как у Жильбера сильно билось сердце. – Если он был рядом со мной в ту самую минуту, как меня стала приподнимать, если можно так выразиться, сила взгляда того господина, мальчик, вероятно, уцепился за меня, чтобы вместе со мной воспользоваться помощью подобно тому, как утопающий хватается за пловца.

– Как низко истолкована моя преданность! – презрительно прошептал Жильбер в ответ на высказанное девушкой соображение. – Как дурно думают о нас, простых людях, эти благородные! Господин Руссо прав: мы лучше их, наше сердце благороднее, а рука – крепче.

Только он хотел прислушаться к разговору Андре с братом, как вдруг услышал позади себя шаги.

– Господи! В передней кто-то есть! – прошептал он. Он услышал, что кто-то идет по коридору, и ринулся в туалетную комнату, задержав за собой портьеру.

– А что, дурочка-Николь здесь? – заговорил барон де Таверне; задев Жильбера фалдами сюртука, он вошел в комнату дочери.

– Она, наверное, в саду, – отвечала Андре со спокойствием, свидетельствовавшим о том, что она не подозревала о присутствии постороннего. – Добрый вечер, отец!

Филипп почтительно поднялся, барон махнул ему рукой в знак того, что тот может оставаться на прежнем месте, и, подвинув кресло, сел рядом с детьми.

– Ах, детки, от улицы Кок-Эрон далеко до Версаля, особенно если ехать туда не в прекрасной дворцовой карете, а в таратайке, запряженной одной-единственной лошастью! Однако я в конце концов увиделся с ее высочеством.

– Так вы приехали из Версаля, отец?

– Да, принцесса любезно пригласила меня к себе, как только узнала, что произошло с моей дочерью.

– Андре чувствует себя гораздо лучше, отец, – заметил Филипп.

– Мне это известно, и я об этом сообщил ее высочеству. Принцесса обещала мне, что, как только твоя сестра окончательно поправится, ее высочество призовет ее к себе в малый Трианон; она выбрала его своей резиденцией и теперь устраивает там все по своему усмотрению.

– Я буду жить при дворе? – робко спросила Андре.

– Это нельзя назвать двором, дочь моя: ее высочество не любит светскую жизнь; дофин тоже терпеть не может блеск и шум. В Трианоне вас ожидает жизнь в тесном семейном кругу. Правда, судя по тому, что мне известно о характере ее высочества, маленькие семейные советы похожи на заседания Парламента или Генеральных штатов. У принцессы твердый характер, а дофин – выдающийся мыслитель, как я слышал.

– Это будет все тот же двор, сестра, – грустно заметил Филипп.

«Двор! – повторил про себя Жильбер, закипая от бессильной злобы. – Двор – это недостижимая для меня вершина, это бездна, в которую я не могу пасть! Не будет больше Андре! Она для меня потеряна, потеряна!»

– У нас нет состояния, чтобы жить при дворе, – обратилась Андре к отцу, – и мы не получили должного воспитания. Что я, бедная девушка, стала бы делать среди всех этих блистательных дам? Я видела их только однажды и была ослеплена их великолепием. Правда, мне показалось, что они глуповаты, но до чего хороши собой! Увы, брат, мы слишком темные, чтобы жить среди всего этого блеска!..

Барон насупился.

– Опять эти глупости! – воскликнул он. – Не понимаю, что у моих детей за привычка: приносить все, что исходит от меня или меня касается! Темные! Да вы просто с ума сошли, мадмуазель! Как это урожденная Таверне-Мезон-Руж может быть темной? Кто же тогда будет блистать, если не вы, скажите на милость? Состояние... Ах, черт побери, да знаю я, что такое – состояние

при дворе! Оно истаивает в лучах короны и под теми же лучами вновь расцветает – в этом состоит великий круговорот жизни. Я разорился, ну что же – я снова стану богатым, только и всего. Разве у короля нет больше денег, чтобы раздавать их своим верным слугам? Или вы думаете, что я покраснею, если моему сыну дадут полк или когда вам предложат приданое, Андре? Ну, а если мне вернут удел, или я найду контракт на ренту под салфеткой за ужином в тесном кругу? Нет, нет, только у глупцов могут быть предубеждения. А у меня их нет... Кстати, это принадлежит мне, я просто возвращаю свое добро: пусть совесть вас не мучает. Остается обсудить последний вопрос: ваше воспитание, о чем вы только что говорили. Запомните, мадмуазель: ни одна девица при дворе не воспитывалась так, как вы. Более того, помимо воспитания, получаемого знатными девушками, вы знакомы с жизнью простого сословия и людей, принадлежащих к финансовому миру. Вы прекрасно музицируете. Вы рисуете пейзажи с барашками и коровками, которые одобрил бы сам Бергхейм. Так вот, ее высочество без ума от барашков, от коровок и от Бергхейма. Вы хороши собой, и король не преминет это заметить. Вы – прекрасная собеседница, а это важно для графа д'Артуа или его высочества де Прованса. Итак, к вам не только будут относиться благосклонно..., вас будут обожать. Да, да, – проговорил барон, потирая руки и так странно засмеявшись, что Филипп взглянул на отца, не веря, что так может смеяться человек. – Да, именно так: вас будут обожать! Андре опустила глаза, Филипп взял ее за руку.

– Господин барон прав, – произнес он, – в тебе есть все, о чем он сказал, Андре. Ты более, чем кто бы то ни было, достойна Версаля.

– Но ведь я буду с вами разлучена!.. – возразила Андре.

– Ни в коем случае! – поспешил ответить барон – Версаль – большой, дорогая.

– Да, зато Трианон – маленький, – продолжала упорствовать Андре; она была несговорчивой, когда ей пытались перечить.

– Как бы там ни было, в Трианоне всегда найдется комната для барона де Таверне; для такого человека, как я, найдется место, – прибавил он скромно, что означало:

«Такой человек, как я, сумеет найти себе место».

Андре не была уверена в том, что отцу в самом деле удастся устроиться поблизости от нее. Она обернулась к Филиппу.

– Сестренка, – заговорил тот, – ты не будешь состоять при дворе в полном смысле этого слова. Вместо того, чтобы поместить тебя в монастырь, заплатив вступительный взнос, ее высочество пожелала выделить тебя и теперь станет держать при себе, пользуясь твоими услугами. В наши дни этикет не так строг, как во времена Людовика Четырнадцатого. Обязанности распределяются иначе, а зачастую и смешаны. Ты можешь быть при ее высочестве чтицей или компаньонкой; она сможет рисовать вместе с тобой, она будет держать тебя всегда при себе. Возможно, мы не будем видаться, это вполне вероятно. Ты будешь пользоваться ее благосклонностью и потому многим будешь внушать зависть. Вот чего тебе следует опасаться, ведь правда?

– Да, Филипп.

– Ну и прекрасно! – воскликнул барон. – Однако не стоит огорчаться из-за такой ерунды, как один-два завистника... Поскорее поправляйся, Андре, и я буду иметь честь сопровождать тебя в Трианон. Таково приказание ее высочества.

– Хорошо, отец.

– Кстати, – продолжал барон, – ты при деньгах, Филипп?

– Если они вам нужны, – отвечал молодой человек, – то у меня их не так много, чтобы предложить вам. Если же вы намерены предложить денег мне, то, напротив, я мог бы вам ответить, что у меня их пока достаточно.

– Да ты и вправду философ, – насмешливо заметил барон. – Ну, а ты, Андре, – тоже философ? Ты тоже ни о чем не просишь, или тебе все-таки что-нибудь нужно?

– Мне не хотелось бы вас беспокоить, отец...

– Да ведь мы не в Таверне. Король вручил мне пятьсот луидоров, в счет будущих расходов, как сказал его величество. Подумай о туалетах, Андре.

– Благодарю вас, отец, – обрадовалась девушка.

– Ах, ах, что за крайности! – воскликнул барон. – Только что ей ничего было не нужно, а

сейчас она разорила бы самого китайского императора! Ничего, Андре, проси. Красивые платья тебе к лицу.

Нежно поцеловав дочь, барон отворил дверь в свою комнату.

– Ах, эта чертовка Николь! – проворчал он. – Опять ее нет! Кто мне посветит?

– Хотите, я позвоню, отец?

– Нет, у меня есть Ла Бри; уснул, наверное, в кресле. Спокойной ночи, детки! Филипп тоже поднялся.

– Ты тоже иди, брат, – сказала Андре, – я очень устала. Я впервые после несчастья так много говорю. Спокойной ночи, дорогой Филипп.

Она протянула молодому человеку руку, он по-братски приложился к ней, вложив в поцелуй нечто вроде уважения, всегда испытываемого им к сестре, и вышел в коридор, задев портьеру, за которой прятался Жильбер.

– Не позвать ли Николь? – крикнул он на прощанье.

– Нет, нет, – отвечала Андре, – я разденусь сама, покойной ночи, Филипп!

Глава 2. ТО, ЧТО ПРЕДВИДЕЛ ЖИЛЬБЕР

Оставшись в одиночестве, Андре поднялась с кресла, и Жильбера охватила дрожь.

Андре стоя вынимала из волос белыми, словно вылепленными из гипса, руками одну за другой шпильки, а легкий батистовый пеньюар струился по плечам, открывая ее нежную, грациозно изогнувшуюся шею, трепетавшую грудь, небрежно поднятые над головой руки подчеркивали изгибы талии.

Стоя на коленях, Жильбер задыхался, он был опьянен зрелищем, он чувствовал, как яростно колотится у него в груди сердце и стучит в висках кровь. В жилах его пылал огонь, глаза заволокло кровавым туманом, в ушах стоял гул, он испытывал сильнейшее возбуждение. Он был близок к тому, чтобы потерять голову, безумие толкало его на отчаянный шаг. Он готов был броситься в комнату Андре с криком:

– Да, ты хороша, ах, как ты хороша! Но перестань кичиться своей красотой, ведь ты ею обязана мне, потому что я спас тебе жизнь!

Поясок у Андре никак не развязывался. Она в сердцах топнула ногой, опустилась на постель, будто небольшое препятствие ее обессилило, и, наполовину раздетая, потянулась к шнуру звонка и нетерпеливо дернула.

Звонок привел Жильбера в чувство. Николь оставила дверь незапертой, чтобы услышать звонок. Сейчас Николь вернется.

Прощай, мечта, прощай, счастье! Останется лишь воспоминание. Ты вечно будешь жить в моем воображении, ты навсегда останешься в моем сердце.

Жильбер хотел было выскочить из павильона, но барон, входя к дочери, притворил двери в коридор.

Не подозревавшему об этом Жильберу пришлось потратить некоторое время на то, чтобы их отворить.

В ту минуту, как он входил в комнату Николь, камеристка приближалась к дому. Он услышал, как скрипели по песку ее шаги. Он едва успел отступить в темный угол, пропуская девушку. Заперев дверь, она прошла через переднюю и легкой пташкой порхнула в коридор.

Жильбер попытался выйти.

Но когда Николь вбежала в дом с криком: «Я здесь, я здесь, мадмуазель! Я запираю дверь!» – она в самом деле заперла ее на два оборота и впопыхах сунула ключ в карман.

Жильбер сделал безуспешную попытку отворить дверь. Он бросился к окнам. Окна были зарешечены. Внимательно все осмотрев, Жильбер понял, что не может выйти.

Молодой человек забился в угол, твердо решив, что заставит Николь отпереть дверь.

А Николь придумала для своего отсутствия благовидный предлог. Она сказала, что ходила закрывать рамы оранжереи, опасаясь, как бы ночной воздух не повредил цветам. Она помогла Андре раздеться и уложила ее в постель.

Голос Николь подрагивал, движения рук были порывисты, она была необыкновенно услужлива. Все это свидетельствовало о ее волнении. Впрочем, Андре витала в облаках и редко взглядывала на землю, а если и удостоивала ее взгляда, то простые смертные проплывали мимо нее, словно неживые.

Итак, она ничего не замечала.

Жильбер горел нетерпением с тех пор, как ему было отрезано отступление. Теперь он стремился только к свободе.

Андре отпустила Николь, обменявшись с ней всего несколькими словами; Николь разговаривала с нежностью, на какую только была способна, подобно субретке, мучимой угрызениями совести.

Она подоткнула хозяйке одеяло, поправила абажур у лампы, размешала сахар в серебряном кубке с остывшим питьем на белоснежной салфетке, нежнейшим голоском пожелала хозяйке приятного сна и на цыпочках вышла из комнаты.

Выходя, она прикрыла за собой застекленную дверь.

Напевая, чтобы все поверили в ее спокойствие, она прошла к себе в комнату и направилась к двери в сад.

Жильбер понял намерение Николь и подумал было, не стоило ли, вместо того, чтобы показываться ей на глаза, прошмыгнуть неожиданно, воспользовавшись моментом, пока дверь будет приотворена, и удрать. Но тогда его увидят, хотя и не узнают. Его примут за вора, Николь станет звать на помощь, он не успеет добежать до своей веревки, а если и успеет, его заметят в воздухе. Разразится скандал, и большой, раз Таверне так дурно могут думать о бедном Жильбере.

Правда, он выдаст Николь, и ее прогонят. Впрочем, зачем? В таком случае Жильбер причинил бы зло без всякой для себя пользы, из чувства мести. Жильбер был не настолько малодушен, чтобы испытывать удовлетворение от мести. Месть без выгоды выглядела, по его мнению, дурно: это была глупость.

Когда Николь поравнялась с входной дверью, где ее поджидал Жильбер, он внезапно шагнул из темного угла ей навстречу, и падавший через окно свет луны осветил его фигуру.

Николь чуть было не вскрикнула, но она приняла Жильбера за другого и, справившись с волнением, проговорила:

– А-а, это вы... Как вы неосторожны!

– Да, это я, – едва слышно отвечал Жильбер. – Только не поднимайте шума.

На сей раз Николь узнала собеседника.

– Жильбер! – воскликнула она. – Боже мой!

– Я вас просил не кричать, – холодно вымолвил молодой человек.

– Что вы здесь делаете, сударь? – грубо спросила его Николь.

– Вы неосторожно называли меня по имени, а сейчас поступаете еще более неосторожно, причем для себя самой, – проговорил Жильбер с прежним спокойствием.

– Да, я и в самом деле могла бы не спрашивать, что вы здесь делаете.

– Что же я, по-вашему, здесь делаю?

– Вы пришли поглазеть на мадмуазель Андре.

– На мадмуазель Андре? – не теряя присутствия духа, переспросил Жильбер.

– Вы в нее влюблены, да она-то, к счастью, вас не любит.

– Неужели?

– Ох, берегитесь, господин Жильбер! – с угрозой в голосе продолжала Николь.

– Я должен беречься?

– Да.

– Что же мне угрожает?

– Берегитесь, как бы я вас не выдала.

– Ты, Николь?

– Да, я! И вас выгонят отсюда в шею.

– Только попробуй! – с улыбкой возразил Жильбер.

– Ты мне угрожаешь?

– Угрожаю.

– Что же будет, если я скажу мадмуазель, господину Филиппу и господину барону, что встретила вас здесь?

– А будет то, как ты говоришь, что выгонят не меня – меня и так, слава Богу уже выгнали! – на меня будут делать облаву, как на дикого зверя. А вот кого отсюда выгонят, так это Николь.

– То есть, как – Николь?

– Ну, разумеется – Николь, ту самую Николь, которой бросают камешки через стену.

– Берегитесь, господин Жильбер, – угрожающе проговорила Николь, – на площади Людовика Пятнадцатого у вас в руках нашли клочок от платья мадмуазель.

– Вы в этом уверены?

– Господин Филипп говорил об этом со своим отцом. Он еще ни о чем не подозревает, но если ему помочь, он, может быть, кое о чем догадается.

– Кто же ему поможет?

– Я, конечно.

– Будьте осторожны, Николь, ведь барон может также узнать, что под видом того, что вы развешиваете кружева, на самом деле вы подбираете камешки, которые вам бросают через стену.

– Неправда! – вскрикнула Николь.

Потом она передумала и решила не запирается.

– А что особенного в том, что я получаю записки? Это не так страшно, как пробраться сюда в то время, как мадмуазель раздевается... Что вы на это скажете, господин Жильбер?

– Скажу, мадмуазель Николь, что нехорошо такой благоразумной девушке, как вы, просовывать ключи под садовые калитки.

Николь всю передернуло.

– Скажу, – продолжал Жильбер, – что, будучи хорошо знакомым и барону де Таверне, и господину Филиппу, и мадмуазель Андре, я совершил ошибку, пробравшись к ней, потому что очень беспокоился о здоровье бывших хозяев, особенно о мадмуазель Андре, которую я пытался спасти на площади, старался так, что у меня в руке остался, как вы сами подтвердили, клочок ее платья. Скажу, что если я совершил эту вполне простительную ошибку, пробравшись сюда, то вы поступили непростительно, введя постороннего в дом своих хозяев и бегая на свидания с этим посторонним в оранжерею, где провели с ним около часу.

– Жильбер! Жильбер!

– Вот что такое добродетель – добродетель мадмуазель Николь, я хотел сказать. Ах, вам не нравится, что я оказался в вашей комнате, мадмуазель Николь? А вы в это время...

– Господин Жильбер!

– Так скажите теперь своей хозяйке, что я в нее влюблен, а я скажу, что пришел не к ней, а к вам, и она мне поверит, потому что вы имели глупость сказать ей об этом сами еще в Таверне.

– Жильбер, дружок!..

– И вас прогонят, Николь. Вместо того, чтобы отправиться вместе со своей хозяйкой в Трианон ко двору ее высочества, вместо того, чтобы кокетничать с богатыми и знатными сеньорами, что вы непременно стали бы делать, останься вы в доме, – вместо этого вам придется убратсья вместе со своим любовником, господином де Босиром, гвардейцем, солдафоном. Ах, какое падение! Далеко же вас завело ваше честолюбие, мадмуазель Николь! Николь – любовница французского гвардейца!

Жильбер расхохотался и пропел:

Я в гвардии французской Любовника нашла!

– Сжальтесь, господин Жильбер, – пролепетала Николь, – не смотрите на меня так! Какие у вас недобрые глаза, они так и горят в темноте! Пожалуйста, перестаньте смеяться, я боюсь вашего смеха.

– Тогда отойдите от двери, Николь, – приказал Жильбер, – и ни слова больше!

Николь отворила дверь. Ее охватила сильная нервная дрожь: плечи ее ходили ходуном, а голова тряслась, будто у старухи.

Жильбер был совершенно спокоен; он вышел первым и, видя, что девушка идет за ним сле-

дом, обратился к ней:

– Нет! Вы знаете способ провести сюда людей, а у меня – свой способ отсюда выйти. Ступайте в оранжерею к достолюбезному господину де Босиру – он, должно быть, заждался. Оставляйтесь там на десять минут дольше, чем рассчитывали. Я вам дарю их в обмен на ваше молчание.

– Десять минут? Почему десять? – спросила затрепетавшая Николь.

– Да потому, что за это время я успею исчезнуть. Ступайте, мадмуазель Николь, и, подобно жене -Лота, историю которой я вам рассказывал в Таверне в те времена, когда вы назначали мне свидания в стогу сена, не оборачивайтесь. Иначе с вами случится нечто худшее, чем если бы вы обратились в соляной столб. Ступайте, сладострастница, ступайте. Больше мне нечего прибавить.

Покорная, напуганная, подавленная самоуверенностью Жильбера, от которого теперь зависело все ее будущее, Николь с опущенной головой подошла к оранжерее, где ее дожидался встревоженный гвардеец Босир.

А Жильбер с прежними предосторожностями подошел к стене; оставаясь незамеченным, он взялся за веревку и, отталкиваясь от увитой диким виноградом решетчатой загородки, добрался до желоба второго этажа, а потом ловко вскарабкался на мансарду.

Судьба пожелала, чтобы он никого не встретил на своем пути: соседки уже легли, а Тереза была еще за столом.

Жильбер был так возбужден одержанной над Николь победой, что ни разу не оступился, передвигаясь по желобу. В эту минуту он готов был пройти по лезвию бритвы длиной в целую милю.

Ведь целью его пути была Андре.

Итак, он добрался до чердака, запер окно и разорвал записку, к которой так никто и не приоткрылся.

Он с удовольствием растянулся на кровати. Спустя полчаса послышался голос Терезы: она спрашивала через дверь, как он себя чувствует.

Жильбер поблагодарил ее, позевывая и тем самым давая понять, что его клонит ко сну. Он страстно желал вновь остаться в одиночестве, в темноте и тишине; ему хотелось помечтать вволю, насладиться воспоминаниями; он всем своим существом словно заново переживал события этого незабываемого дня.

Однако вскоре на глаза его опустилась пелена, и исчезли все: и барон, и Филипп, и Николь, и Босир; перед глазами у него осталась лишь Андре – полуобнаженная, с приподнятыми над головой руками, вытаскивавшая шпильки из своих прекрасных волос.

Глава 3. БОТАНИКИ

События, о которых мы только что рассказали, произошли в пятницу вечером; через два дня в лесу Люсьенн должна была состояться прогулка, к которой, как к празднику, готовился Руссо.

Жильбер ко всему был равнодушен с тех пор, как узнал о предстоящем отъезде Андре в Трианон. Он целый день не отходил от окошка. Окно Андре оставалось открытым, раза два девушка подходила к нему, еще слабая и бледная, подышать воздухом. Когда Жильбер видел ее, ему казалось, что он ничего не просил бы у Бога, знай он, что Андре суждено жить в этом павильоне вечно, а у него была бы только эта мансарда, откуда он мог бы дважды в день, как теперь, мельком видеть девушку.

Наконец настало желанное воскресенье. Руссо приготовился к нему еще накануне: его туфли сверкали; серый сюртук, теплый и в то же время легкий, был извлечен из шкафа к большому огорчению Терезы, полагавшей, что для подобного занятия было бы вполне довольно полотняной блузы. Ничего ей не отвечая, Руссо делал так, как считал нужным. Он тщательно осмотрел не только свою одежду, но и костюм Жильбера, прибавив к нему целые чулки и подарив молодому человеку новые туфли.

Гербарий также был приведен в порядок. Руссо не забыл о том, что особое внимание заслуживала его коллекция мхов.

Руссо, словно ребенок, не мог усидеть на месте от нетерпения: он раз двадцать подбегал к

окну посмотреть, не едет ли карета де Жюсье. Наконец он увидел лакированный экипаж, запряженный лошадьми в богатой сбруе; огромный напوماженный кучер остановился перед дверью. Руссо бросился к Терезе:

– Вот и он! Вот и он!

Потом он обратился к Жильберу:

– Скорее, Жильбер, скорее! Нас ждет карета.

– Раз вы так любите разъезжать в карете, – ядовито заметила Тереза, – отчего же вы не забываете на нее, как господин де Вольтер?

– Ну, ну! – проворчал Руссо.

– Конечно! Вы любите повторять, что так же талантливы, как и он.

– Я этого никогда не говорил, слышите? – крикнул Руссо, разозлившись на жену. – Я говорю, что... Ничего я не говорю!

Радость его в ту же минуту исчезла, как бывало всякий раз, когда он слышал имя своего врага.

К счастью, в эту минуту вошел де Жюсье.

Он был напوماжен, напудрен, свеж, словно сама весна. На нем был восхитительный костюм толстого индийского атласа в рубчик цвета льна, куртка из светло-лиловой тафты, белоснежные шелковые чулки, а золотые сверкавшие пряжки довершали его нелепый наряд.

Когда он вошел к Руссо, комната наполнилась таким благоуханием, что Тереза вдыхала воздух, не скрывая восхищения.

– До чего вы нарядны! – проговорил Руссо, предостерегающе взглянув на Терезу и сравнивая свой скромный туалет с элегантным костюмом ботаника де Жюсье и его огромным экипажем.

– Да нет, просто я боюсь жары, – отвечал разряженный ботаник.

– А как же роса в лесу? И что будет с вашими чулками, если мы будем собирать травы в болоте?..

– Ну что вы, зачем? Мы выберем другое место.

– А как же болотные мхи? Мы, стало быть, не сможем ими сегодня заняться?

– Не будем об этом думать, дорогой брат.

– Можно подумать, что вы собрались на бал или к дамам.

– Отчего не оказать почтение и не надеть шелковые чулки ради дамы по имени Природа? – несколько смутившись, отвечал де Жюсье. – Ведь это любовница, которая стоит того, чтобы ради нее понести убытки, не так ли?

Руссо не стал спорить. Как только де Жюсье упомянул о природе, Руссо сейчас же согласился, что оказать ей слишком много чести просто невозможно.

А Жильбер, несмотря на свой стоицизм, смотрел на де Жюсье не без зависти. С тех пор как он увидел так много элегантных юношей, врожденное превосходство которых еще более подчеркивал их туалет, он понял преимущество элегантности. Он говорил себе, что атлас, батист, кружева только усилили бы очарование его молодости. Если бы вместо своего теперешнего костюма он надел бы такой, как у де Жюсье, Андре, вне всякого сомнения, обратила бы на него внимание.

Пара отличных датских лошадей бежала рысью. Спустя час после отъезда ботаники уже спускались к Буживалю и поворачивали налево на дорогу Шатенье.

Эта прогулка в наши дни была бы просто восхитительна; в те времена она была по крайней мере так же хороша, потому что часть склона, открывшаяся взору наших путешественников, была засажена лесом еще при Людовике XIV и оставалась предметом неусыпных забот государя с тех пор, как он полюбил бывать в Марли.

Каштаны фантастических очертаний, шероховатой корой и огромными ветвями, напоминали то змею, кольцами обвившую ствол, то опрокинутого мясником на стол быка, из пасти которого текла теплая кровь. Яблони стояли будто в белой пене. Огромные кусты орешника были желтовато-зелеными, но скоро листья их должны были стать зеленовато-голубыми. Местность безлюдна, живописный косогор уходит под тенистые деревья и вновь показывается под матовой голубизной неба. Мощная, но в то же время привлекательная и меланхоличная природа привела Руссо в состояние неизъяснимого восхищения.

А Жильбер был спокоен, но строг. Вся его жизнь заключалась в одной-единственной фразе: «Андре переезжает из садового павильона в Трианон».

На вершине склона, по которому ботаники поднимались пешком, возвышались стены замка Люсьенн.

Вид замка, из которого он сбежал, изменил течение мыслей Жильбера. Он вернулся к более приятным воспоминаниям, в которых не было места страхам. Ведь он шагал сзади, а впереди него шли два его покровителя, и поэтому он чувствовал себя вполне уверенно. Он смотрел на Люсьенн, как потерпевший крушение разглядывает с берега песчаную отмель, на которой разбилось его судно.

Руссо шел с небольшой лопатой в руке. Он начал поглядывать под ноги, де Жюсье – тоже. Правда, первый искал растения, а второй берег чулки от росы.

– Восхитительный *Ieropodium*! – сказал Руссо.

– Очаровательный, – согласился де Жюсье, – однако давайте пойдем дальше, хорошо?

– А вот *lygimachia fenella*! Ее вполне можно было бы взять. Взгляните!

– Берите, если вам так нравится.

– Вот как! Мы разве не за этим пришли сюда?

– Вы правы... Однако я полагаю, что вон там, на плоскогорье, мы найдем еще лучше.

– Как вам будет угодно... Идемте.

– Который теперь час? – спросил де Жюсье. – Я так торопился, что забыл часы.

Руссо достал из жилетного кармана большие серебряные часы.

– Девять, – ответил он.

– Не отдохнуть ли нам немного? Вы ничего не имеете против? – спросил де Жюсье.

– Вы не привыкли много ходить! Вот что значит собирать травы в изящных туфлях и шелковых чулках.

– Я, знаете ли, проголодался.

– Ну что ж, давайте позавтракаем... Деревня всего в четверти мили отсюда.

– Да нет, что вы!

– Почему же нет? Или у вас есть чем позавтракать в карете?

– Взгляните вон туда, в лесную чащу, – предложил де Жюсье, указывая рукой вдаль.

Руссо приподнялся на цыпочки и приставил козырьком руку к глазам.

– Ничего не вижу, – обронил он.

– Как, неужто вы не видите крышу небольшого деревенского домика? На крыше флюгер, а соломенные стены выкрашены в белый и красный цвет, наподобие шале.

– Да, теперь вижу: небольшой новый домик.

– Ну да, вроде беседки.

– Так что же?

– А то, что нас там ожидает обещанный мною скромный завтрак.

– Ну хорошо, – сдался Руссо. – Вы хотите есть, Жильбер?

Жильбер оставался безразличен во время их спора. Машинально сорвав цветок вереска, он отвечал:

– Как вам будет угодно, сударь.

– В таком случае идемте, – подхватил де Жюсье, – Кстати, нам ничто не мешает собирать по пути растения.

– Ваш племянник, – заметил Руссо, – охотнее, чем вы, занимается ботаникой. Я собирал вместе с ним растения в лесах Монморанси. Мы были вдвоем. Он быстро отыскивает то, что нужно; правильно собирает, отлично объясняет.

– Послушайте: он молод, ему еще нужно составить себе имя.

– Разве у него не то же имя, что у вас, уже вполне известное? Ах, дорогой собрат, вы собираете растения, как любитель!

– Не будем ссориться, дорогой философ. Взгляните, какой прекрасный *plantago nonanthos*. Разве у вас есть такие в вашем Монморанси?

– Нет! – воскликнул Руссо. – Я тщетно искал его, доверившись Турнефору... Да, в самом де-

ле, великолепный экземпляр.

– Какой очаровательный павильон! – заметил Жильбер, переходя из арьергарда в авангард.

– Жильбер проголодался, – заметил де Жюсье.

– Ах, сударь, прошу меня извинить! Я с удовольствием подожду, пока вы закончите.

– Тем более, что заниматься ботаникой после еды вредно для пищеварения. И потом, глаз теряет остроту, наклоняться – лень. Давайте еще немного поработаем, – предложил Руссо. – А как называется этот павильон?

– «Мышеловка», – отвечал де Жюсье, вспомнив словечко, которое придумал де Сартин.

– Странное название!

– Знаете, за городом в голову приходят разные фантазии...

– А кому принадлежат эти земли, эти чудесные тенистые леса?

– Точно не знаю.

– Должны же вы знать владельца, если собираетесь здесь завтракать? – настораживаясь, заметил Руссо; в душе у него зашевелились сомнения.

– Это неважно... Вернее, я здесь знаком со всеми; сторожа здешних охотничьих угодий сто раз меня видели и отлично знают, что доставят своим хозяевам удовольствие, если почтительно со мной поздороваются и предложат мне заячье рагу или сальми из бекаса. Люди всех здешних владений позволяют мне распоряжаться всем, как дома. Я не знаю в точности, принадлежит ли этот павильон госпоже де Мирпуа или госпоже д'Эгмон, или... Господи, да почему я знаю... Главное, дорогой философ, – я уверен, что вы со мной согласитесь, – мы найдем хлеб, фрукты и пирожки.

Своим добродушным тоном де Жюсье согнал тень с лица Руссо. Философ отряхнул ноги, потер руки, а де Жюсье первым ступил на поросшую мхом тропинку, извивавшуюся между каштанами и ведущую к уединенному сельскому домику.

За ним следовал Руссо, продолжая шарить глазами в траве.

Жильбер вернулся на прежнее место и замыкал шествие, мечтая об Андре и размышляя о том, как можно было бы ее увидеть, когда она будет в Трианоне.

Глава 4. МЫШЕЛОВКА ДЛЯ ФИЛОСОФОВ

На вершине холма, куда не без труда взобрались три ботаника, стоял домик из неотесанного узловатого дерева с островерхой крышей; окна были увиты плющом и ломоносом, согласно английской моде, подражающей природе, или, вернее, придумывающей свою собственную природу, что сообщает некоторое своеобразие английским домикам и окружающим их садам.

Именно английские садовники вывели голубые розы: их тщеславие находит удовлетворение, вступая в противоречие с общепринятыми понятиями. Придет день, и они получают черные лилии.

Павильон был довольно просторный: в нем поместились стол и шесть стульев. Кирпичный пол был покрыт циновкой. Стены были выложены мозаикой из речных камешков и редчайших ракушек: песчаные берега Буживаля и Пор-Марли не могут порадовать ваших глаз ни морским ежом, ни такими ракушками, как на острове Сен-Жак, ни перламутрово-розовыми раковинами, встречающимися в Арфлере, Дьеппе или, если верить тому, что рассказывают, – в Сент-Адресе.

Лепной потолок был украшен сосновыми шишками и масками, изображавшими отвратительных фавнов и диких зверей; они будто свешивались над головами посетителей. Сквозь витражи, в зависимости от того, через какое стекло вы смотрели: фиолетовое, красное или голубое, можно было увидеть равнины или леса Везине, то окрашенные в холодные тона, словно перед грозой, то будто сверкавшие в горячих лучах августовского солнца, то холодные и поблекшие, словно застывшие в декабрьском холоде. Оставалось только выбрать стекло по душе и любоваться видом.

Это зрелище привлекло к себе внимание Жильбера, и он попеременно заглядывал то в один ромб, то в другой, любуясь прекрасным видом, открывавшимся взгляду с высоты холма Люсьенн, который рассекает Сена.

Господин де Жюсье заинтересовался не менее любопытным зрелищем: великолепно сервированным столом из неструганого дерева, стоявшим посреди павильона.

Изысканные сливки из Марли, прекрасные абрикосы и сливы из Люсьенн; сосиски из Нанте-

ра на фарфоровом блюде, сосиски горячие, несмотря на то, что не видно было ни одного услужающего, который мог бы их принести; клубника в очаровательной корзинке, переложенная виноградными листьями, так и просившаяся в рот; рядом со сверкавшим свежестью маслом – огромный хлеб деревенской выпечки, там же – золотистый хлеб из крупчатки, столь желанный для горожан с их пресыщенным вкусом, – все это заставило Руссо вскрикнуть от восхищения. Гурманом философ был неискушенным; у него был прекрасный аппетит и весьма скромный вкус.

– Какое безумие! – обратился он к де Жюсье. – Хлеб и фрукты – вот все, что нам было нужно. Следовало бы съесть хлеб, заедая его сливами, прямо на ходу, как делают настоящие ботаники и неутомимые исследователи, ни на минуту не переставая шарить в траве и лазать по буеракам. Помните, Жильбер, мой завтрак в Плеси-Пике, да и ваш тоже?

– Да, сударь: хлеб и вишни показались мне тогда восхитительными.

– Совершенно верно.

– Да, так завтракают истинные любители природы.

– Дорогой учитель! – вмешался де Жюсье. – Вы напрасно упрекаете меня в расточительстве; это более чем скромно – Вы недооцениваете свое угощение, сеньор Лукулл! – вскричал философ.

– Мое? Нет, это не мое! – возразил Жюсье.

– У кого же мы в гостях в таком случае? – спросил Руссо, улыбка которого свидетельствовала о хорошем расположении духа; однако чувствовалось, что он скован. – Может быть, мы попали к домовым?

– Скорее уж к добрым феям, – проговорил де Жюсье, поднимаясь и смущенно поглядывая на дверь.

– Ах, к феям? – весело вскричал Руссо. – Да благослови их Небо за такое гостеприимство! Я голоден. Поедим, Жильбер!

Он отрезал себе порядочный ломоть хлеба и передал хлеб и нож ученику.

Откусив хлеба, Руссо взял две сливы.

Жильбер колебался.

– Ну, ну! Феи могут обидеться, – сказал Руссо, – подумают, что вы считаете их щедрость недостаточной.

– Или недостойной вас, господа, – зазвучал серебристый голосок с порога павильона: там стояли, держась под руку, две свеженькие хорошенькие женщины. Не переставая улыбаться, они подавали знаки де Жюсье, чтобы он умерил свой пыл.

Руссо обернулся, держа в правой руке обгрызанную хлебную корку, а в левой – надкусанную сливу. Он увидел обеих богинь – так, по крайней мере, ему показалось, до того они были молоды и красивы; он увидел их и остолбенел, потом поклонился и замер.

– Ваше сиятельство! – воскликнул де Жюсье. – Вы – здесь! Какой приятный сюрприз!

– Здравствуйте, дорогой ботаник! – любезно отвечала одна из дам с поистине королевской непринужденностью.

– Позвольте вам представить господина Руссо, – проговорил Жюсье, беря философа за руку, в которой он держал хлеб.

Жильбер увидел и узнал обеих дам. Он широко раскрыл глаза и, смертельно побледнев, стал поглядывать на окно павильона, соображая, как бы удрать.

– Здравствуйте, юный философ! – обратилась другая дама к растерянному Жильберу и легонько ударила его по щеке тремя розовыми пальчиками.

Руссо все видел и слышал. Он едва не задохнулся от злости: его ученик знал обеих богинь, и они его тоже знали.

Жильбер был близок к обмороку.

– Вы не узнаете ее сиятельство? – спросил Жюсье, обратившись к Руссо.

– Нет, – оторопев, отвечал Руссо, – мы встречаемся впервые, как мне кажется.

– Графиня Дю Барри, – представил Жюсье.

Руссо подскочил, словно ступил на раскаленное железо.

– Графиня Дю Барри! – вскричал он.

– Она самая, сударь, – как нельзя более любезно отвечала молодая женщина, – я очень рада,

что принимаю у себя и вижу одного из самых прославленных мыслителей наших дней.

– Графиня Дю Барри! – повторил Руссо, не замечая, что его удивление становилось оскорбительным... – Так это она! И павильон, вне всякого сомнения, принадлежит ей? Так вот кто меня угощает?

– Вы угадали, дорогой философ, это она и ее сестра, – продолжал Жюсье, почувствовав себя неловко, так как предвидел бурю.

– И ее сестра знакома с Жильбером?

– Теснейшим образом, сударь! – вмешалась мадмуазель Шон с дерзостью, не считавшейся ни с расположением духа королей, ни с причудами философов.

Жильбер искал глазами нору пошире, куда можно было бы спрятаться, – так грозно заблестал взгляд Руссо.

– Теснейшим образом?... – повторил старик. – Жильбер теснейшим образом знаком с сударыней, а я ничего об этом не знал? Меня, стало быть, предали, надо мной посмеялись?

Шон и ее сестра насмешливо переглянулись. Де Жюсье разорвал кружевную салфетку, стоившую не меньше пятидесяти луидоров.

Жильбер умоляюще сложил руки, то ли прося Шон замолчать, то ли заклиная Руссо разговаривать с нею повежливее.

Но замолчал Руссо, а Шон продолжала говорить.

– Да, – сказала она, – мы с Жильбером – старые знакомые. Он был моим гостем, не правда ли, малыш?... Неужели ты настолько неблагодарен, что позабыл угощения в Люсьенн и в Версале?

Эта подробность оказалась последним ударом: Руссо выбросил руки вперед, а затем уронил их.

– Ага! Это правда, несчастный? – спросил он, искоса глядя на молодого человека.

– Господин Руссо... – начал было Жильбер.

– Ну вот, можно подумать, что ты раскаиваешься в том, что был мною обласкан! – продолжала Шон. – Я не зря подозревала тебя в неблагодарности.

– Мадмуазель!... – умоляюще воскликнул Жильбер.

– Малыш! – подхватила Дю Барри. – Возвращайся в Люсьенн. Угощения и Замор ждут тебя... И хотя ты ушел оттуда довольно необычно, ты будешь хорошо принят.

– Благодарю вас, ваше сиятельство, – сухо возразил Жильбер, – но когда я откуда-нибудь уйду, это значит, что мне там не нравится.

– Зачем же отказываться от такого предложения? – ядовито перебил его Руссо. – Вы вкусили роскоши, дорогой мой Жильбер, возвращайтесь к ней.

– Сударь, клянусь вам...

– Идите! Идите! Я не люблю тех, кто служит и нашим, и вашим.

– Вы меня даже не выслушали, господин Руссо.

– Довольно я наслушался.

– Да ведь я же сбежал из Люсьенн, где меня держали взаперти!

– Это уловка! Я знаю, на что способна человеческая хитрость!

– Но ведь я отдал предпочтение вам, я выбрал вас своим хозяином, защитником, покровителем.

– Лицемерие!

– Однако, господин Руссо, если бы я дорожил богатством, я принял бы предложение этих дам.

– Господин Жильбер, меня обманывают часто..., один раз! Но дважды – никогда! Вы – свободны и можете идти на все четыре стороны.

– Куда же мне идти? – в отчаянии вскричал Жильбер; он понимал, что навсегда потерял и свое оконце, и соседство с Андре, и всю свою любовь... Его самолюбие страдало оттого, что Руссо мог заподозрить его в предательстве. Он видел, что никто не оценил ни его самоотверженности, ни долгой и успешной борьбы с ленью и свойственными его возрасту желаниями.

– Куда? – переспросил Руссо. – Да прежде всего – к ее сиятельству, прекрасной и доброй госпоже.

– Боже мой. Боже мой! – вскричал Жильбер, обхватив голову руками.

– Не бойтесь! – сказал ему господин де Жюсье; светский человек, он был сильно задет странной выходкой Руссо. – Не бойтесь, о вас позаботятся; вам постараются вернуть то, что вы потеряете.

– Вот видите, – язвительно вымолвил Руссо, – перед вами господин де Жюсье, ученый, любитель природы, один из ваших сообщников, – добавил он, скривив губы в улыбке, – он вам обещает помощь и удачу – можете на него рассчитывать, у него большие возможности.

Потерявший самообладание Руссо поклонился дамам, вспомнив об Оросмане, потом отвесил поклон подавленному де Жюсье и с трагическим видом покинул павильон.

– До чего же грязная скотина этот философ! – спокойно заметила Шон, провожая взглядом Руссо, который спускался, вернее, сбегал вниз по тропинке.

– Просите, что хотите, – обратился г-н де Жюсье к Жильберу, по-прежнему прятавшему лицо в ладонях.

– Да, просите, господин Жильбер, – повторила графиня, посылая улыбку брошенному ученику.

Тот поднял бледное лицо, убрал со лба прибитые слезами и испариной волосы и твердо проговорил:

– Раз уж вам так хочется предложить мне место, я бы хотел поступить помощником садовника в Трианон.

Шон и графиня переглянулись, Шон слегка наступила шаловливой ножкой на ногу сестре, торжествующе подмигнув; графиня кивнула в знак согласия.

– Это возможно, господин де Жюсье? – спросила графиня. – Я бы этого хотела.

– Раз вам этого хочется, графиня, – отвечал тот, – можете считать, что ваше желание исполнено.

Жильбер поклонился и прижал руку к сердцу; оно было переполнено счастьем, после того как совсем недавно было полно отчаяния.

Глава 5. ПРИТЧА

В том же небольшом кабинете замка Люсьенн, где мм видели Жана Дю Барри выпившим, к большому неудовольствию графини, столько шоколаду, маршал де Ришелье завтракал с графиней Дю Барри. Трепля Замора за волосы, она все свободнее и небрежнее вытягивалась на расшитой цветами атласной софе, а старый придворный лишь восторженно вздыхал при каждой новой позе обольстительницы.

– Ах, графиня! – с жеманством старухи восклицал он. – Вы испортите прическу!.. Графиня, вот этот завиток раскручивается... Ах, графиня, ваша туфелька падает!..

– Да не обращайтесь внимания, милый герцог, – проговорила она, выдрав у Замора ради развлечения целую прядь волос и вытянувшись во весь рост. Она была еще сладострастнее и красивее на своей софе, чем Венера в морской раковине.

Равнодушный к ее позам. Замор взвыл от боли. Графиня успокоила его, взяла со стола горсть конфет и всыпала их ему в карман.

Замор надул губы, вывернул карман и высыпал конфеты на пол.

– Дурачина! – проговорила графиня, вытягивая изящную ножку и касаясь ее кончиком замысловатых штанов негритенка.

– Помилуйте! – вскричал старый маршал. – Клянусь честью, вы его убьете.

– Я сегодня могу убить любого, кто мне попадет под руку, – призналась графиня, – сегодня я буду беспощадной.

– Вот как? Значит, я вас раздражаю? – спросил герцог.

– Нет, что вы, напротив! Вы – мой старый друг, я вас обожаю. Но, по правде говоря, я сошла с ума, вот в чем дело.

– Так вас, должно быть, заразили этой болезнью те, кого свели с ума вы сами?

– Берегитесь! Мне надоели ваши любезности, потому что они неискренни.

- Графиня, графиня! Я начинаю думать, что вы не с ума сошли, а просто неблагодарны.
- Нет, я – не сумасшедшая, не неблагодарная, я...
- Кто же вы?
- Я разгневана, господин герцог!
- В самом деле...
- Вас это удивляет?
- Нисколько, графиня. Клянусь честью, есть от чего разгневаться!
- Вот именно это меня в вас и возмущает.
- Неужели есть что-то такое, что может вас во мне возмутить, графиня?
- Да.
- Что же это? Я уже довольно стар, однако я готов приложить любые усилия для того, чтобы вам понравиться.
- Да вы просто не знаете, о чем идет речь, маршал.
- Ошибаетесь, мне это известно.
- Вы знаете, что меня раздражает?
- Разумеется: Замор разбил китайский фонтан. Едва уловимая улыбка промелькнула на губах молодой женщины, однако Замор, почувствовав себя виноватым, униженно склонил голову, словно небо затянуло тучей, полной пощечин и щелчков.
- Да, – со вздохом проговорила графиня, – да, герцог, вы угадали: причина именно эта, вы действительно тонкий политик.
- Мне всегда это говорили, графиня, – скромно отвечал де Ришелье.
- А я и так это вижу, герцог. Вы сразу определили причину, отчего я не в духе: это восхитительно!
- Ну и прекрасно. Однако это еще не все.
- Неужели?
- Да, я догадываюсь, что есть еще кое-что...
- Вы так думаете?
- Да.
- А о чем вы догадываетесь?
- Мне кажется, вы ждали вчера вечером его величество.
- Где?
- Здесь.
- Что же дальше?
- Его величество не пришел.
- Графиня покраснела и приподнялась на локте.
- Ах, ах! – прошептала она.
- А ведь я приехал из Парижа, – продолжал герцог.
- Ну и что же?
- А то, что я мог ничего не знать о том, что произошло в Версале, черт побери! Однако...
- Герцог, милый герцог, вы сегодня чересчур сдержанны. Какого черта! Раз уж начали – договаривайте. Или не надо было начинать.
- Вольно вам говорить, графиня! Дайте мне хотя бы передохнуть. Так на чем я остановился?
- Вы остановились на... «однако».
- Да, верно. Однако я не только знаю, что его величество не пришел, но и догадываюсь, почему не пришел.
- Герцог! Я всегда думала, что вы колдун. Мне доставало лишь доказательств.
- Сейчас я вам представлю и доказательство. Графиня, уделявшая беседе значительно больше внимания, чем ей хотелось это показать, оставила в покое голову Замора, волосы которого она перебирала своими белыми изящными пальчиками.
- Представьте, герцог, представьте, – сказала она.
- В присутствии господина дворецкого? – спросил герцог.
- Ступайте. Замор, – приказала графиня негритенку. Обезумев от радости, он одним прыж-

ком выскочил из будуара в приемную.

– Прекрасно! – прошептал Ришелье. – Должен ли я все вам говорить, графиня?

– Чем вам помешала эта обезьяна – Замор, герцог?

– Сказать по правде, меня кто угодно смущает.

– Кто угодно – это я понимаю, но разве Замор – кто угодно?

– Замор – не слепой, не глухой, не немой. Значит, он тоже – «кто угодно». «Кто угодно» для меня – тот, у кого такие же, как у меня, глаза, уши, язык; значит, он может увидеть то, что я делаю, услышать или повторить то, что я говорю; одним словом, этот «кто-то» может меня выдать. Итак, изложив свою теорию, я продолжаю.

– Да, герцог, продолжайте, доставьте мне удовольствие.

– Не думаю, что это будет удовольствием, графиня. Впрочем, неважно, я должен продолжать. Итак, король посетил вчера Трианон.

– Малый или Большой?

– Малый. Ее высочество держала его под руку.

– Вот как?

– Ее высочество очаровательна, как вам известно...

– Увы!

– Она так с ним носилась, называла «папочкой», что его величество не устоял – ведь у него такой мягкий характер! За прогулкой последовал ужин, за ужином – невинные игры. Одним словом...

– Одним словом, – бледная от нетерпения, подхватила Дю Барри, – король не поехал в Люсьенн, не так ли? Вы это хотели сказать?

– Да, черт возьми.

– Это просто объясняется: его величество нашел там все, что любит.

– Отнюдь нет, и вы сами далеки от того, чтобы поверить хоть одному своему слову. Он нашел там всего-навсего то, что ему нравится.

– Это еще хуже, герцог. Судите сами: поужинал, побеседовал, поиграл – вот и все, что ему нужно. С кем же он играл?

– С де Шуазелем.

Графиня сделала нетерпеливое движение.

– Может быть, не стоит больше об этом говорить, графиня? – предложил Ришелье.

– Напротив, продолжайте.

– Вы столь же отважны, сколь умны, графиня. Давайте возьмем быка за рога, как говорят испанцы.

– Госпожа де Шуазель не простила бы вам этой пословицы, герцог.

– Пословица к ней не относится. Я хотел сказать, графиня, что де Шуазель, раз уж я вынужден о нем говорить, играл в карты, да так удачно, так ловко...

– Что выиграл?

– Нет, он проиграл, а его величество выиграл тысячу луидоров в пикет. А в этой игре его величество крайне самолюбив, притом что играет он из рук вон плохо.

– Ох, этот Шуазель! – прошептала Дю Барри. – Госпожа де Граммон тоже была там?

– Нет, графиня, она готовится к отъезду.

– Герцогиня уезжает?

– Да, она делает глупость, мне кажется.

– Какую?

– Когда ее не преследуют, она дуется; когда ее не прогоняют, она уезжает сама.

– Куда?

– В провинцию.

– Она собирается строить козни.

– Ах, черт побери! Чем же ей еще заниматься? Итак, собираясь уезжать, она, естественно, пожелала проститься с ее высочеством, которая, понятно, нежно ее любит. Вот как она оказалась в Трианоне.

- В Большом?
- Разумеется, ведь Малый еще не готов.
- Окружая себя всеми этими Шуазелями, ее высочество недвусмысленно дает понять, чью сторону она принимает.
- Нет, графиня, не надо преувеличивать. Итак, герцогиня завтра уезжает.
- Король развлекался там, где не было меня! – воскликнула графиня с возмущением и в то же время со страхом.
- Ах, Боже мой! Да, в это трудно поверить, однако это так, графиня. Что же из этого следует?
- Что вы прекрасно обо всем осведомлены, герцог.
- И все?
- Нет.
- Ну так продолжайте!
- Я из этого заключаю, что по доброй воле или силой необходимо вырвать короля из когтей этих Шуазелей, или! мы погибли!
- Увы!
- Простите, – продолжала графиня, – я говорю «мы», однако не волнуйтесь, герцог, это относится к членам семьи.
- И к друзьям, графиня. Позвольте на этом основании тоже принять в этом деле участие. Таким образом...
- Таким образом, вы себя причисляете к моим друзьям?
- Мне казалось, что я говорил вам об этом, графиня.
- Этого недостаточно.
- Я полагал, что доказал это.
- Вот это уже лучше. Так вы мне поможете?
- Я готов сделать все, что в моей власти, графиня, однако...
- Что?
- Не стану от вас скрывать, что дело это весьма трудное.
- Их что же, нельзя вырвать, этих Шуазелей?
- Во всяком случае, они неискоренимы.
- Вы полагаете?
- Да.
- Стало быть, что бы ни говорил славный Лафонтен, против этого дуба бессильны и ветер, и буря.
- Этот министр – большой талант!
- Ага! Вы заговорили, как энциклопедисты.
- Разве я уже не член Академии?
- О, вы в такой малой степени академик...
- Вы правы. Академик – мой секретарь, а не я. Однако я по-прежнему настаиваю на своем.
- Что Шуазель – талантливый политик?
- Совершенно верно.
- В чем же состоит его талант?
- А вот в чем, графиня: он сумел так представить дела в Парламенте и отношения с Англией, что король не может больше без него обойтись.
- Да ведь он настраивает Парламент против его величества!
- Ну конечно! В том-то и состоит ловкость!
- Он же толкает англичан к войне!
- Вот именно, потому что мир был бы для него губителен.
- Это не талант, герцог.
- Что же это, графиня?
- Это государственная измена.
- Когда государственная измена имеет успех, графиня, это талант, как мне кажется, и нема-

лый.

– Ну, раз так, герцог, я знаю еще кое-кого, кто не менее ловок, чем де Шуазель.

– Неужели?

– По части парламентов, по крайней мере.

– Это – главный вопрос.

– Да, потому что это лицо причастно к возмущению Парламента.

– Вы меня заинтриговали, графиня.

– Вы не знаете, о ком я говорю, герцог?

– Нет, признаться...

– А ведь он – член вашей семьи.

– Неужели у меня в семье есть талантливый человек? Вы изволите говорить о моем дяде – кардинале, графиня?

– Нет, я говорю о вашем племяннике, герцоге д'Эгийоне.

– Ах, герцог д'Эгийон! Да, верно, это он дал ход делу ла Шалоте. По правде сказать, он очень милый мальчик. Он в этом деле славно потрудился. Клянусь честью, графиня, вот тот человек, которым умной женщине следовало бы дорожить.

– Видите ли, герцог, – отвечала графиня, – я даже незнакома с вашим..., племянником.

– Неужели вы его не знаете?

– Нет, я его никогда не видела.

– Бедный малый! Ну да, действительно, с тех пор, как вы пришли к власти, он неотлучно жил в Англии. Пусть поостережется, когда увидит вас, он отвык от солнца.

– Как среди всех этих мантий оказался человек его ума и его происхождения?

– Он взялся их взбудоражить за неимением лучшего. Понимаете ли, графиня, каждый старается получить удовольствие, где только можно, а в Англии удовольствий немного. До чего же он предприимчивый человек! Какой это был бы слуга королю, буде на то желание его величества! Уж при нем с дерзостью Парламента было бы покончено. Он – истинный Ришелье, графиня. Так позвольте мне...

– Что?

– Позвольте мне представить его вам тотчас по прибытии.

– Он разве должен скоро быть в Париже?

– Ах, графиня, кто может это знать? Возможно, он еще лет пять пробудет в своей Англии, как говорит шельма Вольтер! Может, он в дороге? А что, если он в двухстах милях отсюда? Может быть, он уже у городских ворот!

Маршал пристально изучал по лицу молодой женщины, какое действие на нее производят его слова.

Она на мгновение задумалась и продолжала:

– Давайте вернемся к тому, на чем мы остановились.

– Как вам будет угодно, графиня.

– А на чем мы остановились?

– На том, что его величеству было очень хорошо в Трианоне в обществе де Шуазеля.

– Да, и мы говорили о том, как бы от этого Шуазеля избавиться.

– То есть об этом говорили вы, графиня.

– Как! – воскликнула фаворитка. – Я так хочу, чтобы он ушел со своего поста, что рискую умереть, если этого не произойдет, а вы..., неужели вы мне в этом хоть немного не поможете, дорогой герцог?

– Ото! – проговорил Ришелье, важничая. – Вот что политики называют предложением.

– Принимайте мои слова, как вам будет угодно, называйте их, как хотите, но отвечайте решительно.

– Ах, какое недостойное наречие в устах такой милой и приятной женщины!

– По-вашему, это ответ, герцог?

– Не совсем. Я назвал бы это подготовкой к ответу.

– Вы готовы?

- Подождите же!
- Вы колеблетесь, герцог?
- Нисколько.
- Так я вас слушаю.
- Как вы относитесь к притчам?
- Должна сказать, что они устарели.
- Ну и что же? Солнце тоже старо, а мы ничего лучше не придумали.
- Ну, пусть будет притча. Только чтобы все было прозрачно!
- Как хрусталь!
- Ну, говорите.
- Вы готовы меня слушать, прекрасная дама?
- Я вас слушаю.
- Представьте, графиня.., вы знаете, в притчах принято взывать к воображению.
- О Господи, до чего же вы утомительны, герцог!
- Вы не верите ни одному своему слову, графиня, потому что слушаете меня с особым вниманием.
- Пусть так, я была не права.
- Итак, представьте, что вы гуляете в прекрасном саду Люсьенн и видите восхитительную сливу, одну из тех ренклодов, которые вы так любите, потому что они своим пурпурно-алым цветом напоминают вас.
- Продолжайте, господин льстец.
- Вы видите, как я уже сказал, одну из таких слив на самом верху дерева. Что вы будете делать, графиня?
- Я стану трясти дерево, черт побери!
- А если это бесполезно? Дерево толстое, неискоренимое, как вы изволили выразиться. И вот скоро вы замечаете, что оно даже не пошатнулось, а вы уже поцарапали об его кору свои прелестные ручки. Тогда вы повертываете голову так восхитительно, как умеете лишь вы да цветы, и восклицаете: «Боже мой! Как бы мне хотелось, чтобы эта слива упала на землю!» И при этом вы чувствуете такую досаду!..
- Это очень натурально, герцог.
- Не стану с вами спорить.
- Продолжайте, дорогой герцог, мне безумно интересна ваша притча.
- И вот, обернувшись, вы замечаете своего друга герцога де Ришелье, в задумчивости гуляющего в саду.
- О чем же он думает?
- Что за вопрос, черт возьми! О вас! Вы к нему обращаетесь своим восхитительным нежным голоском: «Ах, герцог! Герцог!»
- Превосходно!
- «Вы – мужчина. Вы – сильный. Вы брали Маон. Встряхните это чертово дерево, чтобы упала проклятая слива» Все верно, графиня, а?
- Совершенно верно, герцог. Я говорила об этом едва слышно, а вы – во весь голос. Так что вы ответили?
- Я ответил...
- Да.
- Я ответил так: «Как вы решительны! Ничего не скажешь! Но посмотрите, какое толстое дерево, какие шероховатые ветви; я тоже дорожу своими руками, хоть и старше вас лет на пятьдесят.
- А-а, прекрасно, прекрасно! – проговорила графиня. – Понимаю...
- Тогда продолжайте притчу: что вы отвечаете?
- Я вам говорю.
- Своим нежным голоском?
- Разумеется.

– Говорите, говорите.

– Я вам говорю: «Милый маршал! Взгляните на это дерево иначе. До сих пор вы были к нему равнодушны, потому что эта слива предназначалась не вам. А пусть и у вас будет такое же точно желание, дорогой маршал: давайте вместе страстно захотим ее съесть. Если вы как следует потрясите дерево, если слива упадет, то...

– То что же?

– Мы съедем ее вместе.

– Браво! – воскликнул герцог, захлопав в ладоши.

– Все верно?

– Клянусь честью, графиня, вы прекрасно сумели закончить притчу... Взяли меня за рога!

Как говаривал мой славный батюшка, отлично состряпано!

– Так вы согласны потрясти дерево?

– Обеими руками и изо всех сил, графиня.

– А слива в самом деле была ренклодом?

– В этом я не совсем уверен, графиня.

– Что же это?

– Мне представляется, что на вершине этого дерева скорее висел портфель.

– Значит, мы возьмем этот портфель на двоих.

– Нет, этот портфель достанется мне одному. Не завидуйте мне, графиня; вместе с ним с этого дерева падает так много интересных вещей, что у вас будет богатейший выбор.

– Ну что же, маршал, мы обо всем уговорились?

– Мне достанется место де Шуазеля?

– Да, если на то будет воля его величества.

– А разве король не хочет всего того, чего желаете вы?

– Вы сами видите, что нет, потому что он не желает отставки своего Шуазеля.

– Я надеюсь, что король захочет вспомнить о своем старом товарище.

– По оружию?

– Да, о товарище по оружию. Самая большая опасность далеко не всегда подстерегает нас на войне, графиня.

– Вы ничего не хотите попросить у меня для герцога д'Эгийона?

– Признаться, нет! Этот чудак сумеет попросить об этом самолично.

– Вы, кстати, тоже будете там. А теперь моя очередь.

– Ваша очередь – для чего?

– Просить.

– Отлично!

– Что получу я?

– Что пожелаете.

– Я хочу получить все.

– Разумно.

– И получу?

– Что за вопрос! Однако будете ли вы удовлетворены? Только ли об этом вы станете просить?

– Об этом и еще кое о чем.

– Говорите.

– Вы знаете барона де Таверне?

– Нас связывает сорокалетняя дружба.

– У него есть сын?

– И дочь.

– Совершенно верно.

– И что же?

– Все – Как – все?

– «Кое-что», которое я у вас прошу... Я об этом попрошу вас в свое время.

- Превосходно!
- Мы уговорились, герцог.
- Да, графиня.
- Подписано?
- Гораздо лучше: мы поклялись друг другу.
- Ну так повалите это дерево.
- У меня есть для этого средства.
- Какие?
- Мой племянник.
- Кто еще?
- Иезуиты.
- Ах, ах!
- Я на всякий случай и план приготовил, так, небольшой.
- Можно с ним ознакомиться?
- Увы, графиня,...
- Да, да, вы правы.
- Вы ведь знаете, что тайна...
- Залог успеха! Я заканчиваю вашу мысль.
- Вы восхитительны!
- Однако я тоже хочу попробовать потрясти дерево.
- Очень хорошо! Потрясите, графиня, это не помешает.
- И у меня есть средство.
- ..которое вы считаете прекрасным!
- Я за него ручаюсь.
- Что это за средство?
- Скоро увидите, герцог, вернее...
- Что?
- Нет, вы не увидите.

Столь изящно эти слова мог выговорить только такой прелестный ротик. Потерявшая было голову графиня вдруг словно опомнилась; она торопливо оправила атласные волны юбки, которые в целях дипломатии вздыбились, словно бушующее море.

Герцог был отчасти моряком и привык к капризам океана. Он от души рассмеялся, расцеловал графине ручки и угадал со свойственной ему проницательностью, что аудиенция окончена.

– Когда вы начнете валить дерево, герцог? – спросила графиня.

– Завтра. А вы когда приметесь его трясти? В эту минуту со двора донесся шум подъехавшей кареты, и почти тотчас же раздались крики «Да здравствует король!»

– А я, – отвечала графиня, выглядывая в окно, – я начну сию минуту!

– Браво!

– Идите по черной лестнице, герцог, и ждите во дворе. Через час получите мой ответ.

Глава 6. КРАЙНЕЕ СРЕДСТВО ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ЛЮДОВИКА XV

Король Людовик XV не был до такой степени благодушным, чтобы с ним можно было каждый день говорить о политике.

В самом деле, политика ему надоедала. В дурные минуты он отделялся с помощью веского довода, на который нечего было ответить:

«Да вся эта машинка будет крутиться, пока я жив!»

Когда обстоятельства благоприятствовали, окружающие старались ими воспользоваться. Однако монарх, как правило, наверстывал то, что терял в минуты хорошего расположения.

Графиня Дю Барри так хорошо знала короля, что, подобно рыбакам, изучившим море, никогда не пускалась в плавание, если ей не благоприятствовала погода.

Однако в то время, когда король приехал навестить ее в Люсьенн, он был в прекраснейшем

расположении духа. Король был накануне не прав, он знал наверное, что его будут бранить. Значит, в этот день он был хорошей добычей.

Но как бы доверчива ни была дичь, на которую идет охота, у нее все-таки есть некоторый инстинкт самосохранения, и охотнику следует это иметь в виду. Впрочем, инстинкт ничего не значит, если охотник опытный!

Вот как взялась за дело графиня, имея в виду королевскую дичь, которую она собиралась заманить в свои сети.

Она была, как мы, кажется, уже говорили, в весьма смелом дезабилье вроде тех, в какие Буше одевает своих пастушек.

Вот только она была ненарумянена: король Людовик XV терпеть этого не мог.

Как только лакей доложил о его величестве, графиня набросилась на румяна и стала с остервенением натирать ими щеки.

Король еще из приемной увидал, чем занималась графиня.

– Ах, злодейка! – воскликнул он, входя. – Она красится!

– А-а, здравствуйте, сир, – проговорила графиня, не отрывая от зеркала глаз и не прерывая своего занятия, даже после того, как король поцеловал ее в шейку.

– Значит, вы меня не ждали, графиня? – спросил король.

– Почему, сир?

– Ну, раз вы так пачкаете свое личико!..

– Напротив, сир, я была уверена в том, что дня не пройдет, как я буду иметь честь увидеть ваше величество.

– Как странно вы это говорите, графиня!

– Вы находите?

– Да. Вы серьезны, как господин Руссо, когда слушает свою музыку.

– Вы правы, сир, я в самом деле должна сообщить вашему величеству нечто весьма серьезное.

– Я вижу, к чему вы клоните, графиня.

– Неужели?

– Да, сейчас начнутся упреки.

– Я – упрекать вас? Да что вы, сир!.. И за что, скажите на милость?

– За то, что я не пришел вчера вечером.

– Сир! Справедливости ради согласитесь, что у меня нет намерения отбирать ваше величество.

– Жанетта, ты сердишься.

– Нисколько, сир, меня рассердили.

– Послушайте, графиня: уверяю вас, что я не переставал о вас думать.

– Да что вы?

– И вчерашний вечер показался мне вечностью.

– Вот как? Да ведь я, сир, по-моему, ни о чем вас не спрашивала. Ваше величество проводит свои вечера там, где ему нравится, это никого не касается.

– Я был в своей семье, графиня, в семье.

– Сир, я об этом даже не узнавала.

– Почему?

– Что значит почему? Согласитесь, что с моей стороны это было бы непристойно.

– Так вы, значит, не сердитесь на меня за это? – вскричал король. – На что же вы сердитесь? Отвечайте мне по чести.

– Я на вас не сержусь, сир.

– Однако вы сказали, что вас кто-то рассердил?..

– Да, меня рассердили, сир, это правда.

– Чем же?

– Тем, что я стала чем-то вроде крайнего средства.

– Вы – «крайнее средство»? Что вы говорите?

- Да, да, я! Графиня Дю Барри! Милая Жанна, очаровательная Жанночка, соблазнительная Жаннетточка, как говорит ваше величество. Я – крайнее средство.
- В чем же это выражается?
- А в том, что мой король, мой любовник бывает у меня тогда, когда госпожа де Шуазель и госпожа де Граммон им пресытились.
- Ох, графиня!..
- Клянусь честью, хотя бы я от этого проиграла, но я скажу откровенно, что у меня на сердце. Рассказывают, что госпожа де Граммон частенько вас подстерегала у входа в спальню. А я поступлю иначе, нежели благородная герцогиня. Я стану поджидать на выходе, и как только первый же Шуазель или первая Граммон попадется мне в руки... Пусть поберегутся!
- Графиня! Графиня!
- Что же вы от меня хотите! Я дурно воспитана. Я – любовница Блеза, прекрасная бурбонка, как вы знаете.
- Графиня! Шуазели сумеют за себя отомстить.
- Ну и что же? Лишь бы они мстили так же, как я.
- Вас поднимут на смех.
- Вы правы.
- Ах!
- У меня есть одно чудесное средство, и я хочу к нему прибегнуть.
- Что вы задумали?.. – с беспокойством спросил король.
- Я просто-напросто удалюсь. Король пожал плечами.
- Вы мне не верите, сир?
- Признаюсь откровенно, нет.
- Вы просто не даете себе труда поразмыслить. Вы путаете меня с другими.
- То есть, как?
- Ну конечно! Госпожа де Шатору хотела быть для вас богиней. Госпожа де Помпадур мечтала быть королевой. Другие хотели стать богатыми, могущественными, пытались унижать придворных дам, пользуясь вашей благосклонностью. Я не страдаю ни одним из этих недостатков.
- Вы правы – А достоинств много.
- Вы и тут правы.
- Вы говорите не то, что думаете.
- Ах, графиня! Я более, чем кто бы то ни было, знаю, чего вы стоите.
- Пусть так. Послушайте: то, что я скажу, не должно поколебать вашего убеждения.
- Говорите.
- Прежде всего, я богата; мне никто не нужен.
- Вы хотите, чтобы я об этом пожалел, графиня.
- И потом, я не так спесива, как эти дамы, у меня нет таких желаний, исполнение которых тешило бы мое самолюбие. Я всегда хотела одного: любить своего поклонника, будь то мимикетер, будь то король. С той минуты, как я перестану его любить, я ничем больше не дорожу.
- Будем надеяться, что вы еще хоть немножко мною дорожите, графиня.
- Я не договорила, сир.
- Продолжайте, графиня.
- Я хочу еще сказать вашему величеству, что я хороша собой, молода, я еще лет десять буду привлекательной; я буду не только счастливейшей женщиной, но и наиболее почитаемой с того самого дня, когда я перестану быть любовницей вашего величества. Вы улыбаетесь, сир. Я сержусь еще и потому, что вы не хотите поразмыслить над тем, что я вам говорю. Дорогой король! Когда вам и вашему народу надоедали другие ваши фаворитки и вы их прогоняли, народ вас за это превозносил, а впавшей в немилость гнушался, как в стародавние времена. Так вот, я не буду дожидаться отставки. Я уйду сама, и все об этом узнают. Я пожертвую сто тысяч ливров бедным, проведу неделю в покаянии в одном из монастырей, и не пройдет и месяца, как мое изображение украсит все церкви наравне с кающейся Магдалиной.
- Вы это серьезно, графиня? – спросил король.

– Взгляните на меня, сир, и решите сами, серьезно я говорю или нет.

– Неужели вы способны на такой мелкий поступок, Жанна? Сознаете ли вы, что тем самым вы ставите меня перед выбором?

– Нет, сир. Если бы я ставила вас перед выбором, я сказала бы вам: «Выбирайте между тем-то и тем-то».

– А вы?

– А я вам говорю: «Прощайте, сир» – вот и все. На сей раз король побледнел от гнева.

– Вы забываетесь, графиня! Берегитесь...

– Чего, сир?

– Я вас отправлю в Бастилию.

– Меня?

– Да, вас. А в Бастилии вы соскучитесь еще скорее, чем в монастыре.

– Ах, сир, – умоляюще сложив руки, пропела графиня, – неужели вы мне доставите удовольствие...

– Какое удовольствие?

– Отправить меня в Бастилию.

– Что вы сказали?

– Это будет слишком большая честь для меня.

– То есть как?

– Ну да: я втайне честолюбива и мечтаю стать столь же известной, как господин де ла Шалоте или господин де Вольтер. Для этого мне как раз не хватает Бастилии. Немножко Бастилии – и я буду счастливейшей из женщин. Это будет для меня удобным случаем написать мемуары о себе, о ваших министрах, о ваших дочерях, о вас самом и рассказать грядущим поколениям о всех добродетелях Людовика Возлюбленного. Напишите указ о заточении без суда и следствия, сир. Вот вам перо и чернила.

Она подвинула к королю письменный прибор, стоявший на круглом столике.

Оскорбленный король на минуту задумался, потом поднялся.

– Ну хорошо. Прощайте, графиня! – проговорил он.

– Лошадей! – закричала графиня. – Прощайте, сир! Король шагнул к двери.

– Шон! – позвала графиня. Явилась Шон.

– Мои вещи, дорожных лакеев и почтовую карету, – приказала она. – Живей! Живей!

– Почтовую карету? – переспросила потрясенная Шон. – Что случилось, Боже мой?

– Случилось то, дорогая, что если мы немедленно не уедем, его величество отправит нас в Бастилию. Мы не должны терять ни минуты. Поторапливайся, Шон, поторапливайся.

Ее упрек поразил Людовика XV в самое сердце. Он вернулся к графине и взял ее за руку.

– Простите мне, графиня, мою резкость, – проговорил он.

– Откровенно говоря, сир, я удивляюсь, почему вы не пригрозили мне сразу виселицей.

– Графиня!..

– Ну конечно! Ведь воров приговаривают к повешению.

– И что же?

– Разве я не краду место у госпожи де Граммон?

– Графиня!

– Ах, черт побери! Вот в чем мое преступление, сир!

– Послушайте, графиня, будьте благоразумны: вы привели меня в отчаяние.

– А теперь?

Король протянул ей свои руки.

– Мы оба были не правы. Давайте теперь простим Друг друга.

– Вы в самом деле хотите помириться, сир?

– Клянусь честью.

– Ступай, Шон.

– Будут ли какие-нибудь приказания? – спросила молодая женщина у сестры.

– Почему же нет? Мои приказания остаются в силе.

- Графиня...
- Пусть ждут новых распоряжений.
- Хорошо. Шон вышла.
- Так вы меня еще любите? – обратилась графиня к королю.
- Больше всего на свете.
- Подумайте хорошенько о том, что вы говорите, сир. Король в самом деле задумался, но ему некуда было отступать. Кстати, ему было интересно посмотреть, как далеко могут зайти требования победителя.
- Я вас слушаю, – сказал он.
- Одну минуту. Обращаю ваше внимание на то, сир, что я готова была уехать и ни о чем не просила.
- Я обратил на это внимание.
- Но раз я остаюсь, я кое о чем попрошу.
- О чем же? Остается только узнать.
- Да вы и так отлично знаете!
- Отставки господина де Шуазеля?
- Совершенно верно.
- Это невозможно, графиня.
- Лошадей!
- Вот упрямая!
- Подпишите приказ о заточении меня в Бастилию или указ об отставке министра.
- Может быть, стоит поискать золотую середину? – спросил король.
- Спасибо за ваше великодушие, сир. Кажется, я все-таки уеду.
- Графиня! Вы – настоящая женщина!
- К счастью, да.
- И вы говорите о политике, как женщина, строптивая и разгневанная. У меня нет оснований давать отставку де Шуазелю.
- Я понимаю: он – кумир вашего Парламента, он же и поддерживает его членов, когда они восстают против вас.
- Нужен же в конце концов повод!
- Повод нужен слабому человеку.
- Графиня! Де Шуазель – честный человек, а честные люди – редкость.
- Этот честный человек продает вас англичанам, которые отнимают у вас последнее золото.
- Вы преувеличиваете, графиня.
- Совсем немного.
- О Господи! – вскричал раздосадованный Людовик XV.
- До чего же я глупа! – воскликнула графиня. – Какое мне дело до Парламента, до Шуазелей, до его кабинета министров! Какое мне дело до короля – ведь я его крайнее средство!
- Опять вы за свое!
- Как всегда, сир!
- Графиня! Я прошу у вас два часа на размышление.
- Десять минут, сир. Я уйду в свою комнату, просуньте записку с ответом под дверь: вот бумага, вот чернила. Если через десять минут ответа не будет или если ответ меня не удовлетворит, – прощайте, сир! Забудьте обо мне. Я уеду. В противном случае...
- В противном случае?..
- Поверните задвижку, и дверь откроется.
- Людовик XV из приличия поцеловал графине ручку. Уходя, она вызывающе улыбнулась королю.
- Король не противился ее уходу, и графиня заперлась в соседней комнате.
- Спустя пять минут аккуратно сложенный лист бумаги оказался между шелковым шнуром, которым была обшита дверь, и шерстяным ковром.
- Графиня с жадностью прочла записку, торопливо написала несколько слов де Ришелье, ожи-

давшему во дворике под навесом и рисковавшему обратить на себя внимание, томясь столь долгим ожиданием.

Маршал развернул бумагу, прочел и, несмотря на почтенный возраст, бегом бросился в большой двор к своей карете.

– Кучер, в Версаль! – приказал он. – Гони во весь опор!

Вот что было сказано в записке, брошенной через окошко де Ришелье:

«Я потрясла дерево: портфель упал».

Глава 7. КОРОЛЬ ЛЮДОВИК XV И ЕГО МИНИСТР ЗАНИМАЮТСЯ ДЕЛОМ

На следующий день Версаль был в большем волнении. Люди подавали друг другу таинственные знаки, выразительно пожимали руки или же, напротив, скрестив руки на груди, поднимали глаза к небу, что свидетельствовало об их скорби или удивлении.

Де Ришелье в окружении многочисленных сторонников находился в приемной короля в Трианоне. Было около десяти часов.

Разодетый граф Жан Дю Барри беседовал со старым маршалом, и говорил он весело, если судить по его цветущему виду.

Около одиннадцати король торопливо прошел в свой кабинет, ни с кем не заговорив.

В пять минут двенадцатого де Шуазель вышел из кареты и прошел через галерею, зажав под мышкой портфель.

Это вызвало большое движение: придворные отворачивались, делая вид, что оживленно беседуют, только бы не пришлось здороваться с министром.

Герцог не обратил внимания на этот маневр. Он прошел в кабинет, где король листал досье, попивая шоколад.

– Здравствуйте, герцог, – дружелюбно проговорил король. – Как вы себя чувствуете?

– Сир! Господин де Шуазель чувствует себя хорошо, а вот министр тяжело болен. Он явился просить ваше величество, не дожидаясь, пока вы сами об этом заговорите, принять его отставку. Я благодарю ваше величество за то, что вы позволили мне самому сказать об этом. Я весьма признателен за эту последнюю милость.

– Какая отставка, герцог? Что это значит?

– Сир! Ваше величество подписали вчера поданный госпожой Дю Барри приказ о моем смещении. Эта новость облетела весь Париж и весь Версаль. Зло восторжествовало. Однако я решил не оставлять службу у вашего величества, не получив на то приказа и дозволения. Я был назначен официально и могу считать себя смещенным только на основании официального документа.

– Как, герцог? – со смехом вскричал король: строгая и достойная манера держаться де Шуазеля пугала его – Как вы, умнейший человек, формалист, этому поверили?

– Сир, да ведь вы подписали... – с удивлением начал было министр.

– Что?

– Письмо, которое находится у графини Дю Барри.

– Ах, герцог, неужели вам никогда не приходилось добиваться мира? Счастливым вы человеком!.. Впрочем, госпожа де Шуазель – образцовая супруга.

Герцог нахмурился: сравнение было оскорбительным.

– Ваше величество обладает достаточно твердым и хорошим характером, чтобы не впутывать в государственные дела то, что вы изволите называть семейными делами.

– Шуазель, я должен вам об этом рассказать: это ужасно забавно. Знаете ли вы, что там вас очень боятся?

– – Это означает, что меня ненавидят, сир.

– Если угодно, да. Так вот эта сумасбродная графиня поставила меня перед выбором: отправить ее в Бастилию или поблагодарить вас за ваши услуги.

– Так что же, сир?

– Признайтесь, герцог, что было бы обидно пропустить зрелище, которое Версаль представлял собою сегодня утром. Я еще со вчерашнего дня забавляюсь, наблюдая за тем, как по дорогам

мчатся гонцы, как вытягиваются лица... Третья королевская шлюха со вчерашнего дня – королева Франции. Это презабавно!

– Но каков конец, сир?

– Конец, дорогой мой герцог, будет все тот же, – отвечал Людовик XV, снова становясь серьезным. – Вы меня знаете: я делаю вид, что сдаюсь, но никогда не уступаю. Пусть женщины делают медовый пряник, который я им время от времени подбрасываю, что когда-то проделывали с Цербером. А мы будем жить спокойно, дружно, всегда вместе. И раз уж мы взялись выяснять отношения, прошу вас иметь в виду: какие бы слухи ни ходили, какое бы письмо я ни написал..., непременно приезжайте в Версаль... Пока я говорю с вами так, как теперь, герцог, мы будем добрыми друзьями.

Король протянул министру руку, тот поклонился, не выказывая ни признательности, ни обиды.

– А теперь примемся за дело, если ничего не имеете против, дорогой герцог.

– Я к услугам вашего величества, – сказал Шуазель, раскрывая портфель.

– Для начала – несколько слов о фейерверке.

– Это было большое бедствие, сир.

– По чьей вине?

– По вине судьи Биньона.

– Много было крику?

– Да, много.

– Так надо было, может быть, отстранить от должности Биньона.

– Одного из членов Парламента едва не раздавили в толпе, поэтому Парламент принял это дело близко к сердцу. Однако генеральный адвокат Сегье произнес блистательную речь и доказал, что причина этого несчастья – роковое стечение обстоятельств. Ему долго аплодировали, и теперь дело улажено.

– Тем лучше! Перейдем к Парламенту, герцог... Вот в чем нас упрекают!..

– Меня, сир, упрекают в том, что я поддержал д'Эгийона, а не де ла Шалоте, но кто меня упрекает? Те самые люди, которые радостно распространили слухи о письме вашего величества. Вы только подумайте, сир: д'Эгийон превысил свои полномочия в Англии; иезуиты действительно были изгнаны; де ла Шалоте был прав; ваше величество сами открыто признали невиновность генерального прокурора. Нельзя так просто опровергать слова короля! В присутствии его министра – куда ни шло, но только не всенародно!

– А пока Парламент считает себя сильным...

– Он в самом деле силен. Еще бы! Членов Парламента бранят, сажают в тюрьму, оскорбляют, объявляют невиновными – еще бы им не быть сильными! Я не обвинял д'Эгийона в том, что он начал дело де ла Шалоте, но я никогда не прощу ему того, что он оказался не прав.

– Герцог! Герцог! Зло восторжествовало. Давайте подумаем, как облегчить положение... Как обуздать этик наглецов?..

– Как только прекратятся интриги канцлера, как только д'Эгийон лишится поддержки, волнение Парламента уляжется само собой.

– Но ведь это означало бы, что я уступил, герцог!

– Разве вас, ваше величество, представляет д'Эгийон..., а не я?

Довод был убедительный, и король это понял.

– Вам известно, – сказал он, – что я не люблю вызывать неудовольствие у своих слуг, даже если они допустили оплошность... Однако оставим это дело, хотя оно меня и огорчает: время покажет, кто был прав... Поговорим теперь о внешней политике... Говорят, я собираюсь воевать?

– Сир, если бы вам и пришлось воевать, это была бы война справедливая и необходимая.

– С англичанами... Дьявольщина!

– Уж не боится ли ваше величество англичан?

– На море...

– Будьте покойны, ваше величество: герцог де Праслен, мой кузен и ваш морской министр, вам подтвердит, что располагает шестидесятью четырьмя кораблями, не считая тех, которые стро-

ятся на верфях, и строительных материалов еще на дюжину, их можно построить за год... Наконец, пятьдесят фрегатов первого класса, что весьма внушительно для войны на море. А для сухопутной войны мы подготовлены еще лучше, у нас есть Фонтенуа.

– Очень хорошо. Но чего ради я должен воевать с англичанами, дорогой герцог? Правительство аббата Дюбуа было гораздо менее удачным, нежели ваше, однако ему всегда удавалось избежать войны с Англией.

– Еще бы, сир! Аббат Дюбуа получал от англичан шесть тысяч ливров в месяц. – Герцог!..

– У меня есть тому доказательство, сир.

– Пусть так. Однако в чем вы видите причину войны?

– Англия хочет захватить всю Индию: я был вынужден отдать вашим офицерам самые строгие, самые жесткие приказания. Первая же стычка там повлечет за собой протест Англии. Я твердо убежден, что мы его не примем. Необходимо заставить уважать правительство вашего величества силой, как когда-то его уважали благодаря подкупу.

– Не будем горячиться. Кто знает, что там будет, в этой Индии? Это так далеко!

Герцог с досады стал кусать себе губы.

– Есть еще более вероятный *casus belli* для нас, сир, – заметил он.

– Что еще?

– Испанцы претендуют на право владения Малуинскими и Фолклендскими островами... Порт Эгмон незаконно был захвачен англичанами, и испанцы выгнали их; отсюда – ярость Англии: она предупреждает испанцев, что готова пойти на крайние меры, если ее требования не будут удовлетворены.

– Ну, раз испанцы не правы, дайте им возможность объясниться.

– Сир, а семейный пакт? Зачем вы настаивали на подписании этого пакта? Ведь он тесно связывает всех европейских Бурбонов и объединяет их против Англии.

Король опустил голову.

– Не беспокойтесь, сир, – продолжал Шуазель, – у вас великолепная армия, внушительные морские силы, у вас есть деньги, наконец. Я сумею добыть денег так, чтобы не возмущать народ. Если нам придется воевать, война принесет славу вашему величеству, и я предполагаю такое расширение территории, для которого найдется и повод, и объяснение.

– Знаете, герцог, сначала надо навести порядок внутри страны, а уж потом воевать со всем светом.

– Но внутри страны все спокойно, сир, – возразил герцог, делая вид, что не понимает короля.

– Нет, нет, вы сами понимаете, что это не так. Вы меня любите и хорошо мне служите. Есть и другие люди, уверяющие меня в своей любви, однако ведут себя совсем иначе, нежели вы. Надо привести всех к согласию. Видите ли, дорогой герцог, я хочу жить счастливо и спокойно.

– Не от меня зависит, чтобы ваше счастье было полным, сир.

– Прекрасно сказано. В таком случае приглашаю вас со мною сегодня отобедать.

– В Версале, сир?

– Нет, в замке Люсьенн.

– От души сожалею, сир, но моя семья очень обеспокоена распространенной вчера новостью. Все думают, что я впал у вашего величества в немилость. Я не могу заставить их долго страдать в неведении.

– А разве те, о ком я вам рассказываю, не страдают, герцог? Вспомните, как мы дружно жили, когда с нами была бедная маркиза.

Герцог наклонил голову, глаза его подернулись слезой, и он не смог подавить вздох.

– Маркиза де Помпадур радела о славе вашего величества, – произнес он. – Она хорошо разбиралась в политике. Должен признаться, что ее гений отвечал моему характеру. Нам частенько случалось бок о бок заниматься делами, которые она затевала. Да, мы прекрасно ладили.

– Но ведь она вмешивалась в политику, герцог, весь мир упрекал ее в этом.

– Это верно.

– А нынешняя, напротив, безропотна, как агнец. Она не подписала еще ни одного приказа о заключении в тюрьму без суда и следствия, она сносит даже насмешки памфлетистов и рифмопле-

тов. Ее упрекают в чужих грехах. Ах, герцог, все это делается для того, чтобы нарушить согласие! Приезжайте в Люсьенн и заключите мир...

– Сир, соблаговолите передать ее сиятельству Дю Барри, что я считаю ее очаровательной женщиной, вполне достойной любви короля, но...

– Опять «но», герцог...

– Но, – продолжал де Шуазель, – я совершенно убежден, что если ваше величество необходимы Франция, то сегодня хороший министр больше нужен вашему величеству, нежели очаровательная любовница.

– Не будем больше об этом говорить и останемся добрыми друзьями. Попросите госпожу де Граммон, чтобы она ничего больше не замышляла против графини; женщины могут нас погубить.

– У госпожи де Граммон, сир, слишком большое желание понравиться вашему величеству. Вот в чем ее ошибка.

– Мне не нравится, что она старается навредить графине, герцог.

– Госпожа де Граммон уезжает, сир, и ее больше не увидят: одним врагом станет меньше.

– Я не считаю ее врагом, вы зашли слишком далеко. Впрочем, у меня голова идет кругом, герцог, мы сегодня с вами поработали, словно Людовик XIV с Кольбером; это был «большой век», как говорят философы. Кстати, герцог, вы – философ?

– Я – слуга вашего величества, – возразил де Шуазель.

– Вы меня восхищаете, вы – бесценный человек! Дайте вашу руку, я так устал!

Герцог поспешно предложил руку его величеству. Он сообразил, что сейчас двери широко распахнутся и весь двор, собравшийся в галерее, увидит герцога во всем блеске. Он столько пережил накануне, что теперь не прочь был доставить неприятность своим врагам.

Лакей распахнул дверь и доложил о короле в галерее. Продолжая беседовать с де Шуазелем, по-прежнему ему улыбаясь и опираясь на его руку, Людовик XV прошел сквозь толпу придворных, не желая замечать, как побледнел Жан Дю Барри и как покраснел де Ришелье.

Зато де Шуазель сразу заметил эту игру оттенков. Не поворачивая головы, он, сверкая глазами, важно прошел мимо придворных; те, что утром старались от него удалиться, теперь пытались оказаться как можно ближе к нему.

– Подождите меня здесь, герцог, я приглашаю вас в Трианон. Помните обо всем, что я вам сказал.

– Я храню это в своей душе, – отвечал министр, отлично понимая, что этой тонкой фразой он пронзит сердца всех своих врагов.

Король вернулся к себе.

Де Ришелье нарушил строй и, подойдя к министру, взял его руку в свои худые руки и сказал:

– Я давно знаю одного Шуазеля, живучего, как кошка.

– Благодарю, – ответил герцог, знавший, как к этому отнестись.

– Но что это был за нелепый слух?.. – продолжал маршал.

– Этот слух развеселил короля, – заметил Шуазель.

– Рассказывали о каком-то письме...

– Это была мистификация со стороны короля, – отвечал министр, взглянув в сторону едва сдерживавшегося Жана.

– Чудесно! Чудесно! – повторил маршал, повернувшись к графу, как только герцог де Шуазель скрылся и не мог больше его видеть.

Спускаясь по лестнице, король позвал герцога, и тот быстро его нагнал.

– Эге! С нами шутили шутку, – проговорил маршал, обращаясь к Жану.

– Куда они направляются?

– В Малый Трианон, чтобы там над нами посмеяться.

– Тысяча чертей! – пробормотал Жан. – Ах, простите, господин маршал.

– Теперь моя очередь, – сказал тот. – Посмотрим, не окажется ли мое средство более действенным, чем средство графини.

Глава 8. МАЛЫЙ ТРИАНОН

Когда Людовик XIV построил Версаль и признал все неудобства больших пространств, когда он увидел набитые гвардейцами необъятные приемные, полные придворными передние, коридоры и антресоли, кишасшие лакеями, пажам и сотрапезниками, он сказал себе, что Версаль получился именно таким, каким он хотел его видеть; Мансар, Лебрен и Ленотр создавали его как храм для бога, а не дом для человека. Тогда великий король, бывавший изредка и человеком, приказал выстроить Трианон, где он мог бы передохнуть вдали от чужих глаз. Однако Ахиллесов меч, утомивший и самого Ахилла, оказался не по силам его наследнику-пигмею.

Трианон – уменьшенный Версаль – Людовику XV показался чересчур помпезным, и он поручил архитектору Габриэлю возвести Малый Трианон, павильон площадью в шестьдесят квадратных футов.

Слева от дворца построили невзрачное прямоугольное здание для прислуги и сотрапезников. Оно насчитывало около десяти хозяйских комнат, и там же могло разместиться до пятидесяти служащих. Давайте познакомимся с малым дворцом в общих чертах. В нем два этажа. Первый этаж защищен выложенным камнем рвом, отделяющим его от горного массива. Все окна зарешечены, как, впрочем, и окна второго этажа. Если смотреть со стороны Трианона, эти окна освещали длинный, похожий на монастырский, коридор.

Восемь или девять дверей, прорубленные из коридора, вели в комнаты; все они состояли из передней с двумя кабинетами, расположенными один – с правой, другой – с левой стороны, и низкой комнаты или даже двух, выходящих окнами во внутренний дворик здания.

Под домом – кухни; на чердаке – комнаты для прислуги. Вот и весь Малый Трианон.

Прибавьте часовню дворца в двадцать туаз высотой; мы не станем ее описывать, потому что нам она не понадобится. В этом дворце может разместиться только одна семья, как сказали бы в наши дни.

Вот что представляет собой топография местности: из замка через большие окна можно увидеть парк и лес, слева – службы с зарешеченными окнами, окнами коридоров или кухонь, скрытых в густой заросли.

Из Большого Трианона, резиденции Людовика XV, в малый дворец можно было пройти через огород, соединявший обе резиденции благодаря деревянному мосту.

Огород был засажен по плану Ла Кинтини. Именно через этот огород Людовик XV и повел де Шуазеля в Малый Трианон после описанного нами тяжелого заседания. Он хотел ему показать новые усовершенствования, предпринятые королем в связи с переездом в Малый Трианон дофина с супругой. Де Шуазель всем восхищался, все оценивал с проницательностью ловкого придворного. Он терпеливо выслушивал короля, а король говорил о том, что Малый Трианон день ото дня становится все красивее, в нем все приятнее становится жить. Министр приговаривал, что для его величества это – семейное гнездышко.

– Супруга дофина еще диковата, – говорил король, – как, впрочем, все молодые немки; она хорошо говорит по-французски, но опасается, что легкий акцент выдает в ней австриячку. В Трианоне она будет слышать только Друзей, а говорить будет только, когда пожелает.

– Из этого следует, что она будет говорить хорошо. Я), же отметил, что ее высочество обладает превосходными качествами и ей не в чем совершенствоваться.

Дорогой путешественники повстречали на одной из лужаек дофина, он определял высоту солнца.

Де Шуазель низко поклонился. Так как дофин ничего ему не сказал, он тоже промолчал.

Король произнес намеренно громко, так, чтобы его услышал внук:

– Людовик – ученый, но он не прав, что так усердно занимается науками, его супруга будет от этого страдать.

– Ничуть! – нежным голосом возразила молодая женщина, выходя из кустарника.

Король увидел, как к нему направилась принцесса, на ходу беседуя с каким-то господином, у которого обе руки были заняты бумагами, циркулями и карандашами.

– Сир, это господин Мик, мой архитектор, – представила принцесса своего спутника.

- А-а, вы тоже страдаете этой болезнью, сударыня? – заметил король.
- Сир, эта болезнь – наследственная.
- Вы собираетесь что-нибудь строить?
- Я хочу обставить этот огромный парк, где все скучают.
- Хо-хо! Дитя мое, вы слишком громко говорите, вас может услышать дофин.
- Тут мы с ним единоклюшны, батюшка, – возразила принцесса.
- Вы вместе скучаете?
- Нет, мы пытаемся найти развлечения.
- И поэтому ваше высочество собирается заняться строительством? – спросил де Шуазель.
- Я хочу превратить парк в сад, ваша светлость.
- Бедный Ленотр! – проговорил король.
- Ленотр был великим человеком для ее – его времени, Что же касается моих вкусов...
- А что вы любите, сударыня?
- Природу.
- Как все философы.
- Или как англичане.
- Не говорите этого при Шуазеле, иначе он объявит вам войну. Он направит против вас шестьдесят четыре корабля и сорок фрегатов своего кузена де Праслена.
- Я закажу план естественного сада господину Роберу, – сообщила дофина, – это очень подходящий человек для подобного рода поручений.
- Что вы называете естественным садом? – спросил король. – Я думал, что деревья, цветы и даже фрукты – вот как эти, я подобрал их по пути сюда – все это вещи более чем естественные.
- Сир, если вы будете здесь гулять сто лет, вы увидите все те же неизменные прямые аллеи, горные массивы, строго поднимающиеся под углом в сорок пять градусов, как говорит его высочество, бассейны, газоны, посаженные в шахматном порядке деревья или террасы.
- Ну и что же, это некрасиво?
- Это неестественно.
- Полюбуйтесь на эту девочку, обожающую природу! – проговорил король скорее добродушно, нежели весело. – Посмотрим, что вы сделаете из моего Трианона.
- Тут будут реки, каскады, мосты, гроты, скалы, леса, лощины, домики, горы, прерии.
- Это все для кукол, наверное? – спросил король.
- Нет, сир, для королей – таких, какими нам суждено стать, – возразила принцесса, не замечая выступившей на щеках короля краски, как не заметила она и того, что сама себе предсказывала страшное будущее.
- Итак, вы собираетесь перевернуть все вверх дном, Однако что же вы будете строить?
- Я сохранию все, что было прежде.
- Хорошо еще, что вы не собираетесь населить эти леса и реки индейцами, эскимосами и гренландцами. Они вели бы здесь естественный образ жизни, и господин Руссо называл бы их детьми природы... Сделайте это, дочь моя, и вас станут обожать энциклопедисты.
- Сир, мои слуги замерзли бы в этом помещении.
- Где же вы их поселите, если собираетесь все разломать? Ведь не во дворце же: там едва хватит места вам двоим.
- Я оставляю службы в нынешнем виде.
- Принцесса указала на окна описанного нами коридора.
- Кого я там вижу? – спросил король, загоразиваясь рукой от солнца.
- Какая-то женщина, сир, – отвечал де Шуазель.
- Эту девушку я принимаю к себе на службу, – пояснила принцесса.
- Мадмуазель де Таверне, – заметил Шуазель, пристально взглянув на окно.
- А-а, так у вас здесь живут Таверне?
- Только мадмуазель де Таверне, сир.
- Очаровательная девушка. Чем она занимается?
- Она моя чтица.

– Прекрасно! – воскликнул король, не сводя глаз с зарешеченного окна, у которого с невинным видом стояла мадмуазель де Таверне, не подозревая о том, что на нее смотрят. Она была еще бледна после болезни.

– До чего бледненькая! – заметил де Шуазель.

– Ее чуть было не задавили тридцать первого мая, ваша светлость.

– Неужели? Бедная девочка! – проговорил король. – Биньон заслужил ее неудовольствие.

– Она вам нравится? – с живостью спросил де Шуазель.

– Да, ваша светлость.

– Ну вот, она уходит, – заметил король.

– Должно быть, она узнала ваше величество: она очень застенчива.

– Давно она у вас?

– Со вчерашнего дня, сир; переезжая, я пригласила ее к себе.

– Печальное жилище для хорошенькой девушки, – продолжал Людовик XV. – Этот чертов Габриель не подумал о том, что деревья вырастут и скроют дом от служб: теперь ничего нельзя разобрать.

– Да нет, сир, уверяю вас, что дом вполне подходит для жилья.

– Этого не может быть, – возразил Людовик XV.

– Не желает ли ваше величество сам в этом убедиться? – предложила принцесса, ревниво следившая за тем, чтобы ее дому отдавали должное.

– Хорошо. Вы пойдете, Шуазель?

– Сир, сейчас два часа. В половине третьего у меня совет в Парламенте. Я едва успею вернуться в Версаль...

– Ну хорошо, идите, герцог, идите и хорошенько потряхните этих англичан. Принцесса! Покажите мне комнаты, прошу вас! Я обожаю интерьеры!

– Прошу вас сопровождать нас, господин Мик, – обратилась принцесса к архитектору, – у вас будет случай услышать мнение его величества, который так хорошо во всем разбирается.

Король пошел вперед, принцесса последовала за ним.

Они поднялись на невысокую паперть часовни, оставив в стороне проход во двор.

По левую руку у них осталась дверь в часовню, с другой стороны прямая строгая лестница вела в коридор дворца.

– Кто здесь проживает? – спросил Людовик XV.

– Пока никто, сир.

– Взгляните: в первой двери – ключ.

– Да, вы правы: мадмуазель де Таверне перевозит сегодня вещи и переезжает.

– Сюда? – спросил король, указав на дверь.

– Да, сир.

– Так она у себя? В таком случае, не пойдём.

– Сир, она только что вышла, я видела ее под навесом, во внутреннем дворике.

– Тогда покажите мне ее жилище.

– Как вам будет угодно, – отвечала принцесса. Проведя короля через переднюю и два кабинета, она ввела его в комнату.

В комнате уже было расставлено кое-что из мебели, книги, клавиесин. Внимание короля привлек огромный букет великолепных цветов, который мадмуазель де Таверне успела поставить в японскую вазу.

– Какие красивые цветы! – заметил король. – А вы собираетесь изменить сад... Кто же снабжает ваших людей такими цветами? Почему бы не оставить их для вас?

– Да, в самом деле, прекрасный букет!

– Садовник благоволил к мадмуазель де Таверне... Кто у вас садовник?

– Не знаю, сир. Этими вопросами ведаёт господин де Жюсье.

Король обвел комнату любопытным взглядом, выглянул наружу, во двор, и вышел.

Его величество отправился через парк в Большой Трианон. Около входа его ждали лошади: после обеда он собирался отправиться в карете на охоту и пробывать там с трех до шести часов ве-

вчера.

Дофин по-прежнему измерял высоту солнца.

Глава 9. ЗАГОВОР ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ

Пока его величество прогуливался в саду Трианона в ожидании охоты, а заодно и, не теряя времени даром, старался успокоить де Шуазеля, Люсьенн превратился в место сбора испуганных заговорщиков, слетавшихся к графине Дю Барри подобно птицам, учувшим порох охотника.

Обменявшись продолжительными взглядами, в которых сквозило нескрываемое раздражение, Жан и маршал де Ришелье вспорхнули первыми.

За ними последовали рядовые фавориты, привлеченные немилостью, в которую едва не впали Шуазели; однако, напуганные возвращенной ему королевской милостью и лишенные поддержки министра, они все же возвращались в Люсьенн, чтобы посмотреть, довольно ли еще крепко дерево и можно ли за него уцепиться, как раньше.

Утомленная своими дипломатическими ухищрениями и лаврами обманчивого триумфа, графиня Дю Барри отдыхала после обеда. Вдруг раздался страшный грохот, и во двор, словно ураган, влетела карета Ришелье.

– Хозяйка Дю Барри спит, – невозмутимо проговорил Замор.

Жан с такой силой отшвырнул его ногой, что дворецкий в расшитом костюме покатился по коврику.

Замор пронзительно, закричал.

Прибежала Шон.

– Как вам не стыдно обижать мальчика, грубиян! – воскликнула она.

– Я и вас вышвырну вон, если вы немедленно не разбудите графиню! – пригрозил он.

Но графиню не нужно было будить: услышав крик Замора и громовые раскаты голоса Жана, она почувствовала неладное и, накинув пеньюар, бросилась в приемную.

– Что случилось? – спросила она, с ужасом глядя на то, как Жан развалился на софе, чтобы прийти в себя от раздражения, а маршал даже не притронулся к ее руке.

– Дело в том..., в том..., черт подери! Дело в том, что Шуазель остался на своем месте.

– Как?!

– Да, и сидит на нем тверже, чем когда бы то ни было, тысяча чертей!

– Что вы хотите этим сказать?

– Граф Дю Барри прав, – подтвердил Ришелье, – герцог де Шуазель силен, как никогда!

Графиня выхватила спрятанную на груди записку короля.

– А это что? – с улыбкой спросила она.

– Вы хорошо прочитали, графиня? – спросил маршал.

– Но..., я умею читать, – отвечала графиня.

– В этом я не сомневаюсь, однако позвольте мне тоже взглянуть...

– Ну разумеется! Читайте!

Герцог взял бумагу, развернул ее и медленно прочел:

«Завтра я поблагодарю де Шуазеля за его услуги. Можете в этом не сомневаться. Людовик».

– Ведь все ясно, не правда ли? – спросила графиня.

– Яснее быть не может, – поморщившись, отвечал маршал.

– Ну так что же? – спросил Жан.

– Да ничего особенного: победа ожидает нас завтра, ничто еще не потеряно.

– Как завтра? Но король написал это вчера. Значит «завтра» – это сегодня.

– Прошу прощения, сударыня, – заметил герцог, – так как письмо не датировано, «завтра» навсегда останется днем, следующим за тем, в который вы пожелаете увидеть свержение де Шуазеля. На улице Гранж-Бательер, в ста шагах от моего дома, есть кабаре, а на нем – вывеска, на которой красными буквами написано: «У нас будут отпускать в кредит завтра». «Завтра» – значит «никогда».

- Король над нами посмеялся! – воскликнул разгневанный Жан.
- Этого не может быть, – прошептала ошеломленная графиня, – не может быть: такое мошенничество недостойно...
- Ах, графиня, его величество – любитель пошутить! – сказал Ришелье.
- Герцог мне за это заплатит, – продолжала графиня в приступе ярости.
- Не стоит за это сердиться на короля, графиня, не следует обвинять его величество в подлоге или в надувательстве, нет, король исполнил, что обещал.
- Что за чепуха! – обронил Жан, удивленно пожав плечами.
- Что обещал? – вскричала графиня. – Поблагодарить Шуазеля?
- Вот именно, графиня. Я сам слышал, как его величество благодарил герцога за услуги. Знаете, ведь это можно понять по-разному: в дипломатии каждый понимает так, как ему нравится. Вы поняли так, а король – иначе. Таким образом, даже «завтра» уже не вызывает споров; по-вашему, именно сегодня король должен был выполнить свое обещание: он его выполнил. Я сам слышал, как он благодарил де Шуазеля.
- Герцог! Мне кажется, сейчас не время шутить.
- Уж не думаете ли вы, графиня, что я шучу? Спросите у графа Жана.
- Нет, черт возьми, нам не до смеха! Нынче утром король обнял Шуазеля, приласкал, угостил его, а сию минуту они вдвоем гуляют под ручку по Трианону.
- Под ручку! – повторила Шон, проскользнув в кабинет и воздев руки к небу, подобно ново-явленной отчаявшейся Ниобее.
- Да, меня провели! – проговорила графиня. – Однако мы еще посмотрим... Шон, прикажи расседлать лошадей: я не еду на охоту.
- Прекрасно! – воскликнул Жан.
- Одну минуту! – остановил его Ришелье. – Не надо поспешных решений, не надо капризов... Ах, простите, графиня; я, кажется, позволил себе давать вам советы. Прошу прощения.
- Продолжайте, герцог, не стесняйтесь. Мне кажется, я потеряла голову. Вот что получается: я не хочу заниматься политикой, а когда наконец решаюсь вмешаться, получаю удар по самолюбию. Так что вы говорите?
- Я говорю, что сейчас не время капризничать. Послушайте, графиня: положение трудное. Если король дорожит Шуазелями, если на него оказывает влияние супруга дофина, если он так резко рвет отношения, значит...
- Что «значит»?
- Значит, надо стать еще любезнее, графиня. Я знаю, что это невозможно, однако невозможное становится в нашем положении необходимостью: так сделайте невозможное!
- Графиня задумалась.
- Потому что иначе, – продолжал герцог, – король может усвоить немецкие нравы!
- Как бы он не стал добродетельным! – в ужасе вскричал Жан.
- Кто знает, графиня? – вымолвил Ришелье. – Новое всегда так притягательно!
- Ну, в это я не верю! – возразила графиня, отказываясь понимать герцога.
- Случались на свете вещи и более невероятные, графиня; недаром существует выражение: волк в овечьей шкуре... Одним словом, не надо капризничать.
- Не следовало бы, – поддакнул Жан.
- Но я задыхаюсь от гнева!
- Еще бы, черт побери! Задыхайтесь, графиня, но так, чтобы король, а вместе с ним и господин де Шуазель ничего не заметили. Задыхайтесь, когда вы с нами, но дышите, когда вас видят они!
- И мне следует ехать на охоту?
- Это было бы весьма кстати!
- А вы, герцог?
- Если бы мне пришлось бежать за охотой на четвереньках, я бы и то за ней последовал.
- Тогда в моей карете! – вскричала графиня, чтобы посмотреть, какое выражение лица будет у ее союзника.

- Графиня, – отвечал герцог с жеманством, скрывавшим его досаду, – эта честь для меня столь велика, что...
- Что вы отказываетесь, не так ли?
- Боже сохрани!
- Будьте осторожны: вы бросаете на себя тень.
- Мне бы этого не хотелось.
- Он сознался. Он имеет смелость в этом сознаться! – вскричала Дю Барри.
- Графиня! Графиня! Де Шуазель никогда мне этого не простит!
- А вы уже в хороших отношениях с де Шуазелем?
- Графиня! Графиня! Разрыв поссорил бы меня с супругой дофина.
- Вы предпочитаете, чтобы мы вели войну порознь и не деля трофеев? Еще есть время. Вы не запятнаны, и вы еще можете выйти из заговора.
- Вы меня не знаете, графиня, – отвечал герцог, целуя ей ручку. – Вы заметили, чтобы я колебался в день вашего представления ко двору, когда нужно было найти платье, парикмахера, карету? Вот так же и сегодня я не стану колебаться. Я смелее, чем вы думаете, графиня.
- Ну, значит, мы уговорились. Мы вместе отправимся на охоту, и под этим предлогом мне не придется ни с кем встречаться, никого выслушивать, ни с кем разговаривать.
- Даже с королем?
- Напротив, я хочу с ним пококетничать и довести его этим до отчаяния.
- Браво! Вот прекрасная война!
- А вы, Жан, что делаете? Да покажитесь же из-за подушек, вы погребаете себя живым, друг мой!
- Что я делаю? Вам хочется это знать?
- Ну да, может, нам это пригодится.
- Я размышляю...
- О чем?
- Я думаю, что в этот час все куплетисты города и окрестностей высмеивают нас на все лады; что «Нувель а ла Мен» нас разрезают, словно пирог; что «Газетье кирассе» знает наше самое больное место; что «Журналь дез Обсерватер» видит нас насквозь; что, наконец, завтра мы окажемся в таком плачевном состоянии, что даже Шуазель нас пожалеет.
- Что вы предлагаете?
- Я собираюсь в Париж, хочу купить немного корпии и побольше целебной мази, чтобы было что наложить на наши раны. Дайте мне денег, сестричка.
- Сколько? – спросила графиня.
- Самую малость: две-три сотни.
- Видите, герцог, – проговорила графиня, обратившись к Ришелье, – я уже оплачиваю военные расходы.
- Это только начало кампании, графиня: что посеете сегодня, то пожнете завтра.
- Пожав плечами, графиня встала, подошла к шкафу, открыла его, достала оттуда пачку банковских билетов и, не считая, передала их Жану. Он, также не считая, с тяжелым вздохом засунул их в карман.
- Потом он встал, потянулся так, что кости затрещали, словно он падал от усталости, и прошелся по комнате.
- Вы-то будете развлекаться на охоте, – с упреком в голосе произнес он, указывая на герцога и графиню, – а я должен скакать в Париж. Они будут любоваться нарядными кавалерами и дамами, а мне придется смотреть на отвратительных писак. Решительно, я приживальщик.
- Обратите внимание, герцог, – проговорила графиня, – что он не будет мною заниматься. Половину моих денег он отдаст какой-нибудь потаскушке, а другую проиграет в кабаке. Вот что он сделает! И он еще стонет, несчастный! Послушайте, Жан, ступайте вон, вы мне надоели.
- Жан опустошил три бонбоньерки, ссыпав их содержимое в карманы, стащил с этажерки китайскую статуэтку с бриллиантами вместо глаз и величественной поступью вышел, подгоняемый раздраженными криками графини.

– Загляденье! – заметил Ришелье тоном, каким обыкновенно льстец говорит о страшилище, которому про себя желает, чтобы тот свернул себе шею. – Он дорого вам обходится... Не правда ли, графиня?

– Как вы верно заметили, герцог, он окружил меня своей заботой, и она ему приносит три-четыре сотни тысяч ливров в год.

Зазвонили часы.

– Половина первого, графиня, – сказал герцог. – К счастью, вы почти готовы. Покажитесь на минутку своим придворным – они уж, верно, подумали, что наступило затмение, и пойдемте в карету. Вы знаете, как будет проходить охота?

– Мы с его величеством обсудили это вчера: он отправится в лес Марли, а меня захватит по пути.

– Я уверен, что король ничего не изменит в распорядке.

– Теперь расскажите о своем плане, герцог. Настала ваша очередь.

– Вчера я написал своему племяннику, который, кстати сказать, должен быть уже в дороге, если верить моим предчувствиям.

– Вы говорите о д'Эгийоне?

– Да. Я был бы удивлен, если бы узнал, что завтра мое письмо не встретит его в пути. Думаю, что завтра или, самое позднее, послезавтра, он будет здесь.

– Вы на него рассчитываете?

– Да, графиня, у него светлая голова.

– Зато мы больны! Король, может быть, и уступил было у него панический страх перед необходимостью заниматься делами.

– До такой степени, что...

– До такой степени, что я трепещу при мысли, что он никогда не согласится принести в жертву де Шуазеля.

– Могу ли я быть с вами откровенным, графиня?

– Разумеется.

– Знаете, я тоже в это не верю. Король способен хоть сто раз повторить вчерашнюю шутку, ведь его величество так остроумен! Вам же, графиня, не стоит рисковать любовью и слишком упрячиться.

– Над этим стоит подумать.

– Вы сами видите, графиня, что де Шуазель будет сидеть на своем месте вечно. Чтобы его сдвинуть, должно произойти по меньшей мере чудо.

– Да, именно чудо, – повторила Жанна.

– К несчастью, люди разучились творить чудеса, – отвечал герцог.

– А я знаю такого человека, который еще способен на чудо, – возразила Дю Барри.

– Вы знаете человека, который умеет творить чудеса, графиня?

– Да, могу поклясться!

– Вы никогда мне об этом не говорили.

– Я вспомнила о нем сию минуту, герцог.

– Вы полагаете, что он может нас выручить?

– Я его считаю способным на все.

– Ого! А что он такого сделал? Расскажите, графиня, приведите пример.

– Герцог! – обратилась к нему графиня Дю Барри, приблизившись и невольно понизив голос. – Этот человек десять лет тому назад повстречался мне на площади Людовика Пятнадцатого и сказал, что мне суждено стать королевой Франции.

– Да, это действительно необычно. Этот человек мог бы мне предсказать, умру ли я премьер-министром.

– Вот видите!

– Я ничуть не сомневаюсь. Как его зовут?

– Его имя ничего вам не скажет.

– Где он сейчас?

- Этого я не знаю.
 - Он не дал вам своего адреса?
 - Нет, он сам должен был явиться за вознаграждением.
 - Что вы ему обещали?
 - Все, чего он потребует.
 - И он не пришел?
 - Нет.
 - Графиня! Это – большее чудо, чем даже его предсказание. Решительно, нам нужен этот человек.
 - Да, но что нам делать?
 - Его имя, графиня, имя!
 - У него их два.
 - Начнем по Порядку: первое?
 - Граф Феникс.
 - Тот самый господин, которого вы мне показали в день вашего представления?
 - Совершенно верно.
 - Этот пруссак?
 - Да.
 - Что-то мне не верится! У всех известных мне колдунов имена оканчивались на «и» или «о».
 - Какое совпадение, герцог! Другое его имя оканчивается так, как вам хочется.
 - Как же его зовут?
 - Джузеппе Бальзамо.
 - Неужели у вас нет никакого средства его разыскать?
 - Я подумаю, герцог. Мне кажется, среди моих знакомых есть такие, кто его знает.
 - Отлично! Однако следует поторопиться, графиня. Уже без четверти час.
 - Я готова. Карету!
- Спустя десять минут графиня Дю Барри и герцог де Ришелье уехали на охоту.

Глава 10. ОХОТА НА КОЛДУНА

Длинная вереница карет тянулась по всей аллее в лесу Марли, где король собирался поохотиться.

Это была, что называется, послеобеденная охота.

Людовик XV в последние годы жизни не охотился больше с ружьем, не занимался псовой охотой. Он довольствовался зрелищем.

Те из наших читателей, кому доводилось читать Плутарха, помнят, быть может, повара Марка Антония, который каждый час насаживал кабана на вертел, чтобы из пяти-шести поджаривавшихся кабанов хотя бы один был любую минуту готов к тому времени, когда Марк Антоний сядет за стол.

Конечно, Марк Антоний управлял Малой Азией, и у него было великое множество дел: он вершил суд, а так как сицилийцы – большие мошенники – подтверждением тому являются слова Ювеналия, – Марк Антоний действительно был очень занят. И у него всегда были наготове пять-шесть жарких на вертеле на случай, если его обязанности судьи позволят ему съесть кусочек.

У Людовика XV был в точности такой же обычай. Для послеобеденной охоты ему отлавливали накануне две-три лани и выпускали их с промежутком в час; одну из них король мог подстрелить в зависимости от расположения духа либо в самом начале охоты, либо позже.

В этот день его величество объявил, что будет охотиться до четырех часов. Итак, была выбрана лань, выпущенная в полдень: она должна была за это время успеть прибыть к месту охоты.

Графиня Дю Барри дала себе слово так же преданно следовать за королем, как сам король обещал следовать за ланью.

Однако человек предполагает, а Бог располагает. Непредвиденное стечение обстоятельств

изменило хитроумный план графини Дю Барри.

Случай оказался для нее почти столь же капризным противником, как она сама.

Итак, графиня догоняла короля, беседуя о политике с герцогом де Ришелье, а король догонял лань. Герцог и графиня раскланивались с встречавшимися по дороге знакомыми. Вдруг они заметили шагах в пятидесяти от дороги, под восхитительным навесом из листвы, разбитую вдребезги коляску, опрокинутую колесами кверху; два вороных коня в это время мирно пощипывали один – кору бука, другой – мох, росший у него под копытами.

Лошади графини Дю Барри – великолепная упряжка, подарок короля – оставили далеко позади все другие экипажи и первыми подъехали к разбитой коляске.

– Смотрите, какое несчастье! – спокойно обронила графиня.

– Да, в самом деле, – согласился герцог де Ришелье с тою же невозмутимостью: при дворе сентиментальность была не в чести, – да, коляска разбита вдребезги.

– Уж не мертвый ли вон там, в траве? – продолжала графиня. – Взгляните, герцог.

– Не думаю: там что-то шевелится.

– Мужчина или женщина?

– Я плохо вижу.

– Смотрите: нам кланяются!

– Ну, значит, живой!

Ришелье на всякий случай приподнял треуголку.

– Графиня! – пробормотал он. – Мне кажется, я узнаю...

– Я тоже.

– Это его высокопреосвященство принц Людовик. – Да, кардинал де Роан.

– Какого черта он здесь делает? – спросил герцог.

– Давайте посмотрим, – отвечала графиня. – Шампань, к разбитой карете, живо!

Кучер графини свернул с дороги и поехал среди высоких деревьев.

– Могу поклясться, что это действительно кардинал, – подтвердил Ришелье.

В самом деле, это был его высокопреосвященство; он разлегся в траве, ожидая, когда покажется кто-нибудь из знакомых.

Увидев, что графиня Дю Барри к нему приближается, он поднялся на ноги.

– Мое почтение, графиня! – проговорил он.

– Как, это вы, кардинал?

– Я самый.

– Пешком?

– Нет, сидя.

– Вы не ранены?

– Ничуть.

– А каким образом вы оказались в таком положении?

– Не спрашивайте, графиня. Ах, эта скотина, мой кучер! И я еще вывез этого бездельника из Англии!.. Я приказал ему ехать напрямик через лес, чтобы нагнать охоту, а он так круто повернул, что вывалил меня и разбил мою лучшую карету.

– Не стоит горевать, господин кардинал, – молвила графиня, – французский кучер разбил бы вам голову или, по крайней мере, переломал бы ребра.

– Возможно, вы правы.

– Ну так утешьтесь поскорее!

– Я рассуждаю философски, графиня. Вот только я буду вынужден ждать, а это смерти подобно.

– Зачем же ждать, принц? Роан будет ждать?

– Придется!

– Нет, я скорее сама выйду из кареты, нежели оставлю вас здесь.

– Признаться, мне неловко, графиня.

– Садитесь, принц, садитесь.

– Благодарю вас, графиня. Я подожду Субиза, он участвует в охоте и непременно должен

здесь проехать с минуты на минуту.

- А если он поехал другой дорогой?
- Это не имеет значения.
- Ваше высокопреосвященство, прошу вас!
- Нет, благодарю.
- Да почему?
- Мне не хочется вас стеснять.

– Кардинал! Если вы откажетесь сесть в карету, я прикажу выездному лакею нести за мной шлейф и побегу по лесу, подобно дриаде.

Кардинал улыбнулся и подумал, что, если он станет упорствовать, это может быть дурно истолковано графиней. Он решился сесть в ее карету.

Герцог уступил место на заднем сиденье и перешел на переднее.

Кардинал упорствовал, но герцог был непреклонен.

Вскоре лошади графини наверстали упущенное время.

– Прошу прощения, – обратилась графиня к кардиналу, – вы, ваше высокопреосвященство, значит, примирились с охотой?

– Что вы хотите этим сказать?

– Дело в том, что я впервые вижу, чтобы вы принимали участие в этой забаве.

– Да нет, графиня! Я прибыл в Версаль, чтобы засвидетельствовать свое почтение его величеству, а мне доложили, что он на охоте. Мне необходимо было переговорить с ним об одном неотложном деле. Я бросился ему вдогонку, однако из-за этого проклятого кучера я не только лишился аудиенции у короля, но и опоздаю на свидание в городе.

– Видите, графиня, – со смехом заметил герцог, – господин кардинал откровенно вам признается..., у господина кардинала свидание...

– И повторяю: я на него опаздываю, – проговорил кардинал.

– Разве Роан, принц, кардинал, может куда-нибудь не успеть? – спросила графиня.

– Да, если только не произойдет чудо! Герцог и графиня переглянулись: это слово напомнило им о недавнем разговоре.

– Знаете, принц, раз уж вы заговорили о чудесах, я вам признаюсь откровенно: я очень рада встретить его высокопреосвященство и спросить, верит ли он в это.

– Во что, графиня?

– В чудеса, черт подери! – воскликнул герцог.

– Священное писание учит нас в них верить, графиня, – отвечал кардинал, постаравшись принять благочестивый вид.

– Я не говорю о древних чудесах, – продолжала наступление графиня.

– Какие же чудеса вы имеете в виду?

– Современные.

– Таковые встречаются значительно реже, – молвил кардинал, – однако...

– Однако?

– Могу поклясться, я видел нечто такое, что может быть названо если и не чудесным, то по крайней мере невероятным.

– Вы что-нибудь подобное видели, принц?

– Клянусь честью, да.

– Но вам хорошо известно, сударыня, – со смехом проговорил Ришелье, – что его высокопреосвященство, как говорят, связан с духами, и, вероятно, это не так уж далеко от истины.

– К сожалению, нет, хотя нам это было бы на руку, – заметила графиня.

– А что вы видели, принц?

– Я поклялся молчать.

– Ого! Это уже серьезно.

– Да, графиня.

– Однако, поклявшись сохранять в тайне колдовство, вы, может быть, не обещали молчать о самом колдуне?

– Нет.

– Ну что же, принц, надобно вам сказать, что мы с герцогом намеревались заняться чарами одного колдуна.

– Неужели?

– Честное слово!

– Тогда берите моего колдуна.

– Мне только этого и надо.

– Он к вашим услугам, графиня – И к моим, принц?

– И к вашим, герцог.

– Как его зовут?

– Граф Феникс.

Графиня Дю Барри и герцог переглянулись и побледнели.

– Как это странно! – в один голос воскликнули они.

– Вы его знаете? – спросил принц.

– Нет. А вы его считаете колдуном?

– Более чем колдуном.

– Вы с ним говорили?

– Разумеется.

– И как вы его нашли?..

– Он великолепен.

– По какому же поводу вы к нему обращались?

– Но...

Кардинал колебался.

– Я просил его мне погадать.

– Он верно угадал?

– Он сообщил мне то, о чем никто не может знать.

– Нет ли у него другого имени, кроме графа Феникса?

– Отчего же нет? Я слышал, как его называли...

– Говорите же, ваше высокопреосвященство! – в нетерпении воскликнула графиня.

– Джузеппе Бальзамо.

Графиня сложила руки и взглянула на Ришелье. Тот почесал кончик носа и бросил взгляд на графиню.

– А что, дьявол в самом деле черный? – неожиданно спросила графиня.

– Дьявол, графиня? Я его не видел.

– Зачем вы у него об этом спрашиваете, графиня? – вскричал Ришелье. – Ничего себе, хорошенькая компания для кардинала!

– А вам гадают, не показывая сатану? – спросила графиня.

– Ну разумеется! – отвечал кардинал. – Сатану показывают простолюдинам; когда имеют дело с нами, обходятся и без него.

– Что бы вы ни говорили, принц, – продолжала графиня Дю Барри, – во всем этом есть какая-то чертовщина!

– Ну еще бы! Я тоже так думаю!

– Зеленые огоньки, не так ли? Привидения, адский котел, из которого отвратительно несет горелым?

– Ничуть не бывало! У моего колдуна прекрасные манеры. Это галантный кавалер, и он оказывает прекрасный прием.

– Не желаете ли заказать у этого колдуна свой гороскоп, графиня? – спросил Ришелье.

– Признаться, я сгораю от нетерпения!

– Ну так закажите, графиня!

– А где это все происходит? – спросила графиня Дю Барри в надежде, что кардинал даст ей необходимые сведения.

– В очаровательной комнате, весьма кокетливо меблированной.

Графине большого труда стоило скрыть свое нетерпение.

– Прекрасно! А дом?

– Дом вполне благопристойного вида, хотя и несколько странной архитектуры.

Графиня постукивала ножкой от досады, что ее не понимают.

Ришелье пришел ей на помощь.

– Разве вы не видите, ваше высокопреосвященство, – заговорил он, – что графиня вне себя оттого, что до сих пор не знает, где живет ваш колдун?

– Где он живет, вы спрашиваете?

– Да.

– А-а, прекрасно! – отвечал кардинал. – Однако... Погодите-ка..., нет..., да..., нет... Это в Маре, почти на углу бульвара и улицы Сен-Франсуа, Сен-Анастас..., нет. В общем, имя какого-то святого.

– Да, но какого? Вы-то всех их должны знать!..

– Нет, я, напротив, знаю их очень плохо, – признался кардинал. – Впрочем, погодите: мой бестолковый лакей должен это знать.

– Ну конечно! – воскликнул герцог. – Мы его посадили на запятках. Остановите, Шампань, стойте!

Герцог подергал за веревочку, привязанную к мизинцу кучера.

Кучер резко осадил нервных коней.

– Олив! – обратился кардинал к лакею. – Ты здесь, бездельник?

– Здесь, ваше высокопреосвященство.

– Ты не помнишь, где я был недавно в Маре поздно вечером?

Лакей отлично слышал весь разговор, но сделал вид, что не понимает, о чем идет речь.

– В Маре?... – переспросил он, словно пытаясь припомнить.

– Ну да, рядом с бульваром.

– А когда это было, ваше высокопреосвященство?

– В тот день, когда я возвращался из Сен-Дени.

– Из Сен-Дени? – повторил Олив, набивая себе цену и вместе с тем стараясь, чтобы все выглядело естественно.

– Ну да, из Сен-Дени. Карета меня ждала на бульваре, если не ошибаюсь.

– Припоминаю, ваше высокопреосвященство, припоминаю. Еще какой-то человек бросил мне в карету очень тяжелый мешок. Вот теперь вспомнил.

– Может быть, это все так и было, – заметил кардинал, – но кто тебя спрашивает об этом, скотина?

– А что угодно знать вашему высокопреосвященству?

– Название улицы.

– Сен-Клод, ваше высокопреосвященство.

– Клод! Верно! – вскричал кардинал. – Я же говорил, что какой-то святой!

– Улица Сен-Клод! – повторила графиня, бросив на Ришелье такой выразительный взгляд, что маршал, опасаясь по обыкновению, как бы кто не разгадал его тайны, особенно когда дело касалось заговора, прервал графиню, обратившись к ней со словами:

– Смотрите, графиня: король!

– Где?

– Вон там.

– Король! Король! – закричала графиня. – Левее, Шампань, сворачивай налево, чтобы его величество нас не заметил.

– Почему, графиня? – спросил озадаченный кардинал. – Я полагал, напротив, что вы меня везете к его величеству.

– Да, правда, вы же хотите видеть короля!..

– Я за этим и приехал, графиня.

– Ну хорошо, вас отвезут к королю.

– А вас?

– А мы останемся здесь.

– Но, графиня...

– Не стесняйтесь, принц, умоляю вас: у каждого могут быть свои дела. Король сейчас вон там, в каштановой роще. У вас есть дело к королю – ну и чудесно. Шампань!

Шампань резко осадил коней.

– Шампань! Дайте нам выйти и отвезите его высокопреосвященство к королю.

– Как! Я поеду один, графиня?

– Вы же просили у короля аудиенции, господин кардинал!

– Да, просил.

– Так у вас будет возможность поговорить с ним с глазу на глаз.

– Вы чересчур добры ко мне.

Прелат галантно склонился к ручке графини Дю Барри.

– Куда же вы сами решили удалиться, графиня? – спросил он.

– Да вот сюда, под дуб.

– Король будет вас разыскивать.

– Тем лучше.

– Он будет обеспокоен тем, что вас нет.

– Я буду только рада, если он помучается.

– Вы восхитительны, графиня.

– Именно это и говорит мне король, когда я его мучаю. Шампань! После того, как вы отвезете его высокопреосвященство, возвращайтесь галопом.

– Слушаюсь, ваше сиятельство.

– Прощайте, герцог, – проговорил кардинал.

– До свидания, ваше высокопреосвященство, – отозвался герцог.

Лакей откинул подножку кареты. Герцог сошел вместе с графиней, соскочившей так легко, словно она сбежала из монастыря, а его высокопреосвященство покатило в карете к пригорку, где стоял его величество Людовик Благочестивый и подслеповатыми глазами высматривал злодейку-графиню, которую видели все, только не он.

Графиня Дю Барри не стала терять времени даром. Она взяла герцога за руку и потащила за собой в кусты.

– Знаете, – сказала она, – сам Господь послал нам драгоценного кардинала!

– Чтобы Самому хоть на минутку от него отдохнуть, насколько я понимаю, – отвечал герцог.

– Нет, чтобы направить нас по следу того человека.

– Так мы к нему поедem?

– Конечно! Вот только...

– Что такое, графиня?

– Признаться, я побаиваюсь.

– Кого?

– Да колдуна! Я ужасная трусиха.

– А, черт!

– А вы верите в колдунов?

– Не могу сказать, что не верю, графиня. – Помните мою историю с предсказанием?

– Это весьма убедительно. Да я и сам... – начал было старый маршал, покрутив ухо – Что вы сами?..

– Я сам знал одного колдуна...

– Да что вы?

– Однажды он оказал мне огромную услугу.

– Какую, герцог?

– Он меня вернул к жизни.

– Вернул к жизни! Вас?

– Ну разумеется! Ведь я был мертв, мне пришел конец.

– Расскажите, как было дело, герцог.

– Тогда давайте спрячемся.

- Герцог, вы ужасный трусишка!
 - Да нет, всего-навсего осторожен.
 - Вот здесь будет хорошо?
 - Думаю, что да.
 - Ну, рассказывайте скорее свою историю!
 - Слушайте. Дело было в Вене, в те времена, когда я был там послом. Однажды ночью, под фонарем, я получил удар шпагой. Шпага принадлежала обманутому мужу. В общем, дело нечистое. Я упал. Меня подняли, я был мертв.
 - Как мертвы?
 - Могу поклясться, что было именно так или почти так. Мимо идет колдун и спрашивает, кто этот человек, которого несут хоронить. Ему говорят, кто я. Он приказывает остановить носилки, выливает мне на рану три капли сам не знаю чего, еще три капли на губы: кровь останавливается, дыхание возвращается, глаза раскрываются – и я здоров.
 - Это чудо, которое было угодно самому Богу, герцог.
 - Боюсь, что, напротив, – это дело рук дьявола.
 - Похоже, что так, маршал. Господь не стал бы спасать такого повесу, как вы: так вам и надо.
- Ваш колдун жив?
- В этом я сомневаюсь, если только он не знает секрета вечной молодости.
 - Как и вы, маршал?
 - Так вы верите в эти сказки?
 - Я всему верю. Он был очень стар?
 - Как Мафусаил.
 - Как его звали?
 - У него было красивое греческое имя: Альтотас.
 - Какое страшное имя, маршал.
 - Разве?
 - Герцог! Вон возвращается карета.
 - Превосходно!
 - Мы все обсудили?
 - Все!
 - Мы едем в Париж?
 - В Париж.
 - На улицу Сен-Клод?
 - Если угодно... Но ведь король ждет!..
 - Это могло бы послужить лишним поводом для того, чтобы я уехала, если бы, паче чаяния, у меня не хватило решимости. Он меня помучил, теперь его черед взбеситься!
 - Но он подумает, что вас украли или потеряли.
 - Тем более что меня видели с вами, маршал.
 - Послушайте, графиня, я тоже должен сознаться, что боюсь.
 - Чего?
 - Я боюсь, что вы об этом расскажете кому-нибудь и надо мной будут смеяться.
 - В таком случае смеяться будут над нами обоими, потому что я еду с вами.
 - Вы меня убедили, графиня. Кстати, если вы меня выдадите, я скажу, что...
 - Что вы скажете?
 - Я скажу, что мы ездили с вами вдвоем.
 - Вам не поверят, герцог.
 - Хе-хе, если бы не было его величества...
 - Шампань! Шампань! Сюда, в кусты, так, чтобы нас не видели. Жермен, дверцу! Вот так, А теперь – в Париж, улица Сен-Клод в Маре. Гони во весь опор!

Глава 11. КУРЬЕР

Было шесть часов вечера.

В одной из комнат на улице Сен-Клод, уже знакомой нашим читателям, возле пробудившейся Лоренцы сидел Бальзамо и пытался силой убеждения вразумить ее, так как она не поддавалась ни на какие его уговоры.

Однако молодая женщина смотрела на него искоса, как Дидона на готового уйти Энея, не переставала его упрекать и поднимала руки лишь для того, чтобы его оттолкнуть.

Она жаловалась на то, что была пленницей, рабыней, что не могла больше свободно дышать, не видела солнца. Она завидовала судьбе простых людей, она хотела бы стать вольной пташкой, цветком. Она называла Бальзамо тираном.

Потом она переходила от упреков к ненависти. Она рвала в клочья дорогие ткани, которые дарил ей супруг в надежде порадовать ее в вынужденном одиночестве.

Бальзамо обращался с ней ласково и смотрел на нее с нескрываемой любовью. Было очевидно, что это слабое, измученное существо занимает огромное место в его сердце, а может быть, и во всей его жизни.

– Лоренца! – говорил он ей. – Девочка моя милая, почему вы смотрите на меня как на врага? Зачем сопротивляетесь? Почему вы не хотите быть мне доброй и верной подругой? Ведь я так вас люблю! У вас было бы все, что угодно, вы были бы свободны и нежились бы в лучах солнца вместе с цветами, о которых недавно говорили, вы распростерли бы крылышки не хуже тех птиц, которым вы завидовали. Мы всюду ходили бы вдвоем, и вы увидели бы не только желанное солнце, но и людей в лучах славы, побывали бы на ассамблеях светских дам этой страны, вы были бы счастливы, и, благодаря вам, я тоже был бы счастлив. Почему вы не хотите такой жизни, Лоренца? Вы такая красивая, богатая, вам могли бы позавидовать многие женщины!

– Потому что вы мне отвратительны! – отвечала гордая девушка.

Бальзамо бросил на Лоренцу гневный и в то же время сочувственный взгляд.

– Тогда живите той жизнью, на какую вы сами себя обрекаете, – проговорил он. – Раз вы такая гордая, не жалуйтесь на свою судьбу.

– Я и не стала бы жаловаться, если бы вы оставили меня в покое. Я не жаловалась бы, если бы вы сами не вынуждали меня говорить. Не показывайтесь мне на глаза или, когда приходите в мою темницу, ничего мне не говорите, и я буду похожа на бедных южных пташек, которых держат в клетках: они погибают, но не поют.

Бальзамо сделал над собой усилие.

– Ну-ну, Лоренца, успокойтесь, постарайтесь смириться, постарайтесь хоть раз прочесть в моем сердце, переполненном любовью к вам. А может быть, вы хотите, чтобы я прислал вам книги?

– Нет.

– Отчего же? Книги вас развлекли бы.

– Я бы хотела, чтобы меня охватила такая тоска, от которой я бы умерла.

Бальзамо улыбнулся, вернее, попытался улыбнуться.

– Вы не в своем уме, – сказал он, – вам отлично известно, что вы не умрете, пока я здесь, чтобы за вами ухаживать, чтобы вылечить вас, если вы заболете.

– Вам не вылечить меня в тот день, когда вы найдете меня на решетке моего окна, повесившейся вот на этом шарфе...

Бальзамо вздрогнул.

–..или в тот день, – в отчаянии продолжала она, – когда я сумею раскрыть нож и вонзить его себе в сердце.

Бальзамо побледнел. Холодок пробежал у него по спине. Он взглянул на Лоренцу и угрожающе произнес:

– Нет, Лоренца, вы правы, в этот день я вас не вылечу, я верну вас к жизни.

Лоренца в ужасе вскрикнула: она знала, что возможности Бальзамо не знают границ, и поверила в его угрозу.

Бальзамо победил.

Ее вновь охватило отчаяние, причину которого она не могла предугадать. Она дрожала при

мысли, что попала в заколдованный круг, из которого нет выхода. В эту минуту над самым ухом Бальзамо прозвенел условный сигнал Фрица.

Послышалось три коротких звонка.

– Курьер, – сказал Бальзамо. Потом раздался еще один звонок.

– И срочный! – прибавил он.

– А-а, вот вы меня и покидаете, – проговорила Лоренца.

Он взял холодную руку молодой женщины.

– В последний раз вас прошу, – обратился он к ней, – давайте жить в согласии, в дружбе, Лоренца. Раз нас связала судьба, давайте сделаем судьбу союзницей, а не палачом.

Лоренца не отвечала. Ее неподвижный мрачный взгляд, казалось, пытался заглянуть в бездну и уцепиться за вечно ускользавшую желанную мысль, которую ему, возможно, так и не суждено настичь; так бывает с людьми, долгое время лишенными света и страстно к нему стремящимися: солнце их ослепляет.

Бальзамо поцеловал ее безжизненную руку.

Затем он шагнул к камину.

В тот же миг Лоренца вышла из состояния оцепенения и пристально стала за ним следить.

– Да, – пробормотал он, – ты хочешь знать, как я выйду, чтобы однажды выйти вслед за мною и убежать, как ты мне пригрозила. Вот почему ты встрепелась, вот почему ты не спускаешь с меня глаз.

Проведя рукой по лицу, словно вынуждая себя поступить против воли, он протянул ту же руку по направлению к молодой женщине и, глядя на нее в упор и в то же время почти коснувшись ее груди, приказал;

– Усните!

Едва он это произнес, как Лоренца уронила голову, словно свернувшийся цветок. Покачнувшись, ее голова склонилась на диванную подушку. Ее почти матовой белизны руки скользнули по шелку платья и безжизненно повисли.

Бальзамо подошел к ней и, залюбовавшись, прижался губами к ее лбу.

Сейчас же лицо Лоренцы так и засветилось, словно ее коснулось дыхание, слетевшее с губ самой Любви, и развеяло собравшиеся было на ее челе тучи. Губы дрогнули и приоткрылись, глаза подернулись сладострастной слезой, она вздохнула, словно ангел, только что родившийся и в ту же минуту влюбившийся в человеческое дитя.

Не в силах оторваться, Бальзамо разглядывал ее некоторое время. Однако вновь прозвенел звонок; он бросился к камину, нажал на пружину и исчез за цветами.

Фриц ожидал его в гостиной вместе с человеком в костюме гонца и обутом в сапоги на толстой подошве с длинными шпорами.

Простоватое лицо человека выдавало в нем простолюдина, лишь в глазах мелькал священный огонь, заложенный в него высшим существом.

Левой рукой он опирался на короткий узловатый кнут, а правой подавал Бальзамо знаки, которые тот понял и ответил тоже знаками, коснувшись лба указательным пальцем.

Курьер поднял руку к груди и нарисовал в воздухе еще один знак, который не привлек бы внимания непосвященного: можно было подумать, что человек просто застегивает пуговицу.

Хозяин показал перстень, который он носил на пальце.

Перед этим грозным символом курьер преклонил колени.

– Откуда ты? – спросил Бальзамо.

– Из Руана, учитель.

– Что ты там делаешь?

– Я курьер на службе у госпожи де Граммон.

– Как ты к ней попал?

– Такова была воля великого Копта.

– Какой ты получил приказ, поступая на службу?

– Ничего не скрывать от учителя.

– Куда ты направляешься?

- В Версаль.
- Что ты несешь?
- Письмо.
- Кому?
- Министру.
- Давай.

Курьер протянул Бальзамо письмо, достав его из кожаного мешка за спиной.

- Мне следует ждать? – спросил он.
- Да.
- Я жду.
- Фриц!

Появился немец.

- Спрячь Себастьяна в буфетной.
- Слушаюсь, хозяин.
- Он знает мое имя! – прошептал посвященный в суеверном ужасе.
- Он знает все, – отвечал Фриц, увлекая его за собой.

Бальзамо остался один. Он взглянул на нетронутую четкую печать, к которой, казалось, умоляющий взгляд курьера просил отнестись как можно бережнее.

Он медленно, задумчиво поднялся в комнату Лоренцы и отворил дверь.

Лоренца по-прежнему спала, утомленная ожиданием и потерявшая терпение от бездеятельности. Он взял ее за руку – рука судорожно сжалась. Он приложил к ее сердцу принесенное курьером письмо, остававшееся нераспечатанным.

- Вы что-нибудь видите? – спросил он.
- Да, – отвечала Лоренца.
- Что я держу в руке?
- Письмо.
- Вы можете его прочесть?
- Могу.
- Читайте!

Глаза Лоренцы были закрыты, грудь вздымалась. Она слово в слово пересказала содержание письма, а Бальзамо записывал за ней под диктовку:

«Дорогой брат!

Как я и предполагала, мое изгнание хоть на что-нибудь да пригодится. Нынче утром я была у президента Руана. Он – наш, но очень робок. Я поторопила его от Вашего имени. Он, наконец, решился и прибудет через неделю с указаниями от своей партии в Версаль.

Я немедленно выезжаю в Ренн, чтобы поторопить Карадекса и ла Шалоте: они, кажется, совсем засыпают.

Наш агент Кодбек был в Руане. Я его видела. Англия не собирается останавливаться на полпути. Она готовит официальный протест Версальскому кабинету.

Х., меня спрашивал, надо ли его заявлять. Я дала согласие. Вы скоро получите новые памфлеты Тевпо, Моранда и Делия против Дю Барри. Это настоящие бомбы, способные взорвать город.

Сюда дошел неприятный слух о намечавшейся немилости. Вы ничего мне об этом не написали, поэтому я только посмеялась. Все же развеите мои сомнения и ответьте мне с тем же курьером. Ваше послание найдет меня уже в Кайене, где я должна встретиться кое с кем из наших. Прощайте, целую Вас.

Герцогиня де Граммон».

Лоренца замолчала.

- Вы ничего больше не видите? – спросил Бальзамо.
- Ничего.
- Постскриптума нет?
- Нет.

Лицо Бальзамо разглаживалось по мере того, как она читала. Он взял у Лоренцы письмо герцогини.

– Любопытная бумажка! – воскликнул он. – Они дорого за нее заплатят. Как можно писать подобные вещи! – продолжал он. – Да, именно женщины всегда губят высокопоставленных мужчин. Этого Шуазеля не могла бы опрокинуть целая армия врагов, да пусть бы хоть целый свет против него интриговал. И вот нежный вздох женщины его погубил. Да, все мы погибнем из-за женского предательства или женской слабости. Если только у нас есть сердце, и в этом сердце – чувствительная струна, мы погибли!

Бальзамо с невыразимой нежностью посмотрел на Лоренцу, так и затрепетавшую под его взглядом.

– Правда ли то, о чем я думаю? – спросил он.

– Нет, нет, неправда! – горячо возразила она. – Ты же видишь, как я тебя люблю. Моя любовь так сильна, что она не способна погубить, губят только безмозглые и бессердечные женщины.

Бальзамо не мог устоять, и обольстительница обвила его руками.

В то же мгновение Фриц дважды дал два звонка.

– Два визита, – молвил Бальзамо.

Фриц завершил свое сообщение громким звонком.

Высвободившись из объятий Лоренцы, Бальзамо вышел из комнаты, а молодая женщина снова заснула.

По дороге в гостиную он встретился с ожидавшим его приказаний курьером.

– Что я должен сделать с письмом?

– Передать тому, кому оно предназначено.

– Это все?

– Все.

Курьер взглянул на конверт и печать и, убедившись в том, что они целы, выразил удовлетворение и скрылся в темноте.

– Как жаль, что нельзя сохранить этот замечательный автограф, – воскликнул Бальзамо, – а главное, жалко, что нет надежного человека, с которым можно было бы передать его королю. Явился Фриц.

– Кто там? – спросил Бальзамо.

– Женщина и мужчина.

– Они здесь раньше бывали?

– Нет.

– Ты их знаешь?

– Нет.

– Женщина молодая?

– Молодая и красивая.

– А мужчина?

– Лет шестидесяти пяти.

– Где они?

– В гостиной.

Бальзамо вошел в гостиную.

Глава 12. ВЫЗЫВАНИЕ ДУХА

Графиня закутала лицо в накидку. Она успела заехать в свой особняк и переоделась мещанкой.

Она приехала в фиакре в сопровождении робевшего маршала, одетого в серое и напоминавшего старшего лакея из хорошего дома.

– Вы меня узнаете, граф? – спросила Дю Барри.

– Узнаю, графиня.

Ришелье держался в стороне.

– Прошу вас садиться, графиня, и вас, сударь.

– Это мой управляющий, – предупредила графиня.

– Вы ошибаетесь, ваше сиятельство, – возразил Бальзамо с поклоном, – это герцог де Ришелье. Я сразу его узнал, а он проявил бы неблагодарность, если бы не пожелал узнать меня.

– Что вы хотите этим сказать? – спросил герцог, совершенно сбитый с толку, как сказал бы Таллерман де Рео.

– Господин герцог! Люди бывают обязаны некоторой признательностью тем, кто спас им жизнь, как мне кажется.

– Ха-ха! Вы слышите, герцог? – со смехом воскликнула графиня.

– Что? Вы спасли мне жизнь, граф? – с удивлением спросил Ришелье.

– Да, ваше высокопреосвященство, это произошло в Вене в тысяча семьсот двадцать пятом году, когда вы были послом.

– В тысяча семьсот двадцать пятом году! Да вас тогда еще и на свете не было, сударь мой! Бальзамо улыбнулся.

– Ошибаетесь, господин герцог, – возразил он, – я увидел вас тогда умиравшего, вернее, мертвого, на носилках; вы получили удар шпагой в грудь навывлет. Доказательством тому служит то, что я вылил на вашу рану три капли своего эликсира... Вот сюда, на то место, где вы комкаете алансонские кружева, слишком роскошные для управляющего.

– Но вам на вид не больше тридцати пяти лет, господин граф, – перебил его маршал.

– Ну что, герцог! – расхохоталась графиня. – Верите вы теперь, что перед вами – колдун?

– Я потрясен, графиня, Да, но почему же в таком случае, – снова обратился он к Бальзамо, – вас зовут...

– Мы, колдуны, как вам должно быть известно, господин герцог, меняем имя в каждом поколении... В тысяча семьсот двадцать пятом году были в моде имена на ус, ос и ас. Вот почему не удивительно, если бы мне в ту пору вздумалось переменить свое имя на греческое или латинское... Итак, я к вашим услугам, ваше сиятельство, а также и к вашим, господин герцог.

– Граф, мы с маршалом пришли к вам посоветоваться.

– Это для меня большая честь, графиня, в особенности если эта мысль пришла вам в голову произвольно.

– Именно так, граф. Ваше предсказание не выходит у меня из головы, вот только я начинаю сомневаться, суждено ли ему сбыться.

– Никогда не сомневайтесь в том, что говорит вам наука.

– Хо-хо! Наша корона находится под большим сомнением, граф... – вмешался Ришелье. – Речь идет уже не о ране, которую можно вылечить тремя каплями эликсира...

–..а о министре, которого можно опрокинуть тремя словами... – закончил Бальзамо. – Ну что, я угадал? Признайтесь!

– Совершенно верно! – затрепетав, воскликнула графиня. – Герцог, что вы на это скажете?

– Пусть вас не удивляет такая малость, графиня, – продолжал Бальзамо, читая беспокойство на лицах графини Дю Барри и герцога Ришелье. Да и было чему удивляться!

– Я готов превозносить вас до небес, – заговорил маршал, если вы нам поможете найти средство.

– От болезни, которая вас гложет?

– Да, нас изводит Шуазель.

– И вы желали бы от него вылечиться?

– Да, великий маг, вот именно!

– Господин граф! Вы не можете оставить нас в затруднительном положении: это дело вашей чести.

– Я с радостью готов вам услужить, графиня. Однако мне хотелось бы сначала узнать, не было ли у герцога до прихода сюда определенной цели?

– Признаюсь, была, граф. Могу поклясться, что мне весьма приятно иметь дело с колдуном, которого можно называть графом: не приходится менять привычки.

Бальзаме улыбнулся.

– Итак, прошу вас быть откровенным, – прибавил он.

– Сказать по чести, я другого и не желаю, – отвечал герцог.

– Вы ведь собирались спросить у меня совета, не так ли?

– Совершенно верно.

– Ах, притворщик! А мне он ничего об этом не говорил.

– Я мог говорить об этом только с господином графом, да и то шепотом,

– отвечал маршал.

– Почему, герцог?

– Да вы бы покраснели, графиня, до корней волос!

– Скажите, маршал, ради любопытства! Я нарумянена, и никто ничего не заметит.

– Я вот о чем подумал, графиня... Берегитесь: я пускаюсь во все тяжкие!

– Вперед, герцог, я с вами!

– Да вы меня, верно, побьете, когда узнаете, что у меня в голове.

– Не у вас в обычае быть битым, герцог, – заметил Бальзамо, обратившись к старому маршалу; тот так и засветился от удовольствия!

– Ну так вот, – продолжал герцог, – не в обиду будь сказано ее сиятельству, его величество..., как бы это выразить?..

– Да что же он тянет! – вскричала графиня.

– Так вы настаиваете?..

– Да.

– Непременно?

– Да, тысячу раз да!

– Ну, рискну..., печально это сознавать, господин граф, однако его величество трудно стало расшевелить. Это не я придумал, графиня, это слово госпожи де Ментенон.

– В этом нет ничего для меня оскорбительного, герцог, – молвила графиня Дю Барри.

– Тем лучше, я буду говорить свободнее. Так вот, было бы очень хорошо, если бы господин граф, владеющий секретом бесценного эликсира...

...изобрел такой эликсир, который вернул бы королю способность расшевелиться.

– Совершенно верно.

– Господин герцог! Это – детский лепет, это азбука нашей профессии. Первый же шарлатан сможет вам предложить приворотное зелье.

– Заслуга которого будет приписана добродетели графини? – продолжил герцог.

– Герцог! – оборвала его графиня.

– Я же говорил, что вы рассердитесь. Впрочем, вы сами этого хотели.

– Господин герцог, вы были правы, – заметил Бальзамо, – ее сиятельство в самом деле покраснела. Но ведь то, о чем мы говорим, не может никого задеть, ведь речь не идет о любви. Должен заметить, что вы освободите Францию от де Шуазеля не с помощью приворотного зелья. Посудите сами: даже если король будет любить графиню в десять раз сильнее, чем теперь, – а это невозможно, – де Шуазель все равно сохранит свое влияние и будет владеть его разумом так же, как графиня владеет сердцем короля.

– Вы правы, – согласился маршал. – Но это была наша единственная надежда.

– Вы в этом уверены?

– Попробуйте, черт побери, придумать что-нибудь еще!

– Я полагаю, что это совсем несложно.

– Несложно! Вы слышите, графиня? Ох уж мне эти колдуны! Им не знакомо сомнение!

– В чем же тут сомневаться, если надо лишь представить королю доказательства в том, что де Шуазель его предает?.. С точки зрения короля, разумеется, потому что де Шуазель и не думает его предавать, делая свое дело.

– А что он делает?

– Вы знаете это не хуже меня, графиня: он поддерживает недовольство Парламента против королевской власти.

- Это понятно, но надо же знать, каким образом.
- При помощи агентов, которым он обещает безнаказанность.
- Кто эти агенты? Вот что желательно было бы знать.
- Вы полагаете, к примеру, что госпожа де Граммон уехала с другой целью, нежели поддерживать горячие головы и подавить сомневающихся?
- Несомненно, что именно за этим она и поехала! – вскричала графиня.
- Да, но король видит в ее отъезде простое изгнание.
- Вы правы.
- Как ему доказать, что в этом отъезде следует усматривать не только то, о чем вам дают понять?
- Необходимо обвинить графиню.
- Если бы достаточно было бы только обвинить, граф!.. – заметил маршал.
- К сожалению, надо еще представить доказательства, – прибавила графиня.
- Если бы у вас были такие доказательства – несомненные доказательства! – уверены ли вы в том, что де Шуазель останется министром?
- Разумеется, нет! – вскричала графиня.
- Следовательно, дело только в том, чтобы уличить де Шуазеля в предательстве, – продолжал Бальзамо, – да так, чтобы в глазах короля это было предательство очевидное и не вызывающее сомнений.
- Маршал откинулся в кресле и расхохотался.
- Он просто очарователен! – вскричал герцог. – Он ни в чем не сомневается! Захватить де Шуазеля с поличным и уличить в предательстве!.. Вот и все! Безделица!
- Бальзамо был невозмутим, он терпеливо ждал, когда у маршала пройдет приступ веселья.
- А теперь, – продолжал Бальзамо, – поговорим серьезно и подведем итоги.
- Пожалуй!
- Разве де Шуазеля не подозревают в поддержке Парламента?
- Это ясно, но где доказательства?
- Разве не известно, что де Шуазель приберегает войну с Англией, чтобы сохранять за собой роль незаменимого человека?
- Такое мнение существует, но как доказать?..
- Ну и, наконец, разве де Шуазель не открытый враг вашего сиятельства, разве он не делает все возможное, чтобы свергнуть вас с обещанного мною трона?
- Да, вы правы, – согласилась графиня, – однако надо еще это доказать... Вот если бы я могла это сделать!
- А что для этого нужно? Самую малость! Маршал подул на ногти.
- Ну да, малость, – насмешливо сказал он.
- Секретное письмо, например, – продолжал Бальзамо.
- Всего-то! Такой пустяк...
- Письмо госпожи Граммон, не правда ли, господин маршал? – проговорил граф.
- Колдун, мой добрый колдун, найдите же такое письмо-! – вскричала графиня Дю Барри. – Вот уже пять лет я пытаюсь его найти, трачу на это сто тысяч ливров в год и все – безуспешно.
- Надо было обратиться ко мне, – отвечал Бальзамо.
- Как? – удивилась графиня.
- Ну конечно! Если бы вы обратились ко мне...
- Так что же?
- Я бы вас выручил.
- Вы?
- Да, я.
- Граф! Неужели я опоздала? Граф улыбнулся.
- Вы не можете опоздать.
- Дорогой граф... – сжав руки, проговорила Дю Барри.
- Так вы желаете получить письмо?

- Да.
- Госпожи де Граммон?..
- Если это возможно.
- ..которое скомпрометировало бы де Шуазеля по трем перечисленным мною пунктам?
- Я готова за него отдать.., глаз.
- Ну что вы, графиня! Это слишком дорогая цена. Тем более что это письмо...
- Это письмо?..
- Я готов отдать вам его даром. Бальзамо достал из кармана сложенный вчетверо листок.
- Что это? – спросила графиня, пожирая бумагу глазами.
- Да, что это? – повторил герцог.
- Письмо, о котором вы просили.

Среди гробовой тишины граф прочел двум очарованным слушателям уже известное читателям письмо.

По мере того как он читал, графиня все шире раскрывала глаза и уже едва владела собой.

– Это клевета, черт побери! Будьте осмотрительны! – прошептал Ришелье, когда Бальзамо дочитал письмо.

– Это, господин герцог, точная копия письма герцогини де Граммон; отправленный нынче утром из Руана курьер везет его сейчас герцогу де Шуазелю в Версаль.

– Неужели это правда, господин Бальзамо? – воскликнул герцог.

– Я всегда говорю только правду, господин маршал.

– Неужели герцогиня могла написать подобное письмо?

– Да, господин маршал.

– Как она могла так неосторожно поступить?

– Я согласен, что это невероятно, но, тем не менее, письмо было написано.

Старый герцог взглянул на графиню: она была не в силах вымолвить ни слова.

– Ну что же, – заговорила она наконец, – мне, как и герцогу, трудно в это поверить. Простите меня, граф! Но чтобы госпожа де Граммон, умная женщина, так скомпрометировала себя, равно как и своего брата, таким откровенным письмом... Кстати... Чтобы поверить в существование подобного письма, нужно его прочесть.

– Кроме того, – поспешно прибавил маршал, – если господин граф держал бы это письмо в руках, он должен был бы его спрятать: ведь это бесценное сокровище.

Бальзамо медленно покачал головой.

– Это нужно тем, кто распечатывает письма, чтобы узнать их содержание.., а вовсе не тем, кто, как я, читает сквозь конверт... Бог с вами!.. Да и потом, какой мне интерес в том, чтобы погубить де Шуазеля и госпожу де Граммон? Вы пришли просить моего совета.., по-дружески, я полагаю? Я вам отвечаю тем же. Вы пожелали, чтобы я оказал вам услугу – я вам ее оказываю. Надеюсь, вы не собираетесь предложить мне за совет деньги, словно отгадчику с набережной Феррай?

– Ну что вы, граф! – проговорила Дю Барри.

– Так вот я вам даю совет, но мне показалось, вы меня не поняли. Вы сказали мне, что намерены свергнуть господина де Шуазеля и что вы ищете для этого способ. Я вам его предлагаю, вы одобряете; я даю его вам прямо в руки, а вы не верите!

– Но.., но.., граф, послушайте...

– Я вам говорю, что письмо существует, потому что у меня его копия.

– Да, но кто вам об этом сказал, господин граф? – вскричал Ришелье.

– Вопрос непростой! Кто мне сказал? Вы сразу хотите узнать столько, сколько я, труженик, ученый, посвященный, проживший три тысячи семьсот лет.

– Вы хотите испортить прекрасное впечатление, которое у меня о вас сложилось, граф, – разочарованно произнес Ришелье.

– Я не вас прошу мне верить, господин герцог, и это вовсе не я к вам пришел во время королевской охоты.

– Он прав, герцог, – заметила графиня. – Господин де Бальзамо, умоляю вас, не надо терять терпение!

– У кого есть время, тот никогда не теряет терпения, графиня.

– Будьте добры... Присовокупите эту милость к тем, что вы мне уже оказали, и скажите, как вам удастся раскрывать подобные тайны.

– Нет ничего легче, графиня, – медленно отвечал Бальзамо, словно подыскивая слова для ответа. – Эти тайны сообщил мне голос.

– Голос! – одновременно вскричали герцог и графиня. – Все это вам сказал голос?

– Он сообщает мне все, о чем бы я ни пожелал узнать.

– И голос вам сказал, что госпожа де Граммон написала брату?

– Уверяю вас, графиня, что это именно так.

– Непостижимо!

– Вы мне не верите.

– Признаться, нет, граф, – вмешался герцог. – Как можно верить подобным вещам?

– А вы поверили бы мне, если б я вам сказал, что сейчас делает курьер, у которого в руках письмо к де Шуазелю?

– Еще бы! – воскликнула графиня.

– А я поверил бы в том случае, если услышал бы голос... – признался герцог. – Но господа некроманты, или волшебники, обладают даром видеть и слышать чудеса в одиночестве.

Бальзамо взглянул на де Ришелье с особенным выражением, заставившим графиню вздрогнуть, а у себялюбивого скептика, как называли герцога де Ришелье, пробежал холодок в затылке и заняло сердце.

– Да, – продолжал Бальзамо после продолжительного молчания, – только я умею видеть и слышать сверхъестественное. Однако, когда я имею дело с людьми вашего ранга, вашего ума, герцог, вашей красоты, графиня, я раскрываю мои сокровища и готов ими поделиться... Итак, вы бы хотели услышать таинственный голос?

– Да, – ответил герцог, сжав кулаки, чтобы унять дрожь.

– Да, – трепеща, отвечала графиня.

– Ваше сиятельство! Ваша светлость! Сейчас вы его услышите. Какой язык вы предпочитаете?

– Французский, если можно, – попросила графиня. – Я не знаю никакого другого языка, и потом, чужая речь слишком бы меня напугала.

– А вы, господин герцог?

– Как и графиня..., французский. Я бы хотел иметь возможность повторить потом то, что скажет сатана, и посмотреть, хорошо ли он воспитан и умеет ли грамотно изъясняться на языке моего друга Вольтера.

Наклонив голову, Бальзамо пошел к двери, выходящей в малую гостиную, из которой дверь, как помнит читатель, вела на лестницу.

– Позвольте мне вас запереть, чтобы по возможности не слишком подвергать вас риску, – предупредил он.

Графиня побледнела, подвинулась к герцогу и взяла его за руку.

Бальзамо вплотную подошел к двери, ведущей на лестницу, поднял голову и звучным голосом произнес по-арабски слова, которые мы переводим на наш язык:

– Друг мой!.. Вы меня слышите?.. Если слышите, дерните дважды за шнур звонка.

Бальзамо стал ждать, поглядывая на герцога и графиню; они внимательно смотрели и слушали, но не понимали слов графа.

Звонок прозвенел громко и отчетливо, затем повторился.

Графиня подскочила на софе, герцог вытер платком пот со лба.

– Раз вы меня слышите, – продолжал Бальзамо на том же языке, – приказываю вам нажать кнопку, вделанную в правый глаз мраморного льва на камине, и дверь откроется. Выйдите в эту дверь, потом пройдите через мою комнату, спуститесь по лестнице и пройдите в комнату рядом с той, из которой я говорю.

Легкий, едва различимый шум, похожий на вздох, дал понять Бальзамо, что его приказания поняты и выполнены.

- Что это за язык? – спросил Ришелье с деланным спокойствием. – Язык кабалистики?
 - Да, господин герцог, это язык для беседы с духами.
 - Но вы сказали, что мы все поймем.
 - То, что скажет голос, – да, но не то, что буду говорить я.
 - А дьявол уже здесь?
 - Кто вам говорил о дьяволе, господин герцог?
 - Но, по-моему, мы его и вызываем?
 - Вызвать можно все, что представляет собой явление высшего порядка, сверхъестественное существо.
 - А это явление высшего порядка, сверхъестественное существо?..
- Бальзамо протянул руку к гобелену, скрывавшему дверь в соседнюю комнату.
- Оно непосредственно связано со мной, ваша светлость.
 - Мне страшно, – прошептала графиня, – а вам, герцог?
 - Признаюсь вам, графиня, что я предпочел бы сейчас быть в Маоне или Филиппсбурге.
 - Графиня и вы, господин герцог! Извольте слушать, раз вы хотели услышать, – строго проговорил Бальзамо.
- Он повернулся к двери.

Глава 13. ГОЛОС

- Наступила торжественная тишина. Потом Бальзамо спросил по-французски:
- Где вы? – Я здесь, – отвечал чистый и звонкий голос. Пройдя сквозь обивку и портьеры, он отдался присутствовавшим металлическим звоном и мало напоминал человеческий голос.
 - Дьявольщина! Это становится интересным! – проговорил герцог. – И все это без факелов, без магии, без бенгальских огней!
 - До чего страшно! – пробормотала графиня.
 - Слушайте внимательно мои вопросы, – продолжал Бальзамо.
 - Я слушаю всем своим существом.
 - Прежде всего скажите мне, сколько человек сейчас со мной в комнате?
 - Два.
 - Кто они?
 - Мужчина и женщина.
 - Прочтите в моих мыслях имя мужчины.
 - Герцог де Ришелье.
 - А женщина?
 - Графиня Дю Барри.
 - Поразительно! – прошептал герцог.
 - Признаться, я никогда ничего подобного не слышала, – дрогнувшим голосом сказала взволнованная графиня.
 - Хорошо, – молвил Бальзамо. – Теперь прочтите первую фразу письма, которое я держу в руках.
- Голос повиновался.
- Графиня и герцог переглянулись с удивлением, граничившим с восхищением.
- Что случилось с письмом, которое я написал под вашу диктовку?
 - Оно летит.
 - В какую сторону?
 - На запад.
 - Далеко отсюда?
 - Да, далеко, очень далеко.
 - Кто его везет?
 - Человек в зеленой куртке, кожаном колпаке, в огромных сапогах.
 - Он идет пешком или едет верхом?

- Едет верхом.
- Какой у него конь?
- Пегий.
- Где он сейчас? Наступила тишина.
- Смотрите! – приказал Бальзамо.
- На большой дороге, обсаженной деревьями.
- Что это за дорога?
- Не знаю. Все дороги похожи одна на другую, – Неужели вам ничто не подсказывает, что это за дорога? Нет ни указательного столба, ни надписи, ничего?
- Погодите, погодите: ему навстречу едет карета.., вот они поравнялись.., она едет в мою сторону...
- Что это за карета?
- Тяжелый экипаж, в нем аббаты и военные.
- Дилижанс, – шепнул Ришелье.
- На экипаже нет никакой надписи? – спросил Бальзамо.
- Есть, – отвечал голос.
- Прочтите.
- На карете написано «Версаль» желтыми полустертыми буквами.
- Оставьте экипаж и следуйте за курьером.
- Я его больше не вижу.
- Почему?
- Дорога поворачивает.
- Сворачивайте и догоняйте его.
- Он скачет во всю прыть.., смотрит на часы.
- Что у него впереди?
- Длинная улица, великолепные дома, большой город.
- Следуйте за ним.
- Следую.
- Что там?
- Курьер изо всех сил погоняет коня, конь весь в мыле. Копыта так стучат по мостовой, что прохожие оборачиваются... Курьер свернул на улицу, которая уходит вниз. Он сворачивает направо. Конь замедляет бег. Всадник остановился у двери огромного особняка.
- Здесь надо за ним следить особенно внимательно, слышите?
- Послышался вздох.
- Вы устали. Я понимаю, – сказал Бальзамо.
- Да, я в изнеможении.
- Пусть усталость исчезнет, я приказываю.
- Ах!
- Ну как?
- Благодарю вас.
- Вы по-прежнему чувствуете усталость?
- Нет.
- Видите курьера?
- Погодите... Да-да, он поднимается по большой мраморной лестнице. Впереди него идет лакей в расшитой золотом голубой ливрее. Он проходит через просторные сверкающие золотом гостиные. Подходит к освещенному кабинету. Лакей распахивает дверь, удаляется.
- Что вы видите?
- Курьер кланяется.
- Кому?
- Погодите... Он кланяется человеку, сидящему за письменным столом спиной к двери.
- Как он одет?
- На нем парадный костюм, словно он собрался на бал – У него есть награды?

- Да, большая голубая лента на перевязи.
- Какое у него лицо?
- Лица не видно. Ага!
- Что?
- Он оборачивается.
- Каков он собой?
- Живой взгляд, неправильные черты лица, прекрасные зубы.
- Сколько ему лет?
- За пятьдесят.
- Герцог! – шепнула графиня маршалу. – Это герцог! Маршал кивнул головой, словно желая сказать: «Да, это он... Однако давайте послушаем!»
- Дальше! – приказал Бальзамо.
- Курьер передает господину с голубой лентой...
- Вы можете называть его герцогом: это герцог.
- Курьер передает герцогу письмо, – послушно покорился голос, – он достал его из кожаного мешка, висящего у него за спиной. Герцог распечатывает и внимательно читает.
- Дальше?
- Берет перо, лист бумаги и пишет.
- Пишет! – прошептал Ришелье. – Черт бы его побрал! Если бы можно было узнать, что он пишет! Это было бы просто великолепно!
- Скажите мне, что он пишет, – приказал Бальзамо.
- Не могу.
- Потому что вы слишком далеко. Войдите в кабинет. Вошли?
- Да.
- Наклонитесь над его плечом.
- Готово.
- Можете прочесть?
- Почерк отвратительный: мелкий и неразборчивый.
- Читайте, я приказываю.
- Графиня и Ришелье затаили дыхание.
- Читайте! – повелительно повторил Бальзамо.
- «Сестра», – неуверенно произнес голос.
- Это ответ, – одновременно прошептали Ришелье и графиня.
- «Сестра, – продолжал голос, – не волнуйтесь: кризис действительно имел место, это правда; он был тяжел, это тоже правда. Однако он миновал. Я с нетерпением ожидаю завтрашнего дня, потому что завтра я намерен перейти в наступление, и у меня есть все основания надеяться на успех: и в деле руанского парламента, и в деле милорда Х..., и в скандале.
- Завтра, после того, как я позанимаюсь с королем, я прибавлю постскрипtum и отправлю вам письмо с тем же курьером».
- Протянув левую руку, Бальзамо словно с трудом вытягивал из «голоса» каждое слово, а правой торопливо набрасывал то же, что в Версале де Шуазель писал в своем кабинете – Это все? – спросил Бальзамо.
- Все.
- Что сейчас делает герцог?
- Складывает вдвое листок, на котором только что писал, еще раз складывает, кладет его в небольшой красный бумажник: он достал его из левого кармана камзола.
- Слышите? – обратился Бальзамо к оцепеневшей графине. – Что дальше?
- спросил он Лоренцу.
- Отпускает курьера.
- Что он ему говорит?
- Я слышала только последние слова.
- А именно?

– «В час у решетки Трианона». Курьер кланяется и выходит.

– Ну да, – заметил Ришелье, – он назначает курьеру встречу после занятий, как он выражается в своем письме. Бальзамо жестом призвал к тишине.

– Что делает теперь герцог? – спросил он.

– Встает из-за стола, держит в руке полученное письмо. Подходит к кровати, опускает руку между кроватью и стеной, открывает тайник. Бросает туда письмо и затворяет железный сундучок.

– О! Это и впрямь чудеса! – в один голос воскликнули бледные от волнения герцог и графиня.

– Вы узнали все, что хотели, графиня? – спросил Бальзамо.

– Граф! – проговорила испуганная графиня Дю Барри, подходя ближе. – Вы оказали мне услугу, за которую я готова отдать десять лет жизни, да и этого было бы мало. Просите у меня всего, чего ни пожелаете.

– Вы знаете, графиня, что мы уже в расчете.

– Говорите, говорите, чего бы вы хотели!

– Время еще не пришло.

– Когда оно придет, то, пожелай вы хоть миллион... Бальзамо улыбнулся.

– Ах, графиня! – вскричал маршал, – уместнее был бы вам просить у графа миллион. Когда человек знает то, что знает граф, в особенности то, что он видит, это все равно, как если бы он открывал золото и алмазы глубоко в земле. Вот что такое читать мысли в человеческом сердце.

– Тогда, граф, я беспомощно развожу руками и безропотно преклоняюсь перед вами.

– Нет, графиня, придет день, когда вы сможете меня отблагодарить. Я предоставлю вам эту возможность.

– Граф! – обратился маршал к Бальзамо. – Я покорен, побежден, раздавлен. Я верую!

– Как поверил Фома неверующий, не так ли, господин герцог? Это называется не поверить, а увидеть.

– Называйте, как вам угодно, но я искренне раскаиваюсь, и если мне отныне будут что-нибудь говорить о колдунах, я найду, что ответить.

Бальзамо улыбнулся.

– А теперь, графиня, – обратился он к Дю Варри, – позвольте мне одну вещь.

– Пожалуйста.

– Мой разум устал. Позвольте мне освободить его магическим заклинанием.

– Разумеется!

– Лоренца! – заговорил Бальзамо по-арабски. – Спасибо! Я люблю тебя. Возвращайся к себе в комнату тем же самым путем, каким пришла сюда, и жди меня. Иди, моя любимая!

– Я очень устала, – ответил по-итальянски голос, еще более нежный, чем во время сеанса. – Приходи поскорее, Ашарат.

– Сейчас приду.

Те же легкие шаги стали удаляться.

Убедившись в том, что Лоренца ушла к себе, Бальзамо низко и в то же время не теряя достоинства поклонился. Растерянные гости пошли к фиакру, поглощенные потоком охвативших их беспорядочных мыслей. Они скорее напоминали пьяных, чем людей, находящихся в своем уме.

Глава 14. НЕМИЛОСТЬ

На следующий день большие версальские часы пробили одиннадцать. Людовик XV вышел из своих апартаментов, прошел через галерею и позвал громко и строго:

– Господин де ла Врийер!

Король был бледен и, очевидно, взволнован; чем больше он пытался скрыть свою озабоченность, тем более это было заметно по его смущенному взгляду и несвойственному для его лица напряженному выражению.

Среди придворных мгновенно наступила гробовая тишина. В толпе выделялись герцог де Ришелье и виконт Жан Дю Барри: оба они были спокойны и на вид равнодушны, словно ни о чем

не догадывались.

Герцог де ла Врийер приблизился к королю и взял у него из рук указ.

– Герцог де Шуазель в Версале? – спросил король.

– Со вчерашнего дня, сир. Он возвратился из Парижа в два часа пополудни.

– Он в своем особняке или в замке?

– В замке, сир.

– Хорошо, – проговорил король. – Доставьте ему этот указ, герцог.

Дрожь пробежала по рядам присутствовавших; они склонились, перешептываясь, в почти-тельном поклоне, подобно колоскам под грозovým ветром.

Король насупился, будто желал нагнать на придворных страху и тем усилить впечатление от этого зрелища. Он с величественным видом возвратился в кабинет в сопровождении капитана гвардейцев и командира рейтаров.

Все взгляды устремились вслед за де ла Врийером; он и сам был обеспокоен предстоявшим ему делом и медленно пошел через двор, направляясь в апартаменты де Шуазеля.

В ту же минуту старого маршала окружили и заговорили кто угрожающе, кто – с опаской. Он делал вид, что удивлен не меньше других, однако его жеманная улыбка никого не обманула.

Как только де ла Врийер вернулся, его обступили придворные.

– Ну что? – спросили у него.

– Указ об изгнании.

– Неужели?

– Иначе его понять нельзя.

– Так вы его читали?

– Да.

– И что же?

– Судите сами.

Герцог де ла Врийер слово в слово повторил указ, который он запомнил благодаря безупречной памяти, свойственной придворным:

«Кузен! Неудовольствие, причиняемое мне Вашими услугами, вынуждает меня выслать Вас в Шантелу, даю Вам на сборы двадцать четыре часа. Я охотно послал бы Вас подальше, если бы не особенное уважение, которое я питаю к госпоже де Шуазель, чье здоровье очень меня беспокоит. Берегитесь, как бы Ваше поведение не вынудило меня принять более строгие меры».

По окружавшей де ла Врийера толпе пробежал ропот.

– И что же вам ответил Шуазель? – совершенно спокойно спросил Ришелье.

– Он мне сказал: «Дорогой герцог! Могу себе представить, с каким удовольствием вы мне доставили это письмо».

– Сказано не без яду, мой бедный герцог! – заметил Жан.

– Что вы хотите, господин виконт! Не каждый день на нас обрушиваются такие неприятности, так что некоторая слабость простительна.

– Вы не знаете, что он намерен предпринять? – спросил Ришелье.

– По всей вероятности, он подчинится.

– Хм! – с сомнением произнес маршал.

– Смотрите-ка: герцог! – вскричал Жан, стоя на посту у окна.

– Он направляется сюда! – воскликнул де ла Врийер.

– Я же вам сказал! – заметил Ришелье.

– Идет через двор, – сообщил Жан.

– Один?

– Один, с портфелем под мышкой.

– О Господи! Неужели повторится вчерашняя сцена? – прошептал Ришелье.

– Не говорите мне об этом, я в ужасе, – промолвил Жан.

Не успел он договорить, как де Шуазель с гордо поднятой головой и уверенным взглядом появился в конце галереи. Спокойным и ясным взором он обвел своих врагов и тех, кто собирался от него отречься в случае немилости.

Никто не мог ожидать такого смелого шага после всего случившегося, вот почему никто не решился оказать ему сопротивление.

- Вы уверены, что все поняли, герцог? – спросил Жан.
- Еще бы, черт подери!
- И он еще приходит, получив приказ, о котором вы нам рассказывали?!
- Ничего не понимаю, клянусь честью!
- Король прикажет бросить его в Бастилию!
- Будет ужасный скандал!
- Мне его жаль.
- Он входит к королю. Неслыханно!

Не обращая внимания на сопротивление ошеломленного лакея, герцог действительно вошел в кабинет короля. При виде герцога король удивленно вскрикнул.

Герцог держал в руке королевский указ об изгнании. Он с улыбкой обратил на него внимание короля.

- Сир! Ваше величество не зря предупреждали меня вчера: я получил новое письмо.
- Да, – отвечал король.
- Так как ваше величество любезно предупредили меня о том, что я не должен относиться серьезно к письму, не подкрепленному личным словом короля, я пришел просить объяснений.
- Объяснение будет недолгим, герцог, – отвечал король. – Сегодня письмо – настоящее.
- Настоящее? – повторил герцог. – Столь оскорбительное письмо для такого преданного слуги?!
- Преданный слуга не заставляет своего господина играть смешную роль.
- Сир! – высокомерно начал министр. – Я рожден достаточно близко от трона, чтобы понимать его величие.

– Я вас больше не задерживаю, – отрезал король. – Вчера вечером в своем кабинете в Версале вы принимали курьера госпожи де Граммон.

- Да, сир.
- Он передал вам письмо.
- Разве брат и сестра не имеют права переписываться?
- Не перебивайте, прошу вас. Я знаю содержание этого письма.
- Сир...
- Вот оно... Я взял на себя труд переписать его собственноручно.
- Король протянул герцогу точную копию полученного им письма.
- Сир!..

– Не пытайтесь отрицать, герцог: вы спрятали письмо в железный ларец, стоящий в вашей спальне между стеною и кроватью.

Герцог смертельно побледнел.

– Это не все, – безжалостно продолжал король. – Вы написали ответ госпоже де Граммон. Я знаю, о чем это письмо. Оно лежит в вашем бумажнике и ожидает лишь постскриптума, который вы должны приписать после разговора со мной. Как видите, я неплохо осведомлен!

Герцог вытер холодный пот со лба, молча поклонился, не проронив ни единого слова, и, пошатываясь, вышел их кабинета, словно громом пораженный.

Если бы не повеявший на него свежий воздух, он бы упал. Оказавшись в галерее, он взял себя в руки и прошел с высоко поднятой головой сквозь строй придворных. Вернувшись в свои апартаменты, он принялся жечь многочисленные бумаги.

Спустя четверть часа он покидал замок в своей карете.

Немилость, в которую впал де Шуазель, всколыхнул всю Францию.

Парламент, на самом деле поддерживаемый терпимостью министра, объявил во всеуслышание, что государство лишилось самой надежной опоры. Знать держалась за него, как за своего представителя. Духовенство чувствовало себя при нем в безопасности, потому что его чувство собственного достоинства, зачастую граничившее с гордыней, не позволяло ему в его министерских занятиях поступать против совести.

Многочисленные и уже довольно сильные энциклопедисты, или философы – люди просвещенные, образованные, любители поспорить, – возмутились, увидев, что правление вырвано из рук министра, который курил фимиам Вольтеру, финансировал «Энциклопедию», сохранял и развивал традиции г-жи де Помпадур – меценатки и почитательницы «Меркурия» и философии.

У народа было еще больше оснований для недовольства. Народ жаловался, не вдаваясь в подробности, но, по обыкновению, касаясь грубой правды, словно живой раны.

Де Шуазель, по общему мнению, был плохим министром и плохим гражданином, зато он был образцом добродетели, нравственности и патриотизма. Когда умиравший в деревне народ слышал о расточительности его величества, о разорительных капризах графини Дю Барри; когда к народу обращались с предупреждением вроде «Человека с сорока грошами» или советом наподобие «Общественного договора»; когда народу намекали в «Скандальных новостях» или «Станных мыслях верноподданного», – народ ужасался при мысли, что попадет в нечистые руки фаворитки, «достойной меньшего уважения, нежели жена угольщика», как сказал Бово, а также в руки фаворитов самой фаворитки; народ устал от страданий и не мог себе представить, что будущее окажется еще более мрачным, чем прошедшее.

То, что у народа были свои антипатии, совсем не означало, что у него были и какие-нибудь ярко выраженные симпатии. Он боялся знати точно так же, как ненавидел духовенство. Его не касалось изгнание де Шуазеля, однако он видел недовольство высших светских кругов, церкви, Парламента, и этот шум, сливавшийся с его собственным ропотом, превращался в оглушительный грохот, опьянявший народные массы.

В конце концов это чувство переросло в сожаление о министре, а имя де Шуазеля приобрело огромную популярность.

Весь Париж, в полном смысле этого слова, провожал до городских ворот изгнанника, отправлявшегося в Шантелу.

Народ стоял стеной вдоль дороги, по которой катились кареты; члены Парламента и придворные, которых не успел принять герцог, ожидали в экипажах, стоявших вдоль людского коридора, чтобы проститься с ним, когда он будет проезжать мимо. Больше всего народу скопилось у ворот Анфер, откуда брала свое начало дорога на Турень. Сюда стекались огромные массы пешеходов, всадников, экипажей, и движение на несколько часов было приостановлено.

Когда герцогу удалось, наконец, выехать за ворота, за ним последовало более сотни карет, олицетворявшие ореол его славы.

Продолжали раздаваться приветственные крики и выражения сочувствия. Герцог был умен, отлично разбирался в создавшемся положении, и ему было понятно, что этими почестями он был обязан не уважению к себе, а скорее страху перед неизвестными, которые должны были подняться из руин и занять его место.

На дороге показалась мчавшаяся на рысях почтовая карета. Если бы не нечеловеческое усилие кучера, белые от пыли взмыленные кони непременно налетели бы на упряжку де Шуазеля.

Де Шуазель выглянул из кареты. В ту же минуту в окне мчавшегося навстречу экипажа также показался человек.

Д'Эгийон почтительно поклонился свергнутому министру, чье наследство он спешил захватить. Де Шуазель откинулся на подушки: в одно мгновение радость изгнания была отравлена.

Однако вслед за тем последовало и вознаграждение: украшенная королевским гербом карета, запряженная восьмеркой лошадей, появилась на Севрской дороге в том месте, где она проходит через Сен-Клу. То ли из-за того, что главная дорога была забита народом, то ли по другой причине, эта карета тоже оказалась на пути следования экипажа де Шуазеля.

Сзади сидела принцесса вместе со своей фрейлиной, г-жой де Ноай. На переднем сидении ехала мадам де Шуазель Андре де Таверне.

Покраснев от удовольствия, радостный де Шуазель высунулся из кареты и почтительно поклонился.

– Прощайте, ваше высочество! – проговорил он прерывающимся голосом.

– До свидания, господин де Шуазель! – отвечала принцесса, улыбаясь надменно и пренебрежительно в строгом соответствии с этикетом.

– Да здравствует господин де Шуазель! – прокричал радостный голос.

Мадмуазель Андре живо обернулась при звуке этого голоса.

– Дорогу! Дорогу! – взревели шталмейстеры ее высочества, вынуждая бледного и жадного до зрелища Жильбера отойти к обочине дороги.

Да, это и в самом деле был наш герой; это он в приливе философского энтузиазма прокричал: «Да здравствует господин де Шуазель!»

Глава 15. ГЕРЦОГ Д'ЭГИЙОН

Если в Париже и на дороге в Шантелу можно было увидеть лишь постные мины да воспаленные глаза, Люсьенн встречал посетителей сиявшими лицами и очаровательными улыбками.

На сей раз в Люсьенн царила не простая смертная, хотя и самая красивая и обожаемая из всех смертных, как говорили придворные и поэты: теперь Францией управляло настоящее божество.

Вечером дорога в замок Люсьенн была запружена теми самыми экипажами, которые утром устремлялись вслед за каретой отправлявшегося в изгнание министра. Кроме того, прибыли все до единого сторонники министра финансов, замешанные в подкупе и поклонявшиеся фаворитке, что составляло весьма внушительный кортеж.

Однако у графини Дю Барри была своя полиция. Жан знал от одного барона имена тех, кто сказал последнее «прости» угасавшим Шуазелям. Он сообщал эти имена графине, и их владельцы безжалостно изгонялись. Зато воздавалось должное тем, кто не побоялся поступить вопреки общественному мнению: графиня дарила их покровительственной улыбкой, они могли вволю полюбоваться своим божеством.

После толкотни начались приемы. Ришелье – герой Дня, герой тайны и в особенности скромный – наблюдал за круговоротом посетителей и просителей, заняв последнее место в будуаре графини. Как только ни выражалась всеобщая радость: во взаимных поздравлениях, в рукопожатиях, в придушенных смешках, в приплясывании – можно было подумать, что все это стало привычным языком обитателей Люсьенн.

– Нельзя не признать, – проговорила графиня, – что граф де Бальзамо, или Феникс, как вы, маршал, его называете, – истинный герой наших дней. Какая жалость, что обычай велит сжигать колдунов!

– Да, графиня, да, это великий человек, – согласился Ришелье.

– И очень красивый. Я бы хотела доставить ему удовольствие.

– Вы заставляете меня ревновать, – со смехом ответил Ришелье, втайне мечтая как можно скорее перевести разговор на серьезную тему. – Из графа Феникса вышел бы удивительный министр внутренних дел.

– Я об этом уже думала, – сказала графиня, – но это невозможно.

– Отчего же, графиня?

– Потому что он будет несовместим со своими сослуживцами.

– То есть почему же?

– Он все будет знать, видеть все их игры... Ришелье покраснел так, что это стало заметно, несмотря на румяна.

– Графиня! Если бы я был его сослуживцем, – заговорил он, – мне бы хотелось, чтобы он видел мою игру и постоянно раскрывал бы вам мои карты: вы имели бы случай убедиться в том, что я – ваш верный раб и преданный слуга короля.

– Вы – умнейший человек, дорогой герцог, – заметила графиня. – Однако давайте немного поговорим о будущем министерстве... Я полагаю, вы уже предупредили своего племянника?..

– Д'Эгийона? Он прибыл, графиня, при таком стечении обстоятельств, которые римский авгур счел бы благоприятнейшими: при въезде в город он нос к носу столкнулся с уезжавшим господином де Шуазелем.

– Это и в самом деле счастливое предзнаменование, – согласилась графиня. – Он, значит, скоро будет здесь?

– Графиня! Я рассудил, что если все увидят д'Эгийона в Люсьенн, в такую минуту, как сейчас, это может вызвать всякого рода толки. Я просил его оставаться в предместье до тех пор, пока я не вызову его к вам.

– Ну так вызывайте, маршал, и немедленно, потому что мы одни или почти одни.

– Я это сделаю с тем большим удовольствием, графиня, что мы обо всем условились, не правда ли?

– Совершенно верно, герцог. Вы предпочитаете..., повоевать в министерстве финансов? Или, может быть, хотите взять морское?

– Я предпочитаю просто воевать, графиня. Вот где я мог бы оказаться полезнее всего.

– Вы правы. Вот о чем я и буду говорить с королем. Нет ли у вас каких-нибудь антипатий?

– К кому? – К тем из ваших сослуживцев, кого может предложить вам его величество.

– Я – человек того круга, с которым легче всего найти общий язык, графиня. Однако позвольте мне все-таки пригласить племянника, раз вам угодно сделать милость принять его.

Ришелье подошел к окну; двор был еще виден в наступавших сумерках. Он подал знак одному из выездных лакеев, который, казалось, только этого и ждал, чтобы броситься выполнять приказание.

Во дворце начали зажигать свечи.

Спустя несколько минут после отъезда лакея на главный двор въехала карета. Графиня с живостью взглянула в сторону окна.

Ришелье перехватил ее взгляд и решил, что это доброе предзнаменование для д'Эгийона, а значит, и для него самого.

«Она оценила дядю, – сказал он себе, – и теперь хочет удостовериться, что собой представляет племянник. Мы здесь будем как дома!»

Пока он тешил себя иллюзиями, за дверью послышался легкий шум, и доверенный лакей доложил о приходе герцога д'Эгийона.

Это был очень красивый господин с прекрасными манерами. Он был одет по последней моде и выглядел весьма элегантно. Пора его первой молодости миновала. Впрочем, он относился к той породе мужчин, у которых взгляд и сила воли остаются молодыми до глубокой старости.

Государственные заботы не оставили на его лице ни единой морщины, они лишь углубили естественную складку, характерную для политических деятелей и поэтов: в ней словно находят прибежище великие мысли. Он ровно и высоко держал свою изящную голову; выражение грусти на его лице словно говорило о том, что он догадывается о ненависти десяти миллионов человек, готовой обрушиться на эту самую голову; впрочем, он будто желал доказать, что эта тяжесть ему вполне по силам.

У д'Эгийона были красивые руки – они казались белыми и изящными даже в соседстве с морем кружев. В те времена ценились красивые ноги; ноги герцога были образцом элегантности и притом самой что ни на есть аристократической формы. В нем угадывались нежность поэта и знатное происхождение, гибкость и мягкость мушкетера. Для графини он втрое олицетворял идеал: в нем одном она находила сразу три типа мужчин, которые чувственная красавица инстинктивно должна была любить.

Благодаря удивительной странности, а вернее было бы сказать, стечению обстоятельств, подстроенному продуманной тактикой д'Эгийона, эти два героя, пользовавшиеся общественной ненавистью, еще не виделись с глазу на глаз в блеске всех своих преимуществ.

Вот уже три года, как д'Эгийон делал вид, что очень занят либо в Англии, либо у себя в кабинете. Он не баловал двор своим присутствием, справедливо полагая, что должен произойти переворот, благоприятный для него или неблагоприятный. Он полагал, что в первом случае удобнее выдвинуть неизвестного человека; во втором случае ему следовало бесследно исчезнуть, чтобы легче было потом выбраться из пропасти и вновь появиться на политической арене.

Но одно соображение, романтического свойства, было выше всех его расчетов. Это соображение было наилучшим для достижения его цели.

Прежде чем г-жа Дю Барри стала графиней, лобызавшей каждую ночь корону Франции, она была когда-то хорошенькой улыбчивой девушкой, прелестным созданием. В те времена она была

любима, и это было счастьем, на которое она больше и не рассчитывала с тех пор, как ее начали бояться.

Среди многочисленных богатых, могущественных и красивых молодых людей, ухаживавших тогда за Жанной Вобернье; среди всех поэтов, в каждую строку вставлявших слова «Ланж» и «ангел», герцог д'Эгийон фигурировал когда-то в первых рядах. Однако то ли Ланж была еще не столь доступной, вопреки утверждениям клеветников, то ли наконец – к чести одного и другой – внезапная любовь короля разъединила готовые договориться сердца, – так или иначе, герцог д'Эгийон оставил при себе акrostихи, букеты и духи, а мадмуазель Ланж заперла свою дверь на улице Пти-Шан. Герцог удалился в Англию, подавив горькое чувство, а Ланж посылала свои вздохи в сторону Версаля барону де Гонес, то есть королю Франции.

Вот почему внезапное исчезновение д'Эгийона сперва не очень занимало г-жу Дю Барри: она боялась прошлого. Однако, видя, что бывший поклонник примолк, г-жа Дю Барри почувствовала, что она заинтригована, потом – что она очарована и, имея теперь возможность верно оценивать людей, пришла к выводу, что д'Эгийон – человек умный и настоящий мужчина.

Это было немало для графини, не очень высоко ценившей людей, однако это было еще не все. Должен был наступить такой момент, когда она сочла бы д'Эгийона великодушным человеком.

Надобно заметить, что бедняжка Ланж имела основания бояться прошлого. Один мушкетер, бывший счастливый любовник, как сам он говорил о себе, вошел к ней однажды прямо в покои в Версале и потребовал, чтобы она вернула ему свою благосклонность. Слова эти, очень скоро заглушенные благодаря высоте ее нового положения, нашли, однако, отклик во дворце целомудренной г-жи де Ментенон.

Читатели видели, что в разговоре с графиней Дю Барри маршал ни словом не обмолвился о том, что ему известно о бывших отношениях его племянника с мадмуазель Ланж. Такое умолчание со стороны столь ловкого человека, как старый герцог, умевшего говорить на самые щекотливые темы, потрясло и обеспокоило графиню.

Вот почему она с нетерпением ожидала д'Эгийона: она хотела знать, во-первых, как к этому следует относиться и, во-вторых, скромн ли маршал или несведущ.

Вошел герцог.

Любезно-почтительный и достаточно уверенный в себе, он сумел отвесить поклон, предназначавшийся не то королеве, но и не простой придворной даме, и этой мелочи оказалось достаточно, чтобы мгновенно покорить графиню, да так, что она могла теперь в нем видеть только совершенство.

Затем д'Эгийон взял дядю за руку. Тот приблизился к графине и проговорил нежнейшим голосом:

– Имею честь вам представить герцога д'Эгийона, графиня, не как моего племянника, а как одного из ваших самых покорных слуг.

Графиня посмотрела на герцога, как женщина, то есть таким взглядом, от которого ничто не может укрыться. Она увидела лишь две склонившиеся в почтительном поклоне головы, а затем обратившиеся к ней их спокойные ясные лица.

– Я знаю, что вы любите герцога, маршал, – сказала графиня Дю Барри.

– Вы – мой друг. Мне хотелось бы просить герцога из уважения к своему дядюшке подражать ему во всем.

– Именно так я и решил вести себя, графиня, – снова, поклонившись, отвечал д'Эгийон.

– Вы много претерпели в Англии? – спросила графиня.

– Да, графиня, и пока моим мучениям нет конца, – отвечал д'Эгийон, – Я думаю иначе. Вот, кстати, господин де Ришелье сможет вам помочь.

Д'Эгийон с видимым удивлением взглянул на Ришелье.

– А-а, я вижу, что маршал еще не успел с вами побеседовать? Да это и понятно: вы только что вернулись из путешествия. Так вам, должно быть, о многом нужно переговорить. Я вас оставляю, маршал. Герцог! Чувствуйте себя здесь как дома.

И графиня вышла, Однако у нее созрел план. Она не пошла далеко. За будуаром находился

просторный кабинет, где король, приезжая в Люсьенн, любил посидеть среди китайских безделушек. Он любил этот кабинет за то, что оттуда было слышно все, о чем говорили в соседней комнате.

Графиня Дю Барри была уверена в том, что услышит весь разговор маршала с племянником. Из разговора она собиралась составить о д'Эгийоне окончательное мнение.

Однако маршал был далеко не глуп, он знал почти все секреты королевских или министерских резиденций. Подслушивать, о чем говорят другие, было одним из его излюбленных занятий; говорить, когда кто-нибудь подслушивает, было одной из его уловок.

Ободренный приемом, оказанным графиней д'Эгийону, он решил воспользоваться удачей и представить фаворитке, пользуясь ее предполагаемым отсутствием, весь план тайного счастья и большого могущества, подкрепленного интригами, то есть двойную приманку, против которой хорошенькая женщина, в особенности придворная дама, почти никогда не способна устоять.

Он пригласил герцога присесть и сказал ему:

– Как видите, герцог, я неплохо здесь принят.

– Да, господин герцог, вижу.

– Мне посчастливилось заслужить милость этой очаровательной дамы; ее почитают здесь за королеву, да она ею в действительности и является.

Д'Эгийон кивнул.

– Я скажу вам сейчас то, – продолжал Ришелье, – что не смог бы сообщить вот так, прямо посреди улицы: графиня Дю Барри обещала мне портфель министра.

– Вы это вполне заслужили.

– Не знаю, заслужил ли, однако так случилось – с некоторым запозданием, правда. Одним словом, можно считать, что я устроен, и теперь хочу заняться вами, д'Эгийон.

– Благодарю вас, господин герцог! Вы близки мне не только по крови – у меня не раз была возможность в этом убедиться.

– Чего бы вы желали, д'Эгийон?

– Совершенно ничего, лишь бы меня не лишили титула герцога и пэра, как того требуют господа члены Парламента.

– Пользуетесь ли вы чьей-нибудь поддержкой?

– Я? Нет, что вы!

– Так вы погибли бы, если бы не представился сегодняшний случай?

– Совершенно верно.

– Я вижу, вы относитесь ко всему философски. Какого черта я держу себя с тобой строго, мой бедный д'Эгийон, и разговариваю с тобой уже как министр, вместо того чтобы побеседовать по-родственному!

– Дядюшка! Я вам так признателен за вашу доброту!

– Раз я заставил тебя вернуться, да еще так поспешно, то ты можешь из этого заключить, какую роль тебе суждено сыграть здесь... Кстати, задумывался ли ты когда-нибудь над тем, какова была роль де Шуазеля во все десять лет его правления?

– Да, разумеется. Он был на своем месте.

– На своем месте! Позволь-ка! На своем месте, когда он вместе с госпожой де Помпадур управлял королем и выгонял иезуитов! Однако он неважно выглядел, когда, поссорившись, как дурак, с графиней Дю Барри, – а она стоит тысячи Помпадур, – он повел себя так, что был выставлен в двадцать четыре часа... Что же ты молчишь?

– Я слушаю, господин герцог, и пытаюсь понять, куда вы клоните.

– Скажи, тебе нравится место Шуазеля?

– Разумеется.

– Так вот, мой дорогой, думаю, что я мог бы сыграть эту роль.

Д'Эгийон резко повернулся к дядюшке.

– Вы говорите серьезно? – спросил он.

– Ну да, а почему же нет?

– Вы станете любовником графини Дю Барри?

– Ах, черт побери! Как ты скор! Впрочем, я вижу, что ты меня понял. Да, Шуазелью очень повезло: управлял и королем, и его любовницей; говорят, он любил госпожу де Помпадур... А, действительно, почему бы нет?.. Но я не могу быть возлюбленным – твоя холодная улыбка говорит мне об этом. Ты смотришь молодыми глазами на мой изборозженный морщинами лоб, на мои кривые ноги и мои иссохшие руки, когда-то такие красивые!.. Вместо того, чтобы говорить: «Я сыграю роль Шуазеля», мне следовало бы сказать: «Мы ее сыграем».

– Дядюшка!

– Нет, она не может меня полюбить, я знаю. Однако я об этом говорю тебе.., смело, потому что она об этом не узнает... Я любил бы эту женщину больше всего на свете.., но...

Д'Эгийон нахмурился.

– Но у меня есть великолепный план, – продолжал маршал, – раз эта роль мне не по силам, я разделю ее пополам.

– Ага! – воскликнул д'Эгийон.

– Кто-нибудь из моих приближенных, – сказал Ришелье, – будет любовником графини Дю Барри. Черт подери! Прекрасное занятие! Ведь она – само совершенство.

Ришелье возвысил голос.

– Ты понимаешь, что Фронзак не подходит: это несчастный выродок, дурак, мошенник, проходимец... Ну что, герцог, может быть, ты?..

– Я? – вскричал д'Эгийон. – Вы с ума сошли, дядюшка!

– Сошел с ума? Как? И ты не бросаешься в ноги тому, кто дает тебе такой совет! Как! Ты не таешь от счастья, не благодаришь? Разве ты не влюбился сразу же, как только увидел, как она тебя принимает? Ну, видно, со времен Альчибиада был только один истинный Ришелье в нашем роду, а больше не будет!.. – воскликнул герцог. – Да, я вижу, что прав.

– Дядюшка! – воскликнул герцог в волнении; если оно было наигранным, то сыграно было с блеском; однако он мог действительно удивиться, потому что предложение маршала было весьма недвусмысленное. – Представляю себе, какую выгоду вы могли бы извлечь из того положения, о котором вы мне говорите. Вы стали бы таким же влиятельным лицом, как де Шуазель, а я был бы любовником, подкрепляющим ваше влияние. Да, план достоин умнейшего человека Франции, однако вы упустили одну вещь.

– Что именно? – беспокойно вскричал Ришелье. – Неужели ты не мог бы полюбить графиню Дю Барри? В этом заминка?.. Дурак! Трижды дурак! Ротозей! Неужели я угадал?

– Нет! Не угадали, дядюшка! – воскликнул д'Эгийон, словно уверенный, что ни одно слово не будет пропущено. – Я почти не знаком с графиней Дю Барри, однако она кажется мне красивейшей, очаровательнейшей женщиной. Напротив, я без памяти влюбился бы в графиню Дю Барри. Дело совсем не в этом.

– В чем же дело?

– А вот в чем, господин герцог: графиня Дю Барри никогда меня не полюбит, а между тем первым условием подобного альянса должна быть любовь. Как можно, чтобы, живя среди блестящих придворных, самых разных молодых красавцев, прекрасная графиня выбрала именно того, кто этого совсем не заслуживает, того, кто уже немолод и обременен заботами, того, кто скрывается от всех, потому что чувствует, что скоро исчезнет? Дядюшка! Если бы я знал графиню Дю Барри в дни своей молодости и красоты, когда женщины любили во мне все, что обыкновенно любят в молодом человеке, она могла бы сохранить обо мне воспоминание. Этого уже много. Но ведь нет ничего: ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Дядюшка! Надо отказаться от этой химеры. Зачем только вы пронзили мне сердце, нарисовав радужную картину неисполнимого счастья?

Пока эта тирада произносилась с пылом, которому позавидовал бы Моле, а Лекен счел бы достойной изучения, Ришелье кусал себе губы, приговаривая едва слышно:

– Неужели этот бездельник догадался, что графиня нас подслушивает? Дьявольщина! До чего ловок! Ну и мастер! С ним надо быть поосторожнее.

Ришелье был прав. Графиня подслушивала, и каждое слово д'Эгийона западало ей в душу. Она наслаждалась его робким признанием, изысканной деликатностью того, кто даже в доверительном разговоре не выдал тайны прошлой связи из опасения бросить тень на, быть может, еще

любимую женщину.

– Итак, отказываешься? – спросил Ришелье.

– От этого – да, дядюшка: к моему величайшему сожалению, это представляется мне совершенно невозможным.

– Надо же хотя бы попытаться!..

– Но как?

– Ты принадлежишь к нашему кругу... Ты будешь каждый день видеться с графиней: постарайся ей понравиться, тысяча чертей!

– Будучи в этом заинтересованным? Нет, нет!.. Да если бы я имел несчастье ей понравиться, а сам думал бы о другом, я убежал бы со стыда на край света.

Ришелье поскреб подбородок.

«Дело в шляпе, – подумал он, – или д'Эгийон – Дурак».

Вдруг со двора донесся стук колес, и несколько голосов прокричали: «Король!»

– Черт побери! – вскричал Ришелье. – Король не должен меня здесь видеть, я убегаю!

– А я? – спросил герцог.

– Ты – другое дело, пусть он тебя увидит. Оставайся... Оставайся... И, ради Бога, не бросай начатого.

Ришелье поспешил к черной лестнице, бросив герцогу:

– До завтра!

Глава 16. ДОЛЯ КОРОЛЯ

Оставшись один, герцог д'Эгийон почувствовал было себя неловко. Он прекрасно понял все, что хотел сказать ему дядюшка, отлично понял, что графиня Дю Барри подслушивала, несомненно понял, что умному человеку следовало в этом случае стать возлюбленным и в одиночку разыграть партию, для которой старый герцог пытался подыскать партнера.

Приход короля весьма удачно положил конец объяснению, которое было неизбежно, несмотря на пуританскую сдержанность д'Эгийона.

Маршала невозможно было долго водить за нос, он был не из тех, кто позволил бы собеседнику выставлять напоказ свои достоинства в ущерб интересам герцога.

Когда д'Эгийон остался один, он успел хорошенько обо всем подумать.

А король в самом деле был уже близко. Его пажи уже распахнули двери приемной, а Замор бросился к монарху, выпрашивая конфет с трогательной фамильярностью, которая, правда, в минуты мрачного расположения духа его величества стоила ему щелчков по носу или трепки, очень неприятной для негритенка.

Король уселся в китайском кабинете, и д'Эгийон смог убедиться в том, что графиня Дю Барри не упустила ни единого слова из его разговора с дядюшкой: теперь сам д'Эгийон прекрасно все слышал и таким образом оказался свидетелем встречи короля с графиней.

Его величество казался очень утомленным, подобно человеку, поднявшему непосильную тяжесть. Атлас был, верно, не так изможден после трудового дня, когда ему приходилось поддерживать на плечах небо целых двенадцать часов.

Любовница поблагодарила, похвалила, приласкала Людовика XV; она расспросила его об откликах на ссылку де Шуазеля, и это ее развлекло.

Графиня Дю Барри решила рискнуть. Настало подходящее время для того, чтобы заняться политикой; кстати, она чувствовала в себе довольно отваги, чтобы перевернуть одну из четырех частей света.

– Сир, вы разрушили – это хорошо, – заговорила она, – вы сломали – это великолепно; но ведь теперь надо заново строить.

– Уже готово, – небрежно отвечал король.

– Вы составили кабинет министров?

– Да.

– Вот так просто, не успев передохнуть?

- Неужели вы думаете, что я ничего не понимаю?.. Ах, женщина! Вы же сами мне недавно говорили, что, прежде чем выгнать прежнего повара, вы присмотрели нового, не так ли?
- Повторите, что вы уже сформировали кабинет. Король приподнялся с огромной софы, где он полулежал, пользуясь в качестве подушки главным образом плечиком красавицы-графини.
- Судя по тому, как вы взволнованы, Жаннетта, – обратился он к ней, – можно подумать, что вы знаете мой кабинет министров настолько, чтобы его осудить, и что вы можете предложить мне другой.
- Вы недалеко от истины, сир, – отвечала она.
- В самом деле?.. У вас есть кабинет?
- Да ведь у вас же он есть! – возразила она.
- Я – другое Дело, графиня. Сто моя обязанность. Ну и кто же ваши кандидаты?
- Сначала назовите своих.
- С удовольствием – чтобы подать вам пример.
- Начнем с морского министерства, где распоряжался милейший де Праслен.
- Опять вы за свое, графиня: этот милейший человек никогда не видал моря.
- Неужели?
- Клянусь честью! Великолепно придумано! Я буду очень популярен, стану повелителем морей, и, само собой разумеется, мое изображение появится на монетах.
- А кого вы предлагаете, сир? Ну кого?
- Держу пари, вы ни за что не угадаете.
- Чтобы я угадала имя способного сделать вас популярным? Признаться, нет...
- Член парламента, дорогая... Первый председатель парламента Безансона.
- Де Буан?
- Он самый... Ах, черт возьми, как хорошо вы разбираетесь!.. И вы знакомы с такими людьми?
- Приходится: вы мне рассказываете целыми днями о Парламенте. Однако этот господин не знает даже, что такое «весло», – Тем лучше. Де Праслен очень хорошо знал свое хозяйство и очень дорого мне обходился со своими верфями.
- Ну а кто возглавит министерство финансов, сир?
- Финансы – совсем Другое дело, для них я подобрал сведущего человека.
- Финансиста?
- Нет..., военного. Финансисты слишком долго сидят у меня на шее.
- Господи помилуй, кто же тогда будет в военном министерстве?
- Успокойтесь. Туда я поставлю финансиста. Тере. Он – дока по части счетов и найдет ошибки во всех бумагах де Шуазеля. Признаюсь вам, что я решил поставить во главе военного министерства человека безупречного, чистоплотного, как они говорят, – нарочно, чтобы польстить философам.
- Ну, ну, кто же это? Вольтер?
- Почти угадали: шевалье де Мюи... Это настоящий Катон.
- О Боже! Я в ужасе!
- Дело уже сделано... Я вызвал человека, его назначение подписано, он меня поблагодарил, и мне пришла в голову мысль – уж не знаю, плохая или хорошая, судите сами, графиня, – пригласить его вечером в Люсьенн, чтобы побеседовать за ужином.
- Какой ужас!
- Да, графиня, именно так мне и ответил дю Мюи.
- Он вам так сказал?
- В других выражениях, графиня. В общем, он мне сказал, что его самое горячее желание – служить королю, однако совершенно невозможно служить графине Дю Барри.
- До чего хорош этот ваш философ!
- Вы понимаете, графиня, что я протянул руку..., чтобы отобрать приказ о назначении; я разорвал его на мелкие клочки со спокойной улыбкой, и шевалье удалился. Людовик Четырнадцатый сгноил бы этого мерзавца в одной из отвратительных ям Бастилии. А меня, Людовика Пятна-

дцатого, Парламент держит в ежовых рукавицах, вместо того чтобы я сам заставлял его трепетать. Вот так!

– Все равно, сир, вы просто прелесть, – проговорила графиня, осыпая поцелуями своего августейшего любовника.

– Далеко не все с вами согласятся. Тере просто омерзителен.

– А кто не омерзителен?.. Кто у нас в министерстве иностранных дел?

– Славный Бертен, вы его знаете?

– Нет.

– Ну, значит, не знаете.

– Мне представляется, что среди всех, кого вы назвали, нет ни одного хорошего министра.

– Пусть так. Кого же вы предлагаете?

– Я назову одного.

– Вы молчите. Боитесь?

– Маршала.

– Какого маршала? – поморщившись, спросил король.

– Герцога де Ришелье.

– Старика? Эту мокрую курицу?

– Как же так? Завоеватель Маона – и вдруг мокрая курица!

– Старый развратник...

– Сир, вы же вместе с ним воевали.

– Распутник, не пропускающий ни одной юбки.

– Ну что вы! С некоторых пор он за женщинами больше не бегает.

– Не говорите о Ришелье, он мне противен до последней степени; этот победитель Маона во-
дил меня по всем парижским притонам... Про нас слагали куплеты. Нет, только не Ришелье! Одно
его имя выводит меня из себя!

– Вы что же, ненавидите их?

– Кого?

– Семейство Ришелье.

– Они мне омерзительны.

– Все?

– Все. Один герцог и де Фронзак чего стоят! Его уже раз десять можно было колесовать.

– С удовольствием вам отдаю его. Но ведь есть и еще кое-кто из семейства Ришелье.

– Да, д'Эгийон.

– Совершенно верно.

Можете себе представить, как при этих словах племянник насторожился в будуаре.

– Мне следовало бы ненавидеть его больше других, потому что из-за него слишком много
крику во Франции. Но я не могу избавиться от слабости, которую я к нему питаю: он дерзок – вот
за что я его люблю.

– Он умен! – воскликнула графиня.

– Да, это отважный человек, страстно защищающий королевскую власть. Настоящий пэр!

– Да, да, вы тысячу раз правы! Сделайте что-нибудь для него.

Скрестив руки на груди, король посмотрел на Дю Барри.

– Как вы можете, графиня, предлагать мне герцога именно тогда, когда вся Франция требует
от меня изгнать и разжаловать его?

Графиня Дю Барри тоже скрестила руки.

– Вы только что назвали Ришелье мокрой курицей, – промолвила она, – так вот это прозвище
прекрасно подходит вам.

– Графиня...

– Вы прекрасно выглядели, когда выслали де Шуазеля.

– Да, это было нелегко.

– Вы это сделали – прекрасно! А теперь отступаете перед трудностями.

– Я?

- Разумеется! Что означает изгнание герцога?
 - Я дал под зад Парламенту.
 - Почему же вы не хотите ударить дважды? Какого черта! Сделали один шаг – делайте и другой! Парламент хотел оставить Шуазеля – вышлите Шуазеля! Он хочет выслать д'Эгийона – оставьте его!
 - Я и не собираюсь его высылать.
 - А вы не просто оставьте его, а обласкайте, да так, чтобы это было заметно.
 - Вы хотите, чтобы я доверил министерство этому скандалисту?
 - Я хочу, чтобы вы вознаградили того, кто защищал вас в ущерб своему достоинству и своему состоянию.
 - Скажите лучше: своей жизни, потому что его непременно захватят в ближайшие дни за компанию с вашим другом Монеу.
 - Вот бы порадовались ваши защитники, если бы слышали вас сейчас!
 - Да они мне платят тем же, графиня.
 - Вы несправедливы: факты говорят за себя.
 - Вот как? Почему же д'Эгийон вызывает такую ненависть?
 - Ненависть? Не знаю. Я видела его сегодня и впервые с ним говорила.
 - Ну, это другое дело. Значит, существует предубеждение, а я готов уважать любые предубеждения, потому что у меня их не было никогда.
 - Дайте что-нибудь Ришелье ради д'Эгийона, раз не желаете ничего давать д'Эгийону.
 - Ришелье? Нет, нет и нет, никогда и ничего!
 - Тогда дайте господину д'Эгийону, раз ничего не даете Ришелье.
 - Что? Доверить ему портфель министра? Теперь это невозможно.
 - Понимаю... Но ведь можно позднее... Поверьте, что он изворотлив, это человек действия.
- В лице Тере, д'Эгийона и Монеу у вас будет трехглавый Цербер; подумайте также о том, что кабинет министров, предложенный вами, просто смехотворен и долго не продержится.
- Ошибаетесь, графиня, месяца три он выстоит.
 - Через три месяца я вам припомню ваше обещание.
 - Хо-хо, графиня!
 - Так и условимся. А теперь подумаем о сегодняшнем дне.
 - Да у меня ничего нет.
 - У вас есть рейтары. Д'Эгийон – офицер, в полном смысле слова – военный. Дайте ему рейтаров.
 - Хорошо, пусть берет.
 - Благодарю! – в радостном порыве воскликнула графиня. – Благодарю вас!
- Д'Эгийон услышал, как она чмокнула Людовика в щеку.
- А теперь угостите меня ужином, графиня.
 - Не могу, – отвечала она, – здесь ничего нет; вы меня совсем уморили своими разговорами о политике... Все мои слуги произносят речи, устраивают фейерверки, на кухне некому работать.
 - В таком случае поедemте в Марли, я забираю вас с собой. – Это невозможно: у меня голова раскалывается.
 - Что, мигрень?
 - Ужасная!
 - Тогда вам следует прилечь, графиня.
 - Так я и сделаю, сир.
 - Ну, прощайте!
 - До свидания!
 - Я похож на де Шуазеля: вы меня высылаете.
 - Я вас провожаю до самой двери с почестями, с ласками, – игриво молвила графиня, легонько подталкивая короля к двери, и в конце концов выставила его за дверь, громко смеясь и оборачиваясь на каждой ступеньке.
- Графиня держала в руке подсвечник, освещая лестницу сверху.

– Знаете что, графиня... – заговорил король, поднимаясь на одну ступеньку.

– Что, сир?

– Лишь бы бедный маршал из-за этого не умер.

– Из-за чего?

– Из-за того, что ему так и не достанется портфель.

– Какой вы злока! – отвечала графиня, провожая короля последним взрывом хохота.

Его величество удалился в прекрасном расположении Духа, оттого что пошутил над герцогом, которого он в самом деле терпеть не мог.

Когда графиня Дю Барри вернулась в будуар, она увидела, что д'Эгийон стоит на коленях у двери, молитвенно сложив руки и устремив на нее страстный взгляд.

Она покраснела.

– Я провалилась, – проговорила она, – наш бедный маршал...

– Я все знаю, – отвечал он, – здесь все слышно... Благодарю вас, графиня, благодарю!

– Мне кажется, я была обязана сделать это для вас, – нежно улыбаясь, заметила она. – Встаньте, герцог, не то я решу, что вы не только умны, но и внимательны.

– Возможно, вы правы, графиня. Как вам сказал дядюшка, я ваш покорный слуга.

– А также и короля. Завтра вам следует предстать перед его величеством. Встаньте, прошу вас!

Она протянула ему руку, он благоговейно припал к ней губами.

Вероятно, графиню охватило сильное волнение, так как она не прибавила больше ни слова.

Д'Эгийон тоже молчал – он был смущен не меньше графини. Наконец Дю Барри подняла голову.

– Бедный маршал! – повторила она. – Надо дать ему знать о поражении.

Д'Эгийон воспринял ее слова, как желание его выпроводить, и поклонился.

– Графиня, – проговорил он, – я готов к нему съездить.

– Что вы, герцог! Всякую дурную новость следует сообщать как можно позже. Чем ехать к маршалу, лучше оставайтесь у меня отужинать.

На герцога пахло молодостью, в сердце его вновь вспыхнула любовь, кровь заиграла в жилах.

– Вы – не женщина, – молвил он, – вы...

–..ангел? – страстно прошептала ему на ухо графиня и увлекла за собой к столу.

В этот вечер д'Эгийон чувствовал себя, должно быть, вполне счастливым: он отобрал министерский портфель у дядюшки и съел за ужином то, что причиталось королю.

Глава 17. В ПРИЕМНОЙ ГЕРЦОГА ДЕ РИШЕЛЬЕ

Как у всех придворных, у де Ришелье был один особняк в Версале, другой – в Париже, дом в Марли, еще один – в Люсьенн – словом, был угол везде, где мог жить или останавливаться король.

Приумножая свои владения, Людовик XV вынуждал всех особ знатного происхождения, входящих к королю, быть богачами, чтобы иметь возможность жить вместе с королем на широкую ногу и исполнять все его прихоти.

Итак, во время высылки де Шуазеля и де Праслена де Ришелье проживал в своем версальском особняке; он приказал отвезти себя туда, возвращаясь накануне из Люсьенн после представления своего племянника графине Дю Барри.

Ришелье видели вместе с графиней в лесу Марли; его видели в Версале после того, как министр впал в немилость; было известно о его тайной и продолжительной аудиенции в Люсьенн. Этого оказалось довольно для того, чтобы весь двор благодаря болтливости Жана Дю Барри считал необходимым засвидетельствовать свое почтение де Ришелье.

Старый маршал тоже собирался насладиться дифирамбами, лестью и ласками, которые каждый заинтересованный безрассудно рассыпал перед идиотом дня.

Де Ришелье не ожидал, разумеется, удара, который готовила ему судьба. Однако он поднялся утром описываемого нами дня с твердым намерением заткнуть нос, чтобы не вдыхать аромата

от воскурений, совсем как Улисс, заткнувший уши воском, чтобы не слышать пения сирен.

Окончательное решение должно было стать ему известно только на следующий день: король сам собирался огласить назначение нового кабинета министров.

Велико же было удивление маршала, когда он проснулся, вернее, был разбужен оглушительным стуком карет и узнал от камердинера, что весь двор вокруг особняка запружен каретами, так же как приемные и гостиные – их владельцами.

– Хо-хо! – воскликнул он. – Кажется, из-за меня много шума.

– Еще очень рано, господин маршал, – проговорил камердинер, видя, с какой поспешностью герцог пытается снять ночной колпак.

– Отныне для меня не существует слова «рано» или «поздно», запомните это! – возразил он.

– Слушаюсь, ваша светлость.

– Что сказали посетителям?

– Что ваша светлость еще не вставали – И все?

– Все.

– Как глупо! Надо было прибавить, что я засиделся накануне допоздна или.. Где Рафте?

– Господин Рафте спит, – отвечал камердинер.

– Как спит? Пусть его разбудят, черт побери!

– Ну-ну! – воскликнул бодрый улыбающийся старик, появляясь на пороге.

– Вот и Рафте! Зачем он понадобился?

При этих словах всю важность герцога как рукой сняло.

– А-а, я же говорил, что ты не спишь!

– Ну а если бы я и спал, что в этом было бы удивительного? Ведь только что рассвело.

– Дорогой Рафте, ты же видишь, что я-то не сплю!

– Вы – другое дело, вы – министр, вы... Как же тут уснуть?

– Ты, кажется, решил поворчать, – заметил маршал, кривляясь перед зеркалом. – Ты что, недоволен?

– Я? Чему же тут радоваться? Вы переутомитесь я заболее. Государством придется управлять мне, а в этом нет ничего занятого, ваша светлость.

– Как ты постарел, Рафте!

– Я ровно на четыре года моложе вас, ваша светлость. Да, я стар.

Маршал нетерпеливо топнул ногой.

– Ты прошел через приемную? – спросил он.

– Да.

– Кто там?

– Весь свет.

– О чем говорят?

– Рассказывают друг другу о том, что они собираются у вас попросить.

– Это естественно. А ты слышал, что говорят о моем назначении?

– Мне бы не хотелось вам это говорить.

– О, Господи! Неужели критикуют?

– Да, даже те, которым вы нужны. Как же это воспримут те, кто может понадобиться вам?

– Скажешь тоже, Рафте! – воскликнул старый маршал, неестественно рассмеявшись. – Кажется, ты мне льстишь...

– Послушайте, ваша светлость! – обратился к нему Рафте. – За каким дьяволом вы впряглись в тележку, которая называется министерством? Вам что, надоело быть счастливым и жить спокойно?

– Дорогой мой, я в жизни попробовал всего, кроме этого.

– Тысяча чертей! Вы никогда не пробовали мышьяка. Отчего бы вам не подмешать его себе в шоколад из любопытства?

– Ты просто лентяй, Рафте. Ты понимаешь, что, как у секретаря, у тебя прибавится работы, и ты уже готов увильнуть... Кстати, ты сам об этом уже сказал.

Маршал одевался тщательно.

– Подай мундир и воинские награды, – приказал он камердинеру.

– Можно подумать, что мы собираемся воевать? – проговорил Раффе.

– Да, черт возьми, похоже на то.

– Вот как? Однако я не видал подписанного королем назначения, – продолжал Раффе. –

Странно!

– Назначение сейчас доставят, вне всякого сомнения. – Значит, «вне всякого сомнения» теперь официальный термин.

– С годами ты становишься все несноснее, Раффе! Ты – формалист и пурист. Если бы я это знал, я не стал бы поручать тебе подготовить мою торжественную речь в Академии – именно она сделала тебя педантом.

– Послушайте, ваша светлость: раз уж мы теперь – правительство, будем же последовательны... Ведь это нелепо...

– Что нелепо?

– Граф де ла Водре, которого я только что встретил на улице, сообщил мне, что насчет министерства еще ничего неизвестно.

Ришелье усмехнулся.

– Де ла Водре прав, – проговорил он. – Так ты, значит, уже выходил?

– Еще бы, черт подери! Это было необходимо. Я проснулся от дикого грохота карет, приказал подавать одеваться, захватил военные награды и прошелся по городу.

– Ага! Я представляю Раффе повод для развлечений?

– Что вы, ваша светлость. Боже сохрани! Дело в том, что...

– В чем же?

– Во время прогулки я кое-кого встретил.

– Кого?

– Секретаря аббата Тере.

– И что же?

– Он мне сказал, что военным министром назначен его начальник.

– Ого! – воскликнул в ответ Ришелье с неизменной улыбкой.

– Что вы из этого заключили, ваша светлость?

– Только то, что раз господин Тере будет военным министром, значит, я им не буду. А если он не будет премьер-министром, то им, возможно, стану я.

Раффе сделал все, что мог. Это был человек отважный, неутомимый, честолюбивый, такой же умный, как его начальник, но гораздо более дальновидный, ибо он был простого происхождения и находился в подчинении – два больных места, благодаря которым за сорок лет он отточил свою хитрость, развил силу воли, натренировал ум. Видя, что начальник уверен в успехе, Раффе решил, что ему тоже нечего бояться.

– Поторопитесь, ваша светлость, – сказал он, – не заставляйте себя слишком долго ждать, это было бы дурно истолковано.

– Я готов, однако мне бы все-таки хотелось знать, кто там.

– Вот список.

Он подал длинный список – Ришелье с удовлетворением увидал имена первых людей королевства.

– Уж не становлюсь ли я знаменитостью? А, Раффе?

– Мы живем во времена чудес, – отвечал тот.

– Смотрите: Таверне! – с удивлением произнес маршал, продолжая просматривать список. – Он-то зачем сюда явился?

– Не знаю, господин маршал. Ну, вам пора!

Секретарь почти силой вынудил хозяина выйти в большую гостиную.

Ришелье должен был быть доволен: оказанный ему прием мог бы удовлетворить принца крови.

Однако утонченная вежливость и вкрадчивая ловкость придворных не подходили к случаю, который приберег для Ришелье тяжелое испытание.

Из приличия и из уважения все собравшиеся остерегались произносить в присутствии Ришелье слово «министерство». Самые ловкие осмелились робко поздравить его, другие знали, что надо лишь слегка намекнуть и что Ришелье почти ничего не ответит.

Для всех этот ранний визит был обычной поздравительной церемонией.

В те времена едва уловимые полутона нередко бывали понятны всем.

Некоторые придворные осмелились в разговоре выразить пожелание или надежду.

Один хотел, как он выражался, чтобы правительство было ближе к Версалью. Ему было приятно побеседовать об этом с человеком, пользующимся столь неограниченным влиянием, как де Ришелье.

Другой утверждал, что уже трижды был обойден вниманием де Шуазеля и не продвигался по службе. Он рассчитывал на обязательность де Ришелье, который должен был освежить память короля. И вот теперь ничто не помешает проявлению доброй воли его величества.

Таким образом, множество просьб, более или менее настойчивых, но искусно завуалированных, были высказаны на ушко облаканному маршалу.

Мало-помалу толпа растаяла. Все хотели, как они говорили, дать господину маршалу возможность «заняться его важными делами».

Только один человек остался в гостиной.

Он не стал подходить вместе с другими, ничего не просил, даже не представился.

Когда гостиная опустела, он с улыбкой приблизился к герцогу.

– А-а, господин де Таверне! – проговорил маршал. – Очень рад, очень рад!

– Я тебя ждал, герцог, чтобы поздравить, искренне поздравить.

– Неужели? С чем же? – спросил Ришелье, которого сдержанность посетителей словно заставляла быть скрытным и хранить таинственный вид.

– Я тебя поздравляю с новым званием, герцог.

– Тише! Тише! – прошептал маршал. – Не будем об этом говорить... Еще ничего не известно, это только слухи.

– Однако, мой дорогой маршал, не один я так думаю, ежели в твоих приемных полным-полно народу.

– Я, право, сам не знаю, почему.

– Зато я знаю.

– Так в чем же дело?

– В одном моем слове.

– В каком слове?

– Вчера в Трианоне я имел честь беседовать с королем. Его величество расспрашивал меня о моих детках, а в конце разговора сказал: «Кажется, вы знакомы с господином де Ришелье? Можете его поздравить».

– Да? Его величество вам так сказал? – переспросил Ришелье, не в силах скрыть гордость, будто эти слова были королевской грамотой, которую с замиранием сердца ждал Раффе.

– Вот как я обо всем догадался, – продолжал Таверне, – и это было нетрудно при виде того, что к тебе торопится весь Версаль; я же поспешил, чтобы, выполняя волю короля, поздравить тебя и, подчиняясь своему чувству, напомнить о нашей старой дружбе.

Герцог почувствовал раздражение: это ошибка природы, от которой не застрахованы даже лучшие умы. Герцог увидел в бароне де Таверне лишь одного из просителей низшего ранга, бедных людей, обойденных милостями, каких не стоило даже продвигать, бесполезно было водить с ними знакомство; их обыкновенно упрекают за то, что они напомнили о себе спустя лет двадцать лишь для того, чтобы погреться в лучах чужой славы.

– Я понимаю, что это значит, – проговорил маршал довольно жестко, – я должен исполнить какую-нибудь просьбу.

– Ну что же, ты сам напросился, герцог.

– Ах! – вздохнул Ришелье, садясь или, вернее, опускаясь на софу.

– Как я тебе говорил, у меня двое детей, – продолжал Таверне, подыскивая слова и внимательно следя за маршалом: он заметил холодность своего великого друга и постарался нащупать

пути для сближения. – У меня есть дочь, я ее горячо люблю, она – образец добродетели и красоты. Дочь пристроена у ее высочества, пожелавшей проявить к ней особую милость. О ней, о моей красавице Андре, я и не говорю, герцог. Ей уготовано прекрасное будущее, ее ожидает счастье. Ты видел мою дочь? Неужели я ее тебе еще не представил? И ты ничего о ней не слыхал?

– Уф-ф... Не знаю, право, – небрежно бросил Ришелье. – Может быть, и слыхал...

– Ну, неважно, – продолжал Таверне, – моя дочь устроена. Я, как видишь, тоже ни в чем не испытываю нужды: король назначил мне пенсию, на него вполне можно прожить. Признаться, я не отказался бы при случае от какого-нибудь доходного места, чтобы отстроить Мезон-Руж и поселиться там на старости лет; впрочем, с твоим влиянием, с влиянием моей дочери...

– Эге! – пробормотал Ришелье; до сих пор он пропускал слова Таверне мимо ушей, наслаждаясь своим величием, и лишь слова «влияние моей дочери» заставили его встрепнуться. – Эге! Твоя дочь... Так это та самая юная красавица, внушающая опасение добрейшей графине? Это тот самый скорпион, что пригрелся под крылышком ее высочества, чтобы однажды укусить кое-кого из Люсьенн?.. Ну, я не буду неблагодарным другом. А что касается признательности, то дорогая графиня, сделавшая меня министром, увидит, умею ли я быть признательным.

Затем он громко прибавил:

– Продолжайте!

– Клянусь честью, я сказал почти все, – проговорил Таверне, посмеиваясь про себя над тщеславным маршалом и желая одного: добиться своего. – Все мои мысли теперь – только о моем Филиппе: он носит славное имя, но ему не суждено прославиться, если никто ему не поможет. Филипп – храбрый, рассудительный малый, может быть, чересчур рассудительный. Но это – следствие его стесненного положения: как ты знаешь, если водить лошадь на коротком поводке, она ходит с опущенной головой.

«Мне-то что за дело?» – думал маршал, не скрывая скуки и нетерпения.

– Мне нужен человек, – безжалостно продолжал Таверне, – занимающий столь же высокое, как ты, положение, который бы помог Филиппу получить роту... Прибыв в Страсбург, ее высочество удостоила его звания капитана. Это хорошо, но ему не хватает всего каких-нибудь ста тысяч ливров, чтобы возглавить роту в хорошем привилегированном кавалерийском полку... Помогите мне в этом, мой знаменитый друг!

– Ваш сын – тот самый молодой человек, который оказал услугу ее высочеству? – спросил Ришелье.

– Огромную услугу! – вскричал Таверне. – Это он отбил последнюю упряжку ее высочества, которую собирался захватить Дю Барри.

«Ой-ой! – воскликнул про себя Ришелье. – Да, это он... Самый страшный враг графини... Как удачно подвернулся Таверне! Вместо чина получит ссылку...»

– Вы ничего мне не ответите, герцог? – спросил Таверне, задетый за живое упрямством продолжавшего молчать маршала.

– Это невозможно, дорогой господин Таверне, – проговорил в ответ маршал, поднимаясь и тем давая понять, что аудиенция окончена.

– Невозможно? Такая малость невозможна? И это говорит мне старый друг?

– А что же тут такого?.. Разве дружба, о которой вы говорите, – достаточная причина для того, чтобы стремиться.., одному – к несправедливости, другому – к злоупотреблению дружбой? Пока я был ничто, вы меня двадцать лет не видали, но вот я – министр, и вы – тут как тут!

– Господин де Ришелье, сейчас несправедливы вы.

– Нет, мой дорогой, я не хочу, чтобы вы таскались по приемным. Значит, я и есть настоящий друг...

– Так у вас есть причина, чтобы мне отказать?

– У меня?! – вскричал Ришелье, крайне обеспокоенный подозрением, которое могло зародиться у Таверне. – У меня?! Причина?..

– Да, ведь у меня есть враги...

Герцог мог бы сказать все, что он думал, но тогда он признался бы барону, что так бережно обращается с графиней из благодарности, что он стал министром по капризу фаворитки. А уж в

этом-то маршал не мог сознаться ни за что на свете. Вот почему в ответ он поспешил сказать следующее:

– Нет у вас никаких врагов, дорогой друг, а вот у меня они есть. Немедленно без всякой очередности начать раздавать звания и милости – значит подставить себя под удар и вызвать толки о том, что я действую не лучше Шуазеля. Дорогой мой! Я бы хотел оставить после себя Добрую память. Я уже двадцать лет вынашиваю реформы, усовершенствования, и скоро они явятся перед взором всего мира! Фавор губителен для Франции: я буду жаловать по заслугам. Труды наших философов несут свет, который достиг и моих глаз; рассеялись потемки прошлых лет, настала счастливая пора для государства... Я готов рассмотреть вопрос о продвижении вашего сына точно так же, как я сделал бы это для первого попавшегося гражданина; я принесу в жертву свои пристрастия, и эта жертва, несомненно, будет болезненной, но она будет принесена во имя трехсот тысяч других... Ежели ваш сын, господин Филипп де Таверне, покажется мне достойным этой милости, он ее получит, и не потому, что его отец – мой друг, не потому, что носит имя своего отца, а потому, что этого заслужит сам. Вот каков мой план действий.

– Другими словами, ваша философия, – прошипел старый барон, который от злости кусал ногти и досадовал на то, что этот разговор стоил ему такого унижения и малодушия.

– Пусть так. Философия – подходящее слово.

–..которое освобождает от многого, не так ли, господин маршал?

– Вы плохой придворный, – холодно улыбаясь, заметил Ришелье.

– Люди моего звания могут быть только придворными короля!

– Мой секретарь, господин Рафте, принимает в день по тысяче человек вашего звания у меня в приемной, – сказал Ришелье, – они приезжают из черт знает какой провинциальной глуши, где привыкают к невежливости по отношению к своим так называемым друзьям, да еще проповедуют согласие.

– О, я прекрасно понимаю, что потомок Мезон-Ружей, прославившихся еще во времена крестовых походов, иначе понимает согласие, нежели Виньрот, ведущий свой род от деревенского скрипача!

У маршала было больше здравого смысла, чем у Таверне.

Он мог бы приказать выбросить его из окна, но он только пожал плечами и сказал:

–Вы слишком отстали, господин крестовый рыцарь: о вас упоминается в клеветнической памятной записке Парламента в тысяча семьсот двадцатом году, но вы не читали ответной записки герцогов и пэров. Пройдите в мою библиотеку, уважаемый, – Рафте даст вам ее почитать.

В то время как он выпроваживал своего противника с этими ловко найденными словами, дверь распахнулась и в комнату с шумом вошел какой-то господин.

– Где дорогой герцог? – спросил он.

Этот сияющий господин с расширенными от удовлетворения глазами и разведенными в благожелательном порыве руками был не кто иной, как Жан Дю Барри.

При виде нового лица Таверне от удивления и досады отступил.

Жан заметил его движение, узнал барона и повернулся к нему спиной.

– Мне кажется, теперь я понимаю и потому удаляюсь. Я оставляю господина министра в прекрасном обществе, – спокойно проговорил барон и с величественным видом вышел.

Глава 18. РАЗОЧАРОВАНИЕ

Жан был так взбешен выходкой барона, что сделал было два шага вслед за ним, потом пожал плечами и возвратился к маршалу.

– И вы таких у себя принимаете?

– Что вы, дорогой мой, вы ошибаетесь. Напротив, я таких гоню прочь.

– А вы знаете, что это за господин?

– Знаю!

– Да нет, вы, должно быть, недостаточно хорошо с ним знакомы.

– Это Таверне.

- Этот господин хочет подложить свою дочь в постель к королю...
- Да что вы!..
- Этот господин хочет нас выжить и готов ради этого на все... Да! Но Жан – здесь, Жан все видит.
- Вы полагаете, что он собирается...
- Это не сразу заметишь, не правда ли? Партия дофина, дорогой мой... У них есть свой убийца...
- Ба!
- У них есть молодой человек, выдрессированный для того, чтобы хватать людей за пятки, тот самый бретер, что готов проткнуть плечо шпагой Жану... Бедный Жан!
- Вам? Так это ваш личный враг, дорогой виконт? – спросил Ришелье, изобразив удивление.
- Да, это мой противник в истории с почтовыми лошадьми, вам неизвестной.
- Любопытно! Я этого не знал, но отказал ему в просьбе. Вот только я не просто выпроводил бы его, а выгнал, если бы мог предполагать... Впрочем, будьте покойны, виконт: теперь этот бретер у меня в руках, и скоро у него будет возможность в этом убедиться.
- Да, вы можете отбить ему охоту нападать на большой дороге... О, я, кажется, еще не поздравил вас...
- Вероятно, виконт, это уже решено.
- Да, это вопрос решенный. Позвольте мне обнять вас!
- Благодарю вас от всего сердца.
- Клянусь честью, это было непросто, но все это – пустое, когда победа у вас в руках. Вы довольны, не правда ли?
- Если позволите, я буду с вами откровенен. Да, доволен, так как полагаю, что смогу быть полезен.
- Можете в этом не сомневаться. Это мощный удар, кое-кто еще взвывает.
- Разве меня не любят в народе?
- Вас?.. У вас есть и сторонники, и противники. А вот его просто ненавидят.
- Его?.. – удивленно переспросил Ришелье. – Кого – его?..
- Понятно – кого! – перебил его Жан. – Парламент встанет на дыбы, нас ожидает встряска не хуже той, что была при Людовике Четырнадцатом; ведь они оплеваны, герцог, попросту оплеваны!
- Прошу вас мне объяснить...
- Само собой разумеется, что члены Парламента ненавидят того, кому они обязаны своими мучениями.
- Так вы полагаете, что...
- Я в этом совершенно уверен, как и вся Франция. Но это все равно, герцог. Вы прекрасно поступили, выдвинув его не мешкая.
- Кого?.. О ком вы говорите, виконт? Я как на иголках, я не понимаю ни слова из того, о чем вы говорите.
- Я говорю о д'Эгийоне, о вашем племяннике.
- А при чем здесь он?
- Как при чем? Вы хорошо сделали, что выдвинули его.
- А-а, ну да! Ну да! Вы хотите сказать, что он мне поможет?
- Он поможет всем нам... Вам известно, что он в прекрасных отношениях с Жаннеттой?
- Неужели?
- Да, в превосходных. Они уже побеседовали и сумели договориться, могу поклясться!
- Вам это точно известно?
- Да об этом нетрудно догадаться. Жаннетта – большая любительница поспать.
- Ха!
- И она не встает раньше девяти, десяти или одиннадцати часов.
- Ну так что же?..
- Так вот сегодня, в шесть часов утра, самое позднее, я увидел, как из Люсьенн выезжает ка-

рета д'Эгийона.

– В шесть часов? – с улыбкой воскликнул Ришелье.

– Да.

– Сегодня утром?

– Сегодня утром. Судите сами: раз она поднялась так рано чтобы дать аудиенцию вашему дорогому племяннику, значит, она от него без ума.

– Да, да, – согласился Ришелье, потирая руки, – в шесть часов! Браво, д'Эгийон!

– Должно быть, аудиенция началась часов в пять... Ночью! Это просто невероятно!..

– Невероятно!.. – повторил маршал. – Да, это в самом деле невероятно, дорогой мой Жан.

– И вот теперь вы будете втроем, как Орест, Пилад и еще один Пилад.

В ту минуту, когда маршал удовлетворенно потирал руки, в гостиную вошел д'Эгийон.

Племянник поклонился дядюшке с выражением соболезнования; этого оказалось довольно, чтобы Ришелье понял если не все, то почти все.

Он побледнел так, словно получил смертельную рану: он подумал, что при дворе не бывает ни друзей, ни родственников, каждый думает только о себе.

«Какой же я был дурак!» – подумал он.

– Ну что, д'Эгийон? – произнес он, подавив тяжелый вздох.

– Ну что, господин маршал?

– Это тяжелый удар для Парламента, – повторил Ришелье слова Жана.

Д'Эгийон покраснел.

– Вы же знаете? – спросил он.

– Господин виконт обо всем мне рассказал, – отвечал Ришелье, – даже о вашем визите в Люсьенн сегодня на рассвете. Ваше назначение – большой успех для моей семьи.

– Поверьте, господин маршал, я очень сожалею, что так вышло.

– Что за чушь он несет? – с удивлением сказал Жан, скрестив на груди руки.

– Мы друг друга понимаем, – перебил его Ришелье, – мы прекрасно друг друга понимаем.

– Ну и отлично А вот я совсем вас не понимаю... Какие-то сожаления... А, ну да!.. Это потому, что он не сразу будет назначен министром. Да, да.., очень хорошо.

– Так он будет временно исполнять обязанности премьер-министра? – спросил маршал, почувствовав, как в его сердце зашевелилась надежда – вечный спутник честолобца и любовника.

– Да, я буду временно исполнять обязанности премьер-министра, господин маршал.

– А пока ему и так неплохо заплатили... – вскричал Жан. – Самое блестящее назначение в Версале!

– Да? – уронил Ришелье, снова почувствовав боль. – Есть назначение?

– Очевидно, господин Дю Барри несколько преувеличивает, – возразил д'Эгийон.

– Какое же назначение?

– Командование королевскими рейтарами. Ришелье почувствовал, как бледность вновь залила его морщинистые щеки.

– О да! – проговорил он с непередаваемой улыбкой. – Это и правда безделица для такого очаровательного господина. Что вы хотите, герцог! Самая красивая девка на свете может дать только то, что у нее есть, будь она любовницей короля.

Наступил черед д'Эгийона побледнеть.

Жан в это время рассматривал прекрасные полотна кисти Мурильо.

Ришелье похлопал племянника по плечу.

– Хорошо еще, что вам пообещали продвижение в будущем, – сказал он. – Примите мои поздравления, герцог... Самые искренние поздравления... Ваша ловкость в переговорах не уступает вашей удачливости... Прощайте, у меня дела. Прошу не обойти меня своими милостями, дорогой премьер-министр.

Д'Эгийон произнес в ответ:

– Вы – это я, господин маршал, а я – это вы. Поклонившись дядюшке, он вышел, не теряя врожденного чувства собственного достоинства и тем самым избавляясь от труднейших объяснений, когда-либо выпадавших ему за всю его жизнь.

– Вот что хорошо, восхитительно в д'Эгийоне, так это его наивность, – поспешил заговорить Ришелье после его ухода; Жан не знал, как отнестись к обмену любезностями между племянником и дядюшкой. – Он – умный и добрый, – продолжал маршал, – он знает двор и честен, как девушка.

– И кроме того, он вас любит.

– Как агнец.

– Да, – согласился Жан, – скорее ваш сын – д'Эгийон, а не де Фронзак.

– Могу поклясться, что вы правы... Да, виконт..., да. Ришелье нервно расхаживал вокруг кресла, словно подыскивая и не находя нужных выражений.

– Ну, графиня, – бормотал он, – вы мне за это еще заплатите!

– Маршал! Мы сможем олицетворять вчетвером знаменитый античный пучок. Знаете, тот, который никто не мог переломить? – лукаво проговорил Жан.

– Вчетвером? Дорогой господин виконт, как вы это себе представляете?

– Моя сестра – это мощь, д'Эгийон – влияние, ты – разум, а я – наблюдательность.

– Отлично! Отлично!

– И тогда пусть попробуют одолеть мою сестру. Плевать я хотел на всех и на вся!

– Черт побери! – проговорил Ришелье; голова у него горела.

– Пусть попробуют противопоставить соперниц! – вскричал Жан, упоенный своими замыслами.

– О! – воскликнул Ришелье, ударив себя по лбу.

– Что такое, дорогой маршал? Что с вами?

– Ничего. Просто считаю вашу идею объединения восхитительной.

– Правда?

– И я всемерно готов ее поддержать.

– Браво!

– Скажите: Таверне живет в Трианоне вместе с дочерью?

– Нет, он проживает в Париже.

– Девчонка очень красива, дорогой виконт.

– Будь она так же красива, как Клеопатра или как..., моя сестра, я ее больше не боюсь..., раз мы заодно.

– Так, говорите, Таверне живет в Париже на улице Сент-Оноре?

– Я не говорил, что на улице Сент-Оноре, он проживает на улице Кок-Эрон. Уж не появилась ли у вас мысль, как избавиться от Таверне?

– Пожалуй, да, виконт; мне кажется, у меня возникла одна идея.

– Вы – бесподобный человек. Я вас покидаю и исчезаю: мне хочется узнать, что говорят в городе.

– Прощайте, виконт... Кстати, вы мне не сказали, кто вошел в новый кабинет министров.

– Да так, перелетные птички: Тере, Бертен..., не знаю, право, кто еще... Одним словом, монетный двор временного министра д'Эгийона.

«Который, вполне вероятно, будет им вечно», – подумал маршал, посылая Жану одну из самых любезных улыбок, подобную прощальному поцелую.

Жан удалился. Вошел Рафте. Он все слышал и знал, как к этому отнестись; все его опасения оправдались. Он ни слова не сказал, потому что слишком хорошо знал маршала.

Рафте не стал звать камердинера: он сам его раздел и проводил до постели. Старый маршал лег, дрожа, как в лихорадке; он принял таблетку по настоянию секретаря.

Рафте задернул шторы и вышел. Приемная уже была полна озабоченными, насторожившимися лакеями. Рафте взял за руку первого подвернувшегося ему камердинера.

– Хорошенько следи за господином маршалом, – сказал он, – ему плохо. Утром у него произошла большая неприятность: он оказал неповиновение королю...

– Оказал неповиновение королю? – в испуге переспросил камердинер.

– Да. Его величество прислал его светлости портфель министра; маршал узнал, что все это произошло благодаря вмешательству Дю Барри и отказался! Это превосходно, и парижане должны были бы соорудить в его честь триумфальную арку. Однако потрясение было столь сильным, что

наш хозяин занемог. Так смотри же за ним!

Раффе знал заранее, как быстро эти слова облетят весь город, и потому спокойно удалился к себе в кабинет.

Спустя четверть часа Версаль уже знал о благородном поступке и истинном патриотизме маршала. А тот спал глубоким сном, не подозревая об авторитете, который ему создал секретарь.

Глава 19. В ТЕСНОМ КРУГУ ЕГО ВЫСОЧЕСТВА ДОФИНА

В тот же день мадмуазель де Таверне, выйдя из своей комнаты в три часа пополудни, отправилась к ее высочеству, имевшей обыкновение почитать перед обедом.

Первый чтец ее высочества, аббат, не исполнял больше своих обязанностей. Он посвящал себя высокой политике после того, как проявил незаурядные способности в дипломатических интригах.

Итак, мадмуазель де Таверне вышла из комнаты. Как все, кто проживал в Трианоне, она испытывала трудности весьма поспешного переезда. Она еще ничего не успела устроить: не подбрала прислугу, не расставила свою скромную мебель; временно ей помогала одеваться одна из камеристок герцогини де Ноай, той самой непреклонной фрейлины, которую ее высочество звала г-жой Этикет.

Андре была в голубом шелковом платье с удлиненной талией и присборенной юбкой, словно подчеркивающей ее осиную талию. На платье был спереди разрез. Когда полы разреза распахивались, под ними становились видны три гофрированные складки расшитого муслина; короткие рукава также были расшиты муслиновыми фестончиками и приподняты в плечах. Они гармонировали с расшитой косынкой в стиле «пейзан», целомудренно скрывавшей грудь девушки. Мадмуазель Андре собрала на затылке свои прекрасные волосы, попросту перехватив их голубой лентой в тон платью; волосы падали ей на щеки и шею, рассыпались по плечам длинными густыми завитками и украшали ее лучше перьев, эгретов и кружев, бывших тогда в моде; у девушки было гордое и, вместе с тем, скромное выражение лица; ее щеки никогда не касались румяна.

Андре натягивала на ходу белые шелковые митенки на тонкие пальцы с закругленными ноготками, такие красивые, что им равных не было во всем мире. А на садовой дорожке оставались следы от ее туфелек нежно-голубого цвета на высоких каблучках.

Когда она пришла в павильон Трианона, ей сообщили, что ее высочество отправилась на прогулку в сопровождении архитектора и главного садовника. С верхнего этажа доносился шум станка, на котором дофин вытачивал замок для любимого сундука.

В поисках ее высочества Андре прошла через сад, где, несмотря на раннюю осень, тщательно укрывавшиеся на ночь цветы тянули побледневшие головки, чтобы погреться в мимолетных лучах еще более бледного солнца. Уже близились сумерки, потому что в это время года вечереет в шесть часов, и садовники накрывали стеклянными колпаками самые нежные растения на каждой грядке.

Поворачивая на аллею, обсаженную ровно подстриженными деревьями и окаймленную бенгальскими розами, которая заканчивалась прелестным газоном, Андре обратила внимание на одного из садовников; увидав ее, он оставил лопату и поклонился с вежливостью и изысканностью, не свойственными простому люду.

Она взглядела и узнала в нем Жильбера. Несмотря на грубую работу, его руки оставались по-прежнему достаточно белыми для того, чтобы привести в отчаяние барона Де Таверне.

Андре невольно покраснела. Присутствие Жильбера показалось ей странной прихотью судьбы.

Жильбер еще раз поклонился. Андре кивнула в ответ и продолжала свой путь.

Однако она была существом слишком искренним и отчаянно смелым, чтобы противиться движению души и оставить без ответа вопрос, вызвавший ее беспокойство.

Она вернулась, и Жильбер, успевший побледнеть и с ужасом следивший за тем, как она уходит, внезапно ожил и порывисто шагнул к ней навстречу.

– Вы здесь, господин Жильбер? – холодно спросила Андре.

– Да, мадмуазель.
– Какими судьбами?
– Мадмуазель! Должен же я на что-то жить, и жить честно.
– Понимаете ли вы, как вам повезло?
– Да, мадмуазель, очень хорошо понимаю, – отвечал Жильбер.
– Неужели?
– Я хочу сказать, мадмуазель, что вы совершенно правы: я и в самом деле очень счастлив.
– Кто вас сюда устроил?
– Господин де Жюсье, мой покровитель.
– Да? – с удивлением спросила Андре. – Так вы знакомы с господином де Жюсье?
– Он был другом моего первого покровителя и учителя, господина Руссо.
– Желаю вам удачи, господин Жильбер! – проговорила Андре, собираясь уйти.
– Вы чувствуете себя лучше, мадмуазель? – спросил Жильбер, и голос его так задрожал, что можно было догадаться, что вопрос исходил из самого сердца и передавал каждое движение его души.

– Лучше? Что это значит? – холодно переспросила Андре.
– Я... Несчастный случай?..
– А-а, да, да... Благодарю вас, господин Жильбер, я чувствую себя лучше, это была сушая безделица.

– Да ведь вы едва не погибли, – в сильнейшем волнении возразил Жильбер, – опасность была слишком велика!

Андре подумала, что пора положить конец разговору с простым садовником прямо посреди королевского парка.

– До свидания, господин Жильбер, – обронила она.
– Не желает ли мадмуазель розу? – с дрожью в голосе, весь в поту, пролепетал Жильбер.
– Сударь! Вы мне предлагаете то, что вам не принадлежит, – отрезала Андре.

Потрясенный Жильбер ничего не ответил. Он опустил голову. Андре продолжала на него смотреть, радуясь тому, что ей удалось показать свое превосходство. Жильбер вырвал самый красивый розовый куст и принялся обрывать цветы с хладнокровием и достоинством, понравившимися девушке.

Она была очень добра, в ней было сильно развито чувство справедливости, и она не могла не заметить, что безнаказанно обидела человека ниже себя только за то, что он проявил почтительность. Но, как все гордые люди, чувствующие, что они не правы, она поспешила удалиться, не прибавив ни слова, когда, быть может, извинение или слова примирения готовы были сорваться с ее губ.

Жильбер тоже не произнес ни единого слова. Он швырнул розы наземь и взялся за лопату. Однако в его характере гордость переплеталась с хитростью. Он наклонился, собираясь продолжать работу, и вместе с тем хотел посмотреть на удалявшуюся Андре. Перед тем как свернуть на другую аллею, она не удержалась и обернулась. Она была женщина.

Жильбера порадовала ее слабость. Он сказал себе, что в новой борьбе только что одержал победу.

«Я сильнее ее, – подумал он, – и я буду над ней властвовать. Она гордится своей красотой, своим именем, растущим состоянием, ей вскружила голову моя любовь, о которой она, возможно, догадывается – от этого она становится еще желаннее для бедного садовника, который не может без дрожи на нее взглянуть. О, эта дрожь, этот озноб недостойны мужчины! Придет день, и она заплатит за все подлости, на какие я иду ради нее! Ну, а сегодня я и так довольно поработал, – прибавил он, – и победил неприятеля... Я должен был бы оказаться слабее, потому что ее люблю, а я в десять раз сильнее».

Он еще раз в приливе счастья повторил про себя эти слова. Откинув со лба красивые черные волосы, с силой воткнув лопату в землю, он словно лось, бросился через заросли кипарисов и тисов, легким ветерком пронесся между прикрытыми колпаками растениями, не задев ни одного из них, несмотря на стремительный бег, и замер на крайней точке описанной им диагонали с целью

опередить Андре, шедшую по круговой дорожке.

Оттуда он в самом деле увидал, как задумчиво она идет. По виду ее можно было угадать, что она чувствует себя униженной. Она опустила прекрасные глаза долу, ее правая рука безжизненно висела вдоль развевавшегося платья. Спрятавшись в зарослях грабового питомника, он услышал, как она раза два вздохнула, словно разговаривая сама с собой. Она прошла так близко от скрывавших Жильбера деревьев, что, протяни он руку, он мог бы коснуться Андре. Он уже был готов сделать это, охваченный безумной лихорадкой, от которой голова его шла кругом.

Однако, нахмутив брови, он волевым движением, напоминавшим скорее ненависть, прижал судорожно сжатую руку к груди.

«Опять слабость!» – сказал он себе и еле слышно прибавил:

– До чего же она хороша!

Возможно, Жильбер еще долго любовался бы Андре, потому что аллея была длинная, а Андре шла медленно. Однако на эту аллею выходили другие дорожки, откуда могла явиться какая-нибудь досадная помеха. Судьба на этот раз была немилостива к Жильберу: досадная помеха в самом деле представилась в лице господина, вышедшего на аллею с ближайшей к Андре боковой дорожки, иными словами – почти напротив зеленой рощицы, где прятался Жильбер.

Этот не вовремя явившийся господин шагал уверенно, мерными шагами; зажав шляпу под мышкой, он высоко держал голову, а левую руку опустил на эфес шпаги. На нем был бархатный костюм, сверху – накидка, подбитая соболем. Он шел, чеканя шаг, у него были красивые породистые ноги с высоким подъемом.

Продолжая идти вперед, господин заметил Андре. Должно быть, ее внешность привлекла его внимание: он ускорил шаг, сошел с дорожки и пошел наискосок через рощу, чтобы оказаться как можно скорее на пути у Андре.

Разглядев этого господина, Жильбер невольно вскрикнул и, подобно испуганному дрозду, бросился бежать.

Маневр господина удался. Он, несомненно, имел в подобных делах большой опыт. Не прошло и нескольких минут, как он оказался впереди Андре, хотя еще совсем недавно шел за ней на довольно значительном расстоянии.

Услышав его шаги, Андре сначала отошла в сторону, давая ему дорогу, и только потом на него взглянула.

Господин тоже на нее смотрел, и не просто, а во все глаза; он даже остановился, желая по-лучше ее разглядеть, потом еще раз обернулся.

– Мадмуазель! – любезно заговорил он. – Куда вы так торопитесь, скажите на милость?

При звуке его голоса Андре подняла голову и шагах в тридцати позади него заметила неторопливо шагавших двух офицеров охраны. Она обратила внимание на голубую ленту, выглядывавшую из-под собольей накидки этого господина и, испугавшись неожиданной встречи и любезного обращения, прервавшего ее мысли, заметно побледнела.

– Король! – прошептала она, низко поклонившись.

– Мадмуазель!.. – приближаясь, произнес в ответ Людовик XV. – У меня плохое зрение, и я вынужден просить вас назвать свое имя.

– Мадмуазель де Таверне, – едва слышно прошептала девушка в сильном смущении.

– А-а, да, да! Как хорошо, должно быть, погулять в Трианоне, мадмуазель! – продолжал король.

– Я иду к ее высочеству, она меня ждет, – сказала Андре, приходя в еще большее волнение.

– Я вас к ней отведу, мадмуазель, – молвил Людовик XV. – Я по-соседски собирался навещать свою дочь. Позвольте предложить вам руку, раз нам по пути.

Андре почувствовала, как ее глаза заволокло пеленой, затем пелена опустилась на сердце. В самом деле, а, бедной девушки было огромной честью опереться на руку самого короля, это было нечаянной радостью, столь невероятной милостью, которой мог бы позавидовать любой придворный; Андре была как во сне.

Она склонилась в глубоком реверансе и с таким благоговением взглянула на короля, что он был вынужден еще раз поклониться. Обыкновенно, когда дело касалось церемониала и вежливо-

сти, Людовик XV вспоминал о Людовике XIV. Традиции хороших манер восходили еще ко временам Генриха IV.

Итак, он предложил руку Андре, она коснулась горячими пальчиками перчатки короля, и они вдвоем отправились к павильону, где, как доложили королю, он должен был найти ее высочество в обществе архитектора и главного садовника.

Читатель может быть совершенно уверен, что Людовик XV, не любивший пеших прогулок, выбрал на сей раз самую длинную дорогу, ведя Андре в Малый Трианон. Оба офицера, сопровождавшие на некотором расстоянии его величество, заметили ошибку короля и очень огорчились, так как были легко одеты, а на улице становилось свежо.

Король и мадмуазель де Таверне пришли поздно и не застали ее высочество там, где надеялись ее найти. Мария-Антуанетта незадолго перед их приходом ушла, не желая заставлять ждать дофина, любившего ужинать между шестью и семью часами.

Ее высочество пришла ровно в шесть. До крайности пунктуальный дофин уже стоял на пороге столовой, собираясь войти, как только появится метрдотель. Ее высочество сбросила накидку на руки одной из камеристок, подошла к дофину и, весело подхватив его под руку, увлекла в столовую.

Стол был накрыт для двух прославленных амфитрионов.

Каждый из них сидел посредине, оставляя свободным почетное место во главе стола. Принимая во внимание то обстоятельство, что король любил появляться неожиданно, это место не занимали с некоторых пор даже тогда, когда было много гостей. На этом почетном краю стола прибор короля занимал значительное место; метрдотель, не рассчитывавший на появление именитого гостя, подавал с этой стороны.

За стулом дофина, на достаточном от него расстоянии для того, чтобы могли проходить лакеи, герцогиня де Ноай держалась прямо, хотя и изобразила на своем лице любезность по случаю ужина.

Рядом с герцогиней де Ноай находились другие дамы, которым их положение при дворе вменяло в обязанность или в виде особой милости разрешалось присутствовать на ужине их высочеств.

Три раза в неделю герцогиня де Ноай ужинала за одним столом с их высочествами. Однако в те дни, когда она не ужинала, она ни в коем случае не упускала возможности просто присутствовать на ужине. Кстати, это был способ протеста против исключения четырех дней из семи.

Напротив герцогини де Ноай, прозванной ее высочеством «госпожой Этикет», на таком же возвышении находился герцог де Ришелье.

Он тоже очень строго придерживался правил приличия, вот только его этикет оставался невидимым для глаз, потому что был надежно спрятан под изысканной элегантностью, а иногда и под самым утонченным зубоскальством.

В результате этого противостояния главного камергера и первой фрейлины ее высочества разговор, постоянно обрываемый первой фрейлиной ее высочества герцогиней де Ноай, неизменно возобновлялся главным камергером герцогом де Ришелье.

Маршал много путешествовал, побывал при всех королевских дворах Европы, отовсюду перенимал тон, соответствовавший его темпераменту, знал все анекдоты и потому, обладая редкостным тактом и будучи знатоком правил приличия, безошибочно определял, какие из них можно рассказать за столом юных инфантов, а какие – в тесном кругу у графини Дю Барри.

В этот вечер он заметил, что ее высочество ест с большим аппетитом, да и дофин ей не уступает. Он предположил, что они вряд ли будут способны поддержать беседу и что ему придется заставить герцогиню де Ноай пройти через часовое чистилище.

Он заговорил о философии и театре: это были две темы, ненавистные почтенной герцогине.

Он пересказал последние каламбуры фернейского философа, как с некоторых пор называли автора «Генриады». Увидев, что герцогиня изнемогает, он стал во всех подробностях рассказывать, с каким трудом ему удалось заставить хорошо играть актрис королевского театра, что входило в обязанности главного камергера.

Ее высочество интересовалась искусствами, особенно театром, самолично подбирала костюм

Клитемнестры для мадмуазель Ранкур, поэтому она слушала Ришелье не просто благосклонно, но с большим удовольствием.

Бедная фрейлина вопреки этикету стала ерзать на своем возвышении, громко сморкалась и осуждающе качала головой, не замечая облаков пудры, окутывавших ее голову при каждом движении, подобно снежному облаку, обволакивающему вершину Монблана при каждом порыве ветра.

Но развлекать только ее высочество было недостаточно, надо было еще понравиться дофину. Ришелье оставил в покое театр, к которому наследник французской короны никогда не выказывал особого пристрастия, и заговорил о философии. Он с такою же горячностью стал поддерживать англичан, с какой Руссо говорил об Эдуарде Бомстоне.

А герцогиня де Ноай ненавидела англичан так же яростно, как и философов.

Свежая мысль была для нее утомительной, усталость проникла во все поры ее существа. Г-жа Де Ноай чувствовала, что создана консерватором, она готова была выть от новых мыслей, как воют собаки при виде людей в масках.

Ришелье, ведя эту игру, убивал двух зайцев: он мучил г-жу Этикет, что доставляло видимое удовольствие ее высочеству, и то тут, то там вставлял добродетельные афоризмы или подсказывал математические аксиомы его высочеству, любителю точных формулировок.

Итак, он ловко исполнял обязанности придворного и в то же время старательно искал глазами того, кого он рассчитывал встретить, но до сих пор не находил. Вдруг снизу раздался крик, отдавшийся под сводами дворца, а затем повторенный другими голосами сначала на лестнице, затем перед дверью в столовую.

– Король!

При этом магическом слове г-жу де Ноай подбросило, словно стальной пружиной; Ришелье, напротив, неторопливо поднялся; дофин поспешно вытер губы и встал, устремив взгляд на дверь.

Ее высочество направилась к лестнице, чтобы как можно раньше встретить короля и оказать ему гостеприимство.

Глава 20. ВОЛОСЫ КОРОЛЕВЫ

Король поднимался по лестнице, не выпуская руку мадмуазель де Таверне. Дойдя до площадки, он стал с ней столь галантно и так долго раскланиваться, что Ришелье успел заметить поклоны, восхитился их изяществом и спросил себя, какая счастливица их удостоилась.

В неведении он находился недолго. Людовик XV взял за руку ее высочество, она все видела и, разумеется, узнала Андре.

– Дочь моя, – сказал он принцессе, – я без церемоний зашел к вам поужинать. Я прошел через весь парк, по дороге встретил мадмуазель де Таверне и попросил меня проводить.

– Мадмуазель де Таверне! – прошептал Ришелье, растерявшись от неожиданности. – Клянусь честью, мне повезло!

– Я не только не стану бранить мадмуазель за опоздание, – любезно отвечала ее высочество, – я хочу поблагодарить ее за то, что она привела к нам ваше величество.

Красная, как вишня, Андре молча поклонилась.

«Дьявольщина! Да она в самом деле хороша собой, – сказал себе Ришелье, – старый дурак Таверне не преувеличивал».

Король уже сидел за столом, успев поздороваться с дофином. Обладая, как и его предшественник, завидным аппетитом, монарх отдал должное тому, как проворно метрдотель подавал ему блюда.

Король сидел спиной к двери и, казалось, что-то или, вернее, кого-то искал.

Мадмуазель де Таверне не пользовалась привилегиями, так как положение Андре при ее высочестве еще не было определено, поэтому в столовую она не вошла. Низко присев в реверансе в ответ на поклон короля, она прошла в комнату ее высочества – та несколько раз просила ее почтить перед сном.

Ее высочество поняла, что взгляд короля ищет ее прекрасную чтицу.

– Господин де Куани! – обратилась она к молодому офицеру охраны, стоявшему за спиной у короля. – Пригласите, пожалуйста, мадмуазель де Таверне. С позволения госпожи де Ноай мы сегодня отступим от этикета.

Де Куани вышел и спустя минуту ввел Андре, оглушенную сыпавшимися на нее милостями и трепетавшую от волнения.

– Садитесь здесь, мадмуазель, – сказала ее высочество, – рядом с герцогиней.

Андре робко поднялась на возвышение; она была так смущена, что села на расстоянии фута от фрейлины.

Герцогиня бросила на нее такой испепеляющий взгляд, что бедное дитя будто прикоснулось к Лейденской банке; девушка отлетела по меньшей мере фута на четыре.

Людювик XV с улыбкой за ней наблюдал.

«Вот это я понимаю! – воскликнул про себя де Ришелье. – Пожалуй, мне не придется вмешиваться: все идет своим чередом».

Король обернулся и заметил маршала, готового выдержать его взгляд.

– Здравствуйте, герцог! – вымолвил Людювик XV. – Дружно ли вы живете с герцогиней де Ноай?

– Сир! – отвечал маршал. – Герцогиня всегда оказывает мне честь, обращаясь со мной, как с ветреником.

– Разве вы тоже ездили по дороге на Шателу?

– Я, сир? Клянусь вам, нет. Я осыпан милостями вашего величества.

Король не ожидал такого ответа, он собирался позубоскалить, но герцог его опередил.

– Что же я сделал, герцог?

– Сир! Ваше величество поручили командование рейтарами герцогу д'Эгийону, моему родственнику.

– Да, вы правы, герцог.

– А для такого шага нужны смелость и ловкость вашего величества, ведь это почти государственный переворот.

Ужин подходил к концу. Король выждал минуту и поднялся из-за стола.

Разговор становился для него щекотливым, однако Ришелье решил не выпускать добычу из рук. Когда король заговорил с герцогиней де Ноай, принцессой и мадмуазель де Таверне, Ришелье ловко сумел вмешаться, а потом и вовсе овладел разговором и направил его в нужное русло.

– Знает ли ваше величество, что успехи придают смелости?

– Вы хотите сказать, что чувствуете себя смелым, герцог?

– Да, я хотел бы просить ваше величество о новой милости после той, какую вы сообразовали мне оказать. У одного из моих добрых друзей, старого слуги вашего величества, сын служит в гвардии. Молодой человек обладает большими достоинствами, но беден. Он получил из рук августейшей принцессы чин капитана, но у него нет роты.

– Принцесса – моя дочь? – спросил король, обратившись к ее высочеству.

– Да, сир, – отвечал Ришелье, – а отца этого молодого человека зовут барон де Таверне.

– Отец?... – невольно вырвалось у Андре. – Филипп?! Так вы, господин герцог, просите роту для Филиппа?

Устыдившись того, что нарушила этикет, Андре отступила, покраснев и умоляюще сложив руки.

Король, обернувшись, залюбовался стыдливым румянцем красивой девушки; потом он подошел к Ришелье с благожелательным взглядом, по которому придворный мог судить, насколько его просьба приятна и уместна.

– В самом деле, этот молодой человек очарователен, – подхватила ее высочество, – и я обещала его осчастливить. Однако до чего несчастны принцы крови! Когда Бог наделяет их благими намерениями, Он лишает их памяти или разума. Ведь я должна была подумать о том, что молодой человек беден, что недостаточно дать ему эполеты и что надо еще прибавить роту!

– Как вы, ваше высочество, могли об этом знать?

– Я знала! – с живостью возразила ее высочество, и Андре вспомнила нищенский убогий

родной дом, в котором она, однако, была так счастлива.

– Да, я знала, но думала, что все сделала, добившись чина для Филиппа де Таверне. Ведь его зовут Филипп?

– Да, ваше высочество.

Король обвел взглядом окружавшие его благородные открытые лица. Он остановился на Ришелье – его лицо светилось великодушием под влиянием его августейшей соседки.

– Ах, герцог! Я рискую поспорить с Люсьенн, – вполголоса сказал он ему.

С живостью обернувшись к Андре, король проговорил:

– Скажите, что это доставит вам удовольствие, мадмуазель!

– Сир, я вас умоляю об этом! – воскликнула Андре, складывая руки.

– Согласен! – отвечал Людовик XV. – Выберите роту получше этому бедному юноше, герцогу, а я обеспечу ее, если это необходимо.

Доброе дело порадовало всех присутствовавших; Андре удостоила короля божественной улыбкой, Ришелье получил благодарность из ее прелестных уст, от которых, будь он моложе, герцог потребовал бы большего: ведь он был не только честолюбив, но и жаден.

Стали прибывать один за другим посетители, среди них – кардинал де Роан; он упорно ухаживал за ее высочеством с того времени, как она поселилась в Трианоне.

Однако король во весь вечер ласково разговаривал только с Ришелье. Он даже попросил герцога проводить его, распрощавшись с ее высочеством и отправившись в свой Трианон. Старый маршал последовал за королем, трепеща от радости.

Когда его величество пошел в сопровождении герцога и двух офицеров по темным аллеям, ведущим к его дворцу, ее высочество отпустила Андре.

– Вам, должно быть, хочется написать в Париж и сообщить приятную новость, – сказала принцесса. – Вы можете идти, мадмуазель.

Вслед за лакеем, шедшим впереди с фонарем в руках, девушка преодолела пространство в сто футов, отделявшее Трианон от служб.

А за ней от куста к кусту перебегала чья-то тень, следившая за каждым движением девушки горящим взором. Это был Жильбер.

Когда Андре подошла к крыльцу и стала подниматься по каменным ступенькам, лакей возвратился в переднюю Трианона.

Жильбер тоже проскользнул в вестибюль, прошел оттуда на конюший двор и по крутой узкой лестнице вскарабкался в свою мансарду, выходящую окнами на окна спальни Андре.

Он услышал, что Андре позвала камеристку герцогини де Ноай, жившую неподалеку. Когда служанка вошла к Андре, шторы упали на окно подобно непроницаемой пелене между страстными желаниями юноши и предметом, занимавшим все его мысли.

Во дворце остался только кардинал де Роан, с удвоенным рвением любезничавший с ее высочеством; принцесса была с ним холодна.

В конце концов прелат испугался, что его поведение может быть дурно истолковано, тем более что дофин удалился. Он отклонялся с выражениями глубокого почтения.

Когда он сел в карету, к нему подошла одна из камеристок ее высочества и вслед за ним почти втиснулась в карету.

– Вот! – прошептала она.

Она вложила ему в руку небольшой гладкий листок; его прикосновение заставило кардинала вздрогнуть.

– Вот! – с живостью отвечал он, вложив в руку женщины тяжелый кошелек, который, даже будь он пустым, представлял бы собою солидное вознаграждение.

Не теряя времени, кардинал приказал кучеру гнать в Париж и спросить новых указаний у городских ворот.

Дорогой он в темноте ощупал и поцеловал, подобно опьяненному любовью юноше, то, что было завернуто в бумагу.

Когда карета была у городских ворот, он приказал:

– Улица Сен-Клод!

Вскоре он уже шагнул по таинственному двору и вошел в малую гостиную, где ожидал Фриц, вышколенный лакей барона де Бальзаме. Хозяин не появлялся четверть часа. Наконец он вошел в гостиную и объяснил задержку поздним временем; он полагал, что время визитов истекло.

Было в самом деле около одиннадцати вечера.

– Вы правы, господин барон, – проговорил кардинал, – прошу прощения за беспокойство. Но, помните, однажды вы мне сказали, что можно было бы узнать одну тайну?..

– Для этого мне были нужны волосы того лица, о котором мы в тот день говорили, – перебил Бальзамо, успевший заметить бумажку в руках наивного прелата.

– Совершенно верно, господин барон.

– Вы принесли мне эти волосы, ваше высокопреосвященство? Прекрасно!

– Вот они. Могу ли я получить их назад после опыта?

– Да, если не придется прибегнуть к огню... В этом случае...

– Разумеется, разумеется! – согласился кардинал. – Да я себе еще достану. Могу ли я узнать разгадку?

– Сегодня?

– Я нетерпелив, как вам известно.

– Я должен сначала попробовать, ваше высокопреосвященство.

Бальзамо взял волосы и поспешил к Лоренце.

«Итак, сейчас я узнаю секрет этой монархии, – рассуждал он сам с собою дорогой, – сейчас мне откроется Божья воля, скрытая от простых смертных».

Прежде чем отворить таинственную дверь, он через стену усыпил Лоренцу. Молодая женщина встретила его нежным поцелуем.

Бальзамо с трудом вырвался из ее объятий. Трудно было сказать, что было мучительнее для бедного барона: упреки прекрасной итальянки во время ее пробуждений или ее ласки, когда она засыпала.

Наконец ему удалось разъединить кольцом обвившие его шею прекрасные руки молодой женщины.

– Лоренца, дорогая моя! – обратился он к ней, вкладывая ей в руку бумажку. – Скажи мне: чьи это волосы?

Лоренца прижала их к груди, потом ко лбу. Несмотря на то, что глаза ее оставались раскрыты, она видела во время сна внутренним взором.

– О! Эти волосы тайком сострижены с головы, принадлежащей именитой особе! – сообщила она.

– Правда? А эта особа счастлива? Ответь!

– Она могла бы быть счастлива.

– Смотри внимательно, Лоренца.

– Да, она могла бы быть счастлива, ее жизнь еще ничем не омрачена.

– Однако она замужем...

– О! – только и могла ответить Лоренца с нежной улыбкой.

– Ну что? Что хочет сказать моя Лоренца?

– Она замужем, дорогой Бальзамо, – повторила молодая женщина, – однако...

– Однако?..

– Однако...

Лоренца опять улыбнулась.

– Я тоже замужем, – прибавила она.

– Разумеется.

– Однако...

Бальзамо с удивлением взглянул на Лоренцу; несмотря на сон, лицо молодой женщины залила краска смущения.

– Однако?.. – повторил Бальзамо. – Договаривай! Она вновь обвила руками шею возлюбленного и, спрятав лицо у него на груди, прошептала:

– Однако я еще девственница.

– И эта женщина, эта принцесса, эта королева, – вскричал Бальзамо, – будучи замужем, тоже?

– Она женщина, эта принцесса, эта королева, – повторила Лоренца, – так же чиста и девственна, как я; даже еще чище и девственнее, потому что она не любит так, как я.

– Это судьба! – пробормотал Бальзамо. – Благодарю тебя, Лоренца, это все, что я хотел узнать.

Он поцеловал ее, бережно спрятал волосы в карман, потом отстриг у Лоренцы небольшую прядь черных волос, сжег их над свечкой, а пепел собрал на бумажку, в которую были завернуты волосы ее высочества.

Он спустился вниз, на ходу приказав молодой женщине пробудиться.

Теряя терпение, взволнованный прелат ожидал его в гостиной.

– Ну как, граф? – с сомнением спросил он.

– Все хорошо, ваше высокопреосвященство.

– Что оракул?

– Оракул сказал, что вы можете надеяться.

– Он так сказал? – восторженно воскликнул принц.

– Вы можете судить, как вам заблагорассудится, ваше высокопреосвященство: оракул сказал, что эта женщина не любит своего супруга.

– О! – вне себя от счастья воскликнул де Роан.

– А волосы мне пришлось сжечь, добиваясь истины. Вот пепел, я аккуратно собрал его для вас, словно каждая частица стоит целого миллиона, и с удовольствием возвращаю.

– Благодарю вас, сударь, благодарю, – я ваш вечный должник.

– Не будем об этом говорить, ваше высокопреосвященство. Позвольте дать вам один совет, – продолжал Бальзамо. – Не подмешивайте этот пепел себе в вино, как делают некоторые влюбленные. Это очень опасный опыт: ваша любовь может стать неизлечимой, а возлюбленная к вам охладает.

– Да, я от этого воздержусь, – в страхе проговорил прелат. – Прощайте, господин граф, прощайте!

Спустя двадцать минут карета его высокопреосвященства налетела на углу улицы Пти-Шан на экипаж де Ришелье, едва не опрокинув его в одну из глубоких ям, вырытых для постройки дома.

Оба господина узнали друг друга.

– А-а, это вы, принц! – с улыбкой прокричал Ришелье.

– А-а, герцог! – отвечал Людовик де Роан, прижав к губам палец.

И кареты разъехались в разные стороны.

Глава 21. ГЕРЦОГ ДЕ РИШЕЛЬЕ ОТДАЕТ ДОЛЖНОЕ НИКОЛЬ

Де Ришелье направлялся в небольшой особняк барона де Таверне на улице Кок-Эрон.

Благодаря нашей возможности, подобно хромому бесу, легко проникать в запертые дома, мы раньше де Ришелье узнаем, что в этот час барон сидел перед камином, уперев ноги на подставку для дров, под которой догорали головни. Он читал Николь наставления, время от времени беря ее за подбородок, несмотря на недовольное и пренебрежительное выражение ее лица.

То ли Николь привыкла к ласкам без наставлений, то ли предпочитала наставление без ласки. Бог ее знает!

Хозяин и служанка вели серьезный разговор. Они выясняли, почему в определенные вечерние часы Николь не сразу являлась на звонок, почему ее постоянно задерживали какие-нибудь дела то в саду, то в оранжерее и почему во всех остальных местах, кроме этих двух – сада и оранжереи, – она плохо исполняла свои обязанности.

Николь кокетливо извивалась всем телом и со сладострастием в голосе говорила:

– Что ж подделаешь?.. Я здесь скучаю: мне обещали, что я отправлюсь в Трианон вместе с мадмуазель!..

Де Таверне милостиво потрепал по щечке и подбородку Николь, чтобы, очевидно, немного ее развлечь.

Николь, уклоняясь от утешений барона, оплакивала свою горькую долю.

– Ведь я же говорю правду! – хныкала она. – Я заперта в этих чертовых четырех стенах, не вижу общества, я просто задыхаюсь! А мне обещали развлечения и будущее!

– Что ты имеешь в виду? – спросил барона – Трианон! – воскликнула Николь. – В Трианоне меня окружала бы роскошь. Я бы хотела людей посмотреть и себя показать!

– Ого! Ну и малышка Николь! – заметил барон.

– Да, господин барон, ведь я женщина, и не хуже других.

– Черт побери! Хорошо сказано! – глухо молвил барон. – Она живет, волнуется. Эх, если бы я был молод и богат!..

Он не удержался и бросил восхищенный и завистливый взгляд на девушку, в которой было столько молодости, задора и красоты.

Выйдя из задумчивости, Николь нетерпеливо проговорила:

– Ложитесь, сударь, и я тоже пойду лягу.

– Еще одно слово, Николь!

Внезапно звонок у входной двери заставил вздрогнуть Таверне, а Николь так и подскочила.

– Кто к нам может прийти в половине двенадцатого? Поди взгляни, дорогая.

Николь отворила дверь, узнала имя посетителя и оставила входную дверь приоткрытой.

Через эту щель выскользнул на улицу человек и пробежал двор, довольно громко топая, что привлекло внимание позвонившего маршала.

Николь прошла впереди Ришелье со свечой в руках; она вся сияла.

– Так, так, так! – с улыбкой проговорил маршал, следуя за ней в гостиную. – Этот старый плут Таверне говорил мне только о своей дочери.

Маршал был из тех, кому довольно было взглянуть однажды, чтобы увидеть все, что нужно.

Промелькнувшая тень человека навела его на мысль о Николь, а Николь заставила задуматься о тени. По радостному лицу девушки он догадался, зачем приходил этот человек, а когда он рассмотрел лукавые глаза, белые зубки и тонкую талию субретки, у него не осталось больше сомнений ни в ее характере, ни в ее вкусах.

Войдя в гостиную, Николь с замиранием сердца объявила:

– Герцог де Ришелье!

Этому имени суждено было произвести в тот вечер сенсацию. Оно так подействовало на барона, что он поднялся с кресла и пошел к двери, не веря своим ушам.

Однако, не дойдя до двери, он заметил в сумерках коридора де Ришелье.

– Герцог!.. – пролепетал он.

– Да, дорогой друг, герцог собственной персоной, – любезно отвечал Ришелье. – Это вас удивляет, особенно после оказанного вам недавно приема. Однако в этом нет ничего необычайного. А теперь прошу вашу руку!

– Господин герцог! Вы слишком добры ко мне.

– Ты с ума сошел, мой дорогой! – проговорил старый маршал, протягивая Николь трость и шляпу и поудобнее усаживаясь в кресле. – Ты погряз в предрассудках, ты городишь вздор... Ты не узнаешь своих, насколько я понимаю.

– Однако, герцог, мне кажется, что оказанный мне тобою третьего дня прием был настолько многозначителен, что трудно было бы ошибиться, – отвечал взволнованный Таверне.

– Послушай, мой старый добрый друг, третьего дня ты вел себя, как школьник, а я – как педант, – возразил Ришелье. – Мы друг друга не поняли. Тебе хотелось говорить – я хотел освободить тебя от этого труда. Ты был готов сказать глупость – я мог ответить тебе тем же. Забудем все, что было третьего дня. Знаешь, зачем я к тебе приехал?

– Разумеется, нет.

– Я привез тебе роту, о которой ты меня просил, король дает ее твоему сыну. Какого черта! Должен же ты улавливать тонкости; третьего дня я был почти министром: просить было бы с моей стороны неудобно; сегодня я отказался от портфеля и опять стал прежним Ришелье: было бы

нелепо, ежели б я не попросил за тебя. И вот я попросил, получил и принес!

– Герцог! Неужели это правда?.. Такая доброта с твоей стороны?..

–..вполне естественна, потому что это долг друга... То, в чем отказал бы министр, Ришелье добывает и дает.

– Ах, герцог, как ты меня порадовал! Так ты по-прежнему мой верный друг?

– Что за вопрос!

– Но король!.. Неужели король согласился оказать мне такую милость?..

– Король сам не знает, что делает; впрочем, возможно, я ошибаюсь, и он, напротив, прекрасен это знает.

– Что ты хочешь этим сказать?

– Я хочу сказать, что у его величества, может быть, есть свои причины доставить неудовольствие графине Дю Барри. Возможно, именно этому ты обязан оказанной тебе милостью еще более, нежели моему влиянию.

– Ты полагаешь?

– Я в этом совершенно уверен. Ты ведь, должно быть, таешь, что я отказался от портфеля из-за этой дурочки.

– Так говорят, однако...

– Однако ты в это не веришь, скажи откровенно!

– Да, должен признаться...

– Это означает, что ты полагал, что у меня нет совести.

– Это означает, что я считал тебя человеком без предрассудков.

– Дорогой мой! Я старею и люблю хорошеньких женщин, только когда они принадлежат мне... И потом, у меня есть кое-какие соображения... Впрочем, вернемся к твоему сыну. Очаровательный мальчик!

– Он в очень скверных отношениях с Дю Барри, которого я встретил у тебя, когда так неловко явился с визитом.

– Мне это известно, поэтому-то я и не министр.

– Ну вот еще!

– Можешь не сомневаться, друг мой!

– Ты отказался от портфеля, чтобы доставить удовольствие моему сыну?

– Если я тебе скажу правду, ты не поверишь; он тут ни при чем. Я отказался потому, что требования семейки Дю Барри начинались с изгнания твоего сына, и не известно еще, какими бы нелепостями они могли закончиться.

– Так ты поссорился с этими ничтожествами?

– И да, и нет: они меня боятся, я их презираю, – они это заслужили.

– Это благородно, но неосторожно.

– Почему ты так думаешь?

– Графиня в фаворе.

– Скажите, пожалуйста!.. – презрительно уронил Ришелье.

– Как ты можешь так говорить!

– Я говорю как человек, чувствующий шаткость положения Дю Барри и готовый, если понадобится, подложить мину в подходящее место, чтобы разнести все в клочья.

– Если я правильно понял, ты оказываешь услугу моему сыну, чтобы уколоть семейство Дю Барри.

– В большой степени – ради этого, твоя проницательность тебя не подвела; твой сын служит мне гранатой, я хочу поджечь с его помощью... А кстати, барон, нет ли у тебя еще дочери?

– Есть...

– Молодая?

– Ей шестнадцать лет.

– Хороша собой?

– Как Венера.

– Она живет в Трианоне?

- Так ты с ней знаком?
- Я провел с ней вечер и целый час проговорил о ней с королем.
- С королем? – вскричал Таверне; щеки его пылали.
- С королем.
- Король говорил о моей дочери, о мадмуазель Андре де Таверне?
- Он с нее глаз не сводит, дорогой мой.
- Неужели?
- Тебе это не по душе?
- Мне?.. Ну что ты!.. Напротив! Король оказывает мне честь, глядя на мою дочь..., но...
- Но что?
- Дело в том, что король...
- ..распущен? Ты это хотел сказать?
- Боже меня сохрани дурно отзываться о его величестве; он имеет право быть таким, каким ему хочется быть.

– В таком случае что означает твое удивление? Неужели ты мог вообразить, что король не будет влюбленными глазами смотреть на твою дочь? Ведь мадмуазель Анд-ре – само совершенство!

Таверне ничего не ответил. Он пожал плечами и глубоко задумался. Ришелье следил за ним испытующим взглядом.

– Что же! Я догадываюсь, о чем ты думаешь, – продолжал старый маршал, подвигая свое кресло поближе к барону. – Ты думаешь, что король привык к дурному обществу..., что он якшается со всяким сбродом, как выражаются у Поршеронов, и, следовательно, не станет заглядываться на благородную девицу, полную целомудренной чистоты и невинной любви, что он не заметит это сокровище, полное грации и очарования... Ведь он способен только на непристойные разговоры, пошлые подмигивания да ухаживания за гризетками.

– Решительно, ты великий человек, герцог.

– Почему?

– Потому что ты все верно угадал, – молвил Таверне.

– Однако признайтесь, барон, – продолжал Ришелье, – давно пора нашему властелину перестать заставлять нас, знатных господ, пэров и друзей короля Франции, целовать плоскую и грязную руку куртизанки низкого происхождения. Пора было бы вернуть нам наше достоинство. Ведь он начал с Шатору, урожденной маркизы старинного рода; потом ее сменила Помпадур, дочь и жена откупщика; после нее он опустился до Дю Барри, прозванной попросту Жаннеткой; как бы ей на смену не явилась кухарка Мариторна или пастушка Гатон. Это унижительно для нас, барон. Наши каски украшены короной, а мы склоняем головы перед этими дурами.

– Совершенно верно! – прошептал Таверне. – Теперь мне понятно, что при дворе нет достойных людей из-за новых порядков.

– Раз нет королевы, нет и женщин. Раз нет женщин, нет и придворных. Король содержит гризетку, и на троне теперь восседает простой народ в лице мадмуазель Жанны Вобернье, парижской белошвейки.

– Да, правда, и...

– Видишь ли, барон, – перебил его маршал, – если бы сейчас нашлась умная женщина, желавшая править Францией, для нее нашлась бы прекрасная роль...

– Понятное дело! – с замиранием сердца проговорил Таверне. – К сожалению, место занято.

– Прекрасная роль нашлась бы для женщины, – продолжал маршал, – у которой не было бы таких пороков, как у этих шлюх, однако она должна была бы обладать ловкостью, быть расчетливой и осмотрительной. Она могла бы так высоко взлететь, что о ней продолжали бы говорить даже тогда, когда монархия перестанет существовать. Ты не знаешь, барон, твоя дочь достаточно умна?

– Она очень умна, у нее много здравого смысла.

– Она так хороша собой!

– Ты правда так думаешь?

– Да, она обладает сладострастным очарованием, которое так нравится мужчинам. Вместе с

тем она до такой степени добра и целомудренна, что внушает уважение даже женщинам... Такое сокровище надо беречь, дружище!

– Ты говоришь об этом с таким жаром...

– Я? Да я от нее без ума и хоть завтра женился бы на ней, не будь у меня за плечами семидесяти четырех лет. Однако хорошо ли она там устроена? Окружена ли она роскошью, как того заслуживает прекрасный цветок?.. Подумай об этом, барон. Сегодня вечером она одна возвращалась к себе, не имея ни камеристки, ни охраны, только в сопровождении лакея ее высочества, освещавшего ей фонарем дорогу: она была похожа на прислугу.

– Что же ты хочешь, герцог! Ведь ты знаешь, что я небогат.

– Богат ты или нет, дорогой мой, у твоей дочери должна быть по крайней мере камеристка. Таверне вздохнул.

– Я это и сам знаю, – согласился он, – камеристка ей нужна, вернее, была бы нужна.

– Ну и что же? Неужели у тебя нет ни одной? Барон не отвечал.

– А эта миленькая девчонка? – продолжал Ришелье. – Она тут недавно вертелась... Хорошенькая, изящная, клянусь честью.

– Да, но...

– Что, барон?

– Ее-то я как раз и не могу послать в Трианон.

– Почему же? Мне, напротив, кажется, что она отлично подойдет; она будет прекрасной субреткой.

– Ты, верно, не видел ее лица, герцог?

– Я-то? Именно на него я и смотрел.

– Раз ты ее видел, ты должен был заметить странное сходство!..

– С кем?

– С... Угадай, попробуй!.. Полите сюда, Николь. Николь явилась на зов. Как истинная служанка, она подслушивала под дверь.

Герцог взял ее за руки и притянул к себе, зажав между ног ее колени, однако бесцеремонный взгляд большого вельможи и распутника нисколько ее не смутил, она ни на секунду не потеряла самообладания.

– Да, – сказал он, – да, она в самом деле похожа, это верно.

– Ты знаешь, на кого, и, значит, понимаешь, что нельзя рисковать благополучием нашей семьи из-за такого нелепого стечения обстоятельств. Разве приятно будет самой прославленной даме в Европе убедиться в том, что она похожа на мадмуазель Николь-Дырявый-Чулук?

– Да точно ли этот Дырявый-Чулук похож на самую прославленную даму? – ядовито заговорила Николь, освобождаясь из рук герцога, чтобы возразить барону де Таверне. – Неужели у прославленной дамы такие же округлые плечики, живой взгляд, полненькие ножки и пухлые ручки, как у Дырявого-Чулка? В любом случае, господин барон, – в гневе закончила она, – я не могу поверить, что вы меня до такой степени низко цените.

Николь покраснела от гнева, и это ее очень красило. Герцог снова схватил ее за руки, опять зажал ее колени меж ног и посмотрел на нее ласково и многообещающе.

– Барон! – заговорил он. – Николь, разумеется, нет равных при дворе – так я, во всяком случае, думаю. Ну а что касается прославленной дамы, с которой, признаюсь, у нее есть обманчивое сходство, тут мы свое самолюбие спрячем... У вас светлые волосы восхитительного оттенка, мадмуазель Николь. У вас царственные очертания бровей и носа. Ну что же, достаточно вам будет провести перед зеркалом четверть часа, и от недостатков, какие находит господин барон, не останется и следа. Николь, дитя мое, хотите отправиться в Трианон?

– О! – вскричала Николь; вся ее мечта выплеснулась в этом восклицании.

– Итак, вы поедете в Трианон, дорогая, и составите там свое счастье, не омрачая счастья других. Барон! Еще одно слово.

– Пожалуйста, дорогой герцог!

– Иди, прелестное дитя, оставь нас на минутку, – проговорил Ришелье.

Николь вышла. Герцог приблизился к барону.

– Я потому так тороплю вас с посылкой камеристки для вашей дочери, – сказал он, – что это доставит удовольствие королю. Его величество не любит бедность, – напротив, ему приятно будет увидеть хорошенькое личико. Я так все это понимаю.

– Пусть Николь едет в Трианон, раз ты думаешь, что это может доставить королю удовольствие, – отвечал барон, загадочно улыбаясь.

– Ну, раз ты мне позволяешь, я беру ее с собой: она доедет в моей карете.

– Однако ее сходство с ее высочеством... Надо бы что-нибудь придумать, герцог.

– Я уже придумал. Это сходство исчезнет под руками Раффе в четверть часа. За это я тебе ручаюсь... Напиши записочку дочери, барон, объясни ей важность, которую ты придаешь тому, чтобы при ней была камеристка и чтобы ее звали Николь.

– Ты полагаешь, что ее непременно должны звать Николь?

– Да, я так думаю.

– И что другая Николь...

–..не сможет ее заменить на этом месте – почетном, как мне представляется.

– Я сию минуту напишу.

Барон написал письмо и вручил его Ришелье.

– А указания, герцог?

– Я дам их Николь. Она сообразительна? Барон улыбнулся.

– Ну так ты мне ее доверяешь?.. – спросил Ришелье.

– Еще бы! Это твое дело, герцог. Ты у меня ее попросил, я ее тебе вручаю. Делай с ней, что пожелаешь.

– Мадмуазель, следуйте за мной, – поднимаясь, проговорил герцог, – и поскорее.

Николь не заставила повторять это дважды. Не спросив согласия барона, она в пять минут собрала свои пожитки в небольшой узелок и, легко ступая, точно на крыльях, устремилась к карете, вспорхнула на облучок и уселась рядом с кучером его светлости.

Ришелье попрощался с другом, еще раз выслушав слова благодарности за услугу, оказанную им Филиппу де Таверне.

И ни слова об Андре: говорить о ней было излишне.

Глава 22. МЕТАМОРФОЗЫ

Николь никогда еще не была так счастлива. Для нее уехать из Таверне в Париж было даже не так важно, как из Парижа – в Трианон.

Она была так любезна с кучером де Ришелье, что на следующее же утро о новой камеристке только и было разговору во всех каретных сараях и мало-мальски аристократических передних Версаля и Парижа.

Когда карета прибыла в особняк ГанOVER, де Ришелье взял служанку за руку и повел во второй этаж, где ожидал Раффе, аккуратно отвечавший от имени маршала на корреспонденцию.

Из всех занятий маршала война играла важнейшую роль, и Раффе стал, по крайней мере по части теории, таким знатоком военного искусства, что, живи Полиб и шевалье де Фолар в наши дни, они были бы счастливы получить одну из его памяток о фортификациях или маневрах: из-под пера Раффе каждую неделю выходили все новые и новые памятки.

Раффе был занят составлением плана кампании против англичан в Средиземном море, когда вошел маршал и сказал:

– Раффе, взгляни-ка на эту девочку! Раффе посмотрел на Николь.

– Очень мила, ваша светлость, – проговорил он, многозначительно подмигнув.

– Да, но ее сходство?.. Раффе, я имею в виду ее сходство!

– Э-э, верно. Ах, черт возьми!

– Ты заметил?

– Невероятно! Вот что ее погубит или, напротив, составит счастье.

– Сначала погубит, но мы наведем в этом деле порядок. Как видите, Раффе, у нее белокурые волосы. Да ведь это совсем нетрудно, правда?

– Нужно только перекрасить их в черный цвет, ваша светлость, – подхватил Рафте, взявший в привычку заканчивать мысли своего хозяина, а часто и думать за него.

– Ступай в мою туалетную комнату, малышка, – приказал маршал. – Этот господин очень ловок, он сейчас сделает из тебя самую красивую и неузнаваемую субретку Франции.

В самом деле, десять минут спустя при помощи черной жидкости, которой каждую неделю пользовался маршал, подкрашивая седые волосы, – это кокетство, какое герцог позволял себе, как он утверждал, еще довольно часто, отправляясь в салон к одной своей знакомой, – Рафте выкрасил прекрасные пепельные волосы Николь в черный цвет. Затем он провел по ее густым светлым бровям булавоочной головкой, которую перед тем подержал над пламенем свечи. Благодаря этому он придал ее жизнерадостному лицу фантастическое выражение, ее живым и светлым глазам сообщил страстный, а временами – мрачный взгляд. Можно было подумать, что Николь – фея, вышедшая по приказу повелителя из волшебной бутылки, где до сих пор находилась по воле чародея.

– А теперь, красавица, – проговорил Ришелье, протянув зеркало пораженной Николь, – взгляните, как вы очаровательны, а самое главное, как мало вы похожи на прежнюю Николь. Вам нечего больше опасаться гибели, теперь вы будете иметь успех.

– Ваша светлость! – воскликнула девушка.

– А для этого нам осталось только условиться. Николь покраснела и опустила глаза; плутовка ожидала, без сомнения, речей, на которые де Ришелье был такой мастер.

Герцог понял и, чтобы покончить с недоразумением, обратился к Николь:

– Сядьте вот в это кресло, милое дитя, рядом с господином Рафте. Слушайте меня внимательно... Господин Рафте нам не помешает, не беспокойтесь. Напротив, он выскажет нам свое мнение. Вы расположены меня слушать?

– Да, ваша светлость, – пролепетала устыженная Николь, введенная в заблуждение своим тщеславием.

Беседа де Ришелье с Рафте и Николь длилась добрый час. Потом он отослал девушку спать к служанкам особняка.

Рафте вернулся к военной памятке, а де Ришелье лег в постель, просмотрев прежде письма, предупреждавшие его о происках провинциальных парламентов против д'Эгийона и шайки Дю Барри.

На следующее утро одна из его карет без гербов отвезла Николь в Трианон и, оставив ее с маленьким узелком возле решетки, укатила.

Высоко подняв голову, с надеждой во взоре, Николь спросила дорогу и подошла к двери служебного помещения.

Было шесть часов утра. Андре уже встала и оделась. Она писала отцу о происшедшем накануне счастливом событии, о чем барона де Таверне уже известил, как мы говорили, де Ришелье.

Должно быть, наши читатели не забыли о каменном крыльце, ведущем со стороны сада в часовню Малого Трианона. С паперти часовни лестница ведет направо во второй этаж, то есть в комнаты находившихся на службе дам, в те самые комнаты, окруженные, словно аллеей, Длинным освещенным коридором со стороны сада.

Комната Андре в этом коридоре была первой налево. Она была довольно просторна, хорошо освещалась благодаря окну, выходившему на большой конюший двор; комнату отделяла от коридора маленькая передняя, из которой влево и вправо уходили две туалетные комнаты.

Комната эта, слишком скромная, если принять во внимание образ жизни особ, находившихся на службе при блестящем дворе, была очаровательной, очень удобной. Для жилья кельей, веселым убежищем и местом отдохновения от дворцовой суеты. Здесь могла укрыться честолюбивая душа, переживая выпавшие на ее долю в этот день оскорбления или разочарования. Здесь также могла отдохнуть в тишине и одиночестве, укрывшись от великих мира сего, возвышенная и печальная душа.

В самом деле, здесь не существовало ни превосходства положения, ни обязанностей, ни замечаний – стоило лишь переступить порог и подняться по лестнице часовни. Тишина, как в монастыре, и такое же освобождение плоти, как в тюрьме. Кто был рабом во дворце, тот становился

хозяином в помещении служб.

Андре, с ее нежной и гордой Душой, умела находить радость во всех этих мелочах. И не потому, что ей необходимо было искать утешения для раненого честолюбия или отдохновения для ненасытной фантазии; просто Андре чувствовала себя свободнее в четырех стенах своей комнаты, нежели в дорогих гостиных Трианона, по которым она проходила робко, а иногда и со страхом.

Здесь, в своем углу, где она чувствовала себя, как дома, девушка без всякого смущения вспоминала великих мира сего, ослеплявших ее на протяжении целого дня. Находясь в окружении цветов, сидя за клавином или погрузившись в немецкие книги – верные спутники тех, кто пропускает прочитанное через сердце, Андре не боялась, что судьба пошлет ей огорчение или отнимет радость.

«Здесь у меня есть почти все, что нужно перед смертью, – думала она по вечерам, когда возвращалась, исполнив все свои обязанности, и, надев пеньюар в широкую складку, отдыхала душой и телом. – Может быть, мне суждено когда-нибудь разбогатеть, но беднее, чем теперь, я не стану, потому что со мной навсегда останутся цветы, музыка и хорошая книга, которая поддержит в одиночестве.

Андре добила позволения завтракать у себя в комнате, когда ей заблагорассудится. Она очень дорожила этой милостью, потому что могла теперь оставаться у себя до полудня, если ее высочество не вызывала ее для чтения или для участия в утренней прогулке. В хорошую погоду она по утрам шла с книгой в лес, раскинувшийся от Трианона до Версаля. Проведя два часа на свежем воздухе в размышлениях и мечтах, она возвращалась к завтраку, не встретив порой ни одной души, ни господина, ни слуги.

Если было слишком жарко и солнце припекало даже сквозь густую листву, Андре всегда могла укрыться в прохладе своей комнаты, которую можно было быстро проветрить, открыв и окно, и выходящую в коридор дверь. Небольшая софа под ситцевым покрывалом, четыре одинаковых стула, девичья кровать под круглым пологом с занавесками из той же ткани, что и обивка на мебели, две китайские вазы на камине, квадратный стол на медных ножках – вот что составляло мир, в котором были заключены все надежды Андре, все ее желания.

Итак, мы сказали, что девушка сидела у себя в комнате и писала письмо отцу, когда робкий стук в дверь коридора привлек ее внимание.

Она подняла голову и, увидев, что дверь открывается, тихонько вскрикнула от удивления, когда в дверях показалось улыбающееся лицо Николь.

Глава 23. КАК РАДОСТЬ ОДНИХ ЛЮДЕЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ В ОТЧАЯНИЕ ДРУГИХ

– Здравствуйте, мадмуазель! Это я! – присев в реверансе, весело вымолвила Николь; зная нрав хозяйки, она, должно быть, испытывала некоторое беспокойство.

– Как вы здесь оказались? – спросила Андре, откладывая перо и готовясь к серьезному разговору.

– Мадмуазель совсем обо мне забыла, а я вот приехала!

– Если я о вас и забыла, мадмуазель, это означает лишь то, что у меня были для этого причины. Кто вам позволил явиться?

– Господин барон, разумеется, мадмуазель! – отвечала Николь, недовольно сдвинув красивые черные брови, которыми она была обязана щедрости Раффе.

– Вы нужны моему отцу в Париже, мне же, напротив, нет в вас здесь ни малейшей надобности... Можете возвращаться, дитя мое.

– Ах, неужели мадмуазель совсем меня не любит?

А я-то думала, что доставлю вам удовольствие!.. Стоит ли после этого любить, если вас ждет такая награда!.. – глубокомысленно заметила Николь.

Она изо всех сил выдавила из своих красивых глазок слезу.

В ее упреке было достаточно искренности и чувствительности, и это пробудило в Андре сочувствие.

– Дитя мое, – заговорила она, – здесь есть кому прислужить мне, я же не могу позволить себе навязывать ее высочеству лишний рот.

– Как будто этот рот такой уж большой! – с очаровательной улыбкой возразила Николь.

– Это неважно, Николь. Твое присутствие здесь невозможно.

– Из-за сходства? – спросила девушка. – Разве вы ничего не замечаете, мадмуазель?

– Да, мне кажется, ты действительно изменилась.

– Еще бы! Добрый господин, тот самый, что помог господину Филиппу получить звание, приехал к нам вчера вечером и, увидав, что господин барон расстроен тем, что оставил вас здесь без камеристки, сказал, что нет ничего проще, как превратить меня из блондинки в брюнетку. Он взял меня с собой, перекрасил меня, как видите, и вот я здесь.

Андре улыбнулась.

– Должно быть, ты очень меня любишь, если любой ценой хочешь попасть в Трианон, где я почти пленница, – молвила она.

Николь окинула комнату беглым и вместе с тем пронизательным взглядом.

– Невеселая комнатка, – заметила она. – Но ведь вы не все время проводите здесь?

– Нет, – ответила Андре – А ты?

– Что я?

– Тебе не бывать в гостиной рядом с ее высочеством; у тебя не будет ни игр, ни прогулок, ни общества, ты всегда будешь здесь, ты рискуешь умереть от скуки.

– Да ведь есть же окошко, – возразила Николь, – из него я смогу увидеть хоть бы краешек белого света; или, например, через приоткрытую дверь... А если мне можно увидеть что-то, то и меня кто-нибудь сможет заметить. Вот и все, что мне нужно, не беспокойтесь обо мне.

– Повторяю, Николь: я не могу тебя оставить без позволения.

– Какого позволения?

– От батюшки.

– Это ваше последнее слово?

– Да, это мое последнее слово.

Николь вынула из горжетки письмо барона де Таверне.

– Раз мои мольбы и моя преданность на вас не действуют, посмотрим, что вы скажете, ознакомившись с родительским наставлением.

Андре прочла письмо:

«Я знаю сам, и это стали замечать посторонние, дорогая Андре, что Вы живете в Трианоне не так, как того действительно требует занимаемое Вами положение. Вам следовало бы иметь двух камеристок и выездного лакея, а мне – тыщенок двадцать ливров годового дохода. Но я довольствуюсь только одной тысячей. Поступайте, как я, и возьмите Николь: она одна заменит всю необходимую Вам прислугу.

Николь – ловкая, умная и преданная. Она скоро усвоит тон и манеры дворца. Вам придется не подгонять, а умирять ее. Оставьте ее при себе и не думайте, что это – жертва с моей стороны. Если эта мысль взбредет Вам в голову, вспомните, что Его Величество был так добр, что при виде Вас подумал обо всем нашем семействе. Однако он обратил внимание на то – это передал мне по секрету один мой добрый друг, – что Вы слишком скромно и, главное, небрежно одеты. Подумайте об этом, это очень важно. Любящий Вас отец».

Это письмо привело Андре в замешательство.

Неужто до наступления ожидаемого процветания ее так и будет преследовать по пятам бедность? Она-то не считает ее недостатком, а вот все прочие так и будут относиться к Андре, как к прокаженной.

Она была готова сломать перо, разорвать начатое письмо и ответить барону какой-нибудь полной философского беспристрастия убедительной тирадой, под которой Филипп подписался бы обеими руками.

Однако, едва она представила себе, как насмешливо улыбнется барон, когда прочтет этот шедевр, вся ее решимость улетучилась. Она ограничилась тем, что ответила на письмо барона пересказом трианонских светских новостей, а в конце приписала:

«Дорогой отец! Только что приехала Николь, и я оставляю ее, подчиняясь Вашей воле. Но то, что Вы о ней написали, привело меня в отчаяние. Разве я не буду выглядеть среди пышных придворных еще нелепее, чем тогда, когда я была одна, если возьму себе в камеристки деревенскую простушку? И Николь будет неприятно видеть мое унижение. Она будет мною недовольна, потому что лакеи гордятся богатством или, напротив, стыдятся бедности своих господ. Что касается замечания Его Величества, дорогой отец, позвольте Вам заметить, что король слишком умен, чтобы сердиться на меня за невозможность быть богатой дамой. Кроме того, Его Величество слишком добр, чтобы не замечать или осуждать мою бедность, вместо того чтобы, не вызывая толков, положить этой бедности конец, чего вполне заслуживают Ваше имя и оказанные Вами в прошлом услуги».

Вот что написала в ответ юная особа, и надо признать, что ее простодушие, ее благородная гордость были выше лукавства и развращенности ее искусителей.

Андре не стала больше спорить с отцом из-за Николь. Возликовавшая Николь немедленно приготовила себе небольшую постель в правой туалетной комнате, выходившей в переднюю, и стала совсем незаметной, воздушной, нежной, чтобы никоим образом не стеснить хозяйку своим присутствием в столь тесном жилище. Казалось, она хотела быть похожей на лепесток розы, который персидские мудрецы уронили на поверхность наполненного водой бокала, чтобы доказать, что можно еще кое-что в него добавить так, чтобы содержимое не перелилось через край.

Андре ушла в Трианон около часа. Никогда еще она не была так скоро и так изящно одета. Николь превзошла себя: услужливость, внимание, готовность – она показала все, на что была способна.

Когда мадмуазель де Таверне ушла, Николь почувствовала себя хозяйкой и произвела тщательный осмотр. Ничто от нее не ускользнуло, она просмотрела все, начиная от писем до последней мелочи туалета; она обследовала все – от камина до потайного уголка туалетной комнаты.

Затем она выглянула в окно.

Внизу, на большом дворе, конюхи чистили и скребли великолепных лошадей ее высочества. Конюхи – фи! Николь отвернулась, Справа был ряд окон на одном уровне с окном Андре. В них показались камеристки и полотеры. Николь презрительно отвела от них взгляд.

Напротив нее в просторной зале учителя музыки репетировали с хористами и музыкантами, готовясь к мессе Людовика Святого.

Николь, вытирая пыль, напевала так громко, что отвлекала регента, и певчие фальшивили немилосердно.

Однако такое времяпрепровождение не могло долго занимать честолубивую мадмуазель Николь; после того, как из-за нее учителя перессорились с учениками, превравшими все ноты, девчонка перешла к осмотру верхнего этажа.

Все окна здесь были заперты; кстати сказать, все это были мансарды.

Николь снова принялась вытирать пыль. Спустя мгновение одно из окон верхнего этажа отворилось, хотя было совершенно непонятно, каким образом, потому что никто не появлялся.

Но ведь кто-то должен был его отворить! Этот кто-то увидал Николь и не стал на нее смотреть? Что за наглец?

Так, вероятно, думала Николь. Чтобы не упустить случая и изучить лицо этого наглеца – а Николь старалась изучать все, – она, занимаясь своими делами, при малейшей возможности возвращалась к окну и глядела на мансарду, иными словами, в этот раскрытый глаз, оказавший ей неуважение тем, что за неимением зрачка не желал на нее смотреть. Однажды ей почудилось, что кто-то спрятался, когда она подходила... Это было невероятно, и она в это не поверила.

В другой раз она в этом почти уверилась, потому что успела увидеть спину беглеца, захваченного врасплох чересчур скорым ее возвращением, которого он не ожидал.

Николь решила пойти на хитрость: она спряталась за занавеской, оставив окно широко распахнутым, чтобы не вызывать подозрений.

Ей пришлось ждать довольно долго. Наконец показались темные волосы, потом с опаской высунулись руки, поддерживавшие осторожно свесившееся тело; наконец стало отчетливо видно лицо; Николь едва не упала навзничь, разорвав занавеску.

Это был Жильбер, смотревший в ее сторону с высоты мансарды.

Увидав, что занавеска затрепетала, Жильбер разгадал хитрость Николь и более не появлялся.

Вскоре и окно мансарды захлопнулось.

Не оставалось никаких сомнений, что Жильбер видел Николь; он был поражен. Он хотел убедиться, что в Трианоне появился его злейший враг, и, когда понял, что о»-самого узнали, бежал в смущении и гнев.

Так, по крайней мере, объяснила себе эту сцену Николь и была совершенно права: именно так и следовало ее объяснить.

Жильбер предпочел бы увидеть дьявола, нежели встретить здесь Николь. Он представлял себе разные ужасы, связанные с появлением этой надзирательницы. У него Давно был против нее зуб за то, что она знала его тайную вылазку в сад на улице Кок-Эрон.

Жильбер скрылся в смущении, но не только в смущении, но и в гнев, кусая от бешенства кулаки.

«Какое теперь значение имеет мое дурацкое открытие, которым я так гордился!.. – говорил он себе. – Ну и что из того, что у Николь был там любовник. Зло свершилось, и теперь ее не выгонят. Зато если она расскажет, что я делал на улице Кок-Эрон, меня могут лишить места в Трианоне... Теперь не Николь у меня в руках, а я у нее... Проклятье!»

Самолюбие Жильбера подогревало злобу, кровь клокотала в нем с неслыханной силой.

Ему показалось, что с появлением Николь, с появлением ее злобной улыбки улетучились все прекрасные мечты, которые Жильбер лелеял в своей мансарде, посылая каждый день вместе с горячей любовью, вместе с цветами молитву в комнату Андре. До сих пор голова Жильбера была занята совсем другими мыслями. А может, он нарочно старался не думать о Николь, чтобы не испытывать ужаса, который она ему внушала? Вот чего мы не сможем сказать. Зато мы можем утверждать, что видеть Николь ему было очень неприятно.

Он предошущал, что рано или поздно между ним и Николь вспыхнет война. Но он вел себя осторожно и дипломатично, он не хотел, чтобы война началась раньше, чем он будет в состоянии вести ее мужественно и успешно.

И он решил затаиться до тех пор, пока не представится случай снова выйти на свет или пока Николь, по слабости или из необходимости, не рискнет на новом месте на поступок, который приведет ее к потере всех ее преимуществ.

Вот почему, неусыпно и по-прежнему осторожно следя за Андре, Жильбер продолжал быть в курсе происходящего в первой по коридору комнате, но так, что Николь ни разу не встретила его в саду.

К несчастью для Николь, она не была святой. Веди она себя безупречно, в ее прошлом все же оставался камень преткновения, о который она должна была споткнуться.

Это и произошло неделю спустя Выслеживая ее по вечерам и по ночам, Жильбер в конце концов заметил через решетку плюмаж, показавшийся ему знакомым. Этот плюмаж неизменно развлекал Николь, потому что принадлежал Босиру, переехавшему вслед за двором из Парижа в Трианон.

Николь долгое время была беспощадной; она заставляла Босира дрожать от холода или жариться на солнце, и это ее целомудрие приводило Жильбера в отчаяние. Но настал вечер, когда Босир достиг такого совершенства в языке жестов, что сумел убедить Николь; она воспользовалась минутой, когда Андре обедала в павильоне вместе с герцогиней де Ноай, и последовала за Босиром, помогавшим своему другу, смотрителю конюшни, дрессировать ирландскую лошадку.

Со двора они прошли в сад, а из сада – на тенистую аллею, ведущую в Версаль.

Жильбер отправился вслед за влюбленной парой, испытывая жестокую радость идущего по следу тигра. Он сосчитал все их шаги, вздохи, наизусть запомнил долетевшие до него слова; можно себе представить его удовлетворение, если на следующий день он бесстрашно показался напевая, в окне своей мансарды, не опасаясь, что его увидит Николь, а, напротив, словно ища ее взгляда.

Николь штопала расшитую шелковую митенку своей хозяйки; при звуке песни она подняла голову и увидела Жильбера.

Она посмотрела на него с презрительным выражением, от которого портится расположение духа, от которого издалека веет чем-то враждебным... Жильбер выдержал ее взгляд и ее мину с такой странной улыбкой, столько вызова было в его поведении и его пении, что Николь опустила глаза и покраснела.

«Она поняла, – подумал Жильбер, – это все, что мне было нужно».

С тех пор он начал вести прежний образ жизни, зато теперь трепетала Николь. Она дошла до того, что стала искать встречи с Жильбером, чтобы успокоить сердце, встревоженное насмешливыми взглядами юного садовника.

Жильбер заметил, что она его ищет. Он не мог ошибиться, слыша под окном сухое покашливание в те минуты, когда Николь наверное знала, что он находится в своей мансарде, или угадывая в коридоре шаги девушки, предполагавшей, что он собирается выйти, или, напротив, подняться к себе.

Некоторое время он торжествовал, приписывая победу силе своей воли и рассчитанности ударов. Николь так старательно его выслеживала, что один раз даже видела, как он поднимается по лестнице к себе в мансарду; она окликнула его, но он не ответил.

Девушка пошла еще дальше в своем любопытстве или в своих опасениях; в один прекрасный вечер она сняла туфельки на каблучках, которые ей подарила Андре, и, дрожа от страха, устремилась к пристройке, в глубине которой виднелась дверь Жильбера.

Было еще довольно светло, и Жильбер, заслышав шаги Николь, мог отчетливо разглядеть ее в щель между досками.

Она толкнулась в дверь, хорошо зная, что он у себя.

Жильбер не отвечал.

Для него это было опасным искушением. Он мог вволю унижать ту, которая таким образом хотела испросить прощение. Он был одинок, горяч; каждую ночь, когда он прикидывал глазом к двери, с жадностью пожирая взглядом чарующую красоту этой сладострастницы, его охватывала дрожь при воспоминании о Таверне. Раздразнив свое сластолюбие, он уже поднял руку, чтобы отодвинуть засов, на который он со свойственными ему предусмотрительностью и подозрительностью запер дверь, не желая быть захваченным врасплох.

«Нет! – сказал он себе. – У нее есть какой-то расчет. Она пришла ко мне по необходимости или имея какой-нибудь интерес. Она рассчитывает извлечь из этого выгоду. Кто знает, что суждено потерять мне?»

Поразмыслив, он опустил руку. Постучав несколько раз в дверь, Николь удалилась.

Итак, Жильбер сохранил все свои преимущества. Тогда Николь умножила уловки, чтобы не лишиться окончательно своих завоеваний. И, наконец, ее ответная хитрость привела к тому, что воюющие стороны встретились однажды под вечер около часовни.

– Добрый вечер, господин Жильбер! Так вы здесь?

– А-а, здравствуйте, мадмуазель Николь! Вы – в Трианоне?

– Как видите: я служу камеристкой у мадмуазель.

– А я – помощник садовника Засим Николь присела в изящном реверансе; Жильбер галантно поклонился, и они расстались.

Жильбер сделал вид, что поднимается к себе.

Николь вышла из дому. Жильбер бесшумно спустился и пошел за Николь, полагая, что она направляется на свидание к Босиру.

В тенистой аллее ее действительно ожидал мужчина. Николь подошла к нему. Было уже слишком темно, и Жильбер не мог разглядеть его лицо, однако отсутствие плюмажа так его заинтриговало, что он не пошел вслед за Николь обратно к дому, а последовал за мужчиной до самой решетки Трианона.

Это был не Босир, а господин в годах, по виду – знатный сеньор; несмотря на солидный возраст, у него была довольно быстрая походка. Жильбер подошел совсем близко и, забыв осторожность, прошел почти перед его носом; он узнал де Ришелье.

«Вот чертовка! – подумал он. – После гвардейца – маршал Франции! Мадмуазель Николь продвинулась по службе!»

Глава 24. ПАРЛАМЕНТ

Пока мелкие интрижки зрели и разворачивались под тополями и среди цветов Трианона, оживляя существование букашек в этом тесном мирке, в городе начиналась настоящая буря, нависшая над дворцом Фемиды, как образно выражался Жан Дю Барри в письме сестре.

Французский Парламент, представлявший вырождавшуюся оппозицию, вздохнул свободнее, когда к власти пришел капризный Людовик XV. Однако с тех пор, как пал покровитель Парламента де Шуазель, члены Парламента почувствовали надвигавшуюся опасность и приготовились предотвратить ее самым решительным образом.

Всякое большое потрясение начинается с малого, так же как великие сражения начинаются с отдельных выстрелов.

С той поры, как де ла Шалоте взялся за д'Эгийона, возглавив борьбу третьего сословия с феодалами, общественное мнение приняло его сторону.

Английский и французский Парламенты забрасывали короля протестами, однако то были протесты второстепенные, мелкие. Благодаря вмешательству графини Дю Барри король, назначив д'Эгийона командиром рейтаров, в борьбе с третьим сословием поддержал феодалов.

Жан Дю Барри дал этому шагу точное определение: это была увесистая пощечина любящим и преданным советникам, заседавшим в Парламенте.

Как будет принята эта пощечина? Вот какой вопрос обсуждался и при дворе, и в городе с раннего утра до позднего вечера.

Члены Парламента – ловкие господа: где другие испытывают затруднение, там они чувствуют себя свободно.

Они начали с того, что уговорились между собой, как им следует относиться к полученному оскорблению и какие оно может иметь последствия. Единодушно решив, что они принимают вызов, они ответили на него следующим решением:

«Палата Парламента обсудит поведение бывшего наместника в Англии и сообщит свое мнение».

Однако король отразил удар, предписав пэрам и принцам отправиться во дворец Правосудия для участия в обсуждениях, в том числе касавшихся д'Эгийона; те беспрекословно подчинились.

Тогда Парламент, решивший обойтись без постороннего вмешательства, объявил о своем решении, которое заключалось в том, что против герцога д'Эгийона выдвигаются серьезные обвинения, что он подозревается в совершении преступлений, могущих запятнать его честь, а потому этот пэр временно отстраняется от должности до тех пор, пока на заседании пэров не будет внесено решение по всей форме и в полном соответствии с законом и королевским указом, «не требующим никаких поправок», и с д'Эгийона не будут сняты все обвинения и подозрения, порочащие его имя.

Однако такой приговор ничего не значил, будучи провозглашен в тесном кругу и записан на бумаге: необходимо было его обнародовать, сделать достоянием гласности. Нужен был скандал, который во Франции способна была вызвать песенка, куплет приобретал власть над событиями и людьми. Необходимо было сделать обвинение достоянием всемогущего куплета.

Парижу только и надо было скандала. Враждебно настроенный по отношению к двору, равно как и к Парламенту, Париж находился в постоянном возбуждении и ожидал лишь повода для смеха, чтобы отдохнуть от слез, повод для которых ему неустанно подавался вот уже лет сто.

Итак, приговор был вынесен. Парламент назначил уполномоченных, лично отвечавших за его распространение. Этот приговор был отпечатан в десяти тысячах экземпляров, разошедшихся в мгновение ока.

Так как надлежало уведомить главное заинтересованное лицо о том, что с ним сделала палата, те же уполномоченные отправились к д'Эгийону в его особняк, куда он только что прибыл для неотложного свидания. Ему необходимо было откровенно объясниться со своим дядюшкой.

Благодаря Рафте весь Версаль одновременно узнал о благородном сопротивлении старого герцога королевскому приказу о портфеле де Шуазеля. Вслед за Версалем эта новость облетела

Париж, а потом и всю Францию. Таким образом, де Ришелье с некоторых пор приобрел известность и с высоты своего нового положения показывал язык графине Дю Барри и своему дорогому племяннику.

У д'Эгийона, и так не пользовавшегося популярностью положение было неблагоприятное. Хотя маршала и ненавидели в народе, он вызывал трепет, будучи живым воплощением знатного рода, что особенно почиталось при Людовике XV. Маршал отличался непостоянством; едва избрав партию, он сейчас же изменял ей без зазрения совести, как только этого требовали обстоятельства или просто ради забавы. Ришелье был ярким противником кон серватизма. А его враждебность оборачивалась для врагов тем, что он сам называл внезапным нападением.

Со времени встречи д'Эгийона с графиней Дю Барри у него появилось два больных места. Догадываясь, что Ришелье скрывает озлобление и жажду мести за внешним спокойствием, он совершил то, что следовало бы предпринять лишь в том случае, если бы буря уже разразилась: уверенный в том, что потери будут меньше, если смело взяться за дело, он решил нанести удар.

Итак, он стал всюду искать встречи со своим дядюшкой для важного разговора. Однако это оказалось невозможным с тех пор, как маршал пронюхал о его намерении.

Начались бесконечные хождения: стоило маршалу завидеть своего племянника, он издали посылал ему улыбку и тотчас окружал себя такими людьми, в присутствии которых совершенно невыносимо было говорить. Так он избегал своего врага, словно прячась от него в неприступной крепости.

Д'Эгийон пошел ва-банк. Он отправился к дядюшке в его версальский особняк. Однако у небольшого окошка, выходившего во двор, дежурил Раффе. Он узнал лакеев герцога и предупредил хозяина.

Герцог дошел до спальни маршала, нашел там Раффе, и тот под большим секретом сообщил племяннику, что дядюшка не ночевал дома.

Д'Эгийон прикусил губу и ретировался.

Вернувшись к себе, он написал маршалу письмо с просьбой его принять.

Маршал не мог оставить письмо без ответа. Не мог он также в случае ответа отказать в аудиенции. А если он согласится принять д'Эгийона, то как уйти от объяснения? Д'Эгийон напоминал вежливого, любезного бретера, скрывающего дурные намерения под изысканной вежливостью, с поклонами выводившего врага в чистое поле и там безжалостно перерезающего ему горло.

Маршал был не настолько самовлюблен, чтобы обольщаться на его счет, он знал силу своего племянника. Столкнувшись с ним лицом к лицу, этот противник способен был вырвать у него либо прощение, либо уступку. Однако Ришелье никогда ничего не прощал, а уступки врагу – чудовищная политическая ошибка.

Вот почему, получив письмо д'Эгийона, он сделал вид, что на несколько дней уехал из Парижа.

Раффе, у которого он спросил совета, сказал ему следующее:

– Мы поставили себе целью разорить господина д'Эгийона. Наши друзья в Парламенте этим занимаются. Если господину д'Эгийону, который об этом подозревает, удастся напасть на вас раньше, чем разразится скандал, он вырвет у вас обещание помочь ему в случае несчастья, потому что вы не настолько злопамятны, чтобы пройти с высоко поднятой головой мимо погибающего родственника. Если же вы ему откажете, господин д'Эгийон уйдет, назвав вас своим врагом, и припишет вам все злодеяния. Он почувствует облегчение, как бывает всякий раз, когда найдена причина болезни, даже если болезнь неизлечима.

– Совершенно верно! – согласился Ришелье. – Однако я не могу скрываться вечно. Сколько еще ждать скандала?

– Шесть дней, ваша светлость.

– Это точно?

Раффе вынул из кармана письмо от советника Парламента. Оно состояло всего из двух строк:

«Принято решение о вынесении приговора. Это произойдет в четверг, крайний срок, назначенный обществом».

– В таком случае нет ничего проще, – заметил маршал. – Отошли герцогу назад его письмо,

сопроводив его запиской:

«Ваша светлость!

Сообщаю Вам о том, что господин маршал уехал в xxx. Доктор господина маршала настоятельно советовал ему сменить обстановку. Он находит, что господин маршал очень утомлен. Если, судя по тому, что я имел честь услышать от Вас третьего дня. Вы желаете переговорить с господином маршалом, я могу Вас заверить, что в четверг вечером Его светлость, вернувшись из xxx, будет ночевать в своем парижском особняке. Вы сможете его там застать».

– А теперь, – прибавил маршал, – спрячь меня где-нибудь до четверга.

Рафте в точности исполнил все указания. Записка была написана, укромное место найдено. Но только изнывающий от скуки де Ришелье однажды вечером отправился в Трианон поговорить с Николь. Он ничем не рисковал или полагал, что ничем не рискует, так как знал, что д'Эгийон находится в замке Люсьенн.

Таким образом, если бы даже д'Эгийон и заподозрил неладное, он все равно не мог бы предотвратить угрожавший ему удар, потому что не мог скрестить с противником шпаги.

Встреча в четверг была ему вполне по душе. В этот день он покинул Версаль в надежде наконец встретиться и сразиться с неуловимым противником.

Как мы уже говорили, в этот день Парламент вынес свой приговор.

В городе постепенно начиналось брожение, так хорошо знакомое любому парижанину, безошибочно определяющему высоту волны.

На карету д'Эгийона, следовавшую по парижским улицам не обратили внимания, потому что он из осторожности путешествовал в экипаже без гербов, запряженном парой, словно ехал на свидание.

Он видел то здесь, то там обеспокоенных людей, показывавших друг Другу лист бумаги; они читали его, отчаянно размахивая руками, собирались группками, подобно муравьям, сползавшимся на оброненный кусок сахара. Впрочем, это было время безобидных волнений: народ точно так же собирался, обсуждал цены на хлеб, статью в «Газет де Оланд», четверостишие Вольтера или песенку против Дю Барри или г-на де Монеу.

Д'Эгийон направился прямо к Ришелье, где застал только Рафте.

– Господин маршал ожидается с минуты на минуту, – сообщил он, – вероятно, задерживается из-за перемены лошадей у городской заставы.

Д'Эгийон решил подождать маршала, выразив неудовольствие Рафте, потому что принял его извинение как новое свое поражение.

Еще большее неудовольствие вызвал у него ответ Рафте. Секретарь сообщил, что маршал будет в отчаянии, когда вернется и узнает, что д'Эгийона заставили ждать. Кроме того, должно быть, он не станет ночевать в Париже, – как было условлено первоначально; несомненно, он вернется из деревни не один и лишь заедет в парижский особняк за новостями. Поэтому герцогу д'Эгийону лучше было бы вернуться к себе, куда маршал непременно заглянет по дороге.

– Послушайте, Рафте! – обратился к нему д'Эгийон, выслушавший путанные объяснения Рафте с мрачным видом. – Вы – совесть моего дядюшки. Ответьте мне, как честный человек. Меня обманули, ведь правда? Господин маршал не желает меня видеть? Не перебивайте меня Рафте! У вас часто находился для меня хороший совет, и я был для вас тем, чем могу еще быть в будущем: добрым другом. Следует ли мне возвратиться в Версаль?

– Ваша светлость! Клянусь честью, вы сможете меньше чем через час принять у себя господина маршала.

– Но тогда мне лучше подождать его здесь, раз он все-таки приедет.

– Я имел честь доложить вам, что он, возможно, прибудет не один.

– Понимаю..., и полагаюсь на ваше слово, Рафте. С этими словами герцог вышел с задумчивым видом, однако не теряя достоинства и любезного выражения, чего нельзя сказать о маршале, появившемся из-за двери кабинета после отъезда племянника.

Улыбавшийся маршал напоминал злого демона из тех, какими Кало искушал в своей книге св. Антония.

– Он ни о чем не догадывается, Рафте? – спросил он.

– Ни о чем, ваша светлость.

– Который теперь час?

– Время не имеет значения, ваша светлость. Надо ждать, пока прибудет прокуроришка из Шатле. Уполномоченные находятся пока в типографии.

Не успел Рафте договорить, как лакей ввел через потайную дверь грязного человечка, некрасивого, черного, одного из тех писак, к которым Дю Барри испытывал сильнейшую неприязнь.

Рафте подтолкнул маршала к кабинету, а сам с улыбкой пошел навстречу этому господину.

– А-а, это вы, мэтр Флажо! – проговорил он. – Очень рад вас видеть.

– Ваш покорный слуга, господин де Рафте! Ну что ж, дело сделано!

– Все отпечатано?

– Пять тысяч уже готово. Первые экземпляры ходят по рукам, другие сохнут.

– Какое несчастье! Дорогой господин Флажо! Какое отчаяние постигнет семейство господина маршала!

Избегая ответа, потому что ему не хотелось лгать, Флажо достал из кармана большую серебряную табакерку и не торопясь взял щепотку испанского табаку.

– Что же дальше? – продолжал Рафте.

– Остались формальности, дорогой господин де Рафте. Когда господа уполномоченные будут уверены, что достаточное количество экземпляров отпечатано и распространено, они сядут в ожидающую их у дверей типографии карету и отправятся для объявления приговора к герцогу д'Эгийону, который, к счастью, – ах, простите, к несчастью, господин Рафте! – находится сейчас в своем парижском особняке, где они смогут с ним переговорить. Рафте сделал резкое движение, достал со шкафа огромный мешок с бумагами по судопроизводству и передал его Флажо:

– Вот бумаги, о которых я вам говорил. Господин маршал всецело вам доверяет и поручает вам это дело, обещающее вам выгоду. Благодарю вас за услуги в прискорбном столкновении господина д'Эгийона с всемогущим парижским Парламентом. Благодарю за ваши мудрые советы.

И он легко, но с некоторой торопливостью подтолкнул к двери в приемную Флажо, довольного только что полученным пухлым досье. Затем Рафте тотчас освободил маршала из заточения.

– А теперь, ваша светлость, садитесь в карету! Вам не стоит терять времени, если вы желаете стать свидетелем представления. Постарайтесь, чтобы ваши лошади опередили лошадей господ уполномоченных.

Глава 25. ГЛАВА, ИЗ КОТОРОЙ ЯВСТВУЕТ, ЧТО ПУТЬ К КАБИНЕТУ МИНИСТРОВ ОТНЮДЬ НЕ УСЫПАН РОЗАМИ

Лошади де Ришелье опередили лошадей господ уполномоченных: маршал первым въехал во двор особняка д'Эгийона.

Герцог уже не ждал дядюшку и собирался уехать в Люсьенн, чтобы сообщить графине Дю Барри, что враг сбросил маску. Когда швейцар объявил о прибывшем маршале, в его оцепеневшей душе проснулась надежда.

Герцог бросился навстречу дядюшке и взял его за руки с выражением нежности, равной пережитому им волнению.

Маршал поддался состоянию духа герцога: картина была трогательной. Однако чувствовалось, что д'Эгийон спешил с объяснениями, в то время как маршал изо всех сил их оттягивал, то рассматривая картину, то любуясь бронзовой статуэткой или гобеленом, жалуясь при этом на смертельную усталость.

Герцог отрезал дядюшке пути к отступлению, приперев его к креслу, как де Вилар запер принца Евгения в Маршьенах, и пошел в атаку.

– Дядюшка! – сказал он. – Неужели вы, умнейший человек Франции, могли подумать обо мне так дурно и поверили, что я способен на эгоистический поступок?

Отступать было некуда. Ришелье был вынужден высказаться.

– О чем ты говоришь? – возразил он. – И с чего ты взял, что я думаю о тебе хорошо или дурно, дорогой мой?

– Дядюшка, вы на меня сердитесь.

– Я? Да за что?

– К чему эти уловки, господин маршал? Вы избегаете меня, когда вы так мне нужны! Вот и все.

– Клянусь вам, я ничего не понимаю.

– Сейчас я вам все объясню. Король не пожелал назначить вас министром, и, раз я согласился принять на себя командование рейтарами, вы предполагаете, что я вас покинул, предал. Дорогая графиня питает к вам нежные чувства...

Ришелье насторожился, но не только оттого, что услышал от племянника.

– Так ты говоришь, что дорогая графиня питает ко мне нежные чувства?

– повторил он – Я могу это доказать.

– Я не спору, дорогой мой... Я и взял тебя тогда с собой, чтобы помочь выдвинуться. Ты моложе и, стало быть, сильнее; ты преуспеваешь – я терплю неудачу; это в порядке вещей, и, могу поклясться, я не понимаю, почему тебя мучают угрызения совести; если ты действовал в моих интересах, ты сто раз это уже доказал; если ты действовал против, что ж.., я отвечу тебе тем же... Так нужны ли нам объяснения?

– Дядюшка! По правде говоря...

– Ты просто младенец, герцог. У тебя прекрасное положение: пэр Франции, герцог, командующий королевскими рейтарами, через полтора месяца будешь министром, ты должен быть выше всяких мелочей; победителей не судят, дорогой мой. Вообрази.., я очень люблю притчи.., вообрази, что мы с тобой – два мула из басни... Однако что там за шум?

– Вам показалось, дядюшка. Продолжайте!

– Да нет же, я слышу, что во двор въехала карета.

– Дядюшка, не прерывайтесь, прошу вас! Ваш рассказ меня чрезвычайно интересует, я тоже люблю притчи.

– Так вот, дорогой мой, я хотел тебе сказать, что пока ты процветаешь, никто не посмеет ни в чем тебя упрекнуть; тебе не нужно опасаться завистников. Однако стоит тебе оступить, споткнуться, и... Ах, черт возьми, вот тут-то и берегись нападения волка! Стой! А ведь я был прав, в твоей приемной – шум, тебе, вероятно, привезли портфель... Графиня, должно быть, славно для тебя потрудилась в алькове Вошел лакей.

– Господа уполномоченные Парламентом! – в беспокойстве объявил он.

– Вот тебе раз! – воскликнул Ришелье.

– Что здесь нужно уполномоченным Парламента? – спросил герцог, ничуть не ободренный улыбкой дядюшки.

– Именем короля! – звонко выговорил незнакомый голос в тишине приемной.

– Ого! – вскричал Ришелье.

Бледный д'Эгийон пошел навстречу двум уполномоченным, за ними показались два невозмутимых швейцара, а за ними на некотором расстоянии

– целая толпа перепуганных лакеев.

– Что вам угодно? – спросил взволнованный герцог. – Мы имеем честь говорить с герцогом д'Эгийоном? – спросил один из уполномоченных.

– Да, господа, я – герцог д'Эгийон.

В ту же секунду уполномоченный с низким поклоном достал из-за перевязи составленную по всей форме бумагу и прочел громко и отчетливо.

Это был обстоятельный приговор, подробный, полный, в нем выдвигались обвинения против герцога д'Эгийона и выражались подозрения в преступлениях, затрагивавших его честь; герцог временно лишался звания пэра королевства и отстранялся от должности.

Герцог слушал приговор, как громом пораженный. Он стоял не шевелясь, подобно статуе, застывшей на пьедестале, и даже не протянул руки, чтобы взять у уполномоченного Парламента копию приговора.

Бумагу взял маршал. Он выслушал приговор также стоя, однако выглядел бодро и был оживлен. Прочтя документ, он поклонился господам уполномоченным.

Они уже давно ушли, а герцог по-прежнему находился в оцепенении.

– Тяжелый удар! – проговорил Ришелье. – Ты больше не пэр Франции – это унижительно.

Герцог повернулся к дяде с таким видом, словно только сейчас к нему вернулась жизнь вместе со способностью мыслить.

– Ты этого не ожидал? – спросил Ришелье.

– А вы, дядюшка? – спросил д'Эгийон.

– Как я мог предвидеть, что Парламент нанесет такой страшный удар любимцу короля и фаворитке?... Эти господа рискуют головой.

Герцог сел, прижав руку к пылавшей щеке.

– Только вот если Парламент лишает тебя звания пэра в ответ на назначение командующим рейтарами, – продолжал старый маршал, вонзая кинжал в открытую рану, – то он приговорит тебя к заключению и сожжению на костре в тот день, когда ты будешь назначен премьер-министром. Эти господа тебя ненавидят, д'Эгийон, остерегайся их.

Герцог героически перенес эту отвратительную насмешку; несчастье его возвышало, оно очищало душу.

Ришелье принял его стойкость за бесчувственность, даже за тупость; он подумал, что его уколы слишком слабы.

– Не будучи пэром, – проговорил он, – ты перестанешь быть бельмом на глазу у этих «судейских крючков»... Уйди на несколько лет в неизвестность. Кстати, видишь ли, неизвестность, твое спасение, придет к тебе так, что ты и не заметишь; будучи отстранен от должности пэра, ты почувствуешь, что тебе труднее стать министром, это выбьет тебя из седла. Впрочем, если ты хочешь бороться, Друг мой, что ж, у тебя в распоряжении графиня Дю Барри; она питает к тебе нежные чувства, а это надежная опора.

Д'Эгийон встал. Он даже не удостоил маршала злобного взгляда в ответ на те страдания, которые старик только что заставил его вынести.

– Вы правы, дядюшка, – спокойно отвечал он, – и в последнем вашем совете чувствуется мудрость. Графиня Дю Барри, к которой вы любезно советуете мне обратиться и которой вы сказали обо мне столько хорошего и так горячо, что любой в Люсьенн может это подтвердить, графиня Дю Барри меня защитит. Слава Богу, она меня любит, она смелая, имеет влияние на его величество. Благодарю вас, дядюшка, за совет, я укроюсь там, как в спасительном порту во время бури. Лошадей! Бургиньон, в Люсьенн!

На губах маршала застыла улыбка.

Д'Эгийон почтительно поклонился дядюшке и вышел из гостиной, оставив маршала сильно заинтригованным, больше того – смущенным тем озлоблением, с которым он вцепился в благородную и живую плоть.

Старый маршал почувствовал некоторое утешение, видя безумную радость парижан, когда вечером они читали на улице десять тысяч экземпляров приговора, вырывая его друг у Друга из рук. Однако он не мог сдержать вздох, когда Рафте спросил у него отчета о вечере.

Он рассказал ему все, ничего не утаив.

– Значит, удар отражен? – спросил секретарь.

– И да, и нет, Рафте; рана оказалась несмертельной; но у нас есть в Трианоне кое-что получше, и я упрекаю себя за то, что не посвятил себя этому целиком. Мы гнались за двумя зайцами, Рафте... Это безумие...

– Почему же, если поймать лучшего? – возразил Рафте.

– Ах, дорогой мой, вспомни, что лучший – всегда тот, который убежал, а ради того, чего у нас нет, мы готовы пожертвовать другим, то есть тем, что держишь в руках.

Рафте пожал плечами, он был недалеко от истины.

– Вы полагаете, – спросил он, – что д'Эгийон выйдет из этого положения?

– А ты полагаешь, что король из него выйдет, болван?

– О! Король всюду отыщет лазейку, но речь идет не о короле, насколько я понимаю.

– Где пройдет король, там пролезет и графиня Дю Барри: ведь она держится поблизости от короля... А где пролезет Дю Барри, там и д'Эгийон просочится... Да ты ничего не смыслишь в по-

литике, Рафте!

- А вот мэтр Флажо другого мнения, ваша светлость.
 - Ну, хорошо! И что же говорит мэтр Флажо? Да и что он сам за птица?
 - Он – прокурор, ваша светлость.
 - Что же дальше?
 - А то, что господин Флажо утверждает, что король не выпутается.
 - Ого! Что может помешать льву?
 - Мышь, ваша светлость!..
 - А мышь – это мэтр Флажо?
 - Он так говорит.
 - И ты ему веришь?
 - Я всегда готов поверить прокурору, который обещает напакостить.
 - Посмотрим, что сможет сделать мэтр Флажо.
 - Посмотрим, ваша светлость.
 - Иди ужинать, а я пойду лягу... Я совершенно потрясен оттого, что мой племянник – больше не пэр Франции и не станет министром. Дядя я ему или нет, Рафте?
- Герцог де Ришелье повздыхал, а потом рассмеялся.
- У вас есть все, чтобы стать министром, – заметил Рафте.

Глава 26. ГЕРЦОГ Д'ЭГИЙОН ОТЫГРЫВАЕТСЯ

На следующий день после того, как Париж и Версаль были потрясены новостью об ужасном приговоре Парламента, когда все только и ждали, что же последует за приговором, де Ришелье отправился в Версаль и продолжал там вести привычный образ жизни. Рафте вошел к нему с письмом в руке. Секретарь обнюхивал и взвешивал на руке конверт с беспокойством, которое немедленно передавалось хозяину.

- Что там еще, Рафте? – спросил маршал.
 - Что-то малоприятное, как мне представляется, ваша светлость, и заключено оно вот здесь, внутри.
 - Почему ты так думаешь?
 - Потому что это письмо от герцога д'Эгийона.
 - Ага! От племянника? – спросил герцог.
 - Да, господин маршал. Выйдя из кабинета короля, где заседал совет, лакей подошел ко мне и передал это письмо. И вот я так и этак верчу его уже минут десять и никак не могу отделаться от мысли, что в нем какая-то дурная новость.
- Герцог протянул руку.
- Дай сюда! – приказал он. – Я храбрый!
 - Должен вас предупредить, – остановил его Рафте, – что, передавая мне эту бумагу, лакей хохотал до упаду.
 - Дьявольщина! Вот это действительно настораживает... Все равно давай! – сказал маршал.
 - Он еще прибавил: «Герцог д'Эгийон советует, чтобы господин маршал прочел это послание незамедлительно».
 - Вот беда! Не заставляй меня думать, что ты приносишь несчастье! – вскричал старый маршал, Твердой рукой сломав печать.
- Он прочел письмо.
- Эге!.. Вы изменились в лице, – проговорил Рафте, заложив руки за спину и наблюдая за герцогом.
 - Неужели это возможно? – пробормотал Ришелье, продолжая читать.
 - Кажется, это серьезно?
 - А ты доволен?
 - Разумеется, я вижу, что не ошибся. Маршал перечитал письмо.
 - Король добр, – заметил он.

– Он назначил д'Эгийона министром?

– Еще лучше!

– Ого! Так что же?

– Прочти и скажи свое мнение. Раффе стал читать письмо. Оно было написано рукой герцога Д'Эгийона и содержало в себе следующее:

«Дорогой дядюшка!

Ваш добрый совет принес свои плоды: я рассказал о своих неприятностях дорогому другу нашего дома, графине Дю Барри, а она поделилась ими с Его Величеством. Король возмущен насильем господ членов Парламента надо мной, человеком, честно исполнявшим свой долг. Сегодня же на Совете Его Величество отменил приговор Парламента и предписал мне продолжать исполнение обязанности пэра Франции.

Дорогой дядюшка! Зная, какое удовольствие Вам доставит эта новость, посылаю Вам снятую секретарем копию решения Его Величества, принятого на сегодняшнем Совете. Вы узнаете о нем раньше, чем кто бы то ни было.

Примите уверения в моем искреннем уважении, дорогой дядюшка; надеюсь, что Вы не оставите меня и в будущем, оказывая милости и подавая мудрые советы.

Подпись: герцог д'Эгийон».

– Он, помимо всего прочего, еще и смеется надо мной! – вскричал Ришелье.

– Клянусь честью, вы правы, ваша светлость.

– Король! Сам король влез в это осиное гнездо!

– А вы еще вчера не хотели в это поверить.

– Я не говорил, что он туда не полезет, господин Раффе, я сказал, что он выпутается... И вот, как видишь, он выпутался.

– Да, Парламент проиграл.

– И я вместе с ним.

– Сейчас – да.

– И не только сейчас! Я еще вчера это предчувствовал, а ты меня утешал, как будто никаких неприятностей вообще не могло произойти.

– Ваша светлость, как мне представляется, вы слишком рано отчаиваетесь.

– Господин Раффе, вы глупец! Я проиграл и заплачу за это. Вы, может быть, не понимаете, как мне неприятно быть посмешищем в замке Люсьенн. В эту самую минуту герцог смеется надо мной в объятиях графини Дю Барри. Мадмуазель Шон и Жан Дю Барри тоже зубоскалят. Негритенок лопает конфеты и поплевывает на меня. Черт побери! Я человек добрый, но все это приводит меня в бешенство!

– В бешенство, ваша светлость?

– Да, именно в бешенство!

– В таком случае, не надо было делать того, что вы сделали, – глубокомысленно заметил Раффе.

– Вы меня на это толкнули, господин секретарь.

– Я?

– Вы.

– А мне-то что за дело, будет герцог д'Эгийон пэром Франции или не будет? Я вас спрашиваю, ваша светлость? Мне как будто не за что обижаться на вашего племянника.

– Господин Раффе! Вы наглец!

– Я уже сорок девять лет от вас это слышу, вашу светлость.. – И еще услышите. – Только не сорок девять лет, вот что меня утешает.

– Вот как вы отстаиваете мои интересы, Раффе!

– Мелкие ваши интересы не отстаиваю, господин герцог... Как бы вы ни были умны, вам иногда случается делать глупости, которые я не простил бы даже такому болвану, как я.

– Объяснитесь, господин Раффе, и если я пойму, что не прав, то признаю.

– Вчера вам захотелось отомстить, ведь правда? Вы пожелали увидеть унижение вашего племянника. Вы захотели в некотором смысле сами вынести ему приговор Парламента и насла-

диться зрелищем агонизирующей жертвы, как сказал бы де Кребийон-младший. Ну что же, господин маршал, такие зрелища, такие удовольствия дорого стоят... Вы богаты, так платите, господин маршал, платите!

– Что бы вы предприняли на моем месте, господин мыслитель? Ну?

– Ничего... Я стал бы ждать, не подавая признаков жизни. – Но вам не терпелось настроить Парламент против графини Дю Барри с той самой минуты, как Дю Барри предпочла вам более молодого д'Эгийона.

Вместо ответа маршал проворчал что-то себе под нос.

– И Парламент сделал то, что вы ему подсказали. Подготовив приговор, вы предложили свои услуги ничего не подозревавшему племяннику.

– Все это прекрасно, и я готов согласиться, что был неправ. Однако вы должны были меня предупредить...

– Чтобы я помешал сделать зло?.. Вы меня принимаете за кого-то другого, господин маршал. Вы каждому встречному повторяете, что создали меня по своему образу и подобию, что вы меня выдрессировали; вы хотите, чтобы я не приходил в восторг от того, что кто-то делает глупость или что с кем-то случается несчастье?..

– Так несчастье должно случиться, господин колдун?

– Несомненно.

– Какое?

– Вы заупрямитесь, а герцогу д'Эгийону тем временем удастся помирить Парламент с графиней Дю Барри. В этот день он станет министром, а вы отправитесь в изгнание..., или в Бастилию.

От возмущения маршал просыпал на ковер все содержимое своей табакерки.

– В Бастилию? – переспросил он, пожав плечами. – Разве мы живем при Людовике Четырнадцатом, а не при Людовике Пятнадцатом?

– Нет! Однако графиня дю Барри вдвоем с герцогом д'Эгийоном стоят госпожи де Ментенон. Берегитесь! Я не знаю сегодня ни одной принцессы крови, которая бы стала приносить вам в тюрьму конфеты и гусиную печенку.. – Вот так предсказания! – заметил маршал после долгого молчания. – Вы читаете в книге будущего, ну а что в настоящем?

– Господин маршал слишком мудр, чтобы ему советовать.

– Скажи-ка, господин шут, уж не собираешься ли и ты надо мною посмеяться?..

– Осторожно, господин маршал, не забывайте о возрасте; нельзя так называть человека, которому перевалило за сорок, а мне ведь уже шестьдесят семь лет.

– Ну, это пустяки... Помогите мне выйти из этого положения и..., скорее, скорее!..

– Помочь советом?

– Чем хочешь.

– Еще не время.

– Ты все шутишь?

– Боже сохрани!.. Если бы я хотел пошутить, я выбрал бы для этого другое время. К несчастью, теперь не до шуток.

– Что означает это поражение? Оно подоспело не вовремя?

– Да, ваша светлость, не вовремя. Если весть об отмене приговора дошла до Парижа, я не отвечаю за... Может быть, послать курьера к президенту д'Алигру?

– Чтобы над нами посмеялись еще раньше?..

– При чем здесь самолюбие, господин маршал? Тут бы и святой потерял голову... Послушайте! Позвольте мне закончить мой план высадки войск в Англии, а сами постарайтесь выкарабкаться из этой интриги с портфелем, потому что половина Дела уже сделана.

Маршал знал, что временами Рафте бывал не в духе. Он знал, что, когда его секретарь впадал в меланхолию, лучше было его не раздражать.

– Ну, не сердись на меня, – сказал он. – Если я чего-нибудь не понимаю, объясни мне.

– Ваша светлость желает, чтобы я набросал приблизительный план поведения?

– Вот именно, раз ты утверждаешь, что я не умею себя вести.

– Ну что ж, пусть будет так! Слушайте!

– Слушаю.

– Вы должны послать господину д'Алигру, – ворчливо начал Рафте, – письмо герцога д'Эгийона, присовокупив копию решения об отмене приговора, принятого на королевском Совете. Дождитесь, пока Парламент соберется для обсуждения и примет решение – это произойдет очень скоро. Тогда садитесь в карету и поезжайте с визитом к вашему прокурору, мэтру Флажо.

– Как? – вскричал Ришелье; это имя заставило его подпрыгнуть, как и накануне. – Опять господин Флажо! Какое мэтру Флажо до всего этого дело и какого черта я поеду к мэтру Флажо?

– Как я имел честь сообщить вашей светлости, мэтр Флажо – ваш прокурор.

– Ну и что же?

– Раз он ваш прокурор, у него ваши бумаги..., касающиеся каких-нибудь процессов... И вы поедете для того, чтобы поинтересоваться, как идут ваши дела.

– Завтра?

– Да, ваша светлость, завтра.

– Но это же ваше дело, господин Рафте.

– Вовсе нет, вовсе нет... Так было, когда мэтр Флажо был простым переписчиком. Тогда я мог разговаривать с ним как с равным. Но с завтрашнего дня мэтр Флажо становится Аттилой, угрозой для королей, ни больше ни меньше; с таким всемогущим господином по плечу беседовать только герцогу и пэру, маршалу Франции.

– Ты это все серьезно или опять ломаешь комедию?

– Завтра вы сами увидите, насколько это серьезно, ваша светлость.

– Ты мне растолкуй, что со мной будет у твоего мэтра Флажо.

– Мне бы этого не хотелось... Ведь вы завтра станете мне доказывать, что все угадали заранее... Спокойной ночи, господин маршал! Запомните следующее: сейчас же послать курьера к господину д'Алигру, а завтра поезжайте к мэтру Флажо. Ах да, адрес... Впрочем, кучер знает, в течение этой недели он возил меня туда не раз.

Глава 27. ГЛАВА, В КОТОРОЙ ЧИТАТЕЛЬ ВСТРЕТИТСЯ С ОДНОЙ ИЗ СВОИХ СТАРЫХ ЗНАКОМЫХ, СЧИТАВШЕЙСЯ ПОТЕРЯННОЙ, И, ВОЗМОЖНО, НЕ ПОЖАЛЕЕТ ОБ ЭТОМ

Читатель нас, без сомнения, спросит, почему Флажо, собирающийся сыграть столь величественную роль, был нами назван прокурором, а не адвокатом. И читатель был бы прав; мы сейчас ответим на этот вопрос.

Парламент с недавнего времени был распущен на каникулы, и у адвокатов было так мало работы, что не стоило о ней и говорить.

Предвидя наступление времени, когда защищать и во все будет некого, Флажо переговорил с прокурором Гильду; тот уступил ему и контору, и клиентуру за двадцать пять тысяч ливров, выплаченных единовременно. Вот как Флажо оказался прокурором. Если нас спросят, где он взял двадцать пять тысяч ливров, мы можем ответить, что он женился на мадмуазель Маргарите и эта сумма досталась ей в приданое. Это произошло в конце тысяча семьсот семидесятого года, то есть за три месяца до изгнания де Шуазеля.

Флажо уже давно выказал себя ярым сторонником оппозиции. Став прокурором, он оказался еще неистовее и благодаря этой горячности приобрел некоторую известность. Эта известность вкупе с опубликованием зажигательной статьи о столкновении герцога д'Эгийона с г-ном де ла Шалоте привлекла к нему внимание Рафте, которому было необходимо быть в курсе парламентских событий.

Однако, несмотря на новое звание и возросшую известность, Флажо остался жить на улице Пти-Лион-Сен-Совер. Было бы слишком жестоко не дать мадмуазель Маргарите порадоваться тому, что прежние соседки называют ее г-жой Флажо, и не дать ей насладиться почтительностью клерков Гильду, перешедших на службу к новому прокурору.

Нетрудно догадаться, как страдал де Ришелье, проезжая через зловонный в этой части Париж, добираясь до вонючей дыры, которую парижская служба путей сообщения нарекла улицей.

Перед дверью Флажо карета де Ришелье столкнулась с другой каретой.

Маршал заметил в экипаже высокую прическу, и так как, несмотря на семидесятипятилетний возраст, он оставался галантным кавалером, то поспешил ступить ногой в грязь, чтобы предложить руку даме, выходящей без чьей-либо помощи из кареты.

Однако в этот день маршалу не везло: на подножку ступила сухая бугорчатая нога старухи. Морщинистое лицо, темно-коричневое из-за толстого слоя румян, окончательно убедило его в том, что это даже не пожилая дама, а дряхлая старуха.

Впрочем, отступить было некуда; маршал сделал движение, и движение было замечено. Де Ришелье и сам был немолод. Однако сутяга – а какая еще женщина могла бы прибыть в карете на эту улицу, если не сутяга? – в отличие от герцога, не колеблясь и с улыбкой, от которой становилось жутко, оперлась на руку Ришелье.

«Где-то я уже видел это лицо», – подумал герцог, а вслух прибавил:

– Сударыня тоже желает подняться к мэтру Флажо?

– Да, герцог, – отвечала старуха.

– Я имею честь быть вам знакомым, сударыня? – вскричал неприятно удивленный герцог и остановился в начале грязного подъезда.

– Кто же не знает господина маршала, герцога де Ришелье? – ответила старуха. – Для этого нужно было бы забыть, что я женщина.

«Неужели эта мартышка считает себя женщиной?» – подумал победитель Маона и склонился в изящнейшем поклоне.

– Осмелюсь задать вопрос, с кем имею честь говорить?

– Графиня Де Беарн, к вашим услугам, – отвечала старуха, приседая в реверансе на грязной дощатой мостовой в трех вершках от откинутой крышки погреба, в котором, как злорадно надеялся про себя маршал, старуха должна была вот-вот исчезнуть после третьего приседания.

– Очень приятно, сударыня, я в восторге, – проговорил он, – благодарю судьбу за счастливый случай. – Так у вас тоже процессы, графиня?

– Ах, герцог, у меня всего один процесс, но какой! Не может быть, чтобы вы о нем не слышали!

– Разумеется, разумеется, этот большой процесс... Вы правы, простите. Ах, черт, забыл только, с кем вы судитесь...

– С Салюсами.

– Да, да, с Салюсами, графиня. Об этом процессе еще сочинили куплет...

– Куплет?... – раздраженно спросила старуха. – Какой еще куплет?

– Осторожно, графиня, не упадите, – проговорил герцог, с огорчением отметив, что старуха так и не свалилась в яму. – Держитесь за перила, вернее, за веревку.

Старуха первой стала подниматься по ступенькам. Герцог последовал за ней.

– Да, довольно смешной куплет, – продолжал он.

– Смешной куплет о моем процессе?..

– Бог мой, вы сами можете оценить!.. Да вы, может быть, его знаете?..

– Ничего я не знаю.

– Поется на мотив «Прекрасной Бурбонки»:

Мадам! Я в затрудненье ныне, Любезность оказав, графиня, Вы помогли бы мне вполне.

– Вы понимаете, что это говорит графиня Дю Барри.

– Как это нагло с ее стороны!..

– Что вы хотите! Эти куплетисты... Для них нет ничего святого. Боже, до чего засалена веревка! А вы на это отвечаете:

Стара я и упряма стала, От долгой тяжбы я устала, Кто выиграть помог бы мне?

– Это ужасно! – вскричала графиня. – Нельзя так оскорблять благородную женщину!

– Прошу прощения, графиня, если я спел фальшиво: я задыхаюсь на лестнице... Ну, вот мы и пришли. Позвольте, я подержу за ручку двери.

Старуха с ворчанием пропустила герцога вперед.

Маршал позвонил. Хотя г-жа Флажо стала прокуроршей, в ее обязанности по-прежнему вхо-

дило отворять дверь и готовить еду. Онапустила посетителей и проводила их в кабинет Флажо.

Сутяги обнаружили здесь разгневанного хозяина, изощрявшегося с пером в зубах, диктующасный обличительный текст своему первому клерку.

– Боже мой! Мэтр Флажо! Что же это творится? – вскричала графиня.

Прокурор обернулся на ее голос.

– А-а, графиня! Ваш покорный слуга! Стул графине де Беарн! Этот господин с вами, графиня?.. Э-э, герцог де Ришелье, если не ошибаюсь? У меня?.. Еще стул, Бернаде, давай сюда еще один стул – Мэтр Флажо! – заговорила графиня. – Прошу вас сказать, в каком состоянии мой процесс?!

– Ах, графиня! Я как раз только что занимался вами.

– Прекрасно, мэтр Флажо, прекрасно!

– Думаю, графиня, что он наделает много шума, я на это надеюсь.

– Хм! Будьте осторожны...

– Что вы, графиня, теперь нечего опасаться.

– Если вы занимаетесь моим делом, то можете сначала дать аудиенцию господину герцогу.

– Господин герцог, простите меня, – молвил Флажо, – однако вы слишком галантны, чтобы не понять...

– Понимаю, мэтр Флажо, понимаю.

– Теперь я весь к вашим услугам.

– Будьте покойны, я у вас много времени не отниму: вы знаете, что меня к вам привело.

– Бумаги, которые передал мне третьего дня господин Рафте.

– Да, некоторые документы, касающиеся моего процесса с..., моего процесса о... А черт! Должны же вы знать, какой процесс я имею в виду, мэтр Флажо.

– Ваш процесс о землях в Шапна.

– Не спорю. Могу ли я надеяться с вашей помощью на успех? Это было бы весьма любезно с вашей стороны.

– Господин герцог! Это дело отложено на неопределенный срок.

– Почему же?

– Дело будет слушаться не раньше, чем через год, самое раннее.

– На каком основании, скажите на милость?

– Обстоятельства, господин герцог, обстоятельства... Вы знаете об отмене приговора его величеством?..

– Думаю, что знаю... О каком именно вы говорите? Его величество часто отменяет приговоры.

– Я имею в виду тот указ, который отменяет наш приговор.

– Прекрасно! Ну и что же?

– А то, господин герцог, что мы в ответ готовы сжечь все корабли.

– Сжечь все корабли, дорогой мой? Вы сожжете корабли Парламента? Вот это не совсем ясно; я и не знал, что у Парламента есть корабли.

– Может быть, первая палата отказывается регистрировать? – спросила графиня де Беарн; процесс герцога де Ришелье не мог отвлечь ее от тяжбы, какую вела она.

– Это еще что!

– И вторая тоже?

– Это бы ничего... Обе палаты приняли решение ничего больше не рассматривать, прежде чем король не уберет герцога д'Эгийона.

– Ба! – всплеснув руками, вскричал маршал.

– Больше не рассматривать..., чего? – в волнении спросила графиня.

– Да..., процессы, графиня!

– И мой процесс будет отложен? – вскричала графиня де Беарн в ужасе, который она даже не пыталась скрыть.

– И ваш, и процесс господина герцога – тоже.

– Но это беззаконие! Это неповиновение его величеству!

– Сударыня! – с пафосом отвечал прокурор. – Король забылся... Мы тоже готовы забыть о приличиях.

– Господин Флажо, вы доиграетесь до того, что вас засадят в Бастилию, это говорю вам я!

– Я отправлюсь туда с пением, сударыня, и, уж если я туда пойду, все мои собратья последуют за мной с пальмовыми ветвями в руках.

– Он взбесился! – проговорила графиня, обратившись к Ришелье.

– Мы, все До одного, готовы сражаться до конца! – продолжал прокурор.

– Ого! – обронил маршал. – Это становится интересно.

– Сударь! Да ведь вы сами только что мне сказали, что занимаетесь мною, – снова заговорила графиня де Беарн.

– Я так сказал, и это правда... Вас, сударыня, я привожу в качестве первого примера в своем выступлении. Вот абзац, имеющий к вам отношение.

Он вырвал из рук клерка начатую обличительную речь, нацепил на нос очки и с выражением прочитал:

«Потеряв состояние, зложив имение, наплевав на обязательства..., его величество поймет, как они должны страдать... Итак, докладчик имел в своем распоряжении важное дело, от которого зависит имущество одного из старейших домов королевства; его стараниями, благодаря его предприимчивости, таланту, да позволено будет ему так сказать, это дело шло прекрасно, и право знатной и могущественной дамы Анжелики-Шарлотты-Вероники графини де Беарн, было бы признано, объявлено, как вдруг небольшая размолвка..., погубив...»

– На этом месте я остановился, сударыня, – сообщил прокурор, выпятив грудь колесом, – я надеюсь, что портрет получится великолепный.

– Господин Флажо, – заговорила графиня де Беарн, – сорок лет назад я впервые обратилась к вашему отцу – нотариусу, достойному человеку; после его смерти я передала свои дела в ваши руки; на моих делах вы заработали около двенадцати тысяч ливров; возможно, вы заработали бы еще больше...

– Записывайте, все записывайте, – с живостью приказал Флажо клерку, – это будет свидетельство, доказательство: мы внесем его в речь.

– Так вот я забираю у вас свои бумаги, – перебила его графиня, – с этой минуты вы утратили мое доверие.

Растерявшись от внезапной немилости, словно громом пораженный, Флажо застыл в недоумении. Оправившись от удара, он почувствовал себя мучеником, пострадавшим за веру.

– Пусть так! Бернаде, верните бумаги графине и отметьте, что докладчик предпочел совесть состоянию.

– Прошу прощения, графиня, – шепнул маршал на ухо графине де Беарн, – однако вы поступаете необдуманно, как мне представляется.

– О чем я не подумала, господин герцог?

– Вы забираете свои бумаги у этого храброго бунтовщика, но что вы собираетесь с ними делать?

– Отнесу их другому прокурору, другому адвокату! – вскричала графиня.

Флажо поднял глаза к небу с мрачной улыбкой самоотречения и стоического смирения.

– Но ведь раз принято решение, – шепотом продолжал маршал, – что палаты не будут больше проводить судебных заседаний, дорогая графиня, следовательно, никакой другой прокурор не станет вами заниматься, кроме мэтра Флажо...

– Это что же, заговор?

– Неужели вы, черт побери, считаете мэтра Флажо таким глупцом, чтобы он протестовал в одиночку, риску, я потерять свою контору? Должно быть, собратья поддерживают его?

– Что же намереваетесь делать вы?

– Я заявляю, что мэтр Флажо – честный прокурор, и мои бумаги будут у него в целости и сохранности... Я оставляю их у него и продолжаю, разумеется, платить, как если бы он и дальше занимался моим делом.

– Вы по праву считаетесь умным человеком и либералом, господин маршал! – воскликнул

Флажо. – Я буду распространять это суждение, господин герцог!

– Вы слишком добры ко мне, дорогой прокурор! – с поклоном отвечал Ришелье.

– Бернаде! – крикнул вдохновленный прокурор своему клерку. – Включите похвалу господина маршала де Ришелье в заключительную часть!

– Нет, нет, не стоит, мэтр Флажо! Я вас умоляю... – с живостью возразил маршал. – Ах, черт побери, что вы там собираетесь делать? Я предпочитаю тайну в том, что принято называть делом... Не огорчайте меня, мэтр Флажо. Я буду отрицать, опровергать: видите ли, я очень скромн... Ну, графиня, что вы на это скажете?

– Я скажу так: мой процесс будет слушаться... Мне нужно судебное разбирательство, и оно состоится!

– А я вам скажу: чтобы ваш процесс состоялся, королю придется послать швейцарцев, рейтаров и двадцать пушек в зал заседаний, – с воинственным видом отвечал Флажо, и это привело старуху в полное отчаяние.

– Вы, значит, не верите, что его величество на это способен? – шепнул Ришелье, обращаясь к Флажо.

– Это невозможно, господин маршал! Это просто неслыханно! Это означало бы, что во Франции нет больше справедливости, как уже нет хлеба.

– Вы полагаете?

– Вы сами в этом убедитесь.

– Однако король разгневется, – Мы готовы на все!

– Даже на изгнание?

– На смерть, господин маршал! Оттого, что на нас мантия, мы не стали трусливее!

Флажо ударил себя кулаком в грудь.

– Теперь я уверен, – сказал Ришелье своей спутнице, – что кабинету министров не поздоровится!

– О да! – после некоторого молчания заметила графиня. – И это весьма для меня прискорбно, потому что я никогда не вмешиваюсь в происходящее, а теперь вот оказываюсь втянутой в этот конфликт.

– Я совершенно убежден, – отвечал маршал, – что есть одно лицо, которое может вам помочь в этом деле, человек могущественный... Но захочет ли он?

– Надеюсь, не будет с моей стороны слишком нескромным любопытствовать, господин герцог, кто это могущественное лицо?

– Ваша крестница, – отвечал герцог.

– Графиня Дю Барри?

– Она самая.

– А ведь, пожалуй, вы правы... Вы подали мне прекрасную мысль!

Герцог прикусил губу.

– Так вы поедете в Люсьенн? – спросил он.

– Без малейшего колебания.

– Однако графине Дю Барри не осилить оппозиции Парламента.

– Я скажу ей, что хочу, чтобы мое дело было рассмотрено в суде. Она ни в чем не сможет мне отказать после того, что я для нее сделала. Она скажет королю, что ей этого хочется. Его величество поговорит с канцлером, а у канцлера – большие возможности, господин герцог... Мэтр Флажо, будьте любезны, хорошенько изучите мое дело. Оно будет слушаться раньше, чем вы предполагаете, это говорю вам я!

Мэтр Флажо недоверчиво покачал головой, однако графиня была непоколебима.

Выйдя из задумчивости, герцог проговорил:

– Раз вы отправляетесь в Люсьенн, графиня, передайте, пожалуйста, от меня низжайший поклон.

– С большим удовольствием, герцог.

– Мы с вами – друзья по несчастью: ваш процесс приостановлен, мой – тоже. Когда вы будете просить за себя, то вы тем самым ускорите рассмотрение и моего дела.. Кроме того, вы можете

засвидетельствовать там мое неудовольствие, которое нам причиняют эти упрямы в Парламенте. Прибавьте к этому, пожалуйста, что именно я посоветовал вам прибегнуть к помощи божественной хозяйки Люсьенн.

– Не премину, герцог. Прощайте, господа!

– Имею честь предложить вам свою руку и проводить вас до кареты. Еще раз прощайте, мэтр Флажо, не буду вам мешать заниматься делами...

Маршал проводил графиню до кареты.

«Рафте прав, – подумал он, – такие, как Флажо, способны произвести революцию. Слава Богу, я подкреплён с обеих сторон. Я придворный и в то же время член Парламента. Графиня Дю Барри попытается вмешаться в политику и падет одна. Если она устоит, я ей подложу мину в лицо мадмуазель де Таверне. Да, этот чертов Рафте в самом деле мой ученик. Я его поставлю во главе кабинета, когда стану премьер-министром».

Глава 28. ГЛАВА, В КОТОРОЙ ВСЕ СТАНОВИТСЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ ЗАПУТАННЫМ

Графиня де Беарн воспользовалась советом Ришелье. Спустя два с половиной часа после того, как она рассталась с герцогом, она уже сидела в приемной Люсьенн в обществе Замора.

Она некоторое время не показывалась у графини Дю Барри, и потому ее присутствие вызвало некоторое любопытство в будуаре графини, услышавшей имя графини де Беарн.

Д'Эгийон тоже не терял времени даром. Он замыслил вместе с фавориткой заговор, когда Шон вошла с просьбой принять графиню де Беарн.

Герцог собрался было удалиться, но графиня его удержала.

– Я бы хотела, чтобы вы остались, – сказала она. – В том случае, если старая скупердяйка станет кланчить деньги, вы окажетесь полезны: в вашем присутствии она попросит меньше.

Герцог остался.

Графиня де Беарн с подобающим случаю выражением лица села напротив Дю Барри в предложенное ей кресло. Когда они обменялись приветственными фразами, Дю Барри спросила:

– Могу ли я узнать, какому счастливому случаю я обязана вашим посещением, сударыня?

– Ах, графиня! – воскликнула старая сутяга. – Меня привело к вам огромное несчастье!

– Что случилось?

– У меня есть новость, которая очень опечалит его величество – Говорите скорее!

– Парламент...

– Ага! – проворчал д'Эгийон.

– Господин герцог д'Эгийон! – поспешила представить графиня своего гостя посетительнице во избежание недоразумения.

Однако старая графиня была такой же хитрой, как все придворные, вместе взятые.

Она могла допустить оплошность только умышленно, когда недоразумение было ей на руку.

– Я наслышана обо всех гнусностях этих судейских крючков и об их неуважении к заслугам и знатному происхождению, – сказала она.

Ее комплимент герцогу достиг цели: герцог низко поклонился старой сутяге, она поднялась и тоже поклонилась.

– Однако речь идет не только о герцоге, затронута вся нация: Парламент отказывается заседать.

– Неужели? – вскричала Дю Барри, откидываясь на софу. – Так во Франции не будет больше правосудия?.. И что же дальше? Какие это повлечет за собой последствия?

Герцог улыбнулся. Однако вместо того, чтобы свести все к шутке, графиня де Беарн еще пуще нахмурила и без того суровое лицо.

– Это огромное бедствие, – молвила она.

– Вы так думаете? – спросила фаворитка.

– Сразу видно, графиня, что у вас нет процесса.

– Гм! – обронил д'Эгийон, желая привлечь внимание графини Дю Барри; она, наконец, поняла, куда клонит сутяга.

- Увы, графиня, – спохватилась она, – вы правы: вы мне напомнили, что у меня нет процесса, но у вас-то он есть, и очень серьезный!
- Да, графиня!.. И любая отсрочка для меня разорительна.
- Бедная графиня!
- Необходимо, чтобы король принял решение!
- Его величество давно готов выслать господ советников.
- Да, но тогда дело будет отложено на неопределенный срок!
- Вы знаете какой-нибудь другой способ? Не предложите ли вы что-нибудь еще?
- Старая сутяга вся ушла в чепец, словно Цезарь, умирающий под своей тогой.
- Есть одно средство, – заговорил д'Эгийон, – однако то величество вряд ли на него согласится.
- Какое средство? – озабоченно спросила старая графиня.
- Обыкновенное оружие французского монарха, когда он чувствует притеснение: занять Королевское кресло в Парламенте. Он говорит: «Я так хочу!», в то время как противники думают: «Я этого не хочу!»
- Превосходная мысль! – в восторге вскричала Дю Барри.
- Однако не стоит ее разглашать, – тонко заметил д'Эгийон с жестом, понятным графине де Беарн.
- Сударыня! – подхватила графиня де Беарн. – Вы имеете такое влияние на его величество! Добейтесь того, чтобы он сказал: «Я хочу, чтобы состоялся процесс графини де Беарн». Кстати, как вы знаете, это мне уже давно было обещано.
- Д'Эгийон прикусил губу, поклонился графине Дю Барри и вышел из будуара: он услышал, как во двор въехала карета короля.
- А вот и король! – проговорила Дю Барри, вставая и давая этим понять, что аудиенция окончена.
- Позвольте мне пасть его величеству в ноги!
- Чтобы попросить его занять «Королевское кресло»? Я ничего не имею против, – с живостью ответила графиня Дю Барри. – Оставайтесь здесь, раз вам этого так хочется.
- Едва графиня де Беарн успела поправить чепец, как вошел король.
- А-а, у вас гости, графиня?..
- Графиня де Беарн, сир.
- Сир, прошу у вас правосудия! – вскричала старая дама, приседая в низком реверансе.
- Ой-ой-ой! – воскликнул Людовик XV с едва различимой насмешкой, понятной только тем, кто его знал. – Вас кто-нибудь оскорбил, графиня?
- Сир, я прошу правосудия!
- Против кого?
- Против Парламента.
- Вот оно что! – проговорил король, хлопнув в ладоши. – Вы жалуетесь на мой Парламент? Доставьте мне удовольствие, образумьте их. У меня тоже есть основание быть им недовольным, и я тоже прошу у вас правосудия! – прибавил он, передразнивая реверанс старой графини.
- Сир, ведь вы же, наконец, король, вы – хозяин.
- Король – да; хозяин – не всегда.
- Сир, проявите волю.
- Это как раз то, что я делаю каждый вечер. На следующее утро они тоже проявляют свою волю. А так как наши желания диаметрально противоположны, мы напоминаем Землю и Луну, которые летают вечно одна за другой, никогда не встречаясь.
- Сир, у вас довольно мощный голос, чтобы заглушить этих крикунов.
- Вот тут вы ошибаетесь. Это ведь не я адвокат, а они. Если я говорю «да», они отвечают «нет». Найти общий язык совершенно невозможно... Вот если бы, когда я говорю «да», вы нашли средство помешать им сказать «нет», я заключил бы с вами союз.
- Сир, я знаю такое средство.
- Немедленно дайте мне его.

– Ну что же, сир, извольте: вам следует занять Королевское кресло.

– Час от часу не легче! Королевское кресло! – отвечал король. – Как вы могли до этого додуматься? Да это почти революция!

– У вас будет возможность сказать этим бунтовщикам прямо в лицо, что вы – хозяин. Вы знаете, сир, что когда король проявляет таким образом свою волю, то он один имеет право говорить, никто ему не отвечает. Вы им скажете: «Я хочу!», и они склонят головы...

– Идея великолепная! – воскликнула графиня Дю Барри.

– Да, великолепная, – согласился Людовик XV, – но она не подходит.

– До чего же красиво, – с жаром продолжала Дю Барри, – кортеж, знать, пэры, все офицеры короля, за ними – огромная толпа народу, и потом – само Королевское кресло с пятью подушками, расшитыми золотыми лилиями... Пышная была бы церемония!

– Вы полагаете? – не очень уверенно спросил король.

– И роскошный королевский наряд: горностаевая мантия, брильянтовый венец, золотой скипетр, – в общем, весь блеск, который так идет к царственному и красивому лицу. Ах, до чего вы были бы великолепны, сир! – воскликнула графиня Дю Барри.

– Со времени вашего детства, сир, – прибавила графиня де Беарн, – в каждом сердце хранится воспоминание о вашей необыкновенной красоте. Кроме того, – продолжала она, – это был бы удобный случай для господина канцлера проявить хитрость и сдержанное красноречие, чтобы эти людишки были раздавлены правдой, достоинством, авторитетом.

– Я должен дожидаться преступления со стороны Парламента, – сказал Людовик XV, – а уж тогда посмотрим.

– Чего еще ждать, сир? Что может быть ужаснее того, что сделано?

– Что же сделано? Рассказывайте.

– А вы не знаете?

– Парламент слегка подразнил герцога д'Эгийона, это не смертельно... Хотя дорогой герцог – один из моих друзей, – прибавил король, взглянув на графиню Дю Барри. – Итак, Парламент подразнил герцога – я положил конец их злобным выпадам, отменив приговор вчера или третьего дня, не помню точно. Вот мы и квиты.

– А знаете, сир, – живо проговорила Дю Барри, – графиня только что нам сообщила, что нынче утром эти господа в черных мантиях дождались удобного случая.

– Что такое? – нахмурившись, спросил король.

– Расскажите, графиня! Король позволяет, – сказала фаворитка.

– Сир! Господа советники решили больше не проводить судебных заседаний Парламента до тех пор, пока вы, ваше величество, не признаете их правыми.

– Неужели? – молвил король. – А вы не ошибаетесь, графиня? Ведь это было бы неповиновение, а мой Парламент не осмелится восстать, я надеюсь...

– Сир, уверяю вас, что...

– Полно, графиня, это, верно, слухи.

– Выслушайте меня, ваше величество.

– Говорите, графиня.

– Так вот, мой прокурор вернул мне сегодня мое дело... Он больше не защищает, потому что теперь никто больше не судит.

– Уверяю вас, что это только слухи. Они пытаются меня запугать.

При этих словах король взволнованно заходил по комнате.

– Сир! Может быть, ваше величество скорее поверит герцогу де Ришелье? Так вот, в моем присутствии герцогу де Ришелье вернули, как и мне, все бумаги, и герцог удалился в ярости.

– Кто-то скребется в дверь, – заметил король, желая переменить тему.

– Это Замор, сир. Вошел Замор.

– Хозяйка! Письмо!

– Вы позволите, сир? – спросила графиня. – О Господи! – вдруг вскрикнула она.

– Что такое?

– Это от господина канцлера, сир. Зная, что ваше величество собирался ко мне с визитом,

господин де Монеу просит меня испросить для него аудиенцию.

– Что там могло случиться?

– Просите господина канцлера! – приказала Дю Барри.

Графиня де Беарн встала и хотела откланяться.

– Вы не мешаете, графиня, – сказал ей король. – Здравствуйте, господин де Монеу! Что нового?

– Сир! – с поклоном отвечал канцлер. – Парламент вам раньше мешал: теперь нет больше Парламента.

– Как так? Они, что же, все умерли? Наелись мышьяку?

– Боже сохрани!.. Нет, сир, они здравствуют. Но они больше не желают заседать и подали в отставку. Я только что их принимал.

– Советников?

– Нет, сир, отставки.

– Я же вам говорила, сир, что это серьезно, – вполголоса заметила графиня.

– Очень серьезно! – в нетерпении отвечал король. – Ну и что же вы сделали, господин канцлер?

– Я пришел за указаниями вашего величества.

– Давайте всех их вышлем. Монеу.

– Сир, в изгнании они тоже не станут проводить судебные заседания.

– Давайте прикажем им заседать!.. Неужели не существует более ни предписаний, ни королевских указов?..

– Сир, на этот раз вам придется проявить свою власть.

– Да, вы правы.

– Мужайтесь! – шепнула де Беарн графине Дю Барри.

– И поступить, как хозяин, после того, как вы слишком часто вели себя, как отец! – вскричала графиня.

– Канцлер! – медленно проговорил король. – Я знаю только одно средство. Оно сильное, но действенное. Я собираюсь занять Королевское кресло в Парламенте. Надо хоть раз как следует напугать этих господ.

– Сир! – вскрикнул канцлер. – Прекрасно сказано! Либо они подчинятся, либо пойдут на разрыв!

– Графиня! – обратился король к старой сутяге. – Если ваше дело еще и не слушалось, то, как видите, в том не моя вина.

– Сир! Вы – величайший в мире король!

– Да! Да!.. – эхом отозвались графиня, Шон и канцлер.

– Однако мир так не думает, – пробормотал король.

Глава 29. «КОРОЛЕВСКОЕ КРЕСЛО»

Итак, состоялось знаменитое «Королевское кресло» с соответствующим случаю церемониалом, которого требовали, с одной стороны, тщеславие короля, с другой – интриги, подталкивавшие государя к государственному перевороту.

Королевский дворец был оцеплен войсками. Огромное количество лучников в коротких юбочках, солдат охраны и полицейских агентов должны были защищать господина канцлера. А он, словно генерал в день решающего сражения, должен был явиться для участия в этом предприятии.

Господин канцлер был непопулярен. Он сам это знал, и если тщеславие мешало ему понять губительность для него этого шага, то люди, лучше осведомленные о сложившемся общественном мнении, могли бы без всякого преувеличения предсказать ему позор или, по крайней мере, шиканье.

Такой же прием был оказан и герцогу д'Эгийону, которого инстинктивно отвергала толпа отчасти после парламентских дебатов. Король притворялся спокойным. Однако он был встревожен.

Но видно было, как ему нравится его великолепный королевский наряд; он полагал, что ничто не может так защитить, как величие.

Он мог бы прибавить: «И любовь подданных». Но эти слова ему часто повторяли в Меце во время его болезни, и он решил, что если скажет так, то его обвинят в плагиате.

Для ее высочества это зрелище было внове, и она в глубине души, может быть, желала его увидеть. Однако, когда наступило утро, она с грустным видом отправилась на церемонию и не меняла во все ее продолжение выражения лица, и это способствовало тому, что о ней сложилось благоприятное мнение.

Графиня дю Барри была отважная дама. Она верила в свою судьбу, потому что была молода и хороша собой. И потом, разве о ней не все уже было сказано? Что нового можно было прибавить? Казалось, она сияла, освещенная отблеском величия своего возлюбленного – короля.

Герцог д'Эгийон отважно вышагивал среди шедших впереди короля пэров. Его благородное, выразительное лицо не выдавало ни малейшего огорчения или неудовольствия. В то же время он и не задирает нос, чувствуя себя победителем. При виде того, как он шел, никто не догадался бы о том, какую битву затеяли из-за него король и Парламент.

В толпе на него показывали друг другу пальцем; члены Парламента бросали на него испепеляющие взгляды – и только!

Большая зала Дворца была набита битком, собралось более трех тысяч человек.

А вокруг Дворца толпа, сдерживаемая хлыстами судебных исполнителей и палками лучников, глухо гудела; не было слышно ни отдельных голосов, ни выкриков, однако по звуку можно было догадаться, что собралась огромная масса народу.

В большой зале установилась тишина; когда стихли шаги, каждый занял свое место, и величавый монарх мрачно повелел канцлеру начинать.

Члены Парламента знали заранее, что Королевское кресло не обещает им ничего хорошего. Они понимали, зачем их созвали. Они справедливо полагали, что король собирается объявить им свою волю; однако они знали, что король кроток, чтобы не сказать – труслив, и если им и суждено было испугаться, то лишь последствий церемонии, а не самого заседания.

Канцлер взял слово. Он был большой говорун. Начало его речи было многословным, и любители выразительного стиля нашли его многообещающим.

Однако сама речь превратилась постепенно в столь сильный разнос, что вызвала у знатных господ улыбку, а члены Парламента почувствовали себя не в своей тарелке. Устами канцлера король приказывал немедленно прекратить всякие отношения с Англией, от которой он устал. Он приказывал Парламенту помириться с герцогом д'Эгийоном, услуги которого были ему приятны. За это он обещал, что жизнь потечет, как в счастливые времена золотого века, когда текли ручейки, нашептывая краткие и миролюбивые выступления из пяти пунктов; когда на деревьях росли папки с делами о пределах досягаемости господ адвокатов или прокуроров, имевших право их срывать, так как плоды принадлежали им.

Эти сладкие речи не примирили Парламент с де Монеу, так же как не заставили помириться и с герцогом д'Эгийоном. Впрочем, речь была произнесена, и на нее нельзя было ответить.

Члены Парламента к вящей досаде короля приняли все как один – что само по себе придает силы – спокойный и безразличный вид, не понравившийся его величеству и занимавшим трибуны аристократам.

Ее высочество побледнела от ярости. Она впервые явилась свидетельницей неповиновения толпы. Она собиралась хладнокровно прикинуть его возможности.

Отправляясь на церемонию «Королевского кресла», она намеревалась хотя бы внешне проявить несогласие с решением, которое должно было приниматься или быть официально объявлено. Однако мало-помалу она почувствовала себя втянутой в борьбу, причем была на стороне равных ей по крови и по положению. По мере того как канцлер вгрызался в парламентскую плоть, юная гордячка все сильнее возмущалась тем, что его зубы недостаточно остры. Ей казалось, что она могла бы найти такие слова, которые заставили бы дрогнуть сборище, как стадо быков под палкой погонщика. Короче говоря, она нашла, что канцлер слишком слаб, а члены Парламента – очень сильны.

Людовик XV был великолепным физиономистом, как все эгоисты, если только они не были лентяями. Он огляделся, желая увидеть, как встречена его воля, выраженная, как ему казалось, достаточно красноречиво.

Побелевшие закушенные губы ее высочества сказали ему о том, что творится в ее душе.

Он перевел взгляд на графиню Дю Барри, уверенный в том, что увидит нечто противоположное, но вместо победоносной улыбки он заметил лишь страстное желание привлечь к себе взгляд короля, словно для того, чтобы узнать, что он думает.

Ничто так не смущает слабые умы, как мысль о том, что их опередят ум и воля другого человека. Если они замечают на себе решительные взгляды, они заключают, что сами они действовали недостаточно смело и теперь будут выглядеть или уже выглядят смешными; что с них потребуют больше того, что они сделали.

Тогда они бросаются в другую крайность; робость переходит в раж, неожиданный взрыв дает выход опасениям, оказавшимся сильнее их прежних страхов.

Королю не было нужды прибавлять ни одного слова к выступлению канцлера – кстати, это противоречило бы этикету. Однако его словно одолел бес болтливости: он махнул рукой, показывая, что желает говорить.

На сей раз присутствующие оцепенели.

Головы всех членов Парламента повернулись, словно по команде, к Королевскому креслу.

Аристократы, пэры, офицеры – все взволновались. Было не исключено, что после стольких хороших слов его величество Людовик Благочестивый возьмет да и скажет ненужную грубость, а их благоговение перед его величеством не позволяло им прервать короля.

Кое-кто заметил, что герцог де Ришелье, делавший вид, что держится на приличном расстоянии от племянника, неожиданно приблизился к нему, словно притянутый взглядом и таинственным совпадением мыслей.

Однако его взгляд, уже готовый выразить возмущение, встретился с взглядом графини Дю Барри. Ришелье, как никто, обладал бесценным даром перевоплощения: он перешел от насмешливого тона к восхищению и выбрал прекрасную графиню точкой пересечения между этими крайностями.

Итак, он послал на ходу приветственную и любезную улыбку графине Дю Барри; однако она была не так глупа, тем более что старый маршал, пытавшийся поддакивать и членам Парламента, и аристократам, вынужден был очень скоро снова продолжить свой маневр, дабы никто не заметил, что он представляет собой на самом деле.

Сколько возможностей в капле воды! Это целый океан для наблюдательного человека! Как много веков спрессовано в одной секунде! Неопишуемая вечность! Все, о чем мы рассказываем, произошло за то короткое время, пока его величество Людовик XV, собираясь заговорить, раскрывал рот.

– Вы слышали от канцлера, – решительно начал он, – какова моя воля. Подумайте же о том, как ее исполнить, потому что я не собираюсь менять свои намерения!

Не успел Людовик XV закончить, как раздался оглушительный грохот.

Все собрание было буквально потрясено.

Члены Парламента затрепетали от ужаса, немедленно передавшего толпе со скоростью искры. Такой же трепет охватил и сторонников короля. Удивление и восхищение были написаны на всех лицах, отдались в каждом сердце.

Ее высочество, сама того не желая, благодарно взглянула на короля своими прекрасными глазами.

Взвинченная графиня Дю Барри вскочила и захлопала в ладоши, нисколько не боясь того, что ее забросают при выходе камнями или что на следующий день она получит сотню куплетов, один отвратительнее другого.

С этой минуты Людовик XV наслаждался своим триумфом.

Члены Парламента покорно склонили головы, не сдавая, однако, своих позиций.

Король привстал с расшитых лилиями подушек.

Сейчас же вслед за ним поднялись капитан гвардейцев, командующий свитскими офицерами

и все дворяне.

С улицы слышалась барабанная дробь, заиграли трубы. Король гордо прошел через залу сквозь строй склоненных голов. Почти неуловимый на слух гул толпы при появлении короля обратился в завывание, оно волной прокатилось от первых рядов до последних; толпу едва сдерживали солдаты и лучники.

Герцог д'Эгийон шел по-прежнему впереди короля, не выказывая своего торжества.

Подойдя к двери, ведущей на улицу, канцлер ужаснулся при виде людского моря, волнение которого он почувствовал на расстоянии. Он приказал лучникам:

– Сомкнитесь вокруг меня!

Низко кланяясь герцогу д'Эгийону, маршал де Ришелье сказал племяннику:

– Обратите внимание, герцог, на эти склоненные головы: примет день, и они чертовски высоко поднимутся. Вот тогда надо будет побережться!

Графиня Дю Барри проходила в эту минуту вместе со своим братом, г-жой де Мирпуа и некоторыми придворными дамами. Она услышала предостережение старого маршала и, не столько желая возразить ему, сколько стремясь блеснуть своим остроумием, заметила:

– Да что вы, маршал! По-моему, бояться нечего! Вы же слышали, что сказал его величество? Если не ошибаюсь, он объявил, что ничего не собирается менять?

– Слова его величества в самом деле производят сильное впечатление, графиня, – с улыбкой отвечал старый маршал. – Однако эти несносные члены Парламента не видели, к счастью для вас, что, когда король говорил, что ничего не собирается менять, он смотрел на вас!

Он заключил этот мадригал одним из тех неподражаемых реверансов, какие в наши дни не умеют делать даже на сцене.

Графиня Дю Барри была прежде всего женщина, а никак не политик. Она увидела лишь комплимент там, где д'Эгийон почуял эпиграмму и вместе с тем угрозу.

Вот почему она ответила улыбкой, тогда как ее союзник закусил губу и побледнел. Он понял, что маршал его не простил.

Последствия церемонии «Королевского кресла» не замедлили сказаться. Они были благоприятны для короля. Но, как часто случается, сильное потрясение ошеломляет. Зато после него кровь скорее течет в жилах, она словно очищается.

Так, во всяком случае, думали люди, собравшиеся небольшой группкой на углу набережной О'Флер и улицы Барийри, наблюдая за отъездом короля и его пышного кортежа.

Группа состояла из трех человек... Случай соединил их на этом углу, откуда они, как казалось, с любопытством смотрели на толпу. Не будучи знакомы между собой, они, однако, обменялись несколькими словами и стали держаться вместе. Еще раньше, чем кончилось заседание Парламента, они уже сделали заключение.

– Ну что же, страсти разгорелись! – заговорил один из них, старик со сверкавшими глазами и добрым, благородным лицом. – «Королевское кресло»

– великая вещь!

– Да! – с горькой улыбкой подхватил молодой человек. – Да, если бы слова подтверждались делами...

– Сударь, кажется, я вас знаю... – проговорил старик, повернувшись к юноше. – Где я мог вас видеть?

– Ночью тридцать первого мая. Вы не ошиблись, господин Руссо.

– А-а, вы тот самый молодой хирург, мой соотечественник, господин Марат?

– Да, сударь, к вашим услугам.

Они обменялись поклонами.

Третий еще не проронил ни слова. Это был приятный молодой человек. Во все время церемонии он не сводил взгляда с толпы, внимательно наблюдая за борьбой ее страстей.

Юный хирург ушел первым. Он отважно ринулся в самую гущу людей, не столь благодарных, как Руссо, и уже позабывших, с какой самоотверженностью он спасал пострадавших во время давки. Но он надеялся, что придет день, и его имя всплывет в памяти народной.

Другой молодой человек подождал, пока он уйдет, и обратился к Руссо:

– А вы не ухолите, сударь?

– Я слишком стар, чтобы рисковать жизнью в такой давке.

– В таком случае, – понизив голос, продолжал незнакомец, – до встречи на улице Платриер сегодня вечером, господин Руссо... Непременно приходите!

Философ вздрогнул так, словно перед ним встал призрак. Бледный от природы, он еще сильнее побледнел и стал похож на мертвеца. Пока он собирался с духом, чтобы ответить незнакомцу, тот исчез.

Глава 30. О ВПЕЧАТЛЕНИИ, ПРОИЗВЕДЕННОМ СЛОВАМИ НЕЗНАКОМЦА НА ЖАН-ЖАКА РУССО

Услыхав необычные слова, произнесенные незнакомым господином, несчастный Руссо задрожал и пошел сквозь толпу, позабыв о том, что он стар и что боялся давки; наконец он вырвался на свободу. Он дошел до моста Нотр-Дам и, погруженный в задумчивость, прошел черва Гревский квартал, выбрав самый короткий путь к дому.

«Оказывается, что тайна, которую каждый посвященный хранит с риском для жизни, доступна первому встречному, – рассуждал он. – Вот что происходит с тайными обществами, когда они становятся массовыми... Какой-то человек меня знает, он понимает, что я скоро буду его товарищем, а возможно, и сообщником. Нет, такой порядок вещей абсурден и невыносим».

Эти мысли заставили Руссо зашагать быстрее, хотя обыкновенно он передвигался с большой осторожностью, особенно с тех пор, как его постигло несчастье на улице Менилмонтан.

«Таким образом, – продолжал философ, – пожелав поближе познакомиться с будущим вырождением человечества, о котором якобы известно так называемым „ясновидцам“, я едва не сделал глупости, поверив в то, что дельные мысли к нам могут прийти из Германии, страны любителей пива и туманов; я опорочил бы свое имя, связавшись с дураками или интриганами, а они прикрывали бы им свои глупости. Нет, не бывает этому! Нет, словно при вспышке молнии мне открылась бездна, и я не собираюсь туда бросаться за здорово живешь!»

Отдыхая, Руссо остановился на минуту посреди улицы, опираясь на палку.

«А красивая была химера! – продолжал философ. – Свобода в лоне рабства; будущее, завоеванное без потрясений и без всякого шума; сеть организации, таинственным образом распространяющаяся в то время, пока тираны всего мира дремлют... Это было чересчур красиво; с моей стороны было глупо в это поверить... Не нужно ни опасений, ни подозрений, ни сомнений: все это недостойно свободомыслящего и независимого человека».

Он пошел дальше и вдруг заметил ищеек де Сартина, шаривших всюду глазами. Они так напугали свободомыслящего и независимого человека, что он отскочил в тень от столба, мимо которого в эту минуту он проходил.

От этих столбов уже недалеко было и до улицы Платриер. Руссо скорым шагом прошел это расстояние, поднялся по лестнице, задышавшись, словно загнанная лань, и упал на стул в своей комнате, не в силах отвечать на расспросы Терезы.

Немного погодя он объяснил ей причину своего волнения: он бежал, было жарко, его поразила новость: король разгневался на церемонии «Королевского кресла»; народ потрясен произошедшими событиями.

Тереза в ответ проворчала, что все это не убедительная причина для того, чтобы опаздывать к обеду, и что мужчине не пристало шарахаться от малейшего шума, подобно мокрой курице.

Руссо не нашелся, что ответить на последнее замечание: он много раз говорил о том же – правда, в других выражениях, Тереза прибавила, что философы, вообще люди с богатым воображением, все одним миром мазаны... В своих книгах они только и делают, что трубят в фанфары и утверждают, что ничего не боятся, что им плевать и на Бога, и на людей. Однако стоит тявкнуть собачонке, как они кричат: «На помощь!», а раз чихнув, готовы завопить:

«Ах, Боже мой, я умираю!»

Это была одна из излюбленных тем Терезы, она давала волю своему красноречию, на которое робкий от природы Руссо не находил, что ответить. И потому под звуки ее пронзительного го-

лоса Руссо вынашивал свою мысль, представлявшую не меньшую ценность, чем мысли Терезы, несмотря на обидные слова, которыми награждала его жена.

«Счастье состоит из запахов и звуков, – думал он, – а запах и звук – вещи условные... Кто сказал, что лук пахнет хуже розы, а павлин поет хуже соловья?»

Установив эту аксиому, которую можно было принять за чистейший парадокс, он сел за стол и стал обедать.

После обеда Руссо против обыкновения не пошел к клавесину. Он двадцать раз прошелся по комнате и раз сто выглянул в окно, изучая улицу Платриер.

У Терезы начался один из приступов ревности, которые обычно возникают из духа противоречия у людей задиристых, то есть наименее подверженных ревности.

Добро бы еще, если бы он подчеркивал свои хорошие качества! Неприятно было то, что он выставлял напоказ свой недостаток!

Тереза испытывала глубокое отвращение к внешности своего мужа, к его телосложению, уму и привычкам; Тереза считала, что он стар, болен и некрасив, не боялась, что у нее уведут мужа; она не могла даже предположить, что какая-нибудь женщина способна взглянуть на него иначе, чем она сама. Однако самая сладкая мука для женщины – ревность. Вот почему Тереза позволяла себе порой это удовольствие.

Видя, что Руссо так часто в задумчивости подходит к окну, что ему не сидится на месте, она проговорила:

– Теперь я понимаю ваше беспокойство... Должно быть, вы недавно кое с кем расстались?..

Руссо посмотрел на нее с испугом, что явилось для нее лишним доказательством ее правоты.

–..кое с кем, кого вы хотели бы еще раз увидеть, – продолжала она.

– Вы так думаете? – сказал Руссо.

– Похоже, мы стали бегать на свидания?

– На свидания? – переспросил Руссо, до которого наконец дошло, что она его ревнует. – Вы с ума сошли, Тереза!

– Я прекрасно понимаю, что это было бы безумием, – сказала она. – Впрочем, вы на все способны. Бегайте, бегайте! С вашей физиономией цвета папье-маше, с вашей аритмией, дурацким покашливанием ступайте, завоевывайте сердца! Самый лучший способ, чтобы прославиться!

– Тереза! Вы сами прекрасно знаете, что ничего нет! – с раздражением заметил Руссо. – Дайте мне спокойно подумать!

– Вы – распутник! – с самым серьезным видом выпалила Тереза.

Руссо покраснел так, словно это была правда или он услышал комплимент.

Тогда Тереза сочла себя вправе разгневаться, перевернуть все вверх дном, хлопнуть дверью, испытывая терпение Руссо, – так ребенок, играющий металлическим колечком, кладет его в коробочку и гремит им изо всех сил.

Руссо укрылся в кабинете. Крики Терезы расстроили его мысли.

Он решил, что, вне всякого сомнения, было бы не совсем безопасно не пойти на таинственную церемонию, о которой ему говорил незнакомец на углу набережной.

«Если уж они преследуют предателей, то наверняка это распространяется на колеблющихся и безразличных, – подумал он. – Я давно заметил, что большая опасность – ничто, как и серьезная угроза, потому что в подобных случаях дело редко доходит до приведения угрозы в исполнение. Но вот когда речь идет о мелкой мести, ударах исподтишка, мистификации и других мелочах, тут надо держать ухо востро. В один прекрасный день братья-масоны оплатят мне за мое презрение, натянув веревку у меня на лестнице, я сломаю ногу и растеряю последние десять зубов., или, пожалуй, уронят мне на голову камень, когда я буду проходить мимо какой-нибудь стройки... А еще лучше, если у них в братстве найдется какой-нибудь памфлетист, живущий у меня под боком, может быть, на одной со мной лестнице, и лазающий ко мне через окно. В этом нет ничего невозможного, раз собрания проходят на улице Платриер... Ну вот, этот бездельник напишет обо мне всякие глупости, осмеет меня на весь Париж... Ведь у меня всюду враги!»

Спустя мгновение Руссо думал уже о другом.

«Ну что же! – говорил он себе. – Где моя смелость? Где моя честь? Разве я испугался

наедине с самим собой?

Неужели, взглянув в зеркало, я увидел бы только труса и негодяя? Нет, это не так... Пускай хоть весь свет против меня сговорится, пусть потолок этого погреба обрушится на мою голову, я все равно туда пойду... Кстати, все красивые рассуждения порождают страх. С того времени, как, встретившись с незнакомцем, я вернулся домой, я все время топчусь на одном месте из трусости. Я сомневаюсь во всех и в себе самом! Это нелогично... Я себя знаю, меня нельзя обвинить в восторженности: если я увидал в будущей ассоциации что-то необычайное, значит, оно в ней есть. Кто осмелится мне сказать, что я не окажусь тем, кто восстановит род человеческий? Меня так долго искали, таинственные посланцы безгранично могущественной организации прибыли для выяснения того, можно ли доверять моим книгам. Так вот, я готов отступить, когда речь идет о том, чтобы, следуя моим советам, перейти от слов к делу и от изложенной мною теории к практике!» Руссо все более оживлялся.

«Чего еще и желать! Время идет... Народы перестают быть забитыми, они идут друг за другом в темноте на ощупь; они образуют огромную пирамиду, которую будущие столетия увенчают бюстом Руссо, женеевского гражданина. Стремясь жить так, чтобы слова его не расходились с делом, он рисковал свободой, жизнью, то есть оставался верен своему девизу: „*Vitam impendere vero*“.

Увлечшись, Руссо сел за клавесин и окончательно забылся, извлекая из инструмента громкие, шумные, воинственные звуки.

Стемнело. Терезе надоело мучить своего пленника, и она заснула, сидя на стуле. Руссо с сильно бьющимся сердцем надел новый сюртук, словно собирался на любовное свидание. Он некоторое время наблюдал в зеркале за игрой своих черных глаз и нашел, что они у него живые и выразительные. Он остался доволен собой.

Он взял трость и, стараясь не разбудить Терезу, улизнул.

Спустившись по лестнице и открыв потайной замок входной двери, Руссо выглянул наружу, желая убедиться в том, что вокруг все тихо.

Не видно было ни одной кареты; на улице, по обыкновению, было много гуляющих; одни из них глазели на прохожих, как это принято и в наши дни; другие останавливались у окон лавчонок, разглядывая в лорнет хорошеньких продавщиц за прилавком.

В таком водовороте новый человек вряд ли привлек бы к себе внимание. Руссо торопливо шагнул на улицу; путь ему предстоял недолгий.

У двери, которую указали Руссо, стоял уличный музыкант. Пронзительные звуки скрипки, к которым так чувствителен каждый истинный парижанин, разносились на всю улицу, эхо отвечало издали последними тактами куплета, пропетого скрипкой или музыкантом.

Трудно было вообразить что-либо более неблагоприятное для уличного движения, чем пробка, образовавшаяся из-за скопления слушателей. Прохожие вынуждены были обходить собравшихся либо слева, либо справа; те, кто сворачивал налево, шли потом по улице, те же, кто обходил толпу справа, следовали затем вдоль указанного дома.

Руссо обратил внимание, что некоторые прохожие словно терялись по дороге, будто попадали в ловушку. Он понял, что эти люди подходили к дому с тою же целью, что и он, и решил последовать их примеру: это было нетрудно.

Подойдя к кучке собравшихся, будто он тоже хотел послушать, он стал поджидать первого попавшегося господина, чтобы понаблюдать, как он будет проходить к дому. У него, разумеется, было более оснований для опасения, потому что он рисковал более других; он все не раз взвесил, прежде чем решил, что представился благоприятный случай. Впрочем, ему не пришлось долго ждать. Ехавший по улице кабриолет рассек кружок слушателей надвое, прижав их к стенам домов. Ему оставалось сделать последний шаг... Наш философ убедился в том, что глаза любопытных заняты кабриолетом; он воспользовался тем, что все отвернулось от дома, и исчез в глубине подъезда.

Через несколько секунд он заметил лампу, под ней мирно сидел какой-то человек, по виду — отдыхавший после трудового дня лавочник, который читал или притворялся, что читает газету.

Услышав шаги Руссо, человек поднял голову и выразительным жестом прижал палец к груди,

освещенной лампой, Руссо ответил на условный знак, прижав палец к губам.

Человек быстро встал и толкнул находившуюся справа от него и невидимую в деревянной каркасной стенке дверь, которую он до этого закрывал спиной. Он указал Руссо на крутую лестницу, уходившую под землю.

Руссо вошел, дверь бесшумно и быстро за ним затворилась.

Опираясь на трость, Руссо стал спускаться. Ему не понравилось, что члены тайного общества заставляют его в качестве первого испытания спускаться с риском свернуть себе шею и переломать ноги.

Впрочем, лестница скоро кончилась. Руссо насчитал семнадцать ступенек, после этого его лицо опухло горячий воздух.

Эта влажная духота была следствием того, что в погребке собралось довольно много народу.

Руссо увидал на стенах белые и красные гобелены, изображавшие разного рода рабочие инструменты, скорее символические, чем настоящие. Со сводчатого потолка спускалась одна-единственная лампа, отбрасывавшая зловещие отблески на честные лица собравшихся, сидевших на деревянных скамьях и мирно между собою беседовавших.

На полу не было ни паркета, ни ковра. Он был покрыт толстой тростниковой циновкой, заглушавшей шум шагов.

Появление Руссо не вызвало никакой сенсации. Казалось, никто не заметил, как он вошел.

Еще пять минут назад Руссо страстно желал такого приема. Однако теперь он был взбешен невниманием.

Найдя свободное место на одной из задних скамеек, он сел там как мог скромнее, позади всех.

Он насчитал тридцать три человека. Стол, находившийся на некотором возвышении, ожидал председателя.

Глава 31. ЛОЖА НА УЛИЦЕ ПЛАТРИЕР

Руссо обратил внимание на то, что присутствовавшие разговаривали несмело и сдержанно. Многие вообще не разжимали рта. И только три или четыре пары обменивались словами.

Те, кто не разговаривал, пытались даже спрятать лица, и это им вполне удавалось благодаря тени, которую отбрасывало возвышение для стола председателя; председателя ожидали с нетерпением.

В тени этого возвышения укрылись самые робкие. Зато двум-трем членам организации не терпелось познакомиться с товарищами. Они ходили взад и вперед, разговаривали; то один, то другой поминутно исчезал за дверью, скрытой за черным занавесом, на котором были изображены языки пламени.

Вскоре раздался звонок. Какой-то человек поднялся со скамьи, где он сидел вместе с другими каменщиками, и занял место за столом.

Он сделал несколько знаков руками и пальцами, все присутствовавшие повторили их вслед за ним; он прибавил последний знак, наиболее из всех выразительный, и объявил заседание открытым.

Господин этот был совершенно незнаком Руссо; за его внешностью богатого ремесленника скрывался немалый ум и такое красноречие, которому позавидовал бы любой оратор.

Его речь была ясной и краткой. Он объявил, что члены ложи собрались для того, чтобы принять в свои ряды нового брата.

— Пусть вас не удивляет, — сказал он, — что мы пригласили вас в такое место, где не могут быть проведены обычные испытания. Верховные члены общества пришли к выводу, что в этом случае испытания излишни. Брат, которого мы сегодня принимаем, представляет собой светоч современной философии. Это мудрец, который будет нам предан по убеждению, а не из страха. На того, кто постиг все тайны природы и премудрости человеческого сердца, невозможно произвести впечатление теми же приемами, какими можно запугать простого смертного, готового служить нам руками, волей, деньгами. А чтобы добиться сотрудничества с этим выдающимся человеком

благородного и деятельного характера, нам будет довольно его обещания, простого его согласия.

На этом оратор закончил свою речь и огляделся, желая убедиться в произведенном впечатлении.

На Руссо его слова произвели магическое действие: женеvский философ знал все приготовительные таинства масонского братства; он взирал на них с отвращением, вполне объяснимым у просвещенных людей; все эти ненужные и потому бессмысленные уступки, каких высшие чины ложи требовали от новых членов, чтобы вызвать у них страх, когда всем известно, что бояться нечего, представлялись ему верхом ребячества и пустого суеверия.

Но что еще важнее, скромный философ был противником всего демонстративного, показного. Ему было бы нестерпимо участвовать в представлении перед незнакомыми людьми, которые к тому же мистифицировали бы его с самыми добрыми намерениями.

Вот почему, видя, что его собираются освободить от испытаний, он почувствовал нечто большее, чем простое удовлетворение. Он знал, что все члены были равны перед строгими законами масонского братства. И потому исключение, которое для него готовы были сделать, он воспринял как огромную победу.

Он уже собрался в нескольких словах поблагодарить красноречивого и любезного председателя, как вдруг из зала послышался чей-то голос.

— Раз уж вам вздумалось обходиться, словно с принцем, с таким же человеком, как мы все, — едко и с дрожью в голосе проговорил этот господин, — то по крайней мере, раз уж вы освобождаете его от физических испытаний, как будто они уже перестали быть одним из наших символов поиска свободы духа через страдание плоти, мы надеемся, что вы не собираетесь пожаловать драгоценное звание незнакомцу прежде, чем мы зададим ему вопросы согласно обычаю, чтобы выяснить, какую веру он исповедует.

Руссо обернулся, желая увидеть лицо воинственного господина, так чувствительно задевшего самолюбие торжествовавшего старика. Он очень удивился, узнав молодого хирурга, которого он утром встретил на набережной О'Флер.

Искренность да еще, может быть, презрение к «драгоценному званию» помешали ему ответить.

— Вы слышали? — спросил председатель, обращаясь к Руссо.

— Да! — отвечал философ, вздрогнув от собственного голоса, непривычно прозвучавшего под сводами мрачного погребца. — И я еще более удивился этому требованию, когда увидел, от кого оно исходит. Как! Человек, который по роду занятий обязан бороться с тем, что называется физическим страданием, и помогать братьям, которые являются не только каменщиками, но и обыкновенными людьми, — этот человек проповедует пользу физических страданий!.. Он выбрал весьма необычный путь, чтобы привести человека к счастью, а больного — к выздоровлению.

— Речь здесь не идет о каком-либо определенном лице, — живо возразил молодой человек. — Новый член общества не знает меня, как я не знаю его. Мои слова не лишены логики, и я смею утверждать, что уважаемому председателю следовало бы действовать невзирая на лица. Я не признаю в этом господине философа, — продолжал он, указав на Руссо, — пусть и он забудет о том, что я врач. И так нам придется, возможно, прожить всю жизнь, ни единым взглядом, ни единым жестом не выдав нашего знакомства, более близкого, впрочем, благодаря узам братства, чем обычная дружба. Еще раз повторяю: если вы сочли своим долгом освободить нового члена от испытаний, то сейчас самое время задать ему по крайней мере вопросы.

Руссо не проронил ни слова. Председатель понял по его лицу, что ему неприятен этот спор и что он сожалеет, что ввязался в это дело.

— Брат! — властно проговорил он, обратившись к молодому человеку. — Не угодно ли вам помолчать, когда говорит верховный член, и не позволять себе обсуждать его действия: они суверенны.

— Я имею право сделать запрос, — вежливо возразил молодой человек.

— Сделать запрос — да, но не выступать с осуждением. Брат, вступающий в общество, слишком известен для того, чтобы мы привносили в наши масонские отношения смешную и ненужную таинственность. Всем присутствующим здесь братьям известно его имя, и оно является гарантией.

Однако, так как он сам, в чем я совершенно уверен, любит равенство, я прошу его ответить на вопрос, который я задаю только ради формы: что вы ищете в братстве?

Руссо сделал два шага вперед и, отделившись от толпы, обвел собрание задумчивым и грустным взглядом.

– Я ищу в нем то, – заговорил он, – чего не нахожу: истину, а не софизмы. Зачем вам направлять на меня кинжалы, которые не могут заколоть; зачем предлагать мне яд, если на самом деле это чистая вода; зачем бросать меня в люк, если внизу расстелен матрац? Я знаю, на что способны люди. Я знаю предел своих физических возможностей. Если вы их превысите, вам незачем будет выбирать меня своим братом. Будучи мертвым, я ни на что вам не пригожусь; следовательно, вы не хотите меня убивать, еще менее – ранить. Никто в целом свете не заставит меня поверить в необходимость такого посвящения, во время которого необходимо было бы сломать мне руку или ногу.

Я больше вас всех изведал боль; я изучил тело и нащупал душу. Если я согласился прийти к вам, когда меня об этом попросили, – он подчеркнул это слово, – то только потому, что подумал, что смогу быть полезен. Таким образом, я отдаю и ничего не получаю взамен. Прежде чем вы сможете меня защитить; прежде чем вы своими силами сможете вернуть мне свободу, если я окажусь в тюрьме; дать мне хлеба, когда меня станут морить голодом; утешить меня, если меня огорчат; прежде чем, повторяю, вы станете действительной силой, – брат, которого вы сегодня принимаете в свои ряды, если будет угодно этому господину, – прибавил он, взглянув на Марата, – этот брат уже отдаст дань природе, потому что прогресс – вещь непростая, потому что свет доходит медленно, а из того места, куда он упадет, никто из вас не сумеет его извлечь...

– Вы ошибаетесь, прославленный брат! – проникновенно произнес тихий голос, привлечший внимание Руссо. – Братство, в которое вы любезно согласились вступить, гораздо могущественнее, чем вы полагаете. Оно держит в своих руках будущее всего мира. А будущее, как вам известно, это надежда, это наука; будущее – это Бог, отдающий, как и обещал, свет людям. А Бог не может солгать.

Удивленный этой возвышенной речью, Руссо взглянул на собравшихся и узнал еще одного молодого человека, того самого, что назначил ему утром встречу.

Он был в черном, элегантном костюме. Он стоял, прислонившись к боковой стенке эстрады, но и его лицо в неясном свете лампы казалось прекрасным, благородным и выразительным.

– Наука – это бездна! – воскликнул Руссо. – И вы еще будете говорить мне о науке! Утешения, будущее, обещания! Другой мне рассказывает о материи, выносливости и насилии. Кому я должен верить? Этак, пожалуй, собрание превратится в стаю голодных волков, готовых растерзать копошащихся над нами людишек! Волки и овцы! Слушайте мою исповедь, раз вы не читали моих книг.

– Ваши книги! – вскричал Марат. – Они представляют собой нечто возвышенное, согласен! Но это утопии. Вы полезны так же, как Пифагор, Солон и софист Цицерон. Вы учите добру, но добру искусственному, несуществующему, неприемлемому. Вы уподобляетесь тому, кто пытается накормить голодную толпу радужными мыльными пузырями.

– Видели ли вы когда-нибудь, – насупившись, возразил Руссо, – чтобы большие потрясения в природе происходили без предварительной подготовки? Наблюдали ли вы за рождением человека, события обыкновенного и вместе с тем возвышенного? Обращали ли вы внимание на то, как он девять месяцев готовится к жизни в материнской утробе? А вы хотите, чтобы я обновил мир только действиями?.. Это не будет означать обновления, сударь; это явилось бы революцией.

– Так вы, стало быть, против независимости? – яростно набросился на него юный хирург. – Вы – против свободы?

– Напротив, – отвечал Руссо, – независимость это идол, которому я поклоняюсь, а свобода – моя богиня. Разница в том, что я желаю свободы нежной, радостной, которая согревает и оживляет. Я хочу такого равенства, которое сближает людей в дружбе, а не из страха. Я стремлюсь к тому, чтобы каждая частица общественного организма была образованна и воспитанна, как механик стремится к гармонии, а резчик по дереву – к сходству, то есть к безупречному подбору, исключительной сочетаемости каждой детали его работы. Я повторю то, о чем уже писал: я призываю к

прогрессу, согласию, самоотверженности.

На губах Марата блуждала презрительная улыбка.

– Да! Молочные реки и кисельные берега! – подхватил он. – Елисейские поля Вергилия, поэтические мечты, которые философия надеется превратить в реальность.

Руссо не стал возражать. Он почувствовал, как нелегко ему отстаивать свою умеренность, ему, которого вся Европа считала яростным новатором.

Чтобы успокоиться, наивный и робкий философ вопросительно взглянул на защищавшего его недавно господина и, получив его молчаливое одобрение, тоже молча сел.

Председательствовавший поднялся с места.

– Вы все слышали? – спросил он, обратившись к собранию.

– Да! – было ему ответом.

– Считаете ли вы этого господина достойным вступления в братство? Верно ли он понимает свои обязанности?

– Да, – отвечали собравшиеся, однако, довольно сдержанно, что свидетельствовало о том, что до единодушия далеко.

– Принесите клятву! – обратился председатель к Руссо.

– Мне было бы неприятно думать, – высокомерно отвечал философ, – что я не понравился кому-либо из членов общества, и я должен еще раз повторить то, о чем только что говорил и в чем совершенно убежден. Если бы я был оратором, я сумел бы развить свою мысль так, чтобы она захватила всех. Однако мой язык меня не слушается и искажает мою мысль, когда я прошу его немедленно ее передать. Я хотел бы сказать, что делаю гораздо больше и для мира, и для всех вас, находясь вне этого общества, чем если бы я старательно исполнял все ваши обычаи. Так позвольте мне остаться за моим занятием, с моими слабостями, в одиночестве. Как я уже сказал, я одной ногой в могиле: огорчения, болезни, нищета толкают меня туда. Вам не задержать это великое действие природы. Оставьте меня, я создан не для того, чтобы шагать в одном строю с другими людьми, я их ненавижу и избегаю. Впрочем, я служу им, потому что я сам – человек, и, отдавая им свои силы, я верю в то, что они становятся лучше. Теперь вы знакомы с моей мыслью, мне нечего прибавить.

– Так вы отказываетесь принести клятву? – в некотором волнении спросил Марат.

– Решительно отказываюсь. Я не желаю быть членом общества. Я вижу слишком много доказательств тому, что я буду бесполезен.

– Брат! – миролюбиво заговорил незнакомец. – Позвольте мне называть вас так, потому что мы в самом деле братья. Итак, брат, не поддавайтесь минутной досаде вполне естественной. Принесите в жертву свою законную гордость. Сделайте ради нас то, что вам неприятно. Ваши советы, ваши мысли, само ваше присутствие несет свет! Не бросайте нас во мрак.

– Вы ошибаетесь, – возразил Руссо, – я ничего вас не лишаю, я всегда давал только то, что и всему миру, любому своему читателю, любому газетчику; если вам нужны имя и сущность Руссо...

– Нужны! – вежливо подхватило несколько голосов.

– Тогда возьмите собрание моих сочинений, разложите книги на столе председателя и, когда вы перейдете к обсуждению какого-нибудь вопроса и настанет моя очередь высказать свое мнение, раскройте мою книгу: вы найдете там мое мнение, мое суждение.

Руссо шагнул к выходу.

– Одну минутку! – остановил его хирург. – Свобода выбора одинакова для всех: и для прославленного философа, и для всех остальных. Однако было бы неверно допускать в наше святылище любого профана, который, не будучи связан никаким условием, даже устным, мог бы выдать наши тайны.

Руссо взглянул на него и снисходительно улыбнулся.

– Вы требуете, чтобы я поклялся молчать? – спросил он.

– Вы сами об этом сказали.

– Извольте.

– Будьте любезны прочитать клятву, уважаемый брат, – проговорил Марат.

«Уважаемый брат» прочел клятву:

«Клянусь перед лицом всемогущего Бога, Создателя всего сущего, в присутствии верховных членов и уважаемого собрания, никогда не предавать ни устно, ни письменно, ни намеком ничего из того, что мне было открыто, а в случае неосторожности я готов осудить себя сам и буду наказан по законам великого Создателя, всех вышестоящих членов и буду достоин ненависти моих отцов».

Руссо протянул было руку, как вдруг незнакомец, слушавший и следивший за спором с важностью, которую никто не пытался у него оспаривать, хотя он ничем не выделялся из толпы, подошел к председателю и шепнул ему на ухо несколько слов.

– Вы правы, – согласился почтенный председатель и прибавил:

– Вы обыкновенный человек, а не брат, вы – уважаемый человек, случайно оказавшийся среди нас. И потому мы отрекаемся от наших прав и просим лишь дать честное слово забыть обо всем, что между нами произошло.

– Клянусь честью, что забуду все, как утренний сон! – в волнении отвечал Руссо.

С этими словами он вышел, а за ним и многие члены ложи.

Глава 33. ОТЧЕТ

После того как вышли братья второго и третьего ранга, в ложе остались семь братьев, семь верховных членов. Они узнали друг друга благодаря условному знаку, доказывавшему, что они посвящены в тайны верховной ложи.

Прежде всего они позаботились о том, чтобы двери были заперты. Затем главный обнаружил себя, показав братьям перстень с выгравированными на нем таинственными буквами: L. P. D.

Этот верховный член должен был передать волю ордена. Он был связан с шестью другими верховными членами, проживавшими в Швейцарии, России, Америке, Швеции, Испании и Италии.

Он приносил самые важные известия, которые получал от своих собратьев для передачи в ложу посвященных, занимавшую либо более высокое, либо более низкое, чем он, положение.

Мы узнали в этом верховном члене Бальзамо.

Наиболее важным сообщением было письмо, в котором содержалась угроза. Оно пришло из Швеции от Сведенборга.

«Следите за югом, братья! – говорилось в нем. – Под обжигающим солнцем пригрелся предатель. Этот предатель вас погубит.

Следите за Парижем, братья! Предатель находится там. В его руках – тайны ордена, им движет ненависть.

Предательство носится в воздухе, я слышу его едва уловимый шепот. Мне было открыто, что месть будет ужасной, но она, возможно, придет слишком поздно. А пока – берегитесь, братья! Будьте осторожны! Иногда бывает довольно одного предателя, пусть недостаточно сведущего, чтобы разрушить все наши тщательно подготовленные планы».

Братья удивленно переглянулись, не проронив ни слова. Слова сурового ясновидца, его предвидение, подтверждаемое многочисленными примерами, еще более омрачили членов комитета, предводимого Бальзамо.

Он тоже доверял ясновидению Сведенборга. По прочтении письма у него появилось болезненное ощущение того, что грядет нечто очень страшное.

– Братья! – провозгласил он. – Вдохновенный пророк ошибается редко. Будьте же бдительны, как он вас к тому призывает. Вы не хуже меня знаете, что вот-вот начнется борьба. Давайте же постараемся, чтобы нас не одолели враги, которых мы способны без труда устранить. Не забывайте, что они располагают целым штатом наемных шпионов. Это мощная армия в мире, где люди думают лишь о земном благополучии. Братья, будем же остерегаться подкупленных предателей!

– Эти опасения кажутся мне ребяческими, – раздался чей-то голос. – У нас с каждым днем прибывают силы, у нас гениальные вожди и длинные руки!

Бальзамо поклонился, благодаря льстеца за похвалу.

– Да, это так! Однако, как сказал наш прославленный вождь, предательство просачивается отовсюду, – возразил брат, оказавшийся не кем иным, как хирургом Маратом, выдвинутым, несмотря на молодость, в верховную ложу, благодаря чему он заседал теперь впервые в консультативном комитете. – Вспомните, братья, что чем больше приманка, тем больше и добыча. Если де Сартин за кошелек золотых монет может купить признания одного из наших неизвестных братьев, то министр, за миллион или посулив высокий чин, может купить одного из наших верховных членов. Вот почему у нас принято, чтобы братья низшей ложи ничего не знали. Самое большее, что ему известно, это несколько имен товарищей, и эти имена ничего собой не представляют. Наш орден прекрасно организован, но он предельно аристократичен; нижние чины ничего не знают, ничего не могут; их собирают, чтобы сообщить или услышать от них ничего не значащие сведения. Впрочем, они тратят деньги и время для укрепления нашего здания. Задумайтесь над тем, что этот маневр приносит нам лишь камень и раствор, но сможете ли вы без камня и раствора построить дом? Итак, этот маневр приносит скудные плоды, однако я склонен рассматривать их наравне с планом архитектора, который создает и оживляет все творение. А еще я считаю архитектора и каменщика равными друг другу потому, что с философской точки зрения, архитектор – человек, такой же человек, как и все, лишь бы он нес в себе отпущенные ему страдание и фатальность, как другие люди, и даже в большей степени, чем Другие. Он более подвержен опасности, что на него упадет камень или под ним рухнут леса.

– Я позволю себе вас прервать, брат, – вмешался Бальзамо. – Вы отклонились от занимающей нас темы. Ваш недостаток, брат, заключается в излишнем усердии и в стремлении к обобщениям. Сегодня мы не обсуждаем, хороша или плоха наша организация. Нам необходимо укрепить свои ряды, сплотиться внутри нашего общества. Если бы я собирался с вами дискутировать, я ответил бы вам следующим образом: нет, орудие производства не может быть приравнено к гению создателя. Нет, рабочий не может рассматриваться наравне с архитектором; нет, мозг и рука не равны друг другу.

– Допустим, что де Сартин схватит одного из наших братьев низшего ранга, – вскричал Марат, – разве он не сгноит его в Бастилии точно так же, как вас и меня?

– Согласен. Однако в первом случае ущерб будет лишь для индивида, а не для ордена, а вот если в тюрьму попадет верховный член, движение остановится: если нет генерала, армия проигрывает сражение. Так радейте же, братья, о спасении верховных членов!

– Да, но пусть и они о нас заботятся!

– Это их долг.

– И пусть за свои ошибки они расплачиваются вдвойне.

– Еще раз вынужден повторить, что вы удаляетесь от установлений ордена. Разве вам неизвестно, что клятва, объединяющая всех членов нашего братства, едина и предусматривает для всех одинаковое наказание?

– Верховные члены всегда найдут возможность его избежать.

– Сами они придерживаются Другого мнения, брат. Послушайте конец письма нашего пророка Сведенборга, одного из наших верховных членов. Вот что он прибавляет:

«Зло придет от одного из верховных членов, от очень высокого чина ордена, если же и не от него лично, его вина от этого будет не меньшей; помните, что огонь и вода могут быть заодно: один дает свет, другая – разоблачения.

Будьте бдительны, братья! Следите за всем и вся, следите!»

– Тогда давайте повторим связывающую нас клятву, – продолжал Марат, ухватившись в речи Бальзамо и письме Сведенборга за то, из чего он рассчитывал извлечь выгоду, – давайте пообещаем сдерживать ее во всей строгости, кем бы ни оказался предавший или послуживший причиной предательства.

Бальзамо некоторое время собирался с мыслями, затем поднялся с места и произнес священные слова, однажды уже виденные нашими читателями. Он говорил медленно, торжественно и угрожающе.

«Во имя распятого Бога-сына клянусь порвать плотские связи, соединяющие Меня с отцом, матерью, братьями, сестрами, супругой, родственниками, друзьями, любовницей, королями, ко-

мандирами, благодетелями и каким бы то ни было существом, которому я обещал преданность, послушание, признательность или услуги.

Клянусь открыть верховному члену, которого я признаю согласно статусу ордена, то, что я видел, совершил, взял, прочел или о чем слышал, узнал или догадался, а также узнавать и выводить то, что не сразу откроется моему взору.

Клянусь отдавать должное яду, мечу и огню, как средствам очищения земного шара смертью или одурманиванием врагов истины и свободы.

Клянусь хранить тайну. Я готов умереть, пораженный громом и молнией, в тот день, когда заслужу наказание, и я встречу без стонов удар ножа, который настигнет меня в любом уголке земного шара, где бы я ни находился».

Семь человек, составлявших мрачное собрание, слово в слово повторили клятву, поднявшись и обнажив головы.

Когда клятва была произнесена, снова заговорил Бальзамо:

– Мы заручились клятвой. Давайте же не отвлекаться от предмета нашей беседы.

– Я должен представить комитету отчет об основных событиях года.

Мое управление делами Франции будет представлять некоторый интерес для ваших просвещенных и пытливых умов.

Итак, я начинаю.

Франция расположена в центре Европы? как сердце в живом организме. Она живет сама и дарит жизнь. Стоит ей взволноваться, как весь организм чувствует недомогание.

Я приехал во Францию и подошел к Парижу, как доктор подходит к больному сердцу: я выслушал, ощупал, провел наблюдения. Когда год назад я к нему только приблизился, монархия недомогала; сегодня пороки ее убивают. Мне следовало ускорить действие этих губительных оргий, а для этого я им способствовал.

У меня на пути было одно препятствие в лице человека. Это был не просто первый, но и самый могущественный человек в государстве после короля.

Он был наделен некоторыми из тех качеств, что нравятся другим людям. Правда, он был чрезмерно честолобив, однако он умело вплетал честолобие в свои дела. Он знал, как смягчить порабощение народа, заставив его поверить, а иногда и воочию убедиться в том, что народ – часть государства; расспрашивая его временами о его нуждах, он поднимал знамя, вокруг которого массы всегда оживляются: это дух нации.

Он ненавидел англичан, всегдашних врагов Франции. Он ненавидел фаворитку, всегдашнего врага трудящихся. И вот если бы этому человеку суждено было когда-нибудь стать узурпатором, если бы он стал одним из нас, если бы он следовал нашим путем, действовал в наших интересах, я берег бы его, он нашел бы у меня всяческую поддержку, я ничего бы для него не пожалел. Потому что, вместо того чтобы подправлять прогнивший трон, он опрокинул бы его вместе с нами в назначенный день. Но он принадлежал к классу аристократов, у него в крови было почитание власти, на которую он и не претендовал, монархии, на которую он не осмеливался замахнуться; он бережно относился к королевской власти, хотя и презирал короля; он делал еще больше: он служил щитом этой самой власти, на которую были направлены наши удары. Парламент и народ были преисполнены уважения к этой живой преграде против захвата королевской власти и оказывали умеренное сопротивление, уверенные в том, что им будет обеспечена мощная поддержка, когда придет их час.

Я понял, как сложились обстоятельства. Я подготовил падение де Шуазеля. Это сложное дело, за которое все десять лет брались многочисленные заинтересованные лица, питавшие ненависть к министру, я начал и завершил всего за несколько месяцев при помощи таких средств, о которых не стоит рассказывать. При помощи одной тайны, являющейся моим оружием, тем более мощным, что оно останется навсегда скрыто от всех глаз, я опрокинул, прогнал де Шуазеля, прицепив к нему длинный шлейф сожалений, разочарований, жалоб и озлоблений. И вот теперь мой труд приносит плоды: вся Франция требует вернуть Шуазеля и встанет на его защиту, как сироты обращаются к небу, когда Бог прибирает их родителя. Парламент пользуется своим единственным правом: бездейтельностью. И вот уже он прекратил свою деятельность. В хорошо налаженном ор-

ганизме, каким должно быть первоклассное государство, остановка одного из основных органов смертельна. Парламент выполняет в общественном организме роль желудка: как только он перестает работать, народ – потроха государства – тоже не работает, а следовательно, и не платит. Таким образом, становится ощутимой нехватка золота, выполняющего функцию крови в этом организме. Они захотят воевать, разумеется. Однако кто станет воевать против народа? Уж во всяком случае, не армия, дочь народа, питающаяся хлебом землепашца и пьющая вино виноградаря. Остаются военная свита короля, привилегированные части, охрана, швейцарцы, мушкетеры – всего пять-шесть тысяч человек! Что может сделать эта горстка пигмеев, когда народ поднимется, подобно великану?

– Так пусть поднимается, пусть! – закричали сразу несколько голосов.

– Да, да! За дело! – крикнул Марат.

– Молодой человек, я не давал вам слова, – холодно остановил его Бальзамо. – Такое возмущение масс, – продолжал он, – такое восстание слабых, почувствовавших свою силу в единстве и сплоченности против одинокого гиганта, могло бы быть вызвано сейчас только незрелыми умами! И оно было бы Достигнуто без особых усилий, что меня особенно пугает. Однако я все хорошо обдумал, изучил, взвесил. Я спустился в народные глубины и проникся сущностью народа, его выносливостью, грубостью, я увидел его так близко, что сам стал народом. Итак, сегодня я могу сказать, что знаю его. И я не ошибусь в его оценке. Он силен, но несведущ; его легко возмутить, но он незлопамятен; одним словом, он еще не созрел для такого восстания, каким я его себе мыслю и хотел бы видеть. Ему не хватает знаний, которые помогли бы ему правильно оценить события. Ему не хватает памяти, чтобы запомнить свой собственный опыт. Он похож на дерзких юношей, какие мне встречались в Германии на народных гуляньях: они отважно взбирались на самую верхушку корабельной мачты, к которой боцман приказывал привязать окорок или серебряный кубок. Разгоряченные желанием, они бросались к мачте и необыкновенно проворно взбирались вверх. Однако, когда они почти достигали цели, когда оставалось лишь протянуть руку и схватить приз, силы их оставляли и они падали под свист толпы. В первый раз это случалось с ними так, как я только что описал; в другой раз они сберегали силы и следили за дыханием; однако, затрачивая больше времени на подъем, они падали из-за медлительности, как в первый раз – из-за поспешности. Наконец, в третий раз они находили золотую середину и благополучно взбирались наверх. Вот план, который я обдумываю. Попытки, бесконечные попытки приближают нас к цели вплоть до того дня, когда неизбежная удача позволит нам ее достичь.

Бальзамо замолчал и оглядел нетерпеливых слушателей, кипевших неопытной молодостью.

– Говорите, брат, – разрешил он Марату, волновавшемуся более других – Я буду краток, – начал Марат. – Попытки только утомляют народ, если и вовсе не расхолаживают. Попытки – это в духе теории господина Руссо, гражданина Женевы, великого поэта, но гения робкого, гражданина бесполезного, которого Платон изгнал бы из республики! Ждать! Опять ждать! Со времен освобождения коммун и восстания парижан в четырнадцатом веке вы ждете уже семь столетий! Пересчитайте, сколько поколений умерло в ожидании, и попробуйте после этого произнести это роковое слово: «Ждать!» Господин Руссо говорит нам об оппозиции, как это делалось в пору золотого века, как об этом говорил в беседе с маркизами или перед королем Мольер в своих комедиях, Буало в своих сатирах, Лафонтен в своих баснях. Жалкая и немощная оппозиция, ни на йоту не приблизившая счастья человечества. Все это сказочки для маленьких детей. Рабле тоже занимался политикой в вашем понимании, однако такая политика вызывает только смех и ничего более. Видели ли вы за последние триста лет, чтобы хоть одно злоупотребление властью было исправлено? Довольно с нас поэтов! Довольно теоретиков! Труд, действие – вот что нам необходимо! Мы уже три столетия пытаемся лечить Францию – настала пора вмешаться хирургии со скальпелем в руках. Общество заражено гангреной, остановим же ее железом! Ждать может только тот, кто, встав из-за стола, ложится на пуховую перину, с которой рабы сдувают лепестки роз, потому что полный желудок сообщает мозгу нежные пары, веселящие и радующие его. А вот голод, нищета, отчаяние отнюдь его не насыщают; стихи, сентенции, фавлю не приносят облегчения. Нищие громко кричат от голода. Только глухой может не слышать этих стонов. Пусть будет проклят тот, кто не отвечает на них. Восстание, даже если оно будет подавлено, прояснит умы больше, чем целое тыся-

челетие наставлений, больше, чем три столетия примеров; восстание покажет в истинном свете королей, если и не опрокинет их вовсе. А этого уже много, этого уже довольно!

Послышался одобрительный шепот.

– Где наши враги? – продолжал Марат. – У нас над головой они охраняют вход во дворцы, занимают ступеньки вокруг трона. На атом троне – палладиум, который они охраняют с еще большим усердием и страхом, чем троянцы. Ведь этот самый палладиум делает их всемогущими, богатыми, заносчивыми – вот что такое для них королевская власть. К королю можно подобраться только через трупы тех, кто его охраняет, как можно захватить генерала, разбив батальон его охраны. Если верить истории, много батальонов было разбито, много генералов взято в плен со времен Дария вплоть до короля Жана, начиная от Регула и до Дюгесклена. Разобьем гвардию – и мы доберемся до идола. Разгромим сначала часовых – и мы одолеем командира. Первая атака – на придворных, на благородных, на аристократов! Последняя – на короля! Считите всех привилегированных: наберется едва ли двести тысяч. Проойдитесь с острым мечом в руках по прекрасному саду под названием «Франция» и срубите эти двести тысяч голов, как поступил Тарквиний на маковом поле в Лации, – и делу конец. После этого две силы предстанут одна против другой: народ и король. Король – не более, чем символ – попытается бороться с народом, этим колоссом. Вот тогда вы увидите, на чьей стороне будет победа. Когда карлики нападают на великана, они начинают с пьедестала. Когда дровосеки хотят срубить дуб, они рубят под корень. Дровосеки! Дровосеки! Возьмемся за топор, начнем с корней, и придет час, когда древний дуб окажется на земле.

– И раздавит вас, как пигмеев, в своем падении, несчастные! – громовым голосом вскричал Бальзамо. – Вы обрушиваетесь на поэтов, а сами говорите еще более, поэтично, более образно, чем они! Брат, брат! – продолжал он, обращаясь к Марату. – Вы заимствовали эти слова, я в этом уверен, из какого-нибудь романа, который вы пописываете в своей мансарде.

Марат покраснел.

– Знаете ли вы, что такое революция? – продолжал Бальзамо. – Я видел сотни две и могу вам о них рассказать. Я видел революции в Древнем Египте, Ассирии, Греции, Риме, Византийской империи. Я был свидетелем средневековых революций, когда одни люди бросались на других. Восток шел стеной на Запад, а Запад – на Восток, люди резали друг друга, не умея договориться. Со времен восстаний под предводительством королей-пастухов и до наших дней произошла, может быть, сотня революций. Вы жаловались, что живете в рабстве. Значит, революции ни к чему не приводят. А почему? Потому, что те, кто производил революцию, страдали одним и тем же недугом: нетерпением. Разве Бог, направляющий революции смертных, торопится?

«Срубите, срубите дуб!» – кричите вы, вместо того чтобы сообразить, что дуб падает всего одну секунду и покрывает собою расстояние, какое лошадь, пущенная вскачь, может покрыть в тридцать секунд. Значит, те, кто будет рубить дуб, не смогут избежать его стремительного падения и будут погребены под его необъятной кроной. Вы этого хотите? Ну так от меня вам этого не добиться.

Я, подобно Богу, могу прожить Двадцать, тридцать, сорок человеческих жизней. Я, как Бог, вечен. И так же, как он, терпелив. Я несу свою судьбу, а вместе с ней – вашу И всего человечества, в своих руках. Никто не заставит меня разжать руки, полные потрясающих истин. Ведь это было бы подобно громовому раскату. Молния так же надежно спрятана в моей руке, как в Божьей деснице. Господа! Господа! Давайте оставим эти высоты и спустимся на землю. Господа! Скажу вам просто и убежденно: еще не время! Стоящий у власти король еще почитаем в народе; в его величии есть нечто такое, что способно погасить вспышки вашего гнева. Тот, что сейчас у власти, – настоящий король и умрет королем. Его происхождение написано у него на лбу, его можно определить по жесту, по звуку голоса. Этот всегда останется королем. Если мы его свалим, произойдет то, что уже было с Карлом Первым: палачи первые падут перед ним ниц, а придворные, виновные в его несчастье, вроде лорда Капела, станут лобызать топор, отсекший голову их господину. Как все вы, господа, знаете, Англия поторопилась. Король Карл Первый умер на эшафоте, это верно. Однако Карл Второй, его сын, умер на троне. Подождите, подождите, господа! Сейчас время играет нам на руку. Вы хотите растоптать лилии. Это наш общий девиз: «*Lilia pedibus destrue*». Но нужно сделать это так, чтобы не осталось ни единого корешка, позволившего Людовику Святому

надеяться на то, что его цветок распустится еще раз. Вы хотите уничтожить королевскую власть? Чтобы королевской власти более не существовало, необходимо прежде всего навсегда ослабить ее престиж и ее основы. Вы хотите уничтожить королевскую власть? Дождитесь, пока королевская власть станет не более, чем саном, должностью, подождите, пока обязанности короля будут исполняться не в храме, а в лавке. Таким образом королевская власть лишится своего священного смысла, то есть король перестанет быть законным преемником и наместником Бога на земле, и власть его будет утрачена навсегда. Слушайте! Слушайте! Этот непобедимый, непреодолимый барьер между нами, ничтожествами, и существами почти божественными... Народ никогда не осмеливался преступить ту грань, которая зовется наследственным правом на престол. Эти слова сияли, словно маяк в ночи, и до сего дня оберегали королевскую власть от кораблекрушения. И вот теперь этим словам суждено угаснуть под влиянием роковой тайны.

Принцесса, привезенная во Францию для продолжения королевского рода; принцесса, год назад ставшая супругой наследника французского престола... Подойдите ближе, господа, потому что я бы не хотел, чтобы мои слова слышали за пределы вашего круга.

– Так что же? – беспокойно переспросили шесть верховных членов.

– Так вот, господа: ее высочество – пока девственница!

Зловещий ропот, способный напугать сразу всех королей – столько в нем было злобной радости и мстительного торжества, вырвался, словно отравленная стрела, из тесного круга сомкнутых шести голов, а над ними словно парил Бальзамо, наклонившись с высокой эстрады.

– При таком положении вещей, – продолжал Бальзамо, – представляются возможными два пути, оба одинаково благоприятные для достижения нашей цели. Первая гипотеза заключается в том, что ее высочество останемся бездетной. В этом случае род угаснет, и будущее не обещает нашим друзьям ни боев, ни трудностей, ни сомнений. Светлое будущее наступит само собой, благодаря тому, что этому роду предопределено вымирание, как уже случалось во Франции всякий раз, когда три короля сменяли один другого. Так было с сыновьями Филиппа Красивого:

Людовик Сварливый, Филипп Долговязый и Карл Четвертый, умершие бездетными после того, как поочередно сидели на королевском троне. Так случилось и с тремя сыновьями Генриха Второго: Франциском Вторым, Карлом Девятым и Генрихом Третьим, скончавшимися бездетными после того, как каждый из них побывал у власти. Подобно им, его высочество дофин, граф де Прованс и граф д'Артуа один за другим будут править страной и все трое умрут бездетными, как их предки: таков закон судьбы. А затем, как после Карла Четвертого, последнего из рода Капетингов, пришел Филипп Четвертый Валуа, родственник по боковой линии предыдущих королей, после того, как Генриха Третьего, последнего из рода Валуа, сменил Генрих Четвертый Бурбон, побочный родственник предыдущего рода; после графа д'Артуа, записанного в книге судьбы как последний из королей старейшего рода, придет, быть может, какой-нибудь Кромвель или Вильгельм Оранский, чужак либо по крови, либо по праву наследования. Вот что нам дает первая гипотеза.

Вторая заключается в том, что у ее высочества будут дети. Вот прекрасная ловушка для наших врагов, куда они попадутся, будучи уверенными в том, что загнали в нее нас с вами. Если ее высочество не останется бездетной, если она станет матерью, ах, как все при дворе возрадуются и будут считать, что королевская власть во Франции укрепилась! У нас тоже будут причины для радости: мы будем располагать тайной столь страшной, что никакой престиж, никакая власть, никакие? усилия не умалят известных лишь нам преступлений и не спасут от несчастий, грозящих будущей королеве из-за ее плодовитости. Мы без труда докажем, что наследник, которого она подарит трону, – незаконный, а ее плодовитость мы объявим результатом супружеской неверности. Рядом с этим ненастоящим счастьем, словно посланным Небом, бездетность покажется ее высочеству великой милостью Божьей. Вот почему я воздерживаюсь, господа. Вот почему я выжидаю, братья! Вот почему, наконец, я считаю бесполезным разжигать сегодня страсти в народе: я смогу употребить их с пользой, когда настанет час. Теперь, господа, вы знаете, что было сделано за этот год. Вы видите, как мы продвинулись. Можете быть уверены, что мы победим благодаря гению и отваге тех, кто будет глазами и мозгом; благодаря настойчивости и трудолюбию тех, кто будет руками; благодаря вере и преданности тех, кто будет сердцем нашего братства. Вы должны проник-

нуться необходимостью слепого повиновения. Помните, что ваш руководитель тоже подчинится законам ордена в тот день, когда это потребуется. На этом, господа, на этом, возлюбленные братья, я и закрыл бы заседание, если бы мне не надо было еще совершить одно благое дело и указать на зло. Сегодня нас посетил великий писатель. Он был бы уже в наших рядах, если бы неуместное усердие одного из наших братьев не испугало его робкое сердце. Писатель был совершенно прав, когда говорил о нашем собрании, и я рассматриваю как огромное несчастье тот факт, что чужак одержал верх над большинством братьев, плохо знающих наши правила и не имеющих понятия о нашей конечной цели. Руссо, победивший своими софизмами истины нашего братства, представляет собою фундаментальный порок, который я выжиг бы каленым железом, если бы у меня не оставалась надежда излечить его при помощи убеждения. У одного из наших братьев болезненно развито самолюбие. Оно привело к тому, что мы потерпели поражение в этой дискуссии. Надеюсь, что это более не повторится, в противном случае мне придется прибегнуть к дисциплинарным взысканиям. Теперь, господа, призываю вас к тому, чтобы вы распространяли нашу веру добром и убеждением. Действуйте внушением, не навязывайте истину, не насаждайте ее против воли, огнем и мечом, как инквизиторы или палачи. Не забывайте, что мы станем великими, только когда сумеем стать добрыми, и нас признают добрыми лишь в том случае, если мы станем лучше тех, кто нас окружает. Помните еще, что для нас доброта – ничто без науки, искусства и веры; Бог отметил нас особой печатью для того, чтобы мы руководили людьми и правили государством! Господа! Заседание закрывается.

С этими словами Бальзамо надел шляпу и завернулся в плащ.

Присутствующие в полном молчании расходились по одному, дабы не вызвать подозрений.

Глава 33. ТЕЛО И ДУША

Рядом с учителем остался только Марат, хирург.

Он почтительно и робко подошел к грозному оратору, власть которого не знала границ.

– Учитель! Неужто я и в самом Деле допустил ошибку? – спросил он.

– И немалую, – отвечал Бальзамо. – Но что еще хуже – вы не верите в то, что в самом деле виноваты.

– Да, признаюсь, вы правы. Я не только не думаю, что допустил ошибку, – я верю в то, что говорил правильно.

– Гордыня! Гордыня! – прошептал Бальзамо. – Гордыня – демон разрушения! Люди сумеют победить лихорадку в крови больного, одолеют чуму в воде и воздухе, но они позволяют гордыне пустить столь глубокие корни в их сердца, что потом никак не могут вырвать ее оттуда.

– Учитель! До чего же вы невысокого обо мне мнения! Неужели я в самом деле так ничтожен, что ничем не выделяюсь среди себе подобных? Неужто я так мало почерпнул из своего труда, что неспособен сказать свое слово, чтобы не быть сейчас же уличенным в невежестве? Или я уже не страстный приверженец и сила моего убеждения вызывает сомнение? Да если бы у меня кроме этого ничего больше не было, я жил бы ради счастья народа.

– Добро еще борется в вас со злом, – заметил Бальзамо. – И мне кажется, что придет тот день, когда зло возьмет верх. Я попытаюсь избавить вас от недостатков. Если мне суждено в этом преуспеть, если гордыня еще не подавила в вас другие чувства, я мог бы сделать это в течение одного часа.

– Часа? – переспросил Марат.

– Да. Угодно вам подарить мне этот час?

– Разумеется.

– Где я могу вас увидеть?

– Учитель! Это я должен к вам прийти туда, где вы изволите назначить встречу своему почтенному слуге.

– Ну хорошо, – сказал Бальзамо, – я приду к вам.

– Прошу вас обратить внимание на то, что вы сами этого пожелали, учитель. Я живу в мансарде на улице Корделье. В мансарде, слышите? – повторил Марат, выставляя напоказ свою бед-

ность, хвастаясь своей нищетой, что отнюдь не ускользнуло от внимания Бальзаме, – тогда как вы...

– Тогда как я?..

– Тогда как вы, как рассказывают, живете во дворце. Тот пожал плечами, как сделал бы великан, наблюдая сверху за тем, как сердится карлик.

– Хорошо, – отвечал он, – я приду к вам в мансарду.

– Когда вас ждать?

– Завтра.

– В каком часу?

– Поутру.

– Я с рассветом пойду в анатомический театр, а оттуда – в больницу.

– Это именно то, что мне нужно. Я попросил бы вас проводить меня туда, если бы вы не предложили этого сами.

– Приходите пораньше. Я мало сплю, – сказал Марат.

– А я вообще не сплю, – сказал Бальзамо. – Ну так до утра!

– Я буду вас ждать.

На том они и расстались, потому что подошли к двери, ведущей на улицу, столь же темную и безлюдную теперь, сколь оживленной и шумной была она в ту минуту, как они входили в дом Бальзамо пошел налево и скоро исчез из виду.

Марат последовал его примеру, только свернул направо и зашагал на длинных худых ногах.

Бальзамо был точен: на следующий день в шесть утра он уже стоял перед дверью на лестничной площадке; эта дверь являлась центром коридора, в который выходили шесть дверей. Это был последний этаж одного из старых домов на улице Корделье.

Было заметно, что Марат готовился к тому, чтобы как можно достойнее принять именитого гостя. Куцая ореховая кровать, комод с деревянным верхом засверкали чистотой под шерстяной тряпкой прислуги, которая изо всех сил чистила эту рухлядь.

Марат старательно ей помогал, поливая из голубого фаянсового горшка бледные звездочки цветов – единственное украшение мансарды.

Он зажимал под мышкой полотняную тряпку; это свидетельствовало о том, что он взялся за цветы только после того, как помог протереть мебель.

Ключ торчал в двери, и Бальзамо вошел без стука. Он застал Марата за этим занятием.

При виде учителя Марат покраснел значительно сильнее, чем следовало бы истинному стоику.

– Как видите, я – человек хозяйственный, – проговорил он, незаметно швырнув предательскую тряпку за занавеску, – я помогаю этой славной женщине. Я выбрал, может быть, занятие не то чтобы совсем плебейское, но и не совсем достойное знатного господина.

– Это – занятие, достойное бедного молодого человека, любящего чистоту, и только, – холодно проговорил Бальзамо. – Вы готовы? Как вам известно, мне время дорого.

– Сию минуту, я только надену сюртук... Гриветта, сюртук!.. Это моя консьержка, мой камердинер, моя кухарка, моя экономка и обходится мне всего в один экю в месяц.

– Я ценю экономию, – отвечал Бальзамо. – Это богатство бедняков и мудрость богатых.

– Шляпу! Трость! – приказал Марат.

– Протяните руку, – вмешался Бальзамо. – Вот ваша шляпа, трость, которая лежит рядом со шляпой, тоже, без сомнения, ваша.

– Простите, я так смущен.

– Вы готовы?

– Да. Часы, Гриветта!

Гриветта окинула взглядом комнату, но ничего не ответила.

– Вам не нужны часы, чтобы отправиться в анатомический театр и в больницу. Часы, возможно, пришлось бы долго искать, и это нас задержит.

– Но я очень дорожу своими часами. Это отличные часы, я купил их благодаря строжайшей экономии.

- В ваше отсутствие Гриветта их поищет, – с улыбкой заметил Бальзамо,
- и если она будет искать хорошо, то к вашему возвращению часы найдутся.
- Ну конечно! – отвечала Гриветта. – Конечно, найдутся, если господин не оставил их где-нибудь. Здесь ничего не может потеряться.
- Вот видите! – проговорил Бальзамо. – Идемте, идемте!
- Марат не посмел настаивать и с ворчанием последовал за Бальзамо.
- Когда они были у двери, Бальзамо спросил:
- Куда мы пойдем сначала?
- В анатомический театр, если вы ничего не имеете против. Я там присмотрел одного человека, который должен был умереть сегодня ночью от менингита. Мне нужно изучить его мозг, и я не хотел бы, чтобы мои товарищи меня опередили.
- Ну так идемте в анатомический театр, господин Марат.
- Тем более, что это в двух шагах отсюда. Он примыкает к больнице, и нам придется только войти да выйти. Вы даже можете подождать меня у двери.
- Напротив, мне хотелось бы зайти вместе с вами: вы мне скажете свое мнение о., больном.
- Когда он еще был жив?
- Нет, с тех пор, как стал мертвецом.
- Берегитесь! – с улыбкой воскликнул Марат. – Я смогу взять над вами верх, потому что досконально изучил эту сторону своей профессии и, как говорят, стал искусным анатомом.
- Гордыня! Гордыня! Опять гордыня! – прошептал Бальзамо.
- Что вы сказали? – спросил Марат.
- Я сказал, что это мы еще увидим, – отвечал Бальзамо. – Давайте войдем!
- Марат первым вошел в тесный подъезд анатомического театра, расположенного в самом конце улицы Отфей.
- Бальзамо без колебаний последовал за ним. Они пришли в длинный и узкий зал. На мраморном столе лежали два трупа, один – женщины, другой – мужчины.
- Женщина умерла молодой. Мужчина был старый и лысый. Грубый саван покрывал их тела, оставляя наполовину открытыми их лица.
- Оба лежали бок о бок на холодном столе. Скорее всего, они никогда не встречались в этом мире, и вот теперь их вечные души были, должно быть, очень удивлены, видя такое тесное соседство их земных оболочек.
- Марат приподнял и отшвырнул грубое одеяние, укрывавшее обоих несчастных: смерть уравнила их скальпелем хирурга.
- Трупы были обнажены.
- Вид смерти вас не отталкивает? – спросил Марат с присущим ему высокомерием.
- Он меня огорчает, – отвечал Бальзамо.
- Это с непривычки, – заметил Марат. – Я вижу это представление каждый день и потому не испытываю ни огорчения, ни отвращения. Мы, практики, живем, как видите, среди мертвецов, и они никоим образом не отвлекают нас от наших привычных занятий.
- Это довольно печальная привилегия вашей профессии – И потом, – прибавил Марат, – чего ради я стал бы огорчаться или испытывать отвращение? Ведь у меня есть разум, а кроме того, я уже привык...
- Поясните свою мысль, – попросил Бальзамо, – я не совсем вас понимаю. Начните с разума.
- Как вам будет угодно. Почему я должен бояться? С какой стати мне испытывать страх при виде неподвижного тела, точно такой же статуи из плоти, как если бы она была из мрамора или гранита?
- А в мертвом теле действительно ничего нет?
- Ничего, совершенно ничего.
- Вы так думаете?
- Уверен!
- А в живом теле?
- А живое обладает движением! – с видом превосходства проговорил Марат.

- Вы ничего не говорите о душе, сударь...
- Я никогда ее не видал, копаясь в человеческом теле со скальпелем в руках.
- Это оттого, что вы копались только в мертвых телах.
- Вы не правы, я много оперировал и живых.
- И вы никогда не обнаруживали в них ничего такого, что отличало бы их от мертвых?
- Я находил боль. Может быть, под душой вы подразумеваете физическое страдание?
- Так вы, стало быть, не верите?
- Во что?
- В душу.
- Верю, однако я называю это движением!
- Прелестно! Итак, вы верите в существование души – это все, о чем я вас спрашивал. Мне нравится, что вы в это верите.

– Минуточку, учитель! Кажется, мы не поняли друг друга. Не будем преувеличивать, – ядовито улыбаясь, молвил Марат. – Мы, практики, до некоторой степени материалисты.

– Как холодны эти тела! – задумчиво проговорил Бальзамо. – А эта женщина была очень хороша собой.

– Да!

– В таком прекрасном теле была, несомненно, прекрасная душа.

– Вот в этом была ошибка того, кто ее создал. Прекрасные ножны и никудышный клинок! Это тело, учитель, принадлежало мерзавке, которая, не успев выйти из Сен-Лазар, скончалась от воспаления мозга в Отель-Дье. Ее жизнеописание пространное и очень скандальное. Если вы называете душой движение, которое руководило этим существом, вы оскорбили бы наши души, уподобляя их ее душе.

– Ее душу следовало бы вылечить, – возразил Бальзамо, – она погибла потому, что рядом не оказалось единственно необходимого врача: врачевателя души.

– Учитель! Это только ваша теория. Врачи существуют для того, чтобы лечить тело, – горько усмехнувшись, сказал Марат. – У вас, учитель, едва не сорвалось сейчас с губ одно слово, которое Мольер часто вставлял в свои комедии. Это оно заставило вас улыбнуться.

– Нет, – возразил Бальзамо, – вы ошибаетесь и не можете знать, чему я улыбаюсь. Итак, мы пришли к выводу, что в мертвых телах ничего нет?

– Да, и они ничего не чувствуют, – проговорил Марат, приподняв голову молодой женщины и отпустив ее так, что она со стуком ударилась о мрамор; тело при этом не только не двинулось, но и не дрогнуло.

– Прекрасно! – воскликнул Бальзамо. – Теперь пойдемте в больницу.

– Одну минуту, учитель. Если позволите, я сначала отрежу ей голову. У меня большое желание в ней покопаться: в ней гнездилась ужасно любопытная болезнь.

– Я вас не совсем понимаю, – молвил Бальзамо.

Марат раскрыл сумку с инструментами, вынул скальпель и взял в углу огромный деревянный молоток, забрызганный кровью.

Опытной рукой он сделал круговой надрез, рассекая кожу и мышцы шеи. Добравшись до кости, он вставил скальпель между двумя позвонками и резко и энергично ударил по нему деревянным молотком.

Голова покатилась по столу, со стола на пол. Марат подхватил ее влажными руками.

Бальзамо отвернулся, не желая доставлять радость победителю.

– Придет день, – заговорил Марат, полагавший, что нащупал слабое место учителя, – когда какой-нибудь филантроп займется изучением смерти, как другие занимаются жизнью. Он изобретет машину, которая отделяла бы одним махом голову от тела и производила бы мгновенное уничтожение, что недоступно никакому другому орудию смерти; колесование, четвертование и повешение – это пытки, достойные варваров, а не цивилизованных людей. Просвещенная нация вроде французской должна наказывать, но не мстить; общество, которое колесует, вешает или четвертует, мстит преступнику мучением, прежде чем наказать его смертью, а это, как мне кажется, в корне неверно.

– Я с вами согласен. А как вы представляете себе этот инструмент?

– Я полагаю, что это должна быть машина, столь же холодная и бесстрастная, как сам закон. Человек, в чьи обязанности входит наказание, начинает волноваться при виде себе подобного и порой промахивается, как было с Шале и герцогом де Монмаутом. Этого не может случиться с машиной, которая состояла бы, например, из двух дубовых лап, взмахивающих огромным тесаком.

– А вы думаете, что если тесак молниеносно скользнет между основанием затылка и трапецевидными мышцами, то смерть будет мгновенной, а страдание – недолгим?

– Смерть будет мгновенной, это бесспорно, потому что железо разом отсечет нервы, сообщаящие телу движение. Страдание будет недолгим, потому что железо отделит мозг, в котором собраны все чувства, от сердца, в котором бьется жизнь.

– Смерть через обезглавливание уже существует в Германии, – заметил Бальзамо.

– Да, но там голову отсекают шпагой, а я уже сказал вам, что человеческая рука может дрогнуть.

– Подобная машина есть в Италии. Ее приводит в движение дубовый корпус, она называется таппауа.

– Ну и что же?

– Я видел, как преступники, обезглавленные палачом, поднимались на ноги, уходили, покачиваясь, и падали в десяти шагах от места казни. Мне случалось поднимать головы, скатывавшиеся к подножию таппауа, точно так же, как бы держите за волосы голову, скатившуюся с мраморного стола; стоило шепнуть этой голове имя, данное ей при крещении, как глаза приоткрывались и поворачивались в орбитах, желая увидеть того, кто ее окликнул с земли в тот момент, когда она переходила в мир иной.

– Это всего-навсего движение нервов.

– Разве нервы – не органы чувств? Я полагаю, что вместо того, чтобы изобретать машину, убивающую ради наказания, человеку следовало бы найти способ наказания без умерщвления. Поверьте, что общество, которому удалось бы найти такой способ, стало бы лучшим и самым просвещенным на земле.

– Опять утопия! Все время какие-нибудь утопии! – проворчал Марат.

– На этот раз вы скорее всего правы, – согласился Бальзамо. – Время покажет... Впрочем, вы, кажется, говорили о больнице... Идемте же!

– Пожалуй.

Марат завернул голову женщины в носовой платок, аккуратно связав все четыре уголка.

– Теперь я по крайней мере уверен, – проговорил, выходя, Марат, – что моим товарищам достанется только то, что будет не нужно мне.

Они отправились в Отель-Дье. Мыслитель и практик шагали рядом.

– Вы очень хладнокровно и ловко отрезали эту голову, – сказал Бальзамо. – Когда вы меньше волнуетесь: имея дело с живыми или с мертвыми? Что более вас трогает: страдание или неподвижность? Кого вам больше жаль: живое тело или покойника?

– Слабость была бы недостатком, таким же, как для палача, позволяющего себе жалеть жертву. Человеку делают зло, если плохо отрезают ему ногу, точно так же, если плохо отрезают ему голову. Хороший хирург должен оперировать руками, а не сердцем, хотя он сердцем прекрасно понимает, что минутное страдание принесет целые годы жизни и здоровья. В этом – красота нашей профессии, учитель!

– Да. Однако я надеюсь, что у живых вы встречаете душу?

– Да, если вы согласитесь со мной, что душа – это движение или чувствительность. Да, разумеется, я встречаю душу, и она мне мешает, потому что убивает больше больных, чем мой скальпель.

Они подошли к Отель-Дье и поднялись на порог больницы для хронических больных.

Марат пошел вперед, не расставаясь со своей жуткой ношей. Бальзамо вошел вслед за ним в операционный зал, где собрались главный хирург и его ученики.

Санитары только что внесли молодого человека, сбитого на прошлой неделе тяжелой каре-

той, раздробившей ему ногу колесом. Первая проведенная в спешке операция на сведенной от боли ноге оказалась недостаточной. Болезнь стремительно развивалась, стала необходима неотложная ампутация.

Несчастный извивался от боли и следил с застывшим в глазах ужасом, способным разжалобить тигров, за бандой хищников, выжидавших той минуты, когда начнутся его мучения, его агония, может быть, только ради того, чтобы изучать чудесное явление, называемое жизнью, за которым скрывается другое, еще менее познаваемое явление, зовущееся смертью.

Казалось, он просил у каждого из хирургов, учеников, санитаров утешения, улыбки, ласкового слова, однако встречал только безразличие и холодность.

Остатки мужества и гордости повелевали ему молчать. Он приберегал последние силы для крика, который очень скоро должна была вырвать из его груди боль.

Однако, когда он почувствовал на плече тяжелую руку снисходительного сторожа, когда он увидал, как руки санитаров стискивают его подобно змеям Лаокоона, когда он услышал голос хирурга, обратившегося к нему со словом: «Мужайтесь!», несчастный осмелился нарушить молчание и жалобно спросил:

– Мне будет очень больно?

– Да нет, успокойтесь! – ответил ему Марат с кривой усмешкой на устах, успокоившей больного, но показавшейся Бальзамо издевательской.

Марат увидел, что Бальзамо его раскусил; он подошел к нему и тихо сказал:

– Это страшная операция. Кость вся в трещинах и ужасно чувствительна. Он умрет не от болезни, а от боли: вот чего ему будет стоить его душа, этому живому!

– Зачем же вы его оперируете? Отчего не дать ему спокойно умереть?

– Потому что долг хирурга – сделать все возможное для спасения, даже когда выздоровление представляется ему невозможным.

– Так вы говорите, он будет мучиться?

– Его ждут ужасные мучения.

– Из-за того, что есть душа?

– Да, и она очень жалеет его тело.

– Тогда почему вы не оперируете душу? Спокойствие души было бы, несомненно, гарантией выздоровления тела.

– Это как раз то, что я сейчас сделал... – проговорил Марат в то время, как больного продолжали связывать.

– Вы приготовили его душу?

– Да.

– Каким образом?

– Как это принято, словами. Я воззвал к душе, к разуму, к чувственности, к тому, что заставляло греческого философа говорить: «Страдание! Ты не есть зло!» – теми словами, которые подходят к случаю. Я ему сказал: «Вам не будет больно». Теперь душе остается лишь не страдать, это уж ее дело. Вот средство, которое употребляется по сию пору. Что же касается души – все ложь! Какого черта эта душа будет делать в теле? Когда я не так давно отрезал вот эту голову, тело ничего мне не сказало. Однако операция была серьезная. Но что вы хотите? Движение прекратилось, чувствительность угасла, душа отлетела, как говорите вы, спириты. Вот почему голова, которую я отрезал, ничего не сказала. Вот почему тело, которого я лишил головы, мне не помешало. А вот тело, в котором еще живет душа, будет минуту спустя кричать истошным голосом. Хорошенько заткните уши, учитель! Ведь вы так чувствительны к этой связи душ и тел, а она сейчас разобьет вашу теорию! И это будет продолжаться вплоть до дня, когда ваша теория не догадается отделить тело от души.

– Вы полагаете, что такое разделение никогда не станет возможным?

– Попробуйте это сделать, – предложил Марат, – вот прекрасный случай.

– Вы правы, да, случай действительно удобный, я попробую.

– Попробуете?

– Да.

– Каким образом?

– Я не хочу, чтобы этот молодой человек страдал, мне жаль его.

– Вы – прославленный вождь, – проговорил Марат, – но вы все-таки не Бог-отец, не Бог-сын и не сможете избавить этого парня от страданий.

– А если он не будет мучиться, то можно будет надеяться на выздоровление, как вы думаете?

– Выздоровление стало бы более вероятным, но с полной уверенностью утверждать это нельзя.

Бальзамо бросил на Марата торжествующий взгляд и, встав перед молодым больным, он встретился глазами с испуганным и встревоженным взглядом больного.

– Усните! – приказал он не столько губами, сколько взглядом, вложив в это слово всю силу своего желания.

В эту минуту главный хирург начал ощупывать больное бедро и показывать ученикам, как далеко зашла болезнь.

Молодой человек, приподнявшийся было на своем ложе и задрожавший в руках санитаров, подчинился приказанию Бальзамо: его голова повисла, глаза закрылись.

– Ему плохо, – сказал Марат.

– Нет.

– Разве вы не видите, что он потерял сознание?

– Нет, он спит.

– Как спит?

– Да, спит.

Все обернулись и посмотрели на странного доктора, которого они приняли за сумасшедшего. Недоверчивая улыбка заиграла на губах Марата.

– Скажите, во время обморока люди имеют обыкновение разговаривать? – спросил Бальзамо.

– Нет.

– В таком случае спросите его о чем-нибудь, и он вам ответит.

– Молодой человек! – крикнул Марат.

– Незачем кричать так громко, – сказал Бальзамо, – говорите как обычно.

– Расскажите о том, что с вами.

– Мне приказали спать, и я сплю, – отвечал больной. Его голос был совершенно спокоен и не похож на тот, который все слышали несколько минут назад, Присутствующие переглянулись.

– А теперь развяжите его, – попросил Бальзамо.

– Это невозможно, – возразил главный хирург. – Одно-единственное движение, и операция будет сорвана.

– Он не будет двигаться.

– Кто мне это может обещать?

– Я и он. Да спросите его сами!

– Можно вас развязать, друг мой?

– Можно.

– Вы обещаете не шевелиться?

– Обещаю, если вы мне это прикажете.

– Приказываю.

– Признаться, вы говорите так уверенно, что мне очень хочется попробовать.

– Попробуйте и ничего не бойтесь.

– Развяжите его, – приказал хирург.

Санитары повиновались.

Бальзамо перешел к изголовью больного.

– Теперь не двигайтесь, пока я не прикажу. Статуя в могиле не могла бы лежать неподвижнее, нежели больной, застывший после этого приказания.

– Можете оперировать, – предложил Бальзамо, – больной готов.

Хирург взялся за скальпель, но в решительную минуту заколебался.

– Режьте, сударь, режьте, говорят вам! – проговорил Бальзамо голосом вдохновенного про-

рока.

Поддавшись, как Марат, как больной, как все бывшие в операционной, его силе, хирург поднес сталь к плоти.

Плоть захрустела, однако у больного не вырвалось ни единого вздоха, он не шевельнулся.

– Откуда вы родом? – спросил Бальзамо.

– Я – бретонец, – с улыбкой отвечал больной, – Вы любите родину?

– Да, у нас так красиво!

Хирург в это время делал круговые надрезы, с помощью которых при ампутациях обнажают кость.

– Давно вы покинули родину? – продолжал Бальзамо.

– Десяти лет.

Покончив с надрезами, хирург взялся за пилу.

– Друг мой, – сказал Бальзамо, – спойте мне песню, которую поют по вечерам солдаты Баца, возвращаясь после работы. Я помню только первую строчку:

От пены влажный берег мой морской...

Пила врезалась в кость.

Однако больной с улыбкой выслушал просьбу Бальзамо и запел медленно, с воодушевлением, как влюбленный или поэт:

От пены влажный берег мой морской И синева озер с их гладью тихой, Очаг мой дымный, дом родимый мой И поле с медоносной гречихой,

Отец мой старый, верная жена, Мои столь дорогие сердцу дети, Клен, под которым мать погребена, И у двора развешанные сети, -

Привет вам! Наступает день и час, Когда, вернувшись, вас увижу вновь я.

Окончены труды. Ждет праздник нас, Чтобы разлуку возместить любовью.

Нога упала на кровать, а больной еще продолжал петь.

Глава 34. ДУША И ТЕЛО

Все с удивлением смотрели на больного, а доктор не скрывал восхищения.

Многие подумали, что и доктор, и больной просто сошли с ума.

Марат сказал об этом на ухо Бальзамо.

– Ужас заставил малого потерять голову, – прошептал Марат, – вот почему он не чувствует боли.

– Я так не думаю, – возразил Бальзамо, – и я далек от мысли, что он потерял сознание. В этом я просто уверен, и ежели я его спрошу, то он нам скажет, должен ли он умереть. Если же ему суждено жить, он ответит, сколько времени займет выздоровление.

Марат был близок к тому, чтобы разделить общее мнение, то есть поверить в то, что Бальзамо безумен так же, как и больной.

В это время хирург торопливо ушивал артерии, из которых так и хлестала кровь.

Бальзамо вынул из кармана флакон, смочил корпию содержавшейся в нем жидкостью и попросил приложить корпию к ране.

Тот повиновался не без некоторого любопытства.

Это был один из известнейших докторов того времени, человек, по-настоящему влюбленный в науку, не отвергавший никаких средств, лишь бы облегчить больному страдания.

Он приложил тампон к артерии: кровь вспенилась и начала вытекать из раны по капле.

С этой минуты хирургу стало значительно легче шить артерию.

На этот раз Бальзамо покорила всех, каждый расспрашивал его, где он изучал медицину и к какой школе принадлежит.

– Я – немецкий врач школы Гетшинга, – отвечал он – я сделал открытие, которому вы являетесь свидетелями. Впрочем, мне бы хотелось, дорогие собратья, чтобы это открытие оставалось в тайне, потому что я очень боюсь костра, а парижский Парламент не откажется еще раз собраться ради удовольствия приговорить колдуна к костру.

Главный хирург задумался.

Марат напряженно думал.

Он первый вышел из этого состояния.

– Вы недавно утверждали, что если вы станете расспрашивать этого человека о результатах операции, то он уверенно вам ответит, словно этот результат не является пока тайной.

– Я утверждаю это по-прежнему, – сказал Бальзамо.

– Ну что ж, посмотрим!

– Как зовут этого несчастного?

– Гавард, – ответил Марат.

Бальзамо повернулся к больному, на губах которого еще дрожали последние ноты жалобного припева.

– Ну, дружок, что вы можете сказать о состоянии бедняги Гаварда? – спросил у него Бальзамо.

– Вы спрашиваете, что предвещает его состояние? – переспросил больной. – Подождите, я должен вернуться из Бретани, где только что был, к нему в Отель-Дье.

– Да, да, войдите в больницу, взгляните на него и скажите мне про него всю правду.

– Он болен, очень болен: ему отрезали ногу.

– Неужели? – переспросил Бальзамо.

– Да.

– Операция прошла успешно?

– Превосходно! Однако... Лицо больного омрачилось.

– Однако?... – подхватил Бальзамо.

– Однако ему предстоит ужасное испытание, – продолжал больной, – у него будет сильный жар.

– Когда он наступит?

– Сегодня в семь вечера. Присутствовавшие переглянулись.

– Ну и что же этот жар?

– Больной почувствует себя еще хуже. Но он переживет первый приступ горячки.

– Вы в этом уверены?

– Да!

– Ну, а после этого приступа он будет вне опасности?

– Нет, – со вздохом отвечал тот.

– Горячка возобновится?

– Да, и еще более страшная. Бедный Гавард! – продолжал он. – Ведь у него жена и дети! На глазах у него показались слезы.

– Так его жене суждено стать вдовой, а дети останутся сиротами?

– Погодите, погодите!

Он благоговейно сложил руки.

– Нет, нет, – продолжал он. Лицо его все так и засветилось.

– Нет, его жена и дети горячо молились, и Господь сжалился над ним.

– Так он поправится?

– Да.

– Слышите, господа? – повторил Бальзамо. – Он поправится.

– Спросите у него, через сколько дней, – попросил Марат.

– Через сколько дней?

– Да, вы сказали, что он сам укажет фазы и окончание выздоровления.

– Я с удовольствием его об этом расспрошу.

– Ну так спрашивайте!

– Когда Гавард поправится, как вы думаете? – спросил Бальзамо.

– Выздоровеет он нескоро. Погодите... Месяц, полтора, два. Он поступил сюда пять дней назад, а выйдет через два с половиной месяца.

– Он будет здоров?

– Да.

– Но он не сможет работать, – вмешался Марат, – и, значит, некому будет кормить его жену и детей.

– Господь добр и позаботится о них.

– Как же Господь поможет? – спросил Марат. – Раз уж я сегодня узнал столько необыкновенного, мне бы хотелось услышать и об этом.

– Господь послал к нему одного доброго человека. Он пожалел Гаварда и сказал про себя: «Я хочу, чтобы у бедного Гаварда ни в чем не было недостатка».

Присутствовавшие при этой сцене переглянулись, Бальзамо улыбнулся.

– Да, мы и в самом деле являемся свидетелями странных явлений, – проговорил главный хирург, пощупав пульс больного, послушав сердце и потрогав лоб. – Этот человек бредит.

– Выдумаете? – спросил Бальзамо.

Властно взглянув на больного, Бальзамо приказал:

– Проснитесь, Гавард!

Молодой человек с трудом открыл глаза и с изумлением оглядел присутствовавших, которые уже не смотрели на него так грозно.

– Так меня еще не оперировали? – с ужасом спросил он. – Мне сейчас будет больно?

Бальзамо поспешил заговорить. Он боялся, как бы больной не разволновался. Однако напрасно он торопился. Никто не собирался его перебивать: удивление присутствовавших было слишком велико.

– Друг мой, – сказал Бальзамо, – успокойтесь. Господин главный хирург по всем правилам прооперировал вашу ногу. Мне показалось, что вы слабонервный человек: вы потеряли сознание при первом же прикосновении скальпеля.

– Ну и хорошо, – весело отвечал бретонец, – я ничего не почувствовал. Я, наоборот, отдохнул и окреп во сне. Какое счастье, что мне не отрежут ногу!

В ту же минуту несчастный опустил глаза и увидел, что его кровать залита кровью, а нога искалечена.

Он закричал и на сей раз в самом деле потерял сознание.

– Попробуйте теперь расспросить его, – холодно проговорил Бальзамо, обратившись к Марату, – и посмотрите, ответит ли он вам.

Затем он отвел главного хирурга в сторону, и, пока санитары переносили несчастного молодого мужчину в кровать, Бальзамо спросил:

– Вы слышали, о чем рассказывал ваш бедный больной?

– Да, он сказал, что поправится.

– Он сказал еще и другое: Бог сжадется над ним и пошлет пропитание его жене и детям.

– Так что же?

– Он сказал правду. Вот только я хотел бы просить вас быть посредником между вашим больным и Богом. Вот вам брильянт стоимостью около двадцати тысяч ливров. Когда вы убедитесь, что ваш больной здоров, продайте этот камень и передайте ему деньги. А пока, так как душа – как совершенно справедливо утверждал ваш ученик господин Марат – имеет большое влияние на тело, скажите Гаварду, когда он придет в себя, что его будущее и будущее его детей обеспечено.

– А если он не поправится? – спросил хирург, не решаясь взять перстень, который ему предлагал Бальзамо – Он поправится!

– Я должен дать вам расписку.

– Да что вы!

– Я только с этим условием возьму у вас эту драгоценность.

– Поступайте, как вам будет угодно.

– Скажите, пожалуйста, как вас зовут.

– Граф Феникс.

Хирург прошел в соседнюю комнату, а растерянный, подавленный Марат направился к Бальзамо.

Через пять минут хирург возвратился с листком бумаги в руках и вручил его Бальзамо.

Расписка была составлена в следующих выражениях:

«Я получил от его сиятельства графа Феникса брильянт, который, по его утверждению, стоит двадцать тысяч ливров, и обязуюсь передать его господину по имени Гавард в день его выписки из Отель-Дье.

Доктор медицины Гильотен.

15 сентября 1771 года.»

Бальзамо поклонился доктору, взял расписку и вышел вместе с Маратом.

– Вы забыли вашу голову, – заметил Бальзамо, которого развеселила растерянность молодого студента.

– Вы правы, – сказал тот и подобрал свой страшный узелок.

Выйдя на улицу, оба зашагали молча и быстро. Придя на улицу Корделье, они поднялись по крутой лестнице, ведущей в мансарду.

Марат остановился перед комнаткой консьержки, если, конечно, дыра, в которой она проживала, заслуживала того, чтобы называться комнатой, Марат не забыл о пропаже часов; он остановился и позвал Гриветту.

Мальчик лет восьми, худой, тщедушный, слабый, крикнул:

– А мама ушла! Она велела передать вам письмо, когда вы вернетесь.

– Нет, дружок, – отвечал Марат, – скажи ей, чтобы она сама мне его принесла.

– Хорошо, сударь.

Марат и Бальзамо пришли в комнату молодого человека.

– Я вижу, что учитель владеет большими тайнами, – проговорил Марат, указав Бальзамо на стул, а сам уселся на табурете.

– Я просто-напросто раньше других был допущен в святая святых природы.

– Наука лишний раз доказывает всемогущество человека! Как я горжусь тем, что я – человек! – воскликнул Марат.

– Да, верно; вам следовало бы прибавить: «...и врач».

– И еще я горжусь вами, учитель, – продолжал Марат.

– А ведь я только жалкий врачеватель душ, – заметил Бальзамо.

– Не будем об этом говорить! Ведь вы остановили кровь вполне материальным способом.

– А я полагал, что истинная поэзия моего лечения заключается в том, что я не дал больному страдать. Правда, вы меня уверяли, что он сумасшедший.

– Несомненно, в какой-то момент у него наступило помрачение ума.

– А что вы называете помрачением ума? Ведь это не более чем отвлечение души, не так ли?

– Или рассудка, – сказал Марат.

– Оставим эту тему. Слово «душа» очень хорошо выражает то, что я имею в виду. Если именуемая этим вещь найдена, то неважно, как вы ее назовете.

– Вот здесь мы расходимся. Вы утверждаете, что обнаружили вещь и только подбираете ей название; я же придерживаюсь того мнения, что вы еще не нашли ни этой вещи, ни верного для нее наименования.

– Мы еще к этому вернемся. Итак, вы говорили, что безумие – это временное помрачение ума?

– Совершенно справедливо.

– Невольное помрачение?

– Да... Я видел одного сумасшедшего в Бисетре, он бросался на железные решетки с криком: «Повар! Фазаны прекрасные, только неправильно приготовлены».

– Допускаете ли вы, что безумие проходит, как облако, заставшее на время разум, а потом рассеивается, и снова наступает просветление?

– Этого почти никогда не случается.

– Но вы же сами видели нашего больного в здравом уме после его безумного бреда во сне.

– Да, я видел, но, стало быть, не понял того, что видел. Это какой-то небывалый случай, одна из тех странностей, которые древние евреи называли чудесами.

– Нет, – возразил Бальзамо. – Это чистейшей воды отделение души, полное разъединение материи и духа: материи – неподвижного, состоящего из мельчайших частиц вещества, и души – искры Божьей, заключенной на время в тусклый фонарь в виде человеческого тела; искра эта – дочь Небес – после гибели тела возвращается на Небо.

– Так вы ненадолго вынули у Гаварда душу из тела?

– Да, я ей приказал покинуть недостойное место, в котором она находилась; я извлек ее из бездн страданий, в которой ее удерживала боль. Я отправил ее в свободное странствие. Что оставалось хирургу? Не что иное, как инертная масса, вещество, глина. То есть то, что сделали вы своим скальпелем, отрезая у мертвой женщины вот эту голову, которая у вас в руках.

– От чьего имени вы распорядились этой душой?

– От имени Того, Кто одним своим дыханием сотворил все души: души миров, души людей...

– Вы, стало быть, отрицаете свободный выбор? – спросил Марат.

– Я? – переспросил Бальзамо. – Что же я в таком случае делаю вот сейчас, сию минуту? С одной стороны, я вам демонстрирую свободный выбор, с другой – отвлечение, отделение души. Представьте себе умирающего в муках. Пусть у него выносливая душа, он соглашается на операцию, просит о ней, но очень страдает. Вот вам свободный выбор. Теперь представим, что прохожу мимо этого умирающего я, божий избранник, пророк, апостол, и, сжалившись над этим человеком, мне подобным существом, вынимаю данной мне Господом силой душу из его страдающего тела. И душа с высоты взирает на беспомощное, неподвижное, бесчувственное тело. Разве вы не слышали, как Гавард, рассказывая о себе, восклицал:

«Бедный Гавард!» Он не говорил «я». Душа больше не принадлежала его телу и была на полпути к небесным высотам.

– Если вам верить, человек – ничто, – проговорил Марат, – и я уже не могу сказать тиранам: «Вы имеете власть над моим телом, но бессильны что-либо сделать с моей душой»?

– А-а, вот вы и перешли от истины к софизму! Я вам говорил, что в этом ваш недостаток. Бог вдыхает в человека душу на время, это так. Но верно и то, что, пока душа владеет его телом, они тесно связаны, оказывают друг на друга влияние, и даже материя порой имеет превосходство над духом. Бог повелел, чтобы тело было королем, а душа – королевой. Но душа нищего столь же чиста, как и душа короля. Вот учение, которое следует исповедовать вам, апостолу равенства. Докажите равенство двух душ, потому что ведь вы можете найти доказательства этому равенству во всем, что только есть святого на земле: в писаниях святых отцов и в традициях, в науке и в вере. Что вам в равенстве двух материальных оболочек? Совсем не давно этот бедный раненый, этот необразованный молодой мужчина из народа рассказал вам о своей болезни такие вещи, о которых никто из врачей даже не посмел заикнуться. А почему? Потому что его душа, вырвавшись на время из пут державшего ее тела, воспарила над землей и увидела сверху скрытую от нас тайну, Марат вертел на столе мертвую голову, ища и не находя, что ответить.

– Да, – прошептал он наконец, – да, во всем этом есть нечто сверхъестественное.

– Напротив, все это очень естественно. Перестаньте называть сверхъестественным то, что относится к душе. Все это естественно. Вот известно или нет – это другой вопрос.

– Не известно нам, учитель. Однако для вас в области души, должно быть, нет тайн. Лошадь, никогда не виданная перуанцами, была хорошо известна приручившим ее испанцам.

– С моей стороны было бы слишком самонадеянным заявить: «Я знаю». Я буду скромнее и скажу: «Я верю».

– Во что же вы верите?

– Я верю в то, что первый и самый важный земной закон – это развитие. Я верю, что Бог все создавал во благо. Но так как жизнь в этом мире протекает непредсказуемо, то и развитие происходит медленно. Наша земля если верить Писанию, насчитывала шестьдесят веков, когда наконец появился печатный станок, чтобы, подобно огромному маяку, отразить прошлое и осветить будущее. С появлением печатного станка исчезли безвестность и забвение: печатный станок – это память человечества. Ну что же, Гуттенберг изобрел печатный станок, а я нашел веру.

– Вы, может быть, скоро научитесь читать в сердце? – насмешливо спросил Марат.

– А почему бы нет?

– Так вы, пожалуй, станете прорубать в человеческой груди окошко, в которое мечтали заглянуть древние!

– В этом нет нужды: я отделию душу от тела; душа – чистое, незапятнанное творение Божие, – расскажет мне обо всех гнусностях своей земной оболочки, которую сама Душа обречена оживать.

– Таким образом, вы собираетесь узнавать материальные тайны?

– А почему бы нет?

– И вы можете мне сказать, кто украл у меня часы?

– Вы принижаете роль науки до уровня быта. Впрочем, это не имеет значения. Величие Господне находит выражение и в песчинке и в горе, и в жучке и в слоне... Да, я вам скажу, кто украл ваши часы.

В это время кто-то робко постучал в дверь. Это была консьержка Марата. Она вернулась домой и, повинувшись переданному ей приказанию хирурга, принесла письмо.

Глава 35. КОНСЬЕРЖКА МАРАТА

Дверь распахнулась, пропуская Гриветту.

Мы не успели даже бегло описать эту женщину, потому что ее лицо было из тех, которые художник отодвигает на задний план, не имея в них надобности. А теперь эта дама выходит в нашей живой картине на передний план, желая занять свое место в обширной панораме, которую мы взяли развернуть перед глазами наших читателей. Если бы наш дар соответствовал нашему желанию, мы включили бы в нашу панораму всех: от нищего до короля, от Калибана до Ариеля, от Ариеля до Господа Бога.

Итак, мы попытаемся набросать портрет Гриветты, которая словно выступает из тени и приближается к нам.

Это была высокая худая женщина лет тридцати трех; лицо ее пожелтело, вокруг глаз появились черные круги. Она была крайне истощена, что случается с горожанками, живущими в нищете и духоте. Бог сотворил ее красивой, и она расцвела бы на свежем воздухе, под ясным небом, на ласковой земле. Но люди сами превращают свою жизнь в пытку: утомляют ноги преодолением бесконечных препятствий, мучают желудок голодом или пищей, почти столь же губительной, как отсутствие всякой еды.

Консьержка Марата была бы очаровательной женщиной, если бы она с пятнадцати лет не жила в тесной и темной лачуге, если бы огонь ее природных инстинктов, подогреваемый обжигающим жаром печки или остужаемый ледяным холодом, горел бы всегда ровно. У нее были длинные худые руки в мелких порезах от постоянного шитья; их разъедала мыльная вода прачечной, огонь в кухне опалил и огрубил ее пальцы. И только форма ее рук была такова, что их можно было бы назвать королевскими, если бы вместо веника они держали скипетр.

Это лишний раз доказывает, что жалкое человеческое тело словно несет на себе отпечаток наших занятий.

В этой женщине разум превосходил материю и, следовательно, был более способен к сопротивлению, неусыпно следя за происходившими вокруг событиями. Если можно уподобить его лампе, он освещал материю и можно было иногда заметить, как в бессмысленных и бесцветных гнавах вдруг появлялся проблеск ума, она снова становилась красивой и молодой, глаза светились любовью.

Бальзаме долго разглядывал эту женщину, вернее, это странное создание; она с первого взгляда поразила его воображение и вызвала любопытство.

Консьержка вошла с письмом в руке и притворно-ласковым голосом, каким говорят старухи – а женщины в нищете становятся старухами в тридцать лет, – проговорила:

– Господин Марат, вот письмо, о котором вы говорили.

– Мне не письмо было нужно, я хотел видеть вас, – возразил Марат.

– Я к вашим услугам, господин Марат, вот она я. Гриветта присела в реверансе.

– Что вам угодно?

– Мне угодно знать, как поживают мои часы, – сказал Марат, – вам это должно быть известно.

– Да нет, что вы, я не знаю, что с ними. Вчера я их видела, они висели на гвозде.

– Ошибаетесь: вчера они были в моем жилетном кармане, а в шесть вечера, перед тем, как выйти – а я собирался в людное место и боялся, как бы у меня их не украли, – я положил их под канделябр.

– Если вы их положили под канделябр, они там, верно, и лежат.

И консьержка с притворным добродушием, не подозревая, что ее притворство бросается в глаза, подошла к камину и выбрала из двух украшавших его канделябров именно тот, под которым Марат спрятал накануне свои часы.

– Да, это тот самый канделябр, – проговорил молодой человек, – а где часы?

– Их и впрямь нету. Может, вы их еще куда-нибудь положили, господин Марат?

– Да я же вам говорю, что...

– Поищите получше!

– Я уже искал, – со злостью отвечал Марат.

– Ну так вы их потеряли.

– Я вам уже сказал, что вчера я сам положил их под этот канделябр.

– Стало быть, кто-то сюда входил, – предположила Гриветта, – у вас бывает столько мало-знакомых людей!

– Отговорки! Все это отговорки! – вскричал Марат, все более раздражаясь. – Вам отлично известно, что со вчерашнего дня сюда никто не входил. Нет, нет, у моих часов выросли ножки, точно так же как у серебряного набалдашника с трости, известной вам серебряной ложечки и перочинного ножика с шестью лезвиями! Меня постоянно обкрадывают, Гриветта! Я долго терпел, но больше не намерен сносить эти безобразия, предупреждаю вас!

– Сударь! Уж не меня ли вам вздумалось обвинить?

– Вы обязаны беречь мои вещи.

– Ключ не только у меня.

– Вы – консьержка.

– Вы платите мне один экю в месяц, а хотите, чтобы я служила вам за десятерых.

– Мне безразлично, как вы мне служите, я хочу, чтобы у меня не пропадали вещи.

– Сударь! Я – честная женщина!

– Я сдам эту честную женщину комиссару полиции, если через час мои часы не найдутся.

– Комиссару полиции?

– Да.

– Комиссару полиции сдать такую честную женщину, как я?

– Честная, честная!..

– Против которой вам нечего сказать, слышите?

– Ну, довольно, Гриветта!

– Когда вы уходили, я предполагала, что вы можете меня заподозрить.

– Я вас подозреваю с тех пор, как исчез набалдашник с моей трости.

– Я вам вот что скажу, господин Марат...

– Что?

– Пока вас не было, я обратилась...

– К кому?

– К соседям.

– По какому поводу?

– А по тому поводу, что вы меня подозреваете.

– Да я же вам еще ничего не успел сказать.

– Я предчувствовала.

– Ну и что же соседи? Любопытно будет послушать, что вам сказали соседи.

– Они сказали, что если вам взбрет в голову меня заподозрить да еще поделиться с кем-

нибудь своими подозрениями, то придется идти до конца.

– То есть?..

– То есть доказать, что часы были похищены.

– Они похищены, раз лежали вон там, а теперь их нет.

– Да, но надо доказать, что их взяла именно я. Вы должны представить доказательства, вам никто не поверит на слово, господин Марат, вы ничем не лучше нас, господин Марат.

Бальзамо с присущей ему невозмутимостью наблюдал за этой сценой. Он заметил, что, хотя Марат оставался при своем мнении, он сбавил тон.

– И если вы не признаете меня невиновной, если не возместите убытков за оскорбление, – продолжала консьержка, – то я сама пойду к комиссару полиции, как мне посоветовал наш хозяин.

Марат закусил губу. Он знал, что это серьезная угроза. Владелец дома был разбогатевшим торговцем. Он занимал квартиру в четвертом этаже; скандальная хроника квартала утверждала, что лет десять тому назад он покровительствовал консьержке, которая была тогда кухаркой у его жены.

И вот Марат, посещавший заседания тайного общества; Марат, ведущий беспорядочный образ жизни; Марат, скрытный молодой человек; Марат, вызывавший некоторое подозрение у полиции, вдруг потерял интерес к этому делу, которое могло дойти до самого де Сартана, а тот очень любил почитать бумаги молодых людей, подобных Марату, и отправить творцов изящной словесности в какое-нибудь тихое место вроде Венсенна, Бастилии, Шарантона или Бисетра.

Итак, Марат снизил тон. Однако по мере того, как он успокаивался, консьержка все больше распалялась. Из обвиняемой она превратилась в обвинителя. Дело кончилось тем, что нервная, истеричная женщина разгорелась, как костер на ветру.

Угрозы, оскорбления, крики, слезы – все пошло в ход: началась настоящая буря.

Бальзамо решил, что пришло время вмешаться. Он шагнул к женщине, угрожающе размахивавшей руками посреди комнаты, и, бросив на нее испепеляющий взгляд, приставил ей к груди два пальца и произнес не столько губами, сколько мысленно, собрав во взгляде всю свою волю, одно-единственное слово, которое Марату не удалось разобрать.

Гриветта сейчас же умолкла, покачнулась и, теряя равновесие, попятилась с расширенными от ужаса глазами, словно раздавленная силой воли незнакомца. Не проронив ни слова, она рухнула на кровать.

Глаза ее закрылись, потом открылись, однако на сей раз зрачков не было видно. Язык дергался, тело не двигалось, только руки дрожали, словно в лихорадке.

– Ого! – вскричал Марат. – Как у раненого в госпитале!

– Да.

– Так она спит?

– Тише! – приказал Бальзамо. – Сударь! Наступает конец вашему неверию, вашим сомнениям. Поднимите письмо, которое принесла вам эта женщина: она уронила его, когда падала.

Марат поднял.

– Что мне с ним делать? – спросил он.

– Погодите.

Бальзамо взял письмо из рук Марата.

– Вы знаете, от кого это письмо? – спросил он у спящей женщины.

– Нет, сударь, – отвечала она.

Бальзамо поднес к ней запечатанное письмо.

– Прочтите его господину Марату. Он желает знать, что в нем.

– Она не умеет читать, – вмешался Марат.

– Но вы-то умеете?

– Конечно.

– Так читайте его про себя, а она тоже будет читать по мере того, как слова будут отпечатываться в вашем мозгу.

Марат распечатал письмо и начал его читать, а Гриветта, подчиняясь всемогущей воле Бальзамо, поднялась с кровати и с дрожью в голосе стала повторять содержание письма вслух по мере

того, как Марат пробежал его глазами. Вот что в нем было сказано:

«Дорогой Гиппократ!

Абель только что закончил свой первый портрет. Он продал его за пятьдесят франков. Мы собираемся проесть их сегодня в кабачке на улице Апостола Иакова. Ты к нам придеешь?

Разумеется, часть этих денег мы пропьем.

Твой друг Л. Давид».

Она слово в слово повторила то, что там было написано.

Марат уронил листок.

– Как видите, у Гриветты тоже есть душа, и эта душа бодрствует, пока Гриветта спит.

– Странная у нее душа, – заметил Марат, – душа, которая умеет читать, в то время как тело не умеет.

– Это оттого, что душа умеет все, она отражает любую мысль. Попробуйте заставить Гриветту прочесть это письмо, когда она проснется, то есть когда тело заключит душу в свою темную оболочку, – вот вы увидите, что будет.

Марат ничего не мог возразить. Вся его материалистическая философия в нем восставала, однако он не находил ответа.

– А теперь, – продолжал Бальзамо, – перейдем к тому, что больше всего вас интересует, то есть займемся поисками часов.

– Гриветта! Кто взял у господина Марата часы? – спросил Бальзамо.

Спящая женщина замахала руками.

– Не знаю! – молвила она.

– Нет, знаете, – продолжал настаивать Бальзамо, – и сейчас скажете.

Потом он спросил еще более властным тоном:

– Кто взял часы господина Марата? Отвечайте!

– Гриветта не брала у господина Марата часы. Почему господин Марат думает, что их украла Гриветта?

– Если не она их украла, скажите, кто это сделал.

– Я не знаю.

– Как видно, сознание – неприступная крепость, – заметил Марат.

– Это, по-видимому, последнее, в чем вы сомневаетесь, – молвил Бальзамо, – значит, скоро мне удастся окончательно вас переубедить.

Он сказал консьержке:

– Говорите, кто это сделал, я приказываю!

– Ну, ну, не надо требовать невозможного, – с усмешкой сказал Марат.

– Вы слышите? Я так хочу! – продолжал Бальзамо, обращаясь к Гриветте.

Не имея сил сопротивляться его мощной воле, несчастная женщина стала, словно безумная, кусать себе руки, потом забилась, будто в эпилепсии; ее рот искривился, в глазах застыл ужас и вместе с тем слабость; она откинулась назад; все ее тело напряглось, как от страшной боли, и она? рухнула на постель.

– Нет, нет! – крикнула она. – Лучше умереть!

– Ну что же, ты умрешь, если это будет нужно, но прежде ты все скажешь! – проговорил разгневанный Бальзамо; глаза его метали молнии. – Твоего молчания и твоего упрямства и так довольно, чтобы понять, кто виноват. Однако для недоверчивого человека нужно более неопровержимое доказательство. Говори, я так хочу! Кто украл часы?

Отчаяние спящей достигло своего предела. Она из последних сил противостояла воле Бальзамо. Из ее груди рвались нечленораздельные крики, на губах выступила кровавая пена – У нее будет эпилептический припадок. – предупредил Марат.

– Не бойтесь, это в ней говорит демон лжи, он никак не хочет выходить.

Повернувшись к женщине, он выбросил руку вперед, подчиняя ее своей воле.

– Говорите! – приказал он. – Говорите! Кто взял часы?

– Гриветта, – едва слышно пролепетала спящая – Когда она их взяла?

– Вчера вечером.

- Где они были?
- Под канделябром.
- Что она с ними сделала?
- Отнесла на улицу Апостола Иакова.
- Куда именно?
- В дом номер двадцать девять.
- Этаж?
- Шестой.
- Кому?
- Ученику сапожника.
- Как его зовут?
- Симон.
- Кто он? Спящая умолкла.
- Кто этот человек? – повторил Бальзамо. Опять молчание.

Бальзамо протянул в ее сторону руку. Раздавленная страшной силой, она только смогла прошептать:

- Ее любовник.
- Марат удивленно вскрикнул.
- Тише! – приказал Бальзамо. – Не мешайте сознанию говорить.

Затем он продолжал, обращаясь к взмокшей от пота женщине:

- Кто посоветовал Гриветте украсть часы?
- Никто. Она случайно приподняла канделябр, увидела часы, и ее соблазнил демон.
- Ей нужны были деньги?
- Нет, она не продала часы.
- Она их отдала даром?
- Да – Симону?

Спящая сделала над собою усилие.

- Симону.

Она закрыла лицо руками и разрыдалась.

Бальзамо взглянул на Марата. Разинув рот и широко раскрыв от изумления глаза, тот наблюдал за жутким зрелищем.

– Итак, – сказал Бальзамо, – вы видите борьбу души и тела. Вы обратили внимание на то, что сознание было словно взято силой в крепости, которую оно само считало неприступной? Ну и, наконец, вы должны были понять, что Творец ни о чем не забыл в этом мире. Так не отвергайте сознание, не отрицайте наличие души, не закрывайте глаза на неизвестное, молодой человек. И в особенности не отвергайте веру и высшую власть. Раз вы честлюбивы – учитесь, господин Марат; поменьше говорите, побольше думайте и не позволяйте себе больше легкомысленно осуждать тех, кто стоит над вами. Прощайте! Мои слова открывают перед вами широкое поле деятельности. Хорошенько изучите все это поле, оно заключает в себе истинные сокровища. Прощайте, я счастлив, по-настоящему счастлив тем, что вы можете победить в себе демона неверия, как я одолел демонов обмана и лжи в этой женщине.

С этими словами он вышел, заставив молодого человека покраснеть от стыда.

Марат не успел даже попрощаться. Однако, придя в себя, он обратил внимание на то, что Гриветта все еще спит.

Ее сон взволновал его. Он предпочел, чтобы на его кровати лежал труп, пусть даже де Сартин по-своему истолковал бы ее смерть.

Видя, что Гриветта лежит совершенно безучастно, закатив глаза и время от времени вздрагивая, Марат испугался.

Еще более он испугался, когда этот живой труп поднялся, взял его за руку и сказал:

- Пойдемте со мной, господин Марат.
- Куда?
- На улицу Апостола Иакова.

– Зачем?

– Пойдемте, пойдемте! Он мне приказывает отвести вас туда Марат поднялся со стула.

Гриветта, словно во сне, отворила дверь и, едва касаясь ступеней, спустилась по лестнице.

Марат последовал за ней, боясь, как бы она не свалилась и не убилась.

Сойдя, она переступила порог, перешла через дорогу и привела молодого человека в тот самый дом, где находился упомянутый чердак.

Она постучала в дверь. Марату казалось, что все должны слышать, как сильно бьется его сердце.

Дверь распахнулась. Марат узнал того самого мастерового лет тридцати, которого он иногда встречал у своей консьержки.

Увидав Гриветту в сопровождении Марата, он отступил.

Гриветта пошла прямо к кровати и, засунув руку под тощую подушку, вынула оттуда часы и протянула Марату. Бледный от ужаса, башмачник Симон не мог вымолвить ни слова; он испуганно следил глазами за малейшим движением женщины, полагая, что она сошла с ума.

Вынув часы Марата, она с глубоким вздохом прошептала:

– Он приказывает мне проснуться!

В ту же секунду тело ее обмякло, в глазах засветилась жизнь. Едва придя в себя и увидав, что она стоит перед Маратом и сжимает в руке часы, неопровержимое доказательство ее преступления, она упала без чувств на пол.

«Неужели сознание в самом деле существует?» – выходя из комнаты с сомнением в душе, подумал Марат.

Глава 36. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЯНИЯ

Пока Марат с пользой для себя проводил время и философствовал о сознании и двойной жизни, другой философ на улице Платриер был занят тем, что пытался до мельчайших подробностей восстановить проведенный на кануне в ложе вечер, и спрашивал себя, не стал ли он причиной больших бед. Опустив безвольные руки на стол и склонив тяжелую голову к левому плечу, Руссо размышлял. Перед ним лежали раскрытыми его политические и философские труды: «Эмиль» и «Общественный договор».

Время от времени, когда того требовала его мысль, он склонялся и листал книги, которые он и так знал назубок – О Господи! – воскликнул он, читая главу из «Эмиля» о свободе совести. – Вот подстрекательские слова! Какая философия, Боже правый! Являлся ли когда-нибудь миру поджигатель вроде меня? – Да что там! – продолжал он, воздев руки. – Именно я высказался против трона, алтаря и общества... Я не удивлюсь, если какая-нибудь темная сила уже воспользовалась моими софизмами и заблудилась в полях, которые я засеивал семенами риторики.

Я стал нарушителем общественного спокойствия...

Он поднялся в сильном волнении и трижды обошел комнатку.

– Я осудил власти предержавшие, которые преследуют писателей. Каким же я был глупцом, варваром! Эти люди тысячу раз были правы! Что я такое? Опасный для государства человек. Я полагал, что мои слова служат просвещению народов, а на самом деле они явились искрой, которая способна поджечь вселенную. Я посеял речи о неравенстве условий, проекты всемирного братства, планы воспитания и вот теперь пожинаю жестоких гордецов, готовых перевернуть общество вверх дном, развязать гражданскую войну с целью уничтожения населения. У них с голь дикие нравы, что они отбросят цивилизацию на десять веков назад... Ах, как я виноват!

Он еще раз перечитал страницу из своего «Свойского викария»

– Да, вот оно: «Объединимся для того, чтобы заняться поисками счастья»... И это написал я! «Придадим нашей добродетели силу, какую другие люди придают порокам». Это написал тоже я Руссо впал в отчаяние.

– Значит, это из-за меня братья собираются вместе, – продолжал он. – Придет день, и полиция накроет один из их погребков. Будет арестован весь их выводок, а ведь эти люди поклялись сожрать друг друга живьем в случае предательства И вот среди них отыщется какой-нибудь

наглец, который вытащит из кармана мою книжку и скажет: «Чем вы недовольны? Мы – последователи Руссо, мы занимаемся философией!» – Ах, как это позабавит Вольтера! Уж он-то не шляется по таким гадючникам! Он – настоящий придворный!

Мысль, что Вольтер над ним посмеется, разозлила женевского философа – Я – заговорщик!.. – прошептал он. – Нет, я просто впал в детство. Нечего сказать, хорош заговорщик!

Вошла Тереза, но он ее даже не заметил. Она принесла обед. Она обратила внимание, что он читал отрывок из «Прогулок одинокого мечтателя».

– Прекрасно! – воскликнула она, с грохотом опуская поднос с горячим молоком прямо на книгу. – Мой гордец любит себя в зеркало! Господин читает собственные книги! Он восхищается собой! Вот так господин Руссо!

– Ну, ну, Тереза не шуми, – попросил философ, – оставь меня в покое, мне не до шуток – Да, это великолепно! – насмешливо проговорила она. – Вы в восторге от самого себя! До чего же все-таки писатели тщеславны, как много у них недостатков! Зато нам, бедным женщинам очи их не прощают. Стоит мне только взяться за зеркальце, господин начинает меня бранить и обзывает кокеткой.

Она продолжала в том же духе, отчего Руссо чувствовал себя несчастнейшим из смертных, словно позабыв о том, как щедро наделила его природа.

Он выпил молоко, ни разу не обмакнув в него хлеб.

У него был насморк.

– Вы что-то обдумываете, – продолжала она. – Не иначе, как собираетесь написать еще какую-нибудь отвратительную книжку...

Руссо содрогнулся.

– Вы мечтаете, – сказала Тереза, – о своих идеальных дамах и пишете такие книги, которые девицы не осмелятся читать, а то и просто такие ругательства, которые будут сожжены палачом на костре.

Мученик затрясся всем телом: Тереза попала в самую точку.

– Нет, – возразил он, – я не стану писать ничего такого, что вызвало бы кривотолки... Напротив, я хочу написать такую книгу, которую все честные люди прочли бы с восторгом...

– Ох, ох! – воскликнула Тереза, забирая чашку. – Это невозможно! У вас на уме одни непристойности... Третьего дня я слыхала, как вы читали отрывок не знаю чего, где вы говорили о боготворимых вами женщинах... Вы – сатир! Маг!

В устах Терезы слово «маг» было одним из самых страшных ругательств. Оно неизменно вызывало у Руссо дрожь.

– Ну, ну, дорогая! Вы будете довольны, вот увидите... Я собираюсь написать о том, что я нашел способ обновления мира, не заставляя страдать ни одного человека. Да, да, я обдумываю этот проект. Довольно революций! Боже милостивый! Дорогая Тереза! Не надо революций!

– Посмотрим, что у вас получится, – заметила хозяйка. – Слышите? Звонят...

Несколько минут спустя Тереза возвратилась в сопровождении красивого молодого человека и попросила его подождать в первой комнате.

Зайдя к Руссо, уже делавшему записи карандашом, она сказала:

– Спрячьте поскорее все эти гнусности. К вам пришли.

– Кто?

– Какой-то придворный.

– Он не представился?

– Еще чего! Разве я впустила бы его, не узнав имени?

– Ну так говорите!

– Господин де Куани.

– Господин де Куани! – вскричал Руссо. – Господин де Куани, придворный его высочества дофина?

– Должно быть, он самый. Очаровательный юноша, и такой любезный...

– Я сейчас приду, Тереза.

Руссо торопливо оглядел себя в зеркале, смахнул пыль с сюртука, вытер домашние туфли, то

есть старые ботинки, до крайности изношенные, и вошел в столовую, где его ожидал посетитель.

Тот не садился. Он с любопытством рассматривал гербарии, собранные Руссо и развешанные в рамках черного дерева.

Услышав, как отворяется стеклянная дверь, он обернулся и почтительно поклонился.

– Я имею честь говорить с господином Руссо? – спросил он.

– Да, сударь, – отвечал философ недовольным тоном, сквозь который, однако, можно было угадать его восхищение необыкновенной красотой и небрежной элегантностью собеседника.

Де Куани и в самом деле был одним из самых любезных и красивых кавалеров Франции. Ему, как никому другому, подходил костюм той эпохи, подчеркивавший изящество его ног, широких плеч, выпуклой груди, величавую осанку, изумительную посадку головы и белизну точеных рук.

Руссо остался доволен осмотром, – он был истинным художником и восхищался красотой всюду, где только мог ее встретить.

– Чем могу быть вам полезен? – осведомился Руссо.

– Вам, должно быть, доложили, что я – граф де Куани. Позволю себе прибавить, что я приехал к вам по поручению ее высочества.

Руссо поклонился, краска залила его лицо. Засунув руки в карманы, Тереза наблюдала из угла столовой за прекрасным посланником величайшей принцессы Франции.

– Ее высочество хочет меня видеть... Зачем? – спросил Руссо. – Садитесь же, граф, прошу вас!

Руссо сел Де Куани взял плетеный стул и последовал его примеру.

– Дело вот в чем: третьего дня его величество прибыл в Трианон и выразил удовольствие по поводу вашей музыки, а она действительно прелестна. Ее высочество, желая во всем угождать его величеству, подумала, что доставит королю удовольствие, поставив на театре, в Трианоне, одну из ваших комических опер... Руссо низко поклонился.

– Итак, я приехал с тем, чтобы просить вас от лица ее высочества...

– Граф! – перебил его Руссо. – Моего позволения для этого не требуется. Мои пьесы и арии, входящие в эту оперу, принадлежат поставившему ее театру. Следовательно, нужно обратиться к актерам, а уж у них ее высочество не встретит возражений, как и у меня. Актеры будут счастливы играть и петь перед его величеством и всем двором.

– Я не совсем за этим к вам прибыл, сударь, – молвил де Куани. – Ее высочество желает приготовить для короля более полный и наименее известный дивертисмент. Она знакома со всеми вашими операми, сударь...

Руссо опять поклонился.

– Она прекрасно поет все арии. Руссо закусил губу.

– Это для меня большая честь, – пролепетал он.

– И так как многие придворные дамы прекрасно музицируют и восхитительно поют, а многие кавалеры также занимаются музыкой, и весьма успешно, то выбранная ее высочеством одна из ваших опер будет исполнена придворными, а первыми среди них будут их высочества.

Руссо так и подскочил на стуле.

– Уверяю вас, граф, – сказал он, – что это для меня неслыханная честь, и я прошу вас передать ее высочеству мою самую сердечную благодарность.

– Это еще не все, – улыбаясь, молвил де Куани.

– Неужели?

– Составленная таким образом труппа будет более известной, чем профессиональная, это верно, но она менее опытна. Ей просто необходимы ваше мнение и ваш совет знатока; надо, чтобы исполнение было достойно августейшего зрителя, который займет королевскую ложу, а также чтобы игра была достойна знаменитого автора.

Руссо встал: на этот раз комплимент его по-настоящему тронул; он ответил де Куани изящным поклоном.

– Вот почему, – прибавил придворный, – ее высочество и просит вас прибыть в Трианон для проведения генеральной репетиции.

– Ее высочество напрасно... Меня в Трианон?.. – пробормотал Руссо.

– Почему же нет?.. – как нельзя более естественно спросил де Куани – Ах, граф, у вас прекрасный вкус, вы умны и тактичны, ну так ответьте, положив руку на сердце: философ Руссо, изгнанник Руссо, мизантроп Руссо при дворе нужен только для того, чтобы уморить со смеху всю свору, не так ли?

– Я не понимаю, сударь, – холодно отвечал де Куани – почему вы обращаете внимание на насмешки или глупые выходки ваших мучителей, будучи порядочным человеком и известным всей стране писателем. Если вы подвержены этой слабости, господин Руссо, постарайтесь поглубже ее упрятать, – ведь если что и может вызвать смех, так именно эта слабость. А что до шуточек, признайтесь, что надобно быть весьма и весьма осмотрительным, когда дело идет об удовольствии и желаниях такого лица, как ее высочество, законной наследницы французского престола.

– Разумеется, – согласился Руссо, – вы правы.

– Неужели вас мучит ложный стыд?.. – с улыбкой проговорил де Куани. – Только потому, что вы были строги к королям, а теперь побоитесь проявить по отношению к ним человечность? Ах, господин Руссо, вы преподали урок всему роду человеческому, но ведь вы его не ненавидите, я полагаю?.. Во всяком случае, вы исключите из него дам королевского рода.

– Вы очень искусно меня уговариваете, однако подумайте о том, в каком я положении... Я живу вдаль от всех..., один..., я так несчастен...

Тереза поморщилась.

– Скажите, какой несчастный... – пробормотала она. – До чего же у него тяжелый характер!

– Что бы я ни делал, на моем лице и в моих манерах всегда будет присутствовать неизгладимая, неприятная черта, она будет бросаться в глаза королю и принцессам, ожидающим видеть лишь радость и веселье. Да и что я скажу?.. И что мне там делать?..

– Можно подумать, что вы сомневаетесь в самом себе. Но неужели автору «Новой Элоизы» и «Исповеди» не найдется, что сказать, и он не сумеет себя держать?

– Уверяю вас, граф, что я не могу...

– Это слово принцам не понятно.

– Вот почему я и останусь дома.

– Сударь! Не заставляйте меня, взявшего на себя смелость доставить удовольствие ее высочеству, возвращаться в Версаль пристыженным и побежденным. Это было бы для меня смертельной обидой и привело бы в такое отчаяние, что я немедленно отправился бы в добровольное изгнание. Дорогой господин Руссо! Ну прошу вас, ради меня, глубоко почитающего все ваши произведения, сделать то, что ваше гордое сердце отказывается исполнить для умоляющих его королей.

– Граф! Ваша изысканная любезность меня покорила, у вас неотразимое красноречие и такой волнующий голос, что мне трудно устоять...

– Я вас убедил?

– Нет, я не могу..., нет, решительно нет: мое состояние здоровья не позволяет мне путешествовать.

– Путешествовать? Да что вы, господин Руссо, о чем вы говорите? Всего час с четвертью в карете!

– Это для вас и ваших ретивых коней.

– Да ведь все королевские лошади к вашим услугам, господин Руссо. Ее высочество поручила мне передать вам, что в Трианоне для вас приготовлены комнаты, потому что вас не желают отпускать на ночь глядя в Париж. А его высочество, который, кстати, знает наизусть все ваши книги, сказал в присутствии всего двора, что будет счастлив показывать гостям во дворце комнату, где жил Руссо.

Тереза радостно вскрикнула, восхищаясь не славой Руссо, а добротой принца.

Философа окончательно сразил этот последний знак внимания, – Видно, придется поехать, – проговорил он, – никогда еще за меня так ловко не брались.

– Вас возможно взять только за сердце, сударь, – заметил де Куани, – что же касается ума, то

здесь вам нет равных.

– Итак, я готов поехать, как того желает ее высочество.

– Сударь! Позвольте вам выразить мою личную признательность, и только мою: ее высочество рассердилась бы на меня, если бы я говорил и от ее имени, – ведь она желает поблагодарить вас лично. Кстати, знаете ли, сударь, не мешало бы вам, мужчине, поблагодарить юную и очаровательную даму, которая так к вам благоволит.

– Вы правы, граф, – с улыбкой отвечал Руссо, – однако у стариков перед хорошенькими женщинами есть одно преимущество: их надо просить – Господин Руссо! Соблаговолите назначить мне время: я вам пришлю свою карету, вернее, сам приеду за вами и провожу в Трианон.

– Ну уж нет, граф, увольте! – сказал Руссо. – Хорошо, я буду в Трианоне, но позвольте мне прийти туда так, как мне заблагорассудится, как мне будет удобно. Можете не беспокоиться. Я приду, вот и все. Скажите мне только, в котором часу я должен быть.

– Как, сударь, вы отказываете мне в удовольствии вас представить? Да, вы правы, это была бы слишком большая честь для меня. Такой человек, как вы, не нуждается в представлении.

– Граф! Я знаю, что вы провели при дворе времени больше, чем я в каком бы то ни было месте земного шара... Я не отказываюсь от вашего предложения, я не отказываю вам лично, просто у меня есть свои привычки. Я хочу пойти туда так, как если бы я отправился на прогулку. В конце концов... это мое условие!

– Я подчиняюсь, сударь, я не желаю ни в чем вам противоречить. Репетиция начнется вечером в шесть часов.

– Прекрасно, без четверти шесть я буду в Трианоне.

– Да, но как вы доберетесь?

– Это мое дело, вот мой экипаж. Он указал на ноги, еще довольно крепкие, которые он обувал довольно тщательно.

– Пять миль! – удрученно молвил де Куани. – Да ведь вы устанете, вечер будет для вас слишком утомителен, имейте это в виду!

– Ну, у меня есть своя карета и свои лошади, принадлежащие мне точно так же, как моему соседу, как воздух, солнце и вода, а стоит это всего пятнадцать су.

– Боже мой! Таратайка! У меня даже мурашки побежали по спине!

– Скамейки, которые представляются вам такими жесткими, для меня – словно барская постель. Мне кажется, что они набиты пухом или лепестками роз. До вечера, граф, до вечера!

Почувствовав, что его выпроваживают, де Куани смирился и после бесчисленных комплиментов и предложений своих услуг, наконец, спустился по темной лестнице; Руссо проводил его до площадки, Тереза – до середины лестницы.

Де Куани сел в карету, ожидавшую его на улице, и, улыбаясь, возвратился в Версаль.

Тереза поднялась и с грохотом захлопнула дверь, – это предвещало Руссо надвигающуюся бурю.

Глава 37. ПРИГОТОВЛЕНИЯ РУССО

Когда де Куани уехал, Руссо, отвлекшись благодаря его визиту от мрачных мыслей, опустился с тяжелым вздохом в небольшое кресло и устало проговорил:

– Ах, какая скука! Как мне надоели люди! Входящая в эту минуту в комнату Тереза подхватила его слова и, встав напротив Руссо, бросила ему:

– До чего же вы спесивы!

– Я? – удивленно воскликнул Руссо.

– Да, вы тщеславны и лицемерны!

– Я?

– Вы... Да вы без памяти от того, что поедете ко двору, и пытаетесь скрыть свою радость, притворяясь равнодушным.

– Вот тебе раз! – пожав плечами, проговорил Руссо, чувствуя унижение оттого, что его без труда разгадали.

– Уж не собираетесь ли вы убеждать меня в том, что чувствуете себя несчастным оттого, что король услышит ваши арии, которые вы, бездельник, нацарапали вот тут, на своем спинете?

Руссо взглянул на жену, не скрывая раздражения.

– Вы просто глупы, – сказал он. – Что за честь для такого человека, как я, предстать перед королем? Чему король обязан тем, что сидит на троне? Капризу природы, из-за которого именно он стал сыном королевы. А вот я удостоен чести развлекать короля и обязан этим своему труду и таланту, развитому благодаря трудолюбию.

Тереза была не из тех, кого можно было легко переубедить.

– Хотела бы я, чтобы вас слышал де Сартин. Уж для вас нашлись бы одиночка в Бисетре или клетка в Шарентоне.

– Это потому, – подхватил Руссо, – что де Сартин – тиран на службе у другого тирана, а человек незащищен против тиранов, обладая лишь гениальностью; впрочем, если де Сартину вздумалось бы меня преследовать...

– То что же? – спросила Тереза.

– Да, я знаю, – вздохнул Руссо, – мои враги были бы довольны, да!..

– А почему у вас есть враги? – спросила Тереза. – Да потому, что вы – злой человек и нападаете на целый свет. Вот Вольтер окружен друзьями, дай Бог ему счастья!

– Это верно, – отвечал Руссо со смиренной улыбкой.

– Еще бы!

Ведь Вольтер – дворянин, король Пруссии – его близкий друг; у него есть свои лошади, он богат, у него замок в Ферне... И все это он вполне заслужил... Зато когда его приглашают ко двору, он не заставляет себя упрашивать, он чувствует себя там, как дома.

– А вы полагаете, – спросил Руссо, – что я не буду себя там чувствовать свободно? Вы думаете, я не знаю, откуда берется золото, которое тратит двор, и не понимаю, почему хозяину оказывают почести? Эх, милая, вы обо всем судите вкривь и вкось. Подумайте лучше, почему я заставляю себя упрашивать. Поймите, что если я гнушаюсь роскошью придворных, то это оттого, что они ее украли.

– Украли? – возмущенно переспросила Тереза. – Да, украли у вас, у меня, у всех. Все золото, которое они носят на себе, должно быть роздано несчастным, умирающим с голоду. Вот почему я, помня обо всем атом, не без отвращения отправляюсь ко двору.

– Я не говорю, что народ счастлив, – заметила Тереза, – но, что ни говори, король есть король.

– Вот я ему и повинуюсь, так чего ж ему еще?

– Да вы повинуетесь, потому что боитесь. Вы говорите, что идете к королю по его приказанию, и при этом считаете себя смелым человеком. Я на это могу ответить, что вы – лицемер и вам самому это нравится.

– Ничего я не боюсь, – высокомерно произнес Руссо.

– Отлично! Так подите к королю и скажите ему хотя бы часть того, что вы здесь только что наговорили.

– Я так и поступлю, если сердце мне подскажет.

– Вы?

– Да, я. Когда это я отступал?

– Да вы не посмеете отобрать у кошки кость, которую она обгладывает, потому что побоитесь, как бы она вас не оцарапала... Что же с вами будет в окружении вооруженных шпагами офицеров охраны?.. Ведь я вас знаю лучше, чем родного сына... Сейчас вы побежите бриться, потом надушитесь и вырядитесь; вы станете красоваться, подмигивая и прищуриваясь, потому что у вас маленькие круглые глазки, и если вы их раскроете, как все, то окружающие их увидят. А постоянно щурясь, вы даете понять, что они у вас огромные, словно блюда. Потом вы потребуете у меня свои шелковые чулки, наденете сюртук шоколадного цвета со стальными пуговицами, новый парик, кликнете фиакр, и вот уж мой философ поехал очаровывать прелестных дам... А завтра... Ах, завтра вы будете в полном восторге, вы вернетесь влюбленным, вы со вздохами приметесь за свою писанину, роняя слезы в кофе. Ах, до чего же хорошо я вас знаю!..

– Вы ошибаетесь, дорогая, – отвечал Руссо. – Повторяю, что меня вынуждают явиться ко двору. И я туда пойду, потому что боюсь скандала, как любой честный гражданин должен его бояться. Кстати: я не из тех, кто отказывается признать превосходство одного гражданина над другим. Но когда дело доходит до того, чтобы обхаживать короля, чтобы пачкать мой новый сюртук блестками этих господ из «Бычьего Глаза» – нет, ни за что! Я никогда этого не сделаю, и если вы меня застанете за подобным занятием, можете тогда вволю надо мною посмеяться.

– Таи что же, вы не будете одеваться? – насмешливо спросила Тереза.

– Нет.

– Не станете надевать новый парик?

– Нет.

– И не будете щурить свои маленькие глазки?

– Говорят вам, что я собираюсь отправиться туда, как свободный человек, без притворства и без страха. Я пойду ко двору, как пошел бы в театр. И мне безразлично, что подумают обо мне актеры.

– Побрейтесь хотя бы, – посоветовала Тереза, – у вас щетина в полфута длиной.

– Я вам уже сказал, что ничего не собираюсь менять в своей наружности.

Тереза так громко рассмеялась, что Руссо стало не по себе, и он вышел в соседнюю комнату.

Хозяйка еще не исчерпала всех своих возможностей и решила продолжать мучения.

Она достала из шкафа парадный сюртук Руссо, свежее белье и тщательно вычищенные и натертые яйцом туфли. Она разложила все эти красивые вещи на постели и стульях Руссо.

Однако он, казалось, не обратил на них ни малейшего внимания.

Тогда Тереза ему сказала:

– Ну, вам пора одеваться... Туалет занимает много времени, когда собираешься ко двору... Иначе вы не успеете прийти в Версаль к назначенному часу.

– Я вам уже сказал, Тереза, – возразил Руссо, – я полагаю, что и так прекрасно выгляжу. На мне костюм, в котором я ежедневно предстаю перед своими согражданами. Король – не что иное, как гражданин, такой же, как вы или я.

– Ну, ну, не упрямытесь, Жак, – проговорила Тереза, желая его подразнить, – не делайте глупостей... Вот ваша одежда..., ваша бритва готова; я послала предупредить брадобрея, и если вы сегодня раздражены...

– Благодарю вас, дорогая, – отвечал Руссо, – я только вычищу свой сюртук щеткой и надену туфли, потому что ходить в шлепанцах не принято.

«Неужели у него хватит силы воли?» – удивилась про себя Тереза.

И она продолжала дразнить его то из кокетства, то по убеждению, то шутя. Однако Руссо хорошо ее знал. Он видел ловушку и чувствовал, что, стоит ему уступить ей, как он немедленно и беспощадно будет поднят на смех и одурачен. И потому он не захотел уступать и даже не посмотрел на чудесную одежду, которая подчеркивала, как он говорил, его благородное лицо.

Тереза была начеку. У нее оставалась теперь только одна надежда: она надеялась, что Руссо, прежде чем выйти, взглянет по своему обыкновению в зеркало, потому что философ был чрезмерно чистоплотен, если только слово «чрезмерно» подходит к чистоплотности.

Однако Руссо не терял бдительности; перехватив озабоченный взгляд Терезы, он повернулся к зеркалу спиной. Приближался назначенный час. Философ проговаривал про себя все те неприятные поучения, с которыми мог бы обратиться к королю.

Он процитировал несколько отрывков, застегивая пряжки на туфлях, потом сунул шляпу под мышку, взялся за трость и, пользуясь тем, что Тереза в ту минуту не могла его видеть, он одернул сюртук обеими руками, разглаживая складки.

Тереза вернулась и протянула ему носовой платок; он засунул его в глубокий карман. Тереза проводила его до лестницы.

– Жак, будьте благоразумны, – сказала она, – вы ужасно выглядите и похожи в этом наряде на фальшивомонетчика.

– Прощайте, – сказал Руссо.

– Вы похожи на мошенника, сударь, – продолжала Тереза, – имейте это в виду!

– Будьте осторожны с огнем, – заметил Руссо, – и не трогайте моих бумаг.

– Вы выглядите так, словно вы доносчик, уверяю вас, – потеряв последнюю надежду, пробормотала Тереза.

Руссо ничего не ответил. Он спускался по лестнице, напевая что-то себе под нос и, пользуясь темнотой, стряхнул рукавом пыль со шляпы, поправил левой рукой дешевые кружева и, таким образом, закончил скорый, но необходимый туалет. Внизу он смело ступил в грязь, покрывавшую улицу Платриер, и на цыпочках дошел до Елисейских полей, где стояли чудесные экипажи, которые мы из чувства справедливости назовем таратайками; еще лет двенадцать назад их можно было встретить по дороге из Парижа в Версаль; они не столько перевозили, сколько избивали вынужденных экономить бедных путешественников.

Глава 38. НА ЗАДВОРКАХ ТРИАНОНА

Подробности путешествия мы опускаем. Скажем только, что Руссо был вынужден ехать в обществе швейцарца, подручного, приказчика, мещанина и аббата.

Он прибыл к половине шестого. Весь двор уже собрался в Трианоне. В ожидании короля кое-кто пробовал голос, никому и в голову не приходило говорить об авторе оперы.

Некоторым из присутствовавших было известно, что репетицию будет проводить Руссо из Женевы. Однако увидеть Руссо было им интересно не более, чем познакомиться с Рамо, Мармонтелем или каким-нибудь другим любопытным существом, которых придворные принимали иногда у себя в гостиной.

Руссо был встречен офицером, которому де Куани приказал дать ему знать немедленно по прибытии философа.

Молодой человек поспешил навстречу Руссо со свойственными ему любезностью и предупредительностью. Однако, едва на него взглянув, он очень удивился и, не удержавшись, стал рассматривать его еще внимательнее.

Одежда на Руссо запылилась, была помята, лицо его было бледно и покрыто такой щетиной, какая церемониймейстеру Версаля была в диковинку.

Руссо почувствовал смущение под взглядом де Куани. Он еще более смутился, когда, подойдя к зрительному залу, увидел множество великолепных костюмов, пышные кружева, брильянты и голубые орденские банты; все это вместе с позолотой зала производило впечатление букета цветов в огромной корзине.

Плебей Руссо почувствовал себя не в своей тарелке, едва ступив в зал, самый воздух которого благоухал и действовал на него возбуждающе.

Однако надо было идти дальше и попробовать взять дерзостью. Взгляды присутствовавших остановились на нем: он казался темным пятном в этом пышном собрании.

Де Куани по-прежнему шел впереди. Он подвел Руссо к оркестру, где его ожидали музыканты.

Здесь он почувствовал некоторое облегчение; пока звучала его музыка, он думал о том, что опасность – рядом, что он пропал и что никакие рассуждения не помогут.

Вот уже ее высочество вышла на сцену в костюме Колетты; она ждала своего Колена.

Де Куани переодевался в своей ложе.

Неожиданно появился король в окружении склоненных голов.

Людовик XV улыбался и, казалось, был в прекрасном расположении духа.

Дофин сел справа от него, а граф де Прованс – слева. Полсотни присутствовавших, представлявших собою приближенных их высочеств, сели, повинуясь жесту.

– Отчего же не начинают? – спросил Людовик XV. – Сир! Еще не одеты пастухи и пастушки, мы их ждем, – отвечала принцесса.

– Они могли бы играть в обычном платье, – сказал король.

– Нет, сир, – возразила принцесса, – мы хотим посмотреть, как будут выглядеть костюмы при свете, чтобы представлять себе, какое они производят впечатление.

– Вы правы, – согласился король. – В таком случае, давайте прогуляемся.

И Людовик XV встал, чтобы пройти по коридору и сцене. Он был, кстати сказать, очень обеспокоен отсутствием графини Дю Барри.

Когда король покинул ложу, Руссо с грустью стал рассматривать зал, сердце его сжалось при мысли о своем одиночестве.

Ведь он рассчитывал на совсем иной прием.

Он воображал, что перед ним будут расступаться, что придворные окажутся любопытнее парижан; он боялся, что его засыплют вопросами, станут наперебой представлять друг другу. И вот, никто не обращает на него ни малейшего внимания.

Он подумал, что его щетина не так уж страшна, а вот старая одежда действительно должна бросаться в глаза. Он мысленно похвалил себя за то, что не стал пытаться придать себе элегантно-сти – это выглядело бы теперь слишком смешно.

Помимо всего прочего, он чувствовал унижение оттого, что его роль была сведена всего-навсего к дирижированию оркестром.

Неожиданно к нему подошел офицер и спросил, не он ли господин Руссо.

– Да, сударь, – ответил он.

– Ее высочество желает с вами поговорить, сударь, – сообщил офицер.

Взволнованный Руссо встал.

Принцесса ждала его. Она держала в руках арию Колетты и напевала:

Меня покидает веселье и счастье...

Едва завидев Руссо, она пошла ему навстречу.

Философ низко поклонился, утешая себя тем, что приветствует женщину, а не принцессу.

А ее высочество заговорила с дикарем-философом так же любезно, как с изысканнейшим европейским аристократом.

Она спросила, как ей следует исполнять третий куплет!

Со мной расстается Колен...

Руссо принялся излагать теорию художественного чтения и речитатива, однако этот ученый разговор был прерван: в сопровождении нескольких придворных подошел король.

Он с шумом вошел в артистическую, где философ давал урок ее высочеству.

Первое движение, первое же чувство короля при виде неопрятного господина было в точности такое, как у графа де Куани, с той лишь разницей, что граф де Куани знал Руссо, а Людовик XV был с ним незнаком.

Он внимательно рассматривал свободолюбивого гражданина, выслушивая комплименты и слова благодарности принцессы.

Его властный взгляд, не привыкший опускаться никогда и ни перед кем, произвел на Руссо непередаваемое впечатление: он оробел и почувствовал неуверенность.

Принцесса дала королю время вдоволь насмотреться на философа, а затем подошла к Руссо и обратилась к королю:

– Ваше величество! Позвольте представить вам нашего автора!

– Вашего автора? – спросил король, делая вид, что пытается что-то припомнить.

Руссо казалось, что он стоит на раскаленных углях. Испепеляющий взгляд короля, подобный солнечному лучу, падающему сквозь увеличительное стекло, переходил поочередно с длинной щетины на сомнительной свежести жабо, затем на покрытый густым слоем пыли сюртук, на неряшливый парик величайшего писателя его королевства.

– Перед вами – господин Жан-Жак Руссо, сир, – проговорила принцесса, – автор прелестной оперы, которую мы собираемся поставить для вашего величества.

Король поднял голову.

– А-а, господин Руссо... Здравствуйте! – холодно сказал он и снова с осуждением стал разглядывать его костюм.

Руссо спрашивал себя, как следует приветствовать короля Франции, не будучи придворным, но и не желая по казаться невежливым, раз уж он оказался в королевской резиденции.

В то время, как он раздумывал, король непринужденно беседовал, нимало не заботясь о том, приятны его слова собеседнику или нет.

Руссо словно окаменел. Он забыл все фразы, которые собирался бросить в лицо тирану.

– Господин Руссо! – обратился к нему король, не переставая разглядывать его сюртук и парик. – Вы написали чудную музыку, благодаря ей я пережил прекрасные минуты.

Страшно фальшивя, король запел:

Когда б я всем речам внимала Любезных франтов городских, Других возлюбленных немало Легко нашла б я среди них.

– Прелестно! – воскликнул король, едва допев куплет Руссо поклонился.

– Не знаю, смогу ли я хорошо пропеть, – проговорила принцесса.

Руссо повернулся к ее высочеству, собираясь дать ей несколько советов. Но король опять запел, на сей раз – романс Колена:

В лачуге сумрачной моей Я средь забот с утра.

Привычен труд мне в смене дней, Как холод и жара.

Его величество пел отвратительно. Руссо был польщен памятью монарха, но его задело скверное исполнение. Он скорчил рожу и стал похож на обезьяну, грызущую луковицу: одна половина его лица смеялась, другая плакала.

Принцесса сохраняла невозмутимый вид, не теряя хладнокровия, как это умеют делать лишь при дворе.

Король, нимало не смущаясь, продолжал:

Колетта! Знай, любовь моя, Что и средь этих стен С тобою был бы счастлив я, Твой брошенный Колен.

Руссо почувствовал, как краска бросилась ему в лицо.

– Скажите, господин Руссо, – обратился к нему король, – правду ли говорят, что вы иногда наряжаетесь в армянский костюм?

Руссо еще больше покраснел, язык словно застрял у него в горле, и он ни за что на свете не смог бы в тот момент им пошевелить.

Не дожидаясь ответа, король запел:

Всем тем, кто влюблен, Не понятен закон, И смысл им не виден в запрете...

– Вы, кажется, живете на улице Платриер? – осведомился король.

Руссо в ответ кивнул, но это отняло у него последние силы... Никогда еще не оказывался он в столь плачевном положении.

Король промурлыкал:

Ведь это же чистые дети, Ведь это же чистые дети...

– Говорят, вы в очень плохих отношениях с Вольтером, господин Руссо?

Руссо окончательно потерял голову. Он не мог больше сдерживаться. Но король, вероятно, не собирался его щадить и направился к выходу, продолжая чудовищно фальшиво напевать.

Пойдем-ка в рощу танцевать, Подружки, будьте веселее! -

Под звуки оркестра, от которых умер бы Аполлон точно так же, как он сам некогда покарал Марсия.

Руссо остался в одиночестве. Принцесса покинула его, чтобы в последний раз взглянуть на свой костюм.

Спотыкаясь на каждом шагу, Руссо ощупью выбрался в коридор. Он столкнулся с дамой и господином, которые сверкали брильянтами, кружевами и от которых пахло цветами. Они занимали весь коридор, хотя молодой человек держался близко от дамы, нежно пожимая ее ручку.

Молодая дама утопала в кружевах, голову ее украшала высокая прическа, она обмахивалась веером и источала благоухания. Вся она так и лучилась. С ней-то и столкнулся Руссо.

Юноша, худенький, нежный, очаровательный, комкал голубую орденскую ленту, прикрывавшую жабо из английских кружев. Он громко смеялся, внезапно обрывая взрывы хохота и переходя на шепот, заставлявший смеяться Даму; похоже было, что они прекрасно понимают друг друга.

Руссо узнал в прекрасной даме, в этом соблазнительном создании, графиню Дю Барри. Едва увидев ее, он по своему обыкновению сосредоточил на ней все свое внимание, словно не замечая ее спутника.

Молодой человек с голубой лентой был не кто иной, как граф д'Артуа, от всей души резвившийся вместе с любовницей своего деда.

Заметив темную фигуру Руссо, графиня Дю Барри вскрикнула:

– О Боже!

– Что такое? – спросил граф д'Артуа, бросив взгляд на философа.

Он хотел пропустить свою спутницу вперед.

– Господин Руссо! – вскричала Дю Барри.

– Руссо из Женевы? – спросил граф д'Артуа тоном школьника на каникулах.

– Да, ваше высочество, – отвечала графиня.

– Ах, здравствуйте, господин Руссо! – проговорил шалун, видя, что Руссо отчаянно и безуспешно пытается проскочить. – Здравствуйте!.. Так мы сейчас будем слушать вашу музыку?

– Ваше высочество! – пролепетал Руссо, рассмотрев голубую ленту.

– Да, прелестную музыку! – прибавила графиня. – Она прекрасно отражает дух и стремления автора!

Руссо поднял голову и почувствовал, как его словно ослепил взгляд графини.

– Ваше высочество... – начал было он недовольным тоном.

– Я буду исполнять роль Колена, графиня! – воскликнул граф д'Артуа. – А вас прошу быть Кошеттой.

– С большим удовольствием, ваше высочество. Однако я не смею, не будучи актрисой, осквернять музыку мастера.

Руссо готов был отдать жизнь за то, чтобы взглянуть на нее еще хоть раз. Однако ее голос, ее тон, ее лесть, ее красота рвали его сердце на части.

Он решил сбежать.

– Господин Руссо! – продолжал принц, преграждая ему путь. – Я хочу, чтобы вы помогли мне сыграть Колена.

– А я смею просить у господина Руссо совета, как лучше исполнить роль Кошетты, – пролепетала графиня, разыгрывая скромницу, что окончательно сразило философа.

Его глаза продолжали вопросительно смотреть на графиню.

– Господин Руссо меня ненавидит, – сказала она принцу чарующим голосом.

– Да что вы! – вскричал граф д'Артуа. – Кто может ненавидеть вас, графиня?

– Вы же сами видите, – отвечала она.

– Господин Руссо – благородный человек, сочиняющий прелестные вещицы, не может избегать столь очаровательную женщину, – заметил граф д'Артуа.

Руссо громко вздохнул, словно приготовился испустить Дух, и шмыгнул в узкую щель, неосторожно оставленную графом д'Артуа. Однако в тот вечер Руссо решительно не везло. Не пройдя и нескольких шагов, он наткнулся на группу людей.

На сей раз это были старик и юноша: у юноши грудь была украшена голубой лентой, а его собеседник, на вид лет пятидесяти пяти, был одет в красное и имел строгий вид.

Оба они услышали, как веселится граф д'Артуа и кричит во всю мочь:

– Господин Руссо! Господин Руссо! Я расскажу, как вы сбежали от графини, да ведь никто не поверит!

– Руссо? – прошептали оба собеседника.

– Задержите его, брат! – со смехом продолжал принц. – Держите его, господин де ла Вогйон!

Руссо понял, к какому рифу подвела его корабль несчастная звезда.

Граф де Прованс и воспитатель королевских детей!

Граф де Прованс также преградил Руссо путь.

– Здравствуй, сударь! – отрывисто сказал он. Совершенно потерявшись, Руссо поклонился и пробормотал:

– Мне не суждено отсюда выйти!..

– Какая удача, что я встретил вас, сударь! – произнес принц тоном наставника, который искал и, наконец, нашел провинившегося ученика.

- «Опять нелепые комплименты, – подумал Руссо, – до чего же однообразны великие мира сего!»
- Я прочел ваш перевод из Тацита, сударь. «А-а, этот и впрямь ученый, педант», – сказал себе Руссо.
- Тацита переводить трудно, не правда ли?
- Да, ваше высочество, я ведь написал об этом в небольшом предисловии.
- Да, знаю, знаю. Вы там пишете, что лишь отчасти владеете латынью.
- Да, ваше высочество.
- Зачем же тогда вы взялись переводить Тацита?
- Я, ваше высочество, оттачивал стиль.
- А знаете, господин Руссо, вы неправильно перевели «*imperatoria brevitate*» как «торжественное лаконичное выступление»... Смущенный Руссо изо всех сил напрягал память.
- Да, вы именно так это перевели, – проговорил юный принц с самоуверенностью старого ученого, который нашел ошибку у Сомеза. – Это в том месте, где Тацит рассказывает, как Пизон обратился с речью к своим солдатам.
- Так что же, ваше высочество?
- А то, господин Руссо, что «*imperatoria brevitate*» означает «с лаконичностью генерала...» или человека, привыкшего командовать. Лаконичность командира..., вот подходящее выражение, не правда ли, господин де ла Вогийон?
- Да, ваше высочество, – отвечал воспитатель. Руссо не проронил ни слова. Принц продолжал:
- Это ведь полное извращение смысла, господин Руссо... Да я вам еще найду пример! Руссо поблел.
- Вот послушайте, господин Руссо, это в том отрывке, где речь идет о Сецине. Он начинается так: «*At in supe-riore Germania...*» Вы знаете, что в этом месте идет описание Сецины, и Тацит говорит: «*Cito sermone*».
- Я прекрасно помню это место, ваше высочество.
- Вы перевели это следующим образом: «обладающий даром слова»...
- Совершенно верно, ваше высочество, я полагал, что...
- «*Cito sermone*» означает «говорящий быстро», то есть легко.
- Я и сказал: «обладающий даром слова»...
- Тогда в тексте было бы «*decoro*», или «*ornato*», или «*eleganti sermone*». «*Cito*» – это красочный эпитет, господин Руссо. Тем же приемом Тацит пользуется, описывая, как изменилось поведение Офона. Он пишет:
- «*Delata voluptas! dissimulata luxuria cunctaque, ad imperil de-corem composita*».
- Я перевел это так: «Оставив для другого времени роскошь и сладострастие, он удивил весь мир, посвятив себя восстановлению славы империи».
- Напрасно, господин Руссо, напрасно. Прежде всего, вы расчленили одну фразу на три части, из-за этого вы плохо перевели «*dissimula luxuria*»... Далее: вы исказили смысл в последней части фразы. Тацит имел в виду не то, что император Офон посвятил себя восстановлению славы империи; он хотел сказать, что, не находя более удовлетворения своим страстям и скрывая привычку к роскоши, Офон подчинял все, употреблял все, жертвовал всем, всем, – понимаете, господин Руссо? – то есть своими страстями и даже пороками, во имя славы империи. Фраза многосмысленная, а ваш перевод не передает это в полной мере. Не правда ли, господин де ла Вогийон?
- Да, ваше высочество.
- Руссо обливался потом и не смел рта раскрыть под столь безжалостным напором, Принц дал ему передохнуть, а затем продолжал:
- Вы сильны в философии...
- Руссо поклонился.
- Однако ваш «Эмил» – опасная книга.
- Опасная, ваше высочество?

– Да, из-за неимоверного количества неверных мыслей, способных сбить с толку третье сословие.

– Ваше высочество! Как только человек становится отцом семейства, он попадает в условия, описанные в моей книге, независимо от того, будь он великим мира сего или последним нищим в королевстве... Быть отцом... это...

– Знаете, господин Руссо, – грубо перебил его принц, – ваша «Исповедь» – довольно забавная книга... Скажите, сколько у вас было детей?

Руссо побледнел, зашатался и поднял на юного палача гневный и, в то же время, растерянный взгляд, – это лишь раззадорило графа де Прованс.

Не дожидаясь ответа, принц удалился, держа под руку своего наставника и продолжая комментировать произведения господина, которого он только что с такой жестокостью раздавил.

Оставшись один, Руссо понемногу пришел в себя, как вдруг услышал первые такты своей увертюры в исполнении оркестра.

Он пошел в ту сторону, откуда доносилась музыка, и, добравшись до своего места, рухнул на стул.

– Какой же я безумец, глупец, трус! – сказал он. – Мне надо было бы ответить этому жестокому юнцу: «Ваше высочество! Молодой человек не должен мучить бедного старика, это неблагоприятно!»

Он пришел от своего ответа в восторг. В эту минуту запели дуэтом ее высочество и де Куа-ни. Их пение отвлекло философа от мрачных мыслей, однако заставило страдать музыканта; сердечные муки сменились издевательством над его музыкальным слухом.

Глава 39. РЕПЕТИЦИЯ

Как только началась репетиция, всеобщее внимание было захвачено зрелищем, и о Руссо забыли. Теперь он мог оглядеться. Он слушал фальшивое пение господ, переодетых пастухами, и рассматривал дам, кокетничавших, словно пастушки, переодетые в костюмы придворных.

Принцесса пела правильно, но была никудышной актрисой. Впрочем, у нее почти не было голоса, и ее едва было слышно. Не желая никого смущать, король скрылся в темной ложе и беседовал с дамами.

Дофин был суфлером. Вся опера шла из рук вон плохо.

Руссо решил больше не слушать, однако не слышать было нелегко. У него было только одно утешение: среди пастушек он заметил одну, наделенную не только очаровательной внешностью, но и прелестным голосом, выделявшимся из хора.

Руссо сосредоточил на ней внимание и стал пристально рассматривать ее поверх своего пюпитра, любуясь красивым лицом и в то же время наслаждаясь ее мелодичным голосом.

Перехватив взгляд автора, ее высочество скоро поняла по его улыбке, по блеску его глаз, что он удовлетворен исполнением отдельных сцен и, желая услышать комплимент, – ведь она была женщина! – она склонилась к пюпитру.

– Разве это так уж плохо, господин Руссо? – спросила она.

Растерявшийся и подавленный Руссо промолчал.

– Ну, значит это было нашей ошибкой, – проговорила принцесса, – а господин Руссо не решается нам это сказать. Прошу вас, господин Руссо!..

Руссо не сводил взгляда с очаровательной девушки, которая даже не подозревала, что вызвала его интерес.

– А-а, это мадмуазель де Таверне! – сообщила принцесса, проследив глазами за взглядом Руссо. – Она сфальшивила!..

Андре покраснела; она заметила, что на нее устремлены взгляды всех присутствовавших.

– Нет, нет! – крикнул Руссо. – Это не она! Мадмуазель поет, как ангел!

Графиня дю Барри метнула в философа гневный взгляд.

Барон де Таверне, напротив, почувствовал, как сердце его наполняется счастьем, и послал Руссо одну из самых своих любезных улыбок.

– Вы тоже находите, что эта юная особа поет хорошо? – спросила Дю Барри у короля, которого задела за живое слова Руссо.

– Я не слышу., в хоре... – отвечал Людовик XV. – Для этого надо быть музыкантом...

В это время Руссо оживился, заставив хор пропеть:

К своей подружке возвращается Колен, Отпразднуем прекрасное событие!

Обернувшись, он увидел де Жюсье, приветствовавшего его со своего места.

Для женевского философа оказалось немалым удовольствием на виду у всех дирижировать придворными, особенно на глазах у того, кто его обидел, дав почувствовать свое превосходство.

Он чопорно с ним раскланялся и вновь устоял на Андре: от похвалы она стала еще красивее. Репетиция продолжалась; графиня Дю Барри помрачнела. Она дважды пыталась отвлечь Людовика XV, заинтересовавшегося спектаклем, говоря ему комплименты.

А сердцем всего спектакля, как нарочно для ревнивицы, явилась Андре. Впрочем, это несколько не мешало ее высочеству выслушивать комплименты и пребывать в веселом расположении духа.

Герцог де Ришелье порхал вокруг нее с легкостью юноши; ему удалось собрать в глубине театра кружок насмешников, центром которого была сама принцесса – это очень беспокоило сторонников Дю Барри.

– Кажется, у мадмуазель де Таверне красивый голос, – громко сказал Ришелье.

– Очаровательный! – подхватила ее высочество. – Не будь я эгоисткой, я уступила бы ей роль Колетты. Впрочем, я выбрала эту роль для себя ради развлечения и не отдам никому.

– Мадмуазель де Таверне спела бы ее не лучше, чем ваше высочество, – молвил Ришелье, – и...

– Мадмуазель – великолепная певица! – перебил его Руссо.

– Великолепная! – согласилась ее высочество. – Я должна признаться, что она помогает мне разучивать роль. А как восхитительно она танцует! Вот я совсем не умею танцевать.

Нетрудно себе представить, как подействовали эти разговоры на короля, на графиню Дю Барри и на всех любопытных, сплетников, интриганов и завистников. Каждый из присутствовавших наслаждался нанесенным ударом или страдал от боли и сгорал от стыда, получая этот удар. Равнодушных не было, за исключением, пожалуй, самой Андре.

Поощряемая Ришелье, ее высочество заставила Андре пропеть романс:

Над милым слугою утратила власть я, Со мной расстается Колен.

Все видели, как король покачивал головой в такт с выражением удовольствия, отчего все румяна осыпались с лица Дю Барри, подобно влажной штукатурке.

Злобный, как женщина, Ришелье испытывал наслаждение от мести. Он подошел к Таверне-старшему, и оба старика превратились в изваяния, олицетворяя собою союз Лицемерия с Развратом.

Их оживление возрастало по мере того, как все более хмурилась графиня Дю Барри. Не выдержав, она резким движением поднялась с места, что было против всех правил приличия, потому что король еще не вставал.

Подобно муравьям, придворные почуяли бурю и поспешили укрыться вблизи наиболее сильных из них. Таким образом, принцесса оказалась в окружении своих друзей, а графиню Дю Барри атаковали ее приспешники.

Постепенно интерес к репетиции у присутствовавших угас, их вниманием овладели другие события. Дело теперь было не в Колетте и не в Колене. Многие думали о том, что графине Дю Барри вскоре придется, вероятно, пропеть:

Над милым слугою утратила власть я, Со мной расстается Колен.

– Ты только посмотри, – прошептал Ришелье, обращаясь к Таверне, – какой ошеломляющий успех у твоей дочери!

И он потащил его за собой в коридор, толкнув застекленную дверь; при этом он сбил с ног какого-то любопытного, заглядывавшего через стекло в зал.

– Чертов болван! – проворчал герцог де Ришелье, поправляя рукав, смявшийся от соприкосновения с дверью.

На отскочившем от двери любопытном была надета дворцовая ливрея, в руках он держал корзину с цветами.

Когда удар дверью отбросил его в коридор, он едва не упал навзничь. Однако ему все-таки чудом удалось удержаться на ногах, а вот корзина перевернулась.

– А-а, я знаю этого дурака, – со злостью проговорил Таверне.

– Кто же он? – спросил герцог.

– Что ты здесь делаешь, шалопай? – спросил Таверне.

Жильбер, – а это был он, о чем уже, наверное, догадался читатель, – с гордостью ответил:

– Смотрю, как видите.

– Вместо того, чтобы работать!.. – проворчал Ришелье.

– Моя работа окончена, – спокойно отвечал Жильбер, обращаясь к герцогу и даже не глядя на Таверне.

– Знаете, мой Жильбер – прекрасный работник и Прилежный ботаник, – послышался вдруг ласковый голос.

Таверне обернулся и увидел де Жюсье. Тот подошел и потрепал Жильбера за щеку.

Таверне покраснел от злости и пошел дальше.

– Слуги – здесь? – пробормотал он.

– Тише! – шепнул ему Ришелье. – Николь тоже здесь... Взгляни. Вот у той двери, наверху... Резвая девчонка! Она тоже не теряет времени даром!

Это в самом деле была Николь. Вместе с другими слугами Трианона она с восхищением следила за спектаклем. Казалось, ее широко раскрытые глаза видели больше других.

Заметив ее, Жильбер пошел в противоположную сторону.

– Идем, идем! – обратился Ришелье к Таверне. – Мне кажется, что король хочет с тобой поговорить..., он ищет кого-то глазами.

Друзья направились к королевской ложе.

Графиня Дю Барри стоя разговаривала с герцогом д'Эгийоном. Тот следил глазами за каждым движением дядюшки.

Оставшись один, Руссо восхищался Андре. Он чувствовал, как в сердце его разгорается любовь.

Знатные актеры отправились переодеваться, каждый в свою ложу, где Жильбер расставил свежие цветы.

Ришелье пошел к королю, а Таверне, сгорая от нетерпения, остался ждать его в коридоре. Наконец герцог возвратился и прижал палец к губам.

Таверне побледнел от радости и пошел навстречу другу. Тот повел его в королевскую ложу.

Там они слышали нечто такое, что немногим дано было слышать.

Графиня Дю Барри спросила короля:

– Ждать ли мне ваше величество сегодня к ужину? Король ответил ей:

– Я очень устал, графиня. Прошу меня простить! В ту же минуту явился дофин и, почти наступая графине на ноги и словно не замечая ее, обратился к королю:

– Сир! Будем ли мы иметь честь видеть ваше величество за ужином в Трианоне?

– Нет, дитя мое. Я сказал графине, что очень устал. Рядом с вами, молодыми, я чувствовал бы себя стариком... Я буду ужинать один.

Дофин отвесил поклон и удалился. Графиня Дю Барри низко поклонилась и вышла, задыхнувшись от злобы.

Король подал знак Ришелье.

– Герцог! – сказал он. – Мне нужно поговорить с вами об одном касающемся вас деле.

– Сир...

– Я был недоволен... Я желаю услышать от вас объяснения. Знаете... Я ужинаю один, составьте мне компанию. Король взглянул на Таверне.

– Вы знаете этого дворянина, герцог?

– Барона де Таверне? Да, сир.

– А-а! Отец очаровательной певицы!

– Да, сир.

– Послушайте, герцог...

Король наклонился и зашептал Ришелье на ухо. Таверне до боли сжал кулаки, чтобы не выдать своего волнения.

Ришелье прошел перед Таверне, шепнув на ходу:

– Незаметно следуй за мной.

– Куда?

– Сам увидишь.

Герцог вышел. Таверне пропустил его шагов на двадцать вперед и пошел следом. Так они подошли к королевским апартаментам.

Герцог вошел в комнату. Таверне остался в приемной.

Глава 40. ЛАРЕЦ

Барону де Таверне не пришлось долго ждать. Ришелье спросил у камердинера его величества, что король оставил на туалетном столике, и вскоре вернулся, держа в руках какой-то предмет, завернутый в шелк.

Маршал положил конец беспокойству своего друга, увлекая его за собой в галерею.

– Барон! – воскликнул он, убедившись, что их никто не видит. – Мне показалось, что ты иногда сомневался в моей дружбе к тебе?

– С тех пор, как мы помирились, – нет! – отвечал Таверне.

– Однако же ты сомневался в том, что тебя и твоих детей ждет удача?

– Да, в этом я и впрямь сомневался.

– Ну и напрасно! Твоя карьера, а также карьера твоих детей устраивается с такой стремительностью, что у тебя, должно быть, кружится голова!

– Да что ты? – воскликнул Таверне, начиная догадываться, однако еще боясь верить в свою удачу. – Каким же это образом так скоро устраивается карьера моих детей?

– Да ведь Филипп – капитан, а его рота – на содержании у короля.

– Верно... И этим я обязан тебе.

– Ни в коей мере. А скоро мы, возможно, увидим, как мадмуазель де Таверне станет маркизой.

– Что ты! – вскричал Таверне. – Моя дочь?..

– Слушай, Таверне! У короля – хороший вкус. Когда красивая, изящная, добродетельная девица наделена еще и талантами, она не может не очаровать его величество... А мадмуазель де Таверне обладает всеми этими достоинствами. И король увлекся ею.

– Герцог! Что ты подразумеваешь под словом «увлекся»? – спросил Таверне, напустив на себя важный вид, способный скорее рассмешить маршала.

Ришелье не любил чванства; он сухо ответил другу:

– Барон! Я не силен в лингвистике, не говоря уж о том, что очень плохо знаю орфографию. «Увлекся», по-моему, всегда означало «доволен сверх всякой меры», вот так... Если ты сверх всякой меры огорчен тем, что твой король доволен красотой, талантом, достоинствами твоих детей, то так и скажи..., и я передам это его величеству.

Ришелье круто повернулся, да так легко, словно сразу помолодел.

– Герцог, ты неверно меня понял! – воскликнул барон, хватая его за руку. – Черт подери! До чего ж ты скор!

– Зачем же ты говоришь, что недоволен?

– Я этого не говорил.

– Но ведь ты же требуешь от меня объяснить поступок короля... Дьявольщина! До чего надоели дураки!

– Чего ты сердишься, герцог? Ведь я об этом ни единым словом не обмолвился! Разумеется, я доволен.

– Да неужели? Кто же тогда будет недоволен? Может, твоя дочь?

– Хм, хм...

– Дорогой мой! Ты – сам дикарь и воспитал дочь такой же дикаркой.

– Дорогой мой! Моя дочь росла самостоятельно. Ты понимаешь, что я себя не особенно утомлял ее воспитанием. С меня довольно было и того, что я сидел в этой дыре – Таверне... Добродетель проросла в ней сама собой.

– Я слышал, что люди, живущие в деревне, умеют бороться с сорняками. Одним словом, твоя дочь – недотрога.

– Ошибаешься, она – голубив «. Ришелье поморщился.

– В таком случае, бедняжке остается только найти хорошего мужа, потому что на карьере не приходится надеяться, имея такой недостаток.

Таверне бросил на герцога беспокойный взгляд.

– К счастью для нее, – продолжал тот, – король так ослеплен графиней Дю Барри, что не сможет заинтересоваться другой женщиной.

Таверне встревожился не на шутку.

– Я думаю, что вы с дочерью можете не беспокоиться. Я дам королю необходимые разъяснения, и король не будет настаивать.

– Да на чем, Бог мой? – вскричал Таверне, смертельно побледнев и тряся друга за руку.

– На том, чтобы сделать мадмуазель де Таверне небольшой подарок, дорогой барон.

– Небольшой подарок!.. Что же это за подарок? – спросил Таверне; глаза у него горели.

– Да так, сущая безделица, – небрежно бросил Ришелье, – вот она.., смотри!

Он развернул шелк и показал ларец.

– Ларец?

– Да, мелочь... Колье в несколько тысяч ливров; его величеству понравилось, как ему спели его любимую песенку, и он хотел поблагодарить певицу. Это в порядке вещей. Но раз твоя дочь так пуглива, то не будем больше об этом говорить.

– Герцог! Что ты! Ведь это значит оскорбить короля!

– Конечно, это было бы оскорблением его величества. Да ведь добродетели свойственно постоянно кого-нибудь или что-нибудь оскорблять!

– Знаешь, герцог, – проговорил Таверне, – моя дочь не может быть до такой степени неразумной.

– Это ты так говоришь, а не она!

– Я отлично знаю, что скажет или сделает моя дочь!

– Можно позавидовать китайцам! – заметил Ришелье.

– Почему?

– Потому что у них в стране много каналов и рек.

– Герцог, зачем ты пытаешься переменить разговор? Я в отчаянии! Поговори со мной.

– Я с тобой разговариваю, герцог, и не думал менять разговор.

– Зачем же тогда говорить про китайцев? Какое отношение их реки имеют к моей дочери?

– Очень большое... Как я тебе говорил, китайцам можно позавидовать, потому что они могут утопить слишком добродетельных дочерей, и никто им слова не скажет.

– Слушай, герцог, надо же быть справедливым, – возразил Таверне. – Ну представь, что у тебя есть дочь.

– Тысяча чертей!.. Да есть у меня дочь... И если кто-нибудь сказал бы мне, что она чересчур добродетельна... Я бы этого не вынес!

– А ты бы хотел, чтобы было наоборот?

– Я не вмешиваюсь в дела своих детей после того, как им исполнилось восемь лет.

– Ты хотя бы выслушай меня! Если бы король поручил мне передать колье твоей дочери, а дочь тебе пожаловалась бы?..

– Друг мой! Не надо сравнивать... Я всю жизнь провел при дворе. Ты же скорее похож на Харона; между нами не может быть ничего общего. Что для тебя – добродетель, то для меня – глупость. Нет большей неловкости, к твоему сведению, чем спрашивать у людей «Что бы вы сделали в таком-то и таком-то случае?» И потом, ты напрасно сравниваешь, дорогой мой. Я не соби-

раюсь передавать твоей дочери кольцо.

– Ты же сам мне сказал...

– Я ни словом об этом не обмолвился. Я сказал, что король приказал мне забрать у него ларец для мадмуазель де Таверне, голос которой ему очень понравился. Но я не говорил, что его величество поручил мне передать его девушке.

– Тогда уж я не знаю, что и думать! – в отчаянии воскликнул барон. – Я ни слова не понимаю, ты говоришь загадками. Зачем было давать это кольцо, если оно не для этого предназначено? Зачем было поручать его тебе, чтобы потом передать, кому следует?

Ришелье вскрикнул, словно заметив ловушку.

– Ну и Харон! – пробормотал он. – Вот скотина так скотина!

– О ком это ты?

– Да о тебе, мой добрый друг, о тебе, мой верный товарищ... Ты будто с луны свалился, бедный барон.

– Ничего не понимаю...

– Да, ты ничего не понимаешь. Дорогой мой! Если король хочет сделать подарок женщине и поручает это дело герцогу де Ришелье, значит, подарок окажется достойным, а поручение будет в точности исполнено, запомни это хорошенько... Я не передаю ларцы, дорогой мой; это обязанность господина Лебеля. Ты знаешь Лебеля?

– Кому же ты собираешься поручить это дело?

– Друг мой! – отвечал Ришелье, хлопнув Таверне по плечу и сопровождая свой жест демонической улыбкой. – Когда я имею дело с таким ангелом чистоты, как мадмуазель де Таверне, я и сам чувствую себя добродетельным; когда я приближаюсь к голубице, как ты ее называешь, ничто во мне не напоминает ворона; когда меня посылают с поручением к благородной девице, я начинаю с разговора с ее отцом... Вот я и говорю с тобой. Таверне, и передаю ларец тебе, с тем чтобы ты сам отдал его дочери... Что ты на это скажешь?

Он протянул ларец.

– Может быть, ты не захочешь его взять?

Он отдернул руку.

– Скажи только, что его величество сам поручил мне передать дочери этот подарок, – вскричал Таверне, – и он будет выглядеть совсем иначе, это будет отеческий знак внимания, он словно очистится от скверны!..

– Ты что же, подозреваешь его величество в недобрых намерениях? – строго спросил Ришелье. – Как ты посмел это подумать?

– Боже меня сохрани! Однако люди..., то есть, моя дочь...

Ришелье пожал плечами.

– Так ты берешь или нет? – спросил он. Таверне торопливо протянул руку.

– Так ты считаешь себя порядочным человеком? – спросил он Ришелье, ответив ему той же улыбкой, которую послал барону герцог.

– Не кажется ли тебе, барон, – отвечал маршал, – что с моей стороны было благородно сделать посредником отца? Ведь отец словно очищает этот поступок от скверны, как ты говоришь, – так вот я выбираю тебя посредником между влюбленным монархом и твоей очаровательной дочерью... Если бы нас взялся рассудить сам Жан-Жак Руссо, который недавно тут рыскал, он сказал бы тебе, что я чище самого Иосифа Праведного.

Ришелье произнес эти слова сдержанно, с чувством собственного достоинства. Таверне удержался от замечаний и заставил себя поверить в то, что Ришелье его убедил.

Он схватил своего великого друга за руку и с чувством пожал ее.

– Благодаря твоей деликатности моя дочь сможет принять этот подарок.

– Твоя дочь – источник и первопричина тех милостей, о которых я говорил тебе с самого начала.

– Спасибо, дорогой герцог, от всего сердца тебя благодарю!

– Еще одно слово... Постарайся скрыть от друзей графини Дю Барри новость об этой милости. Графиня Дю Барри способна бросить короля и сбежать.

– Разве король рассердился бы за это на нас?

– Не знаю. А вот графиня не была бы нам благодарна. Я бы погиб... Вот почему я прошу тебя никому об этом не говорить.

– Не беспокойся. Передай королю благодарность от меня.

– И от твоей дочери, разумеется... Но ты нынче в милости, ты и сам можешь поблагодарить короля, дорогой мой. Его величество приглашает тебя сегодня на ужин.

– Меня?

– Тебя, Таверне. Мы поужинаем в тесном кругу: его величество, ты, я. Поговорим о добродетелях твоей дочери. Прощай, Таверне! Вон идут Дю Барри с д'Эгийоном, они не должны видеть нас вместе.

Тут он с юношеской легкостью исчез в конце галереи, оставив Таверне с ларцом в руках; Таверне напоминал немецкого мальчика, который,

Глава 41. УЖИН У КОРОЛЯ ЛЮДОВИКА XV

Маршал нашел его величество в малой гостиной, куда он удалился вместе с несколькими придворными, которые предпочли обойтись без ужина, нежели уступить другим возможность находиться поблизости от повелителя, ловя на себе его рассеянный взгляд.

Впрочем, казалось, что в этот вечер Людовику XV было не до них. Он отпустил всех, объявив, что не будет ужинать, или если и будет, то в полном одиночестве. Получив свободу, придворные, из опасения вызвать неудовольствие дофина своим отсутствием во время репетиции, подобно стае голубей вспорхнули и полетели к тому, кто позволял им себя лицезреть; они были готовы объявить, что ради дофина покинули гостиную его величества.

Покинутый ими с такой поспешностью, Людовик XV был далек от того, чтобы думать о них. Ничтожество всего этого придворного сброда могло бы при других обстоятельствах вызвать у него усмешку. На этот раз оно не пробудило в монархе никакого чувства, несмотря на то, что он был по природе очень насмешлив и не прощал ни физических, ни моральных недостатков даже лучшим своим друзьям, если предположить, что у Людовика XV были когда-нибудь друзья.

Нет, в эту минуту внимание Людовика XV привлекла карета, стоявшая у служб Трианона. Казалось, кучер только и ждал, когда хозяин усядется в золоченый экипаж, чтобы огреть кнутом лошадей.

Карета, принадлежавшая графине Дю Барри, была освещена факелами. Сидевший рядом с кучером Замор болтал ногами, словно на качелях.

Графиня Дю Барри, подкарауливавшая, по-видимому, в коридоре посланца от короля, появилась, наконец, под руку с д'Эгийоном. Судя по ее торопливой походке, она была вне себя от гнева и разочарования. За внешней решительностью она пыталась скрыть растерянность.

Рассеянно комкая в руках шляпу, Жан шел вслед за сестрой. Он не участвовал в спектакле, так как дофин забыл его пригласить. Однако он вместе с лакеями зашел в переднюю и оттуда в задумчивости, словно Ипполит, наблюдал за происходившим, не обращая внимания на то, что жабо выбилось из-под серебристого сюртука в розовый цветочек, и не замечая, что его манжеты обтрепались, и это прекрасно сочеталось с грустным выражением его лица.

Жан видел, как побледнела от испуга его сестра, из чего он заключил, что опасность велика. Жан был силен только в рукопашной, зато ничего не понимал в дипломатии, потому что не умел воевать с призраками.

Из своего окна король наблюдал за мрачной процессией, спрятавшись за занавеской. Он видел, как все трое исчезли в карете графини. Когда дверь захлопнулась и лакей поднялся на запятки, кучер взмахнул вожжами и лошади рванули с места в галоп.

– Ого! – воскликнул король. – Она даже не пытается со мной увидеться и поговорить? Графиня разгневана! И он повторил громче:

– Да, графиня разгневана!

Ришелье, только что проскользнувший в комнату без доклада, так как король его ждал, услышал эти слова.

- Разгневана, сир? – переспросил он. – А чем? Тем, что вашему величеству стало весело? Это дурно со стороны графини.
- Герцог! Мне совсем не весело, – возразил король. – Напротив, я устал и хочу отдохнуть. Музыка меня раздражает, а мне пришлось бы, послушайся я графиню, ехать ужинать в Люсьенн, есть и, особенно, пить. А у графини крепкие вина; не знаю уж, из какого винограда их делают, но я после них чувствую себя разбитым. Честное слово, я предпочитаю понежиться здесь.
- И вы, ваше величество, тысячу раз правы, – согласился герцог.
- Кстати, и графиня развлечется! Неужели я такой уж приятный собеседник? Хотя она так и говорит, я ей не верю.
- А вот сейчас вы, ваше величество, неправы, – возразил маршал.
- Нет, герцог, нет, это в самом деле так: мне остались считанные дни, и я думаю что говорю.
- Сир, графиня понимает, что ей в любом случае не удастся найти лучшее общество, – вот что приводит ее в бешенство.
- Признаться, герцог, я не знаю, как вам удастся так устроиться, что вокруг вас всегда женщины, будто вам двадцать лет. Ведь именно в этом возрасте выбирает мужчина. А в мои годы, герцог...
- Что, сир?
- В мои годы можно надеяться не на любовь, а на женскую расчетливость. Маршал рассмеялся.
- В таком случае, сир, – проговорил он, – это только лишний довод, и если ваше величество полагает, что графиня развлекается, у нас нет поводов для беспокойства.
- Я не говорю, что она развлекается, герцог. Я говорю, что она в конце концов начнет искать развлечений.
- Позволю заметить вашему величеству, что такого еще никто никогда не видывал. Король поднялся в сильном волнении.
- Кто здесь еще находится? – спросил он.
- Вся ваша прислуга, сир. Король на мгновение задумался.
- А из ваших-то есть кто-нибудь?
- Со мной Рафте.
- Прекрасно!
- Что ему надлежит сделать, сир?
- Герцог! Пусть он узнает, действительно ли графиня Дю Барри поехала в Люсьенн.
- Да ведь графиня уехала, если не ошибаюсь.
- Так это, во всяком случае, выглядело.
- Куда же она могла отправиться, как вы полагаете, ваше величество?
- Кто знает? Она может потерять голову от ревности, герцог.
- Сир! Скорее уж вам следовало бы...
- Что?
- Ревновать...
- Герцог!
- Да, вы правы: это было бы унижительно для всех нас, сир.
- Чтобы я ревновал! – воскликнул Людовик XV, натянуто улыбнувшись. – Неужели вы говорите серьезно, герцог?
- Ришелье и в самом деле не верил в то, что говорил. Надобно признать, что он был весьма недалек от истины, когда думал, напротив, что король желал знать, поехала ли графиня Дю Барри в Люсьенн, только для того, чтобы быть совершенно уверенным, что она не вернется в Трианон.
- Итак, сир, решено, – произнес он вслух, – я посылаю Рафте на поиски?
- Да, пошлите, герцог.
- А чем угодно заняться вашему величеству перед ужином?
- Ничем. Мы будем ужинать сейчас же. Вы предупредили известное лицо?
- Да, оно в приемной у вашего величества.
- Что это лицо ответило?

– Просил благодарить.

– А дочь?

– С ней еще не говорили.

– Герцог! Графиня Дю Барри ревнива и может возвратиться.

– Ах, сир, это было бы дурным тоном! Я полагаю, что графиня не способна на такую дерзость.

– Герцог! В такую минуту она способна на все, в особенности, когда злоба подогревается ревностью. Она вас ненавидит, – не знаю, известно ли вам это.

Ришелье поклонился.

– Я знаю, что она удостаивает меня этой чести, сир.

– Она ненавидит также господина де Таверне.

– Если вашему величеству угодно было бы перечислить всех, я уверен, что найдется третье лицо, которое она ненавидит еще сильнее, чем меня и барона.

– Кого же?

– Мадмуазель Андре.

– Ну, по-моему, это вполне естественно, – заметил король.

– В таком случае...

– Однако не мешало бы, герцог, проследить за тем, чтобы графиня Дю Барри не наделала шуму нынешней ночью.

– Да, это нелишне.

– А вот и метрдотель! Тише! Отдайте приказания Рафте и идите вслед за мной в столовую – сами знаете, с кем.

Людовик XV поднялся и пошел в столовую, а Ришелье вышел в другую дверь.

Пять минут спустя он с бароном догнал короля.

Король ласково поздоровался с Таверне.

Барон был умным человеком – он ответил так, как умеют отвечать иные господа, которых короли и принцы признают ровней и, в то же время, с которыми они могут не церемониться.

Все трое сели за стол и начали ужинать.

Людовик XV был плохой король, но приятный собеседник. Его общество, когда он этого хотел, было притягательно для любителей выпить, а также для говорунов и сладострастников.

И потом, король посвятил много времени изучению приятных сторон жизни.

Он ел с аппетитом и следил за тем, чтобы бокалы сотрапезников не пустовали. Он завел речь о музыке.

Ришелье подхватил мяч на лету.

– Сир! – проговорил он. – Если музыка способна привести к согласию мужчин, как говорит учитель танцев и как полагает, кажется, ваше величество, то можно ли это же сказать и о женщинах?

– Герцог! Не будем говорить о женщинах, – сказал король. – Со времен Троянской войны и до наших дней на женщин музыка производит обратное действие. У вас-то с ними особые счета, и я не думаю, чтобы вам был приятен этот разговор; среди них есть одна дама, не самая безобидная, с которой вы на ножах, – Вы имеете в виду графиню, сир? Разве в том моя вина?

– Разумеется.

– Вот как? Надеюсь, ваше величество мне объяснит...

– Сейчас же и с большим удовольствием, – с насмешкой сказал король.

– Я вас слушаю, сир.

– Ну как же! Она предлагает вам портфель не знаю уж какого ведомства, а вы отказываетесь, потому что, как вы говорите, она не пользуется большой популярностью!

– Я это сказал? – переспросил Ришелье, смутившись от того, что беседа принимает такой оборот.

– Ходят слухи, черт побери! – отвечал король, напустив на себя по обыкновению добродушный вид. – Я уж не помню, от кого я это узнал... Из газеты, должно быть.

– Ну что ж, сир, – молвил Ришелье, воспользовавшись свободой, которую предоставил своим

гостям августейший хозяин, – должен признать, что на этот раз и слухи, и даже газеты не так уж далеки от истины.

– Как! – вскричал Людовик XV. – Вы в самом деле отказались от министерства, дорогой герцог?

Нетрудно догадаться, что Ришелье оказался в довольно щекотливом положении. Король лучше, чем кто бы то ни было, знал, что он ни от чего не отказывался. Однако Таверне должен был по-прежнему верить в то, что Ришелье сказал ему правду. Герцогу следовало найти такой ответ, чтобы разом избежать мистификации короля и не заслужить упрек во лжи, готовый сорваться с губ барона и мелькавший в его улыбке.

– Сир! – заговорил Ришелье. – Не будем обращать внимание на следствие и остановимся на причине. Отказался я или не отказался от портфеля, это государственная тайна, которую вашему величеству не следует разглашать. Главное – это причина, по которой я мог бы отказаться от портфеля.

– Герцог! Кажется, эта причина не является государственной тайной? – со смехом воскликнул король.

– Нет, сир, в особенности для вашего величества. Ведь вы для меня и моего друга барона де Таверне являетесь сейчас – да простите мне такая смелость! – самым радушным из земных хозяев. Итак, у меня нет секретов от моего короля. Я изливаю перед ним свою душу, потому что не хотел бы, чтобы кто-нибудь имел основание утверждать, что у короля Франции не было слуги, способного сказать ему всю правду.

– Что же это за правда? – спросил король, в то время как Таверне, обеспокоенный тем, что Ришелье может сказать лишнее, кусал губы и старательно принимал такое же выражение лица, как у короля.

– Сир! В вашем государстве есть две силы, которым должен был бы подчиняться министр: одна сила – это ваша воля; другая – воля ваших самых близких друзей, которых выбирает себе ваше величество. Первая сила неотразима, никто не может и помыслить о том, чтобы оказать ей неповиновение. Вторая еще более священна, потому что заставляет любить тех, кто вам служит. Она называет себя вашей душой; чтобы повиноваться этой силе, министр должен любить фаворита или фаворитку своего короля.

Людовик XV рассмеялся.

– Герцог! До чего хорошо вы сказали! Однако могу поручиться, что вы не станете об этом трубить на Новом мосту.

– О, я отлично понимаю, сир, – отвечал Ришелье, – что после этого философы возьмутся за оружие. Правда, я не думаю, что вашему величеству или мне это чем-либо грозило бы. Главная задача состоит в том, чтобы обе силы королевства были удовлетворены. Так вот, сир, я не побоюсь сказать вашему величеству, хотя бы после этого я впал в немилость, что равносильно для меня смерти: я не мог бы исполнять волю графини Дю Барри.

Людовик XV примолк.

– Вот какая мысль пришла мне в голову, – продолжал Ришелье, – я недавно окинул взглядом придворных вашего величества и, честно говоря, увидел столько красивых и благородных девиц, столько знатных дам, что, будь я королем Франции, я бы не смог сделать выбор.

Людовик XV повернулся к Таверне. Тот, чувствуя, что дело косвенным образом касалось и его, трепетал от страха и надежды; он впился глазами в герцога и всем своим существом готов был помочь красноречию герцога, словно подталкивая к берегу корабль, на котором находилось все его состояние.

– Вы придерживаетесь того же мнения, барон? – спросил король.

– Сир! Мне кажется, что вот уже несколько минут герцог говорит превосходно! – отвечал Таверне в сильном волнении.

– Так вы согласны с тем, что он говорит о благородных красавицах?

– Сир! Мне кажется, что при французском дворе и в самом деле есть очень хорошенькие!

– Вы того же мнения, барон?

– Да, сир.

– И вы готовы призвать меня, как и он, к тому, чтобы сделать свой выбор среди придворных красавиц?

– Признаться, я совершенно согласен с маршалом; смею также предположить, что и ваше величество придерживается того же мнения.

Наступило молчание, в течение которого король благосклонно разглядывал Таверне.

– Господа! – проговорил он наконец. – Я, вне всякого сомнения, последовал бы вашему совету, будь мне тридцать лет. И меня нетрудно было бы понять. Однако я считаю, что сейчас я слишком стар для того, чтобы быть чересчур доверчивым.

– Доверчивым? Объясните, пожалуйста, что вы хотите этим сказать, сир!

– Быть доверчивым, дорогой герцог, означает «верить». Так вот, ничто не заставит меня верить в некоторые вещи.

– В какие?

– Ну, например, что меня в моем возрасте можно полюбить.

– Ах, сир! – воскликнул Ришелье. – Я до сегодняшнего дня думал, что ваше величество – самый красивый дворянин королевства. А вот теперь я с глубоким прискорбием вынужден признать, что ошибался!

– В чем же дело? – со смехом спросил король.

– Да в том, что я стар, как Мафусаил, – ведь я родился в девяносто четвертом году. Вспомните, сир: ведь я на шестнадцать лет старше вашего величества.

Это была ловкая лесть со стороны герцога. Людовик XV неустанно восхищался этим стариком, который убил свои лучшие годы у него на службе. Имея его перед глазами, он мог надеяться, что доживет до таких же лет.

– Пусть так, – согласился Людовик XV, – однако я полагаю, что вы уже не надеетесь, что будете любимы просто так, за красивые глаза.

– Если бы я так думал, сир, я сейчас же поссорился бы с двумя дамами, которые пытались меня в этом уверить не далее, как нынче утром – Ну что же, герцог, – проговорил в ответ Людовик XV, – увидим... Увидим, господин де Таверне! Юность омолаживает, это верно...

– Да, сир, а вливание благородной крови оказывает особенно благотворное действие, не говоря уж о том, что при перемене такой незаурядный ум, как у вашего величества, может только выиграть.

– Однако я вспоминаю, что мой предшественник, когда постарел, почти перестал ухаживать за женщинами.

– Да что вы, сир, – возразил Ришелье. – При всем моем уважении к покойному королю, который, как известно вашему величеству, дважды отправлял меня в Бастилию, я, тем не менее, скажу, что между зрелым Людовиком Четырнадцатым и зрелым Людовиком Пятнадцатым не может быть никакого сравнения. Неужели вы, ваше величество, именуемый Людовиком Благочестивым, так свято чтите свой титул старшего сына церкви, что приносите жизнелюбие в жертву аскетизму?

– Нет, клянусь вам! – отвечал Людовик XV. – Я могу в этом признаться, пока здесь нет ни моего доктора, ни исповедника.

– Знаете, сир, ваш предшественник зачастую удивлял своими приступами религиозного рвения и бесчисленными попытками умерщвления плоти даже госпожу де Ментенон, а ведь она была старше его. Так вот, я еще раз спрашиваю, сир: можно ли сравнивать одного человека с другим, когда речь заходит о ваших величествах?

Король в этот вечер был в ударе, а слова Ришелье были для него словно каплями живительной влаги из источника жизни.

Ришелье решил, что подходящий момент настал, и толкнул ногой колено Таверне.

– Сир! – сказал тот. – Примите, пожалуйста, мою признательность за великолепный подарок, преподнесенный моей дочери.

– Не нужно меня за это благодарить, барон, – молвил король. – Мадмуазель де Таверне кажется мне порядочной, воспитанной девицей. Я бы от души желал, чтобы она служила при дворе у одной из моих дочерей. Разумеется, мадмуазель Андре..., так, кажется, ее зовут?

– Да, сир, – подтвердил Таверне, польщенный тем, что король помнит имя его дочери.

– Прелестное имя! Разумеется, мадмуазель Андре была бы достойна этой чести. Однако все места уже заняты. А в ожидании пока для нее найдется подходящее занятие, барон, прошу вас иметь в виду, что эта девушка будет находиться под моим личным покровительством. У нее небогатое приданое, я полагаю?

– Увы, сир!

– Вот я и займусь ее замужеством. Таверне низко поклонился.

– Как это будет любезно с вашей стороны, ваше величество, если вы найдете ей супруга! Должен признаться, что при нашей бедности, то есть почти нищете...

– Да, да, на этот счет будьте покойны, – отвечал Людовик XV. – Впрочем, она еще очень молода, как мне кажется, ей спешить некуда.

– Тем более, ваше величество, что ваша подопечная страшится замужества.

– Смотрите! – воскликнул король, потирая руки и глядя на Ришелье. – Ну что ж, в любом случае можете положиться на меня, господин де Таверне, если у вас будут какие-либо затруднения.

С этими словами Людовик XV поднялся и, обращаясь к герцогу, позвал:

– Маршал!

Герцог приблизился к королю.

– Крошка была довольна?

– Чем, сир?

– Ларцом.

– Простите, ваше величество, что я принужден говорить тихо, но отец нас слушает, а ему не следует слышать то, что я вам собираюсь сказать.

– Да ну?

– Можете мне поверить.

– Говорите же!

– Сир! Крошка страшится замужества, это правда, однако в одном я совершенно уверен: она не боится вашего величества.

Он проговорил это фамильярным тоном; королю понравилась его откровенность. А маршал засеменил вслед за Таверне, который из почтительности удалился в галерею.

Друзья вышли в сад.

Был прекрасный вечер. Перед ними шагали два лакея, каждый в одной руке нес факел, а другой придерживал цветущие ветви деревьев. Окна Трианона еще светились праздничными огнями, за которыми веселились пятьдесят человек, приглашенных ее высочеством.

Музыканты его величества исполняли менуэт. После ужина начались танцы и продолжались до сих пор.

Спрятавшись в густых зарослях засыпанной снегом сирени, Жильбер, стоя на коленях, сквозь полупрозрачные занавески следил за игрой теней.

Молодой человек не обращал внимания на то, как низко нависло над землею небо: он наслаждался красотой танца.

Однако, когда Ришелье и Таверне прошли мимо кустов, в которых пряталась эта ночная птаха, звук их голосов и некоторые слова заставили Жильбера поднять голову и прислушаться.

Дело в том, что именно эти слова были для него очень важны.

Опершись на руку друга и склонившись к его уху, маршал говорил:

– Хорошенько все обдумав и взвесив, барон, я должен признаться, что, по моему мнению, необходимо немедленно отправить твою дочь в монастырь.

– Почему? – спросил барон.

– Ручаюсь головой, что король без ума от мадмуазель де Таверне, – отвечал маршал.

Услыхав эти слова, Жильбер стал блее снежных хлопьев, падавших ему на лицо и плечи.

Глава 42. ПРЕДЧУВСТВИЕ

На следующий день часы в Трианоне пробили двенадцать, когда Николь прокричала не вы-

ходившей еще из комнаты Андре:

– Мадмуазель! Мадмуазель! Господин Филипп!

Крик раздался внизу на лестнице.

Удивленная и, вместе с тем, обрадованная Андре запахнула на груди муслиновый пеньюар и бросилась навстречу молодому человеку, спешивавшемуся на дворе Трианона. Он как раз справлялся у слуг, в котором часу он мог бы повидаться с сестрой Андре распахнула входную дверь и оказалась лицом к лицу с Филиппом; услужливая Николь уже сходила за ним во двор и теперь вела его за собой по ступенькам.

Девушка бросилась брату на шею, и оба они направились в комнату Андре вместе с Николь.

Только тогда Андре заметила, что Филипп выглядел мрачнее, чем обыкновенно, что даже в его улыбке проглядывала грусть; еще она обратила внимание на то, как безупречно на нем сидел элегантный мундир; под мышкой он зажимал походный плащ.

– Что случилось, Филипп? – спросила она тотчас же, повинувшись инстинкту, свойственному чувственным натурам, для которых довольно одного взгляда, чтобы заметить неладное.

– Дорогая сестра! – отвечал Филипп. – Нынче утром я получил приказ догонять свой полк.

– Так ты уезжаешь?

– Уезжаю.

Андре вскрикнула, и после этого болезненного вскрика ее словно оставили силы и мужество.

И хотя в отъезде Филиппа не было ничего неестественного и Андре следовало быть к нему готовой, новость эта настолько ее сразила, что она была вынуждена опереться на руку брата.

– Боже мой, неужели тебя так огорчает мой отъезд? – с удивлением заметил Филипп. – Ты ведь знаешь, Андре, что в жизни солдата это случается довольно часто.

– Да, да! Разумеется! – прошептала девушка. – А куда ты едешь, брат?

– Мой гарнизон сейчас в Реймсе. Меня ждет не такой уж долгий путь, как видишь. Правда, оттуда полк, по всей вероятности, будет переведен в Страсбург.

– Как жаль! – воскликнула Андре. – Когда же ты отправляешься?

– Приказом мне предписывается отправляться в путь немедленно.

– Так ты пришел попрощаться?..

– Да, сестра.

– Прощаться!..

– Ты мне хотела сообщить что-нибудь особенное, Андре? – спросил Филипп, обеспокоенный грустью сестры – грустью, не соразмерной со слишком незначительной причиной – его отъездом.

Андре поняла, что его последние слова относились к Николь, следившей за происходящим с нескрываемым удивлением, вызванным душевным состоянием Андре.

Действительно, отъезд Филиппа, офицера, отправлявшегося в свой гарнизон, не мог быть катастрофой, вызвавшей столько слез Андре поняла и чувства Филиппа, и удивление Николь. Она нагнула на плечи мантильку и направилась к двери.

– Иди к решетке парка, Филипп, – сказала она. – Я тебя провожу крытой аллеей. Мне в самом деле необходимо кое-что тебе сообщить, брат.

Эти слова послужили приказом для Николь. Она скользнула вдоль стены и вернулась в комнату хозяйки, пока та спускалась по лестнице вместе с Филиппом Андре спускалась по той самой лестнице, которая еще и сегодня идет вдоль часовни и через переход выводит в сад. Несмотря на вопросительные, тревожные взгляды Филиппа, Андре долгое время молчала, повиснув на руке брата и склонив голову к нему на плечо.

Потом сердце ее не выдержало, она смертельно побледнела, ком подступил у нее к горлу и слезы хлынули из глаз.

– Сестричка, дорогая моя, милая Андре! – вскричал Филипп. – Во имя Неба заклинаю тебя объяснить мне, что с тобой?

– Друг мой! Мой единственный друг! – пролепетала Андре. – Ты оставляешь меня одну в мире, куда я попала совсем недавно, где я чужая, и ты еще спрашиваешь, почему я плачу! Посуди сам, Филипп: моя мать умерла в тот день, как я появилась на свет; страшно в этом признаться, но отца у меня словно и не было. Все свои огорчения, все свои маленькие тайны я поверяла тебе од-

ному. Кто мне улыбался? Кто меня ласкал? Кто меня баюкал, когда я была совсем маленькая? Ты! Кто защищал меня с тех пор, как я выросла? Ты! Кто заставил меня поверить в то, что божьи твари созданы в этом мире не только для страданий? Ты, Филипп, тоже ты. И я никогда и никого не любила с тех пор, как появилась на свет, кроме тебя, и меня никто не любил, кроме тебя. Ах, Филипп, – с грустью продолжала Андре, – ты отворачиваешься, и я знаю, о чем ты сейчас думаешь! Ты говоришь себе, что я молода, красива, что я не права, что не верю в будущее и в любовь. Увы, ты сам видишь, Филипп, что недостаточно быть только красивой и молодой – ведь я никому не нужна.

Ты скажешь, что ее высочество ко мне добра. Разумеется, она выше всяких похвал; так мне, по крайней мере, кажется, я считаю ее совершенством. Но, может быть, именно оттого, что я так к ней отношусь, я испытываю к ней уважение, но не любовь. А любовь, Филипп, так мне нужна! Ведь я привыкла загонять внутрь любое чувство, и теперь мое сердце готово разорваться. Мой отец... О, Господи, отец!.. Я не сообщу тебе ничего нового, Филипп: отец не только не является ни моим защитником, ни другом – напротив, когда он смотрит на меня, он внушает мне страх. Да, да, я боюсь его, Филипп, особенно с той минуты, как узнала, что ты едешь. Чего я боюсь? Сама не знаю. Боже мой! Да разве не так же птицы и звери предчувствуют надвигающуюся бурю? Ты скажешь, что это суеверие. А что, если наша бессмертная душа предчувствует несчастье? С некоторых пор дела нашей семьи пошли в гору. Мне это отлично известно, Ты стал капитаном, я – почти член семьи у ее высочества, отец вчера ужинал в тесном кругу у короля. Ты, должно быть, сочтешь меня сумасшедшей, но я все равно скажу тебе, Филипп, что все это пугает меня больше, чем наша нищета и наша безвестность в те времена, когда мы жили в Таверне.

– Но там, дорогая сестричка, ты тоже была одна, – с грустью возразил Филипп, – там даже не было меня, чтобы тебя утешить.

– Да, но там я была наедине со своими детскими воспоминаниями. Мне казалось, что стены, в которых я родилась, выросла, где умерла моя мать, должны меня защитить, если можно так выразиться. Все мне там было мило. Я была спокойна, когда ты уезжал, и радовалась, когда ты возвращался. Независимо от твоих отъездов и возвращений, мое сердце принадлежало не только тебе, но и нашему дорогому дому, саду, цветам, тому целому, часть которого ты собой являл когда-то. А сегодня ты для меня все, Филипп. Раз ты меня покидаешь, это значит, что я оставлена всеми.

– Но ведь сегодня, Андре, у тебя гораздо более могущественные защитники, чем я, – возразил Филипп.

– Это верно.

– И впереди у тебя – блестящее будущее.

– Как знать!..

– Что же тебя пугает?

– Не знаю.

– Это неблагодарность по отношению к Богу, сестричка.

– Да нет, я за все горячо благодарю Небо, молясь утром и вечером. Но мне кажется, что каждый раз, как я опускаюсь на колени. Бог, вместо того, чтобы принять мои молитвы, словно предупреждает меня: «Берегись, берегись!»

– Да чего же ты должна беречься? Ответь! Я вместе с тобой готов предположить, что тебе угрожает несчастье. Ты что-нибудь предчувствуешь? Знаешь ли ты, что нужно делать, чтобы его преодолеть или избежать?

– Я ничего не знаю, Филипп. Но у меня такое чувство, будто моя жизнь висит на волоске и что меня ничего хорошего не ждет с той минуты, как ты уедешь. Словом, у меня такое ощущение, будто меня во сне вкатили на высокую гору, где, проснувшись, я должна удержаться. И вот я проснулась, вижу пропасть, но я уже лечу в нее, а тебя нет и удержать меня некому. И я вот-вот исчезну в этой пропасти и разобьюсь насмерть.

– Дорогая сестричка, моя милая Андре! – заговорил Филипп, невольно волнуясь при виде ужаса, написанного на лице Андре. – Ты преувеличиваешь свое нежное чувство ко мне, я очень тебе благодарен. Да, ты теряешь друга, но ведь ненадолго: я буду недалеко, и ты можешь меня вызвать, как только я тебе понадобится. Все это только химеры, тебе ничто не угрожает. Андре

остановилась перед братом.

– В таком случае, Филипп, объясни мне, почему ты, мужчина, сильнее меня духом, сейчас такой же грустный, как и я? Как ты это объяснишь, брат?

– Объяснить нетрудно, дорогая сестра, – отвечал Филипп, останавливая Андре, которая пошла было снова, как только перестала говорить. – Мы с тобой брат и сестра не только по духу и крови, мы одинаково чувствуем. Кроме того, мы жили в согласии, которое стало мне особенно дорого со времени нашего переезда в Париж. Сейчас я вынужден порвать эту связь с тобой, и этот удар отзывается в моем сердце. Вот отчего я тоскую, но это пройдет. Я, Андре, заглядываю в будущее и не верю в несчастье, если не считать несчастьем нашу разлуку на несколько месяцев, может быть – на год. Но я смирился и говорю не «прощай», а «до свидания».

Несмотря на его утешения, Андре зарыдала.

– Дорогая сестра! – воскликнул Филипп в отчаянии от того, что не понимает причины ее слез. – Ты не все мне сказала, ты что-то от меня скрываешь. Прошу тебя во имя Неба: скажи мне правду!

Он обнял ее за плечи, привлек к себе и заглянул в глаза.

– Что ты, Филипп! Нет, нет, клянусь тебе: ты знаешь все, мое сердце у тебя, как на ладони.

– Тогда умоляю тебя, Андре: возьми себя в руки и не огорчай меня.

– Ты прав, – сказала она, – я просто сошла с ума. Послушай: я никогда не была сильна духом, ты знаешь это лучше, чем кто бы то ни было, Филипп. Я постоянно чего-то пугаюсь, что-то себе придумываю, чем-то недовольна. Но я не должна впутывать в свои бредни горячо любимого брата, если он меня уверяет в обратном и пытается доказать, что мои тревоги напрасны. Ты прав, Филипп: верно, все верно, мне здесь очень хорошо. Прости меня, Филипп. Видишь, я вытираю слезы, я больше не плачу, я улыбаюсь, Филипп. Нет, я не стану говорить «прощай», я тоже скажу тебе «до свидания».

Девушка нежно поцеловала брата, пряча от него последнюю слезу, затуманившую ее взор и скатившуюся, словно жемчужинка, на золотой аксельбант молодого офицера.

Филипп взглянул на нее с нескрываемой братской нежностью и в то же время с отеческой заботой.

– Андре! – молвил он. – Я так тебя люблю! Ничего не бойся. Я уезжаю, но каждую неделю буду посылать тебе с курьером письма. И ты мне пиши почаще.

– Хорошо, Филипп. Для меня это будет единственной радостью. А ты предупредил отца?

– О чем?

– Об отъезде.

– Дорогая сестра! Да ведь барон сам принес мне нынче утром приказ министра. Господин де Таверне – не ты, Андре. Он без труда обойдется без меня; мне показалось, что он рад моему отъезду, и он прав: здесь я не продвинулся по службе, а там, напротив, для этого может представиться случай.

– Отец счастлив оттого, что ты уезжаешь? – прошептала Андре. – Ты не ошибся, Филипп?

– У него есть ты, – проговорил Филипп, избегая ответа на вопрос. – Для него это большое утешение, сестричка.

– Ты вправду так думаешь, Филипп? Он меня совсем не видит.

– Сестричка! Он поручил мне как раз сегодня передать тебе, что после моего отъезда он приедет в Трианон. Он тебя любит, поверь мне. Вот только любит он по-своему.

– Что с тобой Филипп? Что тебя смущает?

– Дорогая Андре! Только что звонили часы. Который теперь час?

– Три четверти первого.

– Так вот, дорогая сестричка, причина моего смущения в том, что я уже час как должен быть в пути, а мы теперь подошли к решетке, где меня ждет мой конь. Итак...

Андре спокойно посмотрела на брата и, взяв его за руку, проговорила, пожалуй, чересчур твердым голосом, чтобы скрыть охватившие ее чувства:

– Прощай, брат...

Филипп в последний раз обнял ее.

– До свидания! Помни о своем обещании.

– О каком обещании?

– Не менее одного письма в неделю.

– Можешь не просить.

Андре произнесла эти слова из последних сил, бедняжка не могла больше говорить.

Филипп еще раз взмахнул рукой и удалился.

Андре провожала его глазами, затаив дыхание и удерживая вздох Филипп сел на коня, еще раз простился с ней через решетку и ускакал.

Андре неподвижно стояла до тех пор, пока он не скрылся из виду.

Потом она повернулась и бросилась бежать, словно раненая лань. Едва добежав до скамейки, она рухнула на нее, как подкошенная.

Из груди ее вырвался душераздирающий крик.

– Боже мой! Боже! – рыдая, говорила она. – Зачем Ты оставил меня одну?

Она спрятала лицо в ладонях, роняя сквозь пальцы крупные слезы, которые она не пыталась больше сдерживать.

Вдруг у нее за спиной, в кустарнике, послышался легкий шум. Андре показалось, что это чей-то вздох. Она в испуге обернулась: прямо перед собой она увидела чье-то грустное лицо.

Это был Жильбер.

Глава 43. РОМАН ЖИЛЬБЕРА

Как мы уже сказали, это был Жильбер, такой же бледный, печальный и подавленный, как и Андре.

При виде мужчины, незнакомца, гордая Андре поспешно вытерла глаза, словно стесняясь своих слез. Она собралась с силами и сдержала рыдания.

Жильберу понадобилось больше времени для того, чтобы успокоиться, и его лицо еще сохраняло страдальческое выражение, когда мадмуазель де Таверне подняла глаза. Она узнала его и успела заметить в его глазах грусть.

– А-а, это опять вы, господин Жильбер! – проговорила она насмешливым тоном, каким обыкновенно говорила всякий раз, как случай сводил ее с этим молодым человеком.

Жильбер ничего не ответил – он был очень взволнован. Страдание, заставлявшее Андре содрогаться всем телом, передалось Жильберу.

– Что с вами, господин Жильбер? – продолжала Андре. – Почему вы смотрите на меня так жалостливо? Должно быть, вас что-то огорчает? Что же, скажите на милость?

– Вы желаете узнать? – печально спросил Жильбер, улавливая скрытую насмешку, несмотря на ее участливый тон.

– Да.

– Что ж, извольте: меня огорчает то, что вы страдаете, мадмуазель, – отвечал Жильбер.

– А кто вам сказал, что я страдаю?

– Я это вижу – Я не страдаю, вы ошибаетесь, – проговорила Андре, еще раз вытерев лицо платком.

Жильбер почувствовал, как в его сердце закипает ярость, но он решил подавить ее.

– Прошу прощения, мадмуазель, – молвил он, – однако я слышал рыдания.

– Так вы подслушивали? Прекрасно!..

– Мадмуазель! Это случайность... – пролепетал Жильбер, чувствуя, что вынужден солгать.

– Случайность? Я в отчаянии, господин Жильбер, что случай привел вас ко мне. Но с какой стати рыдания, которые вы слышали, вас огорчили? Отвечайте!

– Я не могу видеть, как женщина плачет, – ответил Жильбер тоном, который не понравился Андре.

– Уж не вздумалось ли господину Жильберу увидеть во мне женщину? – высокомерно проговорила девушка. – Я никого не прошу проявлять ко мне внимание, тем более – господина Жильбера!

– Мадмуазель! – заговорил Жильбер, укоризненно качая головой. – Вы напрасно так резки со мной. Я увидел, что вы грустны, и опечалился. Я услышал, как после отъезда господина Филиппа вы сказали, что отныне вы одна в целом свете. Нет же, нет, мадмуазель! Потому что есть я, нет ни одного человека, который был бы вам предан больше, чем я! Повторяю: никогда мадмуазель де Таверне не будет одинока, пока в моей голове есть мысли, пока бьется мое сердце, пока я готов протянуть руку помощи.

Жильбер был очень хорош в эту минуту; он был благороден и беззаветно предан, хотя и произнес эти слова со всей безыскусственностью, какой требовала от него почтительность.

Но, как мы уже говорили, все в молодом человеке раздражало Андре, оскорбляло ее чувства и заставляло ее говорить грубости, словно каждое его почтительное слово было для нее ругательством, все его мольбы – вызовом. Она хотела было встать, чтобы резким движением подчеркнуть свое презрение, однако вновь охватившая ее дрожь помешала ей подняться со скамейки. Кроме того, она подумала, что если она встанет, то кто-нибудь может увидеть ее с Жильбером. И она продолжала сидеть; она решила раз навсегда отделаться от надоедливого насекомого.

– Мне кажется, я уже говорила вам о том, что вы мне не нравитесь, господин Жильбер; ваш голос меня раздражает, мне противны ваши философские разглагольствования. Зачем же вы упрямо пытаетесь со мной заговаривать?

– Мадмуазель! – заговорил Жильбер, побледнев, но сдержавшись. – Разве можно раздражить порядочную женщину, выразив ей свое расположение? Честный человек достоин любого другого человека, а вы обходитесь со мной так жестоко! Ведь я, может быть, заслуживаю вашего расположения более, чем кто-либо иной, и горячо сожалею о том, что вы не замечаете меня.

При слове «расположение», повторенном дважды, Андре широко раскрыла глаза и вызывающе посмотрела на Жильбера.

– Расположение? – воскликнула она. – Ваше ко мне расположение, господин Жильбер? Оказывается, я ошибалась. Я вас считала наглецом, а вы

– еще того хуже, вы – безумец.

– Я – ни наглец, ни безумец, – возразил Жильбер с притворным спокойствием, дорого стоившим этому гордецу, что хорошо известно читателю. – Нет, мадмуазель, природа создала меня равным вам, а случай сделал вас моей должницей.

– Опять случай? – с насмешкой спросила Андре.

– Мне следовало бы сказать: Провидение. Я никогда бы не заговорил об этом с вами, но ваши оскорбления заставляют меня об этом вспомнить.

– Я – ваша должница? Вы сказали – ваша должница? Я правильно вас поняла, господин Жильбер?

– Мне было бы стыдно, если бы вы оказались неблагодарны, мадмуазель. Бог наградил вас красотой и дал вам в придачу много недостатков, но только не этот!

Тут Андре встала.

– Прошу прощения, – продолжал Жильбер, – но иногда ваши недостатки так сильно меня раздражают, что я даже забываю о той симпатии, какую я к вам питаю.

Андре громко расхохоталась – Жильбера это привело в бешенство. Но, к своему удивлению, Жильбер не взорвался. Он скрестил на груди руки и с враждебностью и упрямством в горящих глазах стал терпеливо ждать, когда прекратится ее наигранный смех.

– Мадмуазель! – холодно произнес он. – Соболаговолите ответить на один-единственный вопрос. Вы уважаете своего отца?

– Уж не вздумали ли вы меня допрашивать, господин Жильбер? – высокомерно спросила девушка.

– Да, вы уважаете отца, – продолжал Жильбер, – и ведь не за его душевные качества, не за его достоинства. Нет, только за то, что он дал вам жизнь. Отца – к несчастью, вам это должно быть знакомо, – уважают только за то, что он отец. Более того: за одно это благое дело – подарить жизнь... – тут Жильбер оживился, испытывая снисходительность и жалость. – За одно это благое дело вы должны любить благодетеля. Так вот, мадмуазель, приняв это за основу, я могу спросить вас: почему же меня вы оскорбляете? Почему вы меня отталкиваете? Почему вы ненавидите меня?

Правда, не я подарил вам жизнь, но я вам ее спас!

– Вы? – спросила Андре. – Вы спасли мне жизнь?

– Вы об этом не думали, – заметил Жильбер, – вернее сказать, вы об этом забыли. Это вполне естественно – ведь с тех пор прошел целый год. Ну что же, мадмуазель, мне надлежит сообщить или напомнить вам об этом. Да, я спас вам жизнь, рискуя собой.

– Будьте любезны, по крайней мере, сказать мне, где и когда это было, – сильно побледнев, проговорила Андре.

– Это было в тот самый день, мадмуазель, когда сто тысяч человек, давя друг Друга, увертываясь от необузданных лошадей и летавших над толпой сабель, оставили после себя на площади Людовика Пятнадцатого груды мертвых тел и раненых.

– А-а, тридцать первого мая!..

– Да, мадмуазель. Андре снова встала, насмешливо улыбаясь.

– И вы утверждаете, что в тот день подвергали опасности свою жизнь ради моего спасения, господин Жильбер?

– Да, как я уже имел честь сказать вам.

– Так вы, значит, барон де Бальзамо? Простите, я не знала.

– Нет, я не барон де Бальзамо, – проговорил Жильбер; взор его горел, губы тряслись. – Я – бедное дитя из народа по имени Жильбер, у которого достало глупости вас полюбить, и в этом мое несчастье. Я любил вас как безумный, как одержимый, и поэтому бросился за вами в толпу. Я – тот самый Жильбер, которого разлучила с вами на мгновение толпа, но, услышав страшный крик, с каким вы упали, Жильбер кинулся вслед за вами и обхватил вас руками раньше, чем двадцать тысяч других рук успели отнять у него последние силы. Жильбер прижался к каменному столбу, где вы должны были быть раздавлены, чтобы своим телом смягчить вам удар. А когда Жильбер заметил в толпе странного господина, который, казалось, повелевал другими людьми, и имя которого вы только что произнесли, Жильбер собрал остатки сил, физических и душевных, и поднял вас на слабеющих руках, чтобы этот господин вас заметил, подобрал, спас. Жильбер уступил вас более удачливому спасителю, а себе оставил лишь клочок вашего платья и прильнул к нему губами – прильнул вовремя, потому что кровь подступила к моему сердцу, к вискам, к затылку. Сплетенные в единый клубок палачи и их жертвы накатили на меня волной и поглотили, а вы в это время, подобно ангелу, возносились к небесам.

Жильбер предстал во всей своей красе, то есть диким, наивным, возвышенным как в своей решимости, так и в любви. Несмотря на презрительное к нему отношение, Андре не могла скрыть удивление. Он даже подумал было, что его правдивый рассказ тронул ее сердце. Однако бедный Жильбер не принял во внимание, что она может ему не поверить. Ненавидевшая Жильбера Андре не придавала значения ни одному доводу своего презренного поклонника.

Она ничего не ответила; она смотрела на Жильбера, и мысли ее путались.

Ее холодность привела его в замешательство, и он счел необходимым прибавить:

– Я прошу вас не относиться ко мне с ненавистью, потому что это была бы не только несправедливость, но и неблагодарность.

Андре гордо подняла голову и безразличным тоном, что было особенно жестоко, спросила:

– Господин Жильбер! Как долго вы были учеником господина Руссо?

– Три месяца, кажется, – простодушно отвечал Жильбер, – не считая времени, когда я был болен после давки тридцать первого мая.

– Вы меня не поняли, – сказала она. – Я не спрашиваю вас, были вы больны или нет..., после давки... Возможно, это прекрасный конец для той истории, которую вы мне поведали... Но меня это не интересует. Я вам хотела сказать, что, проводя у прославленного писателя всего три месяца, вы не теряли времени даром: ученик сочиняет романы ничуть не хуже своего учителя.

Жильбер спокойно слушал ее, полагая, что на его взволнованную речь Андре ответит серьезно. Вот почему насмешку Андре он воспринял как кровную обиду.

– Роман? – прошептал он, задохнувшись от возмущения. – Вы считаете романом то, что сейчас от меня услышали?

– Да, – отвечала Андре, – вот именно, роман. Благодарю вас за то, что мне не пришлось его

читать. Я очень сожалею, что не могу за него заплатить; как бы я ни старалась, все было бы напрасно: ваш роман – бесценный.

– Вот как вы мне отвечаете! – пролепетал Жильбер; сердце его сжалось, взгляд потух.

– Да я даже и не отвечаю, – молвила Андре, оттолкнув его и проходя мимо.

С другого конца аллеи ее уже звала Николь. Сквозь листву она не узнала в собеседнике своей хозяйки Жильбера и потому не желала своим внезапным появлением прерывать беседу.

Однако, подойдя ближе, она увидела юношу, узнала его и застыла от изумления. Только тогда она пожалела, что не подкралась и не подслушала, о чем может Жильбер говорить с мадмуазель де Таверне.

Желая дать почувствовать Жильберу свое презрение к нему, Андре заговорила с Николь подчеркнуто ласково.

– Что случилось, дитя мое? – спросила она.

– Господин барон де Таверне и господин герцог де Ришелье спрашивали мадмуазель, – ответила Николь.

– Где они?

– В комнате мадмуазель.

– Идите.

Андре пошла к дому.

Николь последовала за ней и, уходя, бросила на Жильбера насмешливый взгляд. Юноша стоял смертельно бледный, он был похож на сумасшедшего, он был не столько взбешен, сколько одержим. Он погрозил кулаком в направлении аллеи, по которой удалилась его неприятельница, и, скрежеща зубами, пробормотал:

– Бессердечная! Бездушное создание! Я спас тебе жизнь, отдал тебе свою любовь, я задушил в себе всякое чувство, способное оскорбить, как мне казалось, твою чистоту, ведь для меня в моем бреде ты представлялась сошедшей с небес святой... Ну, теперь я рассмотрел тебя вблизи: ты самая обыкновенная женщина, ну а я – мужчина... Придет день, и я тебе отомщу, Андре де Таверне!

Ты дважды была у меня в руках, и оба раза я тебя пощадил. Андре де Таверне! Берегись! В третий раз пощады не будет!

Он пошел через парк напрямик, не разбирая дороги, словно раненый волк, оборачиваясь, скаля хищные зубы, глядя налитыми кровью глазами.

Глава 44. ОТЕЦ И ДОЧЬ

Дойдя до конца аллеи, Андре увидела маршала, прогуливавшегося вместе с ее отцом перед входом в ожидании девушки.

Друзья, казалось, были в прекрасном расположении духа; они шли под руку. При дворе еще не было более полного воплощения Ореста и Пилада.

Завидев Андре, старики заулыбались и стали наперебой расхваливать друг другу ее красоту: гнев и быстрая ходьба только красили ее.

Маршал так поклонился Андре, как если бы перед ним стояла новая госпожа де Помпадур. Эта подробность не ускользнула от Таверне и очень его порадовала. Однако Андре была удивлена его почтительностью и, в то же время, галантностью: ловкий придворный умело сочетал немало разных оттенков в одном поклоне, как Ковель умел одним турецким словом передать смысл нескольких французских предложений.

Андре одинаково церемонно поклонилась барону и маршалу и с очаровательной улыбкой пригласила их подняться к ней в комнату.

Маршала восхитила изящная простота – единственное достоинство мебелировки и архитектуры скромной комнаты. Благодаря цветам и белым муслиновым занавескам, Андре удалось превратить свою убогую комнату не во дворец, а в храм.

Маршал сел в кресло, обитое персидской тканью с крупным рисунком, под большой китайской раковиной, откуда свисали душистые ветки акации и клена вперемежку с ирисами и бенгальскими розами.

Таверне опустился в точно такое же кресло. Андре села на складной стульчик и оперлась локтем на клавесин, тоже украшенный цветами, стоявшими в большой вазе саксонского фарфора.

– Мадмуазель! – обратился к ней маршал. – Я пришел, чтобы передать вам от его величества восхищение вашим прелестным голосом и вашей музыкальностью, вызвавшими восторг у всех присутствовавших на репетиции. Его величество не стал хвалить вас вслух, опасаясь пробудить у других зависть. Вот почему он и поручил мне выразить вам благодарность за удовольствие, которое вы ему доставили.

Зардевшаяся Андре была так хороша, что маршал не мог остановиться и говорил, что прихотило ему в голову:

– Король утверждал, что ему не приходилось видеть при дворе никого, кто, подобно вам, мадмуазель, сочетает в себе тонкий ум и безупречную красоту.

– Вы забыли упомянуть о ее душевных качествах, – прибавил сияющий Таверне, – Андре – лучшая из лучших!

Маршалу на минуту показалось, что его друг вот-вот расплачется. В восхищении от подобной родительской чувствительности он воскликнул:

– Душа!.. Увы, дорогой мой, вы можете судить о душевных качествах мадмуазель. Будь я двадцатипятилетним юношей, я сложил бы к ее ногам свою жизнь и все свое состояние!

Андре еще не научилась отвечать на лесть придворного. У нее из груди вырвался только вздох.

– Мадмуазель! – продолжал Ришелье. – Король пожелал выразить свое удовлетворение и просил вас благосклонно принять то, что он поручил вам передать через господина барона. Что я должен передать его величеству от вашего имени?

– Ваша светлость! – прошу вас передать его величеству мою признательность, – отвечала Андре, не вкладывая в свои слова ничего, кроме глубокой почтительности, входящей в обязанности любой подданной. – Скажите его величеству, что я счастлива оказанным мне вниманием и что я считаю себя недостойной благосклонности столь могущественного монарха.

Ришелье, казалось, понравились слова девушки, которые она произнесла твердо, без малейшего колебания.

Он взял ее руку, почтительно поцеловал и, не сводя с нее глаз, проговорил:

– Рука королевы, ножка богини.., ум, воля, чистота... Ах, барон, какое сокровище!.. У вас не дочь, а настоящая королева...

Засим он раскланялся, оставив Таверне с Андре. Барона распирало от гордости и упования.

Если бы кто-нибудь видел, с каким наслаждением этот бывший философ, скептик, насмешник купался в сыпавшихся на него милостях, не желая замечать, в какую он попал трясину, тот мог бы подумать, что Господь лишил Таверне не только сердца, но и разума.

Только Таверне мог заметить по поводу этих перемен в себе;

– Изменился не я, изменились времена!

Итак, он остался сидеть вместе с Андре, чувствуя некоторую неловкость оттого, что девушка внимательно и безмятежно смотрела на него ясными бездонными глазами.

– Господин де Ришелье, кажется, сказал, что его величество поручил вам передать доказательство своего удовлетворения. Что же это?

– Ага! – воскликнул Таверне. – Она заинтересовалась... Вот бы никогда не поверил... Тем лучше, черт возьми, тем лучше!

Он медленно вынул из кармана ларец, который вручил ему накануне маршал – так заботливые отцы достают пакетик с конфетами или игрушку, за которыми ребенок с жадностью следит глазами.

– Вот, – проговорил он.

– Драгоценности!.. – ахнула Андре..

– Они тебе нравятся?

Это был очень дорогой жемчужный гарнитур. Дюжина крупных брильянтов соединяла между собой нитки жемчугов. Брильянтовый фермуар, серьги и брильянтовая нить для волос – все это стоило, по меньшей мере, тридцать тысяч экю.

– Боже мой! Отец! – вскрикнула Андре.

– Ну как?

– Это слишком великолепно... Король, должно быть, ошибся. Мне будет стыдно это надеть. У меня же нет подходящих туалетов для таких дорогих камней!

– Ну, ну, ты еще пожалуйся! – насмешливо бросил Таверне.

– Отец, вы меня не понимаете... Мне очень жаль, что я не могу носить эти драгоценности, потому что они слишком хороши.

– Король, подаривший этот ларец, мадмуазель, достаточно богатый сеньор, чтобы подарить вам и платья.

– Но, отец..., эта щедрость короля...

– Вы полагаете, что я ее не заслужил? – спросил Таверне.

– Простите, отец, вы правы, – согласилась Андре, опустив голову; однако сомнения не оставляли ее. Подумав с минуту, она захлопнула ларец.

– Я не стану носить эти брильянты, – заявила она.

– Почему? – встревожился Таверне.

– Потому, отец, что у вас и у брата нет даже самого необходимого, а от этой роскоши у меня заболели глаза, как только я вспомнила о стесненных обстоятельствах, в которых вы живете.

Таверне с улыбкой пожал ей ручку.

– Об этом можешь не беспокоиться, дочь моя. Король осчастливил меня еще более, чем тебя. Мы попали в милость, дорогое дитя мое! И было бы непочтительно и неблагодарно появиться перед его величеством без украшения, которое он тебе соблаговолил преподнести.

– Хорошо, я повинуюсь, отец.

– Да, но ты должна делать это с удовольствием... Кажется, это украшение не очень тебе нравится?

– Я ничего не понимаю в брильянтах, отец.

– Могу тебе сообщить, что только жемчуг стоит пятьдесят тысяч ливров. Андре сложила руки.

– Как странно, что его величество делает мне такие подарки! Что вы на это скажете, отец?

– Я вас не понимаю, мадмуазель, – сухо сказал Таверне.

– Уверяю вас, отец, что, если я надену эти драгоценности, это вызовет толки.

– Почему? – так же сухо спросил Таверне и сурово посмотрел на дочь, опустившую глаза под его холодным взглядом.

– Мне неловко.

– Мадмуазель! Довольно странно, признайтесь, что вы чувствуете неловкость там, где я ее не вижу. Да здравствуют добродетельные девицы, угадывающие зло, как бы хорошо оно ни было скрыто, когда никто его не замечает! Да здравствует наивная и чистая девушка, способная заставить покраснеть меня, старого гренадера!

Андре смутилась и закрыла лицо руками с прелестными перламутровыми ноготками.

– Ах, брат! – прошептала она. – Почему ты так далеко?

Слышал ли Таверне ее слова? Догадался ли он благодаря уже известной читателю прозорливости? Кто знает? Однако он сейчас же изменил тон и, взяв Андре за обе руки, молвил:

– Дитя мое! Разве отец тебе не друг? Нежная улыбка проглянула и заиграла на омрачившемся было личике Андре.

– Разве я здесь не для того, чтобы тебя любить, чтобы дать тебе совет? Разве ты не гордишься тем, что помогаешь преуспеть и брату, и мне?

– Да, да, разумеется, – согласилась Андре. Барон ласково посмотрел на дочь.

– Так вот, – продолжал он, – как справедливо заметил герцог де Ришелье, ты скоро станешь королевой де Таверне... Король тебя отличил... Ее высочество – тоже, – с живостью прибавил он. – В семейном кругу августейших особ ты составишь наше будущее, осчастливив их своим присутствием... Подруга ее высочества, подруга..., короля, какой почет!.. Ты необычайно талантлива и на редкость красива. У тебя чистая душа, ты лишена зависти и честолюбия... Ах, дитя мое, какую роль ты могла бы сыграть! Помнишь девочку, которая усладила последние минуты Карла

Шестого? Ее имя было освящено во Франции... Вспомни Агнессу Сорель, восстановившую честь французской короны! Все истинные французы чтят ее память... Андре, ты будешь посохом нашего славного монарха... Он будет тебя лелеять, как родную дочь, и ты станешь править Францией по праву самой красивой, отважной и преданной.

Андре широко раскрыла глаза от удивления. Не давая ей опомниться, барон продолжал:

– Ты одним своим взглядом прогонишь «века женщин, которые только позорят трон; одно твое присутствие очистит двор. Твоему великодушному влиянию знать всего королевства будет обязана возвращением добрых нравов, хорошего тона, изысканной вежливости. Дочь моя, ты можешь и должна стать путеводной звездой для всего нашего государства и венцом славы для нашей семьи.

– А что я должна для этого сделать? – спросила оглушенная Андре.

– Андре! Я тебе часто говорил, что в этом мире приходится вынуждать людей к тому, чтобы они были добродетельными, заставляя их любить добродетель. Добродетель хмурая, тоскливая, бубнящая поучения, отталкивает даже тех, кто готов был к ней приблизиться. Пусть твоя добродетель будет не лишена кокетства, даже порока. Это под силу такой умной и сильной девушке, как ты. Будь такой ослепительной, чтобы при дворе только и было разговору, что о тебе. Постарайся, чтобы королю было с тобой так приятно, чтобы он не мог без тебя обходиться. Будь очень скрытной, сдержанной со всеми, кроме короля, и ты очень скоро станешь могущественной.

– Я не совсем понимаю, что вы хотите этим сказать, – проговорила Андре.

– Разреши мне тобой руководить. Тебе ничего не придется понимать, только исполнять, что я тебе скажу, – это даже лучше для такой послушной и доброй девочки, как ты. Кстати, чтобы претворить в жизнь первый пункт, я должен наполнить твой кошелек. Возьми сто луидоров и приготовь себе туалет, достойный того уровня, на который тебя поднимает король, оказавший нам честь своим вниманием.

Таверне дал дочери сто луидоров, поцеловал ей ручку и вышел.

Он быстрыми шагами пошел по той аллее, по которой пришел, и не обратил внимания на Николь, стоявшую в роще Амуров; она была увлечена беседой с сеньором, сообщавшим ей что-то на ушко.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Глава 1. ЧТО БЫЛО НУЖНО АЛЬТОТАСУ, ЧТОБЫ ЗАВЕРШИТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭЛИКСИРА ЖИЗНИ

На следующий день после этого разговора, около четырех часов пополудни, Бальзамо в своем кабинете на улице Сен-Клод читал письмо, переданное ему Фрицем. Письмо было без подписи: он так и этак вертел его в руках.

– Мне знаком этот почерк, – говорил он, – не почерк, а каракули, некрасивый, нетвердый, и много орфографических ошибок.

Он стал перечитывать:

«Ваше сиятельство!

Лицо, обращавшееся к вам просить совета за несколько дней до падения последнего министра, а также много раньше, прибудет к Вам сегодня за новым советом. Позволят ли Ваши разнообразные занятия уделить этому лицу полчаса между четырьмя и пятью часами вечера?»

Перечитав письмо во второй или в третий раз, Бальзамо погрузился в размышления.

«Не стоит беспокоить Лоренцу из-за такой малости. И потом, разве я не умею угадывать сам? Каракули – верный признак, что писал аристократ; почерк нетвердый – это свидетельствует о преклонных годах писавшего; много орфографических ошибок: автор – придворный. Какой я глупец! Это же герцог де Ришелье. Разумеется, я уделю вам полчаса, ваша светлость, да хоть час, хоть целый день! Возьмите у меня все время и делайте с ним, что пожелаете. Ведь вы для меня, сами того не зная, являетесь одним из моих тайнственных агентов, одним из моих домашних демонов.

Разве мы с вами заняты не одним и тем же делом? Мы вместе пытаемся расшатать монархию: вы – тем, что хотите стать ее министром, я – тем, что являюсь ее врагом. Я жду вас, ваша светлость!

Бальзамо вынул часы, желая убедиться, долго ли еще ему ждать герцога.

Как раз в эту минуту под потолком зазвенел звонок.

– Что такое? – вздрогнув, проговорил Бальзамо. – Лоренца! Меня зовет Лоренца! Она хочет со мной увидеться. Не случилось ли с ней чего-нибудь? Или, может быть, у нее опять истерический припадок – свидетелем которого мне часто случалось быть, а несколько раз не просто свидетелем, но и жертвой? Еще вчера она была задумчива, смиренна, нежна; вчера она была такой, какой я больше всего ее люблю. Бедная девочка! Ну, пойду.

Он застегнул расшитую рубашку, заправил кружевное жабо под шлафрок, взглянул на свое отражение, желая убедиться, что волосы у него не очень взлохмачены, и пошел по направлению к лестнице, позвонив перед тем в колокольчик, точно так, как это сделала Лоренца.

Бальзамо по привычке остановился в комнате, отделявшей его от Лоренцы; он скрестил руки на груди, повернулся в ту сторону, где по его предположениям должна была находиться Лоренца, и не знаящим преград усилием воли заставил ее уснуть.

Потом он заглянул в едва заметную трещинку в стене, словно сомневался в себе или считал, что необходимо быть особенно осторожным.

Лоренца уснула в тот момент, когда лежала на диване или после приказа своего повелителя упала на него, покачнувшись и ища, на что бы опереться. Ни один художник не мог бы придумать для нее позы более поэтичной, чем та, какую она приняла. Страдая и задыхаясь под тяжестью гипноза, Лоренца походила на одну из прекрасных Ариан кисти Ванлоо: грудь ее бурно вздымалась, голова повисла от отчаяния или изнеможения.

Бальзамо вошел в комнату и, залюбовавшись, остановился перед ней. Он поспешил ее разбудить: она была слишком соблазнительна.

Едва раскрыв глаза, она метнула в него пронзительный взгляд, потом, словно для того, чтобы собраться с мыслями, обеими руками пригладила волосы, сжала губы, приоткрывшиеся было в сладострастном забытии, и, изо всех сил напрягая память, постаралась припомнить, что с ней произошло Бальзамо с беспокойством наблюдал за ней. Он давным-давно привык к ее внезапным переходам от нежной влюбленности к всплескам ненависти и злобы. Теперешняя ее задумчивость была ему внове; хладнокровие Лоренцы, с каким она его принимала, сдерживая привычные уже вспышки злобы, свидетельствовали о том, что на сей раз его ожидает нечто более серьезное, чем то, что ему доводилось видеть до сих пор Лоренца привстала и, тряхнув головой, подняла на Бальзамо бархатные глаза.

– Сядьте, пожалуйста, рядом, – попросила она его. При звуке ее голоса, проникнутого необычайной нежностью, Бальзамо вздрогнул.

– Вы хотите, чтобы я сел? – переспросил он. – Вы прекрасно знаете, Лоренца, что у меня только одно желание: умереть у ваших ног.

– Сударь! – не меняя тона, продолжала Лоренца. – Я прошу вас сесть, хотя не собираюсь долго с вами говорить. Но мне кажется, что будет лучше, если вы сядете, – Нынче, как, впрочем, и всегда, моя дорогая, я готов исполнить любое ваше желание, – ответил Бальзамо и сел в кресло рядом с Лоренцой, сидевшей на диване.

– Сударь! – проговорила она, умоляюще взглянув на Бальзамо. – Я вызвала вас для того, чтобы попросить вас об одной милости.

– Лоренца, любимая моя! – воскликнул в восторге Бальзамо. – Просите все, что хотите, все!

– Я хочу только одного, но предупреждаю вас: это мое самое сильное желание.

– Говорите, Лоренца, говорите! Я готов отдать все мое состояние, я полжизни отдам за то, чтобы вы были счастливы!

– Вам это ничего не будет стоить, это займет всего одну минуту вашего времени, – сказала молодая женщина.

Обрадованный тем, что разговор протекает так спокойно, Бальзамо, обладавший богатым воображением, попытался представить себе, какие желания могли появиться у Лоренцы и какие он мог бы удовлетворить.

«Она у меня сейчас попросит служанку или подругу, – думал он. – Ну что же, это огромная жертва, потому что мне придется подвергнуть риску свою тайну и тайну моих друзей, но я готов на него пойти, потому что бедняжка томится в одиночестве».

– Ну говорите же, Лоренца, – проговорил он, глядя на нее с нежной улыбкой.

– Сударь! Вы знаете, что я умираю от тоски и одиночества, – молвила она.

Бальзамо в знак согласия опустил голову и вздохнул.

– Моя молодость пропадает понапрасну, – продолжала Лоренца, – мои дни проходят в слезах, мои ночи – это нескончаемый ужас. Я угасаю в тоске и одиночестве – Вы сами избрали себе такую жизнь, Лоренца, – отвечал Бальзамо, – и не моя вина, что образ жизни, который вас теперь приводит в уныние, вы сами предпочли тому, которому могла бы позавидовать королева.

– Пусть так. Но вы видите, что я обращаюсь к вам.

– Благодарю вас, Лоренца.

– Не вы ли мне неоднократно говорили, что вы – христианин, хотя...

– Хотя вы полагаете, что я погубил свою душу, вы это хотите сказать? Я правильно закончил вашу мысль, Лоренца?

– Прошу вас выслушать то, что я скажу, и ничего за меня не додумывать.

– Продолжайте, пожалуйста.

– Вместо того, чтобы вызывать во мне ненависть и доводить меня до отчаяния, окажите мне, раз уж я ни на что не гождусь...

Она замолчала и посмотрела на Бальзамо. Но он уже овладел собой и ответил ей холодным взглядом, нахмутив брови.

Она затрепетала под его почти угрожающим взглядом.

– Окажите мне милость, – продолжала она. – Я не прошу у вас свободы, нет, я знаю, что по Божьей, вернее, по вашей воле, – ведь вы мне кажетесь всемогущим, – я обречена на пожизненное заточение. Позвольте мне хоть изредка видеть человеческие лица, слышать не только ваш голос, позвольте мне выходить, двигаться, чувствовать, что я еще живу.

– Я предвидел это ваше желание, Лоренца, – проговорил Бальзамо, беря ее за руку, – и вы знаете, что уже давно я тоже этого хочу.

– Правда?! – вскричала Лоренца.

– Но вы же пригрозили, что предадите меня, когда я потерял голову от любви... Я позволил вам проникнуть в некоторые свои научные и политические тайны. Вы знаете, что Альтотас нашел философский камень и ищет секрет вечной молодости, – это из области науки. Вы знаете, что я и мои друзья замысливаем свержение монархии, – это из области политики. За одну из этих тайн меня могут приговорить к сожжению на костре, как колдуна; за другую меня колесуют как за государственную измену. А вы мне угрожали, Лоренца; вы мне сказали, что любой ценой хотели бы вновь обрести свободу ради того, чтобы прежде всего донести на меня де Сартину. Ведь это же ваши слова?

– Что вы от меня хотите!.. Я порой прихожу в отчаяние и тогда..., тогда я теряю разум.

– А сейчас вы спокойны? Достаточно ли вы благоразумны в эту минуту, чтобы мы могли поговорить?

– Надеюсь, что да.

– Если я возвращу вам свободу, о которой вы меня просите, могу ли я надеяться, что вы будете мне преданной и покорной женой, что я найду в вас верную и нежную душу? Вы знаете, что это мое заветное желание, Лоренца.

Молодая женщина молчала.

– Сможете ли вы меня полюбить? – со вздохом закончил Бальзамо.

– Я не хочу обещать вам то, что не могла бы исполнить, – молвила Лоренца. – Ни любовь, ни ненависть от нас не зависят. Я надеюсь, что Господь в награду за ваши добрые дела поможет мне избавиться от ненависти и полюбить вас.

– К сожалению, такого обещания недостаточно, Лоренца, чтобы я мог вам довериться. Я хочу от вас услышать клятву верности, священную клятву, нарушение которой было бы святотатством. Это должна быть такая клятва, которая связала бы вас и в этой, и в той жизни, а в случае

вашего предательства она должна привести вас к смерти в этом мире и к вечному проклятию – в том.

Лоренца не проронила ни звука.

– Готовы ли вы принести такую клятву? Лоренца уронила голову и спрятала лицо в ладонях, ее грудь бурно вздымалась от охвативших ее противоречивых чувств.

– Поклянитесь мне, Лоренца, так, как я этого от вас прошу, со всей торжественностью, коей будет сопровождаться ваша клятва, и вы свободны.

– Чем я должна поклясться?

– Поклянитесь, что никогда, ни под каким предлогом, ничто из того, что вы узнали о занятиях Альтотаса, вы никому не откроете.

– Клянусь!

– Поклянитесь, что вы никогда не разгласите того, что знаете о наших собраниях.

– И в этом клянусь!

– И вы готовы принести такую клятву, какую я вам предложу?

– Да. И это все?

– Нет. Поклянитесь, – и это самое главное, Лоренца, потому что другие клятвы затрагивают меня косвенно, а в этой клятве заключено все мое счастье, – поклянитесь, что никогда не покинете меня. Поклянитесь, и вы свободны.

Молодая женщина вздрогнула, почувствовав, как ее сердце словно пронзил стальной клинок.

– Как я должна произнести эту клятву?

– Мы вместе отправимся в церковь, Лоренца. Мы вместе причастимся одной просфорой. На этой просфоре вы и поклянетесь никогда не рассказывать ни об Альтотасе, ни о моих товарищах. Вы поклянетесь никогда не разлучаться со мной. Мы разделим просфору пополам и следим ее, поклявшись перед всемогущим Богом: вы – в том, что никогда меня не предадите, я – в том, что составлю ваше счастье.

– Нет, – возразила Лоренца, – подобная клятва – кощунство.

– Клятва может быть кощунством только тогда, Лоренца, – с грустью заметил Бальзамо, – когда она произносится с намерением нарушить ее.

– Я не стану приносить эту клятву, – продолжала упорствовать Лоренца.

– Я боюсь погубить свою душу.

– Повторяю вам, что вы сгубили бы душу не тогда, когда произносили бы эту клятву, а в том случае, если бы нарушили ее.

– Я не буду клясться.

– В таком случае наберитесь терпения, Лоренца, – проговорил Бальзамо не со злобой, а с глубоким сожалением.

Лоренца помрачнела, словно туча набежала внезапно и нависла над цветущей лужайкой.

– Значит, вы мне отказываете? – спросила она.

– Нет, Лоренца, это вы отказываете мне. Нервное движение Лоренцы выдало нетерпение, охватившее ее при этих словах.

– Послушайте, Лоренца, – обратился к ней Бальзамо, – я кое-что могу для вас сделать, и сделать немало, можете мне поверить.

– Говорите, – горько улыбнувшись, проговорила молодая женщина, – Посмотрим, как далеко может зайти щедрость, о которой вы так любите разглагольствовать.

– Бог, случай или судьба, – называйте это, как хотите, Лоренца, – связали нас неразрывными узами. Не стоит пытаться разорвать их в этой жизни, это под силу только смерти.

– Ну, это я уже слышала, – нетерпеливо проговорила Лоренца.

– Так вот через неделю, Лоренца, чего бы мне это ни стоило и как бы ни велик был риск, у вас будет подруга.

– Где? – спросила она.

– Здесь.

– Здесь?! – вскричала она. – За этими решетками, за железными дверьми? Подруга по зато-

чению? Вы ничего не поняли, сударь, я совсем не этого у вас прошу.

– Это все, что в моих силах, Лоренца! Молодая женщина сделала еще более нетерпеливое движение.

– Дорогая моя! Дорогая моя! – ласково продолжал Бальзамо. – Подумайте хорошенько: из нас двоих вам легче перенести все тяготы этого вынужденного несчастья.

– Ошибаетесь, сударь! До сей минуты я страдала только за себя, а не за другого. И я не могу долее выдержать испытание, которому, насколько я понимаю, вы хотели бы меня подвергнуть. Пусть вы поместите рядом со мной такую же жертву, как я. Я буду видеть, как она худеет, бледнеет, чахнет от страданий, как я; я буду слышать, как она стучит, как и я раньше, вот в эту стену, в эту постыльную дверь, которую я по сто раз на день разглядываю, пытаюсь понять, как она открывается, пропуская вас сюда. А когда эта жертва, моя подруга, обломает, как я, ногти об дерево и мрамор, тщетно пытаюсь разбить доски или раздвинуть плиты; когда она, как я, выплачет все глаза; когда она, как я, станет мертвой, и вместо одного перед вами будут два трупа, вы со свойственной вам дьявольской добротой скажете: «Этим двум девочкам весело вместе, они счастливы.» Нет, нет, тысячу раз нет! И она в сердцах топнула ногой. Бальзамо еще раз попытался ее успокоить.

– Ну ну, Лоренца, – молвил он, – не волнуйтесь, будьте благоразумны, умоляю вас.

– И он еще просит меня не волноваться! Он просит меня образумиться! Палач просит снисхождения у жертвы, которую он мучает!

– Да, я прошу вас быть благоразумной и снисходительной, потому что ваши приступы гнева ничего не меняют в нашей общей судьбе, они причиняют боль, только и всего. Примите то, что я вам предлагаю, Лоренца; я дам вам подругу, которая полюбит рабство за то, что оно одарит ее вашей дружбой. Вы напрасно опасаетесь, что увидите грустное, залитое слезами лицо; напротив, ее улыбка, ее веселый нрав развеселят и вас. Милая Лоренца, согласитесь на мое предложение. Могу поклясться, что большего я не могу вам предложить.

– Иными словами, вы поселите рядом со мной наемницу и скажете ей, что тут живет одна сумасшедшая, несчастная женщина, безнадежно больная, вы придумаете мне какую-нибудь болезнь. «Заточите себя вместе с этой сумасшедшей, пообещайте, что будете верно ей служить, и я заплачу вам за ваши услуги, как только бедняжка умрет».

– Ах, Лоренца, Лоренца! – прошептал Бальзамо.

– Нет, все будет не так, я ошиблась, да? – насмешливо продолжала Лоренца. – Я недогадлива, ничего не подделаешь! Я несведуща, я так плохо знаю свет!.. Вы можете сказать этой женщине: «Будьте бдительны: эта сумасшедшая опасна; предупреждайте меня о каждом ее шаге, о всякой мысли; следите за ней днем и ночью». И вы дадите ей столько золота, сколько она пожелает: золото вам достается даром – ведь вы сами его делаете.

– Лоренца! Вы заблуждаетесь; во имя Неба, Лоренца, постарайтесь прочесть то, что у меня в сердце. Дать вам подругу значило бы поставить под удар дело всей моей жизни; если бы не ваша ненависть, вы оценили бы мою жертву... Дать вам подругу, как я уже сказал, это значит подвергнуть риску мою безопасность, мою свободу, жизнь. Однако я готов на это, лишь бы вас избавить от огорчений.

– Огорчений! – вскричала Лоренца с диким хохотом, заставившим Бальзамо содрогнуться. – И он называет это огорчениями!

– Ну хорошо, страдания... Да, вы правы. Лоренца, это невыносимые страдания. Да, Лоренца! Что ж, повторяю: потерпите, придет день, когда кончатся все ваши страдания; придет время, и вы станете свободной; настанет время, когда вы станете счастливой.

– Позвольте мне удалиться в монастырь! Я хочу дать обет.

– В монастырь?

– Я буду молиться, я буду молиться прежде всего за вас, а уж потом за себя. Я буду там заперта, это верно, но ведь у меня будет и сад, и свежий воздух, и простор, и кладбище, где я буду гулять среди могил, подыскивая место и для себя. У меня будут подруги, по-своему несчастливые, у каждой из них своя горькая доля. Позвольте мне удалиться в монастырь, и я дам вам любые клятвы, какие вы только пожелаете. Монастырь, Бальзамо, монастырь! На коленях умоляю вас об этой милости!

– Лоренца! Лоренца! Мы не можем разлучиться. Мы навсегда связаны в этой жизни, слышите? Не просите у меня ничего, что выходит за пределы этого дома.

Бальзамо произнес эти слова отчетливо и в то же время сдержанно, тоном, не допускавшим возражений; Лоренца больше не настаивала.

– Значит, вы этого не хотите? – с убитым видом прошептала она.

– Не могу.

– Это ваше последнее слово?

– Да.

– Ну что же, тогда я попрошу вас о другом, – с улыбкой проговорила она.

– Милая Лоренца! Улыбнитесь еще, вот так же, и можете просить у меня, что только пожелаете.

– Вы готовы исполнить любую мою прихоть, лишь бы я делала все, чего вы от меня требуете, ведь правда? Что ж, пусть так. Я постараюсь быть благоразумной.

– Говорите, Лоренца, говорите!

– Только что вы мне сказали: «Придет день, Лоренца, и ты не будешь больше страдать, наступит время, и ты станешь свободной и счастливой».

– Да, я так сказал и клянусь Небом, что жду этого дня, как и вы, с нетерпением.

– Это время может наступить теперь, Бальзамо, – проговорила молодая женщина с ласковой улыбкой, какую ее муж видел у нее на лице только когда она засыпала. – Я устала, знаете, очень устала. Это нетрудно понять: будучи молодой, я уже столько выстрадала! Так вот, друг мой, – ведь вы говорите, что вы мне друг, – выслушайте меня: сделайте так, чтобы этот счастливый день наступил сию минуту.

– Я слушаю вас, – молвил Бальзамо, охваченный необычайным волнением.

– Я заканчиваю свою речь просьбой, с которой мне следовало бы начать, Ашарат. Молодая женщина вздрогнула.

– Говорите, дорогая.

– Я не раз замечала во время ваших опытов над несчастными тварями – вы говорили, что эти опыты необходимы для человечества, – я замечала, что вы владеете секретом смерти: то он заключался в капле яда, то во вскрытой вене; и смерть эта была тихой и скорой, а несчастные, ни в чем не повинные животные, обреченные, как и я, на заточение, мгновенно становились после смерти свободными; и это было первым и единственным благодеянием, оказанным бедным тварям с самого их рождения. Так вот...

Она остановилась и побледнела.

– Что, Лоренца? – спросил Бальзамо.

– Сделайте ради меня то, что вы порой делаете в интересах науки с несчастными животными, сделайте это во имя человечности; сделайте это для подруги, благословляющей вас от всей души, для подруги, готовой из признательности целовать вам руки, если вы окажете ей милость, о которой она вас умоляет. Сделайте это, Бальзамо, для меня, на коленях прошу вас об этом, и я обещаю вам, что с последним вздохом я одарю вас такой любовью и радостью, какой вы не увидите от меня за всю мою жизнь. Вы сделали бы это ради меня, и я обещаю вам, что буду искренне радоваться в то мгновение, когда покину этот мир. Бальзамо, душой вашей матери, кровью нашего Бога, всем, что есть святого в мире живых и в мире мертвых, заклинаю вас: убейте меня! Убейте меня!

– Лоренца! – вскричал Бальзамо, притянув к себе вскочившую с этими словами молодую женщину. – Лоренца, ты бредишь! Чтобы я тебя убил!.. Ты – моя любовь! Ты – моя жизнь!

Лоренца резким движением высвободилась из объятий Бальзамо и рухнула на колени.

– Я не встану, – сказала она, – пока вы не исполните моей просьбы. Умертвите меня тихо, без боли; окажите мне эту милость, ведь вы говорите, что любите меня; усыпите меня, как вы часто делаете, но избавьте меня от пробуждения, от разочарования.

– Лоренца, дорогая! – заговорил Бальзамо, – Боже мой, неужели вы не видите, что у меня сердце разрывается? Неужели вы так несчастливы? Встаньте, Лоренца, не надо впадать в отчаяние. Неужто вы так меня ненавидите?

– Я ненавижу рабство, пытки, одиночество, а раз вы превращаете меня в рабу, в несчастную и одинокую, значит, я ненавижу и вас.

– Но я безумно люблю вас и не могу видеть, как вы умираете. Значит, вы не умрете, Лоренца, и я займусь самым трудным лечением, которое когда-либо мне приходилось проводить: я заставлю вас полюбить жизнь, моя Лоренца!

– Нет, нет, это невозможно: вы уже заставили меня пожелать смерти.

– Лоренца, сжальтесь надо мной, я вам обещаю, что очень скоро...

– Смерть или жизнь! – воскликнула молодая женщина, приходя постепенно во все большее возбуждение от своей ярости. – Сегодня – крайний срок. Согласны ли вы лишить меня жизни, иными словами – дать мне успокоение?

– Жизнь, Лоренца, только жизнь.

– Тогда свободу! Бальзамо молчал.

– В таком случае – смерть, тихая смерть от какого-нибудь зелья, укола иглой, смерть во время сна: покой! покой! покой!

– Жизнь и терпение, Лоренца.

Лоренца расхохоталась адским хохотом и, отскочив, выхватила из-за пазухи нож с тонким и острым лезвием, словно молния, сверкнувшим у нее в руке.

Бальзамо вскрикнул, но было поздно: он не успел отвести ее руку, и нож вонзился в грудь Лоренцы. Бальзамо был ослеплен вспышкой и видом крови.

Он закричал и, обхватив Лоренцу руками, на лету поймал нож, готовый опуститься снова.

Лоренца резким движением попыталась высвободить нож, и лезвие прошло между пальцев Бальзамо.

Из раны хлынула кровь.

Вместо того, чтобы продолжать борьбу, Бальзамо протянул окровавленную руку к молодой женщине и властно проговорил:

– Усните, Лоренца! Усните! Я приказываю! Но она была так сильно возбуждена, что повиновалась не сразу.

– Нет, нет, – прошептала Лоренца, пошатываясь и пытаясь еще раз вонзить нож себе в грудь. – Нет, я не буду спать!

– Усните, я вам говорю! – шагнув к ней, повторил Бальзамо. – Спите, я так хочу!

На сей раз сила воли Бальзамо оказалась такой мощной, что всякое сопротивление было сломлено. Лоренца вздохнула, выронила нож, зашаталась и рухнула на подушки.

Только глаза ее оставались открытыми, однако ее пылавший ненавистью взор постепенно угасал, и скоро глаза закрылись. Напряжение спало, голова склонилась к плечу, как у раненой птицы; нервная дрожь пробежала по всему ее телу. Лоренца заснула.

Только тогда Бальзамо смог растегнуть одежду Лоренцы и осмотреть рану; она показалась ему неопасной. Однако кровь так и хлестала из раны.

Бальзамо нажал кнопку, спрятанную в глазу льва; распрямилась пружина, растворилась потайная дверь. Он отвязал противовес, спустилась подъемная дверь Альтотаса: Бальзамо встал на нее и поднялся в лабораторию старика.

– А-а, это ты, Ашарат? – спросил тот, продолжая сидеть в кресле. – Ты знаешь, что через неделю мне исполняется сто лет? Ты знаешь, что к этому времени мне нужна кровь младенца или девственницы?

Не слушая его, Бальзамо бросился к шкафчику, где хранились магические бальзамы. Он схватил одну из пробирок, содержимое которой ему не раз приходилось испытывать, потом вернулся к подъемному окну, топнул ногой и начал спускаться.

Альтотас подкатил вместе с креслом прямо к отверстию в полу и протянул руки, намереваясь вцепиться в одежду Бальзамо, но опоздал.

– Ты слышишь, несчастный? – прокричал он ему вдогонку. – Слышишь? Если через неделю у меня не будет младенца или девственницы, чтобы завершить составление эликсира, я умру.

Бальзамо обернулся. Глаза старика горели на совершенно неподвижном лице; можно было подумать, что живы одни глаза.

– Да, да, – отвечал Бальзамо. – Да, можешь быть спокоен, у тебя будет то, о чем ты просишь.

Отпустив пружину, он вернул подъемное окно на прежнее место: оно сейчас же слилось с потолком, представляя собой часть орнамента.

Затем он поспешил в комнату Лоренцы, но, едва войдя туда, услышал звонок Фрица.

– Герцог де Ришелье, – пробормотал Бальзамо. – Ну ничего, герцог и пэр может и подождать!

Глава 2. ПРИВОРОТНОЕ ЗЕЛЬЕ ГЕРЦОГА ДЕ РИШЕЛЬЕ

В половине пятого герцог де Ришелье покинул особняк на улице Сен-Клод.

В свое время читатель узнает, зачем он приходил к Бальзамо.

Барон де Таверне ужинал у дочери. Ее высочество в этот день предоставила Андре полную свободу, чтобы она могла принять у себя отца.

Герцог де Ришелье вошел в тот момент, когда подавали десерт. Он по-прежнему приносил в семью Таверне только хорошие вести: он сообщил своему другу, что утром король во всеуслышание объявил, что хочет дать Филиппу не роту, а полк.

Таверне проявил бурную радость, Андре горячо поблагодарила маршала.

Беседа потекла так, как ей и следовало после того, что произошло. Ришелье продолжал рассказывать о короле, Андре без умолку говорила о брате, а Таверне – о достоинствах Андре.

В разговоре девушка упомянула о том, что она до самого утра свободна от службы у ее высочества, что ее высочество принимает в этот день двух немецких принцев, приходящихся ей родней; желая почувствовать себя хоть на несколько часов свободной и вспомнить те времена, когда она жила при дворе в Вене, Мария-Антуанетта не захотела видеть французских слуг и даже удалила фрейлину. Это так потрясло герцогиню де Ноай, что она побежала жаловаться королю, Барону де Таверне очень нравилась, как он говорил, свобода Андре, с которой она рассказывала о вещах, от которых непосредственно зависели состояние и слава семьи Таверне. Услышав это, Ришелье сказал, что готов удалиться, чтобы не мешать отцу пооткровенничать с дочерью. Мадмуазель де Таверне запротестовала, и Ришелье остался.

Ришелье живописал плачевное состояние, в котором оказалась французская знать, вынужденная сносить постыдное иго случайных фаворитов, подпольных владычиц, вместо того, чтобы иметь дело с такими фаворитками, как в былые времена; ведь тогда это были дамы почти столь же знатного происхождения, что и их августейшие любовники; дамы покоряли принцев крови своей красотой и любовью, а подданных – благородным происхождением, умом и верностью интересам страны.

Слова Ришелье совпали с тем, о чем вот уже несколько дней говорил Андре барон де Таверне, и это ее удивило.

Ришелье перешел к изложению своей теории добродетели, теории возвышенной, языческой и, вместе с тем, истинно французской; мадмуазель де Таверне была вынуждена признать, что она ни в коей мере не добродетельна. Настоящей добродетелью, как понимал ее маршал, обладали г-жа де Шатору, мадмуазель де ла Вольер и мадмуазель де Фосез.

От слова к слову, от доказательства к доказательству, мысль Ришелье становилась настолько прозрачной, что Андре вообще перестала ее понимать.

Беседа продолжалась в том же духе часов до семи вечера.

Когда часы пробили семь, герцог поднялся: ему было пора, по его словам, отправляться ко двору в Версаль.

Пройдясь по комнате в поисках шляпы, он наткнулся на Николь: она всегда старалась найти себе какое-нибудь дело поблизости от того места, где находился герцог де Ришелье.

– Малышка! – воскликнул он, потрепав ее по плечу. – Проводи-ка меня! Отнесешь цветы, которые герцогиня де Ноай приказала нарвать с клумбы и которые она посылает со мной графине д'Эгмон.

Николь поклонилась, как пастушка из комической оперы Руссо.

Маршал попрощался с бароном и его дочерью, обменялся с Таверне многозначительным

взглядом, молодцевато раскланялся с Андре и вышел.

Мы просим позволения у читателя оставить барона и Андре: пусть они обсуждают новую милость, оказанную Филиппу, а мы последуем за маршалом. Мы узнаем, зачем он ездил на улицу Сен-Клод, куда прибыл, как мы помним, в страшную минуту.

Кстати, принципы морали, которыми руководствовался барон, были, пожалуй, еще жестче, чем у маршала; они могли бы оскорбить слух человека, обладающего и не такой нежной душой, как у Андре, и, следовательно, способного понять больше, нежели наивная девушка.

Итак, Ришелье спустился по лестнице, опираясь на плечо Николь, и, как только они оказались у клумбы, остановился и заглянул ей в лицо со словами:

– Ах, вот как, малышка? – сказал он. – Так у нас теперь есть любовник?

– У меня, господин маршал?! – воскликнула Николь, сильно покраснев и отступив на шаг.

– Может, ты не Николь Леге, а?

– Точно так, господин маршал.

– Так вот, у Николь Леге есть любовник.

– Скажете тоже!

– Да, черт побери! Этот бездельник недурно сложен, она его принимала на улице Кок-Эрон, а потом он последовал за ней в окрестности Версаля.

– Клянусь вам, ваша светлость...

– Он, кажется, гвардеец, а зовут его... Хочешь, малышка, я тебе скажу, как зовут любовника мадмуазель Николь Леге?

У Николь оставалась единственная надежда, что маршал не знает имя этого счастливейшего из смертных.

– Ну что же, господин маршал, договаривайте, раз уж начали.

– Его зовут господин де Босир, и, по правде говоря, он оправдывает свое имя.

Николь прижала руки к груди, попытавшись сделать вид, что она пристыжена, но это не произвело на маршала никакого впечатления.

– Кажется, мы назначаем в Трианоне свидания, – продолжал он. – Дьявольщина!

В королевской резиденции – это не шутки! Да за такие проделки недолго и места лишиться, прелестное дитя, а господин де Сартин отправляет всех уволенных из королевских замков девушек прямо в Сальпетриер.

Николь почувствовала некоторое беспокойство.

– Ваша светлость! – заговорила она. – Клянусь, что если господин де Босир и похвастается тем, что он – мой любовник, то он просто фат и мерзавец, потому что на самом деле я ни в чем не виновата.

– Я не отрицаю того, что он фат и мерзавец, – отвечал Ришелье, – но ведь ты назначала свидания? Да или нет?

– Ваша светлость! Свидание – еще не улика.

– Назначала ты свидания или не назначала? Отвечай!

– Ваша светлость...

– Назначала... Прекрасно! Я тебя не осуждаю, милое дитя. Я люблю юных прелестниц, которые не прячут своей красоты, я и сам в молодости умел ценить красоту. Однако, будучи твоим другом и покровителем, я хочу тебя предупредить.

– Так меня видели?... – спросила Николь.

– Очевидно, да, раз я об этом знаю.

– Ваша светлость, никто меня не видел, – решительно заявила Николь, – потому что это просто невозможно.

– Я ничего не знаю наверное, но такие слухи ходят, и это бросает тень на твою хозяйку. А ты понимаешь, что я более близкий друг семейству Таверне, нежели семье Леге, и мой долг – шепнуть барону два слова о том, что происходит.

– Ах, ваша светлость! – вскричала Николь, напуганная разговором, принимавшим такой оборот. – Вы меня погубите. Ведь даже если я и невиновна, меня прогонят по одному подозрению!

– Что же делать, деточка? Значит, тебя прогонят. Уж не знаю, какой злодей мог найти в этих

свиданиях что-то дурное, но, как бы невинны они ни были, о них уже доложили герцогине де Ноай.

– Герцогине де Ноай! Боже милостивый!

– Да, ты сама видишь, что дело не терпит отлагательств.

Николь в отчаянии всплеснула руками.

– Это неприятно, я понимаю, – продолжал Ришелье. – Что же ты собираешься делать?

– А вы? Ведь вы только что называли себя моим покровителем, и вы это доказали... Неужели вы не можете меня защитить? – спросила Николь с лукавством, присущим скорее опытной женщине.

– Конечно, могу, черт побери.

– И что же, ваша светлость?..

– Могу, но не хочу!

– Как, господин герцог?

– Да, ты милая девушка, я знаю, и твои прелестные глазки многое мне говорят, но я уже почти совсем ослеп, бедняжка Николь, и не понимаю языка прелестных глаз. Когда-то я мог бы предложить тебе приют в особняке ГанOVER, а сегодня к чему мне это? Нам не о чем было бы даже поболтать.

– Однако вы уже возили меня в свой особняк, – поморщившись заметила Николь.

– Как нелюбезно с твоей стороны, Николь, упрекать меня в том, что я возил тебя в свой особняк! Ведь я это сделал для того, чтобы оказать тебе услугу. Признайся, что без волшебной воды господина Раффе, превратившей тебя в прелестную брюнетку, ты не попала бы в Трианон, В конце концов, стоило ли это затевать только ради того, чтобы тебя прогнали, но, с другой стороны, ты сама виновата: за каким чертом назначаешь свидания господину де Босиру, да еще прямо у входа в конюшни?

– Вы даже это знаете? – спросила Николь, решив изменить тактику и всецело положиться на благородство маршала.

– Черт побери! Ты же сама видишь, что мне известно, и не только мне, но и герцогине де Ноай. Да у тебя же свидание назначено на сегодняшний вечер...

– Это правда, ваша светлость Но даю вам слово, что я не пойду – Разумеется, я же тебя предупредил, зато господин де Босир придет: ведь его никто не предупреждал, и его схватят Естественно, он не захочет, чтобы его повесили, как вора, или наказали палками, как шпиона, он предпочтет сказать правду, тем более, что в этом не так уж неприятно признаться: «Отпустите меня, я – любовник малышки Николь».

– Ваша светлость, я дам ему знать.

– Дать ему знать ты не сможешь, бедняжка: через кого, хотел бы я знать, ты его предупредишь? Может, через того, кто тебя выдал?

– Да, да, вы правы, – отвечала Николь, разыгрывая отчаяние.

– Раскаяние тебе к лицу! – воскликнул Ришелье. Николь спрятала лицо в ладонях, но так, чтобы сквозь пальцы можно было хорошо видеть и не упустить ни одного движения, ни единого взгляда Ришелье.

– Ты в самом деле восхитительна, – проговорил герцог, от которого не скрылась ни одна из ее женских хитростей. – Ах, если бы мне сбросить лет пятьдесят! Ну хорошо, черт меня подери! Николь, я хочу тебе помочь!

– Ах, ваша светлость, если вы исполните свое обещание моя признательность...

– Не нужно мне ничего, Николь. Я готов оказать тебе услугу просто так

– Это очень мило с вашей стороны, ваша светлость, я вам так благодарна – Подожди благодарить. Ты же еще ничего не знаешь.

Сначала выслушай меня.

– Я на все согласна, ваша светлость, лишь бы мадмуазель Андре меня не прогнала.

– Так ты, значит, очень хочешь остаться в Трианоне?

– Больше всего на свете, ваша светлость.

– Вот что, милая девочка; выброси это из головы.

- Но ведь никто меня не видел, ваша светлость?
- Видел или нет, тебе все равно придется отсюда убираться.
- Почему?
- Сейчас я все тебе объясню: если тебя видела герцогиня де Ноай, надеяться тебе не на что: даже король тебя не спасет.
- Ах, если бы я могла увидаться с королем!..
- Только этого не хватало, детка! И потом, я сам позабочусь о том, чтобы тебя здесь не было.
- Вы?
- И притом немедленно!
- Откровенно говоря, господин маршал, я ничего не понимаю.
- Как я сказал, так и будет.
- Так вот оно, ваше покровительство?
- Если мое покровительство тебе не нравится, еще есть время, скажи только одно слово, Николь...
- Что вы, ваша светлость, напротив, оно мне просто необходимо.
- Я готов тебе его оказать.
- Спасибо.
- Вот что я готов для тебя сделать, послушай!
- Слушаю, ваша светлость.
- Вместо того, чтобы позволить кому-нибудь выгнать тебя и посадить в тюрьму, я сделаю тебя свободной и богатой.
- Свободной и богатой?
- Да.
- А что от меня требуется, чтобы я стала свободной и богатой? Скажите скорее, господин маршал!
- От тебя требуется сущая безделица.
- Ну а все-таки?
- То, что я тебе прикажу.
- Это очень трудно?
- Что ты! Это и ребенку по силам!
- Я, стало быть, должна что-то сделать?
- Еще бы! Ты же знаешь закон нашей жизни, Николь: услуга за услугу.
- А то, что я должна буду исполнить, нужно мне или вам?
- Герцог взглянул на Николь.
- «Ей-богу, маленькая проказница не такая простушка!» – подумал он.
- Договаривайте, ваша светлость.
- Скорее это нужно тебе, – решительно отвечал маршал.
- Так что же я должна для себя сделать, ваша светлость? – спросила Николь. Она уже начала догадываться, что нужна маршалу. Она перестала его бояться. Ее изобретательный ум изо всех сил пытался разгадать загадку, несмотря на все уловки собеседника.
- Господин де Босир прибудет в половине восьмого?
- Да, господин маршал, это его обычное время.
- Сейчас десять минут восьмого.
- Верно.
- Если я пожелаю, он будет схвачен.
- Да, но вы этого не хотите.
- Нет. Ты пойдешь к нему и скажешь...
- Что я должна ему сказать?
- Сначала ответь мне, Николь, любишь ли ты его.
- Ну, раз я назначаю ему свидания...
- Это еще не доказательство. Может быть, ты хочешь выйти за него замуж: у женщин быва-ют иногда такие странные причуды!

Николь расхохоталась.

– Чтобы я вышла за него замуж? Ришелье был поражен. Даже при дворе нечасто случалось встретить женщину, обладающую такой силой воли.

– Хорошо. Допустим, ты не собираешься выходить за него замуж. Но ведь ты его любишь?

– Положим, что я люблю господина де Босира. А теперь оставим эту тему и перейдем к другой.

– Дьявольщина! Что за плутовка! Куда нам торопиться?

– А как же? Вы должны понимать, что меня интересует...

– Что?

– Я хочу знать, что я должна сделать.

– Прежде всего уговоримся вот о чем: раз ты его любишь, ты должна с ним сбежать.

– Господи! Если уж вы этого так хотите, пожалуй, придется...

– Что ты, детка? Да я ничего не хочу!

Николь поняла, что поторопилась: она не успела еще ни разнюхать тайны, ни выклянчить у своего хитрого противника денег.

Она покорилась, но только затем, чтобы отыгаться, когда придет ее время.

– Ваша светлость! – сказала она. – Я жду ваших приказаний.

– Так вот, ты пойдешь к господину де Босиру и скажешь: «Нас видели вместе, но у меня есть покровитель, он нас спасет: вас – от Сен-Лазар, меня – от Сальпетриер. Давайте убежим!»

Николь взглянула на Ришелье.

– «Давайте убежим», – повторила она. Ришелье понял ее выразительный взгляд.

– Ну, конечно, черт побери, я возьму на себя дорожные расходы.

Николь это предложение было по душе. Теперь она со что бы то ни стало решила разузнать все, чтобы понять, за что ей платят.

Маршал понял намерение Николь и поспешил сказать все, что он должен был сказать, как обыкновенно торопятся расплатиться с долгами, чтобы поскорее о них позабыть.

– Я знаю, о чем ты думаешь, – проговорил он.

– О чем? Вам так много известно, господин маршал! Бьюсь об заклад, что вы знаете это лучше меня.

– Ты думаешь, что если сбежишь, то твоя хозяйка может случайно тебя хватиться ночью и, не найдя, поднимет тревогу. Одним словом, тебя могут скоро догнать.

– Нет, – отвечала Николь, – я думала не об этом. Видите ли, господин маршал, я не вижу причин, по которым я не могла бы здесь остаться.

– А если господина де Босира арестуют?

– Ну и пусть арестуют.

– А если он признается?

– Пусть признается – Тогда можешь считать, что ты пропажа, – сказал Ришелье, чувствуя, как в его сердце зашевелилось беспокойство.

– Нет, потому что мадмуазель Андре – добрая и в глубине души любит меня. Она попросит обо мне короля, и если даже господина де Босира накажут, то мне-то ничего не будет.

Маршал прикусил язык.

– А я тебе говорю, Николь, что ты – дурочка, – снова заговорил он. – У мадмуазель Андре не настолько хороши отношения с королем, чтобы она стала о тебе хлопотать, а я прикажу тебя немедленно схватить, если ты не захочешь прислушаться к моим словам. Ты меня поняла, змея?

– Да ведь не круглая же я дура, ваша светлость! Я слушаю, а про себя взвешиваю все «за» и «против».

– Ну, хорошо. Итак, ты сию минуту пойдешь к господину де Босиру, и вы вместе обдумаете план побега.

– Как же я могу сбежать, господин маршал? Ведь вы сами мне сказали, что мадмуазель может проснуться, хватиться меня, позвать, да мало ли что? Сразу я о многом не подумала, но вы сами, ваша светлость, предупредили меня, ведь вы – человек опытный.

Ришелье в другой раз прикусил язык, да еще посильнее, чем прежде.

- Ну что ж, я и об этом подумал, чертовка. Я придумал, как избежать огласки.
- Как же можно помешать госпоже меня позвать?
- Надо не дать ей проснуться.
- Что вы! За ночь она просыпается раз десять. Это невозможно.
- Так она, значит, страдает тем же недугом, что и я? – с невозмутимым видом молвил Ришелье.
- Что и вы? – смеясь, переспросила Николь.
- Разумеется, ведь я тоже часто просыпаюсь. Впрочем, у меня есть против бессонницы одно средство. Вот и она поступит, как я. А если не она сама, так ты ей поможешь.
- Как же это, ваша светлость?
- Что пьет твоя хозяйка перед сном?
- Что она пьет?
- Да, теперь пошла мода предупреждать жажду: одни пьют оранжад или лимонную воду, другие воду с мелиссой, третьи...
- Мадмуазель выпивает перед сном только стакан воды, иногда с сахаром или с апельсиновой эссенцией, когда бывает чересчур возбуждена.
- Отлично! – воскликнул Ришелье. – Ну точь-в-точь как я! Значит, мое лекарство ей подойдет.
- Какое лекарство?
- Я добавляю в свое питье одну каплю некой жидкости и сплю всю ночь, не просыпаясь. Николь старалась додуматься, к чему клонил маршал.
- Почему ты молчишь? – спросил он.
- Мне кажется, что у мадмуазель нет такого лекарства, как у вас.
- Я тебе его дам.
- «Ага!» – подумала Николь, начиная, наконец, догадываться о намерениях маршала.
- Ты добавишь две капли своей хозяйке в питье – две капли, слышишь? ни больше, ни меньше, – и она заснет, заснет так, что не будет тебя звать ночью, и у тебя будет довольно времени, чтобы скрыться.
- Если это все, что нужно сделать, то это совсем не трудно.
- Так ты согласна подмешать эти две капли?
- Разумеется.
- Можешь мне это пообещать?
- Мне кажется, это в моих интересах; а потом я хорошенько запру дверь и...
- Нет, нет, – с живостью возразил Ришелье. – Вот этого тебе как раз и не стоит делать. Напротив, ты должна оставить дверь незапертой.
- Да ну?! – воскликнула Николь, ликуя в душе. Она, наконец, поняла, и Ришелье это почуял.
- Это все? – спросила она.
- Все. Теперь можешь идти к своему гвардейцу и сказать ему, чтобы он собирал вещи.
- Как жаль, ваша светлость, что мне не придется говорить ему, чтобы он прихватил с собой кошелек!
- Ты отлично знаешь, что денежный вопрос берусь разрешить я.
- Да, я помню, что вы, ваша светлость, были так добры...
- Сколько тебе нужно, Николь?
- Для чего?
- Для того, чтобы подмешать две капли лекарства в стакан с водой?
- За то, чтобы их подмешать, ваша светлость, раз вы уверяете, что это в моих интересах, было бы несправедливо заставлять вас платить. А вот чтобы я оставила незапертой дверь в комнату мадмуазель, ваша светлость... Должна вас предупредить, что это обойдется вам в кругленькую сумму.
- Договаривай. Называй цену.
- Мне нужно двадцать тысяч франков, ваша светлость.
- Ришелье вздрогнул.

– Николь, ты слишком далеко заходишь, – вздохнул он.

– Что же делать, ваша светлость? Я начинаю думать, как и вы, что за мной будет погоня. А с этими деньгами я смогу далеко убежать.

– Ступай предупреди господина де Босира, Николь, а потом я отсчитаю тебе твои деньги.

– Ваша светлость! Господин де Босир очень недоверчив, вряд ли он поверит мне на слово, если я не представлю ему доказательств.

Ришелье достал из кармана пачку банковских билетов.

– Вот задаток, – сказал он, – а в этом кошельке – сто двойных луидоров.

– Господин герцог желает пересчитать деньги и отдать мне то, что причитается, как только я переговорю с господином де Босиром?

– Нет, черт побери! Я сделаю это сию минуту. Ты – бережливая девушка, Николь, это залог твоего будущего счастья.

И Ришелье выплатил всю обещанную сумму: частью – банковскими билетами, частью – луидорами и двойными луидорами.

– Теперь ты довольна?

– Еще бы! – отвечала Николь. – Теперь мне не хватает самого главного, ваша светлость.

– Лекарства?

– Да. У вашей светлости флакон, разумеется, при себе?

– Я всегда ношу его с собой. Николь улыбнулась.

– И еще, – продолжала она, – ворота Трианона на ночь запираются, а у меня нет ключа.

– Мое звание позволяет мне иметь собственный ключ.

– Да ну?

– Вот он.

– До чего же все удивительно совпало, – заметила Николь, – можно подумать, что это просто вереница чудес! Ну, теперь прощайте, господин герцог.

– Почему же?

– Очень просто: я больше не увижу вашу светлость, потому что отправлюсь, как только мадам-муазель заснет.

– Верно, верно. Прощай, Николь.

Накинув капюшон и украдкой улыбнувшись, Николь исчезла в надвигавшихся сумерках.

«Мне опять повезло, – подумал Ришелье, – но, признаться, мне начинает казаться, что удача считает меня слишком старым и служит мне словно против воли. Эта малявка одержала надо мной верх. Ну, ничего, скоро и я отыграюсь».

Глава 3. БЕГСТВО

Николь была девушка добросовестная: она получила деньги от герцога де Ришелье, получила вперед, значит, надо было платить за доверие и отработать деньги.

Она побежала напрямик к решетке и была там без двадцати минут восемь вместо половины восьмого.

Привыкший к воинской дисциплине де Босир был точен: он ждал ее ровно десять минут.

Прошло почти столько же времени с тех пор, как барон де Таверне оставил дочь. Оставшись одна, Андре задернула занавески.

Все это время Жильбер по привычке подглядывал, вернее, пожирал Андре глазами из окна своей мансарды. Вот только трудно было бы с точностью сказать, что выражали его глаза: любовь или ненависть.

Когда занавески были задернуты, Жильберу не на что стало смотреть. Он перевел взгляд.

Тут он заметил шляпу с пером, принадлежавшую де Босиру, и узнал гвардейца, который прогуливался и от нечего делать негромко насвистывал.

Через десять минут, то есть без двадцати минут восемь, появилась Николь. Она перекинулась несколькими словами с де Босиром, – де Босир кивнул головой в знак того, что понял ее, и пошел по направлению к небольшой аллее, ведущей в Малый Трианон.

Николь вернулась, порхая подобно птичке.

«Ага! – подумал Жильбер. – Господин гвардеец и мадмуазель камеристка хотят о чем-то поговорить или что-то сделать без свидетелей: отлично!»

Жильбера не интересовала Николь. Но он испытывал к девушке враждебное чувство и пытался собрать побольше способных повредить ее репутации сведений, которые он мог бы представить в том случае, если бы ей вздумалось на него напасть.

Жильбер не сомневался, что военные действия вот-вот начнутся, и, как хороший солдат, готовился к войне.

Свидание Николь с мужчиной в Трианоне было мощным оружием, которым не следовало пренебрегать такому умному противнику, как Жильбер, тем более что Николь имела неосторожность почти вложить его Жильберу в руки. Жильберу захотелось услышать подтверждение тому, что он сейчас видел, и перехватить на лету какую-нибудь порочившую Николь фразу, которую он мог бы выставить против девушки, когда придет время сразиться.

Он торопливо спустился по лестнице, бросился бегом по коридору через кухни и выскочил в сад через часовню. Оказавшись в саду, Жильбер успокоился: он знал здесь каждый уголок.

Он шмыгнул под тополя, потом добежал до рощи, раскинувшейся шагах в двадцати от того места, где он рассчитывал найти Николь.

Николь была уже там.

Едва Жильбер успел спрятаться за деревьями, как его внимание привлек странный звук: это золотая монета со звоном ударилась о камень.

Жильбер ящерицей юркнул к ровной площадке, густо обсаженной кустами сирени, от которой в мае исходил пьянящий запах; ветки сирени раскачивались над головами прогуливавшихся по этой небольшой аллее, отделяющей Большой Трианон от Малого.

Когда глаза Жильбера свыклись с темнотой, он увидел, как Николь раскладывает деньги на камне по эту сторону решетки, так, чтобы их не смог достать де Босир; она доставала их из кошелька, полученного от герцога де Ришелье. Золотые монеты текли рекой, подпрыгивая и переливаясь, а де Босир с горящим взором и трясущимися руками переводил внимательный взгляд с Николь на монеты, не понимая, откуда она могла их взять. Наконец Николь заговорила:

– Вы не раз обещали меня увезти, дорогой господин де Босир...

– И жениться на вас! – с воодушевлением воскликнул гвардеец.

– Ну, к этому мы еще успеем вернуться, – заметила девушка, – а сейчас главное – убежать. Можно через два часа?

– Да хоть через десять минут!

– Нет, у меня еще есть кое-какие дела, и на это потребуется два часа.

– Через два часа, так через два часа. Я к вашим услугам, дорогая.

– Отлично! Возьмите пятьдесят луидоров, – девушка отсчитала пятьдесят монет и передала их через решетку де Босиру; тот, не считая, спрятал их в карман плаща, – и через полтора часа ждите меня здесь с каретой.

– Но... – попытался было возразить де Босир.

– Если не хотите, будем считать, что ничего не было; верните мне пятьдесят луидоров.

– Я не отказываюсь, дорогая Николь, я только беспокоюсь о том, что мы будем делать потом.

– За кого вы боитесь?

– За вас.

– За меня?

– Да. Когда мы истратим пятьдесят луидоров, – а мы их рано или поздно истратим – вы станете плакать, жалеть о Трианоне, вы...

– Какой вы заботливый, дорогой господин де Босир! Да не бойтесь вы ничего, я не из тех, кого можно сделать несчастной. Пусть вас не мучают угрызения совести. Когда кончатся эти деньги, мы решим, что делать.

И она потрясла кошельком, в котором оставалось еще полсотни луидоров.

Глаза де Босира так и засветились в темноте.

– Ради вас я готов хоть в пекло! – воскликнул он.

– Да что вы, кто же вас об этом просит, господин де Босир? Так мы уговорились? Через полтора часа – карета, а через два – уезжаем!

– Да! – вскричал Босир, схватив Николь за руку и притянув ее к себе в надежде поцеловать через решетку.

– Тише вы! – прошипела Николь. – Вы с ума сошли?

– Нет, я люблю вас!

– Хм! – обронила Николь.

– Вы мне не верите, душа моя?

– Почему не верю? Верю, верю. Постарайтесь найти хороших лошадей.

– Ну конечно!

На том они и расстались.

Однако через минуту де Босир в ужасе вернулся.

– Эй! Эй! – позвал он.

– Что такое? – спросила Николь, успев уже довольно далеко уйти и потому приложив ладонь к губам, чтобы ее не услышали чужие уши.

– А как же решетка? – спросил Босир. – Вы сможете перелезть?

– Ну и дурак! – прошептала Николь, находясь в эту минуту шагах в десяти от Жильбера.

– У меня есть ключ! – громко сказала она.

Де Босир, в восхищении чуть слышно вскрикнув, убежал и на сей раз уже не вернулся.

Опустив голову, Николь скорым шагом направилась к дому.

Когда Жильбер остался один, он задал себе четыре вопроса:

«Почему Николь решила убежать с де Босиром, которого она не любит?»

«Откуда у Николь так много денег?»

«Где Николь взяла ключ от решетки?»

«Зачем Николь, вместо того чтобы сбежать немедленно, возвращается к Андре?»

Жильбер мог еще понять, откуда у Николь деньги. Но на другие вопросы он не находил ответа.

Его врожденное любопытство или благоприобретенная подозрительность – как вам больше нравится – не давали ему покоя. Несмотря на то, что было уже свежо, он решил провести ночь под открытым небом, под влажными от росы деревьями, чтобы дожидаться развязки сцены, начало которой он только что видел.

Андре проводила отца до самой решетки Большого Трианона. Погруженная в задумчивость, она возвращалась, когда Николь бегом выскочила ей навстречу из аллеи той самой, которая вела к знаменитой решетке, где она только что обо всем уговорилась с де Босиром.

Заметив хозяйку, Николь остановилась и, повинувшись молчаливому приказанию Андре, поднялась вслед за ней в комнату.

Было около половины девятого вечера. Темнота наступила раньше обычного, потому что огромная черная туча, двигавшаяся с юга на север, заволокла небо над Версалем; стоило поднять глаза к вершинам самых высоких деревьев, как становилось очевидно, что везде, куда проникал взгляд, темная пелена окутала звезды, еще за минуту до чего сверкавшие на лазурном небосводе.

Резкий порывистый ветер гнул к земле цветы, и они наклоняли головки, словно выпрашивая у неба дождя или хотя бы росы.

Непогода не испугала Андре; девушка была так грустна и задумчива, что не только не ускорила шаг, но, напротив, ступала будто против воли, поднимаясь по лестнице к себе в комнату; она останавливалась у каждого окна, глядя на небо, вид которого соответствовал ее расположению духа, и оттягивала таким образом возвращение в свои скромные апартаменты.

Раздосадованная Николь кипела от нетерпения, боясь, как бы ее не задержала какая-нибудь причуда хозяйки; камеристка сердито ворчала себе под нос, посылая хозяйке проклятия, на которые никогда не скупятся слуги, если неосторожные хозяева позволяют себе некоторые вольности в ущерб интересам лакеев.

Наконец Андре добралась до своей комнаты, толкнула дверь и рухнула в кресло. Она едва слышно попросила Николь приоткрыть выходившее во двор окно.

Николь повиновалась. Затем она вернулась к хозяйке с заботливым видом, который плутовка так ловко умела на себя напускать в нужную минуту.

– Боюсь, что мадмуазель нынче не совсем здорова, – заметила она. – У мадмуазель красные припухшие глаза, и они как-то неестественно блестят. Мне кажется, вам необходимо отдохнуть.

– Ты так думаешь, Николь? – не слушая, пробормотала Андре и в изнеможении вытянула ноги на ковре.

Николь поняла это как приказание раздеть хозяйку, и стала развязывать ленты и вынимать цветы из ее прически, напоминавшей огромную башню, которую даже очень ловкие руки не могли бы разобрать скорее, чем за четверть часа.

За все это время Андре не проронила ни звука. Предоставленная самой себе, Николь делала свое дело довольно небрежно, но Андре словно не замечала боли – так сильно она была озабочена.

Окончив вечерний туалет, Андре отдала распоряжения на следующий день. Рано утром надо было отправиться в Версаль за книгами, переданными Филиппом для своей сестры. Кроме того, надо было сходить за настройщиком и пригласить его в Трианон, чтобы он исправил клавиш.

Николь спокойно отвечала, что если ее не станут будить среди ночи, то она встанет пораньше, и все поручения будут исполнены прежде, чем мадмуазель успеет проснуться.

– Завтра я напишу Филиппу, – продолжала Андре, разговаривая сама с собой, – да, напишу-ка я Филиппу: это меня немного успокоит.

– Во всяком случае, – едва слышно прошептала Николь, – не мне придется относить это письмо!

Однако девушка была еще не окончательно испорчена – она с грустью подумала, что впервые в жизни собирается покинуть свою изумительную хозяйку, с которой пробудились ее разум и сердце. Мысль об Андре была для нее связана со многими воспоминаниями; вся ее жизнь промелькнула у нее перед глазами, воспоминания детства так и нахлынули на нее.

Пока обе Девушки, столь непохожие по характеру и воспитанию, размышляли каждая о своем, время неудержимо шло вперед; немного торопившиеся часы в Трианоне пробили девять.

Де Босиру уже пора было явиться на свидание, и у Николь оставалось не более получаса, чтобы присоединиться к своему поклоннику.

Она торопливо раздела хозяйку и, не удержавшись, несколько раз вздохнула, однако Андре не обратила на это никакого внимания. Николь помогла ей надеть длинный пеньюар. Андре находилась во власти своих мыслей, она продолжала стоять, не двигаясь и устремив взгляд в потолок. Николь вынула из-за корсажа флакон, который ей дал герцог де Ришелье, бросила два кусочка сахара в стакан с водой, затем усилием воли, необычайно сильной для такого юного существа, она заставила себя подмешать в стакан две капли жидкости из флакона; вода тотчас стала мутной и приобрела опаловый оттенок, потом она мало-помалу опять стала прозрачной.

– Мадмуазель! – заговорила Николь. – Питье готово, платья сложены, лампа зажжена. Вы знаете, что мне завтра нужно рано встать. Можно мне сейчас пойти лечь?

– Можно, – рассеянно отвечала Андре.

Николь присела в реверансе, в последний раз вздохнула, что опять осталось не замеченным хозяйкой, и прикрыла за собой застекленную дверь, выходящую в крохотную прихожую.

Не заходя в свою комнатку, смежную с коридором и освещаемую лампой из прихожей, она легонько выскользнула из апартаментов Андре, неплотно притворив входную дверь: указания Ришелье были в точности выполнены.

Чтобы не привлекать внимания соседей, она крадучись спустилась по лестнице в сад, прыгнула с крыльца и бегом бросилась к решетке, где ее ждал де Босир.

Жильбер не оставил своего поста. Ведь он слышал, что Николь обещала вернуться через два часа, – он стал ждать. Однако, когда прошло минут десять после назначенного времени, он испугался, что она вообще не придет.

Вдруг он заметил Николь: она бежала так, словно за ней гнались.

Она подбежала к решетке и просунула де Босиру сквозь прутья ключ; де Босир отворил ворота; Николь выскочила из ворот, и они со скрежетом затворились. Ключ был заброшен в поросшую травой канаву, немного ниже того места, где залег Жильбер; молодой человек услышал глу-

хой стук и запомнил то место, куда упал ключ.

Николь и де Босир бросились бежать. Жильбер прислушивался к их удалявшимся шагам и скоро уловил не стук колес, как ожидал, а конский топот; Жильбер представил себе препирательства Николь, мечтавшей укатить в экипаже, словно герцогиня. Вскоре копыта подкованного коня зацокали по мощеной дороге.

Жильбер облегченно вздохнул.

Жильбер был свободен, Жильбер избавился от Николь – самого страшного своего врага. Андре осталась одна; возможно, убегая, Николь оставила ключ в двери; может быть, Жильберу удастся пробраться к Андре.

При этой мысли молодой человек так и затрепетал от охвативших его противоречивых чувств; в нем боролись страх и неуверенность, любопытство и желание.

Следуя той же дорогой, по какой только что бежала Николь, только в обратном направлении, он поспешил к службам.

Глава 4. ПРОВИДЕНИЕ

Оставшись в одиночестве, Андре мало-помалу оправилась от охватившего ее смятения, и в то время, когда Николь уезжала, пристроившись на коне позади де Босира, ее хозяйка, стоя на коленях, горячо молилась за Филиппа – единственное существо на всей земле, которое она глубоко и искренне любила.

Молитва Андре состояла обыкновенно из не связанных между собою слов; она представляла собою нечто вроде восторженного обращения, в котором девичья душа воспаряла к Богу и сливалась с ним.

В этих страстных мольбах Андре забывала о себе, подобно терпящему кораблекрушение, потерявшему надежду и молящемуся уже не за себя, а за жену и детей, которым суждено остаться сиротами.

Боль закралась в сердце Андре со времени отъезда ее брата, к ней примешивалось какое-то неясное для самой девушки чувство.

Это было похоже на предчувствие скорого несчастья. Ее ощущения напоминали покалывание в заживающей ране. Сильная боль уже прошла, однако воспоминание о ней еще надолго остается и не дает забыть о боли, мучая не меньше, чем еще недавно сама рана.

Андре даже не пыталась понять, что с ней происходит. Отдавшись воспоминаниям о Филиппе, она приписывала свое возбуждение тому, что постоянно думала о любимом брате.

Наконец она встала, выбрала себе книгу из скромной библиотеки, подвинула свечу поближе к изголовью и легла в постель.

Книга, которую она выбрала, вернее, взяла наугад, оказалась словарем по ботанике. Книга эта, как нетрудно догадаться, была не из тех, которые могли бы ее заинтересовать; напротив, она ее скоро утомила. Вскоре пелена, вначале прозрачная, а затем становившаяся все более плотной и мутной, опустилась ей на глаза. Девушка пыталась некоторое время бороться со сном, удерживая упрямо ускользавшую мысль, потом, не в силах продолжать борьбу, наклонила голову, чтобы задуть свечу, и тут взгляд ее упал на стакан с водой, приготовленной Николь. Она протянула руку, взяла стакан, и, зажав в другой руке ложечку, размешала наполовину растаявший сахар. Уже засыпая, она поднесла стакан к губам.

Как только губы Андре коснулись воды, рука ее заходила ходуном и Андре почувствовала в голове тяжесть. Андре с ужасом испытала уже знакомое сильнейшее возбуждение, и, в то же время, ее словно сковала чужая воля, которая уже не раз опустошала ее душу и подавляла разум.

Едва она успела поставить стакан на тарелку, как почти в ту же секунду из ее приоткрытых губ вырвался вздох, и ей перестали повиноваться голос, зрение, разум. Она, как подкошенная, рухнула на подушку, оказавшись во власти почти смертельного оцепенения.

Впрочем, это подобие обморока оказалось минутным и было лишь переходом из одного состояния в другое.

Только что она лежала, как мертвая, словно навсегда закрыв прекрасные глаза, и вдруг под-

нялась, открыла глаза, поражавшие неподвижностью взгляда, и, будто мраморная статуя, выходящая из могилы, спустилась с постели.

Сомнений больше быть не могло: Андре спала тем самым волшебным сном, который уже несколько раз словно приостанавливал ее жизнь.

Она прошла через всю комнату, распахнула застекленную дверь и вышла в коридор, на негнущихся ногах, словно ожившая статуя.

Она не раздумывая стала спускаться по лестнице, машинально переставляя ноги; скоро Андре очутилась на крыльце.

В ту минуту, когда Андре занесла ногу над верхней ступенькой крыльца, Жильбер собирался подняться по той же лестнице.

Когда Жильбер увидел девушку, двигавшуюся величавой поступью в развевающихся белых одеждах, ему почудилось, что она идет прямо на него.

Он попятился и отступил в высокую траву.

Он вспомнил, что видел однажды Андре в таком же состоянии, в замке Таверне.

Андре прошла мимо Жильбера, задев его платьем, но так и не заметила юношу.

Молодой человек был раздавлен, он совершенно потерялся, ноги у него подкосились от страха, он осел.

Не зная, чему приписать странное поведение Андре, он провожал ее взглядом. Мысли его путались, кровь стучала в висках, он был близок к помешательству.

Он сидел, скорчившись в траве, и продолжал наблюдать за Андре. Это было его привычное занятие с тех самых пор, как в его сердце вспыхнула роковая страсть.

Внезапно таинственное появление Андре получило разгадку; девушка не сошла с ума, как он было подумал, – Андре шла на свидание.

В эту минуту в небе сверкнула молния.

В голубоватом свете вспышки Жильбер увидел мужчину, скрывавшегося в темной тополе-вой аллее. Жильбер успел заметить, что у него было бледное лицо и что одет он небрежно.

Андре шла к этому господину – он протянул руку, словно притягивая ее к себе.

В это время другая вспышка вспорола темноту.

Жильбер узнал Бальзамо, он увидел, что тот взмок от пота и с ног до головы покрыт пылью. Бальзамо какой-то хитростью проник в Трианон. Словно птаха, замороженная взглядом змеи, Андре двигалась навстречу Бальзамо.

В двух шагах от него Андре замерла.

Он взял ее за руку. Андре вздрогнула.

– Вы видите? – спросил он.

– Да, – отвечала Андре. – Однако должна вам заметить, что, вызывая меня таким образом, вы едва меня не погубили.

– Простите, простите! – молвил Бальзамо. – Но у меня просто голова идет кругом, я сам не свой, я теряю рассудок, умираю!

– Вы в самом деле страдаете, – проговорила Андре, угадывая по его прикосновению, в каком состоянии он находится – Да, да, я страдаю и пришел к вам за утешением. Только вы можете меня спасти.

– Спрашивайте меня.

– Во второй раз, вы заметили?

– Да.

– Идите, пожалуйста, ко мне домой. Вы можете это сделать?

– Могу, если вы мысленно будете меня направлять.

– Идите.

– Вот мы входим в Париж, – сказала Андре, – идем по бульвару, спускаемся по темной улице, освещенной одним-единственным фонарем.

– Да, да. Входите же!

– Мы – в передней. Справа лестница, но вы подводите меня к стене: она отворяется, впереди – ступеньки.

- Поднимайтесь! Поднимайтесь! – вскричал Бальзамо. – Мы на верном пути!
- Ну, вот мы и в комнате. Повсюду львиные шкуры, оружие. Ого! Каминная доска отворяется!
- Давайте пройдем! Где вы сейчас?
- В необычной комнате: в ней нет двери, окна зарешечены... Какой здесь беспорядок!
- Но в ней ведь никого нет, правда?
- Никого.
- Вы можете увидеть женщину, которая здесь жила?
- Да, если у меня будет какой-нибудь предмет, к которому она прикасалась или который ей принадлежит.
- Держите: это ее волосы.
- Андре взяла волосы и прижала их к себе.
- Я ее узнаю, – сказала она. – Я уже видела эту женщину, когда она убегала от вас в Париж.
- Верно, верно. Вы можете сказать, что она делала последние два часа и как она сбежала?
- Погодите, погодите... Да... Она лежит на софе, у нее полуобнажена грудь, в груди – ра-
на...
- Смотрите, Андре, смотрите, не теряйте ее из виду.
- Она спала... Теперь проснулась... Озирается, достает носовой платок, взбирается на стул, привязывает платок к решетке на окне... О Господи! – Так она в самом деле жаждет смерти?
- Да, она решилась. Но ее пугает такая смерть. Она оставляет платок... Спускается... Ах, бедняжка!..
- Что?
- Как она плачет!.. Как она страдает! Ломает руки... Выбирает угол, чтобы разбить себе об него голову.
- Боже, Боже! – пробормотал Бальзамо.
- Бросается на камин. По обеим сторонам камина Два мраморных льва. Она собирается раз-
бить голову об одного из них.
- Дальше? Что дальше? Смотрите, Андре, смотрите!
- Я вам приказываю!
- Останавливается... Бальзамо облегченно вздохнул.
- Смотрит...
- Куда?
- Она заметила кровь в глазу у льва.
- Господи Боже! – прошептал Бальзамо.
- Да, видит кровь, но не удивляется. Странно: это не ее кровь, а ваша.
- Эта кровь – моя? – воскликнул Бальзамо.
- Да, ваша, ваша! Вы поранили руку ножом, вернее – кинжалом, и выпачканным в крови пальцем нажали на глаз льва. Я вас вижу.
- Вы правы, правы. Но как же она убежала?
- Погодите, погодите! Вот она разглядывает кровь, задумалась, потом нажимает пальцем ту-
да же, куда и вы. Ага, львиный глаз поддается, распрямляется пружина. Каминная доска отворяет-
ся.
- Как я неосторожен! – вскричал Бальзамо. – Какая неосмотрительность! Несчастный! Какой же я глупец! Я сам во всем виноват... А она выходит? Убегает?
- Надо простить ее, бедняжку! Она была так несчастна!
- Где она? Куда направляется? Идите за ней, Андре, я вам приказываю!
- Подождите! Она задерживается в комнате с оружием и шкурами. Один из шкапов не за-
перт. Шкатулка, которая обыкновенно бывает спрятана в этом шкапчике, теперь лежит на столе. Она узнает шкатулку и прихватывает ее с собой.
- Что в шкатулке?
- Ваши бумаги, я полагаю.
- Как она выглядит?

– Обтянута синим бархатом, обита серебряными гвоздиками, с серебряными застёжками и серебряным же замком.

– Да! – проговорил Бальзамо, в сердцах топнув ногой. – Значит, это она взяла шкатулку?

– Да, да, она. Она спускается по лестнице, ведущей в переднюю, отворяет дверь, дергает за цепочку, и входная дверь тоже поддается; она выходит на улицу.

– В каком часу?

– Должно быть, поздно: на улице темно.

– Тем лучше: по всей вероятности, она ушла незадолго до моего возвращения, я еще успею ее догнать. Идите, идите за ней, Андре!

– Выйдя из Дому, она бежит, как сумасшедшая, выбегает на бульвар... Бежит, бежит, не останавливаясь.

– В какую сторону?

– В сторону Бастилии.

– Вы все еще видите ее?

– Да, она будто лишилась рассудка, натывается на прохожих. Наконец останавливается, пытается узнать, где она... Спрашивает...

– Что она говорит? Слушайте, Андре, слушайте. Небом вас заклинаю: не упустите ни единого слова. Вы говорили, что она спрашивает..?

– Да, у господина, одетого в черное.

– О чем она его спрашивает?

– Она спрашивает, где живет начальник полиции.

– Так, значит, это была не пустая угроза... Он ей отвечает?

– Да, называет адрес.

– Что она делает?

– Возвращается, идет по другой улочке, проходит через площадь...

– Через Королевскую площадь, верно... Вы можете узнать, каковы ее намерения?

– Бегите скорее, не медлите! Она собирается на вас донести. Если она вас опередит, если она встретится с господином де Сартинем – вы пропали!

Бальзамо громко вскрикнул, бросился в кусты, выскочил через небольшую калитку, которую отворила и затворила какая-то тень, и одним махом вскочил на своего коня Джерида, рывшего копытом землю возле калитки.

Конь, подстегнутый голосом и шпорами, взвился и полетел стрелой по направлению к Парижу, и был слышен лишь стремительно удалявшийся стук его копыт.

Бледная Андре некоторое время стояла, не двигаясь. Бальзамо словно унес с собой ее жизнь: скоро она обессилела и рухнула наземь.

В погоне за Лоренцой Бальзамо действительно забыл разбудить Андре.

Глава 5. ОЦЕПЕНЕНИЕ

Андре обессилела не сразу, как мы уже сказали, а постепенно, и мы сейчас попытаемся это описать.

Всеми покинутая Андре почувствовала, как сердце ее словно застыло после нервного потрясения, которое ей довелось только что пережить. Она зашаталась и вздрогнула всем телом, как будто у нее начинался эпилептический припадок.

Жильбер по-прежнему находился неподалеку; он замер, наклонившись вперед и не сводя с нее глаз. Понятно, что Жильбер, не имевший никакого понятия о гипнотических явлениях, даже представить себе не мог, что Андре спит и что она вышла не по своей воле. Он ничего или почти ничего не расслышал из ее разговора с Бальзамо. Вот уже во второй раз, в Трианоне, как когда-то в Таверне, ему показалось, что Андре словно повинуется приказаниям этого человека, оказывавшего на нее страшное, необъяснимое влияние. Жильбер так объяснил себе происходившее:

«У мадмуазель Андре есть любовник, во всяком случае – человек, которого она любит и с которым встречается по ночам».

Хотя Андре и Бальзамо разговаривали шепотом, их встреча была похожа на ссору. У Бальзамо был растерянный вид. Он словно обезумел; когда убежал, он был похож на отчаявшегося любовника. Андре, стоявшая молча, неподвижно, напоминала брошенную возлюбленную.

В это мгновение Жильбер увидел, что девушка покачнулась, заломила руки; ноги у нее подкосились. Из ее груди рвались глухие, сдавленные, похожие на рыдания звуки; она всем своим существом попыталась сбросить с себя наваждение; во время гипнотического сна она обладала даром провидения, а чего она благодаря провидению достигла – это мы уже видели в предыдущей главе.

Магия возоблудала над природой: Андре так и не смогла полностью освободиться от гипноза, от которого Бальзамо забыл ее избавить. Ей не удалось разорвать связывавшие ее таинственные пути; вступив с ними в неравный бой, она забилась в конвульсиях, подобно мифическим пифиям, в состоянии экстаза извивавшимся под влиянием жрецов на своих треножниках на виду у народа, толпившегося во дворе храма.

Андре потеряла равновесие и с жалобным стоном упала на песок, словно пораженная громом, прорвавшим тишину.

Но не успела она коснуться земли, как Жильбер, словно молодой тигр, прыгнул к ней, подхватил ее на руки, и, не чувствуя тяжести, понес в комнату, которую она покинула, повинувшись зову Бальзаме; там все так же горела свеча, освещающая смятую постель.

Жильбер обнаружил, что все двери были не заперты, как их оставила Андре.

Войдя в комнату, он натолкнулся на софу и опустил на нее холодное неподвижное тело.

Его охватил жар от прикосновения к безжизненному телу Андре; он дрожал от возбуждения, кровь закипала в жилах.

Однако первая мысль, пришедшая ему в голову, была чиста и невинна: он во что бы то ни стало хотел оживить эту прекрасную статую. Он поискал глазами графин, чтобы брызнуть ей водой в лицо и привести ее в чувство.

Но в ту самую минуту, когда он протянул дрожащую руку к хрустальному кувшину с узким горлышком, ему почудилось, будто скрипнула половица: он прислушался: кто-то уверенным и в то же время легким шагом поднимался по ведущей в комнату Андре лестнице, сложенной из камня и дерева.

Это не могла быть Николь – ведь она убежала с де Босиром; это не был Бальзамо: он ускакал галопом на Джериде.

Следовательно, это был кто-то чужой.

Если бы Жильбера кто-нибудь увидел в комнате Андре, Жильбер был бы немедленно уволен. Андре была для него столь же недостижима, как испанская королева для своего подданного: он не мог к ней прикоснуться даже для того, чтобы спасти ей жизнь.

Все эти мысли вихрем промчались в его голове раньше, чем незнакомец успел поставить ногу на следующую ступеньку.

Шаги становились все ближе, но Жильберу было трудно определить точно, как далеко находится от двери незнакомец, потому что на Дворе разыгралась сильная буря; обладая редким хладнокровием и завидной осторожностью, молодой человек понял, что ему здесь не место, что ему прежде всего необходимо остаться незамеченным.

Он поспешно задул свечу, освещавшую комнату Андре, и бросился в кабинет, служивший спальней камеристке. Расположившись у застекленной двери кабинета, он мог видеть, что происходит в комнате Андре и в передней.

В передней на маленьком столике с выгнутыми ножками горел ночник. Жильбер хотел было задуть его, как и свечу, но не успел; под ногой незнакомца в коридоре скрипнул пол, и на пороге появился немного запыхавшийся господин; он робко проскользнул в переднюю, прикрыл за собой входную дверь и запер на задвижку.

Жильбер в последнее мгновение успел скрыться в комнате Николь, притворив за собой застекленную дверь.

Он затаил дыхание, прильнул к стеклу и стал слушать.

Гром грохотал, крупные дождевые капли стучали по витражу в комнате Андре и по оконно-

му стеклу в коридоре, рама которого, оставленная незапертой, скрипела в петлях, и время от времени гулявший там ветер хлопал ею.

Но смятение в природе и доносившийся с улицы шум, как ни были они ужасны, не имели для Жильбера ровно никакого значения: все его мысли, его жизнь, его душа слились в его взгляде, а взгляд прикован был к этому господину.

Господин миновал переднюю, пройдя в двух шагах от Жильбера, и не колеблясь вошел в комнату.

Жильбер увидел, как он подобрался к постели Андре, выразил удивление, не обнаружив ее на месте, и почти тотчас же нащупал рукой свечу на столе.

Свеча упала; Жильбер услышал, как на мраморном столе разбилась хрустальная розетка подсвечника.

Человек позвал приглушенным голосом:

– Николь! Николь!

«Как – Николь? – подумал про себя Жильбер. – Почему же этот господин, вместо того, чтобы окликнуть Андре, зовет Николь?»

Не дождавшись ответа, незнакомец поднял подсвечник и на цыпочках пошел в переднюю, чтобы зажечь свечу от ночника.

Жильбер стал напряженно всматриваться в странного ночного посетителя; в эту минуту он мог бы все увидеть хотя бы сквозь стену – так сильно в нем было желание разглядеть лицо этого господина.

Вдруг Жильбер вздрогнул и, позабыв о том, что он – в надежном укрытии, отступил на шаг от двери.

При свете ночника и свечи Жильбер узнал в господине, державшем в руке подсвечник, самого короля. Он похолодел от ужаса.

Ему все стало ясно: бегство Николь, деньги, которыми она делилась с де Босиром, оставленная незапертой дверь, он видел теперь насквозь и Ришелье, и Таверне; он понял всю эту таинственную и отвратительную интригу, центром которой была Андре.

Жильбер догадался, почему король звал Николь, пособницу преступления, услужливую, как Иуда, продавшую И предавшую свою хозяйку.

Едва он представил себе, зачем король пришел в эту комнату и что сейчас произойдет на его глазах, кровь бросилась Жильберу в лицо и он потерял голову.

Он был готов закричать, но безотчетный непреодолимый страх, который он испытывал перед этим человеком, носившим гордое имя короля Франции, лишил Жильбера дара речи.

Тем временем Людовик XV со свечой в руках вернулся в комнату.

Как только он вошел, он сразу заметил Андре, в пеньюаре из белого муслина, который совсем не скрывал ее, скорее – напротив; она полулежала на софе, откинув голову на спинку и закинув одну ногу на диванную подушку; другая нога безжизненно свисала на пол – туфельку Андре потеряла.

Король улыбнулся. В неверном свете его улыбка казалась страшной. Вслед за тем почти такая же страшная улыбка заиграла на губах Андре.

Людовик XV прошептал несколько слов, которые Жильбер принял за любовное признание. Поставив подсвечник на стол, он бросил взгляд на охваченное пламенем небо, а затем опустил перед девушкой на колени и поцеловал ей руку.

Жильбер вытер со лба пот. Андре не пошевелилась.

Почувствовав, как холодна ее рука, король взял ее в свою руку, чтобы согреть, а другой рукой обнял красавицу за талию, склонился к ее уху, чтобы прошептать нежные слова любви, и коснулся щекой лица девушки.

Жильбер пошарил в карманах и облегченно вздохнул, нащупав в куртке рукоятку длинного ножа, которым он обрезал ветки в парке.

Лицо Андре было таким же холодным, как и рука.

Король поднялся, взгляд его упал на босую ногу Андре, белую и маленькую, как у Золушки. Король взял ее в руки и содрогнулся: нога была холодна, как у мраморной статуи.

Жильбер пришел в сильное возбуждение при виде красоты девушки; ему казалось, что сластолюбец-король обкрадывает его; он заскрежетал зубами и раскрыл сложенный нож.

Но король уже выпустил ногу Андре из рук; сон девушки удивил его: вначале ему казалось, что это – кокетливая стыдливость; он пытался понять, почему так холодны руки и ноги у этого восхитительного создания; он спрашивал себя, почему тело девушки так холодно и неподвижно.

Он распахнул пеньюар Андре, обнажив девичью грудь, и пугливо и в то же время плотоядно дотронулся до нее, желая узнать, бьется ли ее сердце.

Жильбер высунулся из-за двери, держа нож наготове; его глаза сверкали, зубы были плотно сжаты; если бы король продолжал, Жильбер заколол бы его, а потом покончил бы с собой.

Ужасающий удар грома потряс комнату, королю показалось, что дрогнула софа, около которой он стоял на коленях; желто-фиолетовая вспышка осветила лицо Андре, придав ему мертвенный оттенок; Людовик XV пришел в ужас и от ее бледности, и от неподвижности, и от молчания. Он отступил, пробормотав едва слышно:

– Да ведь она мертва!

При мысли, что он обнимал труп, король задрожал. Он взял свечу в руки, вернулся к Андре и стал разглядывать ее в неверном свете пламени. Он увидел, что губы ее посинели, под глазами – темные круги, волосы разметались, грудь неподвижна; он вскрикнул, выронил подсвечник, зашатался и, покачиваясь, как пьяный, вышел в переднюю, потеряв голову от страха и натываясь на стены.

С лестницы донеслись его торопливые шаги, потом заскрипел песок в саду, и вскоре ничего не стало слышно, кроме мощных порывов ветра, пригибавшего к земле деревья.

Не выпуская из рук ножа, хмурый, притихший Жильбер вышел из своего укрытия. Он замер на пороге комнаты Андре и залюбовался юной красавицей, объятый глубоким сном.

Все это время оброненная королем свеча продолжала гореть на полу, освещая изящную ножку неподвижной девушки.

Жильбер медленно спрятал нож; на лице его появилось выражение непреклонной решимости; он подошел к двери, в которую вышел король, и прислушался.

Он слушал долго.

Потом, как и король, он запер дверь на задвижку и задул огонь в ночнике.

Так же медленно, сверкая глазами, он вернулся в комнату Андре и раздавил ногой свечу, воск растекся по паркету.

Внезапно наступившая темнота скрыла мрачную улыбку, появившуюся на его губах.

– Андре! Андре! – зашептал он. – Я предрек, что в третий раз тебе от меня не уйти. Андре! Андре! У страшного романа, который ты мне приписала, должна быть ужасная развязка.

Протянув руки, он шагнул к софе, где без чувств лежала Андре, по-прежнему холодная и неподвижная.

Глава 6. ВОЛЯ

Читатели видели, как усакал Бальзамо.

Джерид летел, обгоняя ветер. Бледный от нетерпения и ужаса, всадник пригибался к развевшейся гриве и приоткрытым ртом ловил воздух, который конь рассекал подобно тому, как корабль рассекает морские волны.

По обеим сторонам дороги мелькали, как во сне, дома и деревья, и сейчас же исчезали из виду. Когда на дороге попадались тяжелые поскрипывавшие повозки, запряженные пятеркой лошадей, лошади шарахались при приближении Джерида, мчавшегося со скоростью метеорита, и ничто не могло заставить их поверить в то, что он – одной с ними породы.

Так Бальзамо проскакал около мили. Голова его пылала, глаза горели, он шумно дышал; в наше время поэты могли бы его сравнить разве что с паровозом, на всех парах несущимся по рельсам.

Конь и всадник в несколько мгновений миновали Версаль, стрелой промелькнув перед глазами редких прохожих.

Бальзамо проскакал еще одну милю. Джериду понадобилось меньше четверти часа, чтобы оставить эти две мили позади, но Бальзамо казалось, что прошла целая вечность.

Вдруг Бальзамо поразила одна мысль.

Он резко натянул поводья. Джерид присел на задние ноги, а передними уперся в песок.

И конь и наездник с минуту отдыхали. Бальзамо поднял голову. Он вытер платком катившийся градом пот и, подставив лицо ночному ветру, проговорил:

– Какой же ты безумец! Ни бег твоего коня, ни твое самое страстное желание никогда не смогут остановить ни молнии, ни грома. А ведь чтобы отвести нависшее над твоей головой несчастье, необходимы молниеносный удар, мощное потрясение, способные парализовать чужую волю; тебе нужно на расстоянии усыпить рабыню, вышедшую из повиновения. Если ей суждено когда-нибудь ко мне вернуться...

Заскрежетав зубами, Бальзамо в отчаянии махнул рукой.

– Все напрасно, Бальзамо! Зря ты так торопишься! – вскричал он. – Лоренца уже там: сейчас она все скажет, а, возможно, уже все рассказала. Презренная! Какую пытку мне для тебя придумать?

«Ну, ну, – нахмутив брови, продолжал он, глядя в одну точку и взявшись рукой за подбородок. – Что же тогда наука: пустые слова или дела? Может она хоть что-нибудь или не может ничего? Ведь я этого хочу!.. Так попытаемся... Лоренца! Лоренца! Приказываю тебе уснуть! Лоренца, где бы ты сейчас ни находилась, засни! Засни! Я так хочу! Я на это рассчитываю!»

– Нет, нет, – в отчаянии прошептал он, – нет, я сам себя обманываю; я сам в это не верю; нет, я не смею в это поверить. Однако воля может все. Ведь я так страстно этого желаю, я хочу этого всем своим существом! Рассекай воздух, моя воля! Обойди все подводные течения враждебных и равнодушных проявлений чужой воли; пройди сквозь стены, подобно пушечному ядру; следуй за ней всюду, куда бы она ни отправилась; ударь ее, убей! Лоренца, Лоренца! Приказываю тебе уснуть! Лоренца, я хочу, чтобы ты замолчала!

Он несколько минут настойчиво повторял про себя эти слова, будто помогая им разбежаться и осилить расстояние от Версаля до Парижа; после этого таинственного действия, в котором ему, несомненно, помогал сам Господь, хозяин и повелитель всего сущего, Бальзамо, по-прежнему стиснув зубы и сжав кулаки, подстегнул Джерида, но так, что тот не почувствовал на сей раз ни удара коленом, ни шпоры.

Можно было подумать, что Бальзамо хочет сам себя в чем-то убедить.

С молчаливого согласия хозяина благородный скакун легко и почти неслышно переступал тонкими породистыми ногами.

На первый взгляд могло показаться, что Бальзамо проиграл. Однако он все это время обдумывал создавшееся положение. В ту самую минуту, когда Джерид ступил на Севрскую дорогу, план Бальзамо был готов.

Подъехав к решетке парка, он остановился и огляделся. Было похоже, что он кого-то поджидает.

И действительно, почти тотчас же от калитки отделился какой-то человек и подошел к нему.

– Это ты, Фриц? – спросил Бальзамо.

– Да, хозяин.

– Тебе удалось что-нибудь узнать?

– Да.

– Графиня Дю Барри в Париже или в Люсьенн?

– В Париже.

Бальзамо с нескрываемым торжеством посмотрел на небо.

– Как ты сюда добрался?

– Верхом на Султане.

– Где он?

– Во дворе этой харчевни.

– Он оседлан?

– Да.

– Хорошо. Приготовься к отъезду.

Фриц пошел отвязывать Султана. Это был славный конь немецкой породы, с прекрасным нравом; правда, такие лошади не очень выносливы, не они преданы хозяину и готовы скакать до тех пор, пока бьется их сердце.

Фриц снова подошел к Бальзамо.

Тот что-то писал при свете фонаря, в котором приспешники дьявола всю ночь поддерживали огонь для осуществления своих сделок.

– Возвращайся в Париж, – сказал он. – Во что бы то ни стало разыщи графиню Дю Барри и передай ей в руки эту записку, – приказал Бальзамо. – Даю тебе полчаса. Потом отправляйся на улицу Сен-Клод и жди там синьору Лоренцу – она непременно должна вернуться. Тыпустишь ее, не говоря ни слова. Иди и помни, что через полчаса твое поручение должно быть выполнено.

– Хорошо, – отвечал Фриц, – будет исполнено.

С этими словами он пришпорил Султана и ударил его хлыстом. Удивившись такому неприлично грубому обращению, Султан пустился вскачь, жалобно заржав.

Мало-помалу придя в себя, Бальзамо поехал в Париж и спустя три четверти часа уже въезжал в город; лицо его разругалось, взгляд у него был спокойный, вернее, задумчивый.

Разумеется, Бальзамо был быстр: как бы стремительно ни скакал Джерид, он бы все равно опоздал: только воля Бальзамо могла нагнать вырвавшуюся из заточения Лоренцу.

Миновав улицу Сен-Клод, молодая женщина выбежала на бульвар и, свернув направо, вскоре увидела стены Бастилии. Просидев все время взаперти, Лоренца так и не узнала Париж. Но больше всего ей хотелось убежать из проклятого особняка, который был для нее тюрьмой. Только потом она подумала об отмщении.

Она пустилась бежать через предместье Сен-Антуан, как вдруг ее окликнул молодой человек, который вот уже несколько минут не спускал с нее удивленных глаз.

Лоренца, итальянка, жившая когда-то в окрестностях Рима очень замкнуто, не имея представления о тогдашней моде, о костюмах и обычаях своего времени, одевалась скорее как восточная женщина, чем как европейская Дама, то есть одежда ее была свободной и пышной; она мало походила на прелестных куколок с осиными талиями, затянутых в высокий корсаж и трепетавших под тонким шелком или муслином; глядя на них, не верилось, что под платьем скрывается плоть – так велико у них было желание походить на неземное существо.

Итак, Лоренца не сохранила, вернее, не позаимствовала из французской моды тех лет ничего, кроме туфелек на каблучке в два дюйма высотой, этой немыслимой обуви, заставлявшей ножку выгибаться, но зато подчеркивавшей изящество щиколотки. Хотя дело происходило в не столь уж отдаленные времена, такие туфли, однако, не Давали возможности тогдашним Аретузам убежать от Алфеев.

Алфей, преследовавший нашу Аретузу, без особого труда настиг ее; он успел разглядеть под ее атласными и кружевными юбками божественные ножки, пришел в восторг от свободно рассыпавшихся по плечам волос, от ее глаз, странно сверкавших из-под накидки, в которую она куталась; он решил, что Лоренца – дама, переодетая то ли для маскарада, то ли для любовного свидания, и направлявшаяся, по всей видимости, в какой-нибудь пригородный домик.

Он подошел ближе и, сняв шляпу, заговорил, обращаясь к Лоренце:

– Боже мой! Сударыня! Вы не сможете далеко уйти в этих туфельках, они только задерживают вас. Могу ли я предложить вам опереться на мою руку, пока нам не попадется карета? Я буду счастлив сопровождать вас.

Лоренца быстрым движением повернула голову, окинула взглядом своих черных бездонных глаз незнакомца, обратившегося к ней с предложением, которое многие дамы сочли бы наглостью, и внезапно остановилась.

– Да, – ответила она, – я с удовольствием принимаю ваше предложение.

Молодой человек галантно подставил руку.

– Куда же мы отправимся, сударыня? – спросил он.

– К начальнику полиции. Молодой человек вздрогнул.

– К господину де Сартину? – спросил он.

– Я не знаю, как его зовут. Я хочу говорить с начальником полиции.

Молодой человек задумался.

Молодая и прекрасная Дама в необычном наряде в восемь часов вечера бежит по парижским улицам со шкатулкой в руках и спрашивает, где живет начальник полиции, хотя его особняк находится в другой стороне. Это показалось ему подозрительным.

– Да ведь особняк начальника полиции совсем не здесь! – вскричал он.

– Где же он?

– В пригороде Сен-Жермен.

– А как добратся до пригорода Сен-Жермен?

– Это вон в той стороне, – отвечал молодой человек спокойно и по-прежнему вежливо. – Если угодно, первая же карета, которую мы встретим...

– Да, да, верно, карета, вы правы. Молодой человек проводил Лоренцу на бульвар и, увидев фиакр, окликнул его.

Кучер подъехал.

– Куда вас отвезти, сударыня? – спросил он.

– К особняку господина де Сартин, – отвечал молодой человек.

Из вежливости, а может быть, из любопытства, он распахнул дверцу, поклонился Лоренце и, подав ей руку и усадив ее в карету, долго провожал ее взглядом, словно это было видение.

Испытывая глубокое уважение к страшному имени де Сартин, кучер огрел лошадей хлыстом и покатил в указанном направлении.

Когда Лоренца проезжала через Королевскую площадь, Андре увидела и услышала ее, находясь под действием гипноза, и рассказала о ней Бальзамо.

Через двадцать минут Лоренца была у двери особняка.

– Вас подождать? – спросил кучер.

– Да, – машинально ответила Лоренца и порхнула под портал величественного особняка.

Глава 7. ОСОБНЯК ДЕ САРТИНА

Очутившись во дворе, Лоренца едва не затерялась в толпе жандармов и солдат.

Она обратилась к гвардейцу, стоявшему к ней ближе других, и попросила проводить ее к начальнику полиции. Гвардеец направил ее к дворецкому; увидев, что дама хороша собой, довольно необычно выглядит, богато одета и держит в руках великолепную шкатулку, он понял, что это не простая просительница, и повел ее по огромной лестнице в приемную, куда по вызову этого самого дворецкого первый встречный мог пройти к де Сартину для дачи показаний, с доносом или с жалобой.

Само собой разумеется, посетители двух первых категорий принимались значительно охотнее, чем податели жалоб.

На все вопросы дворецкого Лоренца отвечала одними и теми же словами:

– Вы – господин де Сартин?

Дворецкий был очень удивлен тем, как лакея в черном сюртуке со стальной цепочкой она могла принять за начальника полиции, носившего расшитый камзол и пышный парик. Однако никогда ни один лейтенант не обижается, если его называют по ошибке капитаном; кроме того, он понял по ее акценту, что она – иностранка; она смотрела твердо, уверенно и была не похожа на сумасшедшую; он был убежден, что посетительница принесла в шкатулке какие-то важные бумаги, судя по тому, как она сжимала ее под мышкой.

Впрочем, де Сартин был человек осторожный и недоверчивый. Ему уже не раз пытались расставить ловушку с приманкой не менее лакомой, чем прекрасная итальянка; вот почему он был теперь окружен надежной охраной.

Лоренцу допрашивали со всею подозрительностью сразу шестеро секретарей и лакеев.

В результате всех этих вопросов и ответов ей было сказано, что де Сартин еще не возвращался и что ей надо подождать.

Молодая женщина замолчала, блуждая взглядом по голым стенам просторной приемной.

Наконец зазвонил колокольчик, со двора донесся шум подъехавшей кареты, и другой лакей доложил Лоренце, что господин де Сартин ее ожидает.

Лоренца встала и пошла за лакеем, минуя две комнаты, полные подозрительными людьми, одетыми еще более несуразно, чем она; ее ввели в огромный кабинет восьмиугольной формы, освещенный множеством свечей.

Господин лет пятидесяти пяти в шлафроке и необыкновенно пышном парике, тщательно завитом и сильно напудренном, сидел, склонившись над бумагами, за высоким столом, верхняя часть которого напоминала шкаф и была отгорожена двумя огромными зеркалами таким образом, что хозяин кабинета, не отрываясь от своего занятия, мог видеть входивших к нему посетителей и успевал изучить их лица раньше, чем те успевали составить о начальнике полиции свое мнение.

Внутренняя часть этого подобия стола представляла собою скорее секретер; в глубине его располагались многочисленные ящички с бумагами в алфавитном порядке. Хранившиеся в них бумаги при жизни де Сартин не мог прочесть ни один человек, потому что только он мог отпереть стол, но едва ли кто-нибудь и после его смерти мог бы расшифровать эти бумаги: ключ к шифру хранился в одном из ящичков, еще более тщательно скрытом от чужих глаз.

В этом секретере, вернее, в шкафу, под зеркальной верхней частью было двенадцать одинаковых ящичков, запиравшихся при помощи невидимого механизма; секретер был сделан по специальному заказу регента для хранения химических и политических секретов; затем он был подарен его высочеством Дюбуа, а тот оставил его начальнику полиции Домбревало.

От него-то де Сартин и унаследовал и секретер, и его секрет. Впрочем, де Сартин стал пользоваться им только после смерти прежнего владельца, предварительно сменив замки. Об этом столе-секретере ходили разные слухи; поговаривали, что он слишком хорошо хранит тайны, и де Сартин держит там не только парики.

Фронтеры, – а их было немало в описываемое нами время, – утверждали, что если бы можно было читать сквозь стены этого огромного стола, в одном из его ящичков непременно обнаружились бы знаменитые договоры, из которых явствовало, что его величество Людовик XV играл на бирже, ставя на зерно при посредничестве своего преданного агента де Сартин.

Итак, начальник полиции увидел в расположенных под углом друг к другу зеркалах бледное, строгое лицо Лоренцы, подходившей к нему со шкатулкой в руках.

Молодая женщина остановилась посреди кабинета. Ее костюм, лицо, походка поразили начальника полиции.

– Кто вы такая? – спросил он, не оборачиваясь, однако продолжая разглядывать ее в зеркале. – Что вам угодно?

– Я разговариваю с начальником полиции господином де Сartiном? – спросила Лоренца.

– Да, – коротко ответил тот.

– Кто может это подтвердить? Де Сартин обернулся.

– Поверите ли вы в то, что я – именно тот человек, которого вы ищете, если я отправлю вас в тюрьму?

Лоренца молчала.

Она оглядывалась с непередаваемым чувством собственного достоинства, свойственным женщинам ее страны, в поисках кресла, которое де Сартин словно бы забыл ей предложить.

Одного этого взгляда оказалось достаточно – его сиятельство д'Альби де Сартин был хорошо воспитанным человеком.

– Садитесь! – сказал он.

Лоренца придвинула к себе кресло и села.

– Говорите скорее! – приказал де Сартин. – Что вам угодно?

– Сударь! – отвечала женщина. – Я пришла просить у вас защиты.

Де Сартин окинул ее присущим ему насмешливым взглядом.

– Гм! – хмыкнул он.

– Сударь! – продолжала Лоренца. – Я была воспитана в приличной семье, но один человек обманым путем женился на мне и вот уже три года притесняет меня и мучает.

Глядя в ее благородное лицо, де Сартин почувствовал при звуке ее музыкального голоса

волнение.

– Откуда вы родом? – спросил он.

– Я – римлянка.

– Как вас зовут?

– Лоренца.

– Лоренца..., как дальше?

– Лоренца Фелициани.

– Мне незнакома эта фамилия. Вы – девица? «Девица», как известно, означало в то время: «порядочная девушка знатного происхождения». В наши дни женщина становится порядочной с той минуты, как выходит замуж; она всеми силами стремится к тому, чтобы ее называли «сударыней».

– Я – девица, – отвечала Лоренца.

– Ну, и что же дальше? Чего вы просите?

– Я прошу рассудить меня с этим человеком; ведь он меня заточил в тюрьму, лишил свободы.

– Это меня не касается, – отвечал начальник полиции, – вы – его жена.

– Так он, во всяком случае, говорит.

– То есть, как это – говорит?

– Да! Я этого не помню, бракосочетание совершалось, пока я спала.

– Черт побери! Крепкий же у вас сон!

– Как вы сказали?

– Я сказал, что меня это совершенно не касается; обратитесь к прокурору и судитесь, я не люблю вмешиваться в семейные дела.

Тут де Сартин махнул рукой, что означало: «Убирайтесь вон».

Лоренца не пошевелилась.

– В чем дело? – с удивлением спросил де Сартин.

– Это еще не все, – молвила она. – Вы должны были бы понять, что я пришла сюда совсем не для того, чтобы пожаловаться: я за себя отомщу! Вы знаете, откуда я родом; женщины моей страны мстят за себя, а не жалуются!

– Это совсем другое дело, – заметил де Сартин. – Но только поскорее, красавица: мне время дорого.

– Я вам сказала, что пришла просить у вас защиты. Вы обещаете прийти мне на помощь?

– От кого я вас должен защищать?

– От человека, которому я собираюсь отомстить.

– Значит, это могущественный человек?

– Более могущественный, чем король.

– Объяснимся, милейшая... Чего ради я должен оказывать вам покровительство, защищая вас от человека, более могущественного, как вы полагаете, чем сам король, и беря на себя тем самым ответственность за преступление, которое вы, может быть, совершите? Если вам надо отомстить за себя этому господину – отомстите! Мне до этого дела нет. Вот если вы при этом совершите преступление, я прикажу вас арестовать. Ну, а уж потом мы решим, как нам поступить. Таков порядок.

– Нет, сударь, – возразила Лоренца, – вам не придется меня арестовывать, потому что моя месть может принести немалую пользу и вам, и королю, и Франции. Я мщу за себя тем, что раскрываю секреты этого человека.

– Ага! Так у этого человека есть секреты? – невольно заинтересовался де Сартин.

– И немалые, сударь.

– Какого рода?

– Политические.

– Говорите.

– Ответьте мне прежде: готовы ли вы взять меня под свое покровительство?

– Какого покровительства вы желаете? – холодно улыбаясь, спросил судья. – Денег или люб-

ви?

– Я прошу отправить меня в монастырь, где я могла бы заживо себя похоронить. Я прошу, чтобы этот монастырь стал мне могилой, но такой могилой, которую никто в целом свете не мог бы открыть.

– Ну, это не Бог вещь такая просьба, – сказал судья. – Монастырь я вам обещаю. Говорите.

– Так вы даете мне слово?

– Я вам его уже дал.

– В таком случае возьмите эту шкатулку, – молвила Лоренца. – В ней заключены такие тайны, которые способны нанести удар безопасности короля и всего королевства.

– А вы сами знаете, что это за тайны?

– Я знаю только, что они существуют.

– И что же, это важные тайны?

– Ужасные.

– Вы говорите, политические тайны?

– Разве вам никогда не приходилось слышать о существовании тайного общества?

– А-а! Масонская ложа?

– Общество «невидимых»!

– Да, но я не верю в его существование.

– Стоит вам открыть эту шкатулку, и вы в него поверите.

– Ну что же! – с живостью воскликнул де Сартин. – Посмотрим!

Он принял шкатулку из рук Лоренцы. Однако, немного подумав, он поставил ее на стол.

– Нет, – сказал он, подозрительно посмотрев на нее, – открывайте шкатулку сами.

– У меня нет ключа.

– Как это у вас нет ключа? Вы мне приносите шкатулку, от которой зависит благополучие целого королевства, и говорите, что забыли ключ!

– Разве так уж трудно ее взломать?

– Нет, когда знаешь секрет замка. Минуту спустя он продолжал:

– У нас здесь есть отмычки от всех замков; сейчас вам принесут связку ключей, – он пристально взглянул на Лоренцу, – и вы будете открывать сами.

– Хорошо, – просто отвечала Лоренца.

Де Сартин протянул молодой женщине ключики самой разной формы.

Она взяла связку в руки.

Де Сартин коснулся ее руки: она была холодна, словно выточена из мрамора.

– Почему же вы не принесли ключа от шкатулки? – спросил он.

– Потому что его хозяин никогда с ним не расстаётся.

– А хозяин шкатулки – тот самый господин, более могущественный, чем сам король, не так ли?

– Что он такое – никто не может сказать. Сколько времени он живет на свете – знает только вечность. Что он творит – одному Богу известно.

– Его имя? Имя!

– На моей памяти имя он менял раз десять.

– Назовите то, под которым он вам известен.

– Ашарат.

– А живет он...

– На улице Сен...

Вдруг Лоренца вздрогнула, выронила из рук шкатулку и ключи; она попыталась ответить, но рот ее перекосялся в конвульсиях; она прижала руки к груди, как будто готовые вырваться оттуда слова ее душили; затем она подняла дрожавшие руки, не имея сил вымолвить ни единого слова, и рухнула на ковер.

– Бедняжка! – прошептал де Сартин. – Что это с ней? А она чертовски хороша собой. Да, это мщение смахивает на ревность!

Он позвонил и сам стал поднимать молодую женщину; в ее глазах застыло удивление, губы

ее были неподвижны; казалось, она уже умерла и не принадлежит больше этому миру.

Вошли два лакея.

– Отнесите эту юную особу в соседнюю комнату, да поосторожнее! – приказал начальник полиции. – Постарайтесь привести ее в чувство. Но не переусердствуйте! Ступайте.

Лакеи послушно унесли Лоренцу.

Глава 8. ШКАТУЛКА

Оставшись один, начальник полиции взял шкатулку и стал вертеть ее в руках с видом человека, умеющего по достоинству оценить подобную находку.

Он протянул руку и подобрал связку ключей, оброненных Лоренцой.

Он перепробовал их все: ни один не подошел.

Он достал из ящика стола несколько похожих связок.

В них были ключи самых разных размеров: ключи от столов, от шкатулок... Можно с уверенностью сказать, что де Сартин имел в своем распоряжении целую коллекцию всех существовавших на свете ключей, от самого обыкновенного ключа до микроскопического ключика.

Он перепробовал двадцать, пятьдесят, сто ключей, подбирая к шкатулке: ни один даже не вошел в замок. Де Сартин предположил, что замочная скважина имеет только видимость скважины, следовательно, и ключа подобрать невозможно.

Тогда он взял из того же ящика небольшие щипцы, молоточек и белоснежной рукой, утопавшей в милинских кружевах, взломал замок, оберегавший содержимое шкатулки от чужих глаз.

В ту же минуту вместо ожидаемой им адской машины или отравленных паров, предназначенных для того, чтобы лишить Францию преданнейшего судьи, перед ним появилась связка бумаг.

Ему сразу же бросились в глаза несколько слов, начертанных рукой, пытавшейся изменить свой почерк:

«Хозяин! Пришло время сменить имя Бальзамо».

Вместо подписи стояли только три буквы.

– Ага! – воскликнул де Сартин, тряхнув париком. – Если мне не известен почерк, то уж имя-то знакомо. Бальзамо... Поищем на букву «Б».

Он выдвинул один из двадцати четырех ящичков, отыскал небольшой журнал, где в алфавитном порядке мелким почерком были записаны с сокращениями сотни четыре имен со значками, в фигурных скобках.

– Ого! – пробормотал он. – За этим Бальзамо много всего числится!

Он прочел всю страницу, пестревшую отметками о его провинностях.

Затем положил журнал на прежнее место и продолжал осмотр шкатулки.

Его внимание привлек листочек, испещренный именами и цифрами.

Записка показалась ему очень важной: на полях было много пометок карандашом. Де Сартин позвонил. Явился лакей.

– Помощника канцелярии, живо! – приказал он. – Проведите его из кабинета через мои апартаменты – так вы сэкономите время.

Лакей вышел.

Спустя несколько минут служащий с пером в руке, со книгой под мышкой, в нарукавниках из черной саржи появился на пороге кабинета, прижимая к груди толстый журнал. Увидев его в зеркале, де Сартин протянул ему через плечо бумагу.

– Расшифруйте это поскорее! – приказал он.

– Слушаюсь, ваше сиятельство, – отвечал чиновник. Этот разгадчик шарад был худенький человечек с поджатыми губами; он сосредоточенно хмурил брови; голова его имела яйцевидную форму; у него было бледное лицо, острый подбородок, покаты лоб, выдающиеся скулы, глубоко запавшие глаза, бесцветные, оживавшие лишь в редкие минуты.

Де Сартин прозвал его Куницей.

– Садитесь, – пригласил де Сартин, видя, что ему мешают записная книжка, свод шифров,

блокнот и перо.

Куница скромно пристроился на табурете, сведя колени, и стал записывать, листая справочник и сообразуясь со своей памятью; лицо его оставалось совершенно невозмутимым.

Пять минут спустя он написал:

"Приказываю собрать три тысячи парижских братьев.

Приказываю составить три кружка и шесть лож.

Приказываю приставить охрану к Великому Копту, подобрать ему четырех хороших лакеев, одного из них – в королевской резиденции.

Приказываю предоставить в его распоряжение пятьсот тысяч франков на расходы, связанные со слежкой.

Приказываю привлечь в первый парижский кружок весь цвет французской литературы и философии.

Приказываю подкупить или захватить хитростью судебное ведомство, а главное – заручиться поддержкой начальника полиции, при помощи взятки, силой или хитростью."

Куница остановился на минуту, не потому, что бедняга раздумывал – он был далек от этого, ведь тут пахло преступлением, – а потому что вся страница была исписана, чернила еще не высохли, надо было подождать.

Де Сартин нетерпеливо выхватил у него из рук листок.

Когда он дошел до последнего параграфа, черты его лица исказил ужас. Увидев в зеркале свое отражение, он еще сильнее побледнел.

Он не стал возвращать листок секретарю, а протянул ему другой, чистый лист бумаги.

Тот снова принялся писать по мере того, как расшифровывал; он делал это с легкостью, которая могла бы привести шифровальщиков в отчаяние.

На сей раз де Сартин стал читать поверх его плеча. Вот что он прочел:

«Необходимо отказаться в Париже от имени Бальзамо, потому что оно становится слишком известным, и взять имя графа Фе...»

Окончание слова невозможно было разобрать из-за кляксы.

В то время как де Сартин подыскивал недостающие буквы, составлявшие последнее слово, с улицы донесся звонок, и вошедший дворецкий доложил:

– Его сиятельство граф Феникс!

Де Сартин вскрикнул и, рискуя разрушить искусное сооружение в виде парика, схватился обеими руками за голову, а потом поспешил выпроводить своего подчиненного через потайную дверь.

Вернувшись к столу, он сел на свое место и приказал дворецкому:

– Просите!

Спустя несколько секунд де Сартин увидел в зеркале гордый профиль графа, которого он уже видел при дворе в день представления графини Дю Барри.

Бальзамо вошел без малейшего колебания.

Де Сартин встал, холодно поклонился графу и важно откинулся в кресле, заложив ногу на ногу.

С первого же взгляда он понял причину и цель этого визита.

Бальзамо тоже сразу заметил раскрытую и наполовину опустевшую шкатулку, стоявшую на столе у де Сартина.

Несмотря на то, что взгляд Бальзамо задержался на шкатулке не долее, чем на мгновение, начальник полиции успел его перехватить.

– Какому счастливому случаю я обязан удовольствием видеть вас у себя, господин граф? – спросил де Сартин.

– Дорогой граф! – как нельзя более любезно проговорил Бальзамо. – Я имел честь быть представленным всем европейским монархам, всем министрам, всем посланникам, однако мне не удалось найти никого, кто мог бы представить меня вам. Вот почему я решил сделать это сам.

– Должен признаться, граф, – отвечал начальник полиции, – что вы явились как нельзя более кстати. Мне кажется, что если бы вы не пришли сами, я бы имел честь вас вызвать.

– Смотрите! Как удачно сложилось! – воскликнул Бальзамо.

Де Сартин поклонился с насмешливой улыбкой.

– Я был бы счастлив, граф, если б мог быть вам полезным.

Эти слова Бальзамо произнес без тени смущения или беспокойства на улыбавшемся лице.

– Вы много путешествовали, граф? – спросил начальник полиции.

– Очень много.

– Правда?

– Может быть, вы желаете получить какую-нибудь географическую справку? Ведь человек ваших способностей не ограничивается одной Францией, его интересы охватывают всю Европу..., да что там: весь мир...

– «Географическая» – не совсем подходящее слово, господин граф, – вернее было бы сказать: «справка морального свойства».

– Не стесняйтесь, прошу вас. Я весь к вашим услугам.

– В таком случае, господин граф, вообразите, что я разыскиваю одного очень опасного человека, да, черт возьми, человека, который разом представляет собою и безбожника...

– Ого!

–..и заговорщика...

– Да ну?

–..и фальшивомонетчика!

– Что вы говорите?

– К тому же он прелюбодей, обманщик, знахарь шарлатан, руководитель тайного общества, словом, чело век, все сведения о котором у меня собраны в моей картотеке, а также вот в этой шкатулке – она перед вами.

– Да, понимаю: у вас есть все сведения, но нет этого человека, – сказал Бальзамо.

– Нет!

– Черт побери! А ведь найти его важнее, как мне кажется.

– Несомненно. Впрочем, вы сами сейчас убедитесь в том, как мы близки к его поимке. Пожалуй, Протей был менее изменчив, чем этот человек, а у Юпитера было меньше имен, чем у нашего таинственного путешественника:

Ашарат – в Египте, Бальзамо – в Италии, Сомини – на Сардинии, маркиз д'Анна – на Мальте, маркиз Пеллигрини – на Корсике, и наконец, граф...

– Граф?.. – повторил Бальзамо.

– Это его последнее имя, и я, признаться, не мог его прочесть, но вы ведь мне поможете, не правда ли? Я в этом совершенно уверен, потому что вы непременно должны были встречаться с этим господином во время путешествия в какой-нибудь из тех стран, которые я только что перечислил.

– А вы мне помогите, – невозмутимо произнес Бальзамо.

– А-а, понимаю: вам угодно ознакомиться с приметам, не правда ли, господин граф?

– Да, прошу вас.

– Извольте, – молвил де Сартин, в упор глядя на Бальзамо, – это человек вашего возраста, вашего роста, такого же, как у вас, телосложения; то это знатный вельможа, который сорит деньгами, то – шарлатан, пытающийся постигнуть тайны природы, то – член некоего тайного братства, приговаривающего королей к смерти, а самодержавие к свержению.

– Ну, это слишком туманно, – заметил Бальзамо.

– То есть как – туманно?!

– Если бы вы знали, скольких людей, похожих на того, кого вы только что описали, мне приходилось встречать!..

– Неужели?

– Уверю вас! Вам следовало бы внести некоторые уточнения, если вы действительно хотите, чтобы я сам помог. Прежде всего; известно ли вам, где, в какой стране он чаще всего бывает?

– Везде!

– Ну, а в настоящее время?

- В настоящее время он – во Франции.
- Чем же он занимается во Франции?
- Под его руководством готовится неслыханный доныне заговор – Ну вот, это уже кое-что: если вы знаете, какой заговор он готовит, вы держите в руках нить, на другом конце которой, во всей вероятности, вы и найдете этого человека.
- Я придерживаюсь того же мнения, что и вы.
- Раз вы так думаете, почему же вы, в таком случае, просите у меня совета?
- Я еще раз взвешиваю все «за» и «против».
- Относительно чего?
- Вот этого.
- Чего же?
- Должен ли я его арестовать, да или нет?
- Да или нет?
- Да или нет.
- Я не понимаю, почему «нет», господин начальник полиции, раз он замышляет...
- Да, но он отчасти защищен, потому что носит громкое имя, титул...
- Понимаю. Однако что же это за имя, какой титул? Вам следовало бы сказать мне об этом, чтобы я помог вам в ваших поисках.
- Ах, граф, я вам уже сказал, что знаю имя, под которым он скрывается, но...
- Но вы не знаете, каким именем он себя называет, бывая в обществе, не так ли?
- Вот именно! Если бы не это обстоятельство...
- Если бы не это обстоятельство, вы бы его арестовали?
- Немедленно.
- Знаете, дорогой господин де Сартин, это действительно очень удачно, как вы только что сказали, что я пришел к вам именно сейчас, потому что я окажу вам услугу, о которой вы меня просите.
- Вы?
- Да.
- Вы скажете мне, как его зовут?
- Да.
- Назовете то самое имя, под которым он представлен в обществе?
- Да.
- Как вы с ним знакомы?
- Близко.
- Что же это за имя? – спросил де Сартин, приготовившись услышать какое-нибудь вымышленное имя.
- Граф Феникс.
- Как? Имя, которое вы назвали, приказывая о себе доложить?
- Да.
- Так это ваше имя?
- Мое.
- Значит, Ашарат, Сомини, маркиз д'Анна, маркиз Пеллигрини, Джузеппе Бальзамо – это все вы?
- Ну да, – просто ответил Бальзамо, – я самый. Де Сартин несколько минут не мог прийти в себя от этой вызывающей откровенности.
- Я, знаете ли, так и думал, – проговорил он наконец. – Я вас узнал, я знал, что Бальзамо и граф Феникс – одно лицо.
- Должен признаться, что вы – великий министр, – заметил Бальзамо.
- А вы – очень неосторожный человек, – проговорил в ответ судья, направляясь к колокольчику.
- Почему неосторожный?
- Потому что я сейчас прикажу вас арестовать.

- Неужели? – спросил Бальзамо, преградив де Сартину путь. – Разве можно меня арестовать?
- Черт побери! Скажите на милость, неужто вы думаете, что можете мне помешать?
- Вы хотите это узнать?
- Да.
- Дорогой начальник полиции! Я сейчас пушу пулю вам в лоб.

Бальзамо выхватил из кармана позолоченный пистолетик, словно вышедший из рук самого Бенвенуто Челлини. Он спокойно навел его де Сартину в лицо – тот побледнел и рухнул в кресло.

– Ну вот и отлично! – проговорил Бальзамо, подвинув к себе другое кресло и сев рядом с начальником полиции. – Ну а теперь мы можем побеседовать.

Глава 9. БЕСЕДА

Де Сартин не сразу оправился после такого сильного потрясения. У него было еще перед глазами угрожающее дуло пистолета; ему казалось, что он продолжает ощущать на лбу холодок от прикосновения пистолетного ствола.

Наконец он пришел в себя.

– У вас передо мной одно преимущество, – заговорил он. – Зная, с кем разговариваю, я не принял тех мер предосторожности, которые принимают, когда имеют дело с обыкновенными злоумышленниками.

– Вы напрасно раздражаетесь. Вот уж и сильные выражения готовы сорваться у вас с языка. Неужели вы не замечаете, как вы несправедливы? Ведь я пришел, чтобы оказать вам услугу.

Де Сартин сделал нетерпеливое движение.

– Да, услугу, – продолжал Бальзамо, – а вы, к сожалению, уже успели составить себе неверное представление о моих намерениях. Вы стали мне рассказывать о заговорщиках в ту самую минуту, как я собирался раскрыть один заговор...

Но Бальзамо напрасно пытался заинтриговать де Сартина: в тот момент он не очень прислушивался к словам опасного посетителя; слово «заговор», от которого в другое время начальник полиции подскочил бы на месте, теперь лишь заставило его насторожиться.

– Вы понимаете, – ведь вы прекрасно знаете, кто я, – с каким поручением я прибыл во Францию: меня прислал его величество Фридрих; иными словами, я – тайный посланник прусского короля; известно, что все посланники чрезвычайно любопытны; так как я любопытен, мне известны разные события; одно из тех, о которых мне много известно, – это дело о скупке зерна.

Несмотря на то, что Бальзамо произнес последние слова чрезвычайно просто, они произвели на начальника полиции большее впечатление, чем другие.

Он медленно поднял голову.

– Что это за афера с зерном? – спросил он с не меньшим хладнокровием, чем Бальзамо в начале разговора. – Сובлаговолите и вы мне теперь пояснить, о чем идет речь.

– Охотно, – отвечал Бальзамо. – Дело заключается в следующем...

– Я вас слушаю.

– Итак, очень ловкие перекупщики убедили его величество короля Франции в том, что ему следует построить хлебные амбары на случай голода. Амбары были выстроены; во время их постройки было решено, что они должны быть вместительными, и для них не пожалели ни камня, ни песка. Одним словом, амбары получились огромные.

– Что же дальше?

– А дальше – надо было их насыпать зерном; ведь пустые амбары никому не нужны..., и их заполнили.

– Ну и что же? – спросил де Сартин, не совсем понимая, куда клонит Бальзамо.

– Вы сами можете догадаться, что для того, чтобы наполнить зерном большие амбары, нужно очень много хлеба. Это ведь похоже на правду, не так ли?

– Вне всякого сомнения.

– Я продолжаю. Если изъять из обращения большое количество зерна, это приведет к тому, что народ будет голодать, так как, заметьте, изъятие из обращения любой ценности вызывает не-

хватку какого-либо продукта. Тысяча мешков зерна в закромах означает нехватку тысячи мешков на местах. Помножьте эту тысячу мешков хотя бы на десять, и вы поймете, как много хлеба не хватает народу.

Де Сартин раздраженно закашлялся.

Бальзамо умолк и невозмутимо ждал.

– Таким образом, – продолжал он, как только начальник полиции откашлялся, – перекупщик, которому принадлежит амбар, обогащается сверх всякой меры. Полагаю, что это понятно, не правда ли?

– Разумеется! – отвечал де Сартин. – Но, насколько я понимаю, вы намереваетесь раскрыть мне глаза на заговор, вдохновителем и виновником которого мог бы оказаться сам король.

– Вы верно меня поняли, – согласился Бальзамо.

– Это – смелый шаг, и мне, признаться, было бы чрезвычайно любопытно узнать, как его величество отнесется к вашему обвинению. Боюсь, что результат будет не совсем тот, какой я себе представлял, перебирая бумаги в шкатулке как раз перед вашим приходом. Будьте осторожны! Бастилия по вас плачет!

– Ну вот вы и перестали меня понимать.

– То есть почему же?

– Господи! До чего же вы дурного обо мне мнения и как вы ко мне несправедливы, если принимаете меня за глупца! Неужели вы воображаете, что я, посланник, то есть очень любопытный человек, стал бы нападать на короля? На это был бы способен только круглый дурак. Дайте же мне договорить до конца.

Де Сартин кивнул.

– Люди, раскрывшие этот заговор против французского народа... (прошу прощения за то, что отнимаю у вас драгоценные минуты, но вы скоро убедитесь, что это время потеряно не зря) – те, кто раскрыл заговор против французского народа, – это экономисты, очень старательные, щепетильные, пытливо изучавшие эту махинацию, и они заметили, что не один король замешан в этом деле. Очи отлично знают, что король ведет журнал, где скрупулезно записывает цены на зерно на рынках; они знают, что его величество почитает от удовольствия руки, когда повышение цен приносит ему восемь – десять тысяч экю дохода, но они знают и то, что рядом с его величеством находится человек, положение которого облегчает продажу зерна; благодаря его служебным обязанностям, – как вы понимаете, этот человек находится на государственной службе, – он следит за торговыми сделками, за доставкой зерна, за его упаковкой; он же является и посредником короля; словом, экономисты, эти прозорливые люди, как я их называю, не нападают на короля – ведь они далеко не глупые люди; они обвиняют того самого человека, дорогой мой судья, занимающего высокое служебное положение, то есть агента, обделяющего делишки самого короля.

Де Сартин тщетно пытался удержать свой парик в равновесии.

– Итак, я приближаюсь к развязке, – продолжал Бальзамо. – Точно так же, как вы, имея в своем распоряжении целый штат полицейских, узнали, что я – граф Феникс, я не хуже вас знаю, что вы – господин де Сартин.

– Ну и что же? – в смущении пролепетал де Сартин. – Да, я – де Сартин. Нашли чем удивить!

– Пора бы вам понять, что господин де Сартин и есть тот самый господин, который ведет учет в журнале, занимается покупкой, упаковкой; именно он втайне от короля, а может быть, и с его ведома, спекулирует на желудках двадцати семи миллионов французов, вопреки своей прямой обязанности досыта их накормить. Вообразите, какой поднимется крик, если эти махинации станут достоянием гласности! Народ вас не любит, а король жесток: как только голодные потребуют вашу голову, его величество, дабы отвести от себя всякое подозрение в соучастии – если и впрямь имело место это соучастие, – или для того, чтобы свершилось правосудие, его величество не преминет приговорить вас к такой же виселице, на которой болтался Ангеран де Мариньи, помните?

– Смутно, – сильно побледнев, пробормотал де Сартин. – Должен заметить, что разговаривать о виселице с человеком моего положения – по меньшей мере, дурной тон.

– Я говорю с вами об этом потому, дорогой мой, – возразил Бальзамо, – что у меня перед глазами так и стоит бедный Ангеран. Могу поклясться, что это был безупречный нормандский

рыцарь, носивший звучное имя, потомок аристократического рода. Он был камергером Франции, капитаном Лувра, интендантом министерства финансов и строительства; он носил имя графа де Лонгвиля, а это графство было, пожалуй, побольше, чем находящееся в вашем владении графство Альби. Так вот, милостивый государь, я видел, как его вешали в сооруженном под его началом Монфоконе. Видит Бог, я не зря повторял ему: «Ангеран, дорогой Ангеран, будьте осторожны! Вы черпаете из казны с широтой, которую вам не простит Карл Валуа». Он меня не послушал, – и погиб. Если бы вы знали, сколько я перевидал префектов полиции, начиная с Понтия Пилата, осудившего Иисуса Христа, и кончая господином Бертенем де Бель-Иль, графом де Бурдей, господином де Брантомом, вашим предшественником, приказавшим поставить в городе фонари и запретившим продавать цветы.

Де Сартин встал, тщетно пытаясь скрыть охватившее его волнение.

– Ну что же, можете выдвинуть против меня обвинение, если вам так угодно. Однако чего стоит свидетельство человека, который сам на волоске?

– Будьте осторожны, милостивый государь! – предостерег его Бальзамо.

– Чаще всего хозяином положения оказывается тот, чье положение на первый взгляд весьма шатко. Стоит мне во всех подробностях описать историю со скупленным зерном моему корреспонденту или королю-мыслителю Фридриху, и Фридрих немедленно все расскажет, сопроводив комментарием, господину Вольтеру. Надеюсь, о нем вам известно хотя бы понаслышке. Он сделает из этого забавную сказочку в стиле «Человека с сорока грошами». Тогда господин д'Аламбер, непревзойденный математик, подсчитает, что скрытым вами зерном можно было бы кормить сто миллионов человек на протяжении трех-четырех лет. А Гельвеций установит, что если стоимость зерна выразить в экю достоинством в шесть ливров и сложить эти монеты столбиком, то столбик достал бы до Луны, или, если эту сумму перевести в банковые купюры и уложить их в один ряд, можно было бы добраться до Санкт-Петербурга. Эти расчеты вдохновят господина де Лагарпа на душещипательную драму; Дидро – на встречу с Отцом семейства; Жан-Жак Руссо из Женевы – на толкование этой встречи с комментариями – он больно укусит, стоит ему только взяться за дело; господин Карон де Бомарше напишет воспоминания, а уж ему не приведи Господь наступить на ногу; господин Гримм черкнет записочку; господин Гольбах сочинит ядовитый каламбур, господин де Мармонтель – убийственную для вас нравоучительную басню. А когда обо всем этом заговорят в кафе «Режанс», в Пале-Рояле, у Одино, в королевской труппе, находящейся, как вы знаете, на содержании господина Николе – ах, господин граф д'Альби, думаю, что вас, начальника полиции, ждет еще более печальный конец, нежели бедного Ангерана де Мариньи, о котором вы даже слышать ничего не хотите! Ведь он считал себя невиновным и, уже поднявшись на эшафот, так искренне мне об этом говорил, что я не мог ему не поверить.

Забыв всякое приличие, де Сартин сорвал с головы парик и вытер пот со лба.

– Хорошо, пусть так, меня это не остановит, – пролепетал он. – Вы вольны делать со мной все, что вам вздумается. У вас – свои доказательства, у меня – свои. Вы остаетесь при своей тайне, а у меня останется эта шкатулка.

– Вот в этом вы глубоко заблуждаетесь, и я, признаться, удивлен тем, что такой умный человек может быть до такой степени наивен. Эта шкатулка...

– Так что шкатулка?

– Она у вас не останется.

– Да, это правда! – насмешливо проговорил де Сартин. – Я и забыл, что граф Феникс – дворянин с большой дороги, который с пистолетом в руках грабит порядочных людей. Я совсем забыл про ваш пистолет, потому что вы спрятали его в карман. Прошу прощения, господин посланник.

– Да при чем здесь пистолет, господин де Сартин? Не думаете же вы в самом деле, что я стану отнимать у вас эту шкатулку? Ведь не успею я очутиться на лестнице, как вы позвоните в колокольчик и закричите «Караул! Грабят!» Не-е-ет! Когда я говорю, что эта шкатулка у вас не останется, я имею в виду, что вы вернете мне ее добровольно.

– Я? – вскричал де Сартин и с такой силой хватил кулаком по вещице, о которой шел спор, что едва не разбил ее.

– Да, вы.

– Смейтесь, милостивый государь, смейтесь! Но имейте в виду, что вы получите эту шкатулку, только перейдя через мой труп. Да что там мой труп!.. Я сто раз рисковал жизнью, и я готов отдать всего себя до последней капли крови на службе у его величества. Убейте меня – это в вашей власти. Но на выстрел сбегутся те, кто отомстит вам за меня, а я найду в себе силы перед смертью уличить вас во всех ваших преступлениях. Чтобы я отдал вам эту шкатулку? – с горькой усмешкой прибавил де Сартин.

– Да если бы даже у меня ее потребовал сатана, я не отдал бы ее ни за что на свете!

– Да я не собираюсь призывать на помощь потусторонние силы! С меня довольно будет вмешательства одного лица, которое в эту минуту уже стучится в ваши ворота.

Действительно, раздались три громких удара.

–..А карета, принадлежащая этому лицу, – продолжал Бальзамо, – въезжает к вам во двор. Прислушайтесь!

– Один из ваших друзей, насколько я понимаю, оказывает мне честь своим посещением?

– Совершенно верно, это мой друг.

– И я отдам ему эту шкатулку?

– Да, дорогой господин де Сартин, отдадите.

Начальник полиции успел только презрительно пожать плечами, как вдруг распахнулась дверь и запыхавшийся лакей доложил о графине Дю Барри, требовавшей немедленной аудиенции.

Господин де Сартин вздрогнул и в изумлении взглянул на Бальзамо; тот сдерживался изо всех сил, чтобы не рассмеяться почтенному судье в лицо.

В то же мгновение вслед за лакеем появилась дама, не привыкшая ждать; как всегда благоухая, она стремительно вошла в кабинет, шурша пышными юбками, зацепившимися за дверь; это была очаровательная графиня.

– Это вы, графиня? Вы? – пролепетал де Сартин, схватив раскрытую шкатулку и судорожно прижимая ее к груди.

– Здравствуйтесь, Сартин! – весело проговорила графиня и обернулась к Бальзамо:

– Здравствуйтесь, дорогой граф!

Она протянула Бальзамо белоснежную руку – тот склонился и прильнул к ней губами в том месте, которого касались обыкновенно губы короля.

Воспользовавшись этой минутой, Бальзамо шепнул графине несколько слов, которые не мог разобрать де Сартин.

– А вот и моя шкатулка! – воскликнула графиня.

– Ваша шкатулка? – пролепетал де Сартин.

– Да, моя шкатулка. Вы ее раскрыли? Ну, я вижу, вы не очень-то церемонитесь!..

– Сударыня...

– Как хорошо, что эта мысль пришла мне в голову!.. У меня похитили шкатулку, тогда я подумала:

«Отправлюсь-ка я к Сартину, он непременно ее найдет». А вы меня опередили, благодарю вас.

– И, как видите, господин де Сартин успел даже ее раскрыть.

– Да, в самом деле!.. Кто бы мог подумать? Это отвратительно, Сартин.

– Графиня! Несмотря на все мое к вам уважение, – возразил начальник полиции, – я боюсь, что вас ввели в заблуждение.

– В заблуждение? – подхватил Бальзамо. – Уж не ко мне ли относятся эти слова?

– Я знаю то, что знаю, – молвил де Сартин.

– А я не знаю ничего, – зашептала Дю Барри, обращаясь к Бальзамо. – Что здесь происходит, дорогой граф, вы потребовали от меня исполнить обещание – я посулила вам исполнение любого вашего желания... А я умею держать данное слово по-мужски: я здесь! Так что же вам от меня угодно?

– Графиня, – так же тихо отвечал Бальзамо, – Вы несколько дней тому назад отдали мне на хранение эту шкатулку вместе с ее содержимым.

– Разумеется! – проговорила Дю Барри, многозначительно взглянув в глаза графу.
– Разумеется? – вскричал де Сартин. – Вы сказали «разумеется», графиня?
– Да, и графиня произнесла это во весь голос, дабы вы услышали.
– Но в этой шкатулке находится, возможно, с десяток заговоров!
– Ах, господин де Сартин, вы прекрасно понимаете, что это слово неуместно. Ну и не надо его повторять! Графиня просит вас вернуть ей шкатулку – верните, и делу конец!
– Вы просите отдать вам ее, графиня? – дрожа от гнева, спросил де Сартин.
– Да, дорогой мой.
– Знайте, по крайней мере, что... Бальзамо взглянул на графиню.
– Я ничего не желаю знать, – перебила де Сартин графиня Дю Барри. – Верните мне шкатулку. Надеюсь, вам понятно, что я не стала бы приезжать из-за пустяков.
– Именем Господа Бога, во имя интересов его величества, графиня...
Бальзамо нетерпеливо повел плечами.
– Шкатулку, сударь! – бросила графиня. – Шкатулку! Да или нет? Хорошенько подумайте, прежде чем сказать «нет».
– Как вам будет угодно, графиня, – смиренно отвечал де Сартин.
Он протянул графине шкатулку, куда Бальзамо успел сунуть все рассыпавшиеся по столу бумаги.
Графиня Дю Барри обернулась к нему с очаровательной улыбкой.
– Граф! – проговорила она. – Будьте любезны отнести эту шкатулку ко мне в карету и дайте мне руку: я боюсь одна идти через приемную – там такие отвратительные физиономии!.. Благодарю вас, Сартин.
Бальзамо направился было к выходу вместе со своей покровительницей, как вдруг увидел, что де Сартин потянулся к колокольчику.
– Ваше сиятельство, – обратился Бальзамо к Дю Барри, останавливая своего врага взглядом, – будьте добры сказать господину де Сартину, который не может мне простить того, что я потребовал у него шкатулку, что вы пришли бы в отчаяние, если бы со мной случилось какое-нибудь несчастье по вине господина начальника полиции, и что вы были бы им недовольны.
Графиня улыбнулась Бальзамо.
– Дорогой Сартин! Вы слышите, что говорит граф? Это все чистая правда. Граф – мой лучший друг, и я никогда вам не прощу, если вы доставите ему какую-нибудь неприятность. Прощайте, Сартин.
Подав руку Бальзамо, уносившему с собой шкатулку, графиня Дю Барри покинула кабинет начальника полиции.
Де Сартин смотрел, как они уходят вдвоем, подавив вспышку гнева, которую так надеялся увидеть Бальзамо.
– Иди, иди! – прошептал побежденный начальник полиции. – Иди, у тебя в руках шкатулка, а у меня – твоя жена!
Давая волю своим чувствам, он изо всех сил стал звонить в колокольчик.

Глава 10. ГЛАВА, В КОТОРОЙ ГОСПОДИН ДЕ САРТИН НАЧИНАЕТ ВЕРИТЬ В ТО, ЧТО БАЛЬЗАМО – КОЛДУН

На нетерпеливый звонок де Сартин поспешил явиться секретарь.

- Ну, что эта дама?
- Какая дама, ваше сиятельство?
- Да та, что упала здесь без чувств и которую я поручил вам.
- Она в добром здравии, ваше сиятельство.
- Отлично! Приведите ее сюда.
- Где я могу ее найти?
- Как где? Да в этой самой комнате!..
- Ее там больше нет, ваше сиятельство.

– Нет? Где же она?

– Не имею чести знать.

– Она ушла?

– Да.

– Одна?

– Да.

– Но она же едва держалась на ногах!

– Точно так, ваше сиятельство, она несколько минут оставалась без чувств. Но пять минут спустя после того, как граф Феникс вошел к вам в кабинет, она пришла в себя после этого странного обморока, из которого ее не могли вывести ни спирт, ни соль. Она раскрыла глаза, поднялась и облегченно вздохнула.

– Что было дальше?

– Потом она направилась к двери. Так как вы, ваше сиятельство, не приказывали ее задерживать, она и ушла.

– Ушла? – вскричал де Сартин. – Ах ты, болван! Да вы все у меня сдохнете в Бисетре! Немедленно пришли моего лучшего сыщика! Живо, живо!

Секретарь бросился исполнять приказание.

– Видно, этот подлец – колдун! – пробормотал незадачливый начальник полиции. – Я – начальник полиции его величества, а он – начальник полиции самого сатаны.

Читатель, по-видимому, уже догадался о том, чего де Сартин никак не мог взять в толк. Сейчас же после сцены с пистолетом, пока начальник полиции приходил в себя, Бальзамо, воспользовавшись передышкой, огляделся по сторонам, и будучи уверен в том, что где-нибудь непременно увидит Лоренцу, и приказал молодой женщине встать, выйти из комнаты и той же дорогой возвратиться в особняк на улице Сен-Клод.

Как только эта воля находила выражение в его мыслях, между Бальзамо и молодой женщиной установилась магнетическая связь. Повинуясь полученному ею мысленному приказанию, Лоренца встала и вышла раньше, чем кто бы то ни было успел ей помешать.

Вечером де Сартин слег в постель и приказал пустить себе кровь; потрясение оказалось для него слишком сильно и не могло пройти без последствий. Лекарь объявил, что еще бы четверть часа – и он скончался бы от апоплексического удара.

А Бальзамо проводил графиню до кареты и хотел было откланяться; однако она была не из тех женщин, которых можно было оставить так просто, ничего не объяснив; ей хотелось хотя бы в нескольких словах услышать о том, что сейчас произошло на ее глазах.

Она пригласила графа войти вслед за ней в карету. Граф повиновался, курьер взял Джерида под уздцы.

– Как видите, граф, я верна своему слову, – молвила Дю Барри, – если я кого-нибудь называю своим другом, то говорю это от чистого сердца. Я собиралась отправиться в Люсьенн – туда завтра утром обещал приехать король. Но я получила ваше письмо и ради вас все бросила. Многих привели бы в ужас все эти слова о заговорах и заговорщиках, которые господин де Сартин бросал нам в лицо. Но прежде чем что-либо предпринять, я смотрела на вас и поступала так, как вы этого хотели.

– Дорогая графиня! – отвечал Бальзамо. – Вы с лихвой заплатили мне за ту пустячную услугу, которую я имел честь оказать вам. Но я надеюсь, что могу вам пригодиться в дальнейшем. У вас еще будет случай убедиться в том, что я умею быть признательным. Но только прошу вас не считать меня преступником и заговорщиком, как говорит господин де Сартин. Он получил из рук предателя эту шкатулку, в которой я храню свои маленькие химические секреты, те самые секреты, ваше сиятельство, которыми мне хотелось бы с вами поделиться, чтобы вы сохранили вашу бессмертную, необыкновенную красоту, вашу ослепительную молодость. Ну, а дорогой господин де Сартин, завидев цифры в моих формулах, призвал на помощь целую канцелярию, и служаки, не желая ударить в грязь лицом, по-своему истолковали мои цифры. Мне кажется, что я как-то говорил вам, графиня, что людям моей профессии еще грозят такие же наказания, как в средние века. Только такой светлый и незакоснелый ум, как ваш, может относиться к моим занятиям с благо-

склонностью. Словом, вы, графиня, вызволили меня из весьма затруднительного положения. Я это признаю, и у вас будет возможность убедиться в моей признательности.

– Я хотела бы знать, что с вами было бы, если бы я не пришла вам на помощь.

– Чтобы досадить королю Фридриху, которого ненавидит его величество, меня засадили бы в Венсен или в Бастилию. Разумеется, я бы скоро вышел оттуда, потому что умею одним дуновением разрушить каменную стену. Но при этом я потерял бы шкатулку, в которой хранятся, как я уже имел честь сообщить вашему сиятельству, прелюбопытные, бесценные формулы, которые мне по счастливой случайности удалось вырвать из вечного мрака неизвестности.

– Ах, граф, вы совершенно меня убедили и очаровали! Так вы обещаете мне приворотное зелье, от которого я помолодею?

– Да.

– Когда же я его получу?

– Нам с вами торопиться некуда. Обратитесь ко мне лет через двадцать, милая графиня. Вы же не хотите, я полагаю, стать сейчас ребенком?

– Вы – просто прелесть. Позвольте задать вам еще один вопрос, и я вас отпущу – мне кажется, что вы очень торопитесь.

– Слушаю вас, графиня.

– Вы мне сказали, что вас кто-то предал. Это мужчина или женщина?

– Женщина.

– Ага, граф, любовная история!

– Увы, да, графиня, да в придачу еще и ревность, доходящая временами до бешенства и приводящая к последствиям, свидетельницей которых вы только что были. Эта женщина не осмелилась нанести мне удар ножом – она знает, что меня нельзя убить. И вот она решила сгноить меня в тюрьме или пустить по миру.

– Как можно вас разорить?

– На это она, во всяком случае, надеялась.

– Граф, я сейчас прикажу остановить карету, – со смехом проговорила графиня. – Вы, значит, обязаны своим бессмертием ртути, которая течет в ваших жилах? Именно поэтому вас предадут вместо того, чтобы убить? Вы хотите выйти здесь или вам угодно, чтобы я подвезла вас к дому?

– Нет, графиня, это было бы чересчур любезно с вашей стороны, не стоит из-за меня беспокоиться. У меня есть Джерид.

– А-а, тот самый чудесный конь, который, как говорят, бежит быстрее ветра?

– Я вижу, он вам нравится, графиня.

– В самом деле, великолепный скакун!

– Позвольте предложить вам его в подарок, при условии, что только вы будете на нем ездить.

– Нет, нет, благодарю, я не езжу верхом на лошади, а если иногда приходится, то в силу крайней необходимости. Я ценю ваше намерение и буду считать, что получила подарок. Прощайте, граф! Не забудьте, что через десять лет я приду к вам за эликсиром молодости.

– Я сказал: через двадцать.

– Граф! Вам, вероятно, знакома поговорка: «Лучше синицу в руки...» Лучше, если вы сможете дать мне его лет через пять... Никогда не знаешь, что тебя ждет.

– Как вам будет угодно, графиня. Вы же знаете, что я весь к вашим услугам.

– И последнее, граф...

– Слушаю вас, графиня.

– Я вам действительно очень доверяю, раз обращаюсь с этой просьбой.

Бальзамо, ступивший было на землю, превозмог свое нетерпение и опять сел рядом с графиней.

– Теперь на каждом углу говорят, что король увлекся мадмуазель де Таверне, – продолжала Дю Барри.

– Неужели, графиня? – удивился Бальзамо.

– И, как некоторые утверждают, увлекся довольно серьезно. Я хочу, чтобы вы мне сказали.

Если это правда, граф, не надо меня щадить. Будьте мне другом, граф, заклинаю вас, скажите мне правду!

– Я готов сделать для вас больше, графиня, – отвечал Бальзамо. – Я вам отвечаю, что никогда мадмуазель Андре не будет любовницей короля.

– Почему, граф? – вскричала Дю Барри.

– Потому что я этого не хочу, – молвил Бальзамо.

– О! – недоверчиво обронила Дю Барри.

– У вас есть в этом сомнения?

– Разве мне нельзя в чем-нибудь усомниться?

– Никогда не подвергайте сомнению научные данные, графиня. Вы мне поверили, когда я сказал вам «да». Когда я говорю «нет», поверьте мне.

– Значит, вы располагаете каким-нибудь способом?.. Она замолчала и улыбнулась.

– Договаривайте.

–..Каким-нибудь способом помешать королю и обуздать его капризы? Бальзамо улыбнулся.

– Я умею возбуждать симпатии, – сказал он.

– Знаю.

– Вы даже верите в это, правда?

– Верю.

– Но в моей власти вызвать и отвращение, а в случае надобности я лишу короля всякой возможности... Итак, успокойтесь, графиня, я за ним слежу.

Бальзамо говорил отрывисто, словно был не в себе, и графиня Дю Барри приняла это за пророчество, даже не подозревая о том лихорадочном нетерпении, с каким Бальзамо стремился как можно скорее увидеть Лоренцу.

– Ну, граф, вы для меня не только вестник счастья, но и ангел-хранитель, – проговорила Дю Барри. – Граф! Запомните хорошенько: я вас защищу, но и вы меня защитите. Давайте заключим союз! Союз!

– Согласен! – отвечал Бальзамо.

Он еще раз поцеловал графине руку.

Захлопнув дверцу кареты, остановившейся на Елисейских Полях, он вскочил на своего коня; конь радостно заржал и вскоре пропал в темноте.

– В Люсьенн! – успокоившись, крикнула Дю Барри. Бальзамо тихо свистнул и прищепил Джерида. Через пять минут он уже был в передней особняка на улице Сен-Клод. Его встретил Фриц.

– Ну что? – озабоченно спросил Бальзамо.

– Да, хозяин, – отвечал лакей, умевший читать его мысли.

– Она вернулась?

– Она наверху.

– В какой комнате?

– В оружейной.

– Что с ней?

– Очень утомлена. Она бежала так быстро, что, заметив ее издали, потому что я ее поджидал, я даже не успел выскочить ей навстречу.

– Неужто?

– Я даже испугался: она ворвалась сюда, словно буря, не останавливаясь, взлетела вверх по лестнице и, едва войдя в комнату, вдруг упала на шкуру большого черного льва. Там вы ее и найдете.

Бальзамо поспешил подняться к себе и в самом деле нашел Лоренцу, безуспешно пытавшуюся побороть первые приступы нервного припадка. Она слишком долго находилась под гипнозом, и теперь ее воля искала выхода. Ей было больно, она стонала, можно было подумать, что на нее навалилась гора и придавила ей грудь, а она обеими руками как будто пыталась освободиться от тяжести.

Бальзамо некоторое время смотрел на нее, гневно сверкая глазами; затем поднял ее на руки и

отнес в ее комнату, затворив за собою таинственную дверь.

Глава 11. ЭЛИКСИР ЖИЗНИ

Читатель знает, в каком расположении духа Бальзамо только что вернулся в комнату Лоренцы.

Он собирался разбудить ее и осыпать упреками, которые он вынашивал в самых затаенных уголках своей души, как вдруг трижды повторившийся стук в потолок напомнил ему об Альтотасе: старик ожидал его возвращения, чтобы поговорить.

Однако Бальзамо решил подождать, в надежде на то, что ослышался или что это был случайный шум, но потерявший терпение старик повторил условный знак. Опасаясь, что старик спустится к нему или что Лоренца, разбуженная вопреки его гипнозу, узнает о существовании какой-нибудь тайны, что было бы не менее опасно для него, нежели разглашение его политических секретов, Бальзамо поспешил к Альтотасу, перед тем снова усыпив Лоренцу.

Было самое время: опускающаяся дверь находилась уже совсем близко от потолка. Альтотас оставил свое кресло на колесиках и, свесившись, выглядывал в образовавшееся в полу отверстие.

Он видел, как Бальзамо вышел из комнаты Лоренцы.

Скрючившийся над люком старик всем своим видом вызывал отвращение.

Его бледное лицо, вернее, те его черты, в которых еще теплилась жизнь, в эту минуту налились кровью от злости; иссохшие крючковатые пальцы тряслись от нетерпения; свирепо вращая глубоко запавшими глазами, старик поносил Бальзамо на каком-то непонятном наречии.

Покинув кресло ради того, чтобы опустить люк, старик, казалось, стал совершенно беспомощным и мог теперь передвигаться лишь при помощи своих длинных худых рук, похожих на паучьи ножки Выйдя, как мы уже сказали, из своей комнаты, куда не мог проникнуть никто, кроме Бальзамо, старик собирался спуститься в расположенную под ним комнату.

Должно быть, беспомощный и ленивый старик был в эту минуту чрезвычайно сильно возбужден, если он решился оставить удобное кресло, поступиться своими привычками, выйти из состояния блаженного созерцания ради того только, чтобы окунуться в уже забытую им действительность.

Застигнутый врасплох, Бальзамо удивился, потом забеспокоился.

– Ах вот ты где, бездельник! – вскричал Альтотас. – Трус! Бросил своего старого учителя.

Бальзамо призвал на помощь все свое терпение, как всегда, когда ему случалось разговаривать со стариком.

– Мне кажется, дорогой друг, что вы меня только сейчас позвали, – вежливо возразил он.

– Я – твой друг? – вскричал Альтотас. – Друг!.. Презренное создание! Кажется, ты пытаешься разговаривать со мной на языке тебе подобных тварей? Я тебе друг? Да я больше, чем друг, я тебе отец, отец, вскормивший, воспитавший тебя, я дал тебе образование, состояние... Какой же ты мне друг, если ты меня позабыл, моришь меня голодом. Ты меня убиваешь!

– Успокойтесь, учитель. Вы расстраиваетесь, ожесточаетесь... Так недолго и заболеть!

– Заболеть? Ошибаешься! Разве я когда-нибудь болел, не считая тех случаев, когда ты, вопреки моему желанию, заставлял меня жить по грязным законам человеческого существования? Заболеть... Неужто ты запомнил, что именно я умею лечить других?

– Учитель! Я – перед вами: не будем понапрасну терять время, – остановил его Бальзамо.

– Да, хорошо, что ты мне напомнил о времени – ведь у меня каждая минута на счету. Время, которое отмерено всякому существу, для меня должно быть не ограничено! Да, мое время истекает; да, мое время теряется даром; да, мое время, как время простого смертного, минута за минутой утекает в песок вечности... А ведь именно мое время должно стать самой вечностью!

– Ну хорошо, учитель, – проговорил Бальзамо с невозмутимым спокойствием, опустив подъемное окно, встав рядом со стариком, приведя в действие пружину и поднявшись вместе с Альтотасом к нему в кабинет, – что вам для этого нужно? Говорите. Вы сказали, что я морю вас голодом, но не вы ли сами вот уже около сорока дней воздерживаетесь от пищи?

– Да, да, разумеется: процесс регенерации начался тридцать два дня назад.

– Тогда на что же вы жалуетесь? Я вижу у вас три графина с дождевой водой. Вы только ее пьете, не так ли?

– Несомненно, однако неужели ты воображаешь, что я, как куколка тутового шелкопряда, способен в одиночку совершить великое превращение старика в юношу? Ужели ты думаешь, что я, немощный старик, могу один составить эликсир жизни? Неужто ты полагаешь, что, ослабев после питья,

– единственно, что я могу себе позволить, так это питье, – я сумею без твоей помощи, без дружеской поддержки посвятить себя кропотливой и нелегкой работе по омоложению?

– Я с вами, учитель, я с вами, – сказал Бальзамо, почти насильно усаживая старика в кресло, словно это был маленький уродец. – Но ведь вы не испытываете недостатка в дистиллированной воде – я вижу три полных графина. Как вы знаете, эту воду набрали в мае. Вот ваши ячменные и кунжутные сухари. Я сам приготовил вам белые капли, которые вы себе прописали.

– А как же эликсир? Эликсир не готов, а ты об этом и не помнишь, тебя здесь давненько не было. Вот твой отец, – он более преданный друг, чем ты. Впрочем, пятьдесят лет назад я был предусмотрительнее и приготовил эликсир за месяц до своего дня рождения. Для этого я уединился на горе Арарат. Один иудей за горсть серебра добыл мне младенца, еще не оторвавшегося от материнской груди; согласно обычаю, я пустил ему кровь. Я взял последние три капли его артериальной крови и в какой-нибудь час мой эликсир, в котором недоставало только крови, был готов. Таким образом, я помолодел на пятьдесят лет. Волосы и зубы выпадали у меня по мере того, как я пил этот божественный эликсир. Зубы у меня выросли новые, правда, неважные, это я и сам знаю, а все потому, что я пренебрег золотой трубочкой, через которую мне следовало пить эликсир. А вот волосы и ногти полностью восстановились в моей второй молодости, и я зажил так, словно мне исполнилось пятнадцать лет... Однако теперь я снова состарился, и если эликсир не будет готов в этой самой бутылке, если я не приложу старания к этому делу всей своей жизни, то вместе со мной уйдут в небытие накопленные мною знания, а божественная тайна, которую я держу в своих руках, будет навсегда утеряна для человечества: ведь я хранитель этой тайны и посредник между Богом и человеком! И если мне чего-то не хватит для этого, если я в чем-то ошибусь, если я согрешу, Ашарат, то причиной всех этих несчастий будешь ты! Берегись! Мой гнев будет страшен, ужасен!

При этих словах потухшие глаза старика холодно блеснули, по телу его пробежала дрожь, потом он сильно закашлялся.

Бальзамо бросился ему на помощь.

Старик пришел в себя, но еще сильнее побледнел. Приступ кашля отнял у него последние силы; можно было подумать, что он вот-вот умрет.

– Дорогой учитель! Скажите мне, чего вы хотите, – обратился к нему Бальзамо – Чего я хочу?.. – переспросил старик, пристально глядя на Бальзамо.

– Да...

– Я хочу...

– Говорите! Я вас слушаю и обещаю все исполнить, если это будет возможно.

– Возможно... Возможно!.. – пренебрежительно пробормотал старик. – На свете ничего невозможного нет.

– Да, разумеется, когда в твоём распоряжении есть время и знания – Знания-то у меня имеются, а вот время... Скоро и время будет мне подвластно. Я нашел верные пропорции, однако силы мои истаяли; белые капли, которые ты мне приготовил, вызвали отторжение некоторых частей износившегося организма. Молодость подобно соку дерева по весне поднимается под старой корой и раздвигает, если можно так выразиться, старую древесину. Заметь, Ашарат, что все симптомы налицо: голос мой ослабел, я на три четверти слеп, временами я теряю рассудок; я уже не чувствую ни холода, ни жары – пора заканчивать приготовление эликсира, чтобы в тот самый день, когда мне исполнится сто лет, я снова стал двадцатилетним. Все составные части эликсира готовы, я уже сделал золотую трубку; как я тебе уже говорил, недостает лишь трех последних капель крови.

Бальзамо брезгливо поморщился.

– Хорошо, я готов отказаться от младенца, – продолжал Альтотас, – раз ты предпочитаешь уединяться со своей любовницей, вместо того, чтобы отправиться на его поиски, – заметил Альтотас.

– Вы отлично знаете, учитель, что Лоренца не любовница, – отвечал Бальзамо.

– Хо, хо, хо! Ты только так говоришь и думаешь, что можешь меня в этом убедить; ты хочешь заставить меня поверить в то, что девушка может остаться невинной, даже когда рядом с ней такой мужчина, как ты?

– Клянусь вам, учитель, что Лоренца целомудренна, как Святая Дева Мария; клянусь, что любовью, желаниями, сладострастием – всем я пожертвовал ради своей души: ведь я тоже занимаюсь обновлением, только не одного себя, а всего мира.

– Безумец! Несчастный безумец! – вскричал Альтотас. – Сейчас он мне будет рассказывать про мышиную возню, про муравьиную революцию, и это в то время, когда я ему толкую о вечной жизни, о вечной молодости...

–...которой можно достичь ценой ужасного преступления и...

– И ты сомневаешься? Мне кажется, ты сомневаешься в моей правоте, несчастный!

– Нет, учитель. Однако вы сказали, что готовы отказаться от младенца. Что же вам нужно взамен?

– Мне нужно первое невинное существо, какое только тебе попадется под руку: юноша или девушка, все равно.. Впрочем, лучше бы девицу для более близкого сродства душ. Итак, найди ее для меня, да поторопись, потому что в моем распоряжении осталась всего одна неделя – Хорошо, учитель, – отвечал Бальзамо, – я постараюсь кого-нибудь найти.

Новая вспышка гнева, еще более страшная, осветила лицо старика.

– Он постарается кого-нибудь найти!.. – вскричал он. – Признаться, я этого ожидал и не понимаю, что меня удивляет С каких это пор ничтожная тварь, червь смеет таким тоном разговаривать со своим создателем? А-а, ты видишь, что я обессилел, что я лежу, что я прошу, и ты оказался настолько наивен, что решил, будто я в твоей власти? Да или нет, Ашарат? Не лги мне: я читаю в твоих глазах и вижу, что происходит в твоей душе. Я тебя осуждаю и буду преследовать.

– Учитель! – прервал его Бальзамо. – Будьте благоразумны, гнев вас погубит.

– Отвечай мне! Отвечай!

– Я всегда говорю своему учителю только правду; я обещаю, что буду искать то, о чем вы меня просите, если это не нанесет нам обоим ущерба и не погубит нас. Я постараюсь найти человека, который продаст нужное вам существо. Но я не буду брать преступление на себя. Вот все, что я могу вам сказать.

– Как это благородно! – горько засмеявшись, молвил Альтотас.

– Я не могу поступить иначе, учитель, – проговорил Бальзамо.

Альтотас сделал над собой нечеловеческое усилие и, оттолкнувшись от подлокотников кресла, поднялся во весь рост.

– Да или нет? – повторил он.

– Учитель! Да, если я найду, нет, если не найду.

– Значит, ты обрекаешь меня на смерть, негодяй; ты готов сберечь три капли крови для какого-нибудь ничтожества, невзирая на то, что я, необыкновенное существо, скатываюсь в пропасть небытия. Ашарат! Я ни о чем больше тебя просить не стану! – крикнул старик, и на лице его появилась улыбка, от которой становилось страшно Мне от тебя ничего не нужно! Я подожду немного, но если ты не выполнишь мою волю, я все сделаю сам; если ты меня бросишь, я сам о себе позабочусь. Ты слышал, что я сказал? А теперь ступай!

Не проронив ни слова в ответ на эту угрозу, Бальзамо приготовил и расставил рядом со стариком все, что могло ему понадобиться, а также еду и питье, позаботился обо всем, что только мог предусмотреть преданный слуга для своего хозяина, а любящий сын – для родного отца. Потом, вернувшись к своим мыслям, далеким от тех, которые волновали Альтотаса, он опустил подъемное окно, не замечая, что старик провожал его насмешливым взглядом, угадав его мысли и чувства.

Альтотас еще продолжал улыбаться, напоминая злого гения, когда Бальзамо подошел к ди-

вану и замер перед спящей Лоренцей.

Глава 12. БОРЬБА

Сердце Бальзамо болезненно сжалось. Он страдал, но жажда мщения в нем утихла.

После его разговора с Альтотасом, со всей очевидностью показавшего ему всю глубину человеческой подлости, гнев его словно улетучился. Он вспомнил, что существовал один древнегреческий философ, который повторял про себя от начала до конца весь алфавит, прежде чем прислушаться к голосу мрачной богоизбранной советницы Ахилла. С минуту он молча и равнодушно разглядывал лежавшую на диване Лоренцу.

«Мне сейчас невесело, — подумал он, — но я спокоен и ясно вижу положение, в котором я оказался. Лоренца меня ненавидит. Лоренца пообещала, что предаст меня, и привела свою угрозу в исполнение. Моя тайна принадлежит теперь не только мне, она стала доступной этой женщине, но та пустила ее по ветру. Я похож на лисицу, попавшую в капкан: я выдернул из стальных зубов одну кость от нот, а кожа и мясо остались там, и охотник завтра скажет:

«Здесь вчера была лисица, теперь я найду ее, живую или мертвую».

Это — неслыханное несчастье, недоступное пониманию Альтотаса, вот почему я ничего ему не стал об этом говорить. Это несчастье лишает меня надежды на успех в этой стране, а значит — и во всем этом мире: ведь Франция — душа этого мира. И обязан я всем вот этой спящей женщине, этой прекрасной статуе с нежной улыбкой. Я обязан этому ангелу бесчестьем и разорением, а впереди меня ждут пленение, изгнание, смерть.

Итак, — оживляясь, продолжал он, — чаша весов, на которой лежит причиненное мне Лоренцей зло, перевешивает все то доброе, что она для меня совершила. Лоренца погубила меня.

Ах ты, змея! До чего грациозно ты свиваешься в кольца, из которых я не могу вырваться! До чего очарователен твой ротик, но он полон яда! Так спи же, иначе я буду вынужден тебя убить, как только ты проснешься!

Со злобной улыбкой Бальзамо медленно приблизился к молодой женщине, в изнеможении смежившей веки; однако по мере того, как он к ней подходил, глаза ее раскрывались, подобно лепесткам подсолнечника или вьюнка, встречающим первые лучи восходящего солнца.

— Как жаль, что я должен навсегда закрыть эти прекрасные глаза, которые так нежно смотрят на меня в эту минуту! Как только в этих глазах гаснет любовь, они начинают метать молнии.

Лоренца ласково улыбнулась, показав два ряда превосходных жемчужных зубов.

— Если я убью ту, которой я ненавистен, — продолжал Бальзамо, в отчаянии ломая руки, — вместе с ней я погублю и ту, что любит меня!

И тут на него нахлынула грусть, в глубине которой зарождалось удивившее его самого вождение.

— Нет, — прошептал он, — нет, напрасны мои клятвы, напрасны все мои угрозы; нет, никогда у меня не достанет мужества ее убить. Она будет жить, но пробудиться ей не суждено; она будет жить этой неестественной жизнью, которая станет для нее счастьем, а другая — настоящая жизнь — будет вызывать в ней отвращение. Лишь бы я сумел ее осчастливить! Все остальное не имеет значения. У нее теперь будет только один способ существования — во сне, когда она любит меня; она навсегда останется в теперешнем своем состоянии. Он с нежностью во взоре обратился к Лоренце, не сводившей с него влюбленных глаз, и медленно провел рукой по ее волосам.

Лоренца, которая, казалось, читала мысли Бальзамо, в эту минуту тяжело вздохнула, встала, как во сне, подняла белоснежные руки и плавно опустила их на плечи Бальзамо; он ощутил на своих губах ее дыхание.

— Нет, нет! — вскричал Бальзамо и, словно ослепленный ее красотой, закрыл рукой свое пылавшее лицо.

— Нет, такая жизнь — безумие; нет, я не смогу долго оказывать сопротивление этой искусительнице, этой сирене; я рискую потерять славу, могущество, бессмертие. Нет, нет, пусть проснетсЯ, я так хочу, это необходимо!

Совсем потеряв голову, Бальзамо с силой оттолкнул Лоренцу. Оторвавшись от него, она по-

добно легкому покрывалу, или тени, или снежинке, начала медленно опускаться на софу.

Самая изощренная кокетка не могла бы выбрать более соблазнительную позу, чтобы привлечь внимание своего возлюбленного.

Бальзамо собрался с силами и сделал несколько шагов по направлению к выходу, но как Орфей, он обернулся: как Орфей, он был обречен.

«Если я ее разбужу, – подумал он, – снова начнется борьба; если я ее разбужу, она убьет себя или меня, а то еще вынудит меня убить ее Я в безвыходном положении!»

Да, судьба этой женщины предначертана, у меня перед глазами так и пылают слова: смерть! любовь!.. Лоренца! Лоренца! Ты предназначена для любви и для смерти. Лоренца! Лоренца! Твоя жизнь, как и твоя любовь, находятся в моих руках!»

Вместо ответа чаровница привстала, шагнула к Бальзамо, повалилась ему в ноги и подняла к нему полные сладострастной неги глаза; она взяла его за руку и прижала ее к своей груди – Смерть! – едва слышно прошептала она, шевельнув блестящими, словно влажный коралл, губами. – Пусть смерть, но и любовь!

Бальзамо отступил на два шага, запрокинув голову и закрыв рукою глаза.

Лоренца, задыхаясь, поползла за ним на коленях.

– Смерть! – повторила она чарующим голосом. – Но и любовь! Любовь! Любовь!

Бальзамо не мог больше сопротивляться – его будто окутало огненное облако.

– Это выше моих сил! – воскликнул он. – Я сопротивлялся, сколько мог. Кто бы ты ни был – ангел, или сатана, – ты должен быть мною доволен: самолюбие и гордыня долго заставляли меня подавлять клекотавшие в моей душе страсти. Нет, нет, я не вправе восставать против единственного человеческого чувства, зародившегося в моем сердце. Я люблю эту женщину, я люблю ее, и эта страстная любовь губит ее больше, чем самая сильная ненависть. Эта любовь приведет ее к смерти. Господи, что же я за малодушный человек, что за жестокий безумец! Я даже не могу справиться со своими желаниями. Еще бы! Когда я предстану перед Богом, я, обманщик, лжепророк; когда я сброшу личину лицемерия перед Высшим Судией, то окажется, что я не совершил ни одного благородного поступка, и ни одно воспоминание о содеянном добре не облегчит моих вечных мук!

Нет, нет, Лоренца! Я отлично знаю, что, полюбив тебя, я потеряю будущее; я знаю, что мой ангел-хранитель оставит меня и вернется на небеса в то самое мгновение, когда женщина окажется в моих объятиях.

Но ты этого хочешь, Лоренца, ты этого хочешь!

– Любимый мой! – выдохнула она.

– И ты готова принять такое существование вместо действительной жизни?

– Я на коленях молю тебя об этом, умоляю, умоляю! Такая жизнь – счастье: ведь в ней есть любовь!

– И ты готова стать мне женой? Ведь я страстно тебя люблю!

– Да, я знаю, потому что умею читать в твоем сердце.

– И ты никогда не будешь обвинять меня ни перед Богом, ни перед людьми в том, что я тебя склонил к такой жизни против твоей воли, что обманул твое сердце?

– Никогда! Никогда! Напротив, и перед Богом, и перед людьми я буду тебе признательна за то, что ты подарил мне любовь – единственное благо, единственную жемчужину, единственный брильянт на этом свете.

– И ты никогда не пожалеешь о своих крылышках, бедная голубка? Ты должна знать, что отныне не сможешь отправиться для меня в светлый мир Иеговы на поиски луча света, которым он когда-то одарял своих пророков. Если я захочу узнать будущее, если захочу повелевать смертными, – увы! – твой голос мне не поможет, как это было раньше. Когда-то ты была для меня любимой женщиной и помощницей; теперь же у меня будет только возлюбленная, да еще...

– Ага! Ты сомневаешься, сомневаешься! – вскричала Лоренца. – Я вижу, как сомнение темным пятном растекается в твоём сердце.

– Ты всегда будешь меня любить, Лоренца?

– Всегда! Всегда! Бальзамо вытер рукой лоб.

– Хорошо, пусть будет по-твоему, – сказал он. – И потом...

Он призадумался.

– И потом, почему для тех целей мне непременно нужна эта женщина? – продолжал он. – Разве она незаменима? Нет, нет. Зато только она способна меня осчастливить, а другая вместо нее поможет мне стать богатым и могущественным. Андре так же предназначена мне судьбой, так же хорошо умеет предвидеть, как и ты, Лоренца. Андре молода, чиста, невинна, и я не люблю Андре. Но когда она спит, Андре подчиняется мне так же, как ты. В лице Андре я имею жертву, готовую тебя заменить, а для меня она – безделица, необходимая для моих опытов. Андре способна унести внутренним взором в область неизведанного так же далеко, и даже еще дальше. Андре! Андре! Я выбираю тебя для того, чтобы ты помогла моему возвеличению. Лоренца! Иди ко мне, ты будешь моей возлюбленной, моей любовницей. С Андре я всемогущ, с Лоренцой – счастлив. Только с этой минуты я по-настоящему счастлив, и, не считая бессмертия, я осуществил мечту Альто-таса: не считая бессмертия, я стал богоравным!

Подхватив Лоренцу на руки, он рванул на вздымавшейся груди рубашку, и Лоренца прижалась к нему как же тесно, как плющ обвивается вокруг дуба.

Глава 13. ЛЮБОВЬ

Для Бальзамо началась другая, неведомая ему доселе жизнь. В его измученном сердце не было вот уже три дня ни злобы, ни страха, ни ревности; вот уже три дня он не слушал разговоров о политике, о заговорах, о заговорщиках. Рядом с Лоренцой, с которой он ни на миг не расставался, он забыл обо всем на свете. Его необыкновенная, неслыханная любовь будто парила над миром; его любовь кружила ему голову, она была полна таинственности; он не мог не признать, что одним-единственным словом был способен превратить свою нежную розмобленную в непримиримого врага. Он сознавал, что вырвал эту любовь из когтей ненависти благодаря необъяснимому капризу природы или науки; он не забывал и о том, что своим блаженством обязан был состоянию оцепенения и, в то же время, исступленного восторга, в которое была погружена Лоренца.

Пробуждаясь от блаженного сна. Бальзамо не раз в эти три дня внимательно вглядывался в свою подругу, неизменно пребывавшую в счастливом самозабвении. Отныне ее существование изменилось, он дал ей возможность отдохнуть от неестественной жизни, от мучительной для нее неволи; теперь она пребывала в восторженном состоянии, во сне, что тоже было обманом. Когда он видел ее спокойной, нежной, счастливой, когда она называла его самыми ласковыми именами и вслух грезилась о будущих наслаждениях, он не раз задавался вопросом о том, не прогневался ли Бог на новоявленного титана, попытавшегося проникнуть в Его тайны. Может быть, Он внушил Лоренце мысль о притворстве, с тем чтобы усыпить бдительность Бальзамо, а потом сбежать, и если и явиться вновь, то не иначе, как в образе Эвмениды-мстительницы.

В такие минуты Бальзамо сомневался в своих энциклопедических познаниях.

Однако спустя некоторое время неукротимая страсть и жажда ласки помогали ему поверить в свои силы.

«Если бы Лоренца что-нибудь скрывала от меня, – думал он, – если бы она собиралась от меня сбежать, она искала бы случая удалиться от меня, она пыталась бы под тем или иным предлогом остаться одна. Но нет! Ее руки обвивают меня, словно цепи, ее горящий взор говорит мне:

«Не уходи!», – а нежный голос шепчет: «Останься!»

И Бальзамо снова был уверен и в Лоренце, и в своем могуществе.

Почему, в самом деле, эта необычайная тайна, которой он был обязан своим могуществом, стала бы вдруг, без всякого перехода, химерой, годной лишь для того, чтобы пустить ее по ветру, как ненужное воспоминание, как дым от потухшего костра? Никогда еще Лоренца не была столь прозорливой, никогда еще она так хорошо не понимала его: едва в его мозгу зарождалась какая-нибудь мысль, едва в его сердце отзывалось пережитое, как Лоренца сейчас же с удивительной легкостью воспроизводила все его мысли и чувства.

Оставалось загадкой, зависело ли ее ясновидение от ее чувств. Было пока неясно, мог ли ее взгляд, столь всепроникающий вплоть до падения этой новой Евы, погрузиться во тьму по другую

сторону круга, очерченного их любовью и залитого светом их любви. Бальзамо не решался провести окончательное испытание, он продолжал надеяться на лучшее, и эта надежда венчала его счастье.

Порой Лоренца говорила ему с нежной грустью:

– Ашарат! Ты думаешь о другой женщине, северянке: у нее светлые волосы и голубые глаза. Ашарат! Ах, Ашарат, эта женщина неизменно идет рядом со мной в твоих мыслях.

На это Бальзамо, с любовью глядя на Лоренцу, отвечал:

– Неужели ты замечаешь во мне и это?

– Да, я вижу это так же ясно, как в зеркале.

– Тогда ты должна знать, люблю ли я эту женщину, – возражал Бальзамо.

– Читай же, читай в моем сердце, дорогая Лоренца!

– Нет, – отвечала она, отрицательно качая головой. – Нет, я прекрасно знаю, что ты ее не любишь. Но мысленно ты с нами обеими, как в те времена, когда Лоренца Фелициани тебя мучила.., та дурная Лоренца, которая теперь спит и которую ты не хочешь будить.

– Нет, любовь моя, нет! – восклицал Бальзамо. – Я думаю только о тебе, во всяком случае, в моем сердце – ты одна! Подумай сама: разве я не забыл обо всем с тех пор, как мы счастливы, разве не забросил я все: науки, политику, труды?

– Напрасно, – молвила Лоренца, – я могла бы помочь в твоих трудах.

– Каким образом?

– Разве ты не запирался раньше по целым дням в своей лаборатории?

– Да, но теперь я решил отказаться от этих безнадежных поисков: это было бы потерянное время – ведь я не видел бы тебя!

– Отчего же я не могу любить тебя и помогать тебе в твоих занятиях? Я хочу помочь тебе стать всемогущим, как уже помогла тебе стать счастливым.

– Потому, что моя Лоренца – красавица. Но Лоренца нигде не училась. Красотой и любовью наделяет Бог, но только учение дает знания.

– Душа знает все на свете.

– Так ты в самом деле видишь внутренним взором?

– Да.

– И ты можешь меня направлять в моих поисках философского камня?

– Полагаю, что да.

– Пойдем.

Обняв молодую женщину, Бальзамо повел ее в лабораторию.

Огромная печь, в которой уже четвертый день никто не поддерживал огня, остыла. Тигели на подставках тоже остыли.

Лоренца разглядывала все эти странные приспособления, последние достижения отживавшей свой век алхимии, и ничему не удивлялась: казалось, она понимала назначение каждого из них.

– Ты пытаешься найти секрет золота? – с улыбкой спросила она.

– Да.

– А в каждом из этих тигелей помещены смеси в различных соотношениях?

– Да, и все это уже остыло и пропало, но я об этом не жалею.

– Ты совершенно прав, потому что твое золото будет не чем иным, как окрашенной ртутью. Возможно, тебе удастся добиться того, чтобы она отвердела, но ты никогда не превратишь ее в золото.

– Так можно ли сделать золото?

– Нет.

– Однако Даниэль из Трансильвании продал за двадцать тысяч дукатов Коему Первому рецепт получения золота из других металлов.

– Даниэль из Трансильвании обманул Косма Первого.

– А как же саксонец Пайкен, приговоренный к смерти Карлом Вторым, выкупил свою жизнь, получив золотой слиток из свинца, и из этого золота отчеканили сорок дукатов, а также медаль в

честь талантливого алхимика.

– Талантливый алхимик был в то же время ловким шулером. Он подложил вместо свинцового слитка золотой, только и всего. Для тебя, Ашарат, самый надежный способ добычи золота в том, чтобы отливать в слитки, как ты это пока и делаешь, то золото, которое свозят к тебе твои рабы со всех концов света.

Бальзамо задумался.

– Итак, перерождение одного металла в другой невозможно? – спросил он.

– Невозможно.

– Ну, а что с алмазом? – отважился спросить Бальзамо.

– Алмаз – совсем другое дело, – отвечала Лоренца.

– Значит, алмаз получить можно?

– Да, потому что для того, чтобы получить алмаз, не нужно переделывать одно вещество в другое; необходимо только попытаться преобразовать уже известный элемент.

– А ты знаешь, что это за элемент?

– Разумеется! Алмаз – это кристаллизованный чистый уголь.

Бальзамо замер. Его озарила неожиданная, неслыханная мысль; он закрыл лицо руками, словно был ослеплен.

– Боже! Боже мой! – прошептал он. – Ты слишком добр ко мне. Верно, мне угрожает какая-нибудь опасность. Боже мой! Какой перстень мне бросить в море, чтобы отвести твою ревность? Довольно, на сегодня довольно! Довольно, Лоренца!

– Разве я не принадлежу тебе? Приказывай, повелевай!

– Да, ты моя. Идем, идем!

Бальзамо повлек Лоренцу из лаборатории, прошел через оружейную комнату, не обратив внимания на легкое поскрипывание над своей головой, и вновь оказался вместе с Лоренцей в комнате с зарешеченными окнами.

– Значит, ты доволен своей Лоренцей, любимый мой? – спросила молодая женщина.

– Еще бы! – воскликнул он.

– Чего же ты опасался? Скажи!

Бальзамо умоляюще сложил руки и взглянул на Лоренцу с выражением такого ужаса, которому вряд ли мог бы найти объяснение зритель, не умевший читать в его душе.

– А ведь я чуть не убил этого ангела и не умер от отчаяния, решая вопрос о том, как мне стать счастливым и всемогущим! Я совсем забыл, что возможное всегда выходит за рамки современного состояния науки, и это возможное начинает восприниматься как нечто сверхъестественное. Я думал, что знаю все, а оказалось, что я ничего не знал.

Молодая женщина блаженно улыбалась.

– Лоренца! Лоренца! – продолжал Бальзамо. – Значит, осуществился таинственный замысел Господа, создавшего женщину из ребра мужчины и сказавшего им, что у них будет одно сердце на двоих! Моя Ева ожила; моя Ева будет жить моими мыслями, а ее жизнь висит на ниточке, которую держу в руках я! Это слишком много для одного человека. Боже мой, и я склоняюсь под тяжестью Твоих благодеяний!

Он упал на колени, в восторге прижавшись к ногам красавицы, дарившей его неземной улыбкой.

– Нет, ты никогда не оставишь меня, под твоим всепроникающим взором я буду в полной безопасности; ты будешь мне помогать в моих научных открытиях – ведь ты сама сказала, что только ты можешь их дополнить, что одно твоё слово облегчит мои поиски и сделает их плодотворными; только ты могла бы мне сказать, что я не получу золота, потому что это однородное вещество, простой химический элемент; ты мне скажешь, в какой частице своего создания Бог скрыл золото; ты скажешь мне, в каких неизведанных глубинах Океана лежат несметные богатства твои глаза помогут мне увидеть, как развивается жемчужина в перламутровой раковине, как зреет мысль в человеческом мозгу. С твоей помощью я услышу едва различимый звук, с каким червь роет землю; я услышу поступь приближающегося врага. Я обрету величие Бога, но буду счастливее Его, моя Лоренца! Ведь у Бога на небесах нет равной ему во всем подруги; Бог всемо-

гуш, однако он одинок в своем величии и не может разделить его ни с каким другим существом: это всемогущество и делает его Богом.

Продолжая улыбаться, Лоренца отвечала на его слова жаркими ласками.

– Несмотря ни на что, ты все еще сомневаешься, Ашарат, – прошептала она, словно каждая мысль, беспокоившая ее возлюбленного, была ей доступна. – Ты сомневаешься, как ты сказал, что мне будет под силу шагнуть за черту нашей любви, что я смогу видеть на расстоянии, но ты утешаешься при мысли, что если не увижу я, то увидит она.

– Кто?

– Блондинка... Хочешь, я скажу, как ее зовут?

– Да.

– Постой-ка... Андре!

– Да, верно. Да, ты умеешь читать мои мысли. Меня мучает только одно: видишь ли ты, как прежде, на расстоянии, несмотря на препятствия, встающие перед твоим внутренним взором.

– Испытай меня.

– Дай руку, Лоренца.

Молодая женщина схватила Бальзамо за руку.

– Ты можешь последовать за мной? – спросил он.

– Всюду, куда пожелаешь.

– Идем.

Бальзамо мысленно покинул дом на улице Сен-Клод, увлекая за собой Лоренцу.

– Где мы сейчас? – спросил он.

– Мы взобрались на гору, – отвечала молодая женщина.

– Верно, – согласился Бальзамо, затрепетав от радости. – А что ты видишь?

– Передо мной? Слева? Справа?

– Прямо перед тобой.

– Я вижу огромную долину; с одной стороны лес, по Другую руку город, а между ними – убегающая вдаль река, она течет вдоль стены огромного замка.

– Все верно, Лоренца: лес носит название Везине, а город – Сен-Жермен; замок называется Мезон. Давай войдем в павильон позади нас.

– Хорошо.

– Что ты видишь?

– Какую-то приемную: там сидит негритенок и грызет конфеты.

– Да, это Замор. Иди, иди дальше.

– Пустая гостиная, роскошно обставленная... Над дверьми карнизы в виде богинь и амуров.

– В гостиной никого нет?

– Никого.

– Идем дальше!

– Мы сейчас в восхитительном будуаре; стены обтянуты атласом с вышитыми на нем цветами, они будто живые...

– Там тоже никого?

– Нет, какая-то женщина лежит на софе.

– Как она выглядит?

– Погоди...

– Не кажется ли тебе, что ты ее уже где-то видела?

– Да, я видела ее здесь – это графиня Дю Барри.

– Верно, Лоренца, верно. Это потрясающе! Что она делает?

– Думает о тебе, Бальзамо.

– Обо мне?

– Да.

– Так ты можешь читать и в ее мыслях?

– Да, потому что, повторяю, она думает о тебе.

– А по какому поводу?

- Ты ей кое-что обещал.
- Да. Что именно?
- Ты обещал дать ей волшебную воду, какую Венера, желая отомстить Сафо, дала Фаону.
- Верно, совершенно верно! Ну, и до чего она додумалась?
- Она принимает решение.
- Какое?
- погоди... Она протягивает руку к колокольчику, звонит, входит еще одна женщина.
- Брюнетка? Блондинка?
- Брюнетка.
- Высокая? Маленькая?
- Маленького роста.
- Это ее сестра. Послушай, что она ей скажет.
- Она приказывает заложить карету.
- Куда она собирается отправиться?
- Сюда.
- Ты в этом уверена?
- Так она говорит. И ее приказание исполнено. Я вижу лошадей, экипаж... Через два часа она будет здесь. Бальзамо упал на колени.
- Если через два часа она в самом деле будет здесь, – воскликнул он,
- мне останется лишь просить Бога, чтобы он пощадил меня и не отнимал у меня мое счастье!
- Бедный друг! – прошептала она. – Так ты боялся?.. Чего же тебе было бояться? Любовь, без которой физическое состояние было бы несовершенным, оказывает влияние и на душевное. Любовь, как всякая созидательная страсть, приближает к Богу, а от Бога исходит свет.
- Лоренца! Лоренца! Я теряю голову от радости! Бальзамо уронил голову молодой женщине на колени.
- Бальзамо ждал еще одного доказательства, чтобы окончательно убедиться в полноте своего счастья.
- Таким доказательством должен был стать приезд графини Дю Барри.
- Два часа ожидания пролетели незаметно; Бальзамо потерял счет времени.
- Вдруг молодая женщина вздрогнула; она держала руку Бальзамо в своих руках.
- Ты все еще сомневаешься, – проговорила она, – и хотел бы знать, где она находится в эту минуту?
- Да, – отвечал Бальзамо, – ты угадала.
- Ее лошади во весь опор мчатся по бульвару, карета уже близко, она сворачивает на улицу Сен-Клод; графиня останавливается перед дверью..., звонит...
- Комната, где они находились, была расположена в глубине особняка, и туда не доносился стук медного молотка в Ворота.
- Однако, привстав на одно колено, Бальзамо прислушивался.
- Два звонка Фрица заставили его подскочить; два звонка, как помнит читатель, означали важный визит.
- Так это правда! – воскликнул он.
- Поди и убедись в этом сам, Бальзамо, только возвращайся скорее!
- Бальзамо бросился к камину.
- Позволь мне проводить тебя до лестницы, – попросила Лоренца.
- Идем!
- Оба опять пришли в оружейную комнату.
- Ты никуда отсюда не уйдешь? – спросил Бальзамо.
- Нет, я буду тебя ждать здесь. Не беспокойся: любящая тебя Лоренца совсем не похожа на ту, которой ты боишься. И потом...
- Она замолчала и улыбнулась.
- Что? – спросил Бальзаме.

– Разве ты не умеешь так же читать в моих мыслях, как я читаю в твоих?

– Увы, нет!

– Прикажи мне заснуть до твоего возвращения, прикажи мне неподвижно лежать на софе, и я буду лежать и спать.

– Пусть будет по-твоему, дорогая Лоренца: засыпай и жди меня.

Борясь со сном, Лоренца в последнем поцелуе прижалась губами к губам Бальзамо; покачиваясь, она пошла к дивану и, падая, прошептала:

– До скорой встречи, мой Бальзамо, до встречи!

Бальзамо помахал ей рукой; Лоренца уже спала.

Она была так чиста, так хороша: ее длинные волосы были распущены, губы приоткрылись, покраснелись щеки, глаза затуманились; Бальзамо вернулся к дивану, взял ее за руку, прикоснулся губами к плечу и шее, не осмеливаясь поцеловать ее в губы.

Снова раздались два звонка: то ли дама теряла терпение, то ли Фриц опасался, что хозяин не слышал его условного знака.

Бальзамо бросился к двери.

Едва притворив за собой дверь, он в другой раз услышал поскрипывание, похожее на то, которое слышал раньше. Он снова отворил дверь, огляделся, но ничего не заметил.

Бальзамо прикрыл дверь и поспешил в гостиную, не испытывая при этом ни беспокойства, ни страха, ни предчувствия и унося в своем сердце рай Бальзамо заблуждался: не только любовь тяготила Лоренцу, не только от любви стало прерывистым ее дыхание.

Она погрузилась в сон, похожий на летаргию или, скорее, на смерть.

Лоренца грезилась; словно в кошмаре, она увидела, как в надвигавшейся темноте от дубового потолка отделился круглый витраж и стал медленно и плавно опускаться на пол со страшным свистом; ей казалось, что она вот-вот задохнется, раздавленная надвигавшимся люком.

Наконец она будто во сне заметила, что из этом подъемном окне зашевелилось что-то бесформенное, как Калибан в «Буре»: это было чудовище с человеческим лицом, старик, у которого живыми были только глаза и руки; он не сводил с нее жутких глаз и тянул к ней высохшие руки.

Бедная девушка стала извиваться, тщетно пытаясь убежать, не догадываясь об угрожавшей ей опасности, не чувствуя ничего, кроме прикосновения лап, вцепившихся в ее белое платье, приподнявших ее над софой и перенесших на подъемное окно. Затем люк стал медленно подниматься к потолку с отвратительным металлическим скрежетом, а из мерзкой пасти чудовища в человеческом обличье вырвался демонический, леденящий душу хохот. Старик уносил свою жертву, а она так ничего и не почувствовала.

Глава 14. ПРИВОРОТНОЕ ЗЕЛЬЕ

Как и предсказывала Лоренца, в дверь стучала графиня Дю Барри.

Прекрасная куртизанка была приглашена в гостиную. В ожидании Бальзамо она листала отпечатанную в Майенсе любопытную книгу о смерти; на искусно выполненных иллюстрациях было показано, что смерть присутствует в любом проявлении человеческой жизни, то подкарауливая человека у выхода из бальной залы, где он только что пожимал ручку любимой женщине; то затягивая его на дно во время купания; то притаившись в стволе ружья, с которым человек отправился на охоту.

Графиня Дю Барри дошла до гравюры, на которой была изображена дама, нарумянивавшая щеки и любовавшаяся своим отражением в зеркале, но тут Бальзамо толкнул дверь и подошел к ней со счастливой улыбкой, словно освещавшей его лицо изнутри.

– Прошу прощения, графиня, что заставил вас ждать, но я неверно рассчитал время, плохо зная ваших лошадей, И потому полагал, что вы только что выехали на площадь Людовика Пятнадцатого.

– Что вы говорите? – воскликнула графиня. – Значит, вам было известно, что я приеду к вам?

– Да, графиня: около двух часов назад я вас видел в Вашем будуаре, отделанном голубым атласом; вы отдавали Приказание заложить ваших лошадей.

– И вы говорите, что я была в своем будуаре, отделанном голубым атласом?

– Да, атлас расшит цветами. Вы лежали на софе. В ту минуту вас посетила счастливая мысль.

Вы подумали:

«А не съездить ли мне к графу Фениксу?» И вы позвонили.

– Кто вошел на мой звонок?

– Ваша сестра, не так ли? Вы передали ей свое приказание, и оно тотчас было выполнено.

– Вы, граф, и в самом деле колдун! Вы заглядываете в мой будуар в любое время? Вам бы следовало предупредить меня, слышите?

– Будьте уверены, графиня: я заглядываю лишь в отворенные двери.

– И, глядя через растворенную дверь, вы увидели, что я думаю о вас?

– Ну конечно, и не просто думали, а имели добрые намерения.

– Да, вы правы, дорогой граф: я испытываю к вам самые теплые чувства; однако признайтесь, что вы заслуживаете большего: вы так добры ко мне, вы оказываете мне бесценные услуги. Мне кажется, что судьба выбрала вас моим наставником, иными словами, вы призваны сыграть самую трудную из известных мне ролей.

– Признаться, я счастлив, графиня, слышать это из ваших уст. Итак, чем могу быть вам полезен?

– Как? Неужели вы, прорицатель, не можете угадать?

– Позвольте мне по крайней мере проявить скромность.

– Будь по-вашему, дорогой граф. Но тогда давайте вначале поговорим, что мне удалось сделать для вас.

– Я не могу этого допустить, графиня. Давайте, напротив, поговорим о вас, умоляю вас об этой милости.

– Ну что же, дорогой граф, прежде всего, одолжите мне этот волшебный камень, который делает вас невидимым: мне показалось, что, несмотря на резвость моих лошадей, за моей каретой шпионил кто-то из людей герцога де Ришелье.

– И что же этот шпион, графиня?

– Он скакал за моим экипажем на коне.

– Что вы думаете об этом обстоятельстве, и с какой целью герцогу понадобилось за вами следить?

– Вероятно, он собирается сыграть со мной одну из своих злых шуток. Как бы вы ни были скромны, граф Феникс, поверьте, что Бог наделил вас качествами, достаточными для того, чтобы разжечь в сердце короля ревность..., из-за моих визитов к вам или ваших – ко мне.

– Графиня! Герцог де Ришелье ни в каком отношении не может быть для вас опасен, – возразил Бальзамо.

– Однако он был опасен, дорогой граф, до одного известного события.

Бальзамо понял, что речь шла о какой-то тайне, которую Лоренца еще не успела ему раскрыть. И потому он не отважился ступить на незнакомую почву: он лишь улыбнулся в ответ.

– Да, он был опасен, – повторила графиня, – и я едва не оказалась жертвой его козней. Да и вы там сыграли кое-какую роль.

– Я? В кознях против вас? Никогда, графиня!

– Разве не вы дали зелье герцогу де Ришелье?

– Какое зелье?

– Приворотное зелье, заставляющее влюбиться без памяти.

– Нет, графиня, такое зелье герцог умеет варить сам, потому что уже с давних времен владеет его рецептом. Я же дал ему обыкновенный наркотик.

– Правда?

– Клянусь честью!

– А когда герцог приходил к вам за этим наркотиком? Припомните, пожалуйста, день, граф: это очень важно.

– Это было в прошлую субботу, как раз накануне того дня, когда я имел честь передать вам с Фрицем записочку с просьбой приехать за мной к де Сартину.

– Накануне? – вскричала графиня. – Накануне того дня, когда король отправился к юной Таверне? Ну, теперь все для меня объяснилось!

– Раз все стало вам ясно, значит, вы видите, что за исключением наркотика я здесь ни при чем.

– Да, именно наркотик нас спас. Бальзамо опять умолк. Он ничего не знал.

– Я счастлив, графиня, – заговорил он после некоторого молчания, – если, сам того не ведая, мог быть вам хоть в чем-нибудь полезен.

– Вы всегда оказываетесь рядом вовремя! Но вы можете оказать мне еще большую услугу, чем это было до сих пор. Милый доктор! Я была очень больна, выражаясь языком политики, и еще сейчас едва ли верю в свое выздоровление.

– Графиня! – подхватил Бальзамо. – Доктор, если он есть, всегда справляется с симптомами болезни, которую ему предстоит лечить. Соболаговолите поведать мне до Мельчайших подробностей, что вам довелось испытать, и, если возможно, не упустите ни единого симптома.

– Нет ничего легче, дорогой доктор, или дорогой колдун, как вам будет угодно. Накануне того дня, как был пущен в дело наркотик, его величество отказался сопровождать меня в Люсьенн. Под предлогом усталости подлый обманщик остался в Трианоне, чтобы поужинать, как я потом узнала, в компании герцога де Ришелье и барона де Таверне.

– Ага!

– Теперь вы тоже понимаете!.. Во время этого ужина зелье было подмешано королю. Он и так благоволил к мадмуазель де Таверне. Было также известно, что он не должен встретиться со мной. Значит, зелье должно было подействовать на благо этой девчонки.

– И что же?

– Подействовало!

– Что же произошло?

– Вот это-то как раз узнать, наверное, очень трудно. Есть люди, которые видели, как его величество направлялся к службам, другими словами – к апартаментам мадмуазель Андре.

– Я знаю, где она живет. Что же было дальше?

– Ах, черт побери, до чего вы скоры, граф! Ведь следить за крадущимся королем не безопасно!

– А все-таки?

– Я могу вам сказать лишь то, что его величество в страшную грозу ночью возвратился в Трианон бледный, трясущийся и в жару, близкий к беспамятству.

– И вы полагаете, что король был напуган не только грозой, – с улыбкой спросил Бальзамо.

– Нет, потому что лакей слышал, как он воскликнул несколько раз: «Мертва! Мертва! Мертва!»

– Да ну? – удивился Бальзамо.

– Это подействовал наркотик, – продолжала Дю Барри, – а король ничего так не боится, как покойников, а после мертвецов – самого вида смерти. Он увидел мадмуазель де Таверне, которая необычайно крепко спала, и решил, что она мертва.

– Да, да, действительно, она была мертва, – проговорил Бальзамо, вспомнив, что ускакал в ту ночь, не разбудив Андре, – да, мертва или очень похожа на мертвую. Верно, верно. Что же было дальше, графиня?

– Никто так и не знает, что произошло в ту ночь, вернее на рассвете. Известно только, что, воротившись к себе, король был охвачен сильнейшей лихорадкой и нервной дрожью, которые утихли лишь на следующий день, когда ее высочеству пришла в голову мысль отворить все окна и показать его величеству яркое солнце, освещавшее смеющиеся лица. Только тогда исчезли все пугавшие его видения вместе с породившей их темнотой. К полудню королю стало лучше, он выпил бульону и съел крылышко куропатки, а вечером...

– А вечером..? – переспросил Бальзамо.

–...а вечером, – продолжала Дю Барри, – его величество, очевидно, не желая оставаться в Трианоне после пережитого накануне ужаса, приехал ко мне в Люсьенн, и я, дорогой граф, имела случай убедиться, что герцог де Ришелье – почти такой же великий колдун, как и вы.

Торжествующее лицо графини, ее грациозный, кокетливый жест завершили ее мысль и окончательно убедили Бальзамо, что фаворитка еще не потеряла своей власти над монархом.

– Так вы мною довольны, графиня?

– Я просто очарована, граф, клянусь вам! Ведь когда вы говорили мне, что мои опасения напрасны, вы были совершенно правы.

В знак признательности она протянула ему белоснежную надушенную руку, не такую холодную, как у Лоренцы, а теплую и мягкую.

– Теперь ваша очередь, граф, – молвила она. Бальзамо поклонился с видом человека, приготовившегося внимательно слушать.

– Вы предотвратили нависшую надо мной опасность, – продолжала Дю Барри. – Я полагаю, что и мне удалось выручить вас из немалой беды.

– Я и без того вам признателен, – отвечал Бальзамо, пытаюсь скрыть волнение. – Соболаговолите, однако, сказать мне...

– Да, речь идет о той самой шкатулке.

– Так что же, графиня?

– В ней хранились шифры, которые де Сартин приказал разгадать сразу всем своим шифровальщикам. Каждый из них расшифровывал особо, и все они пришли к одному и тому же выводу. Вот почему де Сартин прибыл сегодня поутру в Версаль, когда там была я. Он принес с собой все шифровки, а также код дипломатических шифров.

– Что же сказал король?

– Король сначала удивился, потом испугался. Короля легко заставить себя слушать, если хорошенько его напугать. Со времени покушения Дамье на одно слово в чьих бы то ни было устах безотказно действует на Людовика Пятнадцатого, это слово – «Опасность!»

– Следовательно, де Сартин обвинил меня в заговоре?

– Прежде всего де Сартин попытался меня выпроводить. Однако я отказалась выйти, заявив, что никто так не привязан к королю, как я, и никто не может меня выпроводить, когда с его величеством говорят о грозящей ему опасности. Де Сартин стал настаивать, однако я воспротивилась, и король сказал с улыбкой, глядя на меня с хорошо мне известным выражением:

«Пусть останется, Сартин, сегодня я ни в чем не могу ей отказать».

– Вы понимаете, граф, что в моем присутствии де Сартин, помня о нашем с вами многозначительном прощании, побоялся вызвать мое неудовольствие и не стал выдвигать обвинения непосредственно против вас; он набросился на недобрые намерения прусского короля по отношению к Франции, на стремления некоторых людей воспользоваться сверхъестественной силой, чтобы облегчить распространение мятежа. Одним словом, он обвинил многих, доказав с шифрами в руках, что все эти люди виновны, – В чем?

– В чем?.. Граф! Неужели я должна разглашать государственную тайну?..

–...которая в то же время является и нашей с вами тайной? Да вы ничем не рискуете! Я заинтересован, как мне кажется, в том, чтобы никому об этом не рассказывать.

– Да, граф, мне известно, что вы очень в этом заинтересованы. Итак, де Сартин хотел доказать, что многочисленная, мощная секта, состоящая из отважных и верных членов, ловких и решительных, исподволь подрывала уважение к его королевскому величеству, распространяя о короле слухи.

– Какие?

– Ну, к примеру: что король повинен, мол, в том, что народ голодает.

– А что ответил король?..

– Как обычно, шуткой. Бальзамо вздохнул с облегчением.

– Что это была за шутка? – спросил он.

– «Раз меня обвиняют в том, что я морю голодом свой народ, – сказал он, – на это можно ответить только одно: „Давайте его накормим!“ – Как так, сир? – спросил де Сартин. – Я готов за свой счет накормить всех, кто распространяет этот слух, и предлагаю им, сверх того, постель в Бастилии».

Бальзамо почувствовал, как дрожь пробежала по его телу, но он не переставал улыбаться.

– Что же было дальше? – спросил он.

– А дальше король мне улыбнулся, словно спрашивая совета.

– «Сир, – сказала я, – никто и никогда не заставит меня поверить, что эти маленькие черненькие цифры, которые вам принес господин де Сартин, означают, что вы плохой государь». Это развеселило начальника полиции. – «Так же как я не верю, – прибавила я, обращаясь к де Сартину, – что ваши служащие умеют их расшифровывать».

– Что же сказал король, графиня? – спросил Бальзамо.

– Он сказал, что я, может быть, и права, но и де Сартин вряд ли ошибается.

– Что было потом?

– Потом было разослано много приказов о заключении без суда и следствия, среди которых – я видела это ясно – де Сартин попытался протащить приказ и о вашем аресте. Но я была непоколебима и остановила его одним-единственным словом.

– «Сударь! – сказала я громко, так, чтобы слышал король. – Арестуйте хоть весь Париж, если это доставляет вам удовольствие, это вам по должности полагается; но не смейте прикасаться к одному из моих друзей!.. иначе!..»

– Ого! – воскликнул король. – Она сердится. Берегитесь, Сартин!

– «Но, сир, в интересах королевства...»

– «Вы – не Салли! – воскликнула я, покраснев от гнева. – А я – не Габриелла».

– «Графиня! Короля могут убить, как когда-то убили Генриха Четвертого». Ну, уж на этот раз король побледнел, затрясся и провел рукой по лбу. Я решила, что проиграла.

– «Сир! – сказала я. – Пусть господин де Сартин договаривает. Я уверена, что его служаки вычитали из этих цифр о том, что и я замышляла против вас». И я вышла. Это происходило как раз на следующий день после зелья, дорогой граф. Король предпочел мое общество компании де Сартина и побежал за мной. – «Смилуйтесь, графиня, не сердитесь!» – стал он умолять меня. – «Тогда прогоните этого отвратительного господина, сир, от него пахнет тюрьмой».

– «Ступайте, Сартин», – пожав плечами, молвил король. – «Я вам навсегда запрещаю, – прибавила я, – не только являться ко мне, но и приветствовать меня!»

На сей раз наш начальник полиции потерял голову: он поспешил ко мне и смиренно поцеловал мою руку.

– «Ну что ж, будь по-вашему, – сказал он, – не будем больше об этом говорить, дорогая графиня, но вы Погубите государство. Мои агенты не тронут вашего подзащитного, раз вы всеми силами этого добиваетесь».

Бальзамо глубоко задумался.

– Что же вы не благодарите меня за то, что я избавила вас от знакомства с Бастилией? Это было бы не так уж несправедливо, может быть, но от этого не стало бы приятнее.

Бальзамо ничего не ответил. Он достал из кармана флакон с ярко-красной жидкостью, похожей на кровь.

– Прошу вас, графиня! – молвил он. – За свободу, которую вы мне дарите, я хочу вам предложить двадцать лет молодости.

Графиня спрятала флакончик на груди и удалилась, радуясь и празднуя победу.

Бальзамо по-прежнему был задумчив.

«Они, возможно, были бы спасены, – подумал он, – если бы не женское кокетство. А ножка этой куртизанки толкает их в бездну. Решительно, с нами Бог!»

Глава 15. КРОВЬ

Не успела за графией Дю Барри закрыться дверь, а Бальзамо уже поднимался по потайной лестнице, желая как можно скорее вернуться в оружейную комнату.

Беседа с графией продолжалась долго, и его торопливость объяснялась двумя причинами.

Во-первых, он хотел вновь увидеть Лоренцу; во-вторых, он опасался, что молодая женщина может устать от ожидания, а в новой для нее жизни не должно было оказаться места для скуки; устать она могла от того, что, как это с ней уже бывало, магнетический сон был способен перерас-

ти в восторг.

Восторженное состояние сменялось, обыкновенно, нервными приступами, после которых Лоренца чувствовала себя совершенно разбитой, если ей вовремя не приходил на помощь Бальзамо, усилием воли приводивший ее в равновесие.

Притворив за собой дверь, Бальзамо бросил быстрый взгляд на диван, где он оставил Лоренцу.

Ее там не было.

Лишь тонкая кашемировая шаль, расшитая золотыми цветами, оставалась лежать на подушках, словно в доказательство того, что Лоренца пребывала в этой комнате, отдыхала на этом диване.

Бальзамо замер, уставившись на пустой диван. Может быть, Лоренце не понравился запах, появившийся в доме со времени ее побега; может быть, она неосознанно воспользовалась свободой и перешла в другую комнату.

Первой мыслью Бальзамо было, что Лоренца возвратилась в лабораторию, куда несколько времени назад она его сопровождала.

Он вошел в лабораторию. С первого взгляда она казалась пустой, но в тени огромной печи женщина могла бы легко укрыться за ковром восточной работы.

Он приподнял ковер, обошел вокруг печи, но так и не приметил даже следа Лоренцы.

Оставалась комната молодой женщины, куда, вероятно, она и возвратилась.

Ведь эта комната была для нее тюрьмой, только когда она находилась в состоянии бодрствования.

Он бросился в комнату, но сейчас же обнаружил, что каминная доска, служившая дверью потайного хода, оставалась запертой.

Это еще не доказывало, что Лоренца не вернулась к себе. В самом деле, Лоренца и во сне сохраняла ясность ума: почему бы ей было не вспомнить, как действует механизм?

Бальзамо привел пружину в действие.

В комнате, как и в лаборатории, никого не было: видимо, Лоренца туда не входила.

Тогда его пронзила мучительная догадка; она, как помнит читатель, уже приходила ему в голову, и теперь эта мысль овладела им целиком, не оставив ни малейшей надежды на казавшееся когда-то возможным счастье.

Должно быть, Лоренца играла роль: она притворилась спящей, усыпила недоверие, беспокойство, бдительность своего супруга и при первой же возможности, едва обретя свободу, снова сбежала, еще более уверенная в том, что ей надлежало делать, потому что была уже научена опытом.

Бальзамо так и подскочил от этой мысли. Он позвонил Фрицу.

На усидев на месте, он бросился Фрицу навстречу и столкнулся с ним на потайной лестнице.

– Синьора?.. – бросил он.

– Что угодно хозяину? – спросил Фриц, догадавшись по взволнованному виду Бальзамо, что произошло нечто из ряда вон выходящее.

– Ты ее видел?

– Нет, хозяин.

– Она никуда не выходила?

– Откуда?

– Из дому.

– Не выходил никто, за исключением графини, я только что запер за ней дверь.

Потеряв голову, Бальзамо снова побежал вверх. Он вообразил, что безумная женщина, которая во сне была совсем не похожа на себя бодрствующую, решила позабавиться. Он решил, что она притаилась в каком-нибудь уголке и читает оттуда в его сердце, хохоча над ним и его опасениями, и вот-вот выйдет, чтобы его успокоить.

Он приступил к тщательным поискам.

Он облазил все уголки, заглянул во все шкапы, перестав вил с места на место каждую ширму. Он был словно ослеплен страстью, он был похож на безумца, он шатался, как пьяный. У него

даже не было сил на то, чтобы раскрыть объятия и крикнуть: «Лоренца! Лоренца!» в надежде на то, что обожаемое создание с радостным криком бросится ему на шею.

Гробовая тишина была ответом на его мысленный призыв.

Он бегал, передвигал мебель, разговаривал со стенами, звал Лоренцу, смотрел невидящим взором, прислушивался, но ничего не слышал, трепетал – вот в каком состоянии пребывал Бальзамо несколько минут, а ему казалось, что пролетела целая вечность.

Понемногу он стал приходить в себя, опустил руку в вазу с ледяной водой, смочил виски. Потом он сильно сжал одну руку другой, словно приказывая себе остановиться, и усилием воли заставил себя успокоиться: кровь перестала стучать в висках. Когда человек не замечает, как пульсирует кровь, это свидетельствует о нормальном течении жизни, но как только пульс в висках становится ощутимым и отдается в голове, это говорит о приближении смерти или безумия.

– Давай размышлять трезво, – проговорил он, обращаясь к самому себе,

– Лоренцы здесь больше нет, нечего себя обманывать. Лоренцы здесь нет, значит, она вышла. Да, вышла, разумеется, вышла!

Он еще раз огляделся и снова позвал ее.

– Вышла... – повторил он. – Напрасно Фриц утверждает, что не видел ее. Она вышла, конечно, вышла.

Возможны два варианта.

Либо Фриц в самом деле ничего не видел, в чем ничего невероятного нет, так как человеку свойственно ошибаться, либо он видел ее и состоит с Лоренцой в сговоре.

Фриц – в сговоре?

«А почему бы нет? Его прошлая верная служба еще ни о чем не говорит. Если Лоренца, если любовь, если знания могли до такой степени обмануть и предать, почему же хрупкому и грешному по природе своей человеку не обмануть меня? Я все узнаю, все! Ведь у меня есть мадмуазель де Таверне! Да, через Андре я узнаю о предательстве Фрица, Андре расскажет мне все о предательстве Лоренцы, и уж на сей раз... На сей раз, когда любовь оборачивается обманом, знания – ошибкой, верность – ловушкой, Бальзамо будет безжалостен и отомстит всем, как умеет мстить могущественный человек, не знающий пощады и руководствующийся гордыней!»

Теперь надлежало как можно скорее выйти из дому, не подав Фрицу вида, что оно чем-то догадывается, и бежать в Трианон.

Внезапно он остановился.

– Да, но прежде всего... Боже мой! Бедный старик, я совсем о нем забыл! Прежде всего надо повидаться с Альтотасом – ведь я в любовном бреде забросил несчастного старика! Какой же я неблагодарный! Как я бесчеловечен!

Бальзамо в лихорадочном возбуждении, охватившем его с некоторых пор, подошел к пружине, с помощью которой он привел в действие рычаг в потолке.

В тот же миг подъемное окно опустилось.

Бальзамо ступил на него и при помощи противовеса стал подниматься, все еще находясь в смятении, не думая ни о чем, кроме Лоренцы.

Едва подъемное окно стало на место и Бальзамо оказался в комнате Альтотаса, голос старика поразил его слух и отвлек от мучительных раздумий.

Однако, к великому изумлению Бальзамо, первые слова старика были сказаны не в упрек ему, как он того ожидал: старик встретил его настоящим взрывом веселья.

Ученик поднял на учителя удивленный взгляд.

Старик откинулся в своем необыкновенном кресле; он дышал шумно и с наслаждением, словно с каждым глотком воздуха становился моложе. Его глаза мрачно поблескивали, однако улыбка скрашивала их выражение; он в упор разглядывал своего посетителя.

Бальзамо собрался с силами и с мыслями, не желая показывать свое смятение учителю, нетерпимо относившемуся к человеческим слабостям.

В эту минуту Бальзамо почувствовал какую-то непривычную тяжесть в груди. Было очень душно, в комнате был разлит тяжелый, пресный, теплый, тошнотворный запах: этот же запах, правда, не такой сильный, Бальзамо почувствовал еще внизу: запах словно стелился по воздуху и

напоминал пар, поднимающийся над озером или болотом по осени на рассвете или на закате. Запах словно материализовался и затуманил стекла.

Оказавшись в этой душной атмосфере, Бальзамо почувствовал слабость, мысли его смешались, голова пошла кругом, ему почудилось, будто ему и отказывают силы и не хватает воздуха.

– Учитель! – молвил он, ища глазами, за что бы уцепиться и пытаясь вздохнуть полной грудью. – Учитель, как вы можете здесь жить? Здесь нечем дышать!

– Ты находишь?

– Уф!

– А мне, напротив, дышится легко! – шутливо отвечал Альтотас. – И как видишь, я здесь прекрасно живу!

– Учитель! Учитель! – проговорил Бальзаме, ощущая все большую тяжесть. – Позвольте мне отворить окно, от паркета словно поднимаются пары крови.

– Крови? Ты так думаешь?.. Крови! – воскликнул Альтотас, разражаясь смехом.

– Да, да, я чувствую миазмы, исходящие от свежего трупа! Кажется, их можно потрогать руками – так они тяжелы; они давят мне и на мозг и на сердце.

– Это верно, – насмешливо проворчал старик, – я уже замечал, что у тебя нежное сердце и очень хрупкий мозг, Ашарат!

– Учитель, – обратился к Альтотасу Бальзаме, показывая на него пальцем, – учитель, у вас на руках кровь... Учитель! Кровь и на вашем столе... Учитель! Кровь – всюду, даже в ваших глазах, они мерцают, словно угли... Учитель! Царящий здесь запах, от которого у меня кружится голова, от которого я задыхаюсь, это запах крови!

– Ну и что же? – невозмутимо проговорил Альтотас. – Ты что, разве в первый раз чувствуешь этот запах?

– Нет.

– Разве ты никогда не видел меня во время опытов? Разве ты сам их не проводил?

– Но не с человеческой кровью!.. – вымолвил Бальзамо, вытирая рукою со лба пот.

– Какое у тебя тонкое обоняние! – удивился Альтотас. – Никогда бы не подумал, что можно человеческую кровь отличить от крови животного.

– Человеческая кровь! – пробормотал Бальзамо.

Пошатываясь, он по-прежнему искал, на что бы опереться, и вдруг с ужасом заметил большой медный таз, внутренние стенки которого отсвечивали пурпуром свежепущенной крови.

Огромный таз был наполовину полон.

Бальзамо в ужасе отпрянул.

– Это кровь! – вскрикнул он. – Откуда эта кровь?

Альтотас не отвечал, продолжая пристально следить за малейшим изменением в лице Бальзамо. Внезапно Бальзамо взвыл.

Он кинулся, словно хищная птица за добычей, к валявшемуся на полу клочку расшитой серебром шелковой ленты, к которой пристала длинная прядь черных волос.

Пронзительный, полный невыносимой муки крик сменился гробовой тишиной.

Потом Бальзамо медленно поднял ленту, о дрожью разглядывая прядь волос, зацепившуюся одним концом за золотую булавку, приколотую к ленте; с другой стороны прядь растрепалась, а на концах волос застыли капли крови.

По мере того, как Бальзамо поднимал руку, дрожь становилась все заметнее.

По мере того, как Бальзамо вглядывался в окровавленную ленту, он бледнел все сильнее.

– А это откуда? – пробормотал он шепотом, однако достаточно громко, чтобы можно было уловить в его голосе вопрос.

– Это? – переспросил Альтотас.

– Да, это.

– Лента для волос.

– А волосы, волосы... В чем они?

– Ты отлично видишь: в крови.

– В какой крови?

– Черт побери! Да в той, что была мне нужна для эликсира; в той, какую ты отказался для меня раздобыть; вот мне после твоего отказа и пришлось сделать это самому.

– А эти волосы, эта прядь, эта лента... Где вы их взяли? Ведь все это не могло принадлежать младенцу.

– Кто тебе сказал, что я прирезал младенца? – невозмутимо проронил Альтотас.

– Разве вам для эликсира была нужна не детская кровь? – вскричал Бальзамо. – Вы же сами мне сказали!

– Или кровь девственницы, Ашарат..., или девственницы...

Альтотас протянул иссохшую руку к склянке с какой-то жидкостью и с наслаждением, смакуя, отпил глоток и продолжал самым естественным и потому особенно пугающим тоном:

– Ты хорошо сделал, Ашарат, ты мудро и предусмотрительно поступил, поместив эту женщину прямо у Меня под ногами, почти на расстоянии вытянутой руки. Человечеству не на что пожаловаться, а закону не во что вмешиваться. Хе, хе! Не ты мне поставил эту девственницу, я сам ее взял. Хе, хе. Спасибо, дорогой ученик, спасибо, милый Ашарат!

Он опять поднес склянку к губам.

Бальзамо выронил из рук прядь волос – его ослепила страшная догадка.

Прямо против него огромный мраморный стол старика, заваленный обыкновенно травами, книгами, заставленный склянками, был теперь покрыт большим белым шелковым покрывалом с темными цветами; кровавые отблески от лампы Альтотаса падали на это покрывало, и под ним угадывались пугающие очертания, на что не сразу обратил внимание Бальзамо.

Он взял покрывало за один угол и дернул на себя.

Волосы у него на голове зашевелились, он задохнулся от крика: под саваном он увидел труп Лоренцы. Она вытянулась во всю длину стола, смертельная бледность была разлита по ее лицу, однако губы еще морщились в улыбке, а голова была откинута, будто изнемогая под тяжестью длинных волос.

Над ключицей зияла огромная рана, из которой уже не сочилась кровь.

Руки ее успели застыть, глаза были плотно прикрыты бледными веками сиреневого оттенка.

– Да, кровь девственницы, три последние капли артериальной крови девственницы – вот что мне было необходимо, – проговорил старик, в третий раз прикладываясь к склянке.

– Ничтожество! – крикнул Бальзамо, и этот отчаянный крик отозвался в каждой клеточке его существа. – Умри же! Знай, что она уже четыре дня, как стала моей любовницей, моей возлюбленной, моей женой! Ты убил ее напрасно... Она не была девственницей!

Ресницы Альтотаса дрогнули при этих словах, будто глаза хотели выскочить из орбит под действием электрического удара. Зрачки его страшно расширились, челюсти скрипнули, несмотря на отсутствие зубов, склянка выскользнула из рук, упала на пол и разлетелась на куски, а сам старик, потрясенный и поверженный, стал медленно и тяжело заваливаться в кресле.

Бальзамо с рыданиями склонился над телом Лоренцы и упал без чувств, прижавшись губами к ее окровавленным волосам.

Глава 16. ЧЕЛОВЕК И БОГ

Минуты, похожие на легкокрылых богинь, взявшись за руки, имеют обыкновение медленно парить над несчастным, зато стремительно проносятся над головами счастливых; минуты беззвучно пали, сложив крылья, в комнате, полной рыданий и слез: время остановилось.

С одной стороны была смерть, с другой – агония.

А посередине царило отчаяние, столь же мучительное, как агония, такое же бездонное, как смерть.

Бальзамо не проронил ни звука с той самой минуты, как у него из груди вырвался душераздирающий крик.

Со времени ошеломляющего открытия, сразившего злорадного Альтотаса, Бальзамо не двинулся с места.

А мерзкий старик, безжалостно сброшенный с высоты бессмертия и попавший в условия

жизни простых смертных, казалось, чувствовал себя раненой птицей, свалившейся с небес прямо в озеро, на поверхности которого она бьется, не имея сил расправить крылья.

Недоумение, написанное на его бледном взволнованном лице, свидетельствовало о крайней растерянности старика.

Действительно, Альтотас даже не давал себе труда сосредоточиться с той минуты, как цель его жизни, которая казалась ему непоколебимой, словно скала, в одно мгновение растаяла на его глазах, как дым.

Его угрюмое и безмолвное отчаяние напоминало отчасти отупение. Для человека, не знакомого со стариком, его молчание могло бы, вероятно, показаться задумчивостью, попыткой найти выход из создавшегося положения; для Бальзамо, даже не повернувшего в его сторону головы, было ясно, что это – агония, что его могуществу, разуму, жизни приходит конец.

Альтотас не сводил глаз с разбитой склянки, олицетворявшей для него гибель его надежд; можно было подумать, что он пересчитывает бесчисленные осколки: разлетевшись, каждый из этих осколков словно сократил жизнь старика на один день; можно было подумать, что он хотел взглядом собрать драгоценную, растекшуюся по паркету жидкость, которую он совсем недавно считал залогом своего бессмертия.

Когда боль разочарования становилась невыносимой, старик поднимал затуманенный взор на Бальзамо, а потом переводил его на труп Лоренцы.

В такие минуты он походил на попавшего в ловушку дикого зверя, которого охотник находит поутру пойманным за лапу; охотник долго пинает его ногой, так и не заставив повернуться к нему мордой, а когда человек закалывает его охотничьим ножом или ружейным штыком, зверь косит в его сторону налитым кровью глазом, в котором – и ненависть, и жажда мести, и упрек, и удивление.

«Ужели возможно, – говорил взгляд старика, еще довольно выразительный, несмотря на близкую кончину, – мыслимо ли, чтобы столько несчастий, столько поражений свалилось на мою голову, а всему виной – этот ничтожный человек, всего в нескольких шагах от меня стоящий на коленях перед такой заурядностью, как эта мертвая женщина? Ведь это противоестественно, антинаучно, это противоречит здравому смыслу, чтобы такое грубое создание, как мой ученик, обмануло такого необыкновенного учителя, как я. Не чудовищно ли, наконец, что пылинка на полном ходу остановила колесо великолепной стремительно мчавшейся повозки?»

Бальзаме был разбит, повержен; он не издавал ни единого звука, не мог шевельнуть пальцем; в его воспаленном мозгу не рождалось ни одной мысли, словно жизнь его была кончена.

Лоренца, его Лоренца! Лоренца, его жена, его кумир! Вдвойне дорогое ему существо, воплощавшее в себе для него ангела чистоты и любимую женщину! Лоренца, дарившая ему наслаждение и славу, настоящее и будущее, силу и веру! Лоренца, сочетавшая в себе все, что он любил, все, чего он желал, все, к чему стремился в жизни! Лоренца навсегда была для него потеряна! Он не плакал, не рыдал, не вздыхал.

Едва ли он успел осмыслить, какое ужасное несчастье пало на его голову. Он был похож на несчастного, застигнутого наводнением в своей постели в крошечной темноте; ему снится, что вокруг – вода; потом он просыпается, раскрывает глаза и, видя, что его вот-вот накроет ревущая волна, не успевает даже крикнуть, прежде чем наступает небытие.

Вот уже несколько часов Бальзаме казалось, что он погребен и лежит глубоко в земле; сквозь невыносимую боль он принимал все происходившее за одно из тех кошмарных сновидений, что посещают умирающих в ночь перед кончиной.

Для него не существовало более Альтотаса, а значит, не было в его сердце ни ненависти, ни жажды мщения.

Для него не было более Лоренцы, а вместе с ней были навсегда потеряны жизнь и любовь. Сон, тьма, небытие!

Так проходило время – ненавистное, неслышное, бесконечное – в этой комнате, где кровь остывала, отдав свою животворную силу требовавшим того частицам.

Неожиданно среди ночного безмолвия три раза прозвенел колокольчик.

Очевидно, Фриц знал, что хозяин находится у Альтотаса, потому что колокольчик звонил в

комнате старика.

Резкий звонок растаял в воздухе – Бальзамо даже не поднял головы.

Спустя несколько минут колокольчик зазвонил вновь, однако Бальзамо был по-прежнему в состоянии оцепенения.

Фриц выдержал паузу, однако меньшую, чем та, что разделяла первые два звонка, и в третий раз в комнате нетерпеливо зазвонил назойливый колокольчик.

Нимало не удивившись, Бальзамо медленно поднял голову, вопросительно глядя в пространство с важностью мертвеца, восставшего из гроба.

Так, должно быть, смотрел Лазарь, когда голос Христа трижды воззвал к нему.

Колокольчик звонил не умолкая.

Его все возрастающая настойчивость пробудила, наконец, интерес у возлюбленного Лоренцы.

Он отнял руку от трупа.

Тепло оставило его, но так и не перетекло в тело Лоренцы.

«Великая новость или большая опасность, – сказал себе Бальзамо. – Хорошо бы, если бы это была опасность!»

Он поднялся на ноги.

– «А почему, собственно говоря, я должен отвечать на этот зов?» – продолжал он, не слыша того, как гулко отозвались его слова под мрачными сводами похожей на склеп комнаты. – Может ли отныне что-нибудь меня заинтересовать или напугать в этом мире?

Словно отвечая ему, колокольчик так оглушительно зазвенел медным языком по бронзовым бокам, что язык не выдержал, сорвался и упал на стеклянную реторту: она звякнула и разлетелась на мелкие кусочки.

Бальзамо не стал долее упорствовать; да кроме того, было важно, чтобы ни единая душа, в том числе и Фриц, не застали его в этой комнате.

Он размеренным шагом подошел к пружине, привел ее в действие и встал на подъемное окно, плавно опустившее его в оружейную комнату.

Проходя мимо дивана, он задел шаль, упавшую с плеч Лоренцы, которую безжалостный старик, невозмутимый, как сама смерть, унес в своих лапах.

Прикосновение шали, еще более волнующее, чем прикосновение самой Лоренцы, вызвало у Бальзамо дрожь.

Он взял шаль в руки и прижался к ней губами, удерживая рыдания.

Потом он подошел к двери, ведущей на лестницу, и отворил ее.

На верхней ступеньке стоял бледный, запыхавшийся Фриц. В одной руке он держал факел, а другой продолжал машинально дергать шнурок звонка, с нетерпением ожидая появления хозяина.

При виде Бальзамо он сначала удовлетворенно вскрикнул, потом из груди его снова вырвался крик, на сей раз – удивленный и испуганный.

Не понимая причину испуга Фрица, Бальзамо взглянул на него вопросительно.

Фриц ничего не ответил, однако позволил себе, несмотря на глубокую почтительность, взять хозяина за руку и подвести его к огромному венецианскому зеркалу, украшавшему полку камина, через который можно было проникнуть в комнату Лоренцы.

– Взгляните, ваше превосходительство! – сказал он, указывая Бальзамо на его собственное отражение.

Бальзамо содрогнулся.

Затем по лицу его пробежала горькая усмешка, свойственная глубоко страдающим или неизлечимо больным людям.

Теперь он понимал, что в его облике так напугало Фрица. За один час Бальзамо состарился лет на двадцать: глаза утратили блеск, исчез румянец; черты лица застыли, взгляд стал безучастным, на губах запеклась кровь, огромное кровавое пятно растеклось по белоснежной когда-то бастиновой рубашке.

Бальзамо с минуту разглядывал себя не узнавая, потом с решимостью вперил взгляд в глаза смотревшему на него из зеркала незнакомцу.

- Да, Фриц, да, – молвил он, – ты прав. – Заметив, что верный слуга обеспокоен, он спросил;
 - Зачем ты меня звал?
 - Это из-за них, хозяин.
 - Из-за них?
 - Да.
 - Кто же это?
 - Ваше превосходительство! – прошептал Фриц, наклоняясь к уху Бальзамо. – Там пять верховных членов. Бальзамо вздрогнул.
 - Все пятеро? – спросил он.
 - Да.
 - Они внизу?, – Да.
 - Одни?
 - Нет. При каждом из них – вооруженный лакей, слуги дожидаются во дворе.
 - Они пришли все вместе?
 - Да, хозяин, и они уже начинают терять терпение, вот почему я так долго и громко звонил.
- Не пытаясь скрыть под кружевным жабо кровавое пятно, даже не приводя себя в порядок, Бальзамо стал спускаться по лестнице, справившись у Фрица, где расположились гости: в гостиной или в большом кабинете.
- В гостиной, ваше превосходительство, – отвечал Фриц, следуя за хозяином.
- Спустившись до конца лестницы, он отважился задержать Бальзамо.
- Не будет ли каких-нибудь приказаний вашего превосходительства?
 - Нет, Фриц.
 - Ваше превосходительство... – робко пробормотал Фриц.
 - Что такое? – ласково обратился к нему Бальзамо.
 - Ваше превосходительство отправляется к ним без оружия?
 - Да, без оружия.
 - Даже без шпаги?
 - Зачем мне шпага, Фриц?
 - Не знаю, право, – замялся преданный слуга, опустив глаза, – я думал..., я полагал..., я боялся, что...
 - Ну хорошо, вы свободны, Фриц. Фриц пошел было прочь и снова вернулся.
 - Разве вы не слышали, что я сказал? – спросил Бальзамо.
 - Ваше превосходительство! Я хотел только сказать, что ваши двухзарядные пистолеты лежат в шкатулке черного дерева на золоченом столике.
 - Идите, говорят вам! – сказал Бальзамо. И вошел в гостиную.

Глава 17. СУД

Фриц был совершенно прав, гости Бальзамо явились в дом на улице Сен-Клод далеко не с мирными намерениями и были отнюдь не благожелательно настроены.

Пять всадников сопровождали дорожную карету, в которой прибыли пять верховных членов ложи. Пятеро надменных господ мрачного вида были вооружены до зубов; они заперли ворота и стали их охранять в ожидании хозяев.

Кучер и два лакея, сидевшие на облучке кареты, прятали под плащами охотничьи ножи и мушкетоны. Все эти люди прибыли на улицу Сен-Клод не с визитом, а, скорее, для нападения.

Кроме того, такое ночное вторжение страшных людей, которых признал Фриц, такое взятие приступом особняка сначала вселило в немца невыразимый ужас. Он попытался было преградить непрошеным гостям путь, как вдруг увидел в глазок эскорт и приметил оружие. Однако всеильные условные знаки – неумолимое свидетельство права прибывших на вторжение – не позволили ему вступать в пререкания. Едва ступив за ворота, пришельцы, словно бывалые служаки, заняли места на страже у каждого выхода из дома, даже не пытаясь скрыть своих недоброжелательных намерений.

Поведение мнимых слуг во дворе и в коридорах, так же как их так называемых хозяев в гостиной, не предвещало, по мнению Фрица, ничего хорошего; вот почему он звонил так неистово, пока вовсе не оборвал колокольчик.

Ничему не удивляясь, никак не готовясь к встрече, Бальзамо вошел в гостиную. Фриц уже успел зажечь здесь все свечи, что входило в его обязанности, когда в доме бывали посетители.

Бальзамо увидел пятерых гостей, сидевших в креслах; ни один из них не поднялся при появлении хозяина. Хозяин дома вежливо им поклонился.

Только после этого они встали и надменно кивнули ему в ответ.

Он сел в кресло напротив, не замечая или Делая вид, что не замечает, как странно расположились присутствовавшие. В самом деле, пять кресел стояли полукругом, подобно античному трибуналу, с председателем посредине, а кресло Бальзамо, стоявшее как раз против председательского, занимало место, которое в соборах или преториях отводилось обыкновенно обвиняемому.

Бальзамо не пожелал заговорить первым, как он поступил бы при других обстоятельствах; он смотрел невидящим взглядом, так и не оправившись от удара.

– Кажется, ты нас понял, брат, – обратился к нему председатель или, вернее, тот, кто занимал центральное кресло. – Однако ты не очень-то торопишься нас увидеть, мы даже подумывали послать кого-нибудь на поиски.

– Я вас не понимаю, – просто ответил Бальзамо.

– А у меня сложилось иное мнение, когда я увидел, как ты с виноватым видом сидишь против нас.

– С виноватым видом? – рассеянно пролепетал Бальзамо и пожал плечами.

– Не понимаю, – повторил он.

– Сейчас мы тебе все объясним, это будет несложно, судя по твоему бледному лицу, потухшему взору, дрожащему голосу... Можно даже подумать, что тебе отказывает слух.

– Я хорошо вас слышу, – возразил Бальзамо, качая головой, словно пытался отделаться от надоевшей мысли.

– Ты, вероятно, помнишь, брат, – продолжал председатель, – что на последнем заседании верховный комитет представил свое мнение о том, что среди высших чинов ордена кто-то замышляет предательство?

– Возможно..., да..., не отрицаю.

– Ты отвечаешь так, как подобает человеку с нечистой совестью. Возьми же себя в руки..., не губи себя сам. Отвечай ясно, четко, как того требует занимаемое тобой высокое положение. Ответь мне так, чтобы мы могли убедиться в твоей непричастности, потому что мы явились без предубеждения, без ненависти. Мы олицетворяем закон: он начинает действовать только после того, как судья выслушает все стороны.

Бальзамо не проронил ни звука.

– Повторяю тебе, Бальзамо, и мое предупреждение будет рассматриваться как сигнал к бою: я собираюсь атаковать тебя с мощным оружием в руках, так защищайся же!

Видя, что Бальзамо безучастен и неподвижен, присутствовавшие с удивлением переглянулись, а затем перевели глаза на председательствовавшего.

– Ты слышал, что я сказал, Бальзамо? – повторил председатель.

Бальзамо утвердительно кивнул головой.

– Я по-дружески, по-братски предупредил тебя и дал тебе понять о цели моего допроса. Итак, ты предупрежден: берегись! Я начинаю. После полученного свыше предупреждения братство избрало пятерых членов и поручило им следить в Париже за тем из братьев, на которого нам указали как на предателя.

Наши сведения не вызывают сомнений; как правило, мы получаем их, насколько тебе известно, от преданных сыщиков или из верных источников, а также принимаем во внимание таинственные природные явления, известные пока только нам. Итак, у одного из нас ты вызвал подозрение, а мы знаем, что он еще никогда не ошибался; тогда мы стали держаться настороже и начали за тобой следить.

Бальзамо слушал, не проявляя ни малейшего беспокойства, словно вообще не понимал, о чем

идет речь. Председательствовавший продолжал:

– За таким человеком, как ты, следить нелегко: ты повсюду вхож, твоя задача – бывать там, где живут наши недруги, где они имеют хоть какую-нибудь власть. У тебя в распоряжении огромные средства, которые общество предоставляет тебе для окончательной победы ордена. Мы долгое время пребывали в сомнении, видя, как тебя посещают такие наши враги, как Ришелье, Дю Барри, Роан. Кроме того, на последнем нашем собрании на улице Платриер ты произнес полную любопытных противоречий речь, убедившую нас в том, что твоя задача заключается в том, чтобы лестью и дружбой с этими неисправимыми людьми заманить их в пропасть. Мы некоторое время с пониманием относились к твоему таинственному поведению, надеясь на благоприятный результат, однако нас ждало разочарование.

Бальзамо был по-прежнему неподвижен, невозмутим, и председатель почувствовал нетерпение.

– Три дня назад были разосланы пять указов о заточении без суда и следствия. Их потребовал у короля господин де Сартин. Они были незамедлительно составлены, подписаны и в тот же день доставлены пяти из наших главных агентов, наиболее верным братству членам, преданным, живущим в Париже. Все пятеро были арестованы и препровождены: двое – в Бастилию, где содержатся в строжайшей тайне; двое – в Венсен, в подземную тюрьму; один – в Бисетр, в одну из самых страшных одиночных камер. Ты слышал обо всех этих подробностях?

– Нет, – отвечал Бальзамо.

– Вот это странно, судя по тому, что мы знаем о твоих связях с могущественными лицами в королевстве. Но еще более странно вот что!

Бальзамо насторожился.

– Чтобы арестовать пятерых верных братьев, господин де Сартин должен был иметь перед глазами единственную запись, в которой упоминаются все пять жертв. Эта записка была адресована тебе Верховным Советом в тысяча семьсот шестьдесят девятом году и ты самолично должен был посвятить всех пятерых в члены братства с немедленным присвоением им предписанного Советом звания.

Бальзамо жестом дал понять, что ничего такого не припоминает.

– Я сейчас помогу тебе вспомнить. Пять упомянутых человек были представлены пятью арабскими иероглифами, а иероглифы соответствовали в посланной тебе записке именам и шифрам новых членов.

– Допустим, что так, – согласился Бальзамо, – Ты признаешь это?

– Я готов признать все, что вам будет угодно. Председательствовавший взглянул на заседателей, словно призывая их принять во внимание это признание.. – В той же самой записке, единственной, – заметь, – могущей опорочить братьев, – продолжал он, – было еще одно имя, помнишь?

Бальзамо не проронил в ответ ни звука.

– Это имя было: «граф Феникс»!

– Согласен, – молвил Бальзамо.

– Имена пятерых братьев попали в указ, а твое имя было выслушано при дворе или в приемной министра с благосклонностью, с любовью... Почему? Если наши братья заслужили тюрьму, ты тоже ее заслуживаешь. Что ты на это скажешь?

– Ничего.

– А-а, я предвижу твое возражение. Ты можешь сказать, что полиция провела об именах менее известных братьев, а твое имя – имя посла и могущественного лица – не могло не вызвать у полицейских уважения; ты даже можешь сказать, что твое имя не вызвало подозрений.

– Я не буду это отрицать.

– Твоя гордыня переживет твое доброе имя!.. Полиция могла узнать их имена только из тайной записки, направленной тебе Верховным Советом, и вот каким образом она это сделала... Ты держал ее в шкатулке, не правда ли? Однажды из твоего дома вышла женщина со шкатулкой под мышкой. Ее видел один из наших наблюдателей и следовал за ней до особняка начальника полиции в пригороде Сен-Жермен. Мы могли задушить несчастье в зародыше: стоило нам забрать

шкатулку и арестовать эту женщину, как все успокоилось бы и ничто не вышло бы из-под нашего надзора. Однако мы подчинились параграфам нашего устава, предписывающего почитать оккультные науки, с помощью которых некоторые из членов братства служат общему делу, даже когда эти средства кажутся всем предательством или неосторожностью.

Было похоже, что Бальзамо одобрил это утверждение едва заметным жестом. Однако если бы он не был до этого неподвижен, его жест мог бы остаться незамеченным.

– Эта женщина дошла до самого начальника полиции, – продолжал председатель. – Она вручила ему шкатулку, и все открылось, верно?

– Совершенно верно. Председатель поднялся.

– Кто была эта женщина? – воскликнул он. – Красивая, страстная, преданная тебе душой и телом, нежно тобой любимая, умная, ловкая и проворная, словно один из ангелов тьмы, помогающих человеку преуспеть в совершении зла? Это была Лоренца Фелициани, твоя жена, Бальзамо!

Бальзамо взвыл от отчаяния.

– Теперь мы тебя убедили? – спросил председатель.

– Ваше решение? – спросил Бальзамо.

– Я не договорил. Спустя четверть часа после того, как она вошла к начальнику полиции, ты тоже вошел туда. Она посеяла предательство, а ты пришел собрать плоды вознаграждения. Как покорная служанка, она взяла на себя совершение преступления, ты же явился, чтобы довершить подлое дело. Лоренца вышла одна. Ты, несомненно, отступился от нее и не хотел порочить свое имя, появляясь в ее обществе. Ты вышел с торжествующим видом вместе с графиней Дю Барри, прибывшей туда по твоему приглашению, чтобы получить из твоих рук сведения, за которые ты хотел получить мзду... Ты сел в карету этой шлюхи, словно перевозчик в лодку с грешницей Марией Египетской; ты оставил губительные для нас бумаги у господина де Сартин, но забрал шкатулку, которая могла погубить тебя в наших глазах. К счастью, мы все видели! Свет небесный освещает наши добрые дела...

Бальзамо молча поклонился.

– А теперь я могу сообщить тебе наше решение, – прибавил председатель. – В Верховный Совет поступили сведения о двух предателях; один из них – женщина, твоя сообщница, которая, возможно, действовала без злого умысла, однако нанесла ущерб нашему делу, раскрыв одну из наших тайн; другой – ты, учитель, ты. Великий Копт; ты, светлый луч, трусливо спрятавшийся за спину этой женщины, чтобы скрыть свое предательство.

Бальзамо медленно поднял бледное лицо и пристально посмотрел на посланцев; его взгляд горел огнем, который он вынашивал в своей душе с самого начала допроса.

– Почему вы обвиняете эту женщину? – спросил он.

– Мы знаем, что ты попытаешься ее защищать. Мы знаем, что ты любишь ее. До самозабвения, что ты отдаешь ей предпочтение перед другими женщинами. Мы знаем, что она – настоящее сокровище для твоей науки, для твоего счастья, для твоего состояния. Мы знаем, что она для тебя – орудие, которому нет равных в мире.

– Вам и это известно? – спросил Бальзамо.

– Да, нам это известно, и мы можем через ее посредство заставить тебя больше страдать, чем если бы мы стали мстить тебе.

– Договаривайте... Председатель встал.

– Вот приговор: Джузеппе Бальзамо – предатель; он нарушил клятвы, однако его знания безграничны, они полезны ордену. Бальзамо должен жить ради преданного им дела; он принадлежит братству, хотя и отрекся от него.

– Ага! – мрачно процедил Бальзамо, с загнанным видом озираясь по сторонам.

– Пожизненное заключение предотвратит общество от его новых вероломных предательств; в то же время оно даст возможность братьям извлечь из Бальзамо пользу, которую они вправе ожидать от каждого из своих членов. Что же касается Лоренцы Фелициани, ужасное наказание...

– Погодите, – совершенно невозмутимо проговорил Бальзамо. – Вы забываете, что я еще не произнес речи в свое оправдание; обвиняемый имеет право высказаться... Мне довольно будет одного слова, одного-единственного документа. Подождите меня, я вам сейчас принесу обещан-

ное доказательство.

Посланцы с минуту совещались.

– Вы опасаетесь, что я покончу с собой? – горько улыбаясь, спросил Бальзамо. – Если бы я захотел, это уже было бы сделано. В этом перстне столько яду, что его хватило бы на всех вас, стоит только его открыть. Вы боитесь, что я убегу? Так пошлите кого-нибудь вместе со мной, если угодно.

– Иди! – сказал председатель.

Бальзамо удалился; скоро стало слышно, как он тяжело спускается по лестнице. И вот он вошел в гостиную.

Он нес на плече окоченевший труп Лоренцы с мертвенно бледным лицом, ее белая рука свисала до самой земли.

– Вот женщина, которую я обожал, вот все мое сокровище, мое единственное счастье, моя жизнь; вот та, которая предала, как вы говорите! – вскричал он. – Вот она! Берите ее! Бог нас уже наказал, господа, – прибавил он.

Резким, словно вспышка, движением он взял труп на руки и швырнул так, что он покатился по полу к ногам судей; длинные волосы и безжизненные руки мертвой женщины вот-вот должны были коснуться в ужасе отпрянувших заговорщиков; при свете ламп на лебединой шее Лоренцы зияла страшная кровавая рана.

– Теперь говорите, – прибавил Бальзамо. Объятые ужасом судьи закричали в один голос и бежали в невыразимом смятении. Вскоре со двора донеслись конское ржание и топот; скрипнули ворота, потом торжественная тишина опустилась на мертвую женщину и безутешного мужчину.

Глава 18. БОГ И ЧЕЛОВЕК

В то время, как между Бальзаме и пятью верховными членами происходила описанная нами сцена, в других комнатах особняка все оставалось без видимых изменений; только появление вернувшегося за трупом Лоренцы Бальзамо заставило старика снова пережить недавние события.

Видя, как Бальзамо взваливает на плечи труп и идет с ним вниз, он подумал, что в последний раз видит человека, чье сердце он разбил; он испугался, что Бальзамо его покинет навсегда; для человека, сделавшего все возможное, чтобы не умереть, это было страшно вдвойне.

Он не знал, почему Бальзамо уходит, куда он идет, и он позвал:

– Ашарат! Ашарат!

Это было его детское имя: старик надеялся, что оно могло скорее других разбудить чувства Бальзамо.

Однако Бальзамо продолжал спускаться. Когда он был внизу, он даже не подумал снова поднять окно и вскоре исчез из виду в темном коридоре.

– Так вот, значит, что такое человек! – воскликнул Альтотас. – Слепое неблагодарное животное! Вернись, Ашарат, вернись! Неужто ты предпочитаешь нелепую игрушку, зовущуюся женщиной, человеческому совершенству, которое воплощаю в себе я? Ты отдаешь предпочтение минуте перед вечностью!

– Нет! – кричал он в следующее мгновение. – Нет! Негодяй обманул своего учителя, он как подлый разбойник, играл на моем доверии; он боялся, что я буду жить и превзойду его в науках; он хотел унаследовать плоды моего многолетнего труда, который я почти довел до конца; он поставил ловушку мне – мне! – своему учителю, своему благодетелю. Ах, Ашарат!..

Старик распалялся от гнева, на его щеках заиграл лихорадочный румянец; в полуприкрытых глазах засветился огонек, напоминавший фосфоресцирующие лампочки, какие дети, святотатствуя, вставляют в пустые глазницы человеческого черепа.

Он продолжал кричать:

– Вернись, Ашарат, вернись! Берегись: тебе известно, что я знаю проклятия, порождающие пожар, пробуждающие сверхъестественные силы. Однажды я уже призывал на помощь сатану, того самого, которого в древности волшебники называли Пегором, – это было в горах Гада; сатана, вынужденный оставить темные глубины преисподней, явился мне. Я беседовал с семьей анге-

лами – орудиями Божьего гнева на той самой горе, где Моисей получил скрижали с Божьими заповедями; стоило мне только захотеть, и вспыхнул огонь в священном семиогненном треножнике, который Троян похитил у иудеев... Берегись, Ашарат, берегись!

Ответом ему была тишина.

Голова его все больше затуманивалась, он заговорил придушенно:

– Разве ты не видишь, несчастный, что сейчас я умру, как самый обыкновенный человек? Послушай, ты можешь вернуться, Ашарат, я не причиню тебе зла. Вернись! Я готов отказаться от огня, не бойся злых сил, не бойся семи ангелов мщения. Я отказываюсь от мести, хотя мог бы так страшно тебя ударить, что ты потерял бы разум и стал бы холоден, как мрамор, потому что я умею останавливать кровообращение, Ашарат. Ну вернись же, я не сделаю тебе ничего плохого. Напротив, ты знаешь, я могу принести тебе столько пользы!.. Ашарат, не покидай меня, сохрани мне жизнь, и все сокровища, все мои тайны перейдут к тебе! Помоги мне выжить, Ашарат, помоги, и я всему тебя научу... Смотри!.. Смотри!..

Он указывал глазами и трясущейся рукой на бесчисленные предметы, бумаги и свитки, которыми была завалена вся комната.

Он ждал, прислушиваясь к себе, чувствуя, как его покидают силы.

– А-а, ты не идешь, – продолжал он, – думаешь, я так просто умру и все тебе достанется после моей смерти? Да ведь ты виновник моей гибели! Безумец! Ты мог бы узнать, о чем говорится в древних манускриптах, которые только мне под силу разобрать. Продлись моя жизнь, ты мог бы овладеть моими знаниями, ты мог бы воспользоваться всем, что я собрал за свою жизнь. Так нет же, тысячу раз нет, тебе ничего не достанется после меня! Остановись, Ашарат! Ашарат, вернись хоть на минуту, хотя бы для того только, чтобы увидеть, как рухнет этот дом, чтобы полюбоваться великолепным зрелищем, уготованным для тебя. Ашарат! Ашарат! Ашарат!..

Ничто не ответило ему, потому что как раз в это время Бальзамо держал речь перед верховными членами, показывая им тело убитой Лоренцы. Покинутый старик от отчаяния кричал все пронзительнее, его хриплые завывания проникали во все щели, неся с собой ужас, подобно рычанию тигра, разорвавшего цепь или перегрызшего прутья клетки.

– А-а, ты не возвращаешься! – выл Альтотас. – А-а, ты меня презираешь! А-а, ты рассчитываешь на мою слабость! Что ж! Сейчас ты увидишь!.. Огонь! Огонь! Огонь!

Он с такой ненавистью выкрикнул эти слова, что Бальзамо, покинутый разбежавшимися в ужасе посетителями, очнулся и стряхнул с себя задумчивость. Он снова поднял на руки тело Лоренцы, поднялся по лестнице, положил труп на диван, где всего два часа назад Лоренца спала сном праведницы, и, встав на подъемное окно, внезапно предстал перед Альтотасом.

– Наконец-то! – крикнул опьяневший от радости старик. – Ты испугался! Ты понял, что я могу за себя отомстить. Ты пришел и хорошо сделал, потому что еще мгновение – и я поджег бы эту комнату.

Взглянув на него. Бальзаме пожал плечами, однако не проронил ни слова в ответ.

– Я хочу пить! – закричал Альтотас. – Я хочу пить, подай мне воды, Ашарат.

Бальзамо ничего не ответил, не пошевелился; он пристально смотрел на умирающего, словно хотел до мельчайших подробностей запомнить, как тот будет умирать.

– Ты слышишь меня? – ревел Альтотас. – Слышишь?..

В ответ – то же молчании, все та же неподвижность безучастного зрителя – Ты меня слышишь, Ашарат? – взвыл старик в последнем приступе гнева. – Воды! Дай мне воды! Лицо Альтотаса менялось на глазах.

Не было больше блеска во взгляде, только едва мерцали тусклые огоньки; со щек сошел румянец; почти не слышно было дыхания; его длинные нервные руки, в которых он, как ребенка, унес Лоренцу, приподнимались теперь, но словно по инерции, и суетливо двигались, похожие на щупальца полипа; злоба лишила его немногих сил, вернувшихся было к нему в минуту отчаяния.

– Ха, ха! Ты, верно, думаешь, что я слишком медленно умираю! Ты хочешь меня уморить жаждой! Ты с вождением поглядываешь на мои рукописи, на мои сокровища! Ты уверен, что они уже в твоих руках! погоди же! погоди!

Сделав над собой нечеловеческое усилие, Альтотас достал из-под подушек своего кресла

флакон и открыл его. От соприкосновения с воздухом содержимое стеклянного сосуда вспыхнуло огнем и выплеснулось наружу; Альтотас стал брызгать вокруг себя огненной струей.

В тот же миг рукописи, сваленные в кучу вокруг кресла старика, разбросанные по комнате книги, свитки, с огромным трудом добытые из пирамид Хеопса, а также во время первых раскопок в Геркулануме, вспыхнули, словно порох. Огненная река разлилась по мраморному полу и явила взгляду Бальзамо нечто похожее на один из пылающих кругов ада, о которых рассказывает Данте.

Альтотас несомненно рассчитывал на то, что Бальзамо бросится в огонь спасти главное достояние, которое старик решил унести с собой в могилу, однако он ошибался:

Бальзамо был по-прежнему спокоен, он укрылся на опускаемом люке, где был неуязвим для пламени.

Пламя охватило Альтотаса, но он не испугался, а, казалось, почувствовал себя в своей стихии; огонь действовал на него, как на гипсовую саламандру, украшающую фронтоны наших древних замков; огонь не жег его, а будто ласково лизал своими пылающими языками.

Бальзамо по-прежнему не сводил со старика глаз. Огонь перекинулся на дерево, и за пламенем стало не видно старика. Огонь плясал у подножия дубового массивного кресла, на котором восседал Альтотас, и – странная вещь! – хотя пламя уже охватило нижнюю часть его туловища, было Очевидно, что он этого не чувствует.

Напротив, прикосновение языков пламени действовало на него, казалось, благотворно: мускулы умирающего постепенно ослабли, и выражение неведомого доселе блаженства застыло на его лице. Разлучившись с телом в свой последний час, старый пророк на огненной колеснице словно был готов вознестись на небеса. Он был всемогущ в этот последний час, дух уже отлетел от тела. Он был уверен в том, что ему уже нечего ждать, и устремился к высшим сферам, куда уносил его огонь.

С этой минуты глаза Альтотаса, ожившие в первых отблесках пламени, стали смотреть в никуда, в пространство между небом и землей, словно пытались обогнать убегающую даль. Старый волшебник был тих и смиренен; он наслаждался каждым своим ощущением, слушал в себе боль, словно последний звук, доносившийся с земли; старик тихо прощался с могуществом, с жизнью, с надеждой.

– Я умираю без сожаления, – говорил он. – Я всем владел на земле; я все изведаль; я совершил все, что дано совершить человеку на земле; я был близок к бессмертию!

Бальзамо захохотал, и дикий этот хохот привлек внимание старика.

Альтотас бросил на него сквозь огненную пелену полный величия взгляд

– Да, ты прав, – молвил он, – есть одно обстоятельство, которое я упустил из виду, это Бог!

И, как если бы это магическое слово вырвало из него душу, Альтотас откинулся в кресле. Он отдал Богу последний вздох, который так надеялся оставить при себе навсегда!

Бальзамо вздохнул. Не пытаясь ничего спасти из священного огня, на который лег умирать этот новоявленный Зороастр, Бальзамо снова спустился к Лоренце и Отпустил пружину, после чего подъемное окно поднялось к потолку скрыв от его глаз огромное пекло, напоминавшее кратер вулкана.

Всю следующую ночь огонь, как ураган, гудел над головой Бальзамо, однако он ничего не делал для того, чтобы погасить пламя или убежать от него: он не чувствовал никакой опасности рядом с бесчувственным телом Лоренцы. Однако, вопреки его ожиданию, огонь стих после того, как выгорел весь верхний этаж вплоть до кирпичной сводчатой крыши и языки пламени слизнули дорогие лепные украшения. Бальзамо услышал похожие на рев Альтотаса последние завывания пламени, умиравшего с жалобными стонами.

Глава 19. ГЛАВА, В КОТОРОЙ ГЕРОИ СНОВА ОПУСКАЮТСЯ НА ЗЕМЛЮ

Герцог де Ришелье находился в спальне своего версальского особняка, где он пил шоколад с ванилью в обществе Раффе, требовавшего от него отчета. Герцог был очень занят своим лицом, издали рассматривая себя в зеркале, и потому почти не обращал внимания на более или менее точные расчеты своего секретаря.

Неожиданно стук каблуков в приемной возвестил о приходе посетителя, и герцог поспешно допил шоколад, беспокойно поглядывая на дверь.

Бывали часы, когда герцог де Ришелье, подобно состарившейся кокетке, мог принимать далеко не всех.

Камердинер доложил о приходе барона де Таверне.

Герцог, вероятно, собирался придумать какую-нибудь отговорку и перенести визит своего друга на другой день или хотя бы на другое время, однако едва дверь отворилась, как резвый старикашка влетел в комнату, на ходу небрежно сунул руку маршалу и плюхнулся в глубокое кресло, жалобно скрипнувшее не столько под его тяжестью, сколько от удара.

Ришелье наблюдал за другом, напомиравшим фантастического персонажа Гофмана. Он слышал скрип кресла, потом тяжелый вздох и обернулся к гостю.

– Ну, барон, что новенького? – спросил он. – Ты тосклив, как сама смерть.

– Тосклив!.. – повторил Таверне. – Тосклив...

– Черт побери! От радости, как мне кажется, так не Вздыхают.

Барон взглянул на маршала с таким видом, словно хотел сказать, что пока Раффе в спальне, объяснений по поводу его вздоха дать нельзя.

Раффе все понял не оборачиваясь, потому что он тоже, как и его хозяин, поглядывал иногда в зеркало.

А как только он понял, он сейчас же скромно удалился.

Барон проводил его взглядом, и едва дверь за ним затворилась, он продолжал:

– Тосклив – это не то слово, скажи лучше – обеспокоен, крайне обеспокоен.

– Ба!

– В самом деле! – вскричал Таверне, умоляюще сложив руки. – И не надо делать вид, что ты удивлен. Вот уж больше месяца ты водишь меня за нос отговорками:

«Я не видел короля» или «Король меня не заметил», или:

«Король на меня дуется». Тысяча чертей! Герцог! Так не отвечают старому другу. Месяц – ты только вдумайся! – это же целая вечность!

Ришелье пожал плечами.

– Что, черт возьми, ты хотел бы от меня услышать? – возразил он.

– Правду!

– Дьявольщина! Ведь я тебе уже сказал ее, черт подери! Я тебе на уши вешаю эту самую правду, да только ты не хочешь в нее поверить, вот что!

– Как? Ты хочешь, чтобы я поверил, что ты, герцог и пэр, маршал Франции, камергер, не видишься с королем, если каждое утро присутствуешь на церемонии одевания? Оставь эти шутки для других!

– Я уже говорил тебе и повторяю, это невероятно, но это правда – вот уже три недели я каждое утро являюсь к одеванию, я, герцог и пэр, маршал Франции, камергер!..

–..а король с тобой не разговаривает, – перебил его Таверне, – и ты не говоришь с королем? И ты хочешь, чтобы я поверил этому вранью?

– Дорогой мой барон! Ты становишься просто нахалом, мой нежный Друг! Ты пытаешься меня уличить, откровенно говоря, так, словно мы помолодели лет на сорок и можем вызвать друг друга на дуэль.

– Да ведь есть от чего взбеситься, герцог.

– Это другое дело, бесись, мой друг, я тоже вне себя.

– Ты?

– Да, и есть из-за чего. Я же тебе говорю, что с того самого дня король ни разу на меня не взглянул! Я тебе говорю, что его величество постоянно поворачивается ко мне спиной! Всякий раз, как я считаю своим долгом любезно ему улыбнуться, король в ответ строит мне отвратительную гримасу! Да я просто устал от насмешек в Версале! Что, по-твоему, я должен делать?

Таверне кусал ногти во время этой реплики маршала.

– Ничего не понимаю, – проговорил он наконец.

– Я тоже, барон.

- По правде говоря, можно подумать, что король забавляется при виде твоего беспокойства. В противном случае – Да, я тоже так думаю, барон...
- Ну, герцог, нам надо придумать, как выйти из этого затруднения; надо предпринять какой-нибудь ловкий маневр, чтобы все разъяснилось.
- Барон! – заметил Ришелье. – Иногда бывает небезопасно вызывать королей на объяснение.
- Ты полагаешь?
- Да. Хочешь, я буду с тобой откровенен?
- Говори.
- Знаешь, я кое-чего опасаюсь...
- Чего? – заносчиво спросил барон.
- Ну вот, ты уже сердисься.
- У меня есть для этого основания, как мне кажется.
- Тогда не будем об этом больше говорить.
- Напротив! Давай поговорим! Но сначала объяснись.
- Ты жить не можешь без объяснений! Это просто мания какая-то! Обрати на это внимание.
- Ты просто очарователен, герцог. Ты же сам видишь, что все наши планы повисли в воздухе, ты видишь, что все мои дела по необъяснимым причинам застопорились, и ты советуешь мне ждать!
- Что застопорилось? Ты о чем?
- Да все о том же, сам посуди.
- Ты имеешь в виду письмо?
- Да, о назначении моего сына.
- А-а, полковника?
- Хорош полковник!
- А что же?
- А то, что около месяца Филипп ожидает в Реймсе обещанного королем назначения, которое где-то застряло, а полк через два дня снимается.
- Чертовщина! Полк снимается?
- Да, его переводят в Страсбург. Таким образом, если через два дня Филипп не получит королевскую грамоту...
- Что тогда?
- Через два дня Филипп будет здесь.
- Да, понимаю: о нем забыли. Бедный мальчик! Так; всегда бывает в канцеляриях, учреждаемых таким кабинетом министров, как у нас!.. Вот если бы премьер-министром был я, грамота уже была бы отправлена!
- Гм! – обронил Таверне.
- Что ты говоришь?
- Говорю, что не верю ни одному твоему слову.
- То есть, почему?
- Если бы ты был премьер-министром, ты послал бы Филиппа ко всем чертям.
- Ого!
- И его отца – туда же.
- Вот тебе раз!
- А его сестру еще подальше.
- С тобой приятно разговаривать. Таверне, ты очень умен. Впрочем, оставим это.
- Я бы с удовольствием, да вот мой сын не может этого оставить! Он в безвыходном положении. Герцог! Необходимо увидеть короля.
- Говорят тебе, я только и делаю, что смотрю на него.
- Надо с ним поговорить.
- Дорогой мой! С королем говорят, когда он сам этого желает.
- Заставить его!
- Я не папа.

– Тогда я, пожалуй, решусь поговорить с дочерью, – молвил Таверне, – потому что тут дело нечисто, господин герцог!

Это слово оказало магическое действие.

Ришелье прощупал Таверне. Он знал, что барон – такой же развратник, как его друзья юности господин Лафар или господин де Носе, репутация которых была безупречной. Он боялся, что отец и дочь вступят в сговор, так же как боялся всего неизвестного, что могло бы вызвать немилость монарха.

– Ну, хорошо, не сердись, – сказал он, – я попробую предпринять еще один шаг. Но нужен предлог.

– У тебя есть предлог.

– У меня?

– Разумеется.

– Какой же?

– Король дал обещание.

– Кому?

– Моему сыну. И это обещание...

– Что?

– Можно напомнить о нем королю.

– Это и впрямь удобный предлог. Письмо при тебе?

– Да.

– Давай сюда!

Таверне достал из кармана сюртука письмо и подал его герцогу, порекомендовав действовать смело и вместе с тем осмотрительно.

– Союз воды и огня, – заметил Ришелье. – Сразу видно, что мы сумасброды. Ну, раз вино налито – надо его выпить.

Он позвонил.

– Прикажете подать мне сюртук и заложить лошадей. Он обернулся к Таверне и с беспокойством спросил:

– Хочешь присутствовать при моем одевании, барон? Таверне понял, что очень огорчит друга, если согласится.

– Нет, дорогой мой, не могу! у меня еще есть дело в городе. Назначь мне где-нибудь свидание.

– Пожалуйста: в замке.

– В замке, так в замке.

– Было бы хорошо, если бы ты тоже увиделся с его величеством.

– Ты так думаешь? – спросил довольный Таверне.

– Я на этом настаиваю. Я хочу, чтобы ты сам убедился, что я говорю тебе правду.

– Да я и не сомневаюсь, но раз тебе хочется...

– Да ведь и ты этого, пожалуй, хочешь, а? – Откровенно говоря, да.

– Ну, тогда жди меня в Зеркальной галерее в одиннадцать часов, я в это время буду у его величества.

– Условились. Прощай!

– Не сердись, дорогой барон! – проговорил Ришелье, стремившийся до последней минуты не ссориться с человеком, сила которого была ему еще неизвестна.

Таверне сел в карету и покатил в сад, где долго гулял один, глубоко задумавшись, в то время как Ришелье предоставил себя заботам слуг и стал молодеть на глазах: это серьезное занятие заняло у знаменитого победителя Маона не меньше двух часов.

Впрочем, он потратил на туалет гораздо меньше времени, чем мысленно отпустил ему Таверне. Барон, подстерегавший герцога, видел, как ровно в одиннадцать карета маршала остановилась у дворцового подъезда, где свитские офицеры отдавали Ришелье честь, пока лакеи провожали его в королевские покои.

Сердце Таверне готово было выскочить из груди: он медленно, сдерживая свой пыл, отпра-

вился в Зеркальную галерею, где менее удачливые придворные, офицеры с прошениями, а также честолобивые мелкопоместные дворяне выстаивали, словно статуи, на скользком паркете – пьедестале, прекрасном для поклонников Фортуны.

Таверне против волн смешался с толпой, постаравшись, однако, держаться поближе к углу, где должен был появиться маршал, выйдя от его величества.

– Чтобы я толкался среди этих дворянчиков и их грязных плюмажей! – ворчал он. – И это я, всего месяц назад ужинавший в тесном кругу с его величеством!

И тут к нему закралось гнусное подозрение, от которого покраснела бы бедняжка Андре.

Глава 20. КОРОТКАЯ ПАМЯТЬ КОРОЛЕЙ

Как он и обещал, Ришелье отважно подставил себя под гневные взгляды его величества в тот момент, когда принц де Конде протягивал королю рубашку.

Заметив маршала, король сделал столь резкое движение, чтобы отвернуться, что рубашка едва не упала на пол, а удивленный принц отступил.

– Простите, брат, – сказал Людовик XV, желая дать понять принцу, что резкое движение относится не к нему.

У Ришелье не осталось сомнений, что король гневается на него.

Но так как он прибыл с решимостью вызвать гнев, если это понадобится для решительного объяснения, то он обошел короля, как при осаде Фонтенуа, и встал с другой стороны, там, где король должен был непременно пройти, чтобы попасть в свой кабинет.

Не видя больше маршала, король заговорил легко и свободно. Он оделся, выразил желание поохотиться в Марли и долго советовался со своим братом, потому что за семейством Конде закрепились слава отличных охотников.

Но в ту минуту, как он переходил в свой кабинет, когда все уже ушли, он снова увидел Ришелье, раскланивавшегося со всей возможной изысканностью, известной еще со времен Лаузуна, прославившегося своими изящными поклонами.

Людовик XV остановился в замешательстве.

– И здесь вы, господин де Ришелье? – воскликнул он.

– Я весь к услугам вашего величества, сир.

– Вы что же, никогда не уходите из Версаля?

– Вот уже сорок лет я здесь, сир, и я очень редко удаляюсь, только по приказанию вашего величества. Король остановился против маршала.

– Вам что-то от меня нужно? – спросил король.

– Мне, сир? – с улыбкой переспросил Ришелье. – Да что вы!

– Вы же, черт подери, меня преследуете, герцог! Я уже это заметил.

– Да, сир, мою любовь и мое уважение? Благодарю вас, сир?

– Вы делаете вид, что не понимаете меня. Но вы: меня отлично поняли. Так вот знайте, господин маршал, что мне нечего вам сказать.

– Нечего, сир?

– Совершенно нечего!

Ришелье напустил на себя безразличный вид.

– Сир! – сказал он. – Я всегда был счастлив тем, что мог сказать себе, положив руку на сердце, что моя преданность королю совершенно бескорыстна: для меня это вопрос чести вот уже сорок лет, о чем я говорил вашему величеству; даже завистники не смогут сказать, что король когда-нибудь что-нибудь для меня сделал. Моя репутация, к счастью, безупречна.

– Вот что, герцог, просите, если вам что-нибудь нужно, но просите поскорее.

– Сир! Мне совершенно ничего не нужно, я только хочу умолять ваше величество...

– О чем?

– О том, чтобы вы изволили согласиться выразить благодарность...

– Кому же?

– Сир! Речь идет об одном лице, в так уже многим обязанном королю.

– Кто это?

– Это тот, сир, кому вы, ваше величества, оказали неслыханную честь... Ну еще бы! Когда кто-либо удостоен чести сидеть за столом вашего величества, когда этот человек имел возможность наслаждаться изысканным, живым разговором, благодаря которому вы, ваше величество, заслуженно считаетесь прекрасным собеседником, это невозможно забыть, и к этому так быстро привыкаешь...

– Вы – настоящий златоуст, господин де Ришелье.

– Ну что вы, сир!..

– Итак, о ком вы хотите поговорить?

– О моем друге Таверне.

– О вашем друге? – вскричал король.

– Прошу прощения, сир...

– Таверне!.. – повторил король с выражением ужаса, сильно удивившим герцога...

– Что же вы хотите, сир! Старый товарищ... Он помедлил минуту.

–..человек, служивший вместе со мной под Виларом... Он опять остановился.

– Вы же знаете, сир, что у нас принято называть другом любого знакомого, всякого, кто не является нашим врагом: это просто вежливое слово, которое не содержит в себе зачастую ничего особенного.

– Это уличающее слово, герцог, – ядовито заметал король, – такими словами не следует бросаться.

– Советы вашего величества – это заветы, преисполненные мудрости. Итак, господин де Таверне...

– Господин де Таверне – это безнравственный человек!

– Слово дворянина, я, сир, так и думал.

– Это человек, лишенный деликатности, господин маршал.

– Да, сир, об этом я даже не стал бы и говорить. Я, ваше величество, отвечаю только за то, что знаю.

– Как, вы не отвечаете за деликатность вашего друга, старого служаки, воевавшего вместе с вами под Виларом, наконец, человека, которого вы мне представляли? Да вы знакомы с ним, по крайней мере?

– С ним – несомненно, сир, – но не с его деликатностью. Сулли говорил как-то вашему предку Генриху Четвертому, что он видел, как его лихорадка вышла из него, одетая в зеленое платье; я же готов со смирением признать, сир, что мне не довелось увидеть, как одевается деликатность барона де Таверне.

– Ну тогда я сам вам скажу, маршал, что это отвратительный человек, сыгравший омерзительную роль...

– Если это говорите вы, ваше величество...

– Да, сударь, я!

– Ваше величество облегчает мою задачу, говоря подобным образом. Нет, признаться, я заметил, что Таверне не является образцом деликатности. Но, сир, пока ваше величество не соблаговолили сообщить мне свое мнение...

– Извольте: я его ненавижу.

– Приговор произнесен, сир. К счастью для этого несчастного, – продолжал Ришелье, – у него есть мощные заступники, могущие защитить его перед вашим величеством.

– Что вы хотите этим сказать?

– Если отец имел несчастье не понравиться королю...

– И очень сильно не понравиться!

– Я и не отрицаю, сир.

– Что же вы хотели сказать?

– Я говорю, что некий ангел с голубыми глазами и светлыми волосами...

– Я вас не понимаю, герцог.

– Да это же и так ясно, сир.

Мне, однако, хотелось бы услышать ваши объяснения.

– Только такой профан, как я, может трепетать при мысли о том, чтобы приподнять краешек вуали, под которой таятся такие прелести!.. Но, повторяю, неужели нельзя простить Таверне во имя той, которая смягчает королевский гнев? О да, мадмуазель Андре, должно быть, сущий ангел!

– Мадмуазель Андре – это маленькое чудовище в физическом отношении, точно такое же, как ее отец – в нравственном! – вскричал король.

– Неужели? – остолбенев, обронил Ришелье. – Так мы, значит, все ошибались, и эта красивая внешность?..

– Никогда не говорите мне больше об этой девице, герцог! Одна мысль о ней вызывает у меня дрожь. Ришелье лицемерно всплеснул руками.

– О Господи! – воскликнул он. – До чего внешность бывает обманчива!.. Если бы ваше величество, первый ценитель королевства, если ваше величество, сама непогрешимость, не сказали бы мне этого.., я бы этому ни за что не поверил... Как, сир, можно до такой степени всех провести?

– Больше того, сударь: она страдает.., ужасной болезнью.., я попал в западню, герцог. Но ради всего святого, ни слова больше о ней, вы меня уморите!

– Боже, Боже! – вскричал Ришелье. – Я ни слова больше о ней не пророню, сир! Чтобы я уморил ваше величество!.. Как это печально! Ну что за семейка! Как не повезло бедному мальчику!

– О ком это вы опять?

– На этот раз я говорю о верном, искренне преданном слуге вашего величества. Вот, сир, настоящий образец служения своему королю, и вы справедливо его оценили. На сей раз, готов поручиться, ваша милость не ошибется.

– О ком все-таки речь, герцог? Говорите скорее, мне некогда!

– Я хочу напомнить вам, сир, – мягко отвечал Ришелье, – о сыне одного и брате другой. Я говорю о Филиппе де Таверне, храбром юноше, которому вы, ваше величество, дали полк.

– Я? Чтоб я кому бы то ни было дал полк?

– Да, сир, Филипп де Таверне ожидает полк, который вы изволили ему обещать.

– Я?

– Разумеется, сир!

– Вы с ума сошли!

– Да что вы?

– Ничего я ему не давал, маршал.

– В самом деле?

– Какого дьявола вы вмешиваетесь в это дело?

– Но, сир..

– Разве вас это касается?

– Ни в коей мере.

– Значит, вы поклялись сжечь меня на медленном огне, прося об этом вздорном господине?

– Чего же вы хотите, сир! Мне казалось, – теперь я и сам вижу, что ошибался, – что вы, ваше величество, обещали...

– Это не мое дело, герцог. У меня же есть военный министр. Я не раздаю полки. Полк!.. Кто вам сказал такую чепуху? Так вы стали заступником этого выродка? Ведь я вам говорил, что вы напрасно со мной об этом заговорили. Вы довели меня до бешенства!

– О сир!

– Да, до бешенства! Если бы заступником был сам сатана, я и тогда бы не стал долго раздумывать.

Король повернулся к герцогу спиной и в гневе удалился в кабинет, превратив Ришелье в несчастнейшего из смертных.

– На сей раз, – пробормотал герцог, – я знаю, как к этому отнестись.

Ришелье стряхнул платком пудру, осыпавшуюся от полученного им сильнейшего удара, и направился к галерее, в тот самый угол, где с жадным нетерпением поджидал его друг.

Завидев маршала, барон бросился к нему, как паук на свою жертву, в надежде узнать свежие

новости.

Блестя глазами, сложив губы бантиком, с распростертыми объятьями он преградил ему путь.

– Ну, что нового? – спросил он.

– Кое-что новое есть, сударь, – отвечал Ришелье, напрягшись всем телом, презрительно скривив губы и яростно набросившись на свое жабо, – я прошу вас более не обращаться ко мне.

Таверне с изумлением взглянул на герцога.

– Да, вы прогневали короля, – продолжал Ришелье, – а на кого гневается король, тот и мой враг.

Таверне, как громом пораженный, словно врос в мраморный пол.

Ришелье пошел дальше.

На выходе из Зеркальной галереи его ждал выездной лакей.

– В Люсьенн! – приказал ему Ришелье и скрылся.

Глава 21. ОБМОРОКИ АНДРЕ

Когда Таверне пришел в себя и осмыслил то, что он называл своим несчастьем, он понял, что настало время серьезного объяснения с той, что явилась главной причиной стольких тревог.

Кипя от гнева и возмущения, он направился в апартаменты Андре.

Девушка заканчивала туалет: подняв вверх руки, она прятала за ушки две непокорные пряди волос.

Андре услышала шаги отца в передней в ту минуту, как, зажав под мышкой книгу, она собиралась выйти за порог.

– Здравствуй, Андре! – проговорил барон де Таверне. – Ты уходишь?

– Да, отец.

– Одна?

– Как видите.

– Так ты, стало быть, по-прежнему живешь здесь одна?

– С тех пор, как Николь исчезла, у меня нет камеристки.

– Не можешь же ты одеваться сама, Андре, это может тебе повредить: ты не будешь иметь при дворе успеха. Ведь я тебе уже говорил, как следует себя вести, Андре.

– Прошу прощения, отец, меня ожидает ее высочество.

– Уверяю тебя, Андре, – продолжал Таверне, все более горячась, – смею вас, мадмуазель, уверить, что над вашей простотой скоро все здесь будут смеяться.

– Отец...

– Насмешка убийственна где угодно, но в особенности – при дворе.

– Я об этом подумаю. А пока, я полагаю, ее высочество простит мне, что я оделась не очень элегантно, потому что торопилась явиться к ней.

– Ступай, но возвращайся, пожалуйста, сразу же, как только освободишься: мне нужно поговорить с тобой об одном очень серьезном деле.

– Хорошо, отец, – отвечала Андре и пошла прочь Барон смотрел на нее в упор.

– Подождите, подождите! – воскликнул он. – Нельзя же выходить в таком виде, вы забыли нарядиться, мадмуазель, вы до отвращения бледны!

– Я, отец? – остановившись, переспросила Андре.

– Нет, в самом деле, о чем вы думаете, когда смотрите на себя в зеркало? Ваши щеки блеее воска, у вас огромные синяки под глазами. Нельзя, мадмуазель, показываться в таком виде, иначе люди будут от вас шарахаться – У меня нет времени что-нибудь менять в своем туалете, отец.

– Это отвратительно! – вскричал Таверне, пожимая плечами. – Послал же мне Господь дочку! До чего же мне не везет! Андре! Андре!

Но Андре уже сбежала по лестнице.

Она обернулась.

– Скажите, по крайней мере, что вы больны! – крикнул Таверне. – Попробуйте хотя бы заинтриговать, раз уж не хотите быть привлекательной!

– Ну, это будет нетрудно, отец, и если я скажу, что больна, мне не придется лгать, потому что я действительно чувствую себя не вполне здоровой.

– Ну вот, – проворчал барон, – этого нам только не хватало..., больна!

– И он процедил сквозь зубы:

– Черт побрал бы этих тихонь!

Он вернулся в комнату дочери и занялся тщательными поисками того, что натолкнуло бы его на мысль и помогло бы ему составить свое мнение о происходящем.

В это время Андре шла через сад между клумбами. Временами она поднимала голову и представляла лицо свежему ветру, потому что запах цветов слишком сильно ударял ей в голову и заставлял ее вздрагивать.

Шатаясь под палящими лучами солнца и ища глазами, на что бы опереться, девушка с трудом добралась до приемных Трианона, пытаясь справиться с неведомым недугом. Герцогиня де Ноай, стоявшая на пороге кабинета ее высочества, с первых слов дала понять Андре, что ее давно ждут.

В самом деле, аббат ХХХ, носивший звание чтеца ее высочества, завтракал с принцессой: она частенько оказывала подобные милости лицам из ее ближайшего окружения.

Аббат расхваливал превосходные хлебцы, которые немецкие хозяйки так умело раскладывают вокруг чашечки кофе со сливками.

Аббат не читал, а говорил: он передавал ее высочеству последние новости из Вены, почерпнутые им у газетчиков и дипломатов. В те времена политика делалась у всех на виду, и это получалось, надо признать, ничуть не хуже, чем в святая святых тайных канцелярий. Зачастую кабинет министров выдавал за новости то, что выдумывали придворные Пале-Рояля или Версаля.

Аббат уделил особое внимание в своем рассказе свежим слухам о тайном недовольстве по поводу подскочивших цен на хлеб, которому, как он говорил, немедленно положил конец де Сартин, препроводив в Бастилию некоторых зачинщиков. Вошла Андре. У ее высочества, как и у всех, бывали капризы. Рассказ аббата ее заинтересовал, а чтение Андре, последовавшее за их беседой, наскучило принцессе.

Вот почему она заметила чтице, чтобы та не опаздывала больше к назначенному времени, прибавив, что все хорошо в свое время.

Смутившись от упрека и, в особенности, задетая его несправедливостью, Андре ничего не ответила, хотя могла бы сказать, что ее задержал отец и, кроме того, что она была вынуждена идти медленно, потому что чувствовала себя нездоровой.

Смущенная, подавленная, она склонила голову и, словно готовая умереть, закрыла глаза и покачнулась.

Не оказись поблизости герцогини де Ноай, она бы упала.

– Что это вы не держитесь на ногах, мадмуазель? – прошептала Госпожа Этикет. Андре ничего не ответила.

– Герцогиня!

Ей дурно! – вскрикнула принцесса, встав, чтобы помочь Андре.

– Нет, нет, – торопливо возразила Андре, глаза которой наполнились слезами. – Нет, ваше величество, я чувствую себя хорошо, вернее сказать, лучше.

– Да она бледна, как полотно, графиня, взгляните! Это я виновата: я ее выбрала... Ах, бедняжка!.. Садитесь! Сядьте, я вам приказываю!

– Ваше высочество...

– Извольте слушаться, когда я приказываю!.. Дайте ей свой стул, аббат.

Андре присела и мало-помалу под влиянием такой доброты ее разум прояснился, румянец вновь заиграл на щеках.

– Ну что, мадмуазель, теперь вы можете читать? – спросила ее высочество.

– Да, да, разумеется! Во всяком случае, надеюсь.

Андре раскрыла книгу в том месте, где прервала накануне чтение, и, стараясь из всех сил выговаривать внятно, сообщая своему голосу приятность, она начала читать.

Но, едва осилив три страницы, она почувствовала, как буквы запрыгали, закружились у нее в

глазах, и она перестала разбирать написанное.

Андре снова побледнела и почувствовала в груди холодок, поднимавшийся к голове, а черные круги под глазами, в которых ее горько упрекал Таверне, становились больше, больше... Молчание Андре заставило принцессу поднять голову. При виде Андре она закричала:

– Опять!.. Взгляните, герцогиня! Бедняжка не на шутку больна, она вот-вот упадет!

Т На сей раз ее высочество сама побежала за флаконом с солью и поднесла его своей чтице. Придя в себя, Андре попыталась было положить книгу на колени, но тщетно: ее руки по-прежнему нервно подрагивали, и некоторое время никакими средствами не удавалось остановить дрожь.

– Графиня! Андре нездорова, и я не желаю усугублять ее тяжелое положение, оставляя ее здесь, – проговорила принцесса – В таком случае мадмуазель должна вернуться к себе незамедлительно, – молвила герцогиня.

– Почему же, герцогиня? – удивилась ее высочество.

– Потому что это похоже на оспу, – почтительно поклонившись, отвечала фрейлина.

– Оспу?..

– Да. Головокружение, обмороки, дрожь... Аббат был до крайности напуган словами герцогини де Ноай. Он поднялся и под предлогом того, что не желает стеснять почувствовавшую недомогание девушку, на цыпочках выскользнул за дверь, да так ловко, что никто не заметил его исчезновения.

Когда Андре увидела, что находится, если можно так выразиться, на руках у ее высочества, она устыдилась того, что причиняет неудобства знатной принцессе, и это придало ей силы или, вернее, смелости: она поспешила к раскрытому окну глотнуть свежего воздуха.

– Свежим воздухом следует дышать совсем не так, дорогая мадмуазель де Таверне! – заметила ее высочество. – Возвращайтесь к себе, я прикажу вас проводить.

– Уверяю вас, ваше высочество, что я совершенно пришла в себя и дойду одна, если ваше высочество соизволит разрешить мне удалиться.

– Да, да, и можете быть уверены, что вас никто не будет больше бранить, – продолжала принцесса, – раз вы до такой степени чувствительны, маленькая плутовка.

Андре была тронута ее добротой, напомилавшей дружбу старшей сестры; она поцеловала руку у своей покровительницы и вышла из покоев, провожаемая обеспокоенным взглядом ее высочества.

Когда она уже спустилась по лестнице, принцесса прокричала ей вдогонку из окна:

– Не спешите возвращаться, погуляйте немного среди цветов, солнце пойдет вам на пользу.

– Боже мой! Ваше высочество, мне, право, неловко! – пробормотала Андре.

– А еще будьте любезны прислать ко мне аббата – он занимается ботаникой вон там, на квадратной клумбе с голландскими тюльпанами.

В поисках аббата Андре была вынуждена пойти в обратную сторону через цветник.

Она шла, опустив голову, еще не вполне оправившись от странных обмороков, от которых страдала с самого утра; она не обращала внимания ни на птиц, круживших над живыми изгородями и цветущим питомником, ни на пчел, гудевших над тимьяном и сиренью.

Она шла, не замечая шагах в двадцати от себя двух занятых разговором человек, один из которых следил за ней смущенным, беспокойным взглядом.

Это были Жильбер и де Жюсье.

Первый, опершись на лопату, слушал ученого профессора, объяснявшего ему, что надо поливать легкие растения так, чтобы вода проходила в почву, не застаиваясь.

Жильбер делал вид, будто жадно следит за тем, что ему показывают, а де Жюсье не находил ничего неестественного в такой пылкой любви к науке, тем более что демонстрация удалась и была способна заставить рукоплескать школьников, проходи она во время публичной лекции. Кроме того, для бедного ученика садовника урок прославленного ботаника, данный прямо на природе, был, как полагал де Жюсье, неоценимой удачей.

– Здесь, перед вами, как вы видите, дитя мое, четыре типа почвы, – говорил меж тем де Жюсье, – и буде на то мое желание, я обнаружил бы с десятков других типов, в виде примесей сочетающихся с четырьмя основными. Однако для ученика садовника и этого деления будет доволь-

но. Цветовод всегда должен пробовать почву на язык, как, например, садовник должен знать вкус фруктов. Вам это понятно, Жильбер?

– Да, сударь, – отвечал Жильбер, глядя в одну точку и приоткрыв рот: он увидел Андре и со своего места мог продолжать наблюдать за ней, не вызывая подозрений у профессора, уверенного в том, что молодой человек с благоговением следит за ним и понимает его объяснения.

– Чтобы узнать вкус почвы, – продолжал де Жюсье, введенный в заблуждение раскрытым ртом Жильбера, – необходимо положить горсть земли в корзинку, осторожно налить сверху немного воды, а потом попробовать воду, когда она просочится снизу. Солоноватый, едкий, пресноватый или сладковатый привкус некоторых природных масел должен будет сочетаться с соками растений, которые вы собираетесь выращивать; ведь в природе, как утверждает ваш бывший покровитель господин Руссо, все стремится к сходству, ассимиляции и единству – О Господи! – вскрикнул Жильбер, выбросив руки вперед.

– Что такое?

– Она падает в обморок, она падает в обморок!

– Кто? Вы с ума сошли?

– Она, она!

– Она?

– Да. – торопливо пробормотал Жильбер, – вон та дама Его испуг и бледность должны были бы ясно дать понять де Жюсье, что означало это взволнованное «она», если бы он не отвел взгляд в ту сторону, куда указывал молодой человек.

Проследив глазами за рукой Жильбера, де Жюсье в самом деле увидел Андре: с трудом добравшись до скамейки, она упала на нее и лежала неподвижно, готовая вот-вот испустить дух.

Это был тот самый час, когда король имел обыкновение навещать ее высочество, переходя через сад из Большого Трианона в Малый.

И вот его величество неожиданно вышел на дорожку.

Он нес в руках золотистый персик, первый в этом сезоне, раздумывая, как настоящий эгоист, не будет ли лучше для счастья Франции, если этот персик съест он, а не принцесса.

Король заметил, с какой поспешностью де Жюсье бросился к Андре, которую король вследствие слабого зрения едва различал и уж во всяком случае не узнал; он услышал приглушенные крики Жильбера, испытывавшего глубочайшее потрясение, – все это заставило его величество ускорить шаг.

– Что случилось? Что случилось? – стал спрашивать Людовик XV, приближаясь к зарослям питомника, от которого его отделяло всего несколько шагов.

– Король! – воскликнул де Жюсье, поддерживая девушку – Король!.. – прошептала Андре, окончательно теряя сознание.

– Да кто же все-таки там? – повторял Людовик XV. – Кто там, женщина? Что с ней?

– Обморок, сир.

– Неужели? – молвил Людовик XV.

– Она без чувств, сир, – прибавил де Жюсье, указав на девушку, неподвижно лежавшую на скамье, куда он только что ее опустил.

Король подошел ближе, узнал Андре и с содроганием вскрикнул:

– Опять она!.. Но это возмутительно! Надо видеть дома, если ты подвержена таким болезням. Неприлично умирать вот так весь день, у всех на глазах!

И Людовик XV вернулся на дорожку, ведущую в Малый Трианон, ругая почему зря бедную Андре. Не зная всей подоплеки, пораженный де Жюсье замер в нерешительности. Обернувшись и увидев в нескольких шагах от себя испуганного и озабоченного Жильбера, он крикнул ему:

– Подойди сюда, Жильбер! Ты сильный, отнесешь мадмуазель де Таверне домой.

– Я? – вздрогнув, пробормотал Жильбер. – Чтобы я ее отнес? Да как я могу дотронуться до нее? Нет, нет, она никогда мне этого не простит, никогда!

И он в ужасе убежал прочь, изо всех сил зовя на помощь.

Глава 22. ДОКТОР ЛУИ

В нескольких шагах от того места, где Андре лишилась чувств, работали два помощника садовника; они и прибежали на крики Жильбера. По приказанию де Жюсье они понесли Андре в ее комнату, в то время как Жильбер, опустив голову, издали смотрел на недвижимое тело девушки, словно убийца, провожавший свою жертву в последний путь.

Когда процессия подошла к службам, де Жюсье отпустил садовников; Андре раскрыла глаза.

Барон де Таверне вышел из комнаты, слышав голоса и шум, сопровождающий обыкновенно любой несчастный случай: Таверне увидел дочь, еще нетвердо стоявшую на ногах и пытавшуюся собраться с духом и подняться по ступенькам, опираясь на руку де Жюсье.

Барон подбежал с тем же вопросом, что и король!

– Что случилось? Что случилось?

– Ничего, отец, – тихо отвечала Андре, – мне нехорошо, голова болит.

– Мадмуазель – ваша дочь, сударь? – спросил де Жюсье, поклонившись барону.

– Да.

– Я очень рад, что оставляю ее в надежных руках, но умоляю вас пригласить доктора.

– Все это сущие пустяки!.. – молвила Андре.

– Разумеется, пустяки! – подтвердил Таверне.

– Я от души надеюсь, что это так, – отвечал де Жюсье, – однако, признаться, мадмуазель была очень бледна.

Проводив Андре до двери, де Жюсье откланялся. Отец и дочь остались вдвоем.

Пока Андре не было. Таверне обо всем поразмыслил. Он подал руку стоявшей на пороге Андре, подвел ее к софе, усадил ее и сел сам.

– Простите, отец, – обратилась к нему Андре, – будьте добры отворить окно, я задыхаюсь.

– Я собирался серьезно с тобой поговорить, Андре; а из клетки, которую тебе определили под жилье, отлично слышен малейший вздох. Ну хорошо, я постараюсь говорить тихо.

И он отворил окно. Он возвратился к дочери и, качая головой, снова сел на софу.

– Должен признать, – начал он, – что король, проявивший к нам поначалу немалый интерес, не очень-то любезен, позволяя тебе жить в этой хибаре.

– Отец! В Трианоне не хватает места, – возразила Андре, – вы сами знаете, что в этом большой недостаток дворца, – Что места не хватает кому-нибудь другому, – вкрадчиво зашептал Таверне, – это я еще мог бы допустить, но для тебя, дочь моя!.. Нет, это невозможно!

– Вы слишком высоко меня цените, отец, – с улыбкой заметила Андре. – Как жаль, что не все такого же мнения!

– Все, кто тебя знает, дочь моя, думают, как и я. Андре поклонилась, словно разговаривала с незнакомым человеком: комплименты отца начинали ее беспокоить.

– Ну.., ну а.., король тебя знает, я полагаю? – продолжал Таверне.

С этими словами он устремил на дочь испытующий взгляд.

– Король меня едва узнает, – отвечала Андре, нимало не смутившись, – и я мало что для него значу, насколько я могу судить.

– Ты мало что для него значишь!.. – вскричал он. – Признаться, я ничего не понимаю из того, что ты говоришь! Мало что значишь!.. Ну, мадмуазель, вы слишком низко себя цените!

Андре с удивлением посмотрела на отца.

– Да, да, – продолжал барон, – я уже говорил и еще раз повторяю: вы из скромности готовы позабыть о чувстве собственного достоинства!

– Вы склонны все преувеличивать: король проявил интерес к несчастной нашей семье, это верно; король соизволил кое-что для нас сделать; однако у трона его величества так много неудачников, король так Щедр на милости, что немудрено, если он забыл о нас после того, как облагодетельствовал нашу семью.

Таверне пристально посмотрел на дочь, отдавая должное ее сдержанности и непроницаемой скрытности.

– Знаете ли, дорогая Андре, ваш отец готов стать первым вашим просителем и в качестве просителя обращается к вам; надеюсь, вы его не оттолкнете.

Андре взглянула на отца, как бы требуя объяснений.

– Мы все вас просим, похлопочите за нас, сделайте что-нибудь для своей семьи...

– Зачем вы все это мне говорите? Чего вы от меня ждете! – воскликнула Андре, потрясенная смыслом того, что ей сказал отец, а также его тоном.

– Согласны вы или нет попросить что-нибудь для меня и своего брата? Отвечайте!

– Я сделаю все, что вы прикажете, – отвечала Андре, – однако не думаете ли вы, что мы можем показаться слишком жадными? Ведь король и так подарил мне ожерелье, которое стоит, по вашим словам, более ста тысяч ливров. Кроме того, его величество обещал моему брату полк; на нашу долю и так выпала значительная часть королевских милостей.

Таверне громко захохотал.

– Так вы полагаете, что эта цена достаточно высока?

– Я знаю, что ваши заслуги велики, – отвечала Андре.

– Э-э, да кто вам говорит о моих заслугах, черт побери?

– О чем же вы, в таком случае, говорите?

– Уверяю вас, что вы напрасно затеяли со мной эту нелепую игру! Не надо ничего от меня скрывать!

– Да что же я стала бы от вас скрывать. Боже мой? – спросила Андре.

– Я все знаю, дочь моя!

– Вы знаете?

– Все! Повторяю вам: я знаю все.

– Что «все»?

Андре сильно покраснела под столь грубым натиском, особенно невыносимым для того, у кого совесть чиста.

Естественное отцовское чувство уважения к своему ребенку удержало Таверне от дальнейших расспросов.

– Как вам будет угодно, – молвил он, – вы вздумали скромничать. Кажется, вы скрытничаете. Пусть так! Из-за вас отец и брат должны погрязнуть в безвестности и забвении – отлично! Но запомните хорошенько мои слова: если с самого начала не возьмете власть в свои руки, вам никогда уже ее не видать!

И Таверне круто повернулся на каблуках.

– Я вас не понимаю, – заметила Андре.

– Отлично! Зато я понимаю, – отвечал Таверне.

– Этого недостаточно, когда разговаривают двое.

– Что же, я сейчас поясню: употребите всю дипломатию, которой только вы располагаете и которая является главным оружием нашей семье, чтобы при первом же подходящем случае составить счастье вашей семьи, да и свое тоже. При первой же встрече с королем скажите ему, что ваш брат ожидает назначения, а вы чахнете в конуре, где нечем дышать и откуда нет никакого вида. Одним словом, не будьте до такой степени смешны, чтобы изображать либо слишком сильную страсть, либо совершенную незаинтересованность.

– Но...

– Скажите это королю сегодня же вечером...

– Где же, по-вашему, я смогу увидеться с королем?

–..и прибавьте, что его величеству не пристало даже являться...

В ту самую минуту, как Таверне вне всякого сомнения собирался выразиться яснее и тем вызвать бурю в сердце Андре, что повлекло бы за собой объяснение, способное прояснить тайну, с лестницы вдруг донеслись шаги.

Барон сейчас же умолк и поспешил к перилам, дабы узнать, кто идет к дочери.

Андре с удивлением увидела, как отец вытянулся вдоль стены.

Почти в тот же миг в маленькую квартирку вошла ее высочество в сопровождении одетого в черное господина, который шагал, опираясь на длинную трость.

– Ваше высочество! – вскрикнула Андре, собрав все силы, чтобы пойти навстречу принцессе.

– Да, моя дорогая больная! – отвечала ее высочество – Я пришла утешить вас, а заодно привела и доктора Подойдите, доктор. А-а, господин де Таверне! – продолжала принцесса, узнав барона. – Ваша дочь больна, а вы совсем о ней не заботитесь!

– Ваше высочество... – пролепетал Таверне.

– Подойдите, доктор, – пригласила принцесса со свойственной лишь ей добротой в голосе. – Подойдите, пощупайте пульс, загляните в эти припухшие глазки и скажите, чем больна моя любимица.

– Ваше высочество! Ваше высочество! Как вы добры ко мне!.. – прошептала девушка. – Мне так неловко принимать ваше высочество...

–..в этой лачуге, дитя мое? Вы это хотели сказать? Тем хуже для меня

– ведь это я так скверно вас поместила. Я еще подумаю об этом. А пока, дитя мое, дайте руку господину Луи: это мой доктор, но предупреждаю вас: он не только философ, который умеет угадывать мысли, но и ученый, который видит все насквозь.

Андре с улыбкой протянула доктору руку.

Это был еще не очень старый человек, и его умное лицо словно подтверждало все, что сказала о нем принцесса. С той минуты, как он вошел в комнату, он внимательно изучил больную, затем жилище, потом перевел взгляд на отца больной, в выражении лица которого вместо ожидаемого беспокойства было заметно лишь смущение.

Ученый муж только собирался увидеть то, о чем, возможно, уже догадался философ.

Доктор Луи долго слушал у девушки пульс и расспрашивал ее, что она чувствует.

– Отвращение к любой пище, – отвечала Андре, – а также внезапные рези, потом так же неожиданно кровь бросается в голову; спазмы, озноб, дурнота.

Доктор все больше хмурился.

Скоро он выпустил руку девушки и отвел глаза в сторону.

– Ну что, доктор, quid, как говорят консультанты? – спросила принцесса у доктора. – Seriously ли девочка больна, не грозит ли ей смертельная опасность?

Доктор перевел взгляд на Андре и еще раз молча оглядел ее.

– Ваше высочество! – отвечал он. – У мадмуазель простое недомогание.

– Seriousное?

– Нет, как правило, ничего опасного в этом нет, – с улыбкой проговорил доктор.

– Очень хорошо! – с облегчением вздохнув, заметила принцесса. – Не мучайте ее слишком сильно.

– Я вообще не собираюсь ее мучить, ваше высочество.

– Как? Вы не назначите никакого лекарства?

– Чтобы поправиться, мадмуазель не нужно никаких лекарств.

– Это правда?

– Да, ваше высочество.

– В самом деле ничего не нужно?

– Ничего.

Словно желая избежать дальнейших объяснений, доктор откланялся под тем предлогом, что его ждут больные.

– Доктор, доктор, если вы говорите это не только ради того, чтобы меня успокоить, значит, я сама больна серьезнее, чем мадмуазель де Таверне! Непременно принесите мне вечером обещанные снотворные пилюли.

– Ваше высочество! Я собственноручно приготовлю их, как только вернусь домой. Он вышел.

Ее высочество осталась посидеть со своей чтицей.

– Можете не волноваться, дорогая Андре, – заметила она с доброжелательной улыбкой, – ваша болезнь не представляет ничего серьезного, раз доктор Луи ушел, не прописав вам никакого лекарства.

– Тем лучше, ваше высочество, – отвечала Андре, – потому что в этом случае ничто не мешает мне являться на службу к вашему высочеству, а я больше всего боялась того, что болезнь

помешает исполнению моих обязанностей. Однако что бы ни говорил уважаемый доктор, я очень страдаю, ваше высочество, клянусь вам.

– Ну, не так уж, видно, серьезна ваша болезнь, если она рассмешила доктора. Поспите, дитя мое, я пришлю сам кого-нибудь для услужения – я вижу, вы здесь совсем одна. Соболаговолите проводить меня, господин де Таверне.

Она подала Андре руку и, утешив ее, как и обещала, принцесса удалилась.

Глава 23. ИГРА СЛОВ ГЕРЦОГА ДЕ РИШЕЛЬЕ

Как видел читатель, герцог де Ришелье поспешил в Люсьенн с решительностью, свойственной венскому посланнику и победителю при Маоне.

Он прибыл туда с сияющим лицом и непринужденным видом, молодецкато взбежал по ступенькам крыльца, отодрал за уши Замора, как в лучшие дни их знакомства, и почти силой ворвался в знаменитый будуар, отделанный голубым атласом, где бедняжка Лоренца видела, как графиня Дю Барри готовилась к отъезду на улицу Сен-Клод.

Лежа на софе, графиня отдавала герцогу д'Эгийону утренние распоряжения.

Они обернулись на шум и замерли в изумлении, разглядев маршала.

– А-а, господин герцог! – вскричала Дю Барри.

– Дядюшка! – в тон ей воскликнул д'Эгийон.

– Да, графиня! Да, дорогой племянник!

– Неужели это вы?

– Я самый!

– Лучше поздно, чем никогда, – заметила графиня.

– Ваше сиятельство! К старости люди становятся капризными, – отвечал маршал.

– Вы хотите сказать, что снова вспыхнули любовью к Люсьенн...

– Я испытываю самую что ни на есть страсть, которая мне на время изменила только из-за каприза. Это именно так, и вы прекрасно закончили мою мысль.

– Таким образом, вы решили вернуться...

– Да, я вернулся, – проговорил Ришелье, устраиваясь в лучшем кресле, которое он определил с первого взгляда.

– Наверное, есть еще что-то, о чем вы умалчиваете, – предположила графиня – Каприз..., не свойствен таким людям, как вы – Графиня! Не стоит меня упрекать. Я лучше своей репутации И раз уж я вернулся, как вы сами видите, то это – То это? – подхватила Дю Барри.

–..то это по велению сердца!

Герцог д'Эгийон и графиня расхохотались.

– Какое счастье, что мы не лишены юмора, и можем оценить вашу шутку!

– заметила графиня.

– Что вы хотите этим сказать?

– Могу поклясться, что глупцы вас не поняли бы и в изумлении пытались бы найти другую причину вашего возвращения. Даю вам слово Дю Барри, только вы, герцог, умеете по-настоящему войти и выйти; Моле, сам непревзойденный Моле рядом с вами – не более, чем деревянная кукла!

– Так вы не верите, что я пришел по зову сердца? – вскричал Ришелье.

– Графиня! Графиня! Предупреждаю вас – вы заставляете меня плохо о вас думать. Не смейтесь, дорогой племянник, иначе я буду вас называть каменным сердцем, которое я не возьмусь на что бы то ни было употребить.

– Даже на то, чтобы состряпать из него небольшой кабинет министров? – спросила графиня и снова расхохоталась с откровенностью, которую и не пыталась скрыть.

– Хорошо, бейте, бейте! – надув губы, пробормотал Ришелье. – Я, к сожалению, не могу ответить вам тем же: ведь я слишком стар, мне нечем защищаться, пользуйтесь, пользуйтесь моей слабостью, графиня – теперь это неопасное удовольствие.

– Что вы, графиня! Вам, напротив, следует поостеречься, – предупредил д'Эгийон. – Вели дядюшка еще раз упомянет о своей немощи – мы пропали. Нет, господин герцог, мы не будем на

вас нападать: как бы вы ни были слабы или ни напускали на себя вид немощного старца, вы с лихвой вернете нам все удары. Нет, мы и впрямь рады вашему возвращению.

– Да! – радостно подхватила графиня. – И по случаю этого возвращения мы прикажем устроить фейерверк, а вы знаете, герцог...

– Я ничего не знаю, графиня, – с наивностью младенца пролепетал маршал.

– Во время фейерверков всегда бывает сколько-нибудь опаленных искрами париков, несколько помятых под ударами палок шляп...

Герцог поднес руку к парику и осмотрел свою шляпу.

– Да, да, верно, – поддакнула графиня, – впрочем, вы к нам вернулись

– так-то лучше! А я, как вам сказал д'Эгийон, безумно счастлива. И знаете, почему?

– Графиня! Графиня! Вы опять скажете какую-нибудь гадость.

– Да, но это уж будет последняя.

– Хорошо, говорите!

– Я счастлива, маршал, потому что ваше возвращение предвещает хорошую погоду. Ришелье поклонился.

– Да, – продолжала графиня, – вы – как те поэтические птички, что предсказывают затишье. Как они называются, господин д'Эгийон? Вы ведь пишете стихи и должны это знать.

– Альционы, ваше сиятельство.

– Совершенно верно! Ах, маршал, надеюсь, вы не рассердитесь, что я сравниваю вас с птицей, носящей столь звонкое имя!

– Я не рассержусь, графиня, потому что сравнение точное, – сказал Ришелье с гримасой, означавшей удовлетворение, а удовлетворение Ришелье предвещало всегда какую-нибудь пакость.

– Вот видите!

– Да, я принес хорошие, просто замечательные новости!

– Неужели? – небрежно бросила графиня.

– Какие же? – поинтересовался д'Эгийон.

– Зачем вы так торопитесь, герцог? – перебила его графиня. – Дайте же маршалу время что-нибудь придумать.

– Нет, черт меня побери! Я могу сообщить вам их теперь же. Они готовы и даже несколько устарели.

– Маршал! Если вы принесли старье.

– Ну знаете, графиня, хотите берите, хотите нет.

– Хорошо, возьмем, пожалуй.

– Кажется, король угодил в западню, графиня.

– В западню?

– Именно.

– В какую западню?

– В ту, что вы ему расставили.

– Я расставила западню королю? – переспросила графиня.

– Тысяча чертей! Вы не хуже меня это знаете.

– Нет, даю слово, мне ничего об этом не известно.

– Ах, графиня, как нелюбезно с вашей стороны так меня мистифицировать!

– Правда, маршал, я ничего не понимаю! умоляю вас, объясните, в чем дело!

– Да, дядюшка, объяснитесь, – поддакнул д'Эгийон, угадывавший некий злой умысел под двусмысленной улыбкой маршала, – ее сиятельство с нетерпением ждет ваших объяснений.

Старый герцог повернулся к племяннику.

– Было бы странно, черт побери, если бы ее сиятельство не посвятила вас в свою тайну, дорогой д'Эгийон. В таком случае, это было бы еще тоньше, чем я предполагал.

– Чтобы она меня посвятила?.. – переспросил д'Эгийон.

– Ну конечно! Поговорим начистоту, графиня. Да вы раскрыли хотя бы половину своих секретов, своих происков против его величества.., бедному герцогу, сыгравшему в них столь значительную роль!

Графиня Дю Барри покраснела. Было еще так рано, она не успела ни наругаться, ни налечь на мушки; покраснеть ей было легко.

Однако это было опасно.

– Вы оба удивленно смотрите на меня своими прекрасными глазами, – продолжал Ришелье, – неужели я должен раскрывать вам ваши дела?

– Раскрывайте, раскрывайте! – в один голос воскликнули герцог и графиня.

– Благодаря своей необычайной проницательности король, должно быть, уже все разгадал и ужаснулся.

– Что он мог разгадать? – спросила графиня. – Ну же, маршал, я умираю от нетерпения!

– Ну, например, ваше взаимопонимание с моим присутствующим здесь племянником...

Д'Эгийон побледнел и, казалось, его взгляд говорил графине:

– Как видите, я не зря был уверен, что он задумал какую-то гадость!

Женщины в таких случаях бывают отважнее, гораздо отважнее мужчин. Графиня немедленно бросилась в бой.

– Герцог! – начала она. – Я боюсь загадок, когда вы играете роль сфинкса, потому что тогда мне кажется, что я рано или поздно проиграю: успокойте меня, а если вы пошутили, то позвольте вам заметить, что это была глупая шутка.

– Глупая? Да что вы, графиня, напротив – великолепная! – вскричал Ришелье. – Не моя, а ваша, разумеется.

– Я не понимаю ни слова, маршал, – заметила Дю Барри, кусая губы и постукивая ножкой от нетерпения.

– Ну, ну, оставим в покое самолюбие, графиня, – продолжал Ришелье. – Итак, вы опасались, как бы король не увлекся мадмуазель де Таверне. О, не отрицайте, для меня это совершенно очевидно!

– Это правда, я этого и не скрываю.

– Ну, а испугавшись, вы вознамерились помешать, насколько это будет возможно, игре его величества.

– Я и этого не отрицаю. Что же дальше?

– Мы подходим к главному, графиня. Чтобы уколоть его величество, у которого довольно толстая кожа, нужна была довольно тонкая игла... Ха-ха-ха! Я и не заметил, до чего ужасная вышла игра слов. Понимаете?

И маршал рассмеялся или сделал вид, что смеется во все горло, чтобы в приступе веселости насладиться озабоченным видом своих жертв.

– Какую игру слов вы тут усматриваете, дядюшка? – спросил д'Эгийон, первым придя в себя и изображая наивность.

– Ты не понял? – удивился маршал. – Тем лучше! Шутка вышла отвратительная. Одним словом, я хотел сказать, что ее сиятельство, желая пробудить в короле ревность, выбрала для этого господина приятной наружности, неглупого, в общем – чудо природы.

– Кто это сказал? – вскричала графиня, разозлившись, как любой сильный мира сего, чувствующий свою неправоту.

– Все, графиня.

– Все – значит, никто, вы отлично это знаете, герцог.

– Напротив, ваше сиятельство: все – это тысяча человек в одном только Версале; это шестьсот человек в Париже; это двадцать пять миллионов во Франции! Заметьте, что я не принимаю во внимание Гаагу, Гамбург, Роттердам, Лондон, Берлин, где столько же газет, сколько в Париже мнений.

– И что говорят в Версале, в Париже, во Франции, в Гааге, в Гамбурге, в Роттердаме, в Лондоне, в Берлине?..

– Говорят, что вы – самая умная и очаровательная женщина в Европе; говорят, что благодаря гениальной стратегии, согласно которой вы стараетесь Выглядеть так, будто у вас есть любовник...

– Любовник! Какие же основания для такого нелепого обвинения, скажите на милость?

– Обвинения? Как вы можете так говорить, графиня? Все знают, что на самом деле ничего нет, просто восхищаются стратегией. На чем основано это восхищение, это воодушевление? Оно основано на вашем изумительно тонком поведении, на вашей безупречной тактике; оно держится на том, что вы сделали вид, – и до чего же мастерски! – что остаетесь ночевать одной в ту ночь..., ну, вы знаете, когда я заезжал к вам, у вас еще были король и д'Эгийон, в тот вечер я вышел первым, король – вторым, а д'Эгийон – третьим...

– Ну, ну, договаривайте.

– Вы притворились, что остаетесь вдвоем с д'Эгийоном, словно он был ваш любовник; потом вы проводили его под шумок утром из Люсьенн, опять под видом любовника, и сделали это так, чтобы несколько простаков, таких вот легковверных людей, как я, например, увидели это и растрезвонили на весь мир, так чтобы это дошло до короля, чтобы он испугался и поскорее, из страха вас потерять, бросил малышку Таверне.

Графиня Дю Барри и д'Эгийон не знали, как к этому отнестись. А Ришелье не стал их смущать ни взглядами, ни жестами: напротив, казалось, его табакерка и жабо поглотили все его внимание.

– Потому что, – продолжал маршал, отряхивая жабо, – похоже на то, что король и впрямь бросил эту девочку.

– Герцог! – проговорила в ответ Дю Барри. – Я вам заявляю, что не понимаю решительно ни единого слова из ваших сказок и убеждена только в одном: если рассказать обо всем этом королю, он тоже ничего не поймет.

– Неужели? – воскликнул герцог.

– Да, можете быть уверены. Вы мне приписываете, так же, как все остальные, значительно более богатое воображение, чем оно есть у меня на самом Деле; у меня никогда не было намерения разжигать в его величестве ревность при помощи средств, о которых вы говорите.

– Графиня!

– Клянусь вам!

– Графиня! Хорошая дипломатия, – а женщины всегда были лучшими дипломатами, – никогда не признается в своих замыслах. Ведь в политике есть одна аксиома... Я знаю ее с тех пор, как был посланником... Она гласит:

«Никому не рассказывайте о средстве, благодаря которому вы преуспели однажды: оно может вам пригодиться и в другой раз».

– Герцог...

– Средство оказалось удачным, ну и отлично. А король теперь в очень плохих отношениях со всем семейством Таверне.

– Признаться, герцог, только вы умеете выдавать за действительное то, что существует лишь в вашем воображении.

– Вы не верите, что король рассорился с Таверне? – спросил герцог, стараясь избежать ссоры.

– Я не это хочу сказать.

Ришелье попытался взять графиню за руку.

– Вы настоящая птичка, – сказал он.

– А вы – змей!

– Вот так так! Стоит ли после этого спешить к вам с хорошими известиями?!

– Дядюшка! Вы заблуждаетесь! – с живостью вмешался д'Эгийон, почуяв, куда клонит Ришелье. – Никто не ценит вас так высоко, как ее сиятельство; она говорила мне об этом в ту самую минуту, когда доложили о вашем приходе.

– Должен признаться, что я очень люблю своих друзей, – сообщил маршал, – и потому я пожелал первым принести вам новость о вашей победе, графиня. Знаете ли вы, что Таверне-старший собирался продать свою дочь королю?

– Я полагаю, это уже сделано, – отвечала Дю Барри.

– Ах, графиня, до чего этот человек ловок! Вот уж кто и вправду змей! Вообразите: он усыпил меня своими уверениями в дружбе, сказками о старом братстве по оружию. Ведь меня так

легко поймать на эту удочку! И потом, кто мог подумать, что этот провинциальный Аристид приедет в Париж нарочно для того, чтобы попытаться перебежать дорогу нашему умнейшему Жану Дю Барри? Только моя преданность вашим интересам, графиня, помогла мне прозреть и вновь обрести здравый смысл... Клянусь честью, я был ослеплен!..

– Ну, теперь с этим покончено, судя по вашим словам, по крайней мере, не правда ли? – спросила Дю Барри.

– Разумеется, да! За это я вам отвечаю. Я так грубо отчитал этого ловкача, что он, должно быть, теперь смирился и мы остались хозяевами положения.

– А что король?

– Король?

– Да.

– Я задал его величеству три вопроса.

– Первый?

– Отец.

– Второй?

– Дочь.

– А третий?

– Сын... Его величество изволил назвать отца.., потворствующим, его дочь чопорной, а для сына у его величества вообще не нашлось слов, потому что король о нем даже и не вспомнил.

– Отлично. Вот мы и освободились от всего их рода одним махом.

– Надеюсь!

– Может быть, отправить их назад в их дыру?

– Не стоит, они и так не выкарабкаются.

– Так вы говорите, что этот юноша, которому король обещал полк...

– У вас, графиня, память лучше, чем у короля. Впрочем, месьсир Филипп

– очень приятный мальчик, он на вас бросал такие взгляды, против которых трудно устоять.

Да, черт возьми, он теперь не полковник, не капитан, не брат фаворитки; ему только и остается надеяться, что его заприметите вы.

Старый герцог пытался, словно коготком ревности, царапнуть сердце племянника.

Однако д'Эгийон в ту минуту не думал о ревности.

Он пытался понять ход старого маршала и выяснить истинную причину его возвращения.

По некотором размышлении он пришел к выводу, что маршала прибил к Люсьенн ветер удачи.

Он подал графине знак, перехваченный старым герцогом в зеркале, перед которым он поправлял парик; графиня поспешила пригласить Ришелье на чашку шоколаду.

Д'Эгийон ласково простился с дядюшкой, Ришелье не менее любезно с ним раскланялся.

Маршал и графиня остались вдвоем перед столиком, только что сервированным Замором.

Старый маршал взирал на все эти уловки фаворитки, ворча про себя:

«Двадцать лет назад я взглянул бы на часы со словами: „Через час я должен стать министром“ и стал бы им. До чего же глупо устроена жизнь! – продолжал он говорить сам с собою. – Сначала тело ставим на службу разуму, а потом остается одна голова и становится служанкой тела; нелепость!»

– Дорогой маршал! – проговорила графиня, прерывая внутренний монолог гостя. – Теперь, когда мы снова стали друзьями, и в особенности сейчас, пользуясь тем, что мы одни, скажите, за чем вы изо всех сил толкали эту юную кривляку в постель к королю?

– Ах, графиня, – отвечал Ришелье, едва пригубив шоколад, – я как раз спрашивал себя об этом: понятия не имею!

Глава 24. ВОЗВРАЩЕНИЕ

Герцог де Ришелье знал, чего можно ожидать от Филиппа, и мог бы заранее предсказать его возвращение, потому что, выезжая утром из Версаля в Люсьенн, он повстречал его на главной до-

роге по направлению к Трианону; он проехал мимо него достаточно близко, чтобы успеть разглядеть на его лице все признаки печали и беспокойства.

И действительно, в Реймсе Филипп сначала взлетел по ступенькам служебной лестницы, а потом испытал на себе всю боль равнодушия и забвения; вначале Филипп был даже пресыщен выражением дружбы всех завидовавших его продвижению офицеров и вниманием командиров, но по мере того, как холодное дыхание немилости заставило померкнуть восходящую звезду Филиппа, молодой человек стал с презрением замечать, как от него отворачиваются недавние друзья, как предупредительные командиры начинают на него покрикивать. В его нежной душе боль оборачивалась сожалением.

Филипп с грустью вспоминал то время, когда он был безвестным лейтенантом в Страсбурге и когда ее высочество еще только въезжала во Францию; он вспоминал своих добрых друзей, своих товарищей, среди которых он ничем не выделялся. Но с особенным сожалением он думал теперь о тишине и уюте родного дома, хранителем которого был верный Ла Бри. Как бы невыносима ни была боль, ее легче перенести в тишине и одиночестве, дающим отдохновение ищущим душам; кроме того, заброшенность замка Таверне, свидетельствовавшая не только об упадке духа населявших его людей, но и о скором физическом разрушении, в то же время располагала к размышлениям, близким сердцу юноши.

Еще труднее Филиппу было оттого, что рядом с ним не было его сестры, ее мудрых советов, почти всегда безупречных, потому что они исходили из ее гордого сердечка, а не из жизненного опыта. В том-то и состоит замечательная особенность благородных душ, что они, сами того не желая, способны подняться над повседневностью и зачастую именно благодаря этой способности им удается избежать болезненных столкновений или ловушек, чему, как правило, не могут противостоять ничтожные твари, как бы они ни пытались изворачиваться, хитрить и лавировать, барахтаясь в своей грязи.

Как только Филипп испытал все эти неприятности, его охватило отчаяние. Молодой человек чувствовал себя несчастным в своем одиночестве и не хотел верить, что Андре, двойником которой он себя считал, могла быть счастлива в Версале, когда он так жестоко страдал в Реймсе. Тогда он и написал барону письмо, в котором сообщил о скором возвращении. Письмо это не удивило никого, тем более – барона. Его поражало только то, что Филиппу достало терпения ждать, в то время как самому барону не сиделось на месте и он две недели не давал проходу Ришелье, умоляя его при каждой встрече ускорить события.

Не получив назначения в сроки, которые он сам себе наметил, он взял отпуск у своего начальства, словно не заметив презрительных насмешек, довольно тщательно, впрочем, завуалированных: вежливость считалась в те времена истинно французской добродетелью; кроме того, его благородство не могло не внушать знавшим его людям естественного уважения.

Итак, когда настал день назначенного им самим отъезда, а надобно заметить, что вплоть до этого дня он ожидал своего назначения скорее со страхом, чем с вожделением, – он сел на коня и поскакал в Париж.

Три дня, проведенные им в пути, показались ему вечностью. Чем ближе он подъезжал к Парижу, тем все сильнее пугало его молчание отца и, в особенности, сестры, обещавшей писать ему по меньшей мере два раза в неделю.

В полдень описываемого нами дня Филипп подъезжал к Версалию, когда, как мы уже сказали, герцог де Ришелье выезжал ему навстречу. Филипп провел в пути почти всю ночь, поспав всего несколько часов в Мелене. Кроме того, он был так занят своими мыслями, что не заметил герцога де Ришелье в карете и даже не узнал его герба.

Он отправился прямо к решетке парка, где простился с Андре в день своего отъезда, когда девушка без всякой причины была печальна, несмотря на завидное процветание семьи.

Тогда Филипп был потрясен страданиями Андре и не мог их себе объяснить. Но мало-помалу ему удалось стряхнуть с себя оцепенение и припомнить, что происходило с Андре. И – странное дело! – теперь он, Филипп, возвращаясь в те же места, был охвачен той же беспричинной тревогой, не находя, увы, даже в мыслях успокоения этой невыносимой тоске, походившей на предчувствие грядущей беды.

Когда его конь ступил на посыпанную гравием боковую аллею, зацокав копытами, высекавшими искры, на шум из-за подстриженной живой изгороди, вышел какой-то человек.

Это был Жильбер с кривым садовым ножом в руках.

Садовник узнал бывшего хозяина.

Филипп тоже узнал Жильбера.

Жильбер бродил так вот уже целый месяц: совесть его была беспокойна, и он не находил себе места.

В тот день он, стремясь, как обычно, во что бы то ни стало осуществить задуманное, пытался найти в аллее такое место, откуда были бы видны павильон или окно Андре: он добивался возможности беспрестанно смотреть на этот дом, но так, чтобы никто не заметил его беспокойства, его волнений и вздохов.

Прихватив с собой для вида садовый нож, он бегал по кустам и куртинам, то отрезая усыпанные цветами ветки под тем предлогом, что они мертвы и подлежат удалению, то отсекая здоровую кору молодых тополей, объясняя свой поступок необходимостью срезать смолу; при том он не переставал прислушиваться, озираясь, желать и сожалеть.

Юноша побледнел за последний месяц. Об его истинном возрасте можно было теперь догадаться лишь по странному блеску глаз да по безупречно матовой белизне лица; зато плотно сжатые по причине скрытности губы, косой взгляд и нервное подвижное лицо говорили скорее о более зрелом возрасте.

Как уже было сказано, Жильбер узнал Филиппа, а едва узнав, порывисто шагнул назад в заросли.

Однако Филипп пришпорил коня с криком:

– Жильбер! Эй, Жильбер!

Первой мыслью Жильбера было сбежать. Еще миг – и безотчетный ужас, ничем не объяснимое иступление, то есть то, что древние, стремившиеся всему найти объяснение, приписали бы богу Пану, подхватили бы его и понесли, словно одержимого, через аллеи, рощи, кусты и водоемы.

К счастью, одичавший мальчишка вовремя услышал ласковые слова Филиппа.

– Ты что же, не узнаешь меня, Жильбер? – крикнул Филипп.

Жильбер понял свою неосторожность и внезапно остановился.

Потом он медленно и недоверчиво воротился на дорожку.

– Нет, господин шевалье, – дрожа всем телом, пролепетал он, – я вас не узнал – я вас принял за одного из гвардейцев, а так как я оставил свою работу, то я боялся, что меня узнают и накажут.

Филипп был удовлетворен таким объяснением. Он спешил и, взявшись одной рукой за повод, другую положил Жильберу на плечо, – тот заметно содрогнулся.

– Что с тобой. Жильбер? – спросил он.

– Ничего, сударь, – отвечал юноша. Филипп грустно улыбнулся.

– Ты не любишь нас, Жильбер, – заметил он. Юноша снова вздрогнул.

– Да, я понимаю, – продолжал Филипп, – мой отец обращался с тобой жестоко и несправедливо. А я, Жильбер?

– О, вы... – пробормотал юноша.

– Я всегда тебя любил и поддерживал.

– Это верно.

– Ну, так забудь зло ради добра. Моя сестра тоже всегда хорошо к тебе относилась.

– Ну нет, вот это уж нет! – с живостью возразил мальчишка с таким выражением, которое вряд ли кто-либо мог правильно истолковать, потому что оно заключало в себе обвинение против Андре и самооправдание Жильбера; его слова прозвучали гордо, и в то же время Жильбер испытывал угрызения совести.

– Да, да, – подхватил Филипп, – да, понимаю: сестра несколько высокомерна, но она очень славная.

Немного помолчав, он заговорил снова, потому что этот разговор помогал Филиппу оттянуть встречу, которой он из-за дурных предчувствий очень боялся.

– Ты не знаешь, Жильбер, где сейчас моя милая Андре?

Эти слова болью отозвались в сердце Жильбера. Он проговорил сдавленным голосом:

– Предполагаю, сударь... Впрочем, откуда мне знать?..

– Как всегда, одна, и наверное скучает, бедняжка! – перебил его Филипп.

– Сейчас одна, так мне кажется. Ведь с тех пор, как мадмуазель Николь сбежала...

– Как? Николь сбежала?

– Да, вместе с любовником.

– С любовником?

– Так я полагаю, во всяком случае, – проговорил Жильбер, спохватившись, что сболтнул лишнее, – об этом говорили в лакейской.

– Признаться, я ничего не понимаю, Жильбер, – проговорил Филипп, сильно волнуясь. – Из тебя слова не вытянешь. Будь же полубезнее! Ведь ты не лишен ума, у тебя есть врожденное благородство, так не скрывай свои хорошие качества под напускной дикостью и грубостью – это так не идет тебе, как, впрочем, никому вообще.

– Да я просто не знаю того, о чем вы меня спрашиваете, сударь. Если вы подумаете хорошенько, вы сами увидите, что я и не могу этого знать. Я с утра до вечера работаю в саду, а что происходит во дворце, я не знаю.

– Жильбер! Жильбер! Мне, однако, казалось, что у тебя есть глаза.

– У меня?

– Да, и что тебе не безразличны те, кто носит мое имя. Ведь как бы скучно ни было гостеприимство Таверне, оно было тебе оказано.

– Да, господин Филипп, вы мне далеко не безразличны, – отвечал Жильбер пронзительным и, в то же время, хриплым голосом, задетый за живое снисходительностью Филиппа, – да, вас я люблю и потому скажу вам, что ваша сестра очень больна.

– Очень больна? Моя сестра? – взорвался Филипп. – Моя сестра очень больна! Что же ты сразу не сказал? Он бросился бежать.

– Что с ней? – прокричал он на бегу.

– Откровенно говоря, не знаю, – молвил Жильбер.

– А все-таки?

– Я знаю только, что она нынче трижды падала в обморок прямо на улице, а недавно ее осмотрел доктор ее высочества, и господин барон тоже у нее был...

Филипп не стал слушать дальше – его предчувствие оправдалось; перед лицом опасности он вновь обрел былое мужество.

Он оставил коня на Жильбера и со всех ног бросился к службам.

Жильбер поспешил отвести коня на конюшню и упорхнул подобно дикой птице, которая никогда не дается человеку в руки.

Глава 25. БРАТ И СЕСТРА

Филипп нашел сестру лежавшей на небольшой софе, о которой мы уже имели случай рассказать.

Войдя в переднюю, молодой человек обратил внимание на то, что Андре убрала все цветы, которые она так любила прежде. С тех пор как она почувствовала недомогание, запах цветов причинял ей невыносимые страдания, и она Отнесла на счет этого раздражения мозговых клеток все неприятности, преследовавшие ее вот уже две недели.

В тот момент, как вошел Филипп, Андре находилась в глубокой задумчивости; она тяжело склонила голову, лицо ее было печально, время от времени на глаза набегали слезы. Руки ее безвольно повисли, и хотя кровь, казалось бы, должна была приливать к ним в таком положении, тем не менее ее руки были блее воска.

Она застыла, словно неживая. Чтобы убедиться, что она не умерла, нужно было прислушаться к ее дыханию.

Узнав от Жильбера о болезни сестры, Филипп торопливо зашагал к павильону. Когда он по-

дошел к лестнице, он задыхался. Однако там он передохнул, взял себя в руки и стал подниматься по лестнице гораздо спокойнее, а когда очутился на пороге, он уже бесшумно переставлял ноги, передвигаясь плавно, словно стильф.

Будучи заботливым и любящим братом, он хотел понять сам, что случилось с сестрой, приняв во внимание все симптомы ее болезни; он знал, что у Андре нежная и добрая душа, как только она увидит и услышит брата, она постарается скрыть свое состояние, чтобы не тревожить Филиппа.

Вот почему он вошел так тихо, так неслышно отворив застекленную дверь, что Андре не заметила его: он уже стоял посреди комнаты, а она ни о чем не догадывалась.

Филипп успел ее рассмотреть; он заметил ее бледность, неподвижность, ее безучастность. Его поразило странное выражение ее словно невидящих глаз. Не на шутку переполошившись, он сейчас же решил, что в недомогании сестры не последнюю роль играет ее душевное состояние.

При виде сестры сердце его похолодело, и он не мог сдержать ужаса.

Андре подняла глаза и, пронзительно вскрикнув, выпрямилась, словно восстав от смерти. Задохнувшись от радости, она бросилась брату на шею.

– Ты! Ты, Филипп! – прошептала она. Силы оставили ее прежде, чем она вымолвила еще хоть одно слово.

Да и что она могла еще сказать?

– Да, да, я! – отвечал Филипп, обнимая и поддерживая ее, потому что почувствовал, как она стала оседать у него в руках. – Я вернулся, и что же я вижу? Ты больна! Ах, бедная моя сестричка, что с тобой?

Андре рассмеялась нервным смехом, однако, вопреки ожиданиям больной, ее смех не успокоил Филиппа.

– Ты спрашиваешь, что со мной? Так я, значит, плохо выгляжу?

– Да, Андре, ты очень бледна и вся дрожишь.

– Да с чего ты это взял, брат? Я даже не чувствую недомогания. Кто ввел тебя в заблуждение, Филипп? У кого хватило глупости беспокоить тебя понапрасну? Я правда не знаю, что ты имеешь в виду: я прекрасно себя чувствую, не считая легкого головокружения, но оно скоро пройдет.

– Но ты так бледна, Андре...

– Разве я всегда бываю очень румяной?

– Нет, однако ты выглядишь, по крайней мере, живой, а сегодня...

– Не обращай внимания.

– Смотри! Еще минуту назад твои руки пылали, а сейчас они холодны, как лед.

– Это неудивительно, Филипп: когда я тебя увидела...

– Что же?

–...я так обрадовалась, что кровь прилила к сердцу, только и всего.

– Ты же не стоишь на ногах, Андре, ты держишься за меня.

– Нет, это я тебя обнимаю. Разве тебе это неприятно, Филипп?

– Что ты, дорогая Андре!

И он прижал девушку к груди.

В то же мгновение Андре почувствовала, что силы вновь ее покидают. Она тщетно пыталась удержаться на ногах, обняв брата за шею. Ее холодные безжизненные руки скользнули по его груди, она упала на софу и стала блее муслиновых занавесок, на фоне которых был отчетливо виден ее очаровательный профиль.

– Вот видишь!.. Вот видишь: ты меня обманываешь! – вскричал Филипп. – Ах, сестренка, тебе больно, тебе плохо!

– Флакон! Флакон! – пролепетала Андре, улыбаясь через силу.

Ее угасающий взор и с трудом приподнятая рука указывали Филиппу на флакон, стоявший на небольшом шифоньере у окна.

Не сводя глаз с сестры, Филипп скрепя сердце оставил ее и бросился к флакону.

Распахнув окно, он вернулся к девушке и поднес флакон к ее лицу.

– Ну вот, – проговорила она, глубоко дыша и вместе с воздухом словно втягивая в себя жизнь, – видишь, я ожила! Неужели ты полагаешь, что я в самом деле серьезно больна?

Филипп не ответил: он внимательно разглядывал сестру.

Андре мало-помалу пришла в себя, приподнялась на софе, взяла в свои влажные руки дрожавшую руку Филиппа; взгляд ее смягчился, щеки порозовели, и она показалась ему краше прежнего.

– Ах, Боже мой! Ты же видишь, Филипп, что все позади. Могу поклясться, что если бы не твое внезапное появление, спазмы не возобновились бы и я уже была бы здорова. Ты должен понимать, что появиться вот так передо мной, Филипп, передо мной... Ведь я так тебя люблю!.. Ведь ты – смысл моей жизни, ты мог бы меня убить, даже если бы я была совершенно здорова.

– Все это очень мило и любезно с твоей стороны, Андре, но все-таки объясни мне, чему ты приписываешь это недомогание?

– Откуда же мне знать, дорогой? Может быть, это весенняя слабость, или мне плохо из-за цветочной пыльцы; ты же знаешь, как я чувствительна; еще вчера я едва не задохнулась от запаха персидской сирени, поднимавшегося с клумбы; ты и сам знаешь, что ее восхитительные султанчики покачиваются при малейшем весеннем ветерке и источают дурманящий аромат. И вот вчера... О Господи! Знаешь, Филипп, я даже вспоминать об этом не хочу, потому что боюсь, что мне снова станет дурно.

– Да, ты права, возможно, дело именно в этом: цветы – вещь опасная. Помнишь, как еще мальчишкой я придумал в Таверне окружить свою постель бордюром из срезанной сирени? Это было очень красиво – так нам с тобой казалось. А на следующий день я, как ты знаешь, не проснулся, и все, кроме тебя, решили, что я мертв, а ты и мысли никогда не могла допустить, что я могу бросить тебя, не попрощавшись. Только ты, милая моя Андре, – тебе тогда было лет шесть, не больше – ты одна меня спасла, разбудив поцелуями и слезами.

– И свежим воздухом, Филипп, потому что в таких случаях нужен свежий воздух. Мне кажется, что именно его мне все время не хватает.

– Сестричка! Если бы ты не помнила об этом случае, ты приказала бы принести в свою комнату цветы.

– Что ты, Филипп! Уже больше двух недель здесь не было жалкой маргаритки! Странная вещь! Я так любила раньше цветы, а теперь просто возненавидела их. Давай оставим цветы в покое! Итак, у меня мигрень. У мадмуазель де Таверне – мигрень, дорогой Филипп! Везет же этой Таверне!.. Ведь из-за мигрени она упала в обморок и этим вызвала толки и при дворе, и в городе.

– Почему?

– Ну как же: ее высочество была так добра, что навестила меня... Ах, Филипп, что это за очаровательная покровительница, какая это нежная подруга! Она за мной ухаживала, приласкала меня, привела ко мне своего лучшего доктора, а когда этот славный господин, который выносит всегда безошибочный приговор, пощупал мне пульс и посмотрел зрачки и язык, то знаешь, как он меня обрадовал?

– Нет.

– Оказалось, что я совершенно здорова! Доктору Луи даже не пришлось мне прописывать никакой микстуры, ни единой пилюли, а ведь он не знает жалости, судя по тому, что о нем рассказывают. Как видишь, Филипп, я прекрасно себя чувствую. А теперь скажи мне: кто тебя напугал?

– Да этот дурачок Жильбер, черт бы его взял!

– Жильбер? – нетерпеливо переспросила Андре.

– Да, он мне сказал, что тебе было очень плохо.

– И ты поверил этому глупцу, этому бездельнику, который только и годен на то, чтобы делать или говорить гадости?

– Андре, Андре!

– Что?

– Ты опять побледнела.

– Да просто мне надоел Жильбер. Мало того, что он все время путается у меня под ногами, так я еще вынуждена слышать о нем, даже когда его не видно.

– Ну, ну, успокойся! Как бы ты снова не лишилась чувств!

– Да, да, о Господи!.. Да ведь...

Губы у Андре побелели, она примолкла.

– Странно! – пробормотал Филипп. Андре сделала над собой усилие.

– Ничего, – проговорила она, – не обращай внимания на все эти недомогания, это все пустое... Вот я снова на ногах, Филипп. Если ты мне веришь, мы сейчас вместе прогуляемся, и через десять минут я буду здорова.

– Мне кажется, ты переоцениваешь свои силы, Андре.

– Нет, вернулся Филипп и возвратил мне силы. Так ты хочешь, чтобы мы вышли, Филипп?

– Не торопись, милая Андре, – ласково остановил сестру Филипп. – Я еще не окончательно уверился в том, что ты здорова. Давай подождем.

– Хорошо.

Андре опустилась на софу, потянув за руку Филиппа и усаживая его рядом.

– А почему, – продолжала она, – ты так неожиданно явился, не предупредив о своем приезде?

– А почему ты сама, дорогая Андре, перестала мне писать?

– Да, правда, но я не писала тебе всего несколько дней.

– Почти две недели, Андре, Андре опустила голову.

– Какая небрежность! – снежным упреком заметил Филипп.

– Да нет, просто я была нездорова, Филипп. А знаешь, ты прав, мое недомогание началось в тот самый день, как ты перестал получать от меня письма; с того дня самые дорогие для меня вещи стали утомительны, вызывали у меня отвращение.

– И все-таки я очень доволен, несмотря ни на что, одним твоим словом, которое ты недавно бросила.

– Что же я сказала?

– Ты сказала, что счастлива. Тебя здесь любят, о тебе заботятся, ну, а обо мне этого не скажешь.

– Неужели?

– Да, ведь я был там забыт всеми, даже сестрой.

– Филипп!..

– Поверишь ли, дорогая Андре, что со времени моего отъезда, с которым меня так торопили, я так и не получил никаких известий о пресловутом полке, командовать которым я отправился и который мне обещал король через герцога де Ришелье и моего отца!

– Это неудивительно, – заметила, Андре.

– То есть как неудивительно?

– Если бы ты знал, Филипп... Герцог де Ришелье и отец ходят как в воду опущенные: они похожи на двух мертвецов. Жизнь этих людей – для меня тайна. Все утро отец бегал за своим старым другом, как он его называет; он уговорил его отправиться в Версаль, к королю; потом отец пришел ко мне и здесь его дождался, засыпая меня непонятными вопросами. Так прошел день: никаких новостей! Тогда господин де Таверне просто рассвирепел. Герцог его обманывает, – говорит он, – герцог предает его. Кого герцог предает? Я тебя спрашиваю, потому что сама я ничего не знаю и, признаться, знать не хочу. Господин де Таверне живет, таким образом, как грешник в чистилище, каждую минуту ожидая чего-то, чего не несут, или ждет кого-то, кто не приходит и не приходит.

– А король, Андре? Что король? – Король?

– Да, ведь он так хорошо к нам относится! Андре стала пугливо озираться.

– Что такое?

– Послушай!

Король, – будем говорить тихо, – мне кажется, король очень капризен, Филипп. Как ты знаешь, его величество поначалу очень мною был заинтересован, как, впрочем, и тобой, и отцом, в общем – всем семейством. Но вдруг он охладел, да так, что я не могу понять, ни почему, ни как это произошло. И вот его величество больше не смотрит в мою сторону, даже поворачивается ко

мне спиной, а вчера, когда я упала без чувств в цветнике...

– Вот видишь; Жильбер мне не солгал. Так ты упала без чувств, Андре?

– А этому ничтожному Жильберу надо было тебе об этом говорить!.. Пусть всему свету расскажет!.. Что ему за дело, упала я в обморок или нет? Я отлично понимаю, дорогой Филипп, – со смехом прибавила Андре, – что неприлично падать без чувств в королевском доме, но ведь не ради собственного удовольствия я это сделала, и не нарочно!

– Да кто тебя может осудить за это, дорогая сестра?

– Король!

– Король?

– Да. Его величество выходил из Большого Трианона через сад как раз в ту роковую минуту. Я глупейшим образом растянулась на скамейке, на руках милого де Жюсье, который из всех сил старался мне помочь, как вдруг меня заметил король. Знаешь, Филипп, нельзя сказать, что во время обморока человек совсем ничего не чувствует и не понимает, что происходит вокруг. Когда король меня заметил, то какой бы бесчувственной я ни выглядела, мне показалось, будто я заметила нахмуренные брови, гневный взгляд, я услышала несколько неприятных слов, которые король процедил сквозь зубы. Потом его величество поспешил прочь, придя в негодование, как я полагаю, от того, что я позволила себе лишиться чувств в его саду. По правде говоря, дорогой Филипп, в этом совсем нет моей вины.

– Бедняжка! – прошептал Филипп, с чувством сжав руки девушки. – Я тоже полагаю, что ты не виновата. Что же было дальше?

– Все, дорогой мой. И Жильберу следовало бы избавить меня от своих комментариев.

– Опять ты набросилась на несчастного мальчишку!

– Ну да, защищай его! Прекрасная тема для разговора.

– Андре, смилуйся, не будь так сурова к этому юнцу! Ведь ты его оскорбляешь, третируешь, я сам был тому свидетелем!.. О Боже, Боже! Андре, что с тобой опять?

На сей раз Андре упала навзничь на диванные подушки, не проронив ни слова, и флакон не мог привести ее в чувство. Пришлось ждать, пока вспышка пройдет и кровь снова начнет нормально циркулировать.

– Решительно, ты страдаешь, сестра, – пробормотал Филипп, – да так, что способна напугать людей более отважных, чем я, когда речь заходит о твоих страданиях.

Можешь говорить все, что тебе заблагорассудится, но мне кажется, что к твоему недомоганию не следует относиться со свойственным тебе легкомыслием.

– Филипп! Ведь доктор сказал же...

– Доктор меня не убедил и никогда не убедит. И почему я до сих пор сам с ним не поговорил? Где его можно увидеть?

– Он ежедневно бывает в Трианоне.

– Да, но в котором часу? Верно, утром?

– Утром и вечером, смотря по тому, когда бывает его дежурство.

– А сейчас он дежурит?

– Да, дорогой. Ровно в семь часов вечера, а он любит точность, он поднимается на крыльцо, ведущее в покои ее высочества.

– Ну вот и хорошо, – успокаиваясь, проговорил Филипп, – я подожду в твоей комнате.

Глава 26. НЕДОРАЗУМЕНИЕ

Продолжая непринужденный разговор, Филипп краем глаза следил за сестрой, она же из всех сил старалась взять себя в руки, чтобы не тревожить его новыми обмороками.

Филипп много рассказывал о своих обманутых надеждах, о забывчивости короля, о непостоянстве герцога де Ришелье, но как только часы пробили семь, он поспешно вышел, нимало не заботясь о том, что Андре могла догадаться о его намерениях.

Он решительно направился к покоям королевы и остановился на таком расстоянии, чтобы его не окликнула охрана, однако довольно близко для того, чтобы никто не мог пройти не заме-

ченным Филиппом.

Не прошло и пяти минут, как Филипп увидел описанного сестрой старого доктора Луи, важно шагнувшего по садовой дорожке.

День клонился к вечеру, но несмотря на то, что ему, по всей видимости, трудно было читать, почтенный доктор перелистывал на ходу недавно опубликованный в Кельне труд о причинах и последствиях паралича желудка. Мало-помалу темнота вокруг него становилась все более непроходимой, и доктор уже не столько читал, сколько угадывал, как вдруг чья-то тень возникла перед ним и ученый муэй вовсе перестал различать буквы.

Он поднял голову, увидел перед собой незнакомого господина и спросил:

– Что вам угодно?

– Прошу прощения, сударь, – отвечал Филипп. – Я имею честь разговаривать с доктором Луи?

– Да, сударь, – проговорил доктор, захлопнув книгу.

– В таком случае, сударь, прошу вас на два слова, – молвил Филипп.

– Сударь! Прошу меня извинить, но мой долг призывает меня к ее высочеству. В этот час я обязан к ней явиться, и я не могу заставлять себя ждать.

– Сударь... – Филипп сделал умоляющий жест, пытаясь остановить доктора. – Лицо, которому я прошу вас оказать помощь, состоит на службе у ее высочества. Эта девушка очень плоха, тогда как ее высочество совершенно здорова.

– Скажите мне прежде всего, о ком вы говорите.

– Об одном лице, которому вы были представлены самой принцессой.

– Ага! Уж не о мадмуазель де Таверне идет речь?

– Совершенно верно, сударь.

– Ага! – обронил доктор, с живостью подняв голову, чтобы получше разглядеть молодого человека.

– Вы должны знать, что ей очень плохо.

– Да, у нее спазмы.

– Да, сударь, постоянные обмороки. Сегодня на протяжении нескольких часов она трижды падала без чувств мне на руки.

– Молодой особе стало хуже?

– Не знаю. Но вам должно быть понятно, доктор, что когда любишь человека...

– Вы любите мадмуазель де Таверне?

– Больше жизни, доктор!

Филипп произнес эти слова с такой восторженностью, что доктор Луи неверно понял их значение.

– Ага! – молвил он. – Так это, значит, вы?... Доктор умолк в нерешительности.

– Что вы хотите этим сказать, сударь? – спросил Филипп.

– Значит, это вы...

– Что – я, сударь?

– Любовник, черт побери! – теряя терпение, воскликнул доктор.

Филипп отпрянул, приложив руку ко лбу и смертельно побледнев.

– Берегитесь, сударь! – воскликнул он. – Вы оскорбляете мою сестру!

– Вашу сестру? Так мадмуазель Андре де Таверне – ваша сестра?

– Да, сударь, и мне кажется, что я не сказал ничего такого, что могло бы вызвать недоразумение.

– Прошу прощения, сударь, однако вечерний час, таинственность, с которой вы ко мне обратились... Я подумал..., я предположил, что интерес, более нежный, чем просто братский...

– Сударь! Ни любовник, ни муж не смогут любить мою сестру сильнее, чем я.

– Ну и отлично! В таком случае, я понимаю, почему мое предположение вас задело, и приношу вам свои извинения.

Доктор двинулся дальше.

– Доктор! – продолжал настаивать Филипп. – Умоляю вас не покидать меня, не успокоив от-

носителем состояния моей сестры!

– Кто же вам сказал, что она больна?

– Боже мой! Да я сам видел!..

– Вы явились свидетелем симптомов, свидетельствующих о недомогании...

– Серьезном недомогании, доктор!

– Ну, это как на чей взгляд...

– Послушайте, доктор, во всем этом есть нечто странное. Можно подумать, что вы не желаете или не осмеливаетесь дать мне ответ.

– Вы можете предположить, как я тороплюсь к ожидающей меня принцессе...

– Доктор, доктор! – проговорил Филипп, вытирая рукой пот со лба. – Вы приняли меня за любовника мадмуазель де Таверне?

– Да, но вы меня в этом разубедили.

– Вы, значит, полагаете, что у мадмуазель де Таверне есть любовник?

– Простите, но я не обязан давать вам отчет о своих соображениях.

– Доктор, сжальтесь надо мной! Доктор, у вас случайно вырвалось слово, оставшееся у меня в сердце, словно лезвие от кинжала без рукоятки! Доктор, не пытайтесь сбить меня с толку, не надо меня щадить. Что это за болезнь, о которой вы готовы поведать любовнику, но хотите скрыть от брата? Доктор! Умоляю вас! Ответьте мне!

– А я прошу вас освободить меня от необходимости вам отвечать: судя по тому, как вы меня расспрашиваете, я вижу, что вы собой не владеете.

– О Господи! Неужели вы не понимаете, что вы каждым своим словом толкаете меня в пропасть, в которую я не могу без содрогания заглянуть?

– Сударь!

– Доктор! – порывисто воскликнул Филипп.

– Можно подумать, что вы должны открыть мне столь страшную тайну, что мне, прежде чем ее выслушать, понадобится призвать на помощь все свое хладнокровие и мужество!

– Да я не знаю, в какого рода предположениях вы теряетесь, господин де Таверне; я ничего такого вам не говорил – Однако вы поступаете в сто раз хуже, ничего мне не говоря... Вы заставляете меня предполагать такие вещи.

– Это жестоко, доктор! Ведь вы видите, как на ваших глазах я терзаю свое сердце, вы слышите, как я прошу, как я вас умоляю... Говорите же, говорите! Клянусь вам, что я выслушаю спокойно... Эта болезнь это бесчестье, возможно... О Боже! Вы не останавливаете меня, доктор? Доктор!

– Господин де Таверне! Я ничего такого не говорил ни ее высочеству, ни вашему отцу, ни вам. Не требуйте от меня большего – Да, да.. Но вы же видите, как я истолковываю ваше молчание; вы видите, что я, следуя за вашей мыслью оказался на опасном пути; остановите же меня, по крайней мере, если я заблудился.

– Прощайте, сударь, – проникновенным голосом молвил доктор.

– Вы не можете оставить меня вот так, не сказав ни «да», ни «нет». Одно слово, единственное – вот все, о чем я вас прошу!

Доктор остановился.

– Сударь! – проговорил он. – В свое время это привело к роковому недоразумению, которое вас так задело...

– Не будем больше об этом говорить.

– Нет, напротив. В свое время, несколько позднее, может быть, чем нужно, вы мне сказали, что мадмуазель де Таверне – ваша сестра.

А немного раньше вы с восторженностью, послужившей причиной моей ошибки, сказали, что любите мадмуазель Андре больше жизни – Это правда.

– Если ваша любовь к ней так сильна, она должна отвечать вам тем же, не так ли?

– Андре любит меня больше всех на свете.

– Тогда возвращайтесь к ней и расспросите ее. Расспросите ее, следуя тем путем, на котором я вынужден вас покинуть. И ежели она любит вас так же сильно, как вы – ее, она ответит на ваши вопросы. Есть такие вещи, о которых можно поговорить с другом, но о которых не рассказывают

доктору. Возможно вам она согласится сказать, что я ни за что не могу открыть. Прощайте, сударь!

Доктор сделал еще один шаг по направлению к павильону ее высочества.

– Нет, нет, это невозможно! – вскричал Филипп, обезумев от душевной боли и всхлипывая после каждого слова. – Нет, доктор, я не так понял, нет, вы не могли мне это сказать!

Доктор осторожно высвободился и проговорил с состраданием:

– Делайте то, что я вам порекомендовал, господин де Таверне, и поверьте, что это лучшее, что вы можете сделать – Да подумайте! Поверить вам – это значило бы отказаться от того, чем я жил все эти годы, это значило бы обвинять ангела, искушать Господа! Доктор! Если вы требуете, чтобы я вам поверил, то представьте, по крайней мере, доказательства!

– Прощайте, сударь.

– Доктор! – в отчаянии воскликнул Филипп.

– Будьте осторожны! Если вы будете и впредь разговаривать со мной с такой горячностью, я буду вынужден рассказать о том, о чем поклялся молчать и хотел бы скрыть даже от вас.

– Да, да, вы правы, доктор, – проговорил Филипп так тихо, словно был при последнем издыхании. – Но ведь наука может ошибаться. Признайтесь, что и вам случалось порой ошибаться – Очень редко, сударь, – отвечал доктор, – я – человек строгих правил, и мои уста говорят «да» только после того, как мои глаза и мой разум скажут: «Я видел – я знаю – я уверен» Да, вы разумеется, правы, иногда я мог ошибиться, как любой грешный человек, но уж на сей раз, по всей видимости, не ошибаюсь. Итак, желаю вам спокойствия, и давайте простимся.

Однако Филипп не мог так просто уступить. Он положил руку доктору на плечо с таким умоляющим видом, что тот был вынужден остановиться – О последней высшей милости прошу вас, сударь, – молвил он. – Вы видите, как разбегаются у меня мысли. Мне кажется, я теряю рассудок. Чтобы окончательно решить, должен ли я жить или умереть, мне необходимо услышать подтверждение о возникшей угрозе. Я сейчас вернусь к сестре и буду говорить с ней только после того, как вы еще раз ее осмотрите. Подумайте хорошенько!

– Это вам надо думать, потому что мне нечего добавить к уже сказанному – Обещайте мне – Бог мой! Это милость, в которой даже палач не мог бы отказать своей жертве – обещайте мне, что зайдете к моей сестре после визита к ее высочеству Доктор! Небом заклинаю вас: обещайте!

– Это не исправит положения. Однако раз вы настаиваете, мой долг – поступить так, как вы того желаете. Когда я выйду от ее высочества, я зайду к вашей сестре – Благодарю, благодарю вас! Да, зайдите, и тогда вы убедитесь в своей ошибке.

– Я от всей души этого желаю, и если я ошибся, я с радостью в этом признаюсь. Прощайте!

Получив свободу, доктор ушел, оставив Филиппа одного. Филипп дрожал как в лихорадке, обливался холодным потом. Словно в бреду, он не понимал, где он находится, с кем он только что говорил, того, что ему только что было открыто.

Он несколько минут невидящим взором смотрел на небо, в котором начали появляться звезды, и на павильон, в котором зажигались огни.

Глава 27. ДОПРОС

Едва придя в себя, Филипп направился в апартаменты Андре. Однако по мере того, как он подходил к павильону, ощущение несчастья стало постепенно проходить; ему казалось, что это был всего-навсего страшный сон, а не действительность, которой он пытался противостоять. Чем дальше он уходил от доктора, тем все более нелепыми стали казаться его намеки. Ему было очевидно, что наука ошиблась, а добродетель не сдалась. И разве сам доктор не подтвердил правоту «Филиппа тем, что согласился еще раз навестить его сестру»?

Однако, когда Филипп оказался лицом к лицу с Андре, он так изменился, побледнел и осунулся, что теперь пришел ее черед испытать беспокойство при виде брата. Она спрашивала себя, как Филипп мог так сильно перемениться в столь короткий срок.

– Господи! Дорогой брат! Неужели я серьезно больна? – обратилась она к нему.

– Почему ты об этом спрашиваешь? – молвил он.

– Потому что ты так напуган.

– Нет, сестра, – отвечал Филипп, – у доктора твое состояние не вызывает беспокойства, он сказал тебе правду. Мне стоило большого труда уговорить его прийти еще раз – Так он придет? – спросила Андре.

– Да, придет. Надеюсь, тебе это не доставит неудовольствия, Андре?

При этих словах Филипп, не сводя глаз, следил за Андре – Нет, – спокойно отвечала она, – лишь бы этот визит хоть немного тебя утешил, вот все, чего я прошу у Бога. Ну, а теперь скажи мне, откуда эта бледность? Ты так меня напугал!

– Тебя это правда беспокоит, Андре?

– И ты еще спрашиваешь!

– Так ты меня любишь, Андре?

– Почему ты о этом спрашиваешь? – удивилась девушка.

– Я хотел узнать, Андре, любишь ли ты меня так же нежно, как во времена нашей юности.

– Ах, Филипп, Филипп!

– Итак я для тебя по-прежнему один из самых близких людей на всей земле?

– Самый близкий! Единственный! – вскричала Андре и, покраснев от смущения, прибавила:

– Прости, Филипп, я чуть было не забыла...

– Нашего отца, Андре?

– Да Филипп взял сестру за руку и, с нежностью глядя на нее, проговорил:

– Андре! Не думай, что я когда-нибудь осудил бы тебя, если бы в твоём сердце родилось чувство, не похожее ни на то, которое ты испытываешь к отцу, ни на любовь ко мне...

Сев с ней рядом, он продолжал:

– Ты вступила в тот возраст, Андре, когда девичье сердце говорит громче, чем хотелось бы его хозяйке. Как ты знаешь, заповедь Божья приказывает женщине покинуть родителей и семью и последовать за супругом.

Андре некоторое время смотрела на Филиппа так, будто он говорил на не понятном ей языке, а потом рассмеялась с непередаваемым простодушием.

– Мой супруг? – переспросила она. – Ты что-то говорил о моем супруге, Филипп? Господи, да он еще не родился; во всяком случае, я его не знаю.

Тронутый искренностью Андре, Филипп подошел к ней и, взяв ее руку в свои ладони, проговорил в ответ:

– Прежде чем обзаводиться супругом, милая Андре, женщина может иметь жениха, любовника...

Андре с удивлением взглянула на Филиппа, испытывая неловкость под его настойчивым взглядом, пронизывавшим ее насквозь и освещавшим всю ее душу.

– Сестра! – продолжал Филипп. – Со дня своего рождения я был тебе лучшим другом, и ты была моей единственной подругой. Я никогда не оставлял тебя одну, как ты знаешь, ради того, чтобы поиграть с товарищами. Мы вместе росли, и ничто никогда не поколебало нашего беззаветного взаимного доверия. Почему же ты, Андре, с некоторых пор без всякой причины переменилась ко мне?

– Я? Переменилась? Я переменилась к тебе, Филипп? Объяснись, пожалуйста. Должна признаться, я ничего не понимаю с тех пор, как ты вернулся.

– Да, Андре, – проговорил молодой человек, прижимая ее к своей груди,

– да, милая сестричка, на смену детской привязанности приходит юношеская страсть, и ты решила, что я больше не гоюсь для того, чтобы поверять мне свои сердечные тайны.

– Брат мой! Друг мой! – все более и более удивляясь, отвечала Андре.

– Что все это значит? О каких сердечных тайнах ты говоришь?

– Андре! Я смело завожу разговор, который может оказаться для тебя опасным, а для меня самого – очень неприятным. Я отлично знаю, что просить или, вернее, требовать твоего доверия в такую минуту – значит пасть в твоих глазах. Однако я предпочитаю, – и прошу тебя верить, что мне очень тяжело об этом говорить, – я предпочитаю увериться, что ты любишь меня меньше, чем оставить тебя во власти грозящих тебе бед, страшных несчастий, Андре, если ты будешь по-

прежнему упорствовать в своем молчании, которое я оплакиваю и на которое я не считал тебя способной, если ты имеешь дело с братом и другом.

– Брат мой! Друг мой! – отвечала Андре. – Клянусь тебе, я ничего не понимаю в твоих упреках!

– Андре! Неужто ты хочешь, чтобы я тебе объяснял?..

– Да! Разумеется, да!

– Не жалуйся, если, ободренный тобой, я буду говорить слишком прямо, если заставлю тебя покраснеть, смутиться. Ведь ты сама вызвала во мне несправедливое недоверие, с каким я копаюсь теперь в недрах твоей души, чтобы вырвать у тебя признание.

– Говори, Филипп. Клянусь, что не рассержусь на тебя.

Филипп взглянул на сестру, встал и в сильном волнении зашагал из угла в угол. Между обвинением, которое Филипп составил в голове, и спокойствием юной девушки, было столь очевидное противоречие, что он не знал, что думать.

Андре в изумлении смотрела на брата и чувствовала, как постепенно холодеет ее сердце от этой торжественности, столь не похожей на его привычное нежное братское покровительство.

Прежде чем Филипп снова заговорил, Андре поднялась и взяла брата под руку.

Взглянув на него с невыразимой нежностью, она сказала:

– Филипп! Посмотри мне в глаза!

– С удовольствием! – отвечал молодой человек, обратив к ней горящий взор. – Что ты хочешь мне сказать?

– Я хочу сказать, Филипп, что ты всегда с некоторой ревностью относился к моей дружбе; это вполне естественно, потому что и я дорожила твоими заботами, твоей любовью. Ну так посмотри на меня, как я тебя просила.

Девушка улыбнулась.

– Видишь ли ты в моих глазах какую-нибудь тайну? – продолжала она.

– Да, да, одну тайну я там вижу, – сказал Филипп. – Андре! Ты влюблена.

– Я? – вскричала девушка с таким естественным изумлением, какое не могла бы изобразить опытная актриса.

Она засмеялась.

– Я влюблена? – повторила она.

– Значит, ты любима?

– Ну, тем хуже для него, потому что раз этот человек ни разу не объявился и, следовательно, не объяснился, значит, это любовь неразделенная.

Видя, что сестра смеется и шутит так непринужденно, видя безмятежную лазурь ее глаз и ее душевную чистоту, а также чувствуя, как ровно бьется сердце Андре, Филипп подумал, что за месяц их разлуки не мог так неузнаваемо измениться характер девицы безупречного поведения; что бедняжка Андре не заслужила подозрений; что наука лжет. Он признал, что доктора Луи можно извинить, ведь он не знал того, как чиста Андре, как она порядочна. Доктор, верно, решил, что она – такая же, как все знатные девицы, соблазненные дурным примером или увлеченные преждевременной страстью, без сожаления расстававшиеся со своей невинностью и забывавшие даже о честности.

Еще раз бросив взгляд на Андре, Филипп уверился в ошибке доктора. Филипп так обрадовался найденному объяснению, что расцеловал свою сестру, словно мученик, уверовавший в чистоту Святой Девы Марии и тем подкрепив свою веру в Ее Божественного Сына.

В ту самую минуту, как Филипп почувствовал, что в его душе зашевелились сомнения, он услышал на лестнице шаги доктора Луи, верного данному обещанию.

Андре вздрогнула: в ее положении любой пустяк мог ее взволновать.

– Кто там? – спросила она.

– Вероятно, доктор Луи, – отвечал Филипп.

Дверь распахнулась, и доктор, которого с таким беспокойством ожидал Филипп, вошел в комнату.

Как мы уже говорили, это был один из почтенных и честных ученых, для которых любая

наука священна, и они с благоговением изучают все ее тайны.

Доктор Луи был законченным материалистом, а по тем временам это было большой редкостью. Он стремился под заболеванием тела разглядеть душевный недуг; он брался за дело рьяно, нимало не беспокоясь о слухах и не боясь препятствий; он ценил свое время – единственное достояние людей труда – и потому бывал резок в разговоре с бездельниками и болтунами.

Вот почему он так грубо обошелся с Филиппом во время их первой встречи: он принял его за одного из придворных щеголей, которые льстят доктору, чтобы в ответ услышать от него комплименты по поводу их любовных подвигов, и готовы с радостью платить за его молчание. Однако, едва дело обернулось иначе, и вместо более или менее влюбленного фата доктор увидел перед собой мрачное и грозное чело брата, едва на месте обычной неприятности стало вырисовываться настоящее горе, практикующий философ, сердечный человек взволновался и, услышав последние слова Филиппа, доктор подумал:

«Я не только мог ошибиться, но и хотел бы, чтобы это было так».

Вот почему он пришел бы навестить Андре даже без настойчивых уговоров Филиппа: он хотел провести более тщательное обследование, чтобы получить подтверждение результатов первоначального осмотра.

Едва войдя в апартаменты Андре, он из передней устремил на Андре проницательный изучающий взгляд и потом все время не сводил с нее глаз.

Визит доктора, хотя в нем и не было ничего сверхъестественного, взволновал Андре, и у нее начался один из тех приступов, которые так испугали Филиппа; она покачнулась и с трудом поднесла к губам платок.

Филипп приветствовал доктора и ничего не заметил.

– Доктор! – говорил он. – Входите, прошу вас, и простите мне, пожалуйста, мой резкий тон. Когда я час назад подошел к вам, я был возбужден, зато теперь спокоен.

Доктор перевел взгляд с Андре на молодого человека, внимательно изучая его улыбку и счастливое выражение лица.

– Вы побеседовали с вашей сестрой, как я вам советовал? – спросил он.

– Да, доктор.

– И вы успокоились?

– У меня с души свалился камень.

Доктор взял руку Андре и долго щупал пульс.

Филипп смотрел на сестру, и взгляд его словно говорил:

«Можете делать все, что вам заблагорассудится, доктор; никакие ваши заключения мне теперь не страшны».

– Ну что, доктор? – с торжествующим видом спросил он.

– Господин шевалье! Соболаговолите оставить меня с вашей сестрой наедине, – проговорил доктор Луи.

Эти простые слова задели молодого человека за живое.

– Как? Опять? – воскликнул он. Доктор кивнул.

– Ну хорошо, я вас оставляю, – мрачно проговорил Филипп и, обращаясь к сестре, прибавил:

– Андре! Можешь доверять доктору, будь с ним откровенна!

Девушка пожала плечами, словно не понимая, о чем он говорит.

Филипп продолжал:

– Пока он будет расспрашивать тебя о твоём самочувствии, я пойду пройду по парку. Я приказал оседлать мне коня на более позднее время и еще успею зайти к тебе перед отъездом и поговорить.

Он пожал руку Андре и попытался улыбнуться.

Однако девушка почувствовала, что улыбка у брата получилась натянутой, а пожатие – слишком порывистое.

Доктор с важным видом проводил Филиппа до входной двери и прикрыл ее.

Затем он сел на софу рядом с Андре.

Глава 28. КОНСУЛЬТАЦИЯ

С улицы не доносилось ни звука.

Воздух был неподвижен; не было слышно человеческих голосов; природа безмолвствовала.

Дневная служба в Трианоне была окончена; конюхи и каретники разошлись по своим комнатам; малый двор обезлюдел.

Андре в глубине души была взволнована тем, что Филипп и доктор придавали ее болезни не понятное для нее самой значение.

Она была несколько удивлена тем обстоятельством, что доктор Луи пришел опять, хотя еще утром объявил болезнь пустячной, а лекарства – ненужными. Однако благодаря ее простодушию в ее сердце не закралось подозрение.

Вдруг доктор, не сводивший с нее глаз, направил на нее свет лампы и взял ее руку не как доктор, щупающий пульс, а как друг или исповедник.

Его жест поразил впечатлительную Андре. Она уже готова была вырвать свою руку.

– Мадмуазель! Вы сами захотели меня видеть или я, придя сюда, уступил желанию вашего брата? – спросил доктор.

– Сударь! Когда брат вернулся, он сообщил мне, что вы придете еще раз: ведь принимая во внимание то, что я имела честь услышать от вас нынче утром о незначительности моего недомогания, я сама не осмелилась бы беспокоить вас вновь, – отвечала Андре.

Доктор поклонился.

– Ваш брат, – продолжал он, – показался мне человеком, который очень дорожит своей честью и весьма ревностно к ней относится; есть вещи, о которых с ним просто невозможно говорить. Вот, очевидно, почему вы не пожелали ему открыться?

Андре с тем же непонимающим видом взглянула на доктора, как перед тем – на Филиппа.

– И вы, сударь? – высокомерно молвила она.

– Прошу прощения, мадмуазель, позвольте мне договорить.

Андре жестом показала, что готова терпеливо, вернее смиренно, слушать.

– Вполне естественно, – продолжал доктор, – что, видя страдание и предчувствуя гнев этого молодого человека, вы упорно храните молчание. Однако со мной, мадмуазель, вам не следует хитрить: я, можете мне поверить, являюсь более врачом душ, нежели лекарем физических недугов; я все вижу и все знаю; я снимаю с вас половину тяжкого груза на пути признаний, – я вправе ожидать, что со мной вы будете откровеннее.

– Сударь! – отвечала Андре. – Если бы я не видела, как омрачилось лицо моего брата и как он страдает, если бы я не доверяла вашей благородной внешности и репутации серьезного человека, которой вы пользуетесь, я бы подумала, что вы сговорились сыграть со мной шутку и теперь пугаете меня расспросами, чтобы потом заставить выпить горькое лекарство. Доктор нахмурился.

– Мадмуазель! – проговорил он. – Умоляю вас прекратить запирательства.

– Запирательства? – вскричала Андре.

– Может быть, вы предпочитаете, чтобы я назвал это лицемерием?

– Сударь, да ведь вы меня оскорбляете! – воскликнула девушка.

– Скажите лучше, что я вас разгадал.

– Сударь!

Андре встала, однако доктор мягко, но настойчиво попросил ее снова сесть.

– Нет, – продолжал он, – нет, дитя мое, я вас не оскорбляю, я пытаюсь вам помочь, и если мне удастся вас убедить, то я вас тем самым спасу!.. Итак, ни ваш гневный взгляд, ни притворное возмущение не заставят меня изменить свое мнение.

– Боже мой! Да что вам угодно? Чего вы от меня требуете?

– Я жду признания. В противном случае, клянусь честью, у меня может сложиться о вас дурное мнение.

– Сударь! К сожалению, здесь нет моего брата, а я вам повторяю, что вы меня оскорбляете. Я ничего не понимаю и прошу вас, наконец, объяснить по поводу этой пресловутой болезни.

– Я в последний раз, мадмуазель, прошу вас избавить меня от неприятности заставить вас

покраснеть, – произнес крайне удивленный доктор.

– Я вас не понимаю! Я вас не понимаю! Я вас не понимаю! – трижды повторила Андре с угрозой в голосе, устремив на доктора взгляд, полный недоумения и презрения.

– Зато я понимаю вас, мадмуазель: вы сомневаетесь в возможностях науки и надеетесь скрыть от всех свое положение. Однако перестаньте заблуждаться! Я одним словом сломя вашу гордыню: вы беременны!..

Андре издала душераздирающий крик и повалилась на софу.

Сейчас же дверь с шумом распахнулась и в комнату ворвался Филипп, сжимая в руке шпагу: глаза его налились кровью, губы тряслись.

– Презренный! – бросил он доктору. – Вы лжете! Доктор медленно повернулся к молодому человеку, не выпуская руки Андре и пытаясь нащупать пульс.

– Я сказал то, что есть, сударь, – презрительно поморщившись, возразил доктор, – и уж, во всяком случае, ваша шпага, будь она обнажена или спрятана в ножны, не заставит меня солгать.

– Доктор!.. – прошептал Филипп, выпуская шпагу из рук.

– Вы пожелали, чтобы я провел повторный осмотр и убедился, что не ошибся; я это и сделал. Теперь у меня есть все основания для уверенности и ничто не заставит меня отказаться от своего мнения. Я весьма сожалею, молодой человек, потому что вы внушили мне столь же сильную симпатию, сколь велико мое отвращение к этой юной особе, упорствующей во лжи.

Андре была по-прежнему неподвижна; Филипп сделал нетерпеливое движение.

– Я сам – отец, сударь, – продолжал доктор, – и понимаю все, что вы должны сейчас переживать. Я всегда к вашим услугам и, разумеется, обещаю молчать. Мое слово свято, сударь; любой вам скажет, что я дорожу своим словом больше, чем жизнью.

– Да ведь это невозможно!

– Не знаю, возможно это или нет, но это правда. Прощайте, господин де Таверне.

С сочувствием посмотрев на молодого человека, невозмутимый доктор неторопливо вышел из комнаты. Сердце Филиппа разрывалось от боли, и, как только захлопнулась дверь, он без сил рухнул в кресло в двух шагах от Андре.

Потом Филипп поднялся, запер сначала дверь, выходящую в коридор, потом – ту, что вела в комнату, затем – окна и подошел к Андре, с изумлением следившей за всеми этими ужасными приготовлениями.

– Ты поступила подло и глупо, надеясь меня обмануть, – проговорил он, скрестив на груди руки, – подло – потому что я тебе брат и еще потому, что я имел наивность тебя любить и всем жертвовать ради тебя, почитать тебя выше всего на свете; мое доверие должно было, по меньшей мере, вызвать с твоей стороны подобное, если не более нежное, чувство, а глупо – потому, что постыдной и обесчестившей нас тайной владеет третье лицо, а также потому, что, несмотря на твою скрытность, тайна эта, возможно, достигла и еще чьих-нибудь ушей, и, наконец, потому, что, если бы ты с самого начала призналась мне, что ты в таком положении, я спас бы тебя от позора, если не из любви к тебе, то из самолюбия, так как, спасая тебя, я заботился бы и о своем добром имени. Вот в чем, главным образом, заключалась твоя ошибка. Твоя честь, пока ты не замужем, принадлежит всем, чье имя ты носишь, вернее, позоришь. Ну, а теперь я тебе больше не брат, потому что ты отказала мне в этом звании. Отныне Я человек, заинтересованный в том, чтобы любым способом вырвать у тебя всю тайну и этим признанием восполнить хотя бы отчасти мою утрату. Итак, вот я перед тобою, полный гнева и решимости, и я говорю тебе: раз ты оказалась столь малодушна, надеясь на спасительный обман, то будешь наказана так, как наказывают подлых людей. Итак, признайся в совершенном преступлении, иначе...

– Угрозы? – горделиво воскликнула Андре – Ты угрожаешь женщине?

Побледнев, она поднялась с таким же угрожающим видом.

– Да, я угрожаю, но не женщине, а ничтожеству без чести и совести!

– Угрозы!.. – повторила Андре, мало-помалу приходя в отчаяние. – И ты угрожаешь той, которая ничего не знает, ничего не понимает и смотрит на всех вас, как на кровожадных безумцев, объединившихся для того, чтобы заставить меня умереть – если не от стыда, то от горя!

– Да, да! – вскричал Филипп. – Умри же! Умри, раз не желаешь признаться! Умри сию же

минуту! Бог тебе судья, а я тебя сейчас убью!

Молодой человек судорожно схватился за шпагу и, сверкнув ею в воздухе, приставил ее к груди сестры.

– Хорошо! Хорошо! Убей меня! – вскричала Андре, ничуть не испугавшись блеснувшей стали и не пытаясь избежать боли от укола шпагой. Она подалась вперед, потеряв голову от боли. Ее порыв был столь стремителен, что шпага проткнула бы ей грудь, если бы Филиппа не охватил внезапный ужас при виде нескольких капель крови, окрасивших ее муслиновый шарфик.

Силы оставили Филиппа, злоба его утихла: он отступил, выронил шпагу и с рыданиями пал на колени, прижимаясь к ногам девушки.

– Андре! Андре! – причитал он. – Нет! Нет! Умру я! Ты меня не любишь, не хочешь меня знать, мне нечего больше делать в этом мире. Неужели ты любишь кого-то так сильно, что готова скорее умереть, чем открыться мне? Андре! Не ты должна умереть, а я!

Он поднялся и хотел было бежать прочь, однако Андре обняла его за шею и, забывшись, стала осыпать его поцелуями и омыwać слезами.

– Нет, нет, – говорила она, – ты был прав. Убей меня, Филипп, раз все говорят, что я виновна! А ты, такой благородный, чистый, добрый, безупречный – ты живи, только пожалей меня вместо того, чтобы проклинать.

– Сестра! – перебил ее молодой человек. – Во имя Неба, во имя нашей бывшей дружбы, не бойся ничего: ни за себя, ни за того, кого ты любишь. Кто бы он ни был, его имя будет для меня свято, будь он хоть самым ярым моим врагом или последним негодяем. Но у меня ведь нет врагов, Андре, а ты чиста сердцем и душой, значит и возлюбленного должна была выбрать по себе. Я готов пойти к твоему избраннику, я назову его своим братом... Ты молчишь. Может быть, ваш брак невозможен? Ты это хочешь сказать? Хорошо, пусть так! Я готов смириться, я схороню боль в сердце, я заставлю замолчать требовательный голос чести, жаждущей отмщения. Я от тебя больше ничего не требую, даже имени этого человека. Раз ты полюбила этого человека, он дорог и мне... Только давай вместе уедем из Франции. Король подарил тебе дорогое ожерелье, как мне говорили; мы продадим его, отошлем половину вырученных денег отцу, а на оставшиеся деньги будем жить в неизвестности; я всем буду для тебя, Андре, а ты заменишь всех мне. Я ведь никого не люблю; ты видишь, как я тебе предан. Андре! Ты видишь, что я на все готов; ты видишь, что можешь рассчитывать на мою дружбу. Неужели ты и после этого откажешь мне в доверии? Тогда не называй меня братом.

Андре в полном молчании выслушала все, что сказал ей потерявший голову юноша.

Только биение ее сердца свидетельствовало о том, что она еще жива; лишь взгляд ее говорил о том, что она не потеряла рассудка.

– Филипп! – заговорила она наконец после долгого молчания. – И ты, несчастный, мог подумать, что я тебя больше не люблю? Ты подумал, что я полюбила другого человека, что я забыла закон чести – я, благородная девица, понимающая, к чему меня обязывает мое звание!.. Друг мой, я тебя прощаю. Да, да, напрасно ты считал меня бесчестной, напрасно ты называл меня малодушной. Да, да, я тебя прощаю, но не прощу тебя, если ты будешь считать меня столь нечестивой, столь подлой, чтобы солгать тебе. Я тебе клянусь, Филипп, Богом, который меня слышит, именем моей матери, которая, увы, меня, кажется, не уберегла, клянусь своей любовью к тебе в том, что мне пока неведомо чувство, что никто еще не говорил мне:

«Я люблю тебя», – что ничьи уста не касались даже моей руки, что разум мой чист, что желания мои столь же невинны, как в тот день, когда я появилась на свет. А теперь, Филипп, душа моя принадлежит Богу, а тело – в твоей власти.

– Ну что же, – помолчав, молвил Филипп, – благодарю тебя, Андре. Теперь я читаю ясно в твоём сердце. Да, ты чиста, невинна, дорогая моя, ты стала чьей-то жертвой. Существуют же колдовские, приворотные зелья. Какой-то подлец расставил тебе западню. То, что никто не мог бы вырвать у тебя, будь ты в здравом уме, он..., он..., верно, украл у тебя, когда ты была в беспамятстве. Ты попала в ловушку, Андре. Но теперь мы вместе и, значит, мы сильны. Позволь мне позаботиться о твоём добром имени и отомстить за тебя!

– Да, да, – поспешно проговорила Андре, мрачно сверкнув глазами. – Да, потому что если ты

берешься отомстить за меня, значит, ты убьешь преступника.

– В таком случае, – продолжал Филипп, – помоги мне, постарайся вспомнить. Давай подумаем вместе, час за часом переберем прошлое. Давай потянем за спасительную нить воспоминаний и при первом же узелке на этой нити...

– С радостью! Я этого очень хочу! – отвечала Андре. – Давай поищем!

– Итак, не замечала ли ты, чтобы кто-то за тобой следил, подстерегал тебя?

– Нет.

– Никто к тебе не писал?

– Никто.

– Никто тебе не говорил, что любит тебя?

– Нет.

– У женщин на такие вещи прекрасное чутье. Раз не было ни писем, ни признаний, то, может быть, ты замечала, что..., нравишься кому-нибудь?

– Ничего подобного я никогда не замечала.

– Дорогая сестра! Попытайся припомнить некоторые обстоятельства своей жизни, какие-нибудь интимные подробности.

– Направляй меня!

– Доводилось ли тебе гулять одной?

– Никогда, насколько я помню, если не считать тех случаев, когда я отправлялась к ее высочеству.

– А когда ты уходила в парк, в лес?

– Меня всегда сопровождала Николь.

– Кстати о Николь: она от тебя сбежала?, – Да.

– Когда?

– В день твоего отъезда, если не ошибаюсь.

– Подозрительная девица! Известны ли тебе подробности ее бегства? Подумай хорошенько.

– Нет. Я знаю только, что она уехала с человеком, которого она любила.

– Каковы были в последнее время твои отношения с этой девицей?

– О Господи!

В тот день она возвратилась, как обычно – около девяти часов, ко мне в комнату, раздела меня, приготовила питье и вышла.

– Не заметила ли ты, чтобы она что-нибудь подмешивала тебе в воду?

– Нет. Кстати, это не имеет никакого значения, потому что я помню, что в ту минуту, как я поднесла стакан к губам, я испытала странное ощущение.

– Какое же?

– Такое, как однажды в Таверне.

– В Таверне?

– Да, когда у нас остановился этот иностранец.

– Какой иностранец?

– Граф де Бальзамо.

– Граф де Бальзамо? И что это было за ощущение?

– Нечто вроде головокружения, или ослепления, а потом я уже ничего не чувствовала.

– Так ты говоришь, что испытывала это еще раньше, в Таверне?

– Да.

– При каких обстоятельствах?

– Я сидела за клавесином и вдруг почувствовала слабость: я огляделась и увидела в зеркале графа. С той минуты я ничего больше не помню, если не считать того, что, когда я очнулась за клавесином, я не могла определить, сколько времени я спала.

– Так ты говоришь, что тебе только однажды пришлось испытать это необычное ощущение?

– Нет, в другой раз это было в день, вернее, в ночь праздничного фейерверка. Меня влекла за собой толпа, готовая растоптать, убить. Я собрала последние силы и вдруг пальцы мои разжались, на глаза мне пала пелена, но сквозь нее я опять успела разглядеть этого господина.

– Графа де Бальзамо?
– Да.
– А потом ты заснула?
– Заснула или упала без чувств – не могу в точности сказать. Ты знаешь, что он унес меня с площади и доставил к отцу.
– Да, да. А в ту ночь, когда сбежала Николь, ты его видела?
– Нет, но почувствовала все, что свидетельствовало обычно о его появлении где-то поблизости: то же странное ощущение, то же нервное потрясение, тяжесть, потом забытье.
– То же забытье, говоришь?
– Да, забытье после сильного головокружения, несмотря на мои отчаянные, но тщетные попытки противостоять какой-то таинственной силе.
– Великий Боже! – вскричал Филипп. – Что же дальше? Дальше?
– Я заснула...
– Где?
– Я лежала в постели, это я точно помню, а потом почему-то оказалась на полу, на ковре... Я была одна, я испытывала невыносимую боль и так озябла, словно спала до этого могильным сном. Очнувшись, я стала звать Ни, коль, но напрасно: Николь исчезла.
– А сон был таким же, как бывал прежде?
– Да.
– Такой, как в Таверне? И такой, как в день празднеств?
– Да, да.
– Оба раза ты, прежде чем забыться, видела Джузеппе Бальзамо, графа Феникса?
– Совершенно верно.
– А в третий раз ты его не видела?
– Нет, – испуганно отвечала Андре, начиная, наконец, понимать, – нет, но я угадывала его присутствие.
– Отлично! – воскликнул Филипп. – Теперь можешь быть уверена, можешь быть спокойна и ничего не боясь, Андре: я знаю тайну. Спасибо, дорогая сестричка, спасибо! Мы спасены!
Филипп обнял Андре, с нежностью прижал ее к груди и, охваченный решимостью, бросился из комнаты, ничего не слыша и не желая терять ни минуты.
Он прибежал на конюшню, сам оседлал коня и помчался в Париж.

Глава 29. МУКИ СОВЕСТИ

Все только что описанные нами сцены оказали на Жильбера ужасное действие.

Чувствительный малый жестоко страдал, наблюдая из укромного уголка в саду, как день за днем признаки болезни Андре становятся все очевиднее и на ее лице, и в походке: бледность девушки, которая еще накануне вызывала у него тревогу, на следующий день становилась еще более, как ему казалось, заметна, когда мадмуазель де Таверне появлялась у окна в первых лучах восходящего солнца. Если бы кто-нибудь в эту минуту видел глаза Жильбера, он прочел бы в них угрызения совести, что так хорошо удавалось передать на своих полотнах античным художникам.

Жильбер обожал красоту Андре и в то же время ненавидел ее. Эта вызывающая красота в сочетании со столькими другими ее преимуществами воздвигала между ним и девушкой непреодолимую преграду, впрочем, красота эта представлялась ему еще одним сокровищем, которое ему предстояло завоевать. Вот что служило основанием его любви и ненависти, его желания и презрения.

Но с того дня, как эта красота начала увядать, а в чертах лица Андре появились страдание или стыд; с того самого дня, как положение Андре, а значит, и положение Жильбера, стало вызывать опасения, ситуация совершенно изменилась; вот почему и Жильбер стал относиться к ней иначе.

Надобно признать, что первым его чувством была глубокая грусть. Он с болью следил за тем, как блекнет красота и ухудшается здоровье его возлюбленной; гордец по натуре, он испытал

блаженное чувство жалости к той, которая еще недавно была с ним горда и пренебрежительна, он простил ей оскорбления, которыми она его осыпала.

Все это, разумеется, не может служить Жильберу оправданием. Гордыня всегда непростительна. А ведь только из гордости у него вошло в привычку следить за происходившими событиями. Всякий раз, как бледная, больная, прятавшая глаза мадмуазель де Таверне появлялась, словно привидение, перед Жильбером, сердце его начинало трепетать от счастья, кровь стучала в висках, и он судорожно прижимал к груди кулак, пытаясь подавить восстававшую в нем совесть.

– Это я ее сгубил, – шептал он и, окинув ее гневным, испепеляющим взглядом, убегал прочь, но она продолжала стоять у него перед глазами, а в ушах его раздавались ее стоны.

Сердце его разрывалось от горя, какое только может выпасть на долю человека. Его страстная любовь нуждалась в утешении, и он порой готов был отдать жизнь за право упасть перед Андре на колени, взять ее за руку, утешить ее, привести ее в чувство, когда она падала в обморок. Неисполнимость его мечты заставляла его невыразимо страдать.

Жильбер три дня пытался побороть в себе эту муку.

В первый же день он заметил, как исподволь начали искажаться черты лица Андре. Там, где никто еще ничего не видел, он, соучастник, все угадывал и всему находил объяснение. Более того: изучив, как продвигается болезнь, он высчитал точно, когда разыграется трагедия.

Тот день, когда Андре упала в обморок, Жильбер провел в страхе, обливаясь потом, бросаясь из крайности в крайность, – свидетельство того, что совесть его была нечиста. Он ходил взад и вперед, напустив на себя то безразличный, то озабоченный вид, в разговоре удивлял стремительными переходами от выражения симпатии к насмешкам над собеседником и полагал, что преуспел таким образом по части скрытности и тактики, не подозревая, что любой письмоводитель из Шатле, любой тюремщик из Сен-Лазар разгадал бы его хитрость так же легко, как секретарь де Сартена по прозвищу Куница разгадывал зашифрованную корреспонденцию.

Когда видишь, как бегущий со всех ног человек внезапно замирает, издает нечленораздельные звуки, потом вдруг надолго замолкает; когда видишь, как он застывает на месте и прислушивается, затем начинает судорожно копать в земле, со злостью принимается рубить дерево, то невольно остановишься и подумаешь:

«Либо он безумец, либо преступник».

После первого приступа раскаяния и сострадания Жильбер задумался о том, что его ожидает. Он чувствовал, что участвовавшие обмороки Андре могут кое-кого насторожить и заинтересовать.

Жильбер вспомнил, что правосудие вершится споро: изворотливые сыщики, которых принято называть судебными следователями, способны раскрыть любое преступление, наносящее ущерб добру имени человека. Они станут задавать вопросы, проводить дознания, сопоставления, сохраняющиеся до поры до времени в тайне, и скоро нападут на след виновного.

Проступок Жильбера представлялся ему самому в нравственном отношении самым отвратительным и наиболее сурово наказуемым.

Вот когда он испугался, как бы болезнь Андре не повлекла за собой расследования.

С этой минуты Жильбер стал похож на изображенного на известной картине преступника, которого преследует олицетворяющий совесть ангел с неярко горящим факелом в руке: Жильбер стал затравленно озираться на окружавших его людей. Любые слухи, шепот вызывали у него подозрение. Он вслушивался в каждое произнесенное при нем слово и, как бы малозначаще оно ни было, ему казалось, что оно имеет отношение к мадмуазель де Таверне или к нему самому.

Он видел, как герцог де Ришелье отправился к королю, а барон де Таверне пошел к дочери. Ему почудилось, что все в этот день в доме приняли вид заговорщиков.

Ему стало совсем худо, когда он заметил, что в комнату Андре направляется доктор ее высочества.

Жильбер относился к скептически настроенным господам, которые ни во что не верят: для него ничего не значили людское мнение и глас Божий – он признавал науку и проповедовал ее всемогущество.

В иные минуты, когда Жильбер отрицал всепроникающую силу Бога, он не стал бы сомневаться в ясновидении доктора. Появление доктора Луи у Андре оказалось сокрушительным уда-

ром для душевного равновесия Жильбера. Он побежал к себе в комнату, бросив работу и оставаясь глух к приказаниям старших. Там, прячась за убогой занавеской, которую он повесил, желая остаться незамеченным, он наострил уши и стал смотреть во все глаза, стараясь перехватить хоть одно слово, одно движение, чтобы узнать о диагнозе.

Но ему так и не удалось ничего выведать. Лишь однажды он заметил ее высочество, когда она подошла к окну и выглянула во двор, который она, наверное, никогда до этого не видела.

Он различил также доктора Луи, открывшего окно, чтобы впустить в комнату немного свежего воздуха. Однако он так и не разобрал, о чем говорили, не рассмотрел выражения лиц: плотные шторы скрывали от него происходившее в комнате.

Можно себе представить, что творилось у юноши в душе. Проницательный доктор разгадал тайну. Скандал не мог разразиться в ту же минуту; Жильбер был прав, предположив, что препятствием этому окажется присутствие ее высочества. Однако сразу же после ухода принцессы и доктора последует бурное объяснение между отцом и дочерью.

Совсем потерявшись от страдания и нетерпения, Жильбер стал биться головой об стену.

Потом он увидел, как барон де Таверне выходит с ее высочеством. Доктор ушел еще раньше.

«Неужели между бароном и ее высочеством произойдет объяснение?» – подумал он.

Барон не возвращался. Андре осталась в одиночестве; лежа на софе, она либо читала, пока спазмы и мигрень не заставляли ее отложить книгу, либо предавалась размышлениям с таким безучастным видом, что Жильберу, не сводившему глаз с развевавшейся от ветра занавески, временами казалось, будто она в полном отчаянии.

Изнемогшая от боли и волнения, Андре заснула. Жильбер воспользовался передышкой, чтобы выйти во двор и послушать, о чем там судачат.

Поразмыслив обо всем хорошенько, он понял, что ему нельзя терять ни минуты.

Опасность была столь велика, что необходимо было на что-то решиться.

Эта мысль его несколько успокоила.

«Однако на что же я могу решиться? Изменить что-либо в подобных обстоятельствах значит разоблачить себя. Может, убежать? Да, да, бежать! Я молод, а отчаяние и страх прибавят мне сил. Днем я буду прятаться, по ночам – идти вперед и приду, наконец... Куда? Как мне найти такое место, где меня не настигнет карающая десница королевского правосудия?»

Жильберу были знакомы сельские нравы. Что могут подумать в какой-нибудь глухой, почти безлюдной провинции – ведь в городах об этом никто не задумывается! – что могут подумать в небольшом местечке, в какой-нибудь деревушке о чужаке, просящем подавание? А вдруг это вор? И потом, Жильбер отлично себя знал: у него заметное лицо, которое, к тому же, отныне будет носить на себе неизгладимый отпечаток страшной тайны и привлечет внимание первого же мало-мальски наблюдательного человека. Итак: бежать – опасно, а быть уличенным в преступлении – стыдно.

Бегство доказало бы виновность Жильбера; он отверг эту мысль. И, словно не имея больше сил искать выход из создавшегося положения, несчастный юноша подумал о смерти.

Это случилось с ним впервые; перед его мысленным взором возник мрачный призрак, однако юноша не почувствовал страха. К мысли о смерти никогда не поздно будет вернуться после того, подумал он, как все другие возможности будут исчерпаны. Кстати, Руссо говорил, что самоубийство – это трусость; гораздо достойнее переносить страдания до конца.

Додумавшись до этого парадокса, Жильбер поднял голову и снова пошел бродить по саду.

Перед ним забрезжила надежда на спасение, как вдруг внезапный приезд Филиппа, свидетелями которого мы явились, расстроил все его планы и снова поверг в уныние.

Брат! Она вызвала брата! Значит, все открылось! И семья решила молчать. Да, но Жильбер не переставал представлять себе во всех подробностях будущее расследование, а это было для него не меньшим мучением, как если бы его пытали в Консьержери, в Шатле или в Турнель. Он видел, как его волокут по земле мимо Андре, заставляют встать на колени, вырывают у него признание в содеянном и забивают насмерть палкой, как собаку, или убивают ударом ножа. Такая месть была бы вполне законна, она уже имела сколько угодно precedентов.

Король Людовик XV всегда в подобных случаях принимал сторону знати.

Кроме того, Филипп был для Жильбера, пожалуй, наиболее опасен среди тех, кого мадмуазель де Таверне могла бы призвать для отмщения. Филипп, единственный член семьи Таверне, способный проявить по отношению к Жильберу человеческие чувства и отнестись к нему почти как к равному, точно так же был способен, не дрогнув, уложить Жильбера на месте, и не только шпагой, но и словом, если бы сказал ему, к примеру, следующее:

– Жильбер! Вы ели наш хлеб, а теперь обесчестили наше имя.

Вот почему Жильбер попытался скрыться при первом же появлении Филиппа и вернулся он лишь потому, что чувство ему доказывало: он не должен себя выдавать. Он собрал все свои силы, стремясь только к одному: выстоять.

Он проследил за Филиппом и видел, как тот поднимался к Андре, а потом разговаривал с доктором Луи. Он все разнюхал, взвесил и понял, в какое отчаяние впал Филипп. Он видел, как зародилась и все возрастала душевная мука молодого офицера; по игре теней на занавеске он угадал, какая ужасная сцена разыгрывается между Андре и ее братом.

«Я погиб», – подумал он.

Потеряв рассудок, он схватил нож с намерением убить Филиппа, как только тот появится на пороге его комнаты.., или, если понадобится, покончить с собой.

Однако Филипп помирился с сестрой; Жильбер увидел, как он опустился на колени и стал целовать Андре руки. И снова перед Жильбером забрезжила надежда на спасение. Если Филипп до сих пор не ворвался с проклятиями к нему в комнату, стало быть, Андре не знала имени преступника. А ежели она, единственный свидетель, единственный обвинитель, ничего не знала, стало быть, и никто ничего не знал. Если же предположить – о безумец! – что Андре знала, но ничего не сказала, то это было уже больше, чем спасение, это было счастье, победа!

Отныне Жильбер решительно отбросил все свои сомнения и страхи. Ничто не могло больше поколебать его самоуверенность с тех пор, как он вновь обрел утраченное душевное равновесие.

«Где следы моего преступления, если мадмуазель де Таверне меня ни в чем не обвиняет? – думал он. – Ах, какой же я был дурак! Ну в чем ей обвинять меня: в последствии преступления или в самом преступлении? Итак, она не стала обвинять меня в самом преступлении: на протяжении трех недель она ничем не показала, что ненавидит или избегает меня чаще, чем в былые времена. А раз она не видит во мне причины своих бед, значит, и в происшедшем несчастье меня можно обвинить не более, чем любого другого. Зато я своими глазами видел, как сам король входил в комнату мадмуазель Андре. В случае необходимости я мог бы подтвердить это ее брату, и, несмотря за заpiresательства его величества, поверят скорее всего мне... Да, однако это была бы весьма опасная затея... Лучше я помолчу: у короля слишком большие возможности, чтобы доказать свою невиновность или попросту растоптать мое свидетельство. Как бы за одно упоминание имени короля во всем этом деле не быть приговоренным к пожизненному заключению или к виселице!.. Зато в моих руках – незнакомец, который заставил мадмуазель Андре выйти к нему в сад!.. Разве он может оправдаться? Каким образом об этом узнают? А если и узнают, то как его найти? Уж он-то не король! Чем я хуже его? Вот я и выгорожу себя, подставив под удар этого господина! Впрочем, никому и в голову не придет подумать на меня. Один Бог мне свидетель... – с горькой усмешкой прибавил он. – Но раз Бог так часто видел мои слезы, мои страдания и не проронил при этом ни слова мне в утешение, неужели Он окажется на сей раз настолько несправедлив, что выдаст меня, едва позволив вкусить счастья?.. Да кроме того, если преступление и было, не я за него в ответе, а Бог. Вольтер убедительно доказал, что чудес на свете не бывает. Итак, я спасен, я спокоен, моя тайна принадлежит только мне. Будущее – за мной».

После этих размышлений, вернее, после этой сделки с совестью, Жильбер собрал инструменты и пошел с товарищами ужинать. Он повеселел, стал беззаботен, вел себя даже вызывающе. Угрызения совести, страхи остались в прошлом: для человека, для философа такая слабость непозволительна. Однако он плохо знал свою совесть:

Жильбер всю ночь не сомкнул глаз.

Глава 30. ДВОЕ СТРАЖДУЩИХ

Жильбер все верно рассчитал, говоря о незнакомце, замеченном им в саду в тот самый вечер, оказавшийся роковым для мадмуазель де Таверне:

– Вряд ли его найдут!

Филипп в самом деле не представлял себе, где живет Джузеппе Бальзамо, граф Феникс.

Однако он вспомнил имя светской дамы, маркизы де Саверни, в доме которой тридцать первого мая Андре оказали помощь.

Был еще не слишком поздний час, чтобы нельзя было явиться к этой даме, проживавшей по улице Сент-Оноре. Собравшись с мыслями и заставив себя успокоиться, Филипп поднялся к даме, и ее камеристка сию же минуту и не колеблясь дала ему адрес Бальзамо: улица Сен-Клод в Маре.

Филипп без промедления отправился по указанному адресу.

Он не без волнения тронул молоток у ворот подозрительного дома, в котором, как он предполагал, навсегда исчезли покой и честь бедняжки Андре. Однако, призвав на помощь волю, он вскоре подавил в себе возмущение, как и всякое другое чувство, чтобы сберечь силы, которые, как он полагал, могли еще ему понадобиться.

Он твердой рукой взялся за молоток, и ворота, как обычно, сейчас же отворились.

Филипп прошел в ворота и очутился во дворе, держа своего коня под уздцы.

Не успел он сделать и нескольких шагов, как Фриц вышел из передней и появился на крыльце, остановив его вопросом:

– Что вам угодно, сударь? Филипп вздрогнул от неожиданности. Он сердито взглянул на немца, словно забыв, что перед ним лакей, исполняющий свой долг.

– Я хочу поговорить с хозяином дома, графом Фениксом, – отвечал Филипп, после чего продел уздечку коня в кольцо, поднялся на крыльцо и вошел в переднюю.

– Хозяина нет дома, – сообщил Фриц, пропуская, однако, Филиппа вперед, как и подобало вымуштрованному слуге.

Это могло показаться странным, но приготовившийся ко всему Филипп словно ждал именно такого ответа.

Он помолчал немного, затем спросил:

– Где я могу его найти?

– Не знаю, сударь.

– Вы обязаны это знать!

– Прошу прощения, сударь, т хозяин мне не докладывает, где он бывает.

– Друг мой! Мне непременно нужно поговорить с вашим хозяином нынче же вечером, – молвил Филипп.

– Сомневаюсь, чтобы это было возможно.

– Это совершенно необходимо: дело не терпит отлагательств.

Фриц поклонился, не проронив ни звука в ответ.

– Так он вышел? – спросил Филипп.

– Да, сударь.

– Он, конечно, вернется?

– Не думаю, сударь.

– А-а, вы так не думаете?

– Нет.

– Отлично! – воскликнул Филипп, распаляясь. – А теперь ступайте к своему хозяину и скажите ему...

– Как я уже имел честь вам доложить, – невозмутимо отвечал Фриц, – хозяина нет дома.

– Я знаю, чего стоят такого рода доклады, друг мой, – заметил Филипп,

– я ценю вашу исполнительность, однако на меня это приказание распространяться не может, потому что ваш хозяин не мог предвидеть мой визит: меня привел исключительный случай.

– Приказание распространяется на всех, сударь, – неосторожно обмолвился Фриц.

– Раз было такое приказание, стало быть, граф Феникс дома, – заметил Филипп.

– Ну и что же? – проговорил Фриц; его начинала выводить из себя настойчивость посетителя.

– В таком случае, я его подожду.

– Говорят вам, хозяина нет дома, – возразил Фриц. – Несколько дней назад в доме случился пожар, и теперь здесь стало невозможно жить.

– Ты, однако, живешь, – заметил Филипп и тут же пожалел о своих словах.

– Я здесь за сторожа.

Филипп пожал плечами, давая понять, что не верит ни единому слову.

Фриц начал терять терпение.

– В конце концов, совершенно не важно, дома его сиятельство или его нет. Ни в его отсутствие, ни когда он у себя, никто никогда не войдет к нему силой. Если вам не угодно придерживаться обычаев этого дома, я буду вынужден...

Фриц замолчал.

– Ну, что? – забывшись, вскричал Филипп.

–..вышвырнуть вас вон, – с достоинством проговорил Фриц.

– Ты меня вышвырнешь? – сверкнув глазами, воскликнул Филипп.

– Я, – отвечал Фриц, все более распаляясь, однако внешне оставаясь совершенно невозмутимым, что вообще присуще людям этой национальности-.

Он шагнул к молодому человеку – тот вне себя от отчаяния обнажил шпагу.

Не растерявшись при виде шпаги, не зовя никого на помощь, – возможно, он и в самом деле был один в доме, – Фриц, выхватил из коллекции оружия со стены пикку с острым металлическим наконечником, бросился на Филиппа и первым же ударом перебил лезвие шпаги пополам.

Филипп взревел от негодования и рванулся к стене в надежде завладеть новым оружием.

В эту минуту распахнулась потайная дверь и в темном проеме появился граф.

– Что здесь происходит, Фриц?

– Ничего, сударь, – отвечал слуга, опуская пикку и становясь так, чтобы загородить собой хозяина; тот продолжал стоять на ступеньках невидимой лестницы и казался в полтора раза выше лакея.

– Граф! Видимо, это в обычаях вашей страны, чтобы лакеи встречали дворянина с пикой в руках? Или, может быть, это приказание является особенностью вашего благородного дома?

Фриц опустил пикку и, повинувшись молчаливому приказанию хозяина, поставил ее в угол передней.

– Кто вы, сударь? – спросил граф, сиюсь рассмотреть Филиппа при свете одной-единственной лампы, освещавшей переднюю.

– Тот, кто желает непременно с вами поговорить.

– Это вы?

– Да.

– Вот то самое слово, которое вполне извиняет Фрица, сударь, потому что я не собираюсь ни с кем говорить. А когда я у себя, я ни за кем не признаю права «желать» говорить со мной. Итак, вы сами виноваты, это ваша ошибка. Впрочем, – прибавил со вздохом Бальзаме, – я готов вас извинить, при том, однако, условии, что вы немедленно уйдете и не будете больше нарушать мой покой.

– Ну что же, вы в самом деле вправе требовать покоя после того, как отняли покой у меня! – воскликнул Филипп.

– Я лишил вас покоя? – переспросил граф.

– Я – Филипп де Таверне! – вскричал молодой человек, полагая, что, услышав его имя, граф сразу все поймет и смутится.

– Филипп де Таверне?.. Сударь! Я был хорошо принят в доме вашего отца, – отвечал граф, – добро пожаловать ко мне!

– Как все удачно вышло! – пробормотал Филипп.

– Прошу следовать за мной, сударь.

Бальзаме затворил дверь, ведущую на потайную лестницу, и пошел впереди Филиппа, пригласив его в гостиную, где мы уже были свидетелями некоторых сцен и, в частности, самой последней – встречи Бальзамо с пятью верховными членами.

Гостиная была освещена так ярко, словно ожидались посетители; впрочем, было ясно, что таков был один из обычаев дома.

– Добрый вечер, господин де Таверне! – ласково проговорил Бальзамо. Его приглушенный голос заставил Филиппа поднять голову и взглянуть на графа.

Однако при виде Бальзамо Филипп отпрянул.

От графа и в самом деле осталась только тень: глубоко ввалившиеся глаза стали тусклыми, щеки впали, а вокруг рта залегли складки; черты лица заострились, и он стал похож на мертвеца.

Филипп был совершенно ошеломлен. Бальзамо заметил его изумление, и на бесцветных губах его заиграла улыбка, а в глазах мелькнула смертная тоска.

– Я приношу вам свои извинения за поведение моего лакея, однако, по правде говоря, он выполнял приказание. Позвольте вам заметить, что вы были неправы, пытаясь проникнуть ко мне силой.

– Вы знаете, что бывают чрезвычайные обстоятельства, а я оказался именно в таком положении. Бальзамо не отвечал.

– Я хотел вас видеть, – продолжал Филипп, – я желал с вами поговорить. Чтобы добраться до вас, я был готов рискнуть жизнью.

Бальзамо по-прежнему молчал, словно ожидая, когда молодой человек выразится яснее; у него не было ни сил, ни любопытства расспрашивать его о чем бы то ни было.

– Вы у меня в руках, – продолжал Филипп, – наконец-то вы у меня в руках, и мы можем объясниться. Однако сообразовывайте прежде отпустить лакея.

Филипп указал пальцем на Фрица, а тот как раз в эту минуту приподнял портьеру, словно ждал от хозяйка дальнейших распоряжений относительно незваного гостя.

Бальзамо неотрывно смотрел на Филиппа, словно желая угадать его намерения. Но как только рядом с Филиппом оказался человек, равный ему по званию и происхождению, молодой человек взял себя в руки и успокоился: теперь выражение его лица было непроницаемо.

Бальзамо кивком головы или, вернее, одним движением бровей отпустил Фрица, и оба они сели один против другого: Филипп – спиной к камину, Бальзамо – опершись локтем на круглый столик.

– Говорите, пожалуйста, быстро и ясно, – молвил Бальзамо, – я слушаю вас только из любезности и, должен вас предупредить, могу скоро устать.

– Я буду говорить так, как сочту нужным, – отвечал Филипп, – и, рискуя доставить вам неудовольствие, качну с того, что задам вам несколько вопросов.

При этих словах Бальзамо грозно сдвинул брови; глаза его метали молнии.

Слова эти натолкнули его на такие воспоминания, что Филипп содрогнулся бы, знай он, какую сердечную рану этого человека он разбередил неосторожным словом.

Однако после минутного молчания, во время которого Бальзамо взял себя в руки, он проговорил;

– Спрашивайте!

– Сударь! В свое время вы мне так и не растолковали как следует, чем вы были заняты в ночь тридцать первого мая, с того момента, как вытащили мою сестру из груды раненых и мертвых тел на площади Людовика Пятнадцатого, – заметил Филипп.

– Что вы хотите сказать? – спросил Бальзамо.

– А то, что ваше поведение в ту ночь показалось мне тогда, да и теперь кажется, более чем подозрительным.

– Подозрительным?

– Да, и, по всей видимости, такое поведение не может расцениваться как достойное благородного человека.

– Я вас не понимаю, сударь, – промолвил Бальзамо, – вы, должно быть, заметили, как я устал, ослабел, и эта слабость причиняет мне естественное беспокойство.

– Граф! – вскричал Филипп, раздражаясь из-за того, что Бальзамо говорил с ним по-прежнему высокомерно и в то же время невозмутимо.

– Сударь! – таким же тоном продолжал Бальзамо, – с тех пор, как я имел честь с вами позна-

комиться, на мою долю выпало огромное несчастье; часть моего дома сгорела, и многие дорогие моему сердцу вещи – очень дорогие, понимаете? – они потеряны для меня навсегда. Из-за этого несчастного случая у меня помутился разум. Итак, я прошу вас выражаться яснее, в противном случае я вынужден буду немедленно вас оставить.

– Ну уж нет, напрасно вы полагаете, что вам удастся так легко от меня отделаться! Я готов уважать ваши чувства, если и вы с пониманием отнесетесь к моим страданиям. У меня, сударь, тоже большое несчастье, гораздо большее, чем ваше, смею вас уверить.

На губах Бальзамо появилась уже знакомая Филиппу полная отчаяния усмешка.

– Моя семья обесчещена! – продолжал Филипп.

– Чем же я могу помочь вам в этом несчастье? – поинтересовался Бальзамо.

– Чем вы можете помочь? – сверкнув глазами, вскричал Филипп.

– Ну да...

– Вы можете вернуть мне то, что я потерял.

– Вот как? Вы, верно, сошли с ума? – воскликнул Бальзамо и потянулся к колокольчику.

Однако его движение было столь вяло и невозмутимо, что Филипп успел перехватить его руку.

– Я сошел с ума? – отрывисто бросил Филипп. – Вы что же, не понимаете, что речь идет о моей сестре, которая в бессознательном состоянии оказалась в ваших руках тридцать первого мая? Вы отвезли ее в дом, по вашему мнению приличный, а по-моему – непристойный! Словом, за поруганную честь моей сестры я вызываю вас на дуэль!

Бальзамо пожал плечами.

– Господи! Зачем же было идти окольным путем, чтобы прийти к такой простой вещи? – пробормотал Бальзамо.

– Презренный! – вскричал Филипп.

– Зачем так кричать, сударь! – проговорил Бальзамо с прежним нетерпеливым выражением. – Вы меня оглушили! Уж не хотите ли вы сказать, что явились ко мне обвинять в том, что я оскорбил вашу сестру?

– Да, подлый трус!

– Опять вы кричите и незаслуженно меня оскорбляете, сударь! С чего вы взяли, что я оскорбил вашу сестру?

Филипп был в нерешительности. То, как Бальзамо произнес эти слова, повергло его в замешательство. Либо это был верх нахальства, либо совесть говорившего была чиста.

– С чего я это взял? – переспросил молодой человек.

– Да. Кто вам это сказал?

– Моя сестра.

– В таком случае, ваша сестра...

– Что вы хотите сказать? – с угрозой в голосе перебил Филипп.

– Я хочу сказать, сударь, что у меня складывается о вас и о вашей сестре неприятное впечатление. Это самый грязный шантаж, какой только существует на свете: известного сорта женщины поступают так с обесчестившим их мужчиной. Итак, вы пришли мне угрожать, подобно оскорбленному брату из итальянских комедий, в надежде вынудить меня со шпагой в руках либо жениться на вашей сестре, – а это свидетельствует о том, что она очень нуждается в браке, – либо дать вам денег, потому что вы знаете, что я умею делать золото. Так вот, сударь, вы ошиблись дважды: вы не получите денег, а ваша сестра останется без мужа.

– В таком случае, я пушу вам кровь, – вскричал Филипп, – если, конечно в ваших жилах течет кровь!

– И этого не будет, сударь.

– Почему же?

– Я дорожу своей кровью, а если бы я захотел ею пожертвовать, то уж, во всяком случае, по более серьезному поводу, чем тот, который вы мне навязываете. Одним словом, сударь, я вам буду очень обязан, если вы спокойно вернетесь к себе. Если же вам вздумается поднимать шум, из-за которого у меня болит голова, я кликну Фрица. Фриц придет и по моему знаку переломит вас по-

полам, как тростинку. Уходите.

На сей раз Бальзамо успел позвонить. Филипп попытался ему помешать. Бальзамо раскрыл ящик черного дерева, стоявший на круглом столике, достал оттуда дуствольный пистолет и взвел курок.

– Ну что же, лучше так! – вскричал Филипп. – Убейте меня!

– Зачем мне вас убивать?

– А зачем вы меня обесчестили? Молодой человек проговорил это так искренне, что Бальзамо ласково взглянул на него и молвил:

– Неужели вы говорите это искренне?

– И вы сомневаетесь? Вы не верите слову дворянина?

– Ну, тогда мне остается предположить, – продолжал Бальзамо, – что мадмуазель де Таверне в одиночку задумала это недостойное дело и подтолкнула к этому вас... И потому я готов удовлетворить ваше любопытство. Даю вам слово чести, что мое поведение, по отношению к вашей сестре в ту трагическую ночь тридцать первого мая было безупречным. Ни суд чести, ни людской суд, ни Высший суд не могли бы обнаружить в моем поведении ничего, что противоречило бы безупречной порядочности. Вы мне верите?

– Граф!.. – в изумлении пролепетал молодой человек.

– Вы знаете, что я не страшусь дуэли, – это видно по моим глазам, ведь правда! Ну, а что касается моей слабости, на этот счет не стоит ошибаться: эта слабость – чисто внешняя. Я бледен, это верно; однако в моих руках есть еще сила. Хотите в этом убедиться? Пожалуйста...

Бальзамо одной рукой приподнял без всяких усилий огромную бронзовую вазу, стоявшую на подставке работы Буля.

– Ну что же, сударь, я готов поверить тому, что вы рассказали о событиях тридцать первого мая. Однако вы прибегаете к уловке, пытаетесь ввести меня в заблуждение тем, что ручаетесь только за этот день. Позже ведь вы тоже встречались с моей сестрой.

Бальзамо запнулся.

– Это правда, – проговорил он наконец, – я виделся с ней.

Едва прояснившись, его лицо вновь омрачилось.

– Вот видите! – вскричал Филипп.

– Что особенного в том, что я виделся с вашей сестрой? Что это доказывает?

– А то, что вы необъяснимым образом заставили ее заснуть, как это трижды случалось с ней при вашем приближении; вы воспользовались ее бесчувственным состоянием и совершили преступление.

– Я вас спрашиваю еще раз: кто вам это сказал? – вскричал Бальзамо.

– Сестра!

– Как она может это знать, если она спала?

– А-а, так вы признаете, что она спала?

– Я вам скажу больше: я готов признать, что я сам ее усыпил.

– Усыпили?

– Да.

– С какой же целью вы сделали это, если не Для того, чтобы обесчестить ее?

– С какой целью?.. Увы!.. – проговорил Бальзамо, роняя голову на грудь.

– Говорите же, говорите!

– Я хотел узнать с ее помощью одну тайну, которая была мне дороже жизни.

– Все это ваши хитрости, уловки!

– А что, именно в тот вечер ваша сестра... – спросил Бальзамо, словно отвечая своим мыслям и не обращая внимания на оскорбительные вопросы Филиппа.

–..была обещана? Да, граф.

– Обещана?

– Моя сестра ждет ребенка. Бальзамо вскрикнул.

– Верно, верно, верно! – проговорил он. – Теперь я припоминаю, что ускакал тогда, забыв ее разбудить.

– Вы признаетесь! Признаетесь! – вскричал Филипп.
– Да. А какой-то мерзавец в ту ночь – ужасную для всех нас! – воспользовался, должно быть, ее сном.
– Вам угодно посмеяться надо мной?
– Нет, я пытаюсь вас убедить в своей невинности.
– Это будет непросто.
– Где сейчас ваша сестра?
– Там же, где вы ее тогда нашли.
– В Трианоне?
– Да.
– Я еду в Трианон вместе с вами, сударь. Филипп замер от удивления.
– Я совершил оплошность, – продолжал Бальзамо, – но я непричастен к совершенному преступлению; я оставил бедную девочку загипнотизированной. Так вот, во искупление моей вины, вполне простительной, я помогу вам узнать имя виновного.
– Кто? Кто он?
– Этого я пока и сам не знаю, – отвечал Бальзамо.
– Кто же тогда знает?
– Ваша сестра.
– Но она отказалась назвать его мне.
– Вполне возможно. А мне скажет!
– Моя сестра?
– Если бы ваша сестра назвала имя преступника, вы бы ей поверили?
– Да, потому что моя сестра – ангел чистоты. Бальзамо позвонил.
– Фриц! Карету! – приказал он явившемуся на звонок немцу.
Филипп, как безумный, метался взад и вперед по гостиной.
– Имя виновного!.. – бормотал он. – Вы обещаете, что я узнаю имя виновного?
– Сударь! Ваша шпага сломалась во время столкновения с Фрицем, – заметил Бальзамо. – Позвольте мне предложить вам взамен другую.
Он взял с кресла великолепную шпагу с золоченым эфесом и прицепил ее Филиппу на пояс.
– А как же вы? – спросил молодой человек.
– Мне оружие не понадобится, – отвечал Бальзамо. – Моя защита – в Трианоне, а защитником будете вы, как только ваша сестра заговорит.
Спустя четверть часа они сели в карету, запряженную парой отличных лошадей, Фриц пустил их в галоп, и они поскакали по Версальской дороге.

Глава 31. ДОРОГА В ТРИАНОН

Все эти скачки, все эти объяснения заняли некоторое время. Вот почему было уже около двух часов ночи, когда Бальзамо и Филипп покинули особняк на улице Сен-Клод.

До Версаля они ехали час с четвертью, еще десять минут ушло на то, чтобы добраться от Версаля до Трианона; таким образом, лишь в половине четвертого они оказались у цели.

Когда их путешествие подходило к концу, над полными утренней свежести лесами и холмами Севра уже занималась заря. Казалось, чья-то невидимая рука поднимала прямо у них на глазах тонкую вуаль; в местечке Виль-д'Аврей и чуть дальше, в Бюке, пруды словно вспыхивали один за другим: в них, как в огромных зеркалах, отражался заалевший небосвод. Наконец, вдалеке показались колоннады и крыши Версаля, горевшие в лучах еще невидимого солнца.

Время от времени то одно, то другое оконное стекло, отражавшее пылающий луч, вспыхивало и словно насквозь пронизывало своим светом утренний сиреневый туманный воздух.

Когда карета оказалась в конце улицы, ведущей из Версаля в Трианон, Филипп приказал остановиться и обратился к своему спутнику, за всю дорогу не проронившему ни слова.

– Граф! – сказал он. – Боюсь, что нам придется некоторое время подождать. Ворота Трианона открываются около пяти часов утра; если мы нарушим обычай и постучимся раньше этого вре-

мени, наше поведение может вызвать подозрение у зрителей и сторожей.

Бальзаме ничего не отвечал – он лишь кивнул головой в знак согласия.

– Кроме того, – продолжал Филипп, – я успею за это время изложить вам некоторые соображения, появившиеся у меня дорогой.

Бальзаме поднял на Филиппа полный скуки и безразличия взгляд.

– Как вам будет угодно, сударь, – отвечал он. – Говорите, я вас слушаю.

– Вы сказали, – продолжал Филипп, – что в ту ночь, тридцать первого мая, вы доставили мою сестру к маркизе де Саверни?

– Вы имели случай сами в этом убедиться, – заметил Бальзаме, – ведь вы тогда же нанесли этой даме визит, чтобы поблагодарить ее за оказанное вашей сестре гостеприимство.

– Да, и вы прибавили, что так как один из королевских конюхов сопровождал вас от особняка маркизы до нашего дома, то есть на улицу Кок-Эрон, то не оставались с ней ни минуты наедине. Я поверил вам на слово...

– И правильно сделали.

– Однако, вернувшись мысленно к недавним событиям, я был вынужден признать, что месяц назад в Трианоне вы не могли не войти в комнату моей сестры, чтобы поговорить в ту самую ночь, когда вы каким-то образом сумели проскользнуть в сад.

– Я никогда не был в Трианоне в комнате вашей сестры, сударь.

– Выслушайте же меня!.. Видите ли, прежде чем пойти к Андре, мы должны все себе уяснить.

– Уясняйте, господин шевалье, я ничего не имею против, для этого мы и приехали.

– Подумайте хорошенько, прежде чем ответить на мой вопрос, – то, что я вам сейчас скажу, я слышал из уст своей сестры. Так вот, в тот вечер моя сестра рано легла в постель. Значит, вы застали ее в постели?

Бальзамо отрицательно покачал головой.

– Вы отрицаете? Берегитесь! – предупредил Филипп.

– Я не отнекиваюсь, сударь. Вы меня спрашиваете – я отвечаю.

– В таком случае, я продолжаю спрашивать, а вы отвечайте мне.

Слова Филиппа ничуть не задели Бальзамо; напротив, он жестом дал понять молодому человеку, что внимательно его слушает.

– Моя сестра лежала в постели, – продолжал Филипп, все больше распаляясь, – когда вы поднялись к ней и заставили ее уснуть. Лежа в постели, сестра читала. Вдруг она почувствовала оцепенение, которое испытывает всегда в вашем присутствии, и сейчас же потеряла сознание. А вы говорите, что только задавали ей вопросы, а потом уехали, забыв ее разбудить. Однако на следующий день, когда она пришла в себя, – прибавил Филипп, схватив Бальзамо за руку и с силой сжав ее, – она лежала не в постели, а на полу возле софы, и была полуобнажена... Что вы ответите на такое обвинение, сударь? Только не пытайтесь увильнуть от ответа!

Пока Филипп все это говорил, Бальзамо слушал его как во сне, отгоняя одну за другой мрачные мысли, теснившиеся у него в голове.

– Признаться, сударь, вам не следовало бы возвращаться к этой теме и снова пытаться со мной поссориться. Я приехал сюда из сострадания к вашему горю; мне кажется, вы об этом забыли. Вы молоды, вы – офицер, вы привыкли разговаривать свысока, держа наготове шпагу: все это толкает вас на ложный путь и может привести к серьезным последствиям. Когда мы были у меня дома, я сделал больше того, что следовало бы сделать, чтобы убедить вас и чтобы вы оставили меня в покое. Однако, я вижу, вам угодно начать все сначала? Предупреждаю вас: если вы чересчур меня утомите, я уйду в себя, в свои переживания, по сравнению с которыми ваши страдания,

– могу за это поручиться, – просто приятное времяпрепровождение. И уж если я забудусь этим сном – не дай Бог кому-нибудь разбудить меня! Я никогда не входил в комнату вашей сестры. Вот все, что я могу сказать. Напротив, ваша сестра сама – и в этом, признаюсь, сыграла большую роль моя воля – пришла ко мне в сад.

Филипп сделал было нетерпеливое движение, однако Бальзамо его остановил.

– Я обещал представить вам доказательство, – продолжал он, – и вы его получите. Хотите,

чтобы это произошло немедленно? Извольте. Давайте войдем в Трианон, вместо того, чтобы тратить время на пустые разговоры. А может, вы предпочитаете подождать? Давайте подождем, но молча, – не надо попусту сотрясать воздух.

Эти слова были сказаны с уже знакомым нашим читателям нетерпеливым выражением, после чего взгляд Бальзамо снова потух, и он опять погрузился в размышления.

Филипп глухо взревел, словно дикий зверь, собирающийся вцепиться зубами в жертву, потом вдруг опаматовался и подумал:

«Такого человека, как Бальзамо, можно переубедить или одолеть только в том случае, если имеешь хоть какое-нибудь преимущество. Раз я сейчас таким преимуществом не располагаю, придется набраться терпения».

Однако ему не сиделось в карете рядом с Бальзамо; он спрыгнул на землю и стал мерить шагами зеленеющую аллею, где остановилась карета.

Спустя десять минут Филипп почувствовал, что дольше ждать нельзя.

Он был готов приказать раньше времени отпереть ворота, пусть даже с риском возбудить подозрения охраны.

– Кстати сказать, какие могут быть у привратника подозрения, если я ему скажу, что состояние здоровья моей сестры обеспокоило меня до такой степени, что я поехал в Париж за доктором и с рассветом привез его сюда?

– шептал Филипп, отвечая своей мысли, которая уже не раз приходила ему в голову за то короткое время, что он провел с Бальзамо у решетки Трианона.

Желание его было так сильно, что мало-помалу он перестал думать об опасности этой затеи. Приняв окончательное решение, он подбежал к карете.

– Да, вы были правы, – сказал он, – не к чему ждать дольше. Идемте, идемте!

Однако ему пришлось повторить свое приглашение. Только после этого Бальзамо сбросил накидку, в которую он перед тем кутался, застегнул свой широкий темный плащ с пуговицами из вороненой стали и вышел из кареты. Желая сократить путь, Филипп пошел по тропинке, которая привела его к решетке парка.

– Скорее! – сказал он Бальзамо и зашагал так стремительно, что Бальзамо едва за ним поспевал.

Ворота отворились, Филипп объяснил привратнику причину своего появления, и их пропустили.

Когда ворота за ними захлопнулись, Филипп опять остановился.

– Еще одно слово... – молвил он. – Мы у цели. Я не знаю, какой вопрос вы зададите моей сестре. Прошу вас, по крайней мере, избавить ее от расспросов о подробностях отвратительной сцены, которая могла произойти во время ее сна. Избавьте ее чистую душу от той грязи, которая пала на ее девственное тело.

– Сударь! Прошу вас выслушать меня внимательно: я не заходил в парк дальше вон тех деревьев, против служб, где живет ваша сестра. Следовательно, я не был в комнате мадмуазель де Таверне, о чем уже имел честь вам сообщить. Что же касается сцены, которая может, по вашему мнению, оказать нежелательное влияние на рассудок вашей сестры, то смею вас уверить, что все, что она скажет, будет иметь значение для вас, но не для спящей девицы, которая забудет все, как только проснется. А теперь я приказываю вашей сестре уснуть!

Бальзамо остановился, скрестил на груди руки, повернулся лицом к павильону, где жила Андре, и, сдвинув брови, замер, сосредоточенно глядя прямо перед собой.

– Вот и все, – проговорил он, устало уронив руки, – можете быть уверены, что мадмуазель Андре спит сейчас гипнотическим сном.

Лицо Филиппа выражало сомнение.

– Не верите? – продолжал Бальзамо. – Хорошо, подождите. Чтобы доказать вам, что мне незачем было входить к ней в ту ночь, я сейчас прикажу ей спуститься по лестнице и подойти к нам или, лучше, к тому месту, где я с ней разговаривал в последний раз.

– Хорошо, – согласился Филипп. – Если я увижу это своими глазами, я вам поверю.

– Давайте подойдем вон к той аллее и подождем в питомнике.

Филипп и Бальзамо направились к указанному месту.

Бальзамо протянул руку.

Едва он приготовился вызвать девушку, как в соседнем питомнике послышался едва различимый шорох.

– Там кто-то есть! – предостерег Бальзамо. – Осторожно!

– Где? – спросил Филипп, поискав глазами того, о ком говорил граф.

– Вон там, в кустарнике слева, – отвечал тот.

– Да, верно, – молвил Филипп, – это Жильбер, он служил у нас когда-то.

– Есть ли у вас основания опасаться этого человека?

– Не думаю. Впрочем, остановитесь: раз Жильбер уже поднялся, значит, нас могут увидеть другие.

В это время Жильбер в ужасе бросился бежать прочь: увидев Филиппа и Бальзамо вместе, он почувствовал, что погиб.

– На что же вы решились, сударь? – спросил Бальзамо.

– Если у вас в самом деле такая сильная воля, что вы можете заставить мадмуазель Андре выйти к нам, то проявите волю как-нибудь иначе, – вопреки собственному желанию, проговорил Филипп, подпав под гипнотическое обаяние, которое Бальзамо словно распространял вокруг себя. – Не стоит вызывать мою сестру в такое открытое место: здесь кто угодно может услышать ваши вопросы и ее ответы.

– Вовремя вы меня предупредили! – заметил Бальзамо, схватив молодого человека за руку и указывая на окно коридора, в котором появилась Андре в белом одеянии; лицо ее было строго; повинувшись приказанию Бальзамо, она собиралась спуститься по лестнице.

– Остановите, остановите ее! – в растерянности пролепетал испуганный Филипп.

– Хорошо, – молвил Бальзамо. Граф протянул руку и тотчас остановил ее. Словно ожившая статуя, она повернулась и пошла к себе в комнату.

Филипп бросился за ней. Бальзамо последовал за ним. Филипп ворвался в комнату Андре почти в одно время с ней и, схватив девушку в охапку, поспешил ее усадить.

Спустя некоторое время в комнату вошел Бальзамо и притворил за собой дверь.

Несмотря на то, что граф появился почти вслед за Филиппом, некто третий успел проскользнуть в апартаменты раньше него и скрылся в комнате Николь, отлично понимая, что от предстоящего разговора зависит его жизнь. Этим третьим был Жильбер.

Глава 32. РАЗОБЛАЧЕНИЕ

Бальзамо запер входную дверь и появился на пороге комнаты, когда Филипп разглядывал сестру с испугом, к которому примешивалось любопытство.

– Вы готовы, шевадье? – спросил граф.

– Готов, – пролепетал Филипп.

– Итак, мы можем начать задавать вашей сестре вопросы?

– Да, пожалуйста, – тяжело дыша, проговорил Филипп – Прежде чем начать, я прошу вас внимательно посмотреть на вашу сестру.

– Я и так не свожу с нее глаз.

– Вы полагаете, она спит?

– Да.

– Следовательно, она не понимает, что здесь происходит?

Филипп ничего не ответил, он лишь с сомнением покачал головой.

Бальзамо подошел к камину, зажег свечу и поднес ее к лицу Андре: она продолжала смотреть, не мигая.

– Да, да, она спит, это ясно, – подтвердил Филипп, – но что за странный сон. Боже мой!

– Итак, я сейчас начну задавать ей вопросы, – продолжал Бальзамо. – Впрочем, нет: раз вы боитесь, что я могу позволить себе нескромный вопрос, то расспрашивайте ее сами, шевадье.

– Да я пытался только что с ней говорить и даже дотронулся до нее: она меня не слышит и,

кажется, ничего не чувствует.

– Это потому, что между вами еще не установились необходимые для этого отношения. Сейчас я вас сведу.

Бальзамо взял Филиппа за руку и вложил ее в руку Андре.

Девушка тотчас улыbnулась и прошептала:

– А-а, это ты, брат?

– Вот видите, теперь она вас узнает, – заметил Бальзамо.

– До чего все это странно!

– Спрашивайте! Теперь она будет вам отвечать.

– Ежели она ничего не могла вспомнить после пробуждения, как же она вспомнит во сне?

– В этом и состоит одно из таинств науки.

Вздыхнув, Бальзамо отошел в угол комнаты и сел в кресло.

Филипп по-прежнему не двигался, держа Андре за руку. Он никак не решался начать допрос, который должен был подтвердить его бесчестие и открыть имя виновного, которому, возможно, Филипп не мог бы отомстить.

Андре находилась в состоянии, близком к иступлению, хотя лицо ее было скорее безмятежно.

Трепеща от волнения, Филипп повиновался выразительному взгляду Бальзамо и приготовился.

Однако по мере того, как он думал о своем несчастье, по мере того, как лицо его омрачалось, Андре тоже стала хмуриться и вдруг заговорила первой:

– Да, ты прав, брат, это большое несчастье для всей семьи.

Андре передала, таким образом, его мысль, прочитав ее в сердце брата.

Филипп не ожидал такого начала и вздрогнул.

– Какое несчастье? – спросил он, не зная, что на это ответить.

– Ты прекрасно знаешь, брат, о чем я говорю.

– Заставьте ее говорить, сударь, и она все скажет.

– Как же я могу ее заставить?

– Стоит вам только пожелать, и все произойдет само собой.

Филипп посмотрел на сестру, продолжая сосредоточенно думать о своем. Андре покраснела.

– Ах, Филипп, как это дурно с твоей стороны! Почему ты полагаешь, что Андре тебя обманула?

– Значит, ты никого не любишь? – спросил Филипп.

– Никого.

– Стало быть, мне предстоит наказать не соучастника, а преступника?

– Я тебя не понимаю, брат.

Филипп взглянул на графа, словно желая услышать его мнение.

– Поторопите ее, – посоветовал Бальзамо.

– Поторопить?..

– Да, спросите прямо!

– Я не могу не щадить ее целомудрия – ведь это ребенок!

– Можете быть спокойны; когда она проснется, она все забудет.

– Да сможет ли она ответить на мои вопросы?

– Вы хорошо видите? – спросил Бальзамо у Андре. Андре вздрогнула при звуке его голоса и повернула в сторону Бальзамо голову, хотя глаза ее по-прежнему ничего не выражали.

– Я все вижу. Впрочем, я видела бы лучше, если бы меня спрашивали вы.

– Ну что ж, сестра, если ты все видишь, расскажи мне в подробностях о той ночи, когда ты лишилась чувств, – попросил Филипп.

– Почему бы вам, сударь, не начать с тридцать первого мая? Мне кажется, у вас также были сомнения относительно того дня. Сейчас самое время узнать все сразу.

– Нет, граф, – отвечал Филипп, – в этом нет надобности: с некоторых пор я вам верю. Тот, кто обладает властью, подобной вашей, не станет ее употреблять ради достижения столь зауряд-

ной цели. Сестра! – повторил Филипп. – Расскажи мне, что произошло в ту ночь, когда ты лишилась чувств.

– Не помню, – отвечала Андре.

– Слышите, граф?

– Она должна вспомнить и рассказать. Прикажите ей!

– Но если она спала, то?..

– Душа все видела.

Он поднялся, протянул руку и сдвинул брови, что свидетельствовало о напряжении воли.

– Вспоминайте, – молвил он, – я приказываю!

– Вспоминаю, – отвечала Андре.

– Боже мой! – воскликнул Филипп, вытирая со лба пот.

– Что вам угодно знать?

– Все! – выдохнул Филипп.

– С чего начать?

– С того, как ты легла в постель.

– Вы себя видите? – спросил Бальзамо.

– Да, я себя вижу: я держу в руке стакан с питьем, приготовленным Николь... О Господи!

– Что такое? В чем дело?

– Ничтожная!

– Говори, сестра, говори же!

– Она что-то подмешала в воду. Если я ее выпью, я погибла!

– Что-то подмешала? – вскричал Филипп. – Зачем?

– Погоди, погоди...

– Сначала расскажи, что ты сделала с этим питьем.

– Я поднесла его к губам.., и в эту минуту...

– Что?

– Меня позвал граф.

– Какой граф?

– Вот он! – проговорила Андре, указывая рукой на Бальзамо.

– Что было потом?

– Я отставила стакан и уснула.

– А дальше? Что было дальше?

– Я встала и пошла к нему.

– Где был граф?

– Под липами напротив моего окна.

– Скажи, сестра: граф не заходил к тебе?, – Ни на мгновение.

Бальзамо взглянул на Филиппа с таким видом, который ясно говорил: «Теперь вы сами видите, сударь, обманывал ли я вас».

– Так ты говоришь, что пошла к графу?

– Да, я ему повинуюсь, когда он меня зовет.

– Что от тебя было угодно графу? Андре не знала, что ответить.

– Говорите, говорите! – воскликнул Бальзамо. – Я не буду слушать.

Он упал в кресло, обхватив голову руками, словно не хотел слышать, что скажет Андре.

– Что от тебя было нужно графу? Отвечай.

– Он хотел узнать у меня о...

Она снова замолчала, словно боялась причинить графу боль.

– Продолжай, сестра, продолжай, – попросил Филипп.

...об одной женщине, которая сбежала из его дома, а... – Андре понизила голос, – сейчас она уже мертва.

Несмотря на то, что Андре произнесла последние слова едва слышно, Бальзамо разобрал или, вернее, угадал их. Он глухо застонал.

Филипп замолчал. Наступила тишина.

– Продолжайте, продолжайте, – молвил Бальзамо. – Ваш брат желает знать все, мадмуазель; он должен все узнать. Что сделал тот господин после того, как получил интересовавшие его сведения?

– Он ускакал, – отвечала Андре.

– А ты осталась в саду? – спросил Филипп.

– Да.

– Что было с тобой потом?

– Когда он начал удаляться, меня стали покидать силы, и я упала.

– Ты потеряла сознание?

– Нет, я по-прежнему спала, но очень крепко.

– Ты можешь вспомнить, что с тобой случилось, пока ты спала?

– Попытаюсь.

– Что же произошло? Говори!

– Из кустов выскочил человек, поднял меня на руки и понес...

– Куда?

– Сюда, в комнату.

– Ты можешь сказать, кто был этот человек?

– Погодите.., да.., да... О! – с отвращением и беспокойством воскликнула Андре. – Опять этот ничтожный Жильбер!

– Жильбер?

– Да.

– Что он сделал потом?

– Опустил меня на софу.

– Что было дальше?

– Погоди...

– Смотрите, смотрите хорошенько, – приказал Бальзамо. – Я желаю, чтобы вы увидели!

– Он прислушивается... Идет в соседнюю комнату... В испуге отступает. Заходит в комнату Николь... Боже, Боже!

– Что?

– За ним следом появляется еще кто-то... А я не могу даже встать, защитить себя, крикнуть: я сплю!

– Кто этот человек?

– Брат, брат, где ты?

Глубокое страдание исказило лицо Андре.

– Кто этот человек? Говорите, я приказываю! – проговорил Бальзамо.

– Король!.. – пробормотала Андре. – Это король! Филипп вздрогнул.

– А-а, я так и думал, – прошептал Бальзамо.

– Он подходит ко мне, – продолжала Андре, – он мне что-то говорит, обнимает, целует... Брат! Брат!

Крупные слезы навернулись Филиппу на глаза; он схватился рукой за эфес подаренной Бальзамо шпаги.

– Говорите! Говорите! – властным тоном приказал граф.

– Какое счастье! Он смутился.., останавливается-смотрит на меня... Испугался чего-то.., убеждает... Андре спасена!

Филипп задыхался, жадно ловя каждое слово сестры.

– Спасена!

Андре спасена! – машинально вторил он ей.

– Подожди, брат, подожди!

Словно ища поддержки, девушка схватила Филиппа за руку.

– Дальше! Что было дальше? – спросил Филипп.

– Не понимаю...

– Как?

– Там, там, в комнате Николь, с ножом в руке...

– С ножом в руке?

– Я вижу его, он смертельно побледнел.

– Кто?

– Жильбер.

Филипп слушал, затаив дыхание.

– Он крадется за королем, – продолжала Андре, – запирает дверь, наступает на свечку, от которой едва не загорелся ковер; он подходит ко мне... О!..

Девушка бросилась брату в объятия, так и затрепетав всем телом.

– Ничтожество! – вымолвила она наконец и, обессилив, рухнула на софу.

– Боже мой! – воскликнул Филипп, не имея сил прервать ее.

– Это он! Он! – прошептала девушка. Она прильнула к уху брата и, сверкая глазами, спросила его дрогнувшим голосом:

– Ты его убьешь, правда, Филипп?

– О да! – вскричал молодой человек, подскочив на месте.

Он задел стоявший позади него круглый столик с фарфоровой посудой и опрокинул его.

Посуда разбилась.

Вслед за звоном разбитого фарфора стало слышно, как громко хлопнула дверь; потом истошный крик Андре заглушил все другие звуки.

– Что такое? – спросил Бальзамо. – Почему открылась дверь?

– Нас подслушивали? – вскричал Филипп, хватаясь за шпагу.

– Это был он, – проговорила Андре, – опять он!

– Кто он?

– Жильбер, все он же! Ведь ты убьешь его, правда, Филипп? Ты его убьешь?

– Да, да, да! – воскликнул молодой человек. Он бросился в переднюю, не выпуская из рук шпагу, Андре снова рухнула на софу.

Бальзамо побежал за молодым человеком и схватил его за руку.

– Остановитесь, сударь! – предупредил он. – Тайное станет явным. Уже утро, а слухи в королевских домах распространяются быстро!

– Жильбер, – шептал Филипп, – Жильбер спрятался и подслушивал нас! Ведь я еще раньше мог его убить! Будь ты проклят, негодяй!

– Успокойтесь! Вы еще встретитесь с ним. Сейчас вам необходимо позаботиться о сестре. Видите, как она устала от пережитых волнений.

– Да, я понимаю, она, должно быть, невыносимо страдает, мне самому очень тяжело. Какое страшное, непоправимое горе! Я этого не вынесу!

– Вы ради нее должны жить, шевалье, вы нужны ей, ведь у нее, кроме вас, никого нет: любите ее, жалейте, берегите! А теперь, – продолжал он после некоторого молчания, – я вам больше не нужен, не правда ли?

– Нет, сударь! Простите мне мою подозрительность, мои оскорбления. Впрочем, все зло исходит от вас.

– Я и не пытаюсь оправдываться, шевалье. Однако, разве вы забыли, что сказала ваша сестра?..

– А что она сказала? У меня голова идет кругом.

– Если бы я не пришел, она выпила бы воду с подмешанным Николь зельем, и тогда на месте Жильбера оказался бы король. Разве, по-вашему, это было бы меньшее несчастье?

– Нет, сударь, все равно... Я вижу, что мы были обречены. Разбудите мою сестру.

– Она меня увидит и, возможно, догадается, что здесь произошло. Будет лучше, если я разбужу ее так же, как и уснул: на расстоянии.

– Благодарю вас, благодарю!

– Прощайте, сударь.

– Еще одно слово, граф. Надеюсь, вы – порядочный человек.

– Вы имеете в виду молчание?

– Граф...

– Об этом не стоит говорить. Во-первых, я – дворянин; во-вторых, я решил совсем удалиться от людей, скоро я позабуду их вместе с их тайнами. Впрочем, если я когда-нибудь вам понадобится, вы всегда можете на меня рассчитывать. Да нет, нет, я ни на что больше не способен, я ничего больше не значу на этой земле. Прощайте, сударь, прощайте!

Поклонившись Филиппу, Бальзамо еще раз взглянул на Андре: голова ее была запрокинута; по всему было видно, что она очень утомлена и тяжело страдает.

– О наука! – пробормотал он. – Сколько жертв ради ничтожной цели!

Он исчез.

По мере того, как он удалялся, Андре оживала. Она с трудом приподняла тяжелую, будто свинцом налитую голову и с удивлением посмотрела на брата.

– Филипп! – прошептала она. – Что здесь произошло?

Филипп подавил душившие его слезы и через силу улыбнулся.

– Ничего, сестренка, – отвечал он.

– Ничего?

– Да.

– А мне показалось, что я сошла с ума и бредила!

– Бредила? И что тебе пригрезилось в бреду, дорогая моя Андре?

– Я видела во сне доктора Луи.

– Андре! – воскликнул Филипп, пожимая ей руку. – Ты чиста, словно солнечный луч. Однако все против тебя, все готово тебя погубить. Мы связаны с тобой ужасной тайной. Я пойду к доктору Луи и попрошу его сказать ее высочеству, что ты больна оттого, что очень скучаешь по родным местам и что тебе необходимо пожить в Таверне. А потом мы уедем – либо в Таверне, либо еще куда-нибудь. Мы будем жить друг для друга, любя и утешая один другого...

– Брат! Если я чиста, как ты говоришь... – начала было Андре.

– Дорогая Андре! Я объясню тебе все это потом, а пока готовься к отъезду.

– А как же отец?

– Отец? – мрачно переспросил Филипп. – Это мое дело, я сам его приготовлю.

– Так он поедет с нами?

– Отец? Нет, это совершенно невозможно! Нет, Андре, мы с тобой уедем одни, только ты и я.

– Ты меня пугаешь, друг мой! Мне страшно, брат! Ах, как я страдаю, Филипп.

– С нами Бог, Андре, – проговорил молодой человек. – Ну, мужайся. Я бегу к доктору, а ты, Андре, хорошенько запомни: ты заболела от тоски по Таверне и скрывала это от ее высочества. Соберись с силами, сестричка! Это вопрос чести для нас обоих!

Филипп поцеловал сестру и торопливо отвернулся, он задыхался.

Потом он подобрал обретенную шпагу, дрожащей рукой вложил ее в ножны и бросился к лестнице.

Спустя четверть часа он уже стучался в дверь доктора Луи; все время, пока двор находился в Трианоне, доктор жил в Версале.

Глава 33. САДИК ДОКТОРА ЛУИ

Доктор Луи, у двери дома которого мы оставили Филиппа, гулял в небольшом садике, окруженном со всех четырех сторон высокими стенами; сад этот был когда-то частью угодий старого монастыря урсулинок, превращенного позднее в фуражный амбар для королевских драгунов.

Доктор Луи читал на ходу пробный оттиск своего нового труда; время от времени он наклонялся и вырывал сорняк либо в аллее, по которой он прохаживался взад и вперед, либо с одной из клумб, расположенных по обе стороны от него; эти сорняки раздражали его нарушением симметрии и порядка.

Единственная служанка, на попечении которой находилось все хозяйство доктора, была ворчуньей, как это частенько бывает с услужающими у трудолюбивых господ, которые не любят, чтобы их беспокоили по пустякам.

Когда под рукой Филиппа звякнул бронзовый молоток, служанка подошла к двери и приотворила ее.

Не вступая с ней в переговоры, молодой человек толкнул дверь и вошел. Оказавшись в аллее, он окинул взглядом сад и увидел доктора.

Не обращая внимания на возмущенные крики бдительной сторожихи, он поспешил в сад.

На шум его шагов доктор поднял голову.

– А! Это вы?! – спросил он.

– Прошу прощения, доктор, за то, что я проник к вам незванный и нарушил ваше одиночество. Однако наступила та самая минута, которую вы предвидели: вы мне очень нужны, я пришел к вам за помощью.

– Я обещал вам помочь, – отвечал доктор, – и я весь к вашим услугам.

Филипп поклонился. Он был слишком взволнован, чтобы самому начать разговор.

Доктор Луи понял причину его молчания.

– Как чувствует себя больная? – спросил он, обеспокоенный бледностью Филиппа и предстоявшим исходом драмы.

– Очень хорошо, слава Богу! Моя сестра – столь достойная и честная девушка, доктор, что было бы, признаться, несправедливо, если бы Господь послал ей страдание или навлек на нее какую-нибудь опасность!

Доктор вопросительно посмотрел на Филиппа: его слова, как ему казалось, противоречили тому, что он говорил накануне.

– Так, значит, она стала жертвой чьих-нибудь козней или попала в ловушку?

– Да, доктор, она – жертва неслыханных козней, она попала в страшную ловушку.

Доктор прижал руки к груди и поднял глаза к небу.

– Увы, в этом смысле мы живем в ужасное время! Я полагаю, что настал час врачей целых наций, а не отдельных индивидов, – проговорил доктор.

– Да, – согласился Филипп, – пусть придут эти врачи, я первый готов их приветствовать, а пока... Филипп позволил себе угрожающий жест.

– Вы, как мне кажется, из тех, кто полагает, что можно исправить совершенное зло насилием и физическим уничтожением преступника, – предположил доктор.

– Да, я в этом уверен, – невозмутимо проговорил Филипп.

– Дуэль... – со вздохом заметил доктор. – Дуэль не вернет вашей сестре честь даже в том случае, если вы убьете виновного, и приведет ее в отчаяние, если будете убиты вы. А я считал, что вы не лишены здравого смысла!.. Мне казалось, вы сами сказали, что хотите сохранить всю эту историю в тайне?

Филипп коснулся руки доктора.

– Сударь! – сказал он. – Вы обо мне плохого мнения. Я не лишен здравого смысла, основанного на глубоком убеждении и незапятнанной совести. Я хочу не отомстить за себя, но добиться справедливости; я стремлюсь не к тому, чтобы меня убили на дуэли, а моя сестра осталась одна и умерла от горя; я хочу отомстить за нее, убив негодяя.

– И вы убьете его, вы, дворянин? Вы готовы совершить убийство?

– Сударь! Если бы я видел, как за десять минут до преступления он прошмыгнул, словно вор, в комнату, к которой его низкое происхождение не позволяет ему близко подходить, и если бы я тогда убил его, всякий сказал бы, что я поступил правильно. Почему же я должен пощадить его теперь? Уж не преступление ли сделало его неприкосновенным?

– Вы, значит, окончательно решились на это кровавое преступление?

– Да, это дело решенное! Рано или поздно я найду его, где бы он ни скрывался, и клянусь вам, что я убью его без малейшей жалости, без угрызений совести, я убью его, как собаку!

– В таком случае, – заметил доктор Луи, – вы совершите преступление, не уступающее тому, что уже совершено, а возможно, и более ужасное: ведь никто не знает, как неосторожное слово или необдуманный кокетливый жест, случайно вырвавшийся у женщины, могут вызвать влечение мужчины, пробудить его дурные наклонности... Убить!.. Можно попробовать исправить положение иначе. Существует брак, например...

Филипп поднял голову.

– Разве вы не слышали, что имя Таверне-Мезон-Руж известно со времен крестовых походов, а моя сестра – столь же знатного происхождения, как инфанта или эрцгерцогиня?

– Да, понимаю, а виновник несчастья – без роду и племени, деревенщина, презренный, как говорите вы, знатные господа. Да, да, правда, – с горькой усмешкой продолжал он, – Господь создал одних людей из глины второго сорта, чтобы их могли убивать другие люди, сделанные из более нежной. Да, вы правы, убивайте, сударь, убивайте!

Доктор повернулся к Филиппу спиной и стал вырывать сорняки.

Филипп скрестил руки на груди.

– Доктор! Выслушайте меня! – молвил он. – Речь не идет о соблазнителе, которого более или менее обнадружила кокетка; речь не идет о человеке, которого кто-то на это вызвал. Речь идет о презренном, воспитанном и вскормленном из жалости в нашем доме. Он проник ночью в комнату моей сестры и, воспользовавшись тем, что она находилась под гипнозом в бесчувственном состоянии, похожем на глубокий обморок или даже смерть, предательски, подло осквернил самую святую и чистую из женщин, на которую при свете дня он не смел поднять глаз. Трибунал безусловно приговорил бы его к смертной казни. Ну так я сам осужу его столь же бесстрастно, как трибунал, и предам смерти. Доктор! Вы показали мне благородным и великодушным! Неужели вы заставите меня заплатить за вашу услугу тем, что я должен буду принять ваше условие? Неужели, оказывая мне услугу, вы поступите подобно тем, кто, делая одолжение, получает удовольствие от того, что за свою услугу заставляет другого почувствовать себя обязанным? Если это так, доктор, значит, вы не тот святой, вызывавший мое восхищение, вы – обыкновенный человек, и, несмотря на высокое положение, с которым вы недавно со мной разговаривали, я выше вас, потому что чистосердечно открыл вам свою тайну.

– Так вы говорите, что виновный сбежал? – в задумчивости проговорил доктор.

– Да. Разумеется, он догадался, что скоро его преступление откроется. Он услышал, что его обвиняют, и сбежал.

– Хорошо. Теперь скажите мне, что вам угодно, – спросил доктор.

– Мне необходима ваша помощь, чтобы увезти сестру из Версаля и надежно скрыть ужасную тайну, способную обесчестить нас, если она откроется.

– Я поставлю вам только одно условие. Филипп так и взвился.

– Выслушайте меня! – продолжал доктор, жестом призывая Филиппа успокоиться. – Христианский философ, которого вы только что сделали своим исповедником, вынужден поставить вам условие не как плату за оказываемую услугу, а по праву совести. Человечность – не добродетель; это – необходимость. Вы мне толкуете об убийстве человека, я же обязан вам в этом помешать любым доступным мне способом, даже силой. Итак, заклинаю вас: дайте мне обещание!

– Никогда! Никогда!

– Нет, вы это сделаете! – вскричал доктор Луи. – Вы сделаете это, кровожадный человек! Научитесь повсюду видеть Божью десницу и не пытайтесь отвести ее удар. Так вы говорите, что преступник был у вас почти в руках?

– Да, доктор. Если бы, войдя в апартаменты, я догадался, что он прячется за дверью, я столкнулся бы с ним нос к носу.

– Ну, а теперь он сбежал, он трепещет от страха: начались его муки, А-а, вы улыбаетесь, вам кажется, что божье наказание слишком слабо. Погодите! Погодите! Погодите же! Вы должны остаться с сестрой и пообещать мне, что никогда не будете преследовать преступника. Если же вы его встретите случайно, другими словами, если Бог сам выдаст вам его, вот тогда... Я же человек, я понимаю ваши чувства... Вот тогда вы и решите, что вам с ним делать.

– Вы заблуждаетесь: ведь так он всю жизнь может избегать меня.

– Как знать... Ах, Боже мой! Убийце тоже иногда удастся сбежать; он скрывается, он боится эшафота, однако правосудие словно магнитом притягивает к себе виновного, и он неизбежно оказывается в руках палача. И потом, разве стоит сейчас разрушать то, чего вы достигли с таким трудом? Разве вы сможете доказать невиновность своей сестры людям, среди которых вы живете? Вы убьете человека на глазах у праздных зевак и потешите их любопытство дважды: сначала признае-

тес в убийстве, потом вынуждены будете рассказать об отмщении, а это вызовет скандал. Нет, нет, поверьте: лучше молчать, похороните несчастье в своем сердце.

– А кто узнает, что я убил негодяя из желания отомстить за сестру?

– Надо же будет как-нибудь объяснить убийство!

– Ну хорошо, доктор, я готов подчиниться и обещаю, что не стану преследовать преступника. Но ведь Бог справедлив! Безднаказанность – только приманка: Господь непременно отдаст мне его в руки!

– В таком случае это будет означать, что Господь приговорил его к смерти. Вашу руку, сударь!

– Вот она!

– Что я должен сделать для мадмуазель де Таверне? Приказывайте.

– Необходимо найти подходящий предлог, дорогой господин доктор, чтобы увезти ее на некоторое время из Трианона: тоска по родным местам, необходимость в свежем воздухе, особое питание...

– Это несложно.

– Это ваше дело, в этом я полагаюсь на вас. Я увезу сестру в тихое место, в Таверне, к примеру, подальше от любопытных глаз, от подозрений...

– Нет, нет, это невозможно: бедной девочке нужен постоянный уход и ласковые утешения, ей не обойтись без медицинской помощи. Дайте мне возможность навещать вас неподалеку отсюда, в каком-нибудь известном мне кантоне, в хорошо скрытом от чужих глаз месте, в сто раз более надежном, нежели медвежий угол, куда вы хотите ее увезти.

– Вы так считаете, доктор?

– Да, я полагаю, и не без оснований, что так будет лучше. Чем дальше вы будете от столицы, тем больше вызовете подозрений. Подозрение – словно круги от упавшего в воду камня: чем дальше от центра, тем шире. Однако что-то камень никуда не денется: круги исчезают со временем, зато никто так и не может найти причину волнения, потому что она надежно похоронена под толщей воды.

– Ну, доктор, в таком случае – за дело!

– Все будет устроено сегодня же.

– Предупредите ее высочество.

– Я переговорю с ней утром.

– А все остальное?..

– Через двадцать четыре часа вы получите мой ответ.

– Благодарю вас, доктор, вы для меня – все.

– Раз мы обо всем условились, молодой человек, вам надлежит исполнить следующее: возвращайтесь к сестре и постарайтесь ее утешить. Берегите ее!

– Прощайте, доктор, прощайте.

Доктор провожал Филиппа глазами до тех пор, пока тот не исчез из виду; потом вернулся к книге и к сорнякам.

Глава 34. ОТЕЦ И СЫН

Когда Филипп возвратился к сестре, он заметил, что она чем-то встревожена.

– Друг мой! – заговорила она. – Пока тебя не было, я хорошенько обдумала все, что произошло со мной за последнее время. Мне кажется, я сойду с ума! Ну как, ты виделся с доктором Луи?

– Я только что от него, Андре.

– Этот господин выдвинул против меня страшное обвинение: оно подтвердилось?

– Он не ошибся, сестренка.

Андре побледнела и нервно сдвинула свои тонкие белые пальчики.

– Имя! – воскликнула она. – Я хочу знать имя погубившего меня негодяя.

– Сестра! Ты не должна знать его!

– Филипп! Почему ты не хочешь сказать мне правду? Ты лжешь самому себе... Я должна

знать его имя. Пусть я слаба, пусть в моем распоряжении только молитва! Я буду молиться о том, чтобы Божий гнев настиг этого преступника.. Имя этого человека, Филипп!

– Дорогая сестра! Давай никогда больше об этом не говорить!

Андре схватила его за руку и заглянула ему в глаза.

– Так вот как ты мне отвечаешь? А еще шпагу нацепил.

Филипп побледнел от бешенства, однако тотчас взял себя в руки. – Андре! – заговорил он. – Я не могу сообщить тебе того, чего сам не знаю. Судьба к нам немилостива: от меня скрыта эта тайна. Впрочем, если бы разразился скандал, это скомпрометировало бы честь нашей семьи, однако Бог милостив, и тайна ненарушима...

–..кроме одного человека, Филипп... Для того, кто веселится сейчас, кто смеется над нами!.. О Господи! Этот подлец спрятался в надежном месте и в душе издевается над нами!

Филипп сжал кулаки, поднял к небу глаза и не произнес ни слова в ответ.

– Может быть, я знаю этого человека? – вскричала Андре, кипя от гнева и возмущения. – Позволь, Филипп, я сама тебе его представлю: ведь я заметила, какое странное влияние он на меня оказывает. Мне кажется, я просила тебя к нему съездить...

– Этот человек ни в чем не виноват. Я с ним виделся, и у меня есть доказательство... Не думай об этом больше, Андре, не думай..

– Филипп! Возьмем выше. Поищем виновника среди первых людей королевства... Может, это сам король?..

Филипп обнял бедную девочку, терявшуюся в догадках и кипевшую возмущением.

– Знаешь, Андре, ты всех этих людей перебирала во сне и оправдала их, потому что видела, если можно так выразиться, как совершилось это преступление.

– Значит, я назвала виновного? – воскликнула она; взор ее пылал.

– Нет, – возразил Филипп, – нет! Ни о чем меня больше не спрашивай! Последуй моему примеру: смирись с тем, что произошло, горе это непоправимо, а для тебя оно вдвойне тяжело из-за того, что виновник его до сих пор не наказан. Но не надо терять надежду... С нами – Бог, он отомстит за нас.

– Отомстит!.. – шепотом повторяла она, напуганная тем, как страшно Филипп выговорил это слово.

– А пока тебе надо отдохнуть, сестренка, от всех твоих печалей, от пережитого стыда, от боли, которую я причинил тебе своими глупыми расспросами. Если бы я знал!.. Ах, если бы я знал...

В отчаянии он обхватил руками голову. Поднявшись резко, он продолжал с улыбкой:

– На что мне жаловаться? Моя сестра чиста и невинна, она меня любит! Она не предала ни моего доверия, ни моей дружбы. Моя сестра так же молода, как и я, так же добра; мы будем жить вместе и вместе состаримся... Вдвоем мы будем сильнее целого света!..

По мере того, как молодой человек пытался утешить Андре, она все больше хмурилась. Ее бледное чело клонилось к земле, неподвижный взгляд и вся ее поза свидетельствовали о глубоком отчаянии, которое Филипп изо всех сил пытался рассеять.

– Ты все время говоришь о нас двоих! – молвила она, подняв голубые глаза и внимательно разглядывая подвижное лицо брата.

– О ком же мне еще говорить, Андре? – спросил молодой человек, выдерживая ее взгляд.

– У нас же.., есть отец... Как он отнесется к своей дочери?

– Я тебе еще вчера сказал, чтобы ты оставила все свои печали и страхи, – холодно проговорил Филипп. – Как ветер разгоняет утренний туман, так и ты постарайся, чтобы рассеялись все твои воспоминания и чувства, кроме тех, которые ты испытываешь ко мне... По правде говоря, дорогая Андре, тебя никто на свете не любит, кроме меня, а меня никто не любит, кроме тебя. Мы – несчастные, все» ми брошенные сироты, почему мы должны себя связывать родственными обязательствами или испытывать к кому-нибудь признательность? Разве мы когда-нибудь были благодарены или чувствовали отцовскую заботу?.. Ты читаешь в моих мыслях и чувствах... Если бы тот, о ком ты говоришь, заслуживал твою любовь, я сказал бы:

«Люби его!» Но я молчу, воздержись и ты, Андре.

– Что ты хочешь сказать?

– В дни великих испытаний человек, сам того не желая, слышит хорошо знакомые с раннего детства и не создаваемые им до той поры слова: «Бойся Бога!..» Да, Господь напомнил нам о себе в страшную минуту!.. «Чти отца своего...» Сестра! Самое убедительное доказательство почти-тельного отношения к нашему отцу – вычеркнуть его из памяти.

– Ты прав... – огорченно прошептала Андре, опускаясь в кресло.

– Дорогая моя! Не будем терять времени на пустые разговоры. Собери вещи. Доктор Луи обещал предупредить ее высочество о твоём отъезде. Ты знаешь, какой предлог он для этого избрал: необходимость в перемене мест, необъяснимые боли... Итак, будь готова к отъезду.

Андре встала.

– Мебель упаковывать? – спросила она.

– Нет, только белье, одежду и драгоценности.

Андре повиновалась.

Она достала из шкафов дорожные сундуки, а из Гардероба, в котором прятался Жильбер, свою одежду, потом она взяла футляры с драгоценностями, собираясь положить их в главный сундук.

– Что это? – спросил Филипп.

– Это – ларец с ожерельем, который его величество соблаговолили прислать мне во время моего выступления в Трианоне.

Филипп побледнел, когда рассмотрел, какой это был дорогой подарок.

– Если мы продадим эти драгоценности, – продолжала Андре, – мы где угодно сможем прожить безбедно. Я слышала, что один только жемчуг оценивается в сто тысяч ливров.

Филипп захлопнул ларец.

– В самом деле, очень дорогое ожерелье, – проговорил он, забирая у Андре королевский подарок. – Сестра! У тебя, я полагаю, есть другие драгоценности?

– Да, дорогой друг, но они не идут с этими ни в какое сравнение. Впрочем, они украшали туалет нашей матери лет пятнадцать назад... Часы, браслеты, серьги отделаны бриллиантами. Еще есть портрет. Отец хотел все продать, он говорил, что все это уже вышло из моды.

– Но это все, что у нас осталось, последние наши средства, – сказал Филипп. – Мы отдадим золотые вещи в переплавку, продадим камни из портрета. За это мы выучим двести тысяч ливров и на эти деньги сможем жить вполне достойно.

– Но.., этот ларец с жемчугом принадлежит мне! – заметила Андре.

– Никогда не прикасайся к этому жемчугу, иначе обожжешься. Каждая из этих жемчужин обладает необычными свойствами... Они оставляют пятна на лбах, к которым прикасаются...

Андре содрогнулась.

– Я оставлю этот ларец у себя, сестра, чтобы передать его владельцу. Повторяю: это не наша вещь, нет, и мы на нее не претендуем.

– Как тебе угодно, брат, – отвечала Андре, дрожа от стыда.

– Дорогая сестричка! Оденься в последний раз, чтобы нанести визит ее высочеству. Держись с ней спокойно, почтительно, дай ей понять, что тебе жаль уезжать от столь благородной покровительницы.

– Да, мне в самом деле очень жаль, – в волнении прошептала Андре. – Это тем более тяжело в моем несчастье.

– Я сейчас отправляюсь в Париж, сестричка, и вернусь к вечеру. Мы уедем отсюда, как только я вернусь. Расплатись пока со всеми долгами.

– Я никому ничего не должна – ведь Николь убежала... А-а, я забыла Жильбера...

Филипп вздрогнул: глаза его засверкали.

– Ты задолжала Жильберу? – вскричал он.

– Да, – самым естественным тоном отвечала Андре, – он с начала сезона поставлял мне цветы. Ты сам мне говорил, что иногда я бываю слишком сурова и несправедлива к этому юноше, а он очень вежлив... Я попробую отплатить ему иначе...

– Не ищи Жильбера, – пробормотал Филипп.

– Почему? Должно быть, он в саду, я его, пожалуй, вызову сюда.

– Нет, нет! Не стоит терять драгоценное время... Я сейчас пойду через аллеи и найду его... Я сам с ним поговорю... Я с ним расплачусь...

– Ну, хорошо.

– Да, прощай! До вечера!

Филипп поцеловал у девушки руку; она сжала его в объятиях, и он услышал, как стучит ее сердце. Не теряя времени, он отправился в Париж, и вскоре карета остановилась у ворот небольшого особняка на улице Кок-Эрон. Филипп был уверен, что найдет там отца. Со времени своей непонятной ссоры с Ришелье жизнь в Версале стала казаться старику невыносимой, и он пытался, как всякий человек действия, обмануть угрызения совести, перемещаясь с места на место.

Когда Филипп постучал в слуховое оконце калитки, барон с проклятиями мерил шагами небольшой сад особняка и прилежавший к саду дворик.

Заслышав стук, он вздрогнул от неожиданности и пошел отпираться сам.

Он никого не ждал и потому этот неожиданный визит пробудил в нем надежду: в своем падении несчастный старик пытался ухватиться за любой сук.

Вот почему он встретил Филиппа с чувством досады, а также с едва заметным любопытством.

Однако, едва он взглянул на своего юного собеседника и увидел застывшее выражение мертвенно-бледного лица и плотно сжатые губы, как ему тотчас расхотелось задавать вопросы, уже готовые было сорваться с языка.

– Вы? – только и произнес он. – Какими судьбами?

– Я буду иметь честь объяснить вам это в свое время, – отвечал Филипп.

– Что-нибудь серьезное?

– Да, это весьма серьезно.

– Вечно этот мальчишка пугает своими дурацкими церемониями!.. Ну, какую же новость вы мне принесли: приятную или неприятную?

– Ужасную! – торжественно промолвил Филипп. Барон покачнулся.

– Мы одни? – спросил Филипп.

– Ну да!

– Не угодно ли вам будет войти в дом?

– Почему бы нам не поговорить на свежем воздухе, вот под этими деревьями?..

– Потому что есть вещи, о которых не говорят под открытым небом.

Барон взглянул на сына и, повинувшись его молчаливому приглашению, последовал за ним в комнату с низким потолком, придав себе невозмутимый вид и даже выдавив улыбку. Филипп уже отворил дверь.

После того, как двери были тщательно заперты, Филипп подождал, пока отец подаст ему знак начинать. Когда барон удобно расположился в лучшем кресле гостиной, Филипп заговорил.

– Отец! – сказал он. – Мы с сестрой решили с вами расстаться.

– Как так? – в величайшем изумлении спросил барон. – Вы собираетесь отлучиться?.. А как же служба?

– Для меня службы больше не существует: как вы знаете, обещание короля не выполнено... к счастью.

– Я не понимаю, что значит «к счастью».

– Отец...

– Объясните, как можно чувствовать себя счастливым оттого, что не стал полковником отличного полка? Вы уж слишком далеко заходите в своей философии.

– Я захожу достаточно далеко, чтобы не отдавать предпочтения бесчестию перед состоянием, только и всего. Впрочем, не будем вдаваться в подобного рода рассуждения...

– Нет уж, черт побери, почему же не поговорить?!

– Я прошу вас!.. – проговорил Филипп так твердо, словно хотел сказать: «Я не желаю!» Барон насупился.

– А что ваша сестра?.. Неужто и она забыла свои обязанности, службу у ее высочества...

– Отныне она должна пожертвовать этими обязанностями во имя других.

– Какого рода эти ее новые обязанности, скажите на милость?

– Насущно необходимые!

Барон поднялся.

– Самая глупая порода людей, – проворчал он, – та, что обожают говорить загадками.

– Разве для вас загадка – то, о чем я с вами толкую?

– Я не понимаю ни слова! – воскликнул барон, с апломбом, удивившим Филиппа.

– В таком случае, я готов объясниться: моя сестра уезжает, потому что вынуждена избегать бесчестия. Барон расхохотался.

– Тысяча чертей! Что за примерные у меня дети! Сыну наплевать на возможность получить полк, потому что он опасается бесчестия! Дочь оставляет теплое местечко, потому что боится бесчестия! Может, я живу во времена Брута и Лукреции? Наше время, – разумеется, дурное: ведь оно ни в какое сравнение не идет с золотым веком философии. Прежде, если человек замечал, что ему грозит бесчестие, – а он, как вы, носил шпагу и брал, как и вы, уроки фехтования у двух учителей и трех их учеников, – он просто-напросто поднимал обидчика на шпагу, Филипп пожал плечами.

– Да, то, что я говорю – малоубедительно для филантропа, который не выносит вида крови. Однако офицерами рождаются совсем не для того, чтобы стать потом филантропами.

– Я не хуже вашего понимаю, что такое долг чести, но пролитая кровь отнюдь не искупает...

– Пустые фразы!.. Так может говорить..., философ! – вскричал старик, выглядевший в гневе даже довольно величественно. – Мне следовало бы сказать: трус!

– Вы хорошо сделали, что не сказали этого, – заметил Филипп, побледнев и задрожав от негодования.

Барон выдержал полный лютой ненависти, угрожающий взгляд сына.

– Я уже говорил, – продолжал он, – и мои слова не лишены здравого смысла, как бы ни пытались меня убедить в обратном: бесчестие в нашем мире идет не от самого поступка, а от пересудов. Да, это так и есть!.. Если вы совершите преступление перед глухим, слепым или немой, разве вы будете обещены? Ну конечно, вы сейчас приведете мне этот глупый афоризм: «Преступление грозит нечистой совестью, а не плахой». Такие речи хороши для женщин и детей, а с мужчиной, черт побери, говорят на другом языке!.. Я воображал, что мой сын – мужчина... Если слепой прозрел, глухой начал слышать, немой заговорил, вы должны со шпагой в руках выколоть глаза одному, проткнуть барабанные перепонки другому, отрезать язык третьему. Вот как отвечает обидчику, посягнувшему на его честь, дворянин, носящий имя Таверне-Мезон-Руж!

– Дворянин, носящий это имя, заботится прежде всего о том, чтобы имя его осталось незапятнанным. Вот почему я оставляю ваши доводы без ответа. Прибавлю только, что бывают случаи, когда бесчестие неизбежно. Именно в таком положении мы с сестрой и оказались.

– Перейдем к вашей сестре. Если, по моему глубокому убеждению, мужчина не должен избегать возможности сразиться с врагом и победить его, женщина тоже должна уметь ждать, не сходя с места. Для чего нужна добродетель, господин философ, если не для того, чтобы отражать атаки, предпринимаемые пороком? В чем заключается торжество этой добродетели, если не в поражении порока?

Таверне захохотал.

– Мадмуазель де Таверне очень испугалась..., верно?..» Вот она и почувствовала себя беспомощной... А... Филипп порывисто шагнул к отцу.

– Отец! – молвил он. – Мадмуазель де Таверне оказалась не беспомощной, а побежденной! Ей не повезло: она попала в западню.

– В западню?

– Да. Употребите свой пыл на то, чтобы заклеить позором мерзавцев, которые вступили в подлый заговор с целью опозорить ее безупречное имя.

– Я не понимаю...

– Сейчас поймете... Какой-то подлец провел известное лицо в комнату мадмуазель де Таверне... Барон побледнел.

– Какой-то подлец, – продолжал Филипп, – задумал навсегда опорочить имя Таверне..., мое..., ваше... Ну, где же ваша шпага? Не пора ли кое-кому пустить кровь? Дело стоит того.

– Господин Филипп...

– Да не волнуйтесь!.. Никого я не обвиняю, никого не знаю... Преступление замышлялось втайне... Последствия его тоже исчезнут во мраке, я так хочу! Пусть я по-своему понимаю честь моей семьи!

– Но как вы узнали?.. – вскричал барон, оправившись от изумления благодаря чудовищному честолюбию и подленькой надежде. – Почему вы решили, что?..

– Вот об этом как раз никому не придет в голову спрашивать несколько месяцев спустя, едва он увидит мою сестру и вашу дочь, господин барон!

– В таком случае, Филипп, – радостно глядя на сына, вскричал барон, – состояние и слава нашей семьи обеспечены. Значит, мы победили!

Вы, видно, в самом деле тот человек, за которого я вас принимал, – с глубоким отвращением проговорил Филипп, – вы сами себя выдали. Вам не хватило ума провести вокруг пальца судью, как не хватило человечности обмануть сына.

– Наглец!

– Довольно! – перебил его Филипп. – Постыдитесь памяти моей матери. Если бы она была жива, она бы сумела уберечь дочь.

Барон не выдержал гневного взгляда сына и опустил глаза.

– Моя дочь, – спустя некоторое время сказал он, – не оставит меня, если на то не будет моей воли.

– А моя сестра, – подхватил Филипп, – никогда больше вас не увидит, отец.

– Она так сказала?

– Да, она прислала меня сообщить вам это.

Барон вытер дрожащей рукой побелевшие влажные губы.

– Пусть так! – воскликнул он; потом, пожав плечами, прибавил, – да, не повезло мне с детьми: сын – дурак, дочь – грубиянка.

Филипп не проронил ни слова в ответ.

– Ну, вы мне больше не нужны. Ступайте..., если это все, что вы имели мне сообщить.

– Я еще не все вам сказал.

– Я вас слушаю.

– Во-первых, король дал вам ларец с жемчужным ожерельем...

– Вашей сестре...

– Нет, вам... Впрочем, это не имеет значения... Моя сестра не носит подобных украшений... Мадмуазель де Таверне – не гулящая девка. Она просит вас вернуть ларец владельцу. Если же вы побоитесь обидеть его величество, так много сделавшего для нашей семьи, оставьте ларец себе.

Филипп протянул отцу ларец. Тот взял его в руки, раскрыл, взглянул на жемчуг и швырнул на комод.

– Что еще? – спросил он.

– Еще я хотел сказать вам следующее: мы небогаты, потому что вы заложили или истратили все состояние, даже то, что принадлежало нашей матери, в чем я вас не собираюсь упрекать: Бог вам судья...

– Этого только не хватало! – проговорил, скрипнув зубами, Таверне.

– Словом, Таверне – это все, что у нас осталось от скудного наследства, и потому мы просим вас выбрать между Таверне и особняком, в котором мы с вами находимся.

Скажите, в каком из этих двух домов вы собираетесь поселиться? Мы удалимся в другой.

Барон в бешенстве стал комкать кружевное жабо: руки его дрожали, лоб покрылся испариной, губы тряслись. Однако Филипп ничего этого не заметил: он отвернулся.

– Я предпочитаю Таверне, – вымолвил, наконец, барон.

– В таком случае, мы остаемся в особняке.

– Как вам будет угодно.

– Когда вы собираетесь уезжать?

– Нынче вечером... Нет, сию же минуту! Филипп поклонился.

– В Таверне, – продолжал барон, – я заживу как король, имея три тысячи ливров ренты... Да

я буду дважды король!

Он протянул руку к комоду, взял ларец и сунул его в карман. Затем направился было к двери, но вернулся и обратился к сыну с отвратительной усмешкой:

– Филипп! Я вам разрешаю подписать нашим именем первый же опубликованный вами философский трактат. А что касается первого произведения Андре., посоветуйте назвать его Людовиком или Луизой: это имя приносит счастье.

И он, посмеиваясь, вышел. Филипп был вне себя: глаза его налились кровью, лоб пылал, рука сжимала ножны. Он прошептал:

– Господи! Пошли мне терпения, помоги все это забыть!

Глава 35. ДУШЕВНЫЙ РАЗЛАД

Переписав со свойственной ему педантичностью несколько страниц из своей книги «Прогулки мечтателя», Руссо заканчивал скромный завтрак.

Несмотря на то, что де Жирарден предлагал ему поселиться среди дивных садов Эрменонвиля, Руссо не решался отдать себя на волю великих мира сего, как он сам говаривал в приступе мизантропии, и жил, как прежде, в небольшой квартирке по небезызвестной читателям улице Платриер.

Тереза в это время привела в порядок свое небольшое хозяйство и взялась за корзину, собираясь за провизией.

Было девять часов утра.

Хозяйка зашла по своему обыкновению спросить Руссо, что ему приготовить на обед.

Руссо вышел из задумчивости, медленно поднял голову и взглянул на Терезу, словно только что пробудившись ото сна.

– Все равно, – отвечал он, – лишь бы были вишни и цветы.

– Надо еще посмотреть, не слишком ли это дорого, – заметила Тереза.

– Ну, разумеется, – согласился Руссо.

– Впрочем... Не знаю уж, стоит ли чего-нибудь то, что вы делаете, – продолжала Тереза, – но мне кажется, что вам стали платить меньше, чем раньше.

– Ошибаешься, Тереза: мне платят так же. Просто я стал уставать и работаю меньше. Кроме того, мой издатель задолжал мне за полтома.

– Вот увидите: разорит он вас!

– Будем надеяться, что не разорит: это честный человек.

– Честный человек! Честный человек! Когда вы так говорите, то думаете, что этим все сказано.

– Если не все, то, по крайней мере, многое, – с улыбкой отвечал Руссо, – ведь я говорю это далеко не о каждом.

– Это неудивительно: вы такой угрюмый!

– Тереза! Мы отклоняемся от темы нашего разговора.

– Да, да, вы просили вишен, гурман вы эдакий; вы говорили о цветах, сибарит!

– Ну, а как же иначе, милая моя хозяйюшка? – сказал Руссо, поражая даже ее ангельским терпением. – У меня больное сердце и такая невыносимая мигрень, что я не могу выйти из дому и пытаюсь хотя бы частично воссоздать для себя то, чем Бог столь щедро наделил сельскую природу.

Руссо в самом деле был бледен и выглядел усталым. Он лениво перебирал страницы какой-то книги, однако мысли его были далеко.

Тереза покачала головой.

– Хорошо, хорошо, я выйду на часок, не больше. Ключ я, как всегда, положу под коврик. Если он вам понадобится...

– Я не собираюсь никуда выходить, – поспешил вставить Руссо.

– Я знаю, что вы не будете выходить – вы едва держитесь на ногах. Я вам говорю об этом затем, чтобы вы присматривались к входящим в дом, а еще затем, чтобы вы отворили дверь, если

будут звонить, потому что если позвонят, вы будете знать, что это не я.

– Спасибо, дорогая, спасибо. Идите, Хозяйка вышла, как обычно, ворча на ходу. Ее тяжелые шаркающие шаги еще долго доносились с лестницы.

Но едва дверь захлопнулась, как Руссо воспользовался тем, что остался один, и с наслаждением развалился на стуле; он стал разглядывать птиц, расклевывавших на окне хлебный мякиш, купаясь в солнечных лучах, пробивавшихся между трубами соседних домов.

Едва его неутомимо юная мысль почуяла свободу, как она сейчас же расправила крылья, подобно птицам, разленившимся после веселого завтрака.

Неожиданно скрип входной двери вырвал философа из полудремотного состояния.

«Что такое? – подумал он. – Неужели так скоро возвращается? Уж не задремал ли я, размечтавшись?»

Дверь в кабинет медленно отворилась.

Руссо продолжал сидеть к двери спиной, уверенный в том, что это вернулась Тереза; он даже не повернул головы.

Наступила тишина.

И в этой тишине вдруг прозвучал чей-то голос:

– Прошу прощения, сударь!

Философ вздрогнул и с живостью обернулся.

– Жильбер! – проговорил он.

– Да, Жильбер. Еще раз простите, господин Руссо.

Это в самом деле был Жильбер.

У него был изможденный вид, волосы разметались; костюм его был в беспорядке, плохо скрывал его худобу и не защищал от холода; словом, вид Жильбера заставил Руссо вздрогнуть и вскрикнуть от жалости, очень походившей на беспокойство.

Взгляд Жильбера был неподвижен, глаза горели, как у голодной хищной птицы. Улыбка, напоминавшая в то же время волчий оскал, никак не вязалась с его гордым орлиным взором.

– Зачем вы здесь? – громко вскричал Руссо, не любивший в других неопрятности и считавший ее признаком дурных наклонностей.

– Я голоден, – отвечал Жильбер, При звуке его голоса, произносившего самое ужасное из всех известных ему слов, Руссо вздрогнул.

– А как вы сюда вошли? – спросил он. – Ведь дверь была заперта.

– Мне известно, что госпожа Тереза оставляет обычно ключ под ковриком. Я подождал, пока она выйдет из дому, потому что она меня не любит и могла бы не пустить меня в квартиру или не позволила бы поговорить с вами. Удостоверившись в том, что вы – один, я поднялся по лестнице, взял ключ из тайника, и вот я перед вами!

Руссо поднялся, опираясь руками на подлокотники кресла.

– Выслушайте меня, – попросил Жильбер, – подарите мне одну-единственную минуту вашего драгоценного времени. Клянусь вам, господин Руссо, что я заслуживаю, чтобы меня выслушали.

– Ну-ну, – пробормотал Руссо, изумившись при виде лица Жильбера, которое не выражало больше никакого человеческого чувства.

– Мне следовало бы начать с того, что я доведен до крайности и не знаю, должен ли я стать вором, покончить с собой или еще того хуже... О, не бойтесь, дорогой учитель и покровитель, – проникновенным тоном молвил Жильбер, – все обдумав, я пришел к выводу, что мне не придется убивать себя: я и без этого могу умереть... Неделию назад я сбежал из Трианона и с тех пор бродяжничаю по полям и лесам, питаюсь только незрелыми овощами или дикими лесными фруктами. Я ослаб. Я падаю от усталости и истощения. Что до воровства, то уж не с вас мне начинать! Я слишком привязан к вашему дому, господин Руссо. Ну, а что касается третьего, то, чтобы это исполнить...

– Так что же?

– Мне необходимо набраться решимости – за этим я к вам и пришел.

– Вы сошли с ума?! – вскричал Руссо.

- Нет, просто я очень несчастен, я в отчаянии, я утопился бы нынче утром в Сене, если бы мне не явилась одна мысль...
- Какая?
- Та, которую вы выразили в одной из своих книг:
«Самоубийство – это кража у всего рода человеческого».
- Руссо взглянул на юношу, словно говоря ему: «Неужели вы столь самонадеянны, что могли подумать, что я написал это, имея в виду вас?»
- О, я понимаю! – прошептал Жильбер.
- Не думаю, – заметил Руссо.
- Вы хотите сказать: «Если вы, ничтожество, ничего собою не представляющее, ничего не имеющее за душой, ничем не дорожащее, и умрете, – что из этого?»
- Тут дело иное, – ответил Руссо, чувствуя себя пристыженным из-за того, что его разгадали. – Впрочем, вы, кажется, голодны?
- Да.
- Ну, раз вы вспомнили, где наша дверь, то должны знать, где у нас хлеб. Ступайте к буфету, возьмите хлеба и уходите.
- Жильбер не двинулся с места.
- Если вам нужно не хлеба, а денег, то, я полагаю, вы не настолько жестоки, чтобы дурно обойтись со стариком, вашим бывшим покровителем, да еще в том самом доме, который был вам когда-то прибежищем. Придется вам довольствоваться вот этой малостью... Возьмите!
- Пошарив в кармане, он протянул ему несколько монет.
- Жильбер остановил его руку.
- Ах! – вскрикнул Жильбер с выражением страдания. – Мне не нужно ни денег, ни хлеба. Вы не поняли», что я имел в виду, говоря о самоубийстве. Если я до сих пор не покончил с собой, так это потому, что я могу быть кое-кому полезен, что моя смерть кое-кого обездолит. Вы отлично разбираетесь во всех законах общества, во всех естественных обязанностях человека, вот и скажите мне, существуют ли в этом мире такие узы, которые могут помешать человеку расстаться с жизнью?
- Таких уз много, – отвечал Руссо.
- Скажите: могут ли отцовские чувства оказаться узами такого рода? Смотрите мне в глаза и отвечайте, господин Руссо: я хочу прочесть ответ в вашем взгляде.
- Да, – пролепетал Руссо. – Да, разумеется. А почему вы об этом спрашиваете?
- Ваши слова могут меня остановить, – молвил Жильбер. – Заклинаю вас хорошенько взвешивать каждое слово. Я так несчастен, что хотел бы покончить с собой, но.., но у меня есть ребенок. Руссо подскочил в кресле от изумления.
- Не смейтесь надо мной, – жалобно простонал Жильбер. – Вы думаете что насмешкой лишь слегка заденете мое сердце, а на самом деле можете глубоко меня ранить. Итак, повторяю: у меня есть ребенок.
- Руссо смотрел на него, не говоря ни слова.
- Если бы не это обстоятельство, я был бы уже мертв, – продолжал Жильбер. – Оказавшись перед выбором, я подумал, что вы можете дать мне мудрый совет, вот я и пришел.
- А почему, собственно говоря, я должен давать вам советы? – спросил Руссо. – Разве вы спрашивали моего мнения перед тем, как совершить оплошность?
- Эта оплошность...
- Жильбер с изменившимся лицом приблизился к Руссо.
- Так что же? – спросил Руссо.
- Есть люди, которые считают такую оплошность преступлением.
- Преступлением? Тем более не стоит мне об этом рассказывать. Я такой же человек, как и вы, я не исповедник. Кстати, меня совсем не удивляет то, о чем вы говорите: я всегда предвидел, что вы плохо кончите у вас гнилое нутро.
- Вы ошибаетесь, – возразил Жильбер с грустью, качая головой. – Просто у меня мозги не на месте, вернее, кое-кто забил мне голову. Я прочел немало книг, проповедовавших равенство всех

сословий, воспевающих силу разума и благородство инстинктов. Книги эти были подписаны прославленными именами, и нет ничего удивительного, что бедный деревенский паренек, вроде меня, потерял голову... И вот я сгубил свою душу.

– Ага! Я вижу, куда вы клоните, господин Жильбер!

– Я?

– Да. Вы обвиняете мою доктрину. А разве у вас не было свободного выбора?

– Я никого не обвиняю, я только рассказываю о том, что я прочел. Если я и обвиняю, так только свою глупость. Я поверил – и потерпел поражение. У моего преступления два источника. Вы – первый из них, вот почему я прежде всего пришел к вам. Потом я и еще кое к кому схожу, но это потом: всему свое время.

– Так чего же вы от меня требуете?

– Ни услуги, ни крова, я не требую даже хлеба, хотя я всеми брошен и голоден. Нет, я прошу у вас нравственной поддержки, одобрения с точки зрения вашей доктрины. Я прошу вас единственным словом ободрить меня, помочь вернуть силы, изменившие мне не от бездействия, а из-за закравшегося в мою душу сомнения. Господин Руссо! Заклинаю вас! Скажите мне: те страдания, что я испытываю вот уже целую неделю, происходят из-за постоянного голода в моем желудке или это следствие душевного разлада, угрызений совести? Я зачал ребенка, как преступник. Ну так скажите мне, должен ли я теперь рвать на себе от отчаяния волосы и, катаясь по земле, вымаливать прощение, или мне крикнуть, как одна женщина в Священном писании: «Я поступил, как все; если есть среди людей кто-нибудь лучше меня, пусть бросит в меня камень?» Словом, вы, господин Руссо, должно быть, испытали на своем веку то, что сейчас испытываю я. Ответьте же мне! Скажите: разве это естественно, чтобы отец оставил свое дитя?

Не успел Жильбер договорить, как Руссо так сильно побледнел, что стал бледнее самого Жильбера. Потеряв терпение, он с возмущением спросил:

– По какому праву вы так со мной разговариваете?

– Живя в вашем доме, господин Руссо, в той самой мансарде, где вы меня приютили, я прочел то, что вы написали по этому поводу. Вы утверждали, что дети, рожденные в нищете, принадлежат государству, и оно должно о них заботиться. Вы всегда считали себя порядочным человеком, хотя не дрогнули, отказываясь от родных детей.

– Несчастный! – воскликнул Руссо. – Ты, прочитавший мою книгу, можешь говорить со мной в таком тоне?

– А что же в этом особенного? – удивился Жильбер.

– У тебя не только злое сердце, но и извращенный ум – Господин Руссо!

– Ты ничего не понял из моих книг, так же как ты ничего не смыслишь в жизни! Ты видел только поверхность страницы, как, глядя на человека, замечаешь лишь внешность! Ты надеешься, что я буду с тобой, преступником, заодно, только потому, что, процитировав написанные мною строки, ты сможешь мне сказать: «Раз вы признаетесь, что совершили это, значит, и мне можно!» Несчастный ты человек! Ты же не знаешь того главного, чего ты так и не вычитал из моих книг, о чем ты даже не догадывался: человек, которому ты хотел подражать, мог бы при желании обменять свою жизнь, полную страданий и лишений, на безбедное существование, полное неги, благополучия и удовольствий. Разве я менее талантлив, чем Вольтер? Неужто я не мог бы написать так же много, как он? Я мог бы работать не так добросовестно, а значит быстрее, чем теперь, и продавать свои творения так же дорого, как он, заставив золото течь рекой в мой сундук, а потом часть из этих денег предоставлять в распоряжение моих издателей. Деньги идут к деньгам, разве ты этого не знаешь? У меня была бы карета для прогулок с юной и привлекательной любовницей, и можешь мне поверить, что роскошь не повредила бы неиссякаемому источнику моей поэзии. Разве я не способен на чувства? Взгляни на меня. Загляни в мои глаза: они и в шестьдесят лет еще горят молодым огнем желания! Ведь ты читал или переписывал мои книги. Неужели ты не помнишь, что, несмотря на преклонный возраст и тяжелые болезни, сердце мое всегда оставалось юным, словно вобрав в себя все силы моего организма, затем только, чтобы сильнее страдать? Будучи немощным, с трудом передвигающимся стариком, я чувствую в себе больше жизненных сил, столь необходимых, чтобы переносить страдания, чем в юности, когда я расходовал свои силы на

редкие удовольствия, которые посылал мне Господь.

– Все это мне известно, сударь, – проговорил Жильбер. – Я видел вас вблизи и разгадал вас.

– Если ты видел меня вблизи, если ты меня разгадал, в таком случае разве тебе не открывается смысл моей жизни, столь очевидный другим людям? Неужели мое странное самоотречение, столь не свойственное моей природе, не подсказывает тебе, что» я стремился искупить...

– Искупить? – пробормотал Жильбер.

– Разве ты не понял, – продолжал философ, – что если вначале нищета вынудила меня принять чрезвычайное решение, то позднее я уже не мог найти этому решению другого искупления, кроме как полная незаинтересованность в материальных благах и непреходящая нищета? Неужели ты не понял, что я наказал собственную гордыню унижением? Ведь именно он, мой гордый разум, был во всем виноват; именно он прибегал к помощи разного рода парадоксов, находя себе оправдание. С другой стороны, я до конца дней наказал себя постоянными угрызениями совести.

– Вот как вы мне отвечаете? – воскликнул Жильбер. – Вот так вы, философы, всегда: обращаетесь с наставлениями ко всему роду человеческому, приводите нас, бедных, в полное отчаяние, и не дай Бог нам возмутиться! А какое мне, собственно говоря, может быть дело до вашего унижения, раз оно тщательно скрыто, до ваших угрызений совести, если их не видно?! Будьте вы прокляты, прокляты, прокляты! Пусть ответственность за преступления, совершенные с вашим именем на устах, падет на вашу голову!

– На мою голову, говорите? И проклятье, и наказание? Вы не забыли о наказании? О, это было бы слишком! Вы тоже согрешили, неужто и себя вы осудите столь же строго?

– Еще строже! – молвил Жильбер. – Мое наказание будет ужасным! Ведь теперь я ни во что не верю и позволю своему противнику, вернее – врагу, убить меня без сопротивления; теперь ничто не может помешать моему самоубийству, на которое меня толкают нищета и совесть. Теперь смерть уже не представляется мне потерей для человечества, а вы написали то, во что сами не верили.

– Замолчи, несчастный! Замолчи! – воскликнул Руссо. – Ты и так по глупости наделал много зла. Не приумножай теперь дурные поступки, приняв дурацкий скептический вид. Ты говорил о ребенке. Ты сказал, что уже стал или собираешься стать отцом.

– Да, я это говорил, – подтвердил Жильбер.

– Знаешь ли ты, – едва слышно продолжал Руссо, – что значит увлечь за собой – не в могилу, нет, а в пропасть позора и бесчестья – существо, рожденное по воле Всевышнего свободным и добродетельным? Попытайся понять, насколько ужасно положение, в каком я оказался: когда я бросил своих детей, я понял, что общество, никому не прощающее превосходства, бросит мне в лицо этот оскорбительный упрек Тогда я постарался оправдаться в собственных глазах, прибегнув к помощи парадоксов Так и не сумев стать отцом, я потратил десять лет своей жизни, поучая матерей, как воспитывать детей. Будучи болезненным и порочным, я наставлял государство, как вырастить из них сильных и честных граждан своей страны. И вот настал день, когда палач, желая мне отомстить за общество, государство и брошенных детей, но не имея возможности взяться непосредственно за меня, сжег мою книгу, словно это был ходячий позор для страны, чей воздух эта книга отравляла. Суди сам, хорошо ли я поступил, прав ли я был в своих наставлениях.. Ты молчишь? Ну что же, значит, Господь на твоём месте чувствовал бы себя в затруднительном положении, а ведь в его распоряжении находятся весы добра и зла! У меня в груди бьется сердце, способное ответить на этот вопрос. Вот что оно мне говорит: «Будь ты проклят, бездушный отец, бросивший родных детей! Пусть падет на твою голову несчастье, когда ты встретишь на углу улицы юную наглую проститутку: ею может оказаться оставленная тобою дочь которую толкнул на эту низость голод. Пропади ты пропадом, когда увидишь, как на улице схватили воришку, у которого еще не успела сойти с лица краска стыда за совершенную кражу: возможно, это брошенный тобою сын, которого голод толкнул на преступление!»

С этими словами приподнявшийся было Руссо снова рухнул в кресло.

– Впрочем, – продолжал он дрогнувшим, проникновенным голосом, словно произносил молитву, – я не настолько уж был виновен, как можно подумать: я видел, что мать была бессердечной, она оказалась моей соучастницей, она забыла о своих детях как же легко, как это бывает с

животными, и тогда я решил: «Раз Господь позволяет матери забыть своих детей, значит, она должна их забыть». Я ошибался в ту минуту, а сегодня ты услышал от меня то, в чем я еще никогда и никому не признавался. Сегодня ты не имеешь права заблуждаться.

– Значит, вы не бросили бы своих детей, если бы у вас были деньги на их пропитание? – нахмурившись спросил Жильбер – Нет, никогда! Но я едва сводил концы с концами, Руссо торжественно поднял дрожащую руку к небу.

– Скажите: двадцати тысяч ливров хватило бы, чтобы прокормить свое дитя? – спросил Жильбер – Да, этой суммы довольно, – отвечал Руссо.

– Хорошо, сударь, благодарю вас. Теперь я знаю, что мне делать.

– В любом случае вы молоды, вы можете работать и прокормите своего ребенка, – прибавил Руссо. – Но вы что-то говорили о преступлении: вас, верно, разыскивают, преследуют..

– Да.

– Укройте здесь, дитя мое, чердак по-прежнему свободен.

– Как я вас люблю, учитель! – воскликнул Жильбер. – Я очень рад вашему предложению и ничего у вас не прошу, кроме убежища. Уж на хлеб-то я себе заработаю! Вы же знаете, что я не лентяй.

– Раз мы обо всем уговорились, – с озабоченным видом сказал Руссо, – ступайте наверх. Госпожа Руссо не должна вас здесь видеть Она теперь не ходит на чердак с тех пор, как вы съехали, мы ничего там не храним Ваша подстилка на прежнем месте, устраивайтесь поудобнее – Благодарю вас! Все складывается лучше, чем я того заслуживаю – Я вам больше не нужен? – спросил Руссо, словно выпроваживая Жильбера взглядом из комнаты.

– Нет, будьте добры: еще одно слово!

– Слушаю.

– Однажды, – это было в Люсьенн, – вы обвинили меня в предательстве Я никого не предавал, я следовал за любимой женщиной.

– Не будем больше об этом говорить! Это все?

– Да. Скажите, господин Руссо, если мне нужен чей-нибудь парижский адрес, могу ли я его узнать?

– Разумеется, если это лицо известное – Тот человек, о котором я говорю, очень хорошо известен.

– Как его зовут?

– Его сиятельство Джузеппе Бальзамо. Руссо вздрогнул: он не забыл заседания логи на улице Платриер.

– Что вам угодно от этого господина? – спросил он – Сушью безделицу. Вас, своего учителя, я обвинил в том, что вы явились нравственной причиной моего преступления – я полагал, что следуя закону природы – Удалось ли мне вас переубедить? – вскричал Руссо, затрепетав при мысли о своей ответственности.

– По крайней мере, вы меня просветили.

– Так что же вы хотели сказать?

– Я хотел сказать, что у меня было не только моральное основание для совершения преступления, но и физическая возможность – И предоставил вам эту возможность граф де Бальзамо?

– Да. Я последовал вашему примеру, я воспользовался предоставленной им возможностью и действовал при этом – сейчас я признаю это – как дикий зверь, а не как человек. Так где он живет? Вы не знаете?

– Знаю.

– Дайте мне его адрес.

– Улица Сен-Клод в Маре.

– Благодарю вас, я немедленно отправлюсь к нему.

– Будьте осторожны, дитя мое! – воскликнул Руссо, удерживая его за руку. – Этот человек – могущественный и непростой.

– Не беспокойтесь за меня, господин Руссо, я все решил, а вы научили меня владеть собой.

– Скорее бегите наверх! – вскричал Руссо. – Я слышал, как хлопнула вниз входная дверь;

должно быть, вернулась госпожа Руссо. Переждите на чердаке, пока она не войдет сюда, а потом выходите.

- Дайте, пожалуйста, ключ.
- На гвоздике в кухне, на прежнем месте.
- Прощайте, прощайте!
- Возьмите хлеба, а я вам приготовлю работу на ночь.
- Спасибо!

Жильбер улизнул на чердак раньше, чем Тереза успела подняться на второй этаж.

Обладая бесценными сведениями, полученными от Руссо, Жильбер немедленно приступил к исполнению своего плана.

Едва Тереза притворила за собой дверь в квартиру, как молодой человек, следивший из-за двери своей мансарды за каждым ее движением, спустился по лестнице так стремительно, словно совсем не ослабел после долгого вынужденного поста. В голове его то вспыхивала надежда, то он чувствовал озлобление, а над всем этим парил призрак, терзавший его сердце жалобами и обвинениями.

Он прибыл на улицу Сен-Клод в состоянии, не поддающемся описанию.

В ту минуту, как он входил во двор особняка, Бальзамо вышел на крыльцо проводить кардинала де Роана, которого долг вежливости привел к благородному алхимику.

Пока кардинал прощался, задержавшись для того, чтобы еще раз поблагодарить Бальзамо, бедный юноша, стесняясь своих лохмотьев, проскочил во двор, словно пес, не смея поднять глаз, чтобы не ослепнуть при виде роскоши.

Карета ждала кардинала на бульваре; прелат торопливо преодолел расстояние, отделявшее его от экипажа! как только дверца за ним захлопнулась, лошади стремительно понесли его прочь.

Бальзамо в задумчивости провожал карету глазами до тех пор, пока она не скрылась из виду, после чего вернулся на крыльцо.

Там его ждал похожий на нищего человек, умоляюще сложив руки.

Бальзамо шагнул к нему, не проронив ни звука, однако его выразительный взгляд словно требовал объяснений.

- Прошу вас о пятнадцатиминутной аудиенции, ваше сиятельство, – проговорил оборванец.
- Кто вы, друг мой? – ласково спросил Бальзамо.
- Неужели вы меня не узнаете? – удивился Жильбер.

– Нет. Впрочем, это не имеет значения, входите, отвечал Бальзамо, нимало не удивляясь ни необычному лицу просителя, ни его лохмотьям, ни его назойливости. Пройдя вперед, он пригласил его в ближайшую комнату и, сев в кресло, тем же тоном и не меняя выражения лица, спросил:

- Вам угодно было удостовериться, не узнаю ли я вас?
- Да, ваше сиятельство.
- Мне в самом деле кажется, что я вас где-то уже видел.

– Это было в Таверне, когда вы заезжали туда накануне прибытия ее высочества, – А что вы делали в Таверне?

- Я жил там.
- В качестве лакея?
- Нет, как сотрапезник.
- И вы покинули Таверне?
- Да, около трех лет тому назад.
- И прибыли?..

–..в Париж, здесь я сначала учился у господина Руссо, потом, благодаря протекции господина де Жюсье, был принят на службу в Трианон в качестве помощника садовника-цветовода.

- Какие громкие имена вы называете! Что же вам угодно от меня?
- Сейчас я вам все объясню.

Он замолчал и пристально посмотрел на Бальзамо.

– Помните, как вы прискакали в Трианон, – продолжал он наконец, – в ту ночь, когда была сильная гроза? В пятницу истекает шестая неделя с того страшного дня.

Бальзамо, слушавший до того с серьезным видом, помрачнел.

– Да, помню, – отвечал он. – Вы что же, видели меня там?

– Видел.

– Так вы пришли требовать от меня денег за свое молчание? – угрожающе молвил Бальзамо.

– Нет, потому что я больше вашего заинтересован в сохранении тайны – Значит, вы тот, кого зовут Жильбером? – спросил Бальзамо.

– Да, ваше сиятельство.

Бальзамо пристально посмотрел на молодого человека, над которым тяготело столь ужасное обвинение.

Хорошо разбираясь в людях, он был удивлен выдержкой юноши, а также тем, с каким достоинством тот держался.

Жильбер стоял у стола, не касаясь его; одну из своих точеных рук, белых, несмотря на тяжелую работу, он сунул за пазуху, другую грациозно опустил вниз.

– По тому, как вы держитесь, – заметил Бальзамо, – я могу догадаться, зачем вы сюда пришли: вы знаете, что мадмуазель де Таверне выдвинула против вас страшное обвинение; это я с помощью науки вынудил ее сказать правду, И теперь вы явились, чтобы упрекнуть меня в этом свидетельстве? Не вмешайся я в это дело, тайна осталась бы скрытой от всех так же надежно, как в могиле.

Жильбер отрицательно покачал головой.

– Но вы были неправы, – продолжал Бальзамо, – потому что даже если предположить, что я захотел бы вас разоблачить просто так, не будучи в этом лично заинтересованным; если предположить, что я мог видеть в вас своего врага и нападал на вас, а не вынужденно защищался, как было на самом деле, и тогда вы не имели бы права ни в чем меня упрекнуть, потому что, по правде говоря, вы совершили подлость.

Жильбер вцепился ногтями себе в грудь, но опять сдержался и промолчал.

– Брат будет вас преследовать, а сестра прикажет вас убить, – продолжал Бальзамо, – если вы и дальше так же неосторожно будете разгуливать по парижским улицам.

– Это меня меньше всего волнует, – проговорил Жильбер.

– То есть почему же?

– Я любил мадмуазель Андре, я любил ее так, как никто никогда не будет ее любить. Но она меня презирала, в то время как я питал к ней возвышенные чувства. Она продолжала презирать меня даже после того, как я дважды держал ее в руках, не осмеливаясь прикоснуться губами к краю ее платья – Ага! И вы заставили ее заплатить за свою почтительность! Вы отомстили ей за презрение, и чем же? Заманили ее в ловушку – О нет! Нет! Ловушка была раскинута не мною. Я лишь воспользовался предоставленной возможностью для совершения преступления.

– Кто вам предоставил эту возможность?

– Вы.

Бальзамо подскочил, как ужаленный.

– Я? – вскричал он.

– Да, вы, – повторил Жильбер. – Вы усыпили мадмуазель Андре и сбежали. По мере того, как вы удалялись, она слабела и упала наземь. Я взял ее на руки, чтобы отнести в ее комнату. Я чувствовал ее так близко.., я же не каменный!.. И потом, я любил ее – и не устоял. Так ли уж я виновен, как кажется? Я спрашиваю вас, ведь вы – причина моего несчастья!

Бальзамо взглянул на Жильбера с грустью и жалостью.

– Ты прав, мальчик, – молвил он, – я виноват в твоём преступлении и в несчастье этой девушки.

– И вместо того, чтобы помочь, вы – такой могущественный, а, значит, и добрый человек, – усугубили несчастье девушки и занесли топор над головой виновного.

– Это правда, – согласился Бальзамо, – ты рассуждаешь умно. С некоторых пор, юноша, мне изменяет удача. Что бы я ни задумал, от меня исходят лишь угроза и вред. Думаю, что в этом причина приключившихся со мной и самому мне не понятных несчастий. Впрочем, это не основание для того, чтобы я причинял страдания другим. Итак, чего ты хочешь?

– Я прошу вас, ваше сиятельство, исправить и преступление, и несчастье.

– Ты любишь эту девушку?

– Да!

– Любить можно по-разному. Как ты ее любишь?

– До обладания я любил ее самозабвенно, сейчас я люблю с ожесточением. Я умер бы от горя, если бы она рассердилась на меня; я умер бы от радости, если бы она позволила мне целовать ей ноги.

– Она – благородная девица, ты – беден, – задумчиво проговорил Бальзамо.

– Да.

– Впрочем, ее брат – сердечный человек, несколько, правда, тщеславный из-за своего происхождения. Что было бы, если б ты попросил у него руки его сестры?

– Он убил бы меня, – холодно отвечал Жильбер. – Впрочем, я скорее жажду смерти, нежели боюсь ее, и если вы мне советуете так поступить, я готов.

Бальзамо задумался.

– Ты умен, – проговорил он, – можно даже сказать, что ты добрый, хотя твои поступки действительно преступны, если не принимать во внимание моего соучастия. Попробуй сходить не к господину де Таверне-младшему, а к его отцу, барону де Таверне. Скажи ему – запоминай! – что в тот день, когда он даст согласие на твой брак с его дочерью, ты принесешь приданое для мадмуазель де Таверне.

– Как же я скажу, ваше сиятельство? Ведь у меня ничего нет.

– А я тебе говорю, что ты принесешь приданое в сто тысяч экю, которое я дам тебе в искупление своей вины за содеянное тобой преступление и перенесенное девушкой несчастье.

– Он мне не поверит, он знает, что я беден.

– Если он тебе не поверит, ты покажешь ему банковские билеты; едва он их увидит, как у него не останется больше сомнений.

С этими словами Бальзамо выдвинул ящик стола, отсчитал тридцать банковских билетов достоинством в десять тысяч ливров каждый и протянул их Жильберу.

– Это деньги? – спросил юноша.

– Прочти.

Жильбер бросил жадный взгляд на пачку, которую он держал в руке, и убедился, что Бальзамо сказал правду. Глаза его радостно сверкнули.

– Неужели это возможно? – воскликнул он. – Нет, я не достоин такой щедрости.

– Ты недоверчив, – заметил Бальзамо, – и это хорошо, однако ты должен научиться лучше разбираться в людях. Забирай сто тысяч экю и ступай к барону де Таверне.

– Ваше сиятельство! Пока столь огромная сумма вручена мне просто так, я не могу поверить в этот подарок. Бальзамо взял перо и написал:

«Я дарю Жильберу в день подписания брачного договора с мадмуазель Андре де Таверне приданое в сто тысяч экю, которое передал ему заранее в надежде на успешные переговоры.

Джузеппе Бальзамо».

– Возьми эту бумагу, иди и ни в чем не сомневайся. Жильбер дрожащей рукой принял листок.

– Ваше сиятельство! Если я буду вам обязан таким счастьем, вы станете для меня богом на земле!

– Бог один! – с важностью молвил Бальзамо. – Идите, друг мой.

– Могу ли я попросить вас о последней милости, ваше сиятельство?

– Слушаю.

– Дайте мне пятьдесят ливров.

– Ты просишь у меня пятьдесят ливров, после того как получил триста тысяч?

– Эти триста тысяч будут принадлежать мне с того дня, как мадмуазель Андре даст согласие на брак.

– А зачем тебе пятьдесят ливров?

– Я должен купить приличный костюм, прежде чем явиться к барону.

– Вот, друг мой, прошу вас, – отвечал Бальзамо.

Он протянул ему пятьдесят ливров.

Засим он отпустил Жильбера кивком головы, а сам все с тем же печальным видом неспешно двинулся в свои апартаменты.

Глава 36. ПЛАНЫ ЖИЛЬБЕРА

Очутившись на улице, Жильбер дал остыть своему разгоряченному воображению: последние слова графа заставили его поверить не только в вероятность, но и в возможность счастья.

Дойдя до улицы Пастурель, он взобрался на каменную тумбу. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что никто его не видит, он достал из кармана смятые банковские билеты.

Вдруг его поразила ужасная мысль: от волнения холодный пот выступил у него на лбу.

– Посмотрим, – молвил он, разглядывая билеты, – не обманул ли меня этот человек? Не заманивает ли он меня в западню? Не обрекает ли он меня на верную гибель под тем предлогом, что хочет меня осчастливить? Уж не считает ли он меня бараном, которого можно заманить на бойню пучком душистой травы? Я слышал, что в обращении много фальшивых банковских билетов, которыми придворные повесы расплачивались с актрисами из Оперы. Посмотрим, не одурачил ли меня граф!

Он достал из пачки один из билетов достоинством в десять тысяч ливров, потом зашел в лавочку и, предъявив билет, спросил у торговца адрес банкира, у которого он мог бы его обменять, – выполняя приказание своего хозяина, – прибавил он.

Торговец взглянул на билет с восхищением, повертел его в руках, потому что сумма была значительной для его скромной лавочки; потом сказал, что Жильберу следует обратиться к банкиру на улице Сент-Авуа.

Итак, билет был настоящий. Преисполненный счастья, Жильбер дал волю своему воображению. Бережно завязав деньги в носовой платок, он отправился на улицу Сент-Авуа, где ему приглянулась витрина старьевщика. На двадцать пять ливров, то есть на один из двух подаренных ему Бальзамо луидоров, он купил костюм тонкого коричневого сукна, покоровивший его своей чистотой, пару слегка поношенных черных шелковых чулок и туфли с блестящими пряжками; рубашка из довольно тонкого полотна дополнила его костюм, который можно было бы назвать скорее приличным, нежели дорогим. Бросив взгляд в зеркало, стоявшее в лавке старьевщика, Жильбер остался очень доволен своим видом.

Оставив старое тряпье в качестве прибавки к двадцати пяти ливрам, он зажал в руке драгоценный платок и из лавки старьевщика отправился к цирюльнику – тот за четверть часа привел его голову в порядок, сообщив внешнему виду облагодетельствованного графом юноши некоторую элегантность.

Когда все приготовления были позади, Жильбер зашел к булочнику, проживавшему рядом с площадью Людовика XV, купил на два су хлеба и по дороге в Версаль жадно проглотил его. Он остановился у фонтана на улице Конферанс, чтобы напиться.

Потом он продолжал путь, упорно отказываясь от предложений извозчиков, которые не могли взять в толк, почему прилично одетый юноша жалеет пятнадцать су на проезд, если потом все равно придется чистить туфли яйцом.

Любопытно, что бы они сказали, если бы узнали, что этот шагавший пешком юноша нес в кармане триста тысяч ливров?

Однако у Жильбера были основания, чтобы идти пешком. Прежде всего, он твердо решил ни на шаг не отступать от принципа жесткой экономии; во-вторых, ему необходимо было побыть одному, чтобы отрепетировать каждый свой жест, проговорить каждое слово. Один Бог знает, сколько раз молодой человек успел представить себе счастливую развязку на протяжении двух с половиной часов, которые он провел в пути. За это время он проделал более четырех миль, даже не заметив этого расстояния, не почувствовав ни малейшей усталости – таким выносливым оказался этот юноша.

Тщательно все взвесив, он решил, что лучше всего изложить свою просьбу следующим обра-

зом: оглушить Таверне-старшего высокопарной речью, потом, испросив у барона позволение поговорить с Андре, пустить в ход все свое красноречие, после чего она не только простит, но проникнется уважением и любовью к автору патетической торжественной речи, котирую он приготовил.

По мере того, как он об этом думал, страх в его душе уступал место надежде. Жильберу стало казаться, что девушка, очутившаяся в положении Андре, не может отказаться от предложения влюбленного в нее юноши, готового загладить свою вину, особенно если его любовь подкреплена суммой в сто тысяч экю.

Жильбер строил все эти воздушные замки, потому что был наивным и честным юношей. Он забыл о причиненном им зле, что, может быть, свидетельствовало о сердце более благородном, чем могло бы показаться.

Приготовившись к нападению, он прибыл на территорию Трианона и почувствовал, как сжалось его сердце. Он приготовился к гневным выпадам Филиппа, которые должны были, по мнению Жильбера, прекратиться, как только он узнает о благородном намерении юноши; он представлял себе презрение, с которым встретит его Андре, но был уверен, что сумеет победить его своей любовью; он был готов к оскорбительным выходкам барона, однако надеялся, что сердце его смягчится при виде золота.

Будучи очень далек от людей, рядом с которыми он жил долгие годы, он тем не менее инстинктивно чувствовал, что триста тысяч ливров, лежавшие в его кармане, были надежной защитой. Чего он действительно боялся, так это увидеть страдания Андре; он опасался, что ему не хватит сил справиться с этим несчастьем, что это зрелище может помешать успеху задуманного им предприятия.

Он проник в сад, поглядывая с горделивым выражением, очень к нему шедшим, на садовников, еще вчера бывших ему ровней, а теперь, как ему казалось, не идущих с ним ни в какое сравнение.

Прежде всего, обратившись к дежурному лакею служб, он задал вопрос о бароне де Таверне.

– Барона нет в Трианоне, – ответил тот. Жильбер замер в нерешительности.

– А господин Филипп? – спросил он наконец.

– Господин Филипп уехал с мадмуазель Андре.

– Уехал? – в отчаянии вскричал Жильбер.

– Да, дней пять назад.

– В Париж?

Лакей пожал плечами с таким видом, словно хотел сказать: «Мне ничего об этом не известно».

– Как это вы не знаете? – воскликнул Жильбер. – Мадмуазель Андре уехала, и никто не знает, куда? Ведь не просто же так она уехала?

– Ну и дурак! – отвечал лакей, на которого, по-видимому, коричневый сюртук Жильбера не произвел должного впечатления. – Понятно, она не могла уехать просто так.

– Так почему она уехала?

– Чтобы сменить обстановку.

– Сменить обстановку? – переспросил Жильбер.

– Да, кажется, воздух Трианона оказался не очень подходящим для ее здоровья, и по предписанию лекаря она покинула Трианон.

Продолжать расспросы было незачем; лакей выложил все, что ему было известно о мадмуазель де Таверне.

Жильбер был потрясен и никак не мог поверить услышанному. Он побежал в комнату Андре и обнаружил, что дверь заперта.

Пол в коридоре был усеян осколками стекла, клочками сена и соломы, обрывками бечевки, свидетельствовавшими о недавнем переезде.

Жильбер зашел в бывшую свою комнату и нашел ее точно такой же, какой оставил.

Окно Андре было широко распахнуто, и Жильбер мог проникнуть взглядом до самой передней.

Дом был пуст.

Жильбера охватило отчаяние. Он стал биться головой о стену, ломать себе руки и кататься по полу.

Потом он, как безумный, бросился из мансарды, спустился по лестнице так стремительно, словно у него были за спиной крылья; схватившись за голову, углубился в чащу и с криком повалился в вересковые заросли, проклиная судьбу и тех, кто дал ему жизнь.

– Все кончено, кончено! – бормотал он. – Богу не угодно, чтобы я с ней увиделся! Бог хочет, чтобы я умер от угрызений совести, отчаяния и любви! Вот как мне суждено искупить свою вину, вот как я наказан за то, что обидел Андре.. Где она может быть?.. В Таверне! Я пойду за ней, пойду! Я на край света готов идти за ней, я под облака поднимусь, если понадобится... Я нападу на ее след и пойду за ней, даже если мне придется умереть на полпути от голода и изнеможения!

Дав волю своим чувствам, Жильбер почувствовал, как боль его мало-помалу утихает. Он поднялся, вздохнул свободнее, огляделся увереннее и не спеша выбрался на парижскую дорогу.

Обратный путь занял у него около пяти часов.

«Барон, возможно, и не уезжал из Парижа, – стал он рассуждать, – вот с ним я и поговорю. Мадмуазель Андре сбежала. Разумеется, она не могла оставаться в Трианоне. Однако, куда бы она ни уехала, отец знает, где она. Одно-единственное его слово может натолкнуть меня на ее след. Кроме того, он вызовет дочь, если мне удастся сыграть на его алчности».

Окрыленный новой надеждой, Жильбер вернулся в Париж около семи вечера, в то время, когда в погоне за вечерней свежестью гуляющие приходили на Елисейские поля, куда спускался первый вечерний туман и где зажигались первые огни, благодаря которым в городе было светло круглые сутки.

Приняв окончательное решение, молодой человек направился к небольшому особняку на улице Кок-Эрон и, ни минуты не колеблясь, постучал в ворота.

Ответом ему была тишина.

Он постучал громче: опять никакого ответа.

Итак, последняя его попытка, на которую он рассчитывал, оказалась тщетной. Он в бешенстве стал кусать себе руки, желая наказать плоть за страдания души. Жильбер бросился прочь и, свернув на другую улицу, оказался у дома Руссо. Он толкнул дверь и стал подниматься по лестнице.

В носовом платке вместе с тридцатью банковскими билетами был завязан ключ от чердака.

Жильбер устремился в свою каморку с таким отчаянием, словно бросался ч Сену.

Стоял прекрасный вечер, кудрявые облака резвились в небесной лазури, от лип и каштанов поднимался едва ощутимый аромат; летучая мышь с легким шорохом задела крыльями стекло слухового окна... Вернувшись к жизни, Жильбер подошел к оконцу и, выглянув в сад, где он увидел однажды Андре, уже потеряв надежду ее найти, вдруг заметил теперь среди деревьев чью-то тень. Ему показалось, что сердце его не выдержит: он почти без чувств рухнул на опору водосточной трубы, уставившись бессмысленным взглядом в пространство.

Глава 37. ГЛАВА, В КОТОРОЙ ЖИЛЬБЕР ПОНИМАЕТ, ЧТО ЛЕГЧЕ СОВЕРШИТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, НЕЖЕЛИ ПОБЕДИТЬ ПРЕДРАССУДОК

По мере того, как овладевшее было Жильбером страдание отступало, мысли его прояснились.

Между тем сумерки сгустились настолько, что он ничего не мог разглядеть. Его охватило непреодолимое желание увидеть поближе деревья, дом, дорожки, скрывшиеся в наступившей темноте и слившиеся в однородную массу, над которой носился, словно над пропастью, шальной ветер.

Ему вспомнился вечер из далекого, счастливого прошлого, когда он захотел узнать об Андре новости, повидать ее, услышать ее голос и, рискуя жизнью, не оправившись как следует от раны, полученной им тридцать первого мая, пробрался по водосточной трубе со второго этажа на благодатную землю того самого сада.

В то время проникнуть в дом было крайне рискованно: там постоянно жил барон, Андре была под присмотром; однако, несмотря на опасность, Жильбер помнил, как это было приятно, как радостно забилося его сердце, когда он услышал ее голос.

– А что, если я повторю все это, если я в последний раз на коленях проползу по дорожкам в поисках обожаемых следов, оставленных на песке ножками моей возлюбленной?

Жильбер выговорил это страшное слово почти громко, испытывая странное удовольствие от его звучания.

Жильбер замолчал и стал пристально вглядываться в то место, где должен был, по его предположениям, находиться павильон.

Спустя минуту он прибавил:

– Нет никаких доказательств, что в павильоне есть другие жильцы: света нет, никакого шума не слышно, двери закрыты. Войду, пожалуй!

У Жильбера было одно достоинство: стоило ему принять решение, как он немедленно приступал к его исполнению. Он отворил дверь мансарды и прокрался на цыпочках неслышно, словно сильф, мимо двери Руссо. Добравшись до второго этажа, он отважно сел верхом на сточный желоб и съехал вниз, рискуя превратить в лохмотья штаны, которые еще утром были новехоньки.

Оказавшись внизу, он еще раз мысленно пережил то, что случилось с ним в первое его посещение павильона; песок заскрипел у него под ногами; он узнал калитку, через которую Николь провела когда-то де Босира.

Он подошел к крыльцу с намерением прижаться губами к медной кнопке на решетчатом ставне, говоря себе, что рука Андре, вне всякого сомнения, касалась этой кнопки. Преступление Жильбера так сильно подействовало на него, что он стал относиться к своей жертве почти с благоговением...

Шум, неожиданно долетевший до него из внутренних покоев, заставил молодого человека вздрогнуть; шум этот был едва уловим; можно было подумать, что кто-то легко ступал по паркету.

Жильбер отступил и смертельно побледнел. Он так исстрадался за последние дни, что когда заметил, как из-под двери пробивается свет, он решил, что суеверие, дитя незнания и беспокойной совести, зажгло в его глазах нечто вроде жуткого пламени, которое теперь и отражается в планках ставня. Он подумал, что его душа, изнемогая под тяжестью пережитого ужаса, призывает на помощь другую душу и что перед ним возникают видения, как у потерявшего рассудок или сгорающего от страсти влюбленного.

Однако шаги и свет становились ближе, а Жильбер все никак не мог поверить своим глазам и ушам. Вдруг ставень распахнулся в ту самую минуту, как юноша прильнул в надежде заглянуть в щель; его отбросило ударом к стене; он громко вскрикнул и упал на колени.

Его поверг наземь не столько удар, сколько то, что он увидел. Он полагал, что в доме никого нет: ведь он стучал в дверь, но ему так никто и не открыл, и вдруг теперь перед ним явилась Андре.

Девушка, – а это была именно она, а не призрак, – вскрикнула. Однако она все-таки была менее его напугана, потому что, несомненно, ожидала кого-то.

– Кто вы такой? Что вам угодно? – спросила она.

– Простите, простите, мадмуазель! – пробормотал Жильбер, смиренно склонив голову.

– Жильбер, Жильбер здесь! – воскликнула Андре с удивлением, в котором не было ни страха, ни гнева. – Жильбер у нас в саду! Что вы тут делаете, дружок?

Это обращение больно отозвалось в сердце юноши.

– Не браните меня, мадмуазель, будьте милосердны, я столько выстрадал! – взволнованно произнес он.

Андре с удивлением посмотрела на Жильбера, не зная, чему приписать его смиренный вид.

– Прежде всего, встаньте и объясните, как вы здесь очутились?

– Мадмуазель! – вскричал Жильбер. – Я не встану до тех пор, пока вы меня не простите!

– А что вы сделали, чтобы я вас простила? Отвечайте! Объясните же мне, наконец! Во всяком случае, – грустно улыбаясь, продолжала она, – прегрешение, должно быть, невелико, а потому и простить вас мне будет нетрудно. Ключ вам дал Филипп?

– Ключ?

– Ну, конечно. Мы условились, что я никому не стану отпирать дверь в его отсутствие. Должно быть, это он дал вам ключ, если только вы не перелезли через стену.

– Ваш брат, господин Филипп?.. – пролепетал Жильбер. – Нет, нет, разумеется, не он. Да речь идет вовсе не о вашем брате, мадмуазель. Значит, вы никуда не уехали, не покинули Францию? Какое счастье! Какое непредвиденное счастье!

Жильбер приподнялся на одно колено, раскинул руки и с удивившим Андре простодушием возблагодарил Небо.

Андре склонилась над ним и, с беспокойством взглянув на него, заметила:

– Вы говорите, как безумный, господин Жильбер! Вы порвете мне платье! Пустите же меня, отпустите платье! Прошу вас прекратить эту комедию!

Жильбер поднялся.

– Вот вы уж и сердитесь! – сказал он. – Но мне не на что жаловаться, потому что я это заслужил. Я знаю, что не так мне следовало бы предстать перед вами. Но что вы хотите? Я не знал, что вы живете в этом павильоне, я был уверен, что здесь никого нет; я пришел сюда, потому что все здесь должно было напомнить мне о вас... И только случайность... По правде сказать, я и сам не знаю, что говорю. Простите меня, я хотел обратиться прежде к вашему отцу, а он куда-то исчез...

Андре удивленно вскинула брови.

– К моему отцу? – переспросила она. – Почему к отцу?

Жильбера смутил этот вопрос.

– Потому что я очень вас боюсь, – отвечал он, – я понимаю, что было бы лучше, если бы объяснение произошло между вами и мною: это самый надежный способ все исправить.

– Исправить? Что это значит? – спросила Андре. – И что должно быть исправлено? Отвечайте.

Жильбер посмотрел на нее глазами, полными любви и смирения.

– Не гневайтесь! – взмолился он. – Конечно, это большая дерзость с моей стороны, я знаю... Ведь я – такое ничтожество! Да, повторяю, это большая дерзость – поднять глаза столь высоко! Однако зло свершилось.

Андре сделала нетерпеливый жест.

– Ну, преступление, если угодно, – продолжал Жильбер. – Да, преступление, тяжкое преступление. Однако вините в этом рок, мадмуазель, только не мое сердце...

– Ваше сердце? Ваше преступление? Рок?.. Вы, верно, сошли с ума, господин Жильбер: вы меня пугаете.

– Это невозможно! Я испытываю к вам глубокую почтительность! Я полон раскаяния. Неужели я, с опущенной головой и умоляюще сложенными руками, могу внушать вам какое-нибудь другое чувство, кроме жалости?

Мадмуазель! Послушайте, что я вам скажу, я клянусь перед лицом Бога и людей: я хочу всей своей жизнью искупить минутную оплошность; я хочу, чтобы в будущем вы были очень счастливы, чтобы счастье изгладило все прошлые несчастья. Мадмуазель...

Жильбер замолчал в нерешительности.

– Мадмуазель! – продолжал он. – Дайте ваше согласие на брак, который освятит преступный союз! Андре отпрянула – Нет, нет! – пробормотал Жильбер. – Я не безумец. Не уходите! Не вырывайте руки, дайте мне поцеловать ее! Смилюйтесь, сжальтесь... Будьте моей женой!

– Вашей женой? – вскричала Андре, решив, что это она сошла с ума.

– Скажите, что вы прощаете мне ту ужасную ночь! – с душераздирающими рыданиями прохрипел Жильбер. – Скажите, что мое нападение вас ужаснуло, но скажите, что вы меня, раскаявшегося, прощаете! Скажите, что моя любовь, так долго сдерживаемая, оправдывала мое преступление!

– Ничтожество! – охваченная дикой яростью вскричала Андре. – Так это был ты? О Боже, Боже!

Андре обхватила голову руками, словно пытаясь ухватиться за ускользавшую мысль.

Жильбер отступил, оцепенев при виде прекрасной бледной головы Медузы, воплощавшей в эту минуту ужас и в то же время изумление.

– Неужто мне было уготовано такое несчастье. Боже мой? – воскликнула девушка, все сильнее возбуждаясь.

– Неужели моему имени суждено быть опозоренным дважды: самим преступлением и тем, кто его совершил? Отвечай, подлец! Отвечай, презренный! Так это был ты?

– Она ничего не знала! – пробормотал подавленный Жильбер.

– На помощь! На помощь! – закричала Андре, скрываясь в комнатах. – Филипп! Филипп! Ко мне, Филипп!

Бросившийся было за ней Жильбер, потерявшись от отчаяния, стал озираться в поисках места, куда бы он мог упасть под ударами, которых он ожидал, или оружия для защиты.

Однако никто не пришел на зов Андре, Андре была одна.

– Никого! Никого! – в приступе бешенства вскричала девушка. – Вон отсюда, негодяй! Не испытывай гнева Божьего!

Жильбер медленно поднял голову.

– Ваш гнев для меня страшнее всего! – пробормотал он. – Не сердитесь на меня, мадмуазель! Сжальтесь!

Он умоляюще сложил руки.

– Убийца! Убийца! Убийца! – продолжала кричать молодая женщина.

– Вы даже не хотите меня слушать? – вскричал Жильбер. – Выслушайте меня, по крайней мере, а потом прикажите убить.

– Выслушать? Выслушать тебя? Этого только не хватало! Да и что ты можешь сказать?

– То, что я уже сказал: я совершил преступление, которое вполне простил бы каждый, умеи он читать в моем сердце, и я готов исправить это преступление.

– А-а! – вскричала Андре. – Так вот в чем смысл того слова, которое привело меня в ужас раньше, чем я его поняла! Брак!.. Мне кажется, вы говорили об этом?

– Мадмуазель! – пролепетал Жильбер.

– Брак! – продолжала гордая девушка, все более распаляясь. – Нет, я не сержусь на вас, я вас презираю, я вас ненавижу! И я не понимаю, как можно жить, если знаешь, что кто-то презирает тебя так, как я презираю вас!

Жильбер побледнел, злые слезы блеснули на его ресницах; его побелевшие губы вытянулись и стали похожи на две перламутровые нити.

– Мадмуазель! – с дрожью в голосе воскликнул он. – Я не такое уж ничтожество, чтобы я не мог заплатить за вашу утраченную честь!

Андре выпрямилась.

– Если уж говорить об утраченной чести, сударь, – гордо молвила она, – то о вашей, а не о моей. Моя честь всегда со мной, и она неприкосновенна. Вот если бы я согласилась на брак с вами, тогда бы я себя обесчестила!

– Вот уж никогда бы не подумал, – холодно и в то же время нерешительно отвечал Жильбер, – что для будущей матери что-либо может иметь значение, кроме ее ребенка.

– А я считаю, что вы не смеее даже думать об этом, сударь! – сверкнув глазами, возразила Андре.

– Напротив, я подумаю и позабочусь о нем, мадмуазель, – отвечал Жильбер, постепенно оправляясь от удара. – Я займусь этим, я не хочу, чтобы мой ребенок умер от голода, как это часто случается в благородных семействах, где девицы по-своему понимают вопросы чести. Люди равны между собой; лучшие люди провозгласили этот принцип. Я еще могу понять, что вы не любите меня, потому что не знаете, какое у меня сердце; я могу понять, что вы меня презираете, потому что не знаете моих мыслей. Но чтобы вы отказали мне в праве позаботиться о моем ребенке – нет, этого я не пойму никогда! Предлагая вам брак, я не пытался удовлетворить ни свое желание, ни страсть, ни честолюбие; я исполнял долг; я приговаривал себя к тому, чтобы стать вашим рабом, я готов был отдать ради вас свою жизнь. Боже мой, да вы никогда бы не носили моего имени, если бы не захотели! Вы продолжали бы относиться ко мне как к садовнику Жильберу, я это заслужил,

но ребенок... Вы не должны им жертвовать. Вот триста тысяч ливров, которые щедрый покровитель, отнесшийся ко мне иначе, нежели вы, дал мне в качестве приданого. Если я женюсь на вас, эти деньги будут моими. Мне самому, мадмуазель, ничего не нужно, кроме глотка воздуха, пока я жив, да ямы в земле, когда умру. Все, что я имею сверх того, я отдаю своему ребенку. Возьмите – вот триста тысяч ливров.

Он выложил на стол пачку билетов, почти насильно сунув их Андре в руку.

– Сударь! Вы заблуждаетесь: у вас нет ребенка, – проговорила она.

– Как нет?

– О каком ребенке вы толкуете? – спросила Андре.

– О том, которого вы ждете. Разве не вы признались вашему брату Филиппу и графу де Бальзамо, что беременны и что я, я был тем несчастным...

– Вы слышали? – вскричала Андре. – Ну что ж, тем лучше, тем лучше. В таком случае, вот что я вам, сударь, скажу: вы совершили надо мною подлое насилие, вы овладели мною в то время, пока я спала; вы овладели мною преступно. Я жду ребенка, это верно. Но у моего ребенка будет только мать, слышите? Вы силой овладели моим телом, это так, но вы не являетесь отцом моего ребенка!

Схватив деньги, она швырнула их в бледное лицо несчастного Жильбера.

Его обуяла такая ярость, что ангел-хранитель Андре, должно быть, в другой раз содрогнулся от страха за нее. Однако Жильбер обуздал ярость и прошел мимо Андре, даже не взглянув на нее.

Не успел он шагнуть за порог, как она бросилась вслед, захлопнула дверь, ставни, окна, словно заслоняясь целым миром от своего прошлого.

Глава 38. РЕШЕНИЕ

Как Жильбер вернулся к себе, как он не умер от страданий и бешенства и пережил ночные кошмары, как он не поседел за ночь – мы не беремся объяснить это читателю.

Когда настало утро, Жильбер почувствовал страстное желание написать Андре, чтобы изложить ей все убедительные доводы, до которых он додумался ночью. Однако ему уже не раз приходилось сталкиваться с негибким характером девушки: у него не оставалось ни малейшей надежды. Кроме того, написать – значило бы пойти на уступку, а это было противно его гордой душе. При мысли, что она скомкает его письмо, швырнет даже, может быть, не читая; при мысли, что оно послужит лишь для того, чтобы навести на его след неумных, озлобленных врагов, он решил не писать.

Жильбер подумал, что его предложение могло быть более благосклонно принято отцом: ведь барон был скуп и честолобив, или братом, человеком сердечным: опасаться стоило разве что первого движения Филиппа.

«Впрочем, что мне проку в поддержке барона де Таверне или господина Филиппа, – подумал он, – если Андре неизменно будет преследовать меня словами: „Я не желаю вас знать!“ Ну, хорошо, – продолжал он, разговаривая сам с собой, – ничто меня не связывает более с этой женщиной, она сама позаботилась, чтобы разорвать наши отношения»

Он бормотал все это, катаясь от боли на своем тюфяке, с яростью припоминая до малейших подробностей интонации и лицо Андре; он говорил это, испытывая невыразимые муки, потому что любил ее до самозабвения.

Когда солнце поднялось высоко и заглянуло в мансарду Жильбера, он встал, пошатываясь, с последней надеждой в душе: увидеть свою неприятельницу в саду или в самом павильоне.

Это должно было утишить его горе.

И вдруг его захлестнула волна горечи, досады и презрения. Он усилием воли заставил себя замереть на чердаке.

«Нет, – сказал он себе, – ты не станешь смотреть в это окно, ты не будешь больше глотать отраву, от которой тебе так хотелось бы умереть! Это – бессердечное создание. Когда ты склонял перед ней голову, она ни разу даже не снизошла до улыбки, не сказала тебе ни слова в утешение, не позволила себе дружеского жеста; ей нравилось рвать твое сердце, преисполненное невинной и

чистой любовью. Это – создание без чести и совести; она готова отнять у ребенка отца, в котором тот испытывает естественную потребность; она обрекает несчастного малыша на забвение, нищету, даже, может быть, смерть, и это только за то, что ребенок обесчестил чрево, в котором был зачат. Нет, Жильбер, как бы ни была велика твоя вина, как бы ни был ты влюблен и слаб, я тебе запрещаю подходить к окну и хоть одним глазком глядеть в сторону павильона; я тебе запрещаю жалеть эту женщину и терзать свою душу воспоминаниями о прошлом. Живи, как простой смертный, в труде и удовлетворении материальных потребностей, с пользой трать отпущенное тебе время, не забывая обид и мечтая об отмщении, и помни, что единственный способ не потерять уважение к себе и быть выше знатных честолюбцев – стать благороднее их самих».

Бледный, трясущийся, всем существом тянувшийся к этому окну, он, однако, подчинился голосу разума. Было бы небезынтересно увидеть, как мало-помалу, не спеша, словно его ноги успели врасти в пол, он стал переставлять их шаг за шагом, медленно продвигаясь к лестнице. Наконец он вышел и отправился к Бальзамо.

Внезапно он передумал.

«Безумец! – сказал он себе. – Безмозглое ничтожество! Кажется, я что-то говорил об отмщении? Какое же может быть мщение?.. Убить женщину? О нет, она падет и с радостью заклеит меня еще одним проклятием!. Может, публично ее опозорить? Нет, это подло!.. Да есть ли в душе у этого создания уязвимое место, где мой легкий укол отозвался бы страшной болью, словно от удара кинжалом?.. Ее нужно унижить... Да, потому что она – еще большая гордячка, нежели я Мне.., унижить ее... Но как?.. У меня ничего нет, я ничего собой не представляю, и потом, она наверняка скоро куда-нибудь уедет. Разумеется, мое присутствие, частые появления, презрительный или вызывающий взгляд были бы ей жестоким наказанием. Я отлично понимаю, что она бессердечна и может послать своего брата убить меня Кто же мне мешает научиться искусству убивать человека? Ведь научился же я думать, писать Кто мне помешает одержать над Филиппом победу, обезоружить его, рассмеяться в лицо мстителю, как и той, которая считает себя оскорбленной? Нет, это смешно. Только тот может рассчитывать на свою ловкость и опытность, кто не принимает во внимание вмешательство высших сил или случая... Нет, я в одиночку, голыми руками, полагаясь на свой рассудок, свободный от всякого рода фантазий, при помощи мускулов, данных мне природой, и мощного разума уничтожу планы этих несчастных... Чего хочет Андре? Что у нее есть? Что она может выдвинуть в качестве защиты и для моего посрамления?.. Надо подумать».

Привалившись к выступу в стене, он глубоко задумался, уставившись взглядом в одну точку «Андре должна любить то, что я ненавижу. Стало быть, надо уничтожить то, что я терпеть не могу?.. Уничтожить! О нет!.. Моя месть не должна толкать меня на злодеяние!.. Я никогда не должен браться за оружие! Что же мне остается? А вот что: найти, в чем состоит превосходство Андре; понять, как ей удастся сковывать разом и мое сердце, и мои руки... Никогда больше ее не видеть!.. Не попадаться ей на глаза!.. Пройти в двух шагах от этой женщины, не замечая ее, в то время как она, вызываясь улыбаясь, будет вести за руку своего ребенка.., своего ребенка, который никогда меня не узнает... Гром и преисподняя!»

При этих словах Жильбер изо всех сил ударил кулаком в стену и еще крепче выругался.

«Ее ребенок! Вот в чем секрет. Надо сделать так, чтобы она навсегда лишилась ребенка, которого она приучила бы гнушаться именем Жильбера. Надо, чтобы она, напротив, отлично знала, что ребенок этот вырастет, проклиная имя Андре! Одним словом, надо, чтобы Андре никогда не увидела ребенка, которого она не могла бы полюбить, которого она стала бы мучить, которым корила бы меня всю жизнь – ведь она бессердечная! Потеряв его, она взревет, как львица, у которой отняли ее львят!»

Жильбер был прекрасен в гневе; он встал, испытывая радость отчаяния.

– Погоди же! – воскликнул он, погрозив кулаком в сторону павильона, где жила Андре. – Ты обрекла меня на позор, на одиночество, я мучаюсь угрызениями совести и умираю от любви... А я тебя обрекаю на бесплодные страдания, на одинокое существование, на вечный стыд и страх, на неутомимую ненависть. Теперь ты будешь меня разыскивать, а я стану тебя избегать, ты будешь звать своего ребенка, хотя бы для того только, чтобы растерзать его в клочья. Итак, я разожгу в

твоем сердце страстное желание, оно будет жечь тебя так, словно в сердце твоем застрял кинжал без рукоятки... Да, да, ребенок! Я добуду этого ребенка, Андре; я отниму у тебя не твоего, как ты говоришь, а своего ребенка. У Жильбера будет свой ребенок! Дворянин по линии матери... Мой ребенок!.. Мой ребенок!..

Он едва заметно оживился, хотя его сердце сильно билось от пьянящей радости.

– Итак, – продолжал он, – речь идет не об обыкновенной досаде или жалобах юного провинциала – это будет самый настоящий заговор. Теперь мне не придется изо всех сил сдерживаться, чтобы не смотреть в сторону павильона; теперь я все силы своей души должен направить на то, чтобы обеспечить успех своего предприятия. Я буду смотреть за тобой днем и ночью, Андре, – торжественно проговорил он, подходя к окну, – ни одно твое Г движение не останется незамеченным; я не пропущу ни единого твоего стога, не пожелав тебе еще более сильного страдания; едва ты улыбнешься, как я отвечу тебе громким оскорбительным смехом. Ты – в моих руках, Андре; ты – моя жертва, и я не спущу с тебя глаз. Он подошел к слуховому окну и увидел, что решетчатые ставни павильона раскрываются; потом тень Андре скользнула за занавесками и по потолку, отразившись, вероятно, в одном из зеркал.

Вскоре пришел Филипп. Он встал раньше, но оставался за работой у себя в комнате, расположенной за комнатой Андре.

Жильбер заметил, как оживленно беседуют брат с сестрой. Несомненно, они говорили о нем, о происшедшей накануне сцене. Филипп в замешательстве расхаживал по комнате. Появление Жильбера вносило, по-видимому, некоторые изменения в их планы; может быть, они попытаются обрести в другом месте покой и забвение.

При этой мысли в глазах Жильбера вспыхнул огонь, который, казалось, способен был испепелить павильон и проникнуть в самое сердце земли.

В это время в садовую калитку вошла служанка; она явилась по чьей-то рекомендации. Андре с благосклонностью ее приняла: взяла у нее узелок с вещами и отнесла в бывшую комнату Николь. Позднее покупка разнообразной мебели, предметов домашнего обихода и провизии убедила бдительного Жильбера, что сестра и брат не собираются никуда переезжать.

Филипп самым тщательным образом осмотрел замок в садовой калитке. Жильбер понял: его подозревали, что он проник в дом с помощью поддельного ключа, который ему, возможно, дала Николь: в присутствии Филиппа слесарь сменил в замке собачку.

Впервые со времени последних событий Жильбер по-настоящему обрадовался. Он насмешливо ухмыльнулся.

– Жалкие людишки! – прошептал он. – Их бояться нечего! Взялись за замок, даже не подозревая, что я могу перелезть через стену!.. Плохого же они о тебе мнения, Жильбер. Тем лучше! Да, гордячка Андре, – прибавил он, – никакие замки тебе не помогут – стоит мне только захотеть пробраться к тебе... Теперь и на моей улице праздник! Я тебя презираю.., если только мне не заблагорассудится...

Он повернулся на каблуках, передразнивая придворных повес.

– Нет! – с горечью продолжал он. – Я благороднее вас, ничего мне от вас не нужно!.. Спите спокойно, у меня есть более достойное занятие, нежели мучить вас, получая от этого удовольствие. Спите!

Он отошел от окна и, оглядев свой костюм, спустился по лестнице и пошел к Бальзаме.

Глава 39. 15 ДЕКАБРЯ

Жильбер не встретил со стороны Фрица никаких препятствий и вошел к Бальзамо.

Граф отдыхал на софе, как и подобало богатому бездельнику, утомленному тем, что он проспал всю ночь напролет. Так, во всяком случае, подумал Жильбер, увидев, что он лежит в такое время.

Несомненно, камердинеру было приказано впустить Жильбера, как только он явится, потому что юноше не пришлось называть свое имя, даже просто раскрыть рот.

Когда он вошел в гостиную, Бальзамо приподнялся на локте и захлопнул книгу, которую он

держал в руках, но не читал.

– Ого! – молвил он. – Вот и наш жених! Жильбер промолчал.

– Отлично! – насмешливо продолжал граф. – Ты счастлив и признателен. Очень хорошо! Ты пришел поблагодарить меня... Ну, это лишнее! Оставь это на тот случай, Жильбер, когда тебе опять что-нибудь понадобится. Благодарность – расхожая монета, которая удовлетворяет многих, если сопровождается улыбкой. Иди, дружок, иди.

В словах Бальзамо, в его тоне было нечто невыносимое, омерзительно-слащавое, поразившее Жильбера: ему почудился в них упрек, и в то же время ему показалось, что его тайна разгадана.

– Нет, ваше сиятельство, вы ошибаетесь, я вовсе не собираюсь жениться.

– Вот как? – молвил граф. – Что же ты собираешься делать?.. Что с тобой случилось?

– Случилось так, что меня выставили за дверь, – отвечал Жильбер.

Граф повернулся к нему лицом.

– Должно быть, ты не так взялся за дело, дорогой мой.

– Да нет, ваше сиятельство, во всяком случае, я этого не думаю.

– Кто же тебя выставил?

– Мадмуазель.

– Это естественно. Отчего ты не поговорил с отцом?

– Судьба была ко мне неблагоприятна.

– Так ты фаталист?

– Я для этого недостаточно богат. Граф нахмурился и с любопытством взглянул на Жильбера.

– Не говори о вещах, в которых ты не разбираешься. У взрослых людей это бывает от глупости, у юнцов – от заносчивости. Тебе позволительно быть гордым, но глупым – нет. Скажи ты, что недостаточно богат, чтобы быть дураком, – это я способен понять. Итак, подведем итоги: что ты сделал?

– Пожалуйста. Я уподобился поэтам и размышлял, вместо того, чтобы действовать. Мне захотелось прогуляться по тем же дорожкам, где я когда-то с наслаждением мечтал о любви... И вдруг действительность предстала предо мною, когда я был к этому не готов: действительность убила меня на месте.

– Не так уж плохо, Жильбер. Человек в твоём положении напоминает дозорного на войне. Такие люди должны быть всегда настороже: в правой руке – мушкет, в левой – потайной фонарик.

– Одним словом, ваше сиятельство, я потерпел неудачу. Мадмуазель Андре назвала меня подлецом, негодяем и сказала, что прикажет меня убить.

– Ну, хорошо! А как же ребенок?

– Она сказала, что ребенок – ее, а не мой.

– Что было дальше?

– Я удалился.

– Эх!..

Жильбер поднял голову.

– А что бы сделали вы на моем месте?

– Не знаю. Скажи мне, что намерен делать дальше ты.

– Наказать ее за свое унижение.

– Хорошо сказано.

– Нет, ваше сиятельство, это не просто слова, я принял твердое решение.

– Однако..., ты, возможно, выболтал свою тайну, отдал деньги?

– Моя тайна осталась при мне, и я никому не намерен ее открывать. А деньги – ваши, я их возвращаю.

Жильбер расстегнул куртку и достал из кармана тридцать банковских билетов; раскладывая их на столе перед Бальзамо, он внимательно пересчитал деньги.

Граф взял их и перегнул, продолжая следить глазами за Жильбером, на лице которого не отразилось ни малейшего волнения.

«Он честен, не жаден... Он не лишен ума и решимости: настоящий мужчина», – подумал

граф.

– А теперь, ваше сиятельство, – проговорил Жильбер, – я должен дать вам отчет о двух луидорах, которые вы мне дали.

– Это лишнее, – возразил Бальзамо. – Вернуть сто тысяч экю – благородно, возвращать сорок восемь ливров – мальчишество.

– Я не собирался их вам возвращать, я хотел только рассказать, на что я их потратил, чтобы вы убедились, что мне нужна еще некоторая сумма.

– Это другое дело. Так ты просишь?..

– Я прошу...

– Зачем?

– Чтобы сделать то, о чем вы только что заметили:

«Хорошо сказано».

– Ну, хорошо. Ты собираешься отомстить за себя?

– Да. Надеюсь, это будет благородная месть.

– Не сомневаюсь. Но ведь и жестокая?

– Да.

– Сколько тебе нужно?

– Двадцать тысяч ливров.

– Ты не тронешь эту женщину? – спросил Бальзамо, полагая, что остановит Жильбера своим вопросом.

– Не трону.

– И ее брата?

– Нет. И отца не трону.

– Ты не станешь на нее клеветать?

– Я никогда не раскрою рта, чтобы произнести ее имя.

– Понимаю. Однако это все едино: прирезать женщину или убить ее постоянными бравадами... Итак, ты хочешь погубить ее, беспрестанно показываясь неподалеку от нее, преследуя ее оскорбительными ухмылками и полными ненависти взглядами.

– Я далек от того, о чем вы говорите. Я хочу вас попросить на тот случай, если у меня появится желание покинуть Францию, дать мне возможность бесплатно переплыть море.

Бальзамо вскрикнул от удивления.

– Ну, мэтр Жильбер, – произнес Бальзамо пронзительным и, в то же время, ласковым голосом, в котором, между тем, не угадывалось ни боли, ни радости, – мне кажется, вы непоследовательны, а ваша незаинтересованность – показная. Вы просите у меня двадцать тысяч ливров, из которых ни одного не можете взять на то, чтобы нанять судно?

– Не могу, ваше сиятельство; у меня на это – две причины.

– Какие же?

– Первая заключается в том, что у меня не останется ни гроша к тому времени, как я соберусь к отплытию, потому что – попрошу это отменить, ваше сиятельство, – деньги мне нужны не для себя. Я прошу их для исправления той ошибки, которую я совершил не без вашей помощи...

– Ах, до чего же ты злопамятен! – поджав губы, заметил Бальзамо.

– Это естественно... Итак, я прошу у вас денег на то, чтобы, как я уже сказал, исправить ошибку, а не затем, чтобы прожить их для своего удовольствия. Ни один су из этих двадцати тысяч ливров не ляжет в мой карман. Они предназначены для других целей.

– Для твоего ребенка, как я понимаю...

– Да, ваше сиятельство, для моего ребенка, – не без гордости отвечал Жильбер.

– А как же ты?

– Я? Я сильный, свободный, умный. Я всегда сумею прожить, я хочу жить!

– Ты будешь жить! Бог никогда еще не наделял столь сильной волей тех, кому суждено преждевременно уйти из жизни. Господь позаботился о том, чтобы потеплее укрыть растения, которым предстоит пережить долгую зиму. Точно так же он одевает в стальную броню сердца тех, кому предстоят суровые испытания. Однако мне кажется, ты упомянул о двух причинах, по кото-

рым не можешь отложить тысячу ливров. Итак, во-первых – порядочность.

– А во-вторых, – осторожность. В тот день, когда я покину Францию, мне, возможно, придется скрываться... Если мне нужно будет идти в гавань на поиски капитана, потом – передавать ему деньги – я предполагаю, что именно так это обычно делается, – все это не будет способствовать моей безопасности.

– Ты полагаешь, я сумею помочь тебе скрыться?

– Я знаю, что это вам по плечу.

– Кто тебе это сказал?

– В вашем распоряжении слишком много сверхъестественных сил. Было бы странно, если бы вы не располагали целым арсеналом средств обыкновенных. Колдун может быть уверен в себе, только когда у него есть в запасе спасительный выход.

– Жильбер! – заговорил вдруг Бальзамо, протягивая руку к юноше. – Ты отважен, добро и зло переплетены в тебе, как это бывает обычно у женщин; ты вынослив, честен не напоказ; я сделаю из тебя великого человека; оставайся здесь, этот особняк – надежное пристанище; я на несколько месяцев собираюсь покинуть Европу, я возьму тебя с собой.

Жильбер внимательно выслушал графа.

– Спустя несколько месяцев, – отвечал он, – я бы, возможно, не отказался. Сегодня я вынужден вам сказать: «Благодарю вас, ваше сиятельство, ваше предложение для меня лестно, однако я должен отказаться».

– Неужели сиюминутное отмщение не стоит будущего, рассчитанного, может быть, на пятьдесят лет вперед?

– Ваше сиятельство! Моя прихоть и мой каприз для меня дороже вселенной в ту минуту, как эта прихоть или этот каприз взбрели мне в голову. И потом, помимо отмщения, мне еще надлежит исполнить долг.

– Вот твои двадцать тысяч ливров, – не колеблясь, молвил Бальзамо.

Жильбер взял два банковских билета и, глядя на благодетеля, воскликнул:

– Вы по-королевски щедры!

– Надеюсь, что я более щедр, – возразил Бальзамо, – я не прошу даже, чтобы меня за это помнили.

– Однако я умею быть признательным, как вы уже могли это заметить. Когда я выполню свою задачу, я верну вам двадцать тысяч ливров.

– Каким образом?

– Я могу поступить к вам на службу на столько лет, сколько нужно работать лакею, чтобы вернуть своему хозяину двадцать тысяч ливров.

– На сей раз рассудительность тебе изменила, Жильбер. Еще минуту назад ты мне сказал: «Я прошу у вас двадцать тысяч ливров, которые вы мне должны».

– Это правда. Однако вы меня покорили.

– Очень рад, – бесстрастно молвил Бальзамо. – Итак, ты будешь мне служить, если я того пожелаю.

– Да.

– Что ты умеешь Делать?

– Ничего, но всему могу научиться.

– Ты прав.

– Но мне бы хотелось иметь возможность покинуть в случае необходимости Францию в два часа.

– Значит, ты оставишь у меня службу?

– Я сумею вернуться.

– А я сумею тебя разыскать. Прекратим этот разговор, я устал долго говорить. Придвинь сюда стол.

– Пожалуйста.

Бальзамо взял бумагу с тремя таинственными знаками вместо подписей и вполголоса прочел следующее:

«Пятнадцатого Декабря, в Гавре, на Бостон, П. Дж. „Адонис“.

– Что ты думаешь об Америке, Жильбер?

– Что это не Франция, а в свое время мне бы очень хотелось поехать морем в любую страну, лишь бы не оставаться во Франции.

– Отлично!.. К пятнадцатому декабря наступит то время, о котором ты говоришь?

Жильбер в задумчивости стал загибать пальцы.

– Совершенно точно.

Бальзамо взял перо и написал на чистом листе всего две строчки:

«Примите на борт „Адониса“ пассажира.

Джузеппе Бальзамо».

– Однако это опасный документ, – заметил Жильбер. – Как бы мне в поисках надежного укрытия не угодить в Бастилию!

– Когда кто-нибудь старается выглядеть умником, он на глазах глупеет, – проговорил граф. – «Адонис», дорогой мой Жильбер, – это торговое судно, а я – его основной владелец.

– Простите, ваше сиятельство, – с поклоном отвечал Жильбер, – я и в самом деле ничтожество, у которого к тому же голова порой идет кругом, но я никогда не повторяю своих ошибок. Простите меня и примите уверения в моей признательности.

– Идите, друг мой.

– Прощайте, ваше сиятельство!

– До свидания! – отвечал Бальзамо, поворачиваясь к нему спиной.

Глава 40. ПОСЛЕДНЯЯ АУДИЕНЦИЯ

В ноябре, – а точнее, много месяцев спустя после описанных нами событий, – Филипп де Таверне вышел очень рано для этого времени года, то есть на рассвете, из того самого дома, где он проживал с сестрой. Еще не погасли фонари, а все мелкие городские ремесленники были уже на ногах: продавцы горячих пирожков, которые бедный деревенский торговец с наслаждением глотает прямо на пронизывающем утреннем ветру; разносчики с корзинами за спиной, нагруженными овощами; владельцы тележек с форелью и Другой рыбой, спешащие на рынок... В этом движении трудолюбивых муравьев угадывалась сдержанность, внушаемая трудовому люду уважением ко сну богачей.

Филипп торопливо пересек густонаселенный квартал, где он жил, чтобы поскорее выйти на совершенно безлюдные в этот час Елисейские поля.

Тронутые ржавчиной листья трепетали на верхушках деревьев; большая часть их уже облетела и устилала утрамбованные дорожки Бульвара Королевы, а крокетные мячи, никому не нужные в этот час, были укрыты пушистым ковром вздрагивавших от ветра листьев.

Молодой человек был одет, как богатый парижский буржуа: на нем был сюртук с широкими басками, штаны и шелковые чулки; он был при шпаге; его безукоризненная прическа свидетельствовала о том, что накануне он немало времени провел у цирюльника, главного источника красоты и изыска в описываемую нами эпоху.

Вот почему, когда Филипп заметил, что утренний ветер пытается расстроить его прическу и сдуть всю пудру, он обвел Елисейские поля недовольным взглядом, надеясь, что хотя бы один из наемных экипажей, предназначенных для перевозки пассажиров по этой дороге, уже отправился в путь.

Ему не пришлось долго ждать: потрепанная выцветшая разбитая карета, запряженная тощей клячей буланой масти, вскоре показалась на дороге; кучер еще издали высматривал седока среди деревьев, пронизательно и в то же время угрюмо поглядывая вокруг, словно Эней, разыскивавший один из своих кораблей в Тиренском море.

Заметив Филиппа, наш Автомедон огрел сбою клячу кнутом, и карета, наконец, поравнялась с путешественником.

– Если я точно в девять буду в Версале, вы получите пол-эю, – сказал Филипп.

В девять часов Филиппу была назначена утренняя аудиенция у ее высочества – последнее ее

новшество. Неуклонно стремясь к тому, чтобы освободиться из-под ига этикета, принцесса взяла за правило наблюдать по утрам за работами, которые она затеяла в Трианоне. Встречая на своем пути просителей, которым она заранее назначала встречу, она разрешала их вопросы скоро, никогда не теряя присутствия духа: она разговаривала приветливо, однако ни разу не уронив своего достоинства, а порой ей случалось и повысить тон, если она замечала, что ее доброта неверно истолкована.

Филипп сначала решил идти в Трианон пешком, потому что был вынужден соблюдать строжайшую экономию, однако самолюбие, а, может быть, только привычка, которую навсегда сохраняет военный человек: быть опрятно одетым, разговаривая со старшим, вынудила молодого человека истратить заработок целого дня, чтобы явиться в Версаль в подобающем виде.

Филипп рассчитывал вернуться пешком. Итак, патриций Филипп и плебей Жильбер, начав свой путь с противоположных концов, встретились на одной и той же ступени лестницы.

Сердце Филиппа сжалось, когда он вновь увидел не потерявший очарования Версаль, где розовые и золотые мечты совсем недавно манили его обещанием счастья. С истерзанным сердцем смотрел он теперь на Трианон, вспоминая о своем несчастье, о своем позоре. Точно в девять он уже прохаживался вдоль небольшой клумбы недалеко от резиденции, сжимая в руке приглашение на аудиенцию.

На расстоянии примерно ста футов он увидел ее высочество; она беседовала с архитектором, кутаясь в соболью накидку, хотя было не очень холодно; юная принцесса в крохотной шапочке, в каких изображены обыкновенно дамы на полотнах Ватто, отчетливо выделялась на фоне живой изгороди еще зеленых деревьев. Несколько раз ее серебристый звонкий голосок долетал до Филиппа и пробуждал в нем чувства, которые, как правило, способны вытеснить из раненого сердца печаль.

Несколько человек, которым была, как и Филиппу, милостиво назначена аудиенция, один за другим стали подходить к дверям резиденции; дворецкий по очереди вызывал их из приемной. Появляясь на дорожке, по которой расхаживала принцесса в сопровождении Мика, эти господа удостоивались ласкового слова Марии-Антуанетты или, в виде особой милости, могли обменяться несколькими словами с ней наедине.

Потом принцесса продолжала прогулку в ожидании следующего просителя.

Филипп ждал, пока пройдут все просители. Он уже видел, как взгляд ее высочества несколько раз останавливался на нем, словно она пыталась его вспомнить. Он краснел, изо всех сил стараясь выглядеть скромным и терпеливым.

Наконец дворецкий подошел и к нему, чтобы узнать, не хочет ли он тоже представиться, принимая во внимание то обстоятельство, что ее высочество скоро возвратится в свои покои, после чего не будет никого принимать.

Филипп устремился навстречу принцессе. Она не сводила с него глаз все время, пока он преодолевал разделявшее их расстояние в сто футов; выбрав подходящий момент, он почтительно поклонился.

Ее высочество обратилась к дворецкому с вопросом:

– Как зовут господина, который сейчас кланяется?

Дворецкий заглянул в список приглашенных и ответил:

– Господин Филипп де Таверне, ваше высочество.

– Да, да, верно, – молвила принцесса. Она еще пристальнее и не без любопытства посмотрела на Филиппа.

Тот ожидал, почтительно склонив голову.

– Здравствуйте, господин де Таверне! – обратилась к нему Мария-Антуанетта. – Как себя чувствует мадмуазель Андре?

– Плохо, ваше высочество, – отвечал молодой человек. – Однако моя сестра будет счастлива, когда узнает, что ваше высочество изволили интересоваться ее здоровьем.

Принцесса ничего не отвечала. Она вглядывалась в осунувшееся и побледневшее лицо Филиппа, догадываясь об его страданиях; в юноше, на котором было скромное партикулярное платье, она с трудом угадывала блестящего офицера, первым встретившего ее когда-то на французской

земле.

– Господин Мик! – проговорила она, обратившись к архитектору, – мы с вами уговорились, как должна быть украшена бальная зала? Мы также можем считать решенным вопрос о посадках в ближнем лесу. Простите, что я так надолго задержала вас на холодном ветру.

Таким образом, она его отпустила. Мик отвесил поклон и удалился.

Ее высочество тотчас кивнула всем ожидавшим ее на некотором расстоянии придворным, и они немедленно исчезли. Филипп решил, что приказание относится и к нему: сердце его заныло. Однако, проходя мимо него, принцесса обратилась к нему:

– Так вы говорите, сударь, что ваша сестра больна?

– Если не больна, ваше высочество, то совершенно обессилена.

– Обессилена? – с удивлением переспросила принцесса. – Она же была совершенно здорова!

Филипп поклонился. Юная принцесса еще раз посмотрела на него испытующим взглядом, который можно было бы назвать орлиным взором. Помолчав некоторое время, она продолжала:

– Я бы хотела пройтись немного, сегодня холодный ветер.

Она сделала несколько шагов. Филипп остался стоять на месте.

– Почему же вы не идете за мной? – спросила, оборачиваясь, Мария-Антуанетта.

Филипп в два прыжка нагнал ее.

– Почему вы раньше не предупредили меня о состоянии мадмуазель Андре? Ее судьба мне безразлична.

– Ваше высочество только что сказали... Вашему высочеству была безразлична судьба моей сестры... Но теперь...

– Она и теперь меня, разумеется, интересуется... Впрочем, мне кажется, что мадмуазель де Таверне преждевременно оставила у меня службу.

– Это было необходимо, ваше высочество! – едва слышно отвечал Филипп.

– Что за отвратительное слово: необходимо!.. Объясните, что это значит, сударь. Филипп молчал.

– Доктор Луи мне сказал, – продолжала ее высочество, – что воздух Версаля вреден для здоровья мадмуазель де Таверне, что она поправится, поживя немного в родном доме... Вот все, что он мне сообщил; ваша сестра только однажды побывала у меня перед отъездом. Она была бледна, печальна; должна признаться, что во время нашей последней встречи она выказала мне большую преданность: она просто заливалась слезами!

– Искренними слезами, ваше высочество, – заметил Филипп, сердце которого отчаянно билось в груди, – она и сейчас продолжает оплакивать разлуку с вами.

– Мне показалось, – прибавила принцесса, – что ваш отец насильно заставил свою дочь переехать ко двору; вот почему, видимо, бедное дитя заскучало по родному дому, испытывая к нему привязанность...

– Ваше высочество! – поспешил вставить Филипп. – Моя сестра привязана только к вам.

– Она страдает... Что же это за странная болезнь, которую воздух родной стороны должен был вылечить, а вместо этого только усилил страдания нашей больной?

– Мне, право, неловко отнимать у вашего высочества время... – молвил Филипп, – болезнь моей сестры представляет собой глубокую печаль, которая привела ее в состояние, близкое к отчаянию. Мадмуазель де Таверне привязана в этом мире только к вашему высочеству и ко мне. Впрочем, последнее время она стала очень религиозна. Я имел честь испросить у вашего высочества аудиенцию в надежде на вашу помощь в исполнении желания моей сестры.

Принцесса подняла голову.

– Она хочет уйти в монастырь? – спросила Мария-Антуанетта.

– Да, ваше высочество.

– И вы допустите это? Ведь вы любите бедную девочку?

– Тщательно все взвесив, ваше высочество, я сам посоветовал ей это сделать. Я так люблю сестру, что мой совет не может у кого бы то ни было вызвать подозрение. Вряд ли меня можно обвинить в алчности. От заточения Андре я не буду иметь никакой выгоды: у нас с ней ничего нет.

Принцесса остановилась и украдкой еще раз взглянула на Филиппа.

- Вот об этом как раз я и пыталась у вас узнать, а вы не пожелали меня понять. Вы ведь небогаты?
- Ваше высочество...
- К чему эта ложная скромность, речь идет о счастье бедной девочки... Ответьте мне откровенно, как честный человек... А в вашей честности я не сомневаюсь.
- Филипп встретился глазами с принцессой и выдержал ее взгляд.
- Я готов вам ответить, ваше высочество, – обещал он.
- Ваша сестра вынуждена оставить свет по причине бедности? Пусть сама скажет! Господи! До чего же принцы крови – несчастные люди! Бог наделяет их добрым сердцем, чтобы они пожалели обездоленных, но лишает их способности проникать в чужие тайны и узнавать о несчастье, скрытом под покровом скромности. Отвечайте же откровенно: все дело только в этом?
- Нет, ваше высочество, – твердо выговорил Филипп, – дело не в этом. Просто моя сестра хотела бы поступить в монастырь Сен-Дени, а у нас есть только треть необходимой для этого суммы.
- Взнос составляет шестьдесят тысяч ливров! – воскликнула принцесса.
- Значит, у вас только двадцать тысяч?
- Около того. Однако нам известно, что вашему высочеству достаточно сказать одно слово, чтобы послушница была принята без всякого взноса.
- Разумеется, это в моих силах.
- Это единственная милость, о которой я осмеливаюсь просить ваше высочество, если, конечно, вы уже не обещали кому-нибудь еще свое ходатайство перед ее высочеством Луизой Французской.
- Полковник!
- Вы меня удивляете! – проговорила в ответ Мария-Антуанетта. – Как, будучи моим приближенным, можно было скрывать, что вы без средств! Ах, полковник, это дурно с вашей стороны меня обманывать!
- Я не полковник, ваше высочество, – тихо проговорил Филипп. – Я лишь верный слуга вашего высочества.
- Вы не полковник? С каких это пор?
- Я никогда им не был, ваше высочество.
- Король в моем присутствии обещал полк...
- Назначение так и не было отправлено.
- Но вы же были на службе...
- Я ее оставил, ваше высочество, впад в немилость его величества.
- Почему?
- Не знаю.
- Ах, эти придворные интриги!.. – глубоко вздохнув, молвила принцесса.
- Филипп печально улыбнулся.
- Вы – ангел, посланный Небом, ваше высочество. Я очень сожалею, что не состою на службе при французском дворе и потому не имею возможности умереть за вас.
- Принцесса так сверкнула глазами, что Филипп закрыл лицо руками. Ее высочество даже не пыталась его утешить или отвлечь от грустных мыслей. Замолчав и почувствовав стеснение в груди, она нервным движением сорвала несколько бенгальских роз и теперь в задумчивости обрывала их лепестки.
- Филипп пришел в себя.
- Покорнейше прошу меня простить, ваше высочество, – молвил он.
- Мария-Антуанетта ничего не ответила.
- Ваша сестра может хоть завтра поступить в Сен-Дени, – отрывисто проговорила она. – А вы через месяц получите полк. Такова моя воля!
- Ваше высочество! Прошу вас выслушать мои последние объяснения. Моя сестра с благодарностью принимает благодеяние из рук вашего высочества, я же вынужден отказаться.
- Вы отказываетесь?

– Да, ваше высочество. Я был опозорен при дворе. Враги, виновные в моем позоре, найдут способ ударить еще сильнее, когда увидят, что я поднялся выше прежнего.

– Как? Даже несмотря на мое покровительство?

– Вот именно из-за вашего милостивого покровительства, ваше высочество...

– Вы правы, – побледнев, прошептала принцесса.

– И кроме того, ваше высочество, нет..., я совсем забыл, разговаривая с вами, что на земле больше нет для меня счастья... Я забыл, что, возвратившись в тень, я не Должен больше выходить на свет. Оказавшись в тени, человек должен молиться и предаваться воспоминаниям.

Филипп так трогательно произнес эти слова, что принцесса вздрогнула.

– Придет день; – молвила она, – когда я во всеуслышание скажу то, о чем сейчас могу только подумать. Итак, ваша сестра поступит в Сен-Дени, как только пожелает.

– Благодарю вас, ваше высочество, благодарю.

– А вы., можете попросить меня, о чем угодно.

– Ваше высочество...

– Такова моя воля!

Филипп увидел, что принцесса протягивает ему руку в перчатке, застыв, словно в ожидании. Возможно, это был всего-навсего повелевающий жест.

Он опустился на колени, взял руку принцессы и припал к ней губами; сердце его переполнилось счастьем и затрепетало.

– О чем же вы просите? – спросила принцесса, оставив от волнения свою руку в руках Филиппа.

Филипп склонил голову. Горькие мысли захлестнули его, словно терпящего бедствие во время бури... Несколько мгновений он продолжал стоять не двигаясь и не проронив ни слова. Потом встал и, побледнев, с потухшим взором, проговорил:

– Паспорт, чтобы иметь возможность покинуть Францию в тот самый день, как моя сестра поступит в монастырь Сен-Дени!

Принцесса отпрянула, словно в испуге. Видя страдания молодого человека, которые она вполне понимала, а возможно, и разделяла, она могла только выговорить еле слышно:

– Хорошо. – И скрылась в аллее, обсаженной кипарисами, ветки которых оставались вечно-зелеными и служили украшением гробниц.

Глава 41. БЕЗОТЦОВЩИНА

Приближался день родов, день позора. Несмотря на участвовавшие посещения доктора Луи, несмотря на заботливый уход и утешения Филиппа, Андре час от часу становилась все мрачнее, словно осужденная в ожидании смертной казни.

Несколько раз несчастный брат заставлял Андре задумчивой и вздрагивавшей от малейшего шума... Глаза ее оставались сухими... Она могла по целым дням не проронить ни слова, потом вдруг стремительно вскакивала, начинала ходить по комнате, пытаясь, подобно Дидону, отделаться от себя, от изводившей ее боли.

Наконец наступил вечер. Филипп, заметив, что она побледнела сильнее обыкновения, послал за доктором с просьбой, чтобы он зашел в тот же вечер.

Это произошло двадцать девятого ноября. Филипп изо всех сил старался заинтересовать Андре разговором и как можно дольше ее задержать; он принялся обсуждать с ней не очень веселые и весьма интимные вопросы, которых девушка очень боялась, как раненый боится грубого прикосновения к своей ране.

Он сидел у огня. Служанка, отправившаяся за доктором в Версаль, забыла запереть ставни, и свет от лампы и даже отблески пламени из камина мягко ложились на снег, засыпавший садовые дорожки с наступлением первых холодов.

Филипп выждал, когда Андре начала успокаиваться, и без всяких предисловий спросил:

– Дорогая сестра! Ты, наконец, приняла решение?

– Относительно чего? – через силу улыбнувшись, спросила Андре.

– Относительно.., твоего будущего ребенка. Андре вздрогнула.

– Приближается критический момент, – продолжал Филипп.

– О Боже!

– Я не удивлюсь, если завтра...

– Завтра?

– Даже, может быть, сегодня, дорогая. Андре так сильно побледнела, что Филипп в испуге взял ее за руку и осыпал поцелуями. Андре пришла в себя.

– Брат! – сказала она. – Я не буду с тобой хитрить – это унижительно. Представления о добре и зле смешались для меня. Я не знаю, что такое «зло», с тех пор как я усомнилась в том, что есть «добро». Так не суди меня строже, чем принято судить безумную. Впрочем, возможно, ты отнесешься серьезно к мыслям, которые я попытаюсь изложить; готова поклясться, что они прекрасно выражают мои теперешние чувства.

– Что бы ты ни сказала, Андре, что бы ты ни сделала, ты всегда будешь для меня самой дорогой и любимой на свете.

– Благодарю тебя, мой единственный друг. Смею сказать, что я окажусь достойной того, что ты мне обещаешь. Я жду ребенка, Филипп. Богу было угодно, – так я, по крайней мере, представляю это себе, – покраснев, прибавила она, – чтобы материнство явилось для женщины состоянием, сходным с оплодотворением у растений. Плод – следствие цветения, во время которого растение готовится... Для женщины такое цветение, как я это понимаю, – любовь.

– Ты права, Андре.

– А я, – с живостью продолжала Андре, – не успела подготовиться. Я – аномалия. Мне не дано было познать ни любви, ни желаний. Я столь же чиста сердцем и помыслами, как и телом... И тем не менее, печальное превращение!.. Бог посылает мне то, чего я не желала, о чем даже и не мечтала... Почему тогда Он не посылает плодов дереву, которому суждено остаться бесплодным?.. Откуда возьмутся во мне чувства, инстинкты? Где мне взять на это силы?.. Женщина, в муках дающая жизнь своему ребенку, знает, ради чего она терпит эти муки; я же ничего не знаю, я трепещу от одной мысли об этом, я подхожу к дню родов, словно к эшафоту... Филипп, Бог меня проклял!..

– Андре, сестренка!

– Филипп, – горячо продолжала она, – я испытываю ненависть к своему будущему ребенку!.. Да, я его ненавижу! Я буду помнить всю жизнь, – если мне суждено жить, Филипп, – тот день, когда внутри меня впервые шевельнулся мой смертельный враг, которого я ношу под сердцем. Я до сих пор не могу без дрожи вспомнить столь дорогое каждой матери, а для меня ненавистное первое движение ребенка; я сгораю от ненависти, и хула готова сорваться с моих дотоле невинных губ. Филипп, я дурная мать! Филипп, на мне Божье проклятие!

– Во имя Неба, Андре, успокойся! Не губи свою душу. Этот ребенок – плоть от твоей плоти, я люблю этого ребенка, потому что он – твой.

– Ты его любишь? – вскричала она, побледнев от гнева. – Как ты смеешь говорить это мне, как ты можешь любить мое и свое бесчестье? Ты посмел сказать, что любишь вечное напоминание о преступлении, отпрыска подлого преступника!.. Я тебе уже сказала, Филипп, без страха и лицемерия: я ненавижу ребенка, я его не просила! Я питаю к нему отвращение, потому что он, возможно, будет похож на своего отца... Отца!.. Я умру когда-нибудь от одного этого слова!.. Боже мой! – вскрикнула она, бросившись на колени. – Я не могу убить ребенка при его рождении, потому что ты, Господи дал ему жизнь... Я не могла лишиться себя жизни, пока вынашивала его, потому что самоубийство запрещено наравне с убийством. Господи! Прошу Тебя, молю Тебя, заклинаю Тебя, если Ты есть. Боже правый, если Ты заступник сирых на земле, если Ты не хочешь, чтобы я умерла от отчаяния, живя в позоре и слезах. Боже мой, приberi этого ребенка! Господи, убей его! Господи, избавь меня от него, отомсти за меня!

Она в исступлении стала биться головой о мраморный наличник, несмотря на все усилия Филиппа и вырываясь у него из рук.

Внезапно дверь распахнулась: вернулась служанка в сопровождении доктора, которому достаточно оказалось одного взгляда, чтобы понять, что произошло.

– Сударыня! – заговорил он присущим лекарям спокойным тоном, который одних принуждает к смирению, других – к повиновению. – Сударыня! Не надо преувеличивать свое представление о предстоящем вам испытании, оно не за горами Приготовьте все то, о чем я вам рассказал дорогой, – обратился он к служанке. – А вы, – сказал он Филиппу, – будьте более благоразумны, чем ваша сестра, и вместо того, чтобы разделять ее страхи или слабости, помогите мне ее успокоить!

Андре, пристыженная, встала. Филипп усадил ее в кресло.

Больная покраснела, изогнувшись от боли, вцепившись в бахрому на кресле, и из ее посиневших губ вырвался первый крик.

– Ее страдание, падение и ярость ускорили начало схваток, – пояснил доктор. – Идите к себе, господин де Таверне и..., мужайтесь!

С затрепетавшим сердцем Филипп бросился к Андре; она все слышала и дрожала от страха; несмотря на боль, она приподнялась и обеими руками обхватила брата за шею.

Она прижалась к нему, прильнула губами к его холодной щеке и прошептала:

– Прощай! Прощай! Прощай!

– Доктор! Доктор! – в отчаянии вскричал Филипп. – Вы слышите?..

Доктор Луи вежливо, но настойчиво развел двух несчастных, Андре снова усадил в кресло, Филиппа проводил в его комнату, потом запер на задвижку Дверь, соединявшую комнату Филиппа с комнатой Андре, задернул занавески, прикрыл другие двери. Так он словно решил похоронить в этой комнате тайну, которая должна была возникнуть между доктором и женщиной, между Богом и ими обоими.

В три часа ночи доктор распахнул дверь, за которой плакал и молился Филипп.

– У вашей сестры родился мальчик, – объявил он. Филипп всплеснул руками – Не ходите к ней, – сказал доктор, – она спит.

– Спит... Доктор! Неужели она и вправду спит?

– Если бы дело обстояло иначе, я бы вам сказал: «У вашей сестры родился мальчик, но она умерла от родов...» Да вы сами можете увидеть.

Филипп просунул голову в дверь.

– Послушайте, как она дышит...

– Да! Да! – прошептал Филипп, обнимая доктора.

– А теперь, как вы знаете, мы уговорились с кормилицей. Проходя сегодня по улице Пуэнь-дю-Жур, где живет эта женщина, я дал ей знать, чтобы она была готова... Однако только вы можете привезти ее сюда, меня там не должны видеть... Пока ваша сестра спит, поезжайте за ней в моей карете.

– А как же вы, доктор?

– Мне нужно еще зайти на Королевскую площадь к одному почти безнадежному больному... Плеврит... Я хочу провести остаток ночи у его изголовья, чтобы понаблюдать за тем, как ему дают лекарства, а заодно и за их действием.

– На улице холодно, доктор.

– У меня пальто.

– Время сейчас ненадежное...

– За последние двадцать лет меня раз двадцать останавливали ночью на улице. Я неизменно отвечал: «Друг мой, я – лекарь и иду к больному... Хотите, я отдам вам свое пальто? Возьмите, только не убивайте меня, потому что если я не приду, больной умрет». И заметьте, сударь: пальто служит мне двадцать лет. Воры ни разу на него не позарились.

– Милый доктор!.. Вы придете завтра? – Завтра в восемь я буду здесь. Прощайте! Доктор объяснил служанке, как надо ухаживать за больной, и приказал не отходить от нее ни на шаг. Он хотел, чтобы ребенка поместили рядом с матерью. Однако Филипп уговорил доктора унести младенца, памятуя о недавних словах сестры.

Доктор Луи сам уложил мальчика в комнате служанки, а потом быстрыми шагами пошел по улице Монторгей, в то время как фиакр увозил Филиппа в сторону Руля. Служанка задремала, сидя в кресле у постели хозяйки.

Глава 42. ПОХИЩЕНИЕ

Во время спасительного сна, следующего за сильными потрясениями, разум словно обретает двойную силу: способность верно оценить положение и возможность вернуть силы организму, оказавшемуся в состоянии, близком к смерти.

Словно вернувшись к жизни из небытия, Андре раскрыла глаза и увидела неподалеку от себя спящую в кресле служанку. Она услышала, как весело потрескивают в очаге дрова, и с наслаждением стала вслушиваться в тишину комнаты, где все отдыхало вместе с ней...

Ее состояние нельзя было назвать бодрствованием, однако это был и не сон. Андре получала удовольствие от того, что растягивала ощущение неопределенности Дремотной неги; мысли мелькали одна за другой в ее утомленной голове, однако Андре не останавливалась ни на одной из них, словно боясь окончательно проснуться.

Вдруг издалека до нее донесся слабый, едва уловимый детский плач сквозь стену.

Этот крик вызвал у Андре дрожь, от которой она еще недавно так страдала. Она почувствовала, как в ней всколыхнулась ненависть, та самая, которая вот уже несколько месяцев смущала ее невинную душу и от которой она подурнела. Это было похоже на то, как от внезапного толчка колыхнется мутная вода в сосуде, поднимая со дна осадок.

С этой минуты Андре лишилась сна и покоя; она вспоминала, и ее опять захлестнула ненависть.

Однако душевные силы зависят обыкновенно от физического состояния. На сей раз Андре не почувствовала в себе прежней ненависти.

Крик ребенка сначала отозвался в ней болью, потом стал ее смущать... Она спрашивала себя: не явился ли Филипп, очень деликатный по натуре, исполнителем чьей-то отчасти жестокой воли, удалив от нее ребенка?

Мысленное пожелание кому-либо зла имеет мало общего с тем, когда это зло совершается на глазах того, кто его пожелал. Андре, заранее ненавидевшая еще не родившегося ребенка, желавшая ему смерти, теперь страдала, слыша, как плачет несчастное создание.

«Ему больно, – подумала она и сейчас же ответила себе:

– почему меня должны волновать его страдания?... Ведь я сама – несчастнейшее из живущих на земле?»

Младенец закричал еще громче, еще жалобнее.

Андре с удивлением отметила, как у нее в душе зашевелилось беспокойство, словно невидимая нить связывала ее со всеми покинутым попискивавшим существом.

Происходило то, что она заранее сама себе предсказала. Природа приготовила ее: перенесенная физическая боль подчинила сердце матери, в котором теперь отзывалось малейшее движение ребенка; мать и дитя были отныне накрепко соединены друг с другом.

«Бедный сиротка не должен плакать, – подумала Андре, – он словно жалуется на меня Богу. Господь наделяет крохотные существа, едва появившиеся на свет, самым красноречивым из языков... Их можно убить, освободив тем самым от страданий, но нельзя подвергать их мучению... Если бы люди имели такое право. Бог не позволил бы детям так жалобно плакать».

Андре приподняла голову, собираясь окликнуть служанку, однако ее слабый голосок не мог разбудить девушку, спавшую крепким здоровым сном, а детские крики стихли.

«Верно, пришла кормилица, – подумала Андре. – Хлопнула входная дверь... Да, кто-то идет в соседнюю комнату..., и малыш больше не плачет..., над ним уже простерлась чья-то заботливая десница и успокоила его. Значит, пока для него мать – это тот, кто о нем заботится?... За несколько эку..., ребенок, плоть от плоти мое дитя, может обрести мать. А позже, проходя мимо меня, столько ради него выстрадавшей и давшей ему жизнь, это дитя даже не взглянет на меня и назовет матерью наемную кормилицу, более щедрую по отношению к нему в своей платной любви, нежели я в своей справедливой ненависти... Нет, этого не будет... Я своими страданиями заплатила за право смотреть малышу в глаза... Я имею право заставить его любить себя в обмен на свои заботы о нем, заставить его себя уважать за мою жертву и мою боль! Она рванулась, собралась с силами и позвала:

– Маргарита! Маргарита!

Служанка с трудом пробудилась, но еще продолжала сидеть в кресле, приходя в себя.

– Вы слышите меня? – спросила Андре.

– Да, госпожа, да! – отвечала Маргарита, наконец опаматовавшись.

Она подошла к постели.

– Прикажете подать воды?

– Нет...

– Госпоже угодно узнать, может быть, который час?

– Нет..., нет...

Она не сводила глаз с двери в соседнюю комнату.

– А-а, понимаю... Госпоже угодно знать, вернулся ли ее брат?

Видно было, как Андре борется всей своей ослабевшей, но обуреваемой гордыней душой с желанием горячего, но щедрого на любовь сердца.

– Я хочу, – выговорила она наконец, – я хочу... Отворите эту дверь, Маргарита.

– Да, госпожа... Ох, как дует оттуда... Сквозняк, госпожа! Да еще какой!..

В самом деле: порыв ветра влетел в комнату Андре; и пламя от свечи в ночнике заколыхалось.

– Должно быть, кормилица оставила открытыми дверь или окно. Посмотрите, Маргарита, посмотрите... Ребенок может озябнуть...

Маргарита направилась в соседнюю комнату.

– Я его укрою, госпожа, – пообещала она.

– Нет..., нет! – отрывисто пробормотала Андре. – Принесите его сюда.

Маргарита застыла посреди комнаты.

– Господин Филипп велел положить ребенка там... – мягко возразила она. – Верно, он боялся, что маленький может вам помешать или что вы разволнуетесь.

– Принесите мне моего ребенка! – приказала молодая мать, готовая взорваться: на ее глазах, оставшихся сухими даже во время родов, заблестали слезы, от которых, наверное, улыбнулись на небесах добрые ангелы – хранители маленьких детей.

Маргарита бросилась исполнять приказание. Андре сидела в кровати, закрыв лицо руками.

Служанка вернулась с выражением недоумения на лице.

– Что такое? – спросила Андре.

– Госпожа!.. Кто-то туда заходил?

– Что значит «кто-то»?.. Кто?

– Ребенка там нет, госпожа!

– Я слышала недавно шум, шаги... Должно быть, пока вы спали, приходила кормилица... Наверное, она не хотела вас будить... А где мой брат? Сходите к нему в комнату.

Маргарита поспешила в комнату Филиппа. И там никого!

– Странно! – заметила Андре; сердце ее сильно билось. – Неужели брат мог уйти, не заходя ко мне?..

– Госпожа!.. – вскрикнула служанка.

– Что такое?

– Входная дверь отворяется!

– Бегите скорее, посмотрите, кто там?

– Это вернулся господин Филипп... Входите, сударь, входите!

Это действительно вернулся Филипп. Из-за его спины выглядывала крестьянка, закутанная в длинную накидку из грубой шерсти в полоску. Она улыбалась любезно, как всегда нанимаемая прислуга улыбается новым хозяевам.

– А вот и я, сестричка! – сказал Филипп, входя в комнату.

– Бедный мой брат!.. Сколько я тебе причиняю хлопот, огорчений! А-а, вот и кормилица... Я так боялась, что она ушла.

– Ушла?.. Да она только что приехала.

– Ты хотел сказать «вернулась»? Да нет, я ясно слышала, как она недавно входила, несмотря

на то, что она шла тихонько...

– Я не понимаю, о чем ты, сестра. Никто...

– Спасибо, Филипп, – перебила его Андре, притягивая брата к себе и старательно выговаривая каждое слово. – Спасибо тебе за то, что ты так предусмотрителен и не захотел отдавать кормилице ребенка, не дав мне на него посмотреть!.. поцеловать!.. Филипп, ты знаешь мое сердце... Да, да, можешь быть спокоен, я буду любить своего малыша.

Филипп схватил руку Андре и осыпал ее поцелуями.

– Прикажи кормилице дать мне ребенка... – прибавила молодая мать.

– Сударь! – возразила служанка. – Вы отлично знаете, что ребенка здесь нет.

– Что? Что вы говорите? – молвил Филипп, Андре в ужасе посмотрела на брата.

Молодой человек бросился к кровати служанки; никого на ней не обнаружив, он издал душераздирающий крик.

Андре следила за братом в зеркале. Она увидела, как он побледнел и уронил руки, и почти догадалась, что произошло. Словно отвечая на его крик, она глубоко вздохнула и упала без чувств на подушку. Филипп не ожидал ни нового несчастья, ни такого неизбежного горя. Он призвал на помощь все свои силы и ласками, утешениями, слезами вернул Андре к жизни.

– Мое дитя! – шептала Андре. – Мое дитя... «Надо спасти мать», – сказал себе Филипп. – Сестра, сестричка, мы все, кажется, сошли с ума; мы совсем забыли, что наш милый доктор унес ребенка с собой.

– Доктор? – с сомнением и душевной болью проговорила Андре, но в ее сердце зашевелилась надежда.

– Ну да, ну да... Ах, здесь немудрено потерять голову!

– Филипп, ты можешь поклясться?..

– Дорогая сестра, ты не более благоразумна, нежели я... Как ты думаешь, этот ребенок... мог исчезнуть?

И он рассмеялся, окончательно убедив кормилицу и служанку.

Андре оживилась.

– Однако я слышала... – промолвила она.

– Что?

– Шаги... Филипп вздрогнул.

– Это невозможно! Ты спала.

– Нет, нет! Я уже проснулась, я слышала!.. Я слышала!..

– Ну, значит, ты слышала, как приходил наш милый доктор, он вернулся после моего ухода, потому что здоровье маленького вызывало у него беспокойство, вот он, должно быть, и решил забрать его с собой... Он, кстати, говорил об этом.

– Ты меня успокоил.

– Ну еще бы! Все это так просто объясняется!

– В таком случае, что здесь делаю я? – поинтересовалась кормилица.

– Верно... Доктор ждет вас в вашем доме...

– О!

– Значит, у себя дома. Ну вот... а Маргарита так крепко спала, что не слышала ничего из того, что говорил ей доктор... или доктор не пожелал ей ничего говорить.

Оправившись после страшного потрясения, Андре легла в постель.

Филипп проводил кормилицу и дал указания служанке.

Потом он взял лампу и тщательно осмотрел входную дверь, затем обнаружил, что садовая калитка незаперта, и увидел на снегу свежие следы, которые вели от дома к калитке.

– Мужские следы!.. – вскричал он. – Ребенок похищен... Беда! Беда!

Глава 43. ДЕРЕВНЯ АРАМОН

Следы, отпечатавшиеся на снегу, принадлежали Жильберу. Со времени своей последней встречи с Бальзаме он неустанно следил за павильоном и готовился к мести.

Все удалось ему без особого труда. Он был так ловок, что сладкими речами и услужливостью втерся в дом философа и даже был обласкан женой Руссо. Средство было простое: из тридцати су, ежедневно выплачиваемых философом своему переписчику, бережливый Жильбер откладывал в неделю по ливру и покупал Терезе какую-нибудь мелочь.

То это была ленточка на колпак, то сладости, то бутылка вина или ликера. А иногда добрая женщина, чувствительная ко всему, что касалось ее вкусов или тщеславия, довольствовалась восхищенными возгласами, которые вырывались за столом у Жильбера, расхваливавшего кулинарные таланты хозяйки дома.

Да, женевскому философу удалось добиться того, чтобы его подопечный столовался у Терезы. Таким образом, за последние два месяца благодетельствованный Жильбер сумел скопить два луидора и присовокупить их к своему сокровищу, покоившемуся под циновкой рядом с двадцатью тысячами ливров Бальзамо.

Но какой ценой! Благодаря какому безупречному поведению и силе воли! Вставая с рассветом, Жильбер прежде всего выглядывал в окно, безошибочным взглядом определяя положение Андре и примечая малейшие изменения, которые могли произойти в скромном и размеренном образе жизни затворницы.

Ничто не могло ускользнуть от его взгляда: ни следы от туфелек Андре на садовой дорожке, ни складки на занавесках, более или менее плотно задернутых, что, как было известно Жильберу, зависело от расположения духа его возлюбленной: в те минуты, когда Андре была мрачна, она не выносила дневного света.

Итак, Жильбер знал, что происходило у нее в душе и в доме.

Кроме того, он научился определять, куда отлучается Филипп, и никогда не ошибался, каково будет следствие его похода.

Он был настолько педантичен, что в один прекрасный вечер даже проследил за Филиппом, когда тот ходил в Версаль за доктором Луи... Этот визит Филиппа в Версаль несколько смутил сыщика. Однако когда через два дня он увидел, как доктор украдкой проскользнул с улицы Кок-Эрон в сад, он понял то, что совсем недавно было для него тайной.

Жильбер знал, что уже не за горами тот день, когда должны были осуществиться все его надежды. Он принял меры предосторожности, необходимые для успеха труднейшего предприятия. Вот какой он составил план действий.

Два луидорагодились ему на то, чтобы нанять в пригороде Сен-Дени кабриолет, запряженный парой. Эта карета должна была постоянно быть наготове.

Кроме того, Жильбер испросил четырехдневный отпуск и воспользовался им, чтобы исследовать окрестности Парижа. Он отправился в небольшое городишко в округе Суасон, расположенный в восемнадцати милях от Парижа и окруженный бескрайними лесами.

Городишко назывался Виллер-Котре. Прибыв на место, Жильбер отправился прямехонько к единственному в этих местах нотариусу мэтру Нике.

Жильбер представился нотариусу сыном управляющего знатного сеньора. Желая облагодетельствовать новорожденного одной из своих крестьянок, знатный сеньор поручил Жильберу подыскать для ребенка кормилицу.

По всей вероятности, щедрость знатного сеньора не ограничится платой за кормилицу, и он захочет передать на хранение мэтру Нике некоторую сумму для ребенка.

Мэтр Нике, отец трех симпатичных мальчуганов, сообщил, что в крохотной деревушке Арамон, в миле от Виллер-Котре, дочь кормилицы всех трех его сыновей, сочетавшаяся законным браком в его конторе, продолжает дело своей матери.

Славную эту женщину звали Мадлен Питу. У нее был четырехлетний сын, обладавший по всем признакам отменным здоровьем. Она только что разрешилась вторым ребенком, и, следовательно, была к услугам Жильбера с того дня, как он изволил принести или прислать своего младенца.

Сделав необходимые распоряжения, как всегда пунктуальный Жильбер возвратился в Париж за два часа до того, как истекло время его отпуска. Теперь читатель может нас спросить, почему Жильбер отдал предпочтение небольшому городку Виллер-Котре.

Все это, как и многое другое, Жильбер сделал под влиянием Руссо.

Однажды Руссо упомянул о лесах Виллер-Котре как об одних из самых богатых разнообразными растениями, а в этих лесах, сказал он, спрятаны надежно, словно гнезда в густой листве, деревеньки; он назвал три или четыре.

Итак, ребенка Жильбера просто невозможно было отыскать в одной из этих глухих деревушек.

Арамон поразил воображение Руссо своей заброшенностью. Недаром Руссо-мизантроп, Руссо-нелюдим, Руссо-отшельник неустанно повторял:

«Арамон – это край света; Арамон – это настоящая пустыня: там можно, подобно птице, прожить на ветке и умереть под листком».

Жильбер жадно ловил все подробности в рассказах философа, когда тот, описывая деревушку, с жаром говорил обо всем подряд, начиная от кормящей грудью молодой матери вплоть до мелодичного блеяния козочки; от аппетитного аромата деревенского капустного супа до дикой шелковицы и лилового вереска.

«Я направлюсь туда, – сказал себе Жильбер. – Мой ребенок вырастет под сенью дерев, которым учитель изливал свои мечты и сожаления».

Для Жильбера любая фантазия превращалась в неукоснительное правило, в особенности если эта фантазия выглядела как нравственная необходимость.

Вот почему он так обрадовался, когда мэтр Нике, словно угадывая его желания, указал ему на Арамон как на подходящую для его целей деревушку.

Вернувшись в Париж, Жильбер занялся кабриолетом. Кабриолет был не очень красивый, но надежный – это было все, что нужно. Лошади были выносливые першероны, а кучер – настоящий увальень; но самое главное для Жильбера – приехать в Арамон и не вызвать ничьих подозрений.

Его басня, кстати сказать, не внушила мэтру Нике недоверия. Жильбер в новом костюме вполне был похож на сына управляющего из хорошего дома или переодетого камердинера герцога и пэра.

Его откровенность не вызвала подозрений и у возницы. Это были такие времена, когда благородный господин мог разоткровенничаться, словно простолудин; тогда деньги принимали с благодарностью, не задавая лишних вопросов.

Кстати сказать, два луидора по тем временам стоили четырех нынешних, а в наши дни четыре луидора не так уж легко заработать.

Итак, кучер согласился, с тем, однако, условием, что Жильбер предупредит его за два часа до отправления. Это предприятие привлекало юношу с разных сторон: и как поэта, и как философа; оно представлялось ему делом благородным. Отнять дитя у жестокой матери значило посеять стыд и смятение в лагере врагов. Потом, изменив внешность, войти в хижину к добродетельным, судя по описанию Руссо, крестьянам и выложить вместе с младенцем кругленькую сумму. Бедные люди будут на тебя смотреть как на опекуна, как на лицо значительное: вот чего было более чем достаточно для удовлетворения гордыни и злобы, для любви к будущему ребенку и для ненависти к врагам.

Наконец наступил роковой день. Ему предшествовали десять других дней, которые Жильбер провел в страшной тревоге, ни разу не сомкнув глаз. Несмотря на жестокий мороз, он спал с раскрытым окном. Малейшее движение Андре или Филиппа отзывалось в его ушах, как отзывается колокольчик на движение зажавшей его руки.

Он видел, как в тот день Филипп и Андре беседовали, сидя у камина; он видел, с какой поспешностью служанка отправилась в Версаль, забыв даже запереть ставни. Он побежал предупредить своего кучера, оставался у конюшни все время, пока закладывали лошадей, от нетерпения кусая кулаки и судорожно цепляясь башмаками за булыжник. Наконец возница вскарабкался на одну из лошадей, а Жильбер сел в кабриолет. Вскоре он приказал остановить на углу маленькой безлюдной улочки недалеко от Центрального рынка. Потом он возвратился в мансарду, написал письмо, в котором попрощался с Руссо, поблагодарил Терезу, сообщил, что его ожидает небольшое наследство на Юге и что он вернется... Все без более или менее подробных объяснений. Потом он спрятал в карман деньги, засунул длинный нож в рукав и уже совсем собрался съехать по

трубе в сад, как вдруг его остановила неожиданная мысль.

Снег!.. Поглощенный в последние три дня своими мыслями, Жильбер не подумал об этом... На снегу будут заметны его следы... Если следы приведут к стене дома Руссо, нет никаких сомнений, что Филипп и Андре произведут расследование, а если исчезновение Жильбера совпадет с похищением, его тайна будет раскрыта.

Необходимо было непременно сделать круг и зайти с улицы Кок-Эрон, потом войти через садовую калитку, от которой у Жильбера уже месяц назад была отмычка; от этой калитки к дому вела протоптанная тропинка и, следовательно, он не оставит следов.

Он не стал терять ни минуты и подошел к калитке в то время, когда фиакр, в котором приехал доктор, еще стоял у главных ворот особняка.

Жильбер осторожно отпер дверь и, никого не заметив, спрятался за углом павильона, со стороны оранжереи.

Какая это была страшная ночь! Он все слышал: стоны, сдавленные рыдания, первый крик своего сына.

Привалившись к холодной каменной стене, он не чувствовал, как густой снег падает ему на голову с почерневшего неба. Его сердце ударяло в рукоятку ножа, который он в отчаянии прижимал к груди. Его смотревшие в одну точку глаза налились кровью и горели в темноте.

Дождавшись, когда доктор выйдет, Филипп обменялся с ним прощальными словами.

Жильбер подошел к ставню, оставляя на снегу следы и по щиколотку проваливаясь в снег. Он увидел, что Андре заснула в своей постели, что Маргарита задремала в кресле. Поискав глазами возле матери ребенка, он так его и не обнаружил.

Он пошел к крыльцу, отворил скрипнувшую и тем напугавшую его дверь и, добравшись до кровати, принадлежавшей когда-то Николь, стал на ощупь искать ребенка и коснулся застывшими на морозе пальцами личика бедного младенца, который запищал от боли; эти его крики и услышала Андре.

Завернув новорожденного в шерстяное одеяло, он унес его, оставив дверь приотворенной, чтобы не повторился ужасный скрип.

Затем он вышел через садовую калитку на улицу, подбежал к кабриолету, вытолкнул из него кучера и застегнул кожаную полсть, а возница взобрался на лошадь.

– Получишь пол-луидора, если через четверть часа будем за городскими воротами.

Застоявшиеся на морозе лошади поскакали галопом.

Глава 44. СЕМЕЙСТВО ПИТУ

В пути все пугало Жильбера. В стуке карет, ехавших следом или обгонявших его кабриолет; в жалобном завывании ветра в вершинах голых деревьев – во всем чудилась ему погоня или крики тех, у кого он похитил ребенка.

На самом деле ему ничто не угрожало. Возница честно сделал свое дело, и к назначенному Жильбером часу, то есть до свету, взмыленные лошади прискакали в Даммартен.

Жильбер дал вознице пол-луидора, сменил лошадей и кучера, и скачка продолжалась. Первую половину пути тщательно укутанный ребенок, лежавший на руках Жильбера, не чувствовал холода и ни разу не пискнул. С рассветом Жильбер еще издали заметил деревню и приободрился. Чтобы заглушить плач начавшего подавать голос младенца, Жильбер затянул одну из нескончаемых песен, которые он напевал в Таверне, возвращаясь с охоты.

Скрип колесной оси, громоханье повозки, звон бубенцов служили ему дьявольским аккомпанементом, в который вплетался еще и голос возницы, подпевавшего Жильберу «Прекрасную Бурбонку».

Благодаря этому пению последний возница даже не понял, что Жильбер везет с собой ребенка. Он осадил лошадей, приехав в Виллер-Котре раньше намеченного времени, и получил сверх обещанной платы экую в шесть ливров. А Жильбер взял на руки бережно завернутую в одеяло ношу и, с самым серьезным видом продолжая петь, торопливо зашагал прочь. Перешагнув через канаву, он пошел по усыпанной листьями тропинке, сбегавшей вниз, поворачивавшей влево от доро-

ги и ведшей к деревушке Арамон.

Холодало Всего за несколько часов снегу заметно прибавилось; на поле из-под снега торчали кусты и колючки. Впереди на лесной опушке виднелись голые печальные деревья, сквозь ветви которых проглядывала бледная лазурь еще затянутого туманной пеленой небосвода.

Свежий воздух, запах леса, повисшие на ветвях ледяные бусинки, наконец просторы и поэтичность этих мест поразили воображение молодого человека.

Он двинулся скорым шагом вдоль неглубокого оврага и, не спотыкаясь, не раздумывая, пошел через лес на звон деревенского колокола и голубоватый дымок, поднимавшийся над крышами и стлавшийся по-над лесом, пробиваясь сквозь спутанные ветви дерев. Не прошло и получаса, как Жильбер вышел к берегу ручья, поросшего клевером и пожелтевшим клоповником. Он перешагнул через ручей, зашел в крайнюю хижину и попросил деревенских ребятишек проводить его к Мадлен Питу.

Тихие и внимательные, но не забитые и малоподвижные, как бывают иные крестьяне, дети встали и, заглянув незнакомцу в глаза, взялись за руки и проводили его к довольно большой хижине, привлекательной с виду, расположенной на берегу ручья, как и большинство домов этой деревни.

Ручей катил прозрачные волны, разбухшие после того, как растаял первый снег. Деревянный мост, вернее сказать, толстая ветка была перекинута через ручей, соединяя тропинку с земляными ступеньками дома.

Один из провожатых Жильбера кивнул головой в знак того, что здесь и живет Мадлен Питу.

– Здесь? – переспросил Жильбер.

Малыш еще раз кивнул, не проронив ни слова.

– Мадлен Питу? – для точности еще раз переспросил Жильбер.

Получив молчаливое подтверждение, Жильбер перешел по мосткам и толкнул дверь хижины. А ребятишки снова взялись за руки и во все глаза смотрели на Жильбера, силясь понять, зачем пришел к Мадлен этот нарядный господин в коричневом костюме и туфлях с пряжками.

Во все это время Жильбер не видел, кроме ребят, ни одной живой души: Арамон и вправду оказался столь желанной для него пустыней.

Зрелище, полное очарования для любого человека, а в особенности – для ученика философа, предстало глазам Жильбера, едва он распахнул дверь.

Мощная крестьянка кормила грудью прелестного младенца, а другой ребенок, крепыш лет пяти, громко молился, стоя перед ней на коленях.

В углу у окна или, точнее, возле застекленной дыры в стене другая крестьянка на вид лет тридцати шести пряла лен, подставив под ноги деревянную скамеечку; справа от нее стояла прялка, на скамье в ногах улегся лохматый пудель Завидев Жильбера, пес довольно добродушно тявкнул, словно желая показать свою бдительность. Мальчик перестал молиться и обернулся, а обе женщины вскрикнули, словно от удивления или от радости Жильбер улыбнулся кормилице.

– Здравствуйте, дорогая Мадлен! Крестьянка так и подскочила от изумления.

– Господину известно, как меня зовут? – пролепетала она.

– Как видите. Продолжайте свое дело, прошу вас. Вместо одного питомца у вас теперь будут два!

С этими словами он положил в грубо сколоченную деревенскую колыбельку своего маленького горожанина.

– Какой хорошенький! – вскричала женщина, сидевшая за прялкой.

– Правда, сестрица Анжелика, очень хорошенький, – согласилась Мадлен.

– Эта женщина – ваша сестра? – спросил Жильбер, указывая на пряху.

– Да, сударь, сестра, – отвечала Мадлен, – сестра моего мужа.

– Да, это моя тетя, тетя Желика, – вмешавшись в разговор, сказал баском мальчуган, не успев подняться на ноги.

– Помолчи, Анж, помолчи, – приказала мать. – Ты перебиваешь господина.

– То, что я собираюсь вам предложить, – совсем нехитрая вещь. Этот ребенок – сын одного из арендаторов моего хозяина... Арендатор разорился... Мой хозяин, крестный отец ребенка, хо-

чет, чтобы он рос в деревне и стал хорошим работником... Вырос здоровым..., и нравственно чистым... Не согласитесь ли вы позаботиться о малыше?

– Сударь...

– Он только вчера родился, и у него еще не было кормилицы, – перебил Жильбер. – Кстати, это тот самый питомец, о котором вам, наверное, говорил мэтр Нике, нотариус из Виллер-Котре.

Мадлен сейчас же схватила ребенка и дала ему грудь с неудержимой щедростью, глубоко тронувшей Жильбера.

– Меня не обманули, – молвил он, – вы – славная женщина. Итак, от имени моего хозяина я вам поручаю заботы о ребенке. Я вижу, что ему будет здесь хорошо. Я желаю, чтобы он принес в эту хижину мечту о счастье взамен на то, что он здесь найдет. Сколько вам платил в месяц за своих детей господин Нике из Виллер-Котре?

– Двенадцать ливров, сударь. Но господин Нике богат, он частенько прибавлял несколько ливров за сахар и уход.

– Мать Мадлен, – с гордостью отчеканил Жильбер, – за этого ребенка вы будете получать двадцать ливров в месяц – это составит двести сорок ливров в год.

– Боже правый! – воскликнула Мадлен. – Спасибо, сударь!

– Вот вам деньги за год вперед, – продолжал Жильбер, выкладывая на стол десять новеньких луидоров; обе женщины следили за ним широко раскрытыми глазами, а маленький Анж Питу жадно потянулся к деньгам.

– А если ребенок умрет, сударь? – робко возразила кормилица.

– Это было бы огромное несчастье, этого просто не может быть, – отвечал Жильбер. – Итак, за молоко уплачено. Вы удовлетворены?

– Да, сударь!

– Поговорим теперь о пансионе на будущее.

– Вы хотите оставить у нас ребенка?

– Да, вероятно, так это и будет.

– Стало быть, сударь, мы должны его усыновить? Жильбер побледнел.

– Да, – глухо проговорил он.

– От малыша, значит, отказались родители, сударь? Жильбер был не готов к таким вопросам и почувствовал сильное волнение. Однако он взял себя в руки.

– Я не все вам сказал, – продолжал он. – Его бедный отец умер от горя.

Обе добрые женщины всплеснули руками.

– А мать? – спросила Анжелика.

– Мать..., мать... – с трудом переводя дух, отвечал Жильбер, – на нее ребенку полагаться не приходится... Ни этому, ни тем, которые еще могут у нее родиться.

Тут с поля вернулся папаша Питу, спокойный и добродушный здоровяк, широкая натура, честный, преисполненный доброты, словно сошедший с полотна Греза.

Ему в нескольких словах объяснили все. А что он не сразу понимал умом, то постигал сердцем...

Жильбер объяснил, что пансион мальчика будет оплачиваться, пока он не станет взрослым и не будет способен сам зарабатывать себе на жизнь.

– Пусть остается, – сказал Питу. – Мы его полюбим, он такой хорошенький!

– Малыш и ему понравился! – воскликнули Анжелика и Мадлен.

– Тогда прошу вас отправиться вместе со мной к мэтру Нике. Я передам ему необходимую сумму, чтобы вы были довольны и чтобы ребенку было хорошо.

– Сию минуту, сударь, – отвечал Питу-старший. Он встал.

Жильбер попрощался с женщинами и подошел к колыбели, в которой уже устроили новорожденного в ущерб своему ребенку.

Он с мрачным видом склонился над колыбелью, впервые вглядываясь в личико своего сына; он заметил, что тот похож на Андре.

При виде младенца сердце его болезненно дрогнуло. Ему пришлось сжать кулаки, чтобы сдержать набегавшие на глаза слезы.

Он робко поцеловал в прохладную щечку новорожденного и, пошатываясь, отошел.

Папаша Питу ждал его на пороге, сжимая в руке окованную железом палку. На плечи его была накинута нарядная куртка, на шее был повязан платок.

Жильбер подарил пол-луидора крепышу Анжу Питу, путавшемуся у него под ногами, а женщины с трогательной фамильярностью деревенских кумушек попросили позволения его поцеловать.

На долю восемнадцатилетнего отца выпало слишком много волнений; он побледнел, засуетился и почувствовал, что вот-вот потеряет рассудок.

– Идемте! – обратился он к Питу.

– Как вам будет угодно, сударь, – ответил крестьянин и пошел вперед.

И они двинулись в путь. Вдруг Мадлен закричала с порога:

– Сударь! Сударь!

– Что случилось? – спросил Жильбер.

– Как его зовут? Как его зовут? Как вы желаете его назвать?

– Его зовут Жильбер! – не без гордости отвечал молодой человек.

Глава 45. ОТЪЕЗД

В конторе нотариуса дело сладилось скоро. Жильбер от своего имени выложил сумму почти в двадцать тысяч ливров, предназначавшуюся для покрытия расходов на образование и содержание ребенка, а также на приобретение пахотной земли, когда он достигнет совершеннолетия.

Жильбер положил на образование и содержание по пятьсот ливров ежегодно в течение пятнадцати лет, остальная сумма могла быть внесена в качестве взноса или истрачена на покупку предприятия или земли.

Позабывшись о судьбе ребенка, Жильбер не забыл и о его кормильцах. Он выразил желание, чтобы мальчик выдал чете Питу две тысячи четыреста ливров, когда ему исполнится восемнадцать лет. А до тех пор мэтр Нике должен был выплачивать годовые взносы не свыше пятисот ливров.

Жильбер потребовал составить расписки по всей форме: о получении денег – Нике, о ребенке – Питу. Питу проследил за подписью Нике под суммой; Нике понаблюдал за верностью подписи Питу на расписке о получении ребенка. Таким образом, к полудню Жильбер мог отправляться восвояси, предоставив возможность Нике восхищаться редкой мудростью столь юного господина, а Питу – ликовать по поводу так скоро возросшего состояния.

Выйдя за околицу Арамона, Жильбер почувствовал себя совершенно одиноким в целом свете. Ничто не имело для него больше значения, он ни на что более не надеялся. Он только что расстался с беззаботной жизнью, предприняв шаг, который мог быть расценен людьми как преступление, а Господь мог строго покарать его за содеянное.

И все-таки Жильбер верил в себя, в свои силы; ему достало смелости вырваться из рук мэтра Нике, взявшегося его проводить и под предлогом живейшего участия пытавшегося прельстить юношу всевозможными предложениями.

Однако разум человеческий капризен, а по природе человек слаб. Чем большей силой воли он обладает, чем свободнее он способен сделать свой выбор, чем скорее приступает к исполнению задуманного, тем чаще оглядывается на пройденный путь. А в такие минуты даже самые отважные могут дрогнуть и сказать себе, подобно Цезарю: «Разумно ли я поступил, перейдя Рубикон?»

Остановившись на опушке леса, он еще раз обернулся на красневшие вдали верхушки деревьев, скрывавшие весь Арамон, кроме колокольни. Представшая его взору дышавшая счастьем и покоем картина заставила его погрузиться в печальное и в то же время сладостное раздумье.

«Я, верно, сумасшедший, – подумал он. – Куда я иду? Должно быть, Господь отвернулся от меня в гневе... Да ведь и впрямь нелепо: мне в голову пришла мысль; обстоятельства благоприятствовали исполнению задуманного; человек, порожденный самим Богом для зла и послуживший причиной моего преступления, согласился исправить зло, и вот я оказываюсь обладателем целого состояния и ребенка! Таким образом я могу оставить половину суммы нетронутой для ребенка, а

на другую половину жить здесь счастливым землепашцем, среди славных простых людей, среди одухотворенной и щедрой природы. Я могу навсегда похоронить себя здесь, предаваясь приятному созерцанию, проводя время в трудах и размышлениях. Я забуду весь свет и сам буду всеми забыт. Я могу – о несказанное счастье! – сам воспитывать ребенка и пользоваться плодами своих трудов. А почему бы и нет? Разве я не заслужил вознаграждения за все перенесенные лишения? Да, я могу так жить, я могу хотя бы частично повторить себя в этом ребенке, которого я, кстати говоря, сам бы и воспитывал, сберегая таким образом деньги, предназначенные наемным чужим людям. Я могу открыться мэтру Нике, что я его отец. Да я все могу!»

Сердце его переполнялось мало-помалу несказанной радостью и надеждой на счастье, о котором он и не мечтал даже во сне.

Вдруг червь сомнения, дремавший в самой сердцевине прекрасного плода, зашевелился и показал свою отвратительную головку. Это были его угрызения совести, его стыд, его несчастье.

«Нет, не могу, – побледнев, подумал про себя Жильбер. – Я украл у этой женщины ребенка, как раньше украл у нее честь... Я украл деньги у этого человека, чтобы осуществить кражу, сказав, что собираюсь исправить свою ошибку. Значит, я не имею права думать о своем счастье и не имею права оставить себе ребенка, отняв его у матери. Ребенок должен принадлежать нам обоим или никому».

С этими мыслями, больно отзывавшимися в его израненной душе, Жильбер в отчаянии поднялся на ноги. В лице его отразилась игра самых мрачных и низменных страстей.

– Да будет так! – сказал он. – Я буду несчастен, я буду страдать, я буду жить в полном одиночестве. Однако я поделюсь не только причитающимся мне добром, но и злом. Моим достоянием будут отныне месть и беда. Не беспокойся, Андре, я честно поделюсь ими с тобой!

Он свернул направо и, задумавшись на минуту, углубился в чащу. Он шел около часа и добрался до Нормандии, до которой по первоначальным расчетам должен был шагать четыре дня.

У него оставалось девять ливров и несколько су. У него был внушительный вид, лицо его выражало спокойствие и отдохновение. С книгой под мышкой он был похож на студента, возвращавшегося в родной дом.

Он взял за правило ночью идти по хорошей дороге, а днем отсыпаться на солнечной лужайке. Лишь дважды ветер заставлял его укрываться в хижине, где, сидя на стуле у очага, он засыпал так крепко, что не замечал наступления ночи.

Он так объяснял свое путешествие:

– Я держу путь в Руан, к дядюшке, – говорил он, – а иду я из Виллер-Котре. Человек я молодой, ради забавы я решил пройти весь путь пешком.

Он не вызывал у крестьян ни малейшего подозрения: книга в те времена вызывала уважение.

Если Жильбер замечал в чьих-либо поджатых губах сомнение, он заговаривал о семинарии, к которой якобы чувствовал призвание. Это был верный способ развеять любое сомнение.

Так прошла неделя, которую Жильбер прожил как настоящий крестьянин, тратя по десять су в день и проходя по десять миль. Наконец он и правда прибыл в Руан, а там ему не пришлось больше расспрашивать, как идти дальше.

Книга, которую он нес под мышкой, оказалась «Новой Элоизой» в дорогом переплете. Руссо преподнес ему эту книгу в подарок, надписав ее на первой странице.

Когда у Жильбера осталось всего четыре ливра и десять су, он вырвал эту дорогую для него страницу и, продав книгу хозяину книжной лавки, получил за нее три ливра.

Вот так молодой человек смог за три дня добраться до Гавра и впервые увидеть море в лучах заходящего солнца.

Его башмаки имели неприличный вид для молодого человека, который из кокетливости надевал днем шелковые чулки, если проходил через город. Жильбер, поразмыслив, продал свои шелковые чулки, вернее, обменял их на пару крепких башмаков. Об их элегантности мы не будем говорить.

Последнюю ночь он провел в Арфлере, поужинав и переночевав за шестнадцать су. В первый раз в жизни он попробовал форель.

«Кушанье богачей оказалось перед самым нищим из людей, – подумал он.

– Это верно, что Господь всегда делал только добро, а люди – зло, как говаривал Руссо».

Тринадцатого декабря в десять утра Жильбер вошел в Гаврскую гавань и с первого взгляда узнал «Адонис», прекрасный бриг водоизмещением в триста тонн, покачивавшийся на волнах.

На палубе не было ни души. Жильбер вскарабкался по трапу. К нему подошел юнга.

– Где капитан? – спросил Жильбер. Юнга махнул рукой в сторону нижней палубы. Вскоре после того оттуда донесся голос:

– Пусть спускается!

Жильбер спустился. Его провели в небольшую каюту, отделанную красным деревом и чрезвычайно просто меблированную.

Человек лет тридцати, бледный, с нервным лицом, сидел за столом из того же красного дерева, что и переборки, и читал газету.

– Что вам угодно, сударь? – спросил он Жильбера. Жильбер знаком попросил отпустить юнгу, и тот ушел.

– Вы – капитан «Адониса», сударь? – спросил Жильбер.

– Да.

– Значит, эта бумага адресована вам? Он подал капитану записку от Бальзаме. Едва разглядев подпись, капитан поспешно встал и, приветливо улыбнувшись Жильберу, сказал:

– Вы тоже?.. Такой молодой? Прекрасно, прекрасно! Жильбер только поклонился в ответ.

– Куда вы направляетесь? – спросил капитан.

– В Америку.

– А когда?..

– Вместе с вами.

– Хорошо. Стало быть, через неделю.

– Чем я должен в это время заняться, капитан?

– У вас есть паспорт?

– Нет.

– Тогда погуляйте до вечера где-нибудь подальше от города, в Сент-Адрес, к примеру. Ни с кем ни о чем не говорите:

– Мне нужно чем-то питаться, а у меня кончились деньги.

– Поедите здесь сейчас, а вечером здесь же поужинаете.

– А потом?

– Когда мы отчалим, вас уже нельзя будет вернуть на землю. Вы спрячетесь здесь и до отплытия не будете высовывать нос... А когда мы выйдем в открытое море на двадцать миль, вы будете совершенно свободны.

– Отлично!

– Итак, постарайтесь закончить сегодня все свои дела.

– Мне нужно написать письмо.

– Пишите...

– Где?

– За этим столом... Вот вам перо, чернила и бумага. Почта находится в пригороде, юнга вас проводит.

– Спасибо, капитан.

Оставшись один, Жильбер написал короткое письмо и подписал его следующим образом:

«Мадмуазель Андре де Таверне, Париж, улица Кок-Эрон, 9, первые ворота со стороны улицы Платриер».

Он сунул письмо в карман, съел то, что капитан сам ему подал, и пошел следом за юнгой на почту, где и опустил письмо.

Весь день Жильбер любовался морем с высоты прибрежных скал.

С наступлением ночи он возвратился на корабль. Капитан поджидал его и провел на корабль.

Глава 46. ПОСЛЕДНИЙ ПРИВЕТ ЖИЛЬБЕРА

Филипп провел ужасную ночь. Следы на снегу несомненно свидетельствовали о том, что кто-то проник в дом с целью похитить ребенка. Но на кого можно подумать? Ничто не подтверждало его подозрений.

Филипп так хорошо знал своего отца, что не мог и подумать о его причастности к этому преступлению. Барон де Таверне считал отцом ребенка Людовика XV; он, должно быть, очень дорожил этим живым доказательством неверности короля графине Дю Барри. Кроме того, барон, наверное, полагал, что рано или поздно Андре снова окажется в милости и уж тогда много будет готова отдать за основное средство своей будущей удачи при дворе.

Эти размышления Филиппа об отцовском характере, основанные на недавних впечатлениях, немного утешили его: он решил, что ребенка нетрудно получить обратно, если знаешь, кто его похитил.

Филипп дождался восьми часов. Пришел доктор Луи. Выведя доктора за ворота, он на ходу поведал ему об ужасном ночном происшествии.

Доктор всегда был готов дать хороший совет. Он осмотрел следы в саду и в конце концов пришел к заключению, что Филипп прав.

– Я довольно хорошо знаю барона, – заметил он, – я не думаю, что он на это способен. Однако дело может так обернуться, что он похитил ребенка отнюдь не ради минутного интереса.

– Какой же у него мог быть в этом интерес, доктор?

– Он мог это сделать, руководствуясь интересами настоящего отца ребенка.

– Мне тоже приходила в голову эта мысль! – вскричал Филипп. – Но ведь это ничтожество и себя не умеет прокормить. Это безумец, восторженный юнец, который, к тому же» находится сейчас в бегах, боясь моей тени...

Не надо ошибаться на его счет, доктор: этот презренный совершил случайное преступление. Однако теперь, когда в моей душе улегся гнев, – хотя я, разумеется, по-прежнему ненавижу этого преступника! – мне кажется, я постарался бы избежать с ним встречи, чтобы не убивать его. Я верю, что он должен испытывать мучительные угрызения совести, которые и послужат ему наказанием. Думаю, что голод и бродяжничество отомстят ему за меня не хуже моей шпаги.

– Не будем больше об этом говорить, – предложил доктор.

– Дорогой друг! Я хочу вас попросить вот о чем: надо прежде всего успокоить Андре, а для этого придется солгать. Скажите ей, что вы вчера были обеспокоены состоянием здоровья малыша и зашли за ним ночью, чтобы отнести его к кормилице. Это первое, что мне пришло в голову, когда я утешал Андре.

– Хорошо, скажу. А вы намерены заняться поисками ребенка?

– У меня есть надежда его разыскать. Я решился покинуть Францию. Андре поступит в монастырь Сен-Дени, а я отправлюсь к барону де Таверне. Я заявлю ему, что мне все известно. Я заставлю его сказать, где спрятан ребенок. Если он будет сопротивляться, я пригрожу ему публичным разоблачением и вмешательством ее высочества.

– А что вы будете делать с ребенком, если ваша сестра окажется в монастыре?

– Я оставлю его у кормилицы, которую вы мне порекомендуете... Потом помещу его в колледж, а когда он вырастет, возьму его к себе, если буду к тому времени жив.

– Вы полагаете, что мать согласится покинуть вас или своего ребенка?

– Андре согласится на все, чего бы я ни пожелал.» Она знает, что я обращался к ее высочеству и получил от нее обещание отпустить ее в монастырь. Андре не может поставить меня в неловкое положение в глазах нашей покровительницы.

– Пойдемте к бедной матери, – предложил Доктор. Он возвратился к Андре, безмятежно дремавшей в постели после того, как ее успокоил заботливый Филипп. Она прежде всего спросила доктора о ребенке. Улыбавшееся лицо доктора окончательно ее успокоило, и с этого времени она быстро пошла на поправку. Спустя десять дней она уже встала, сама дошла до оранжереи и начала прогуливаться, пока солнечные лучи освещали стеклянную крышу Филиппа, отсутствовавший несколько дней, возвратился в это время на улицу Кок-Эрон с таким мрачным выражением лица, что доктор, отворивший ему дверь, почувствовал, что случилось огромное несчастье.

– Что такое? – спросил он. – Отец отказывается вернуть ребенка?

– Отец простудился три дня спустя после отъезда из Парижа, – отвечал Филипп. – Он прикован к постели. Когда я приехал, он был при смерти. Я подумал, что эта болезнь – уловка. Я решил, что это притворство доказывает его причастность к похищению. Я стал настаивать, угрожать. Барон де Таверне поклялся мне на распятии, что не понимает, о чем я толкую.

– Таким образом, вы вернулись, так ничего и не узнав.

– Да, доктор.

– Вы убеждены в правдивости барона?

– Почти.

– Он вас перехитрил и не открыл тайны.

– Я пригрозил, что добьюсь вмешательства в это дело ее высочества. Барон побледнел. «Вы можете погубить меня, если угодно, – сказал он, – опозорьте отца и себя самого. Это будет величайшая глупость, которая ни к чему не приведет. Я не понимаю, о чем вы говорите».

– Итак...

– Итак, я в полном отчаянии.

В эту минуту Филипп услышал голос Андре:

– Это Филипп сейчас вошел в дом?

– Господи! Вот и она... Что же я ей скажу? – прошептал Филипп.

– Молчите! – приказал доктор.

Андре вошла в комнату и бросилась брату на шею; сердце молодого человека болезненно сжалось.

– Откуда ты? – спросила она.

– Я был у отца, как я тебе и говорил.

– Как чувствует себя господин барон?

– Хорошо. Но я был не только у отца, Андре... Я также повидался со многими людьми, от которых зависит твое поступление в Сен-Дени. Благодаренье Богу, теперь все готово. Ты поправилась и можешь посвятить себя своему будущему.

Андре подошла к брату и, едва слышно вздохнув, проговорила:

– Дорогой друг! Мое будущее меня больше не интересует: оно вообще никого не должно интересовать... Для меня важнее всего на свете – будущее моего ребенка, и я хочу посвятить свою жизнь сыну, данному мне Господом. Таково мое решение, и оно непоколебимо. С тех пор, как ко мне вернулись силы, я поверила в себя. Жить ради сына, – пусть мне придется терпеть лишения, даже работать, если понадобится, – только бы не расставаться с ним ни днем, ни ночью – вот каким я вижу свое будущее. Не надо больше говорить о монастыре, я не должна думать только о себе; раз уж я принадлежу кому-то на земле, значит, я не нужна Богу!

Доктор взглянул на Филиппа, словно хотел сказать:

«Ну, что я вам говорил?»

– Сестра! – воскликнул молодой человек. – Что с тобой?

– Не вини меня, Филипп, это не прихоть слабой и взбалмошной женщины. Я не буду тебе в тягость и ни к чему тебя не принуждаю.

– Но... Андре, я не могу оставаться во Франции, я хочу все бросить и уехать. У меня здесь нет будущего. Я могу согласиться оставить тебя в монастыре, но не в нищете... Андре, подумай хорошенько!

– Я уже все обдумала... Я горячо тебя люблю, Филипп, и если ты меня покинешь, я проглочу слезы и найду утешение у колыбели сына.

Доктор подошел к ней.

– Вы преувеличиваете, это просто минутное помрачение! – сказал он.

– Ах, доктор! Материнство – это и есть помутнение рассудка! Но оно послано мне Богом. Пока я буду нужна ребенку, я не изменю своего решения.

Филипп и доктор переглянулись.

– Дитя мое! – заговорил доктор. – Я не очень умелый проповедник, однако, если мне не изменяет память, Господь запрещает человеку иметь слишком сильные привязанности.

– Это верно, сестра, – подтвердил Филипп.

– Насколько мне известно, доктор, Господь не запрещает матери любить своего сына.

– Прошу прощения, дочь моя, за то, что, как философ и практик, я попытаюсь указать вам на пропасть, разверстую теологом перед человеком, подверженным страстям. Для каждой заповеди Божьей надо постараться найти причину, и не столько морального свойства, потому что это порой очень трудно сделать. Постарайтесь найти причину материальную. Господь запрещает матери чрезмерно любить свое дитя, потому что ребенок – хрупкое, нежное создание, подверженное болезням, страданиям...

Сильно любить эфемерное создание значит подвергать себя опасности впасть в отчаяние.

– Доктор! – прошептала Андре. – Почему вы мне все это говорите? А ты, Филипп, почему смотришь на меня с сочувствием... и что значит эта бледность?..

– Андре, дорогая! – перебил ее молодой человек. – Последуйте совету верного друга. Ваше здоровье вне опасности, так поступайте как можно скорее в монастырь Сен-Дени.

– Я..., я вам уже сказала, что не брошу своего сына.

– Пока будете ему нужны, – мягко напомнил доктор.

– Боже мой! – вскричала Андре. – Что случилось? Говорите! Что-нибудь печальное..., ужасное, может быть?

– Будьте осторожны! – шепнул Филиппу доктор. – Она еще очень слаба для такого удара.

– Брат, почему ты молчишь? Объясни мне, что произошло?

– Дорогая сестра! Как ты знаешь, на обратном пути я заехал через мост Пон-дю-Жур к твоей кормилице.

– Да... Так что же?

– Малыш неважно себя чувствует...

– Мой мальчик..., болен? Скорее... Маргарита! Маргарита... Карету! Я поеду к своему мальчику!

– Это невозможно! – воскликнул доктор. – Вам нельзя выходить на улицу, нельзя ехать в карете.

– Однако еще сегодня утром это было возможно: вы сами мне сказали, что завтра, когда вернется Филипп, я увижу маленького.

– Мне так показалось...

– Вы меня обманывали? Доктор молчал.

– Маргарита! – повторила Андре. – Извольте исполнять приказание... Карету!

– Ты можешь умереть!.. – вмешался Филипп.

– Ну и пусть!.. Я не так уж дорожу своей жизнью!.. Маргарита терпеливо ждала, переводя взгляд с хозяйки на хозяина, потом на доктора.

– Я, кажется, приказала!.. – крикнула Андре; краска бросилась ей в лицо.

– Дорогая сестра!

– Я ничего не желаю больше слушать, и если вы мне откажете в карете, я пойду пешком.

– Андре! – сказал Филипп, обхватив ее руками. – Ты никуда не пойдешь, нет. Тебе нет нужды никуда ходить.

– Мой мальчик умер! – помертвевшими губами пролепетала Андре; руки ее безвольно повисли вдоль кресла, в которое ее усадили Филипп и доктор.

Филипп покрывал поцелуями ее холодную безжизненную руку... Андре уронила голову на грудь и залилась слезами.

– Бог послал нам новое испытание, – проговорил Филипп. – Господь велик и справедлив. Возможно, он имеет на тебя другие виды. Может быть, Бог рассудил, что этот ребенок оказался бы для тебя незаслуженным наказанием.

– За что же Он ниспослал страдания этому невинному существу?.. – тяжело вздохнув, спросила несчастная мать.

– Бог не дал ему страдать, дитя мое, – молвил доктор. – Он умер, едва успев родиться... Жалейте о нем не более, чем о мимолетной тени.

– А крики, которые я слышала?..

– Это было его прощание с жизнью.

Андре закрыла лицо руками, а мужчины, обменявшись красноречивыми взглядами, поздравили друг друга с тем, что своей ложью спасли Андре жизнь.

Вдруг на пороге появилась Маргарита, держа в руке письмо... Оно было адресовано Андре... Надпись гласила:

«Мадмуазель Андре де Таверне, Париж, улица Кок-Эрон, 9, первые ворота со стороны улицы Платриер».

Филипп показал его доктору за спиной Андре; она больше не плакала – она находилась в состоянии глубокой печали.

«Кто мог написать ей письмо? – думал Филипп. – Никому не был известен наш адрес, и это не почерк отца...»

– Андре! Тебе письмо, – сказал Филипп. Ничему не удивляясь и не размышляя, Андре безропотно вскрыла конверт и, вытерев слезы, развернула письмо, собираясь его прочесть. Но едва пробежав глазами три строчки, из которых состояло все письмо, она громко вскрикнула, вскочила, как безумная, и, напрягшись всем телом, рухнула, словно статуя, прямо на руки подоспевшей Маргарите.

Филипп подобрал с полу письмо и прочитал:

«Море, 15 декабря 17...»

Я уезжаю, потому что Вы меня прогнали. Больше Вы меня не увидите. Но я увожу с собой и своего ребенка, который никогда не назовет вас матерью!

Жильбер».

Взревев от бешенства, Филипп скомкал письмо.

– Я готов был простить преступление случайное, – заскрежетав зубами, проговорил он, – но за преступление преднамеренное он будет наказан... Твоей безжизненно повисшей головой, Андре, я клянусь убить мерзавца, как только он попадется мне на глаза. Господь не может не послать его мне, потому что он преступил все границы дозволенного... Доктор! Андре придет в себя?

– Да, да!

– Доктор! Завтра Андре должна поступить в монастырь Сен-Дени. А я послезавтра буду в ближайшей гавани... Негодяй сбежал... Я последую за ним... Я должен разыскать ребенка... Доктор! Какая отсюда ближайшая гавань?

– Гавр.

– Я буду в Гавре через тридцать шесть часов, – молвил Филипп.

Глава 47. НА БОРТУ

С этой минуты дом Андре стал похож на мрачную могилу.

Известие о смерти сына, возможно, убило бы Андре. Глухая, неизбывная боль точила бы ее душу всю жизнь. Письмо Жильбера ранило ее в самое сердце, лишило Андре последних сил.

Придя в себя, она поискала глазами брата. Ненависть, которую она прочла в его взгляде, придала ей мужества.

Она подождала, пока к ней вернутся силы настолько, чтобы не дрожал голос, и, взяв Филиппа за руку, молвила:

– Ты мне говорил нынче утром о монастыре Сен-Дени, где ее высочество обещала мне место. Это правда?

– Да, Андре.

– Отвези меня туда, пожалуйста, сегодня же.

– Спасибо, сестра.

– Доктор! – продолжала Андре. – За вашу доброту, преданность, щедрость моя благодарность была бы слишком скудным вознаграждением. Вознаграждение, доктор, ждет вас на небесах!

Она подошла к нему и поцеловала его.

– В этом небольшом медальоне – мой портрет, – сказала она, – матушка приказала сделать его, когда мне исполнилось два года. Наверное, я на нем похожа на своего сына; сохраните его, доктор; пусть он напоминает вам иногда о малыше, которому вы помогли появиться на свет, а

также о его матери, которую спасли ваши заботы.

Не теряя присутствия духа, Андре собрала вещи и в шесть часов вечера, не смея поднять глаз, переступила порог приемной монастыря Сен-Дени, за решеткой которого Филипп, будучи не в силах побороть волнение, мысленно прощался с ней, быть может, навсегда.

Вдруг силы изменили Андре. Раскинув руки, она бегом бросилась к брату. Он тоже протягивал к ней руки. Они встретились и, невзирая на холодную решетку, прижались друг к другу пылавшими щеками, проливая горючие слезы.

– Прощай! Прощай! – прошептала Андре.

– Прощай! – отвечал Филипп, подавив в своем сердце отчаяние.

– Если ты когда-нибудь найдешь моего сына, – едва слышно сказала Андре, – не дай мне умереть, не обняв его.

– Будь спокойна. Прощай! Прощай!

Андре с трудом оставила брата и, продолжая оглядываться, поддерживаемая послушницей, пошла под мрачные монастырские своды.

Пока она не пропала из виду, он кивал ей, потом махал платком. Наконец она в последний раз взглянула на него и исчезла в темноте. Железная дверь опустилась между ними с отвратительным скрежетом. Все было кончено.

Филипп взял почтовую лошадь прямо в Сен-Дени. Приторочив к седлу свои пожитки, он скакал всю ночь, весь следующий день и на вторую ночь был уже в Гавре. Он переночевал в первом попавшемся трактире, а на рассвете уже узнавал в порту, какое судно раньше всех отправляется в Америку.

Ему ответили, что в тот день бриг «Адонис» снимается с якоря и отплывает в Нью-Йорк. Филипп нашел капитана, который заканчивал последние приготовления; молодой человек уплатил за поездку и был зачислен пассажиром. Он написал ее высочеству последнее письмо с выражением почтительной преданности и признательности, потом отправил свой багаж на борт и, дождавшись отлива, отправился на корабль.

Часы на башне Франциска I пробили ровно четыре, когда «Адонис» вышел со всеми своими марсельями и фоками. Вода в море была темно-голубого цвета, небо пламенело вдали. Поздоровавшись с немногими пассажирами, своими попутчиками, Филипп облокотился на релинг и стал смотреть на берега Франции, таявшие в сиреновой дымке по мере того, как, подняв паруса, бриг круто пошел вправо, огибая остров Эв и выходя в открытое море.

Вскоре Филипп уже не видел ни берега, ни пассажиров, ни океана: ночная мгла, словно большая птица, опустилась на море, раскинув огромные крылья. Филипп пошел к себе в каюту и, примостившись на узкой кровати, перечитал копию письма, отправленного им ее высочеству. Письмо можно было принять за молитву.., как, впрочем, и просто за прощание с живыми людьми.

«Ваше высочество! - писал он. – Человек, не имеющий ни надежды, ни поддержки, удаляется от Вас с сожалением, что так мало успел сделать для будущей королевы Франции. Этот человек уходит в море с риском попасть в шторм и грозу, а Вы остаетесь, подвергая себя опасностям и трудностям, связанными с властью. Юная, Красивая, любимая, окруженная почтительными друзьями и обожающими слугами, Вы скоро забудете того, кто по указанию Вашей властной десницы возвысился над толпой. Я не забуду Вас никогда. Я отправляюсь в Новый Свет изучать средства, при помощи которых я мог бы в будущем оказаться Вам полезен. Я поручаю Вам свою сестру – бедный, покинутый всеми цветок, для которого не существует другого солнца, кроме Вашего взгляда. Соболаговолите же хоть изредка снисходить до нее, а в минуты радости, в дни своего всемогущества, к единодушному хору славящих Вас голосов прибавьте – умоляю Вас! – благословляющий Вас голос изгнанника, который Вы больше не услышите, а ему, наверное, не суждено увидеть Вас».

Когда Филипп окончил чтение, сердце его сжалось: меланхоличное поскрипывание корабельных мачт, блеск волн, разбивавшихся о стекло иллюминатора, – все это могло бы навести тоску и на более веселого человека.

Ночь показалась молодому человеку мучительной и бесконечной. Утром его навещил капитан, однако его посещение не изменило расположение духа Филиппа. Капитан сообщил ему, что

пассажиры боятся качки и остаются в каютах; он сказал также, что путешествие обещает быть недолгим, но трудным, по причине сильного ветра.

С этого дня у Филиппа вошло в привычку обедать с капитаном, а завтрак он приказывал подавать ему в каюту. Не замечая неприятностей морского путешествия, он по несколько часов проводил на верхней палубе, завернувшись в широкий офицерский плащ. В остальное время он обдумывал план дальнейших действий или читал философские труды. Иногда он встречался со своими попутчиками. Среди них были две дамы, направлявшиеся за наследством в Северную Америку, и четверо мужчин: один из них был в годах, он путешествовал вместе с двумя сыновьями. Это все были пассажиры первого класса. Еще Филипп несколько раз замечал каких-то людей, одетых и державшихся попроще; он не нашел среди них ни одного, заслуживавшего его внимания.

По мере того как с течением времени в сердце Филиппа стихала боль, лицо его прояснялось. Судя по тому, что несколько дней подряд стояла солнечная и сухая погода, пассажиры поняли, что они приближаются к умеренным широтам. Они стали больше времени проводить на палубе. Даже по ночам Филипп, взявший за правило ни с кем не разговаривать и, опасаясь лишних вопросов, скрывавший свое имя даже от капитана, слышал у себя над головой шаги, когда сидел в своей каюте. Он различал голос капитана, очевидно, прогуливавшегося с кем-нибудь из пассажиров. Это был для него лишний повод не подниматься наверх. Он раскрывал иллюминатор, чтобы подышать свежим воздухом, и ждал следующего дня.

Только однажды ночью, не слыша ни голосов, ни шагов, он вышел на палубу. Ночь была теплая, небо было затянуто облаками; за кораблем бурлила вода, и тысячи фосфоресцирующих капель образовывали водовороты. Должно быть, эта ночь показалась пассажирам слишком темной и ненастной, потому что Филипп не увидел на палубе ни души. Только в носовой части корабля дремал или глубоко задумался какой-то господин, держась за бушприт; Филипп с трудом различал его в темноте: наверное, это был один из пассажиров второго класса, с надеждой смотревший вперед, мечтая о прибытии в американскую гавань, тогда как Филипп скучал по родной земле.

Филипп долго разглядывал застывшего неподвижно пассажира; потом почувствовал, как его пронизывает утренний холод, и собрался вернуться в каюту... Пассажир, находившийся на носу, тоже стал поглядывать на начинавшее светлеть небо. Филипп услышал сзади шаги капитана и обернулся.

– Вышли подышать свежим воздухом, капитан? – спросил он.

– Я всегда встаю в это время, сударь.

– Как видите, ваши пассажиры вас опередили.

– Да, вы меня в самом деле опередили, однако офицеры встают так же рано, как и моряки.

– Не только я, – возразил Филипп. – Взгляните вол туда. Видите глубоко задумавшегося господина? Это тоже один из ваших пассажиров.

Капитан посмотрел и, как показалось Филиппу, удивился.

– Кто он? – спросил Филипп.

– Один..., торговец, – смущенно пробормотал капитан.

– Путешествует в поисках удачи? – спросил Филипп. – Должно быть, бриг идет для него слишком медленно.

Вместо ответа капитан пошел на нос корабля, сказал пассажиру несколько слов, и Филипп увидел, как тот скрылся в междупалубном пространстве.

– Вы спугнули его мечту, – заметил Филипп капитану, когда тот к нему подошел, – а между тем он ничуть меня не стеснял.

– Не в этом дело, сударь: я его предупредил, что утренний холод в этих местах опасен. А у пассажиров второго класса нет таких теплых плащей, как у вас.

– Где мы находимся, капитан?

– Завтра мы будем у Азорских островов. На одном из них мы пополним запасы свежей воды: становится жарко.

Глава 48. АЗОРСКИЕ ОСТРОВА

В назначенное капитаном время в ослепительных лучах солнца впереди показались острова, расположенные на северо-востоке. Это были Азорские острова.

Дул попутный ветер, и бриг шел на всех парусах. К трем часам пополудни стал хорошо виден весь архипелаг.

Взгляду Филиппа открылись высокие вершины холмов странных, пугавших очертаний. Скалы почернели словно под действием вулканического извержения и поражали контрастом между ярко освещенными вершинами изрезанных горных хребтов и глубокими мрачными пропастями.

Едва бриг подошел к первому из островов на расстояние пушечного выстрела, он лег в Дрейф; экипаж стал готовиться к высадке на берег, чтобы запастись несколькими бочками свежей воды, как и предполагал капитан.

Пассажиры надеялись получить удовольствие от прогулки на острове. Ступить на твердую почву после двадцати дней и ночей утомительной качки – да это настоящая увеселительная прогулка, которую по достоинству способны оценить лишь те, кто долгое время находился в плаваньи.

– Господа! – обратился капитан к пассажирам, на чьих лицах, как ему показалось, он заметил нерешительность. – У вас есть пять часов на то, чтобы побывать на берегу. Советую вам не упустить такой возможности. Вы найдете на этом совершенно необитаемом острове источники с чистой водой, если среди вас есть любители природы, а для охотников здесь найдутся зайцы и красные куропатки.

Филипп взял ружье, порох и свинец.

– А вы, капитан? – спросил он. – Остаетесь на борту? Почему бы вам не отправиться с нами?

– Потому что вон там, – отвечал капитан, показывая рукой на море, – подходит подозрительное судно, которое преследует меня уже четвертые сутки. Я хочу понаблюдать за тем, что оно будет делать.

Удовлетворившись этим объяснением, Филипп сел в последнюю шлюпку.

Дамы, многие другие пассажиры столпились в носовой части корабля и на корме, не отваживаясь спуститься или ожидая своей очереди.

Они видели, как две шлюпки стали удаляться, увозя радостных матросов и еще более счастливых пассажиров.

На прощание капитан предупредил:

– В восемь часов, господа, за вами прибудет последняя шлюпка, имейте это в виду! Опоздавшие останутся на острове.

Когда все, и любители природы и охотники, высадились на берег, матросы отправились в пещеру в ста футах от берега, резко уходящего в сторону словно для того, чтобы избежать солнечных лучей. Свежая голубая изумительно вкусная вода била из источника среди поросших мхом камней и, не выходя из грота, исчезала в низине среди мелкого зыбучего песка.

Матросы наполняли бочки и катили их к берегу.

Филипп не сводил с них глаз. Он любовался голубоватым полумраком пещеры, ее прохладой, мелодичным журчанием воды, образующавшей каскад за каскадом. Вначале ему показалось, что в пещере очень темно и довольно свежо, однако через несколько минут потеплело, а в темноте стали вспыхивать и тут же гаснуть таинственные огоньки. Когда Филипп входил в пещеру, он вслепую следовал за матросами, вытянув руки и натываясь на выступы в скалах; потом малопомалу стал различать лица от очертания фигур. Филипп отдавал предпочтение неверному мерцанию в гроте перед дневным светом, резким и слепящим в этих широтах.

Он слышал, как постепенно вдали теряются голоса его спутников. В горах раздались выстрелы, потом все стихло, и Филипп остался один.

Матросы сделали свое дело и не должны были возвратиться в грот.

Филипп был очарован тишиной и одиночеством; его подхватил вихрь мыслей. Он сел на теплый мягкий песок, привалился спиной к поросшей душистой травой скале и предался мечтам.

Время шло, а он забыл обо всем на свете. Рядом на камнях лежало незаряженное ружье. Чтобы ничто не мешало ему устроиться поудобнее, он вытащил из карманов пистолеты, с которыми никогда не расставался.

Вся его прошлая жизнь неторопливо прошла перед его мысленным взором, словно поучая или упрекая его в чем-то. А будущее упрямо ускользало, подобно диким птицам, которых можно иногда догнать взглядом, но достать рукою – никогда.

Пока Филипп был погружен в раздумье, в сотне шагов от него кто-то, несомненно, мечтал, смеялся, надеялся на будущее. Несколько раз ему почудился шум весел: то ли шлюпки увозили на корабль насадившихся прогулкой пассажиров, то ли привозили на берег новых пассажиров, жаждавших удовольствий.

Однако никто пока не нарушал его одиночества: то ли потому, что новые люди не замечали входа в пещеру, то ли потому, что другие, уже видевшие грот, не хотели еще раз туда входить. Вдруг чья-то робкая, неясная тень загородила свет, встав на пороге... Филипп увидел, как человек, вытянув руки и наклонив голову, пошел к журчащей воде. Поскользнувшись на траве, человек споткнулся и чуть не упал.

Филипп поднялся и протянул руку, чтобы помочь ему выбраться на твердую почву. Он коснулся в темноте пальцев незнакомца.

– Сюда пожалуйста, сударь, – вежливо молвил он. – Вода здесь.

При звуке его голоса незнакомец резким движением поднял голову и приготовился ответить. Его лицо стало видно в голубоватых сумерках грота.

Вдруг Филипп в ужасе вскрикнул и отпрянул.

Незнакомец тоже вскрикнул и отступил.

– Жильбер!

– Филипп!

Эти слова прозвучали одновременно, взорвав тишину пещеры.

Потом послышались звуки борьбы. Филипп обеими руками вцепился своему врагу в горло и поволок его в глубь пещеры.

Жильбер не сопротивлялся. Он понял, что отступать некуда.

– Негодяй! Наконец-то ты у меня в руках!.. – проревел Филипп. – Бог тебя отдает мне в руки... Бог справедлив...

Жильбер смертельно побледнел и стоял не шевелясь. Руки его безвольно повисли вдоль тела.

– Трус! Ничтожество! – воскликнул Филипп. – Даже дикие животные защищаются!

– Защищаться? Зачем? – едва слышно проговорил Жильбер.

– Ты прав! Ты отлично знаешь, что находишься в моей власти, что заслужил страшное наказание. Все твои преступления открылись. Тебе мало было осквернить девственницу – ты погубил мать.

Жильбер молчал. Филипп распалялся все больше, упиваясь своей ненавистью. Он снова в гневе схватил Жильбера. Тот не оказывал ни малейшего сопротивления.

– Ты мужчина? – со злостью потрянув его, спросил Филипп, – Руки у тебя есть?.. Он даже не сопротивляется!.. Ты же видишь: я тебя душу. Так сопротивляйся! Защищайся же... Трус! Трус! Убийца!..

Жильбер почувствовал, как пальцы его врага впиваются ему в горло. Он выпрямился, напрягся и, сильный как лев, одним движением плеча отбросил Филиппа далеко в сторону.

– Вы сами видите, – скрестив руки на груди, сказал он, – что я мог бы защищаться, если бы хотел. Да зачем мне это? Вот вы бежите к своему ружью. Ну что ж! Я, пожалуй, предпочел бы пулю, чем быть растерзанным в клочья и растоптанным.

Филипп и в самом деле схватил ружье, но при этих словах выпустил его из рук.

– Нет... – пробормотал он. – Куда ты направляешься?.. – продолжал он совсем тихо. – Как ты сюда попал?

– Я сел на «Адонис»...

– Так ты прятался? Ты, значит, меня видел?

– Я даже не знал, что вы были на борту.

– Лжешь!

– Нет.

– Как могло статься, что я тебя не видел?

– Потому что я выходил из каюты только по ночам.

– Вот видишь: значит, ты прятался!

– Разумеется... Вы не поняли! Я ехал в Америку с секретным поручением и не должен был никому попадаться на глаза. Поэтому капитан..., поместил меня отдельно от других.

– А я тебе говорю, что ты прячешься, чтобы укрыться от меня..., а еще для того, чтобы скрыть ребенка.

– Ребенка? – переспросил Жильбер.

– Да. Ты украл и спрятал ребенка, чтобы воспользоваться им и извлечь из этого выгоду! Негодяй! Жильбер отрицательно покачал головой.

– Я забрал ребенка, – сказал он, – чтобы никто не научил его презирать родного отца или отрекаться от него.

Филипп с минуту переводил дух.

– Если бы это было правдой, – проговорил он наконец, – если бы я мог этому поверить, ты был бы не таки») негодяем, каким я тебя считал. Но раз ты мог украсть, значит, можешь и солгать.

– Украл? Я украл?

– Ты украл ребенка.

– Это мой сын. Он мой! Когда человек забирает то, что ему принадлежит, сударь, это не кража.

– Послушай! – дрожа от гнева, сказал Филипп. – Только что я хотел тебя убить. Я поклялся это сделать, я имел на это право.

Жильбер ничего не отвечал.

– Теперь Бог меня наставил. Бог привел тебя ко мне словно хотел мне сказать: «Месть бесполезна. Зачем мстить тому, кого оставил Бог?..» Я не стану тебя убивать. Я только уничтожу причиненное тобою зло. Этот ребенок для тебя – источник зла в будущем. Отдай мне ребенка.

– У меня его нет, – возразил Жильбер. – Разве можно брать с собой в море двухнедельного младенца?

– Ты мог найти ему кормилицу и взять ее с собой.

– Я вам говорю, что я не брал ребенка с собой.

– Значит, ты оставил его во Франции? Где же? Жильбер замолчал.

– Отвечай! Где ты нашел ему кормилицу и на какие средства?

Жильбер продолжал молчать.

– Ах ты, подлец! Ты вздумал меня дразнить? – вскричал Филипп. – Значит, ты не боишься, что можешь разбудить во мне гнев?.. Скажешь ты мне, где ребенок моей сестры? Отдашь ты мне его или нет?

– Это мой ребенок, – прошептал Жильбер»

– Злодей! Ты хочешь умереть?

– Я не хочу отдавать своего ребенка.

– Жильбер! Послушай! Я прошу тебя добром: я постараюсь забыть все, что было, я постараюсь тебя простить. Ты понимаешь, Жильбер, чего мне это будет стоить? Я тебя прощаю! Я прощаю тебе весь позор, все горе нашей семьи. Это большая жертва... Отдай мне ребенка. Чего ты еще хочешь?.. Хочешь, я попытаюсь переубедить Андре, хотя она имеет законные основания для отвращения и ненависти? Что ж... Я готов это сделать... Отдай мне ребенка... Еще вот что... Андре любит своего..., твоего сына до самозабвения. Она будет тронута твоим раскаянием – это я тебе обещаю и берусь ее подготовить. Только отдай мне ребенка, Жильбер, отдай мне его!

Жильбер скрестил на груди руки и не сводил с Филиппа горящего взора.

– Вы мне не поверили, – сказал он, – и я вам не верю. Не потому, что считаю вас бесчестным человеком, а потому, что видел, на какую низость способны люди под влиянием кастовых предрассудков. Не может быть и речи ни о возвращении к прошлому, ни о прощении. Мы – смертельные враги... Вы – сильнее, значит, будете победителем... Я же не прошу вас отдать мне свое оружие, вот и вы не просите меня об этом...

– Так ты признаешь, что это твое оружие?

– Против презрения – да!

Против неблагодарности – да! Против оскорбления – да!

– В последний раз спрашиваю тебя, Жильбер: да или?..

– Нет.

– Берегись!

– Нет.

– Я не хочу тебя убивать. Я хочу дать тебе возможность убить брата Андре. Еще одно преступление!.. Ах, как это соблазнительно! Бери пистолет. Вот другой. Сочтем каждый до трех и выстрелим.

Он бросил пистолет к ногам Жильбера.

Молодой человек не двигался.

– Дуэль, – заметил он, – это как раз то, что я отвергаю.

– Ты предпочитаешь, чтобы я тебя убил, как собаку! – вскипев от гнева и отчаяния, вскричал Филипп.

– Да, я предпочитаю, чтобы вы меня убили.

– Подумай хорошенько... Ох, не могу больше!..

– Я подумал.

– Я имею на это право: Бог меня простит.

– Я знаю... Убейте меня.

– В последний раз спрашиваю: ты будешь драться?

– Нет!

– Ты отказываешься защищаться?

– Да.

– Тогда умри, как преступник, от которого я очищу землю! Умри, как негодяй! Умри, как разбойник! Умри, как собака!

Филипп почти в упор выстрелил в Жильбера. Тот вытянул руки и сначала качнулся, а потом упал лицом вниз, не издав ни звука. Филипп почувствовал, как песок под его ногами стал набухать кровью, и, обезумев, бросился вон из пещеры.

Он выбежал на берег – там ждала шлюпка. Отправление было назначено на восемь часов; теперь было начало девятого.

– А-а, вот и вы, сударь, – загалдели матросы. – Вы – последний... Все уже вернулись на борт. Кого вы подстрелили?

При этих словах Филипп упал без чувств. Его перевезли на корабль, который уже снимался с якоря.

– Все вернулись? – спросил капитан.

– Это последний пассажир, – отвечали матросы. – Должно быть, он ударился при падении, он лишился чувств.

Капитан приказал развернуть судно, и бриг стал быстро удаляться от Азорских островов как раз в то время, когда незнакомый корабль, так долго вызывавший беспокойство капитана, входил в гавань под американским флагом.

Капитан «Адониса» обменялся с этим кораблем сигналом и, успокоившись, – так, по крайней мере, могло показаться, – продолжал путь на запад. Вскоре бриг скрылся в ночной мгле.

Лишь на следующий день заметили, что одного пассажира нет на борту.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

9 мая 1774 года в восемь часов вечера Версаль представлял собою интереснейшее и любопытнейшее зрелище.

В начале месяца короля Людовика XV поразила страшная болезнь, в которой врачи вначале не осмеливались ему признаться. Он не вставал с постели и уже стал заглядывать в глаза окружающим, надеясь прочесть в них правду или надежду.

Доктор Борде определил, что у короля оспа в тяжелой форме, а доктор Ламартиньер,

считавшийся специалистом в этой области, высказывался за необходимость предупредить короля, чтобы он приготовился духовно и физически, как христианин, к своему спасению, а также подумал о судьбе королевства.

– Его величеству Людовику Благочестивому следовало бы распорядиться о соборовании, – говорил он.

Ламартиньер представлял партию дофина, то есть оппозицию.

Борде настаивал на том, что одно упоминание об опасной болезни убьет короля и что он отказывается в этом участвовать.

Борде представлял партию Дю Барри.

В самом деле, пригласить к королю священника означало бы изгнание фаворитки: когда Бог входит в одну дверь, сатана должен выйти через другую.

Итак, пока шла междоусобная война среди врачей, в семье, в партиях, болезнь покойно располагалась в этом дряхлом, изношенном теле, скоро состарившемся от развратной жизни; она укрепилась в нем так, что ее уже было не выгнать ни лекарствами, ни предписаниями.

При первых признаках болезни, – а причиной послужила неверность Людовика XV, к которой приложила услужливую ручку графиня Дю Барри, – король видел у своей постели обеих дочерей, фаворитку и бывших в милости придворных. Тогда все они еще смеялись и были дружны.

И вдруг в Версале появилась строгая, пугающая своим видом принцесса Луиза Французская, оставившая келью в Сен-Дени и прибывшая за тем, чтобы утешить отца и окружить его заботой.

Она вошла к нему, бледная и мрачная, будто его Судьба. Она уж не была больше ни дочерью своего отца, ни сестрой двух других принцесс; она была похожа на античных прорицательниц, которые в страшные дни бедствий кричали напуганным правителям: «Несчастье! Несчастье! Несчастье!» Она явилась в Версаль в тот час, когда Людовик целовал ручки Дю Барри и прикладывал их, словно спасительные компрессы, к больной голове, к пылавшим щекам.

Завидев Луизу, все разбежались; задрожавшие сестры укрылись в соседней комнате; графиня Дю Барри преклонила колени, после чего поспешила в свои апартаменты; обласканные королем придворные отступили в приемные; только доктора остались у камина.

– Дочь моя! – прошептал король, с трудом приподнимая веки, смеженные страданием и жаром.

– Да, ваша дочь, сир, – отвечала принцесса.

– Вы пришли ко мне.

– От имени Бога!

Король приподнялся, пытаясь улыбнуться.

– Ведь вы забываете о Боге! – продолжала принцесса Луиза.

– Я?..

– Я хочу напомнить вам о Нем.

– Дочь моя! Надеюсь, я не настолько близок к смерти.., и увещания мне пока не нужны! У меня легкое недомогание: ломота и небольшое воспаление...

– Ваша болезнь, сир, настолько серьезна, – перебила его принцесса, – что, согласно этикету, у изголовья Вашего величества пора собраться духовным отцам королевства. Когда член королевской семьи заболевает оспой, он должен незамедлительно собороваться.

– Дочь моя!.. – побледнев, вскричал король в сильнейшем возбуждении.

– Что вы говорите?

– Ваше высочество!.. – в ужасе воскликнули доктора.

– Я говорю, – продолжала принцесса, – что вы, ваше величество, больны оспой. Король вскрикнул.

– Доктора мне ничего об этом не сказали, – возразил он.

– Они не осмеливаются, а я вижу, что перед вашим величеством разверсты врата другого царства – царства Божия. Подойдите к Господу Богу нашему и окиньте мысленным взором все прожитые годы.

– Оспа!.. – не слушая ее, бормотал Людовик XV. – Смертельная болезнь... Борде!.. Ламартиньер!.. Это правда?

Доктора опустили головы.

– Значит, я обречен? – спросил король, напуганный более, чем когда бы то ни было.

– Излечиться можно от любой болезни, сир, – отважился заговорить Борде, – особенно, если не терять присутствия духа.

– Только Бог ниспосылает душевный покой и может спасти тело, – возразила принцесса.

– Ваше высочество! – отважно ринулся в бой Борде, хотя говорил очень тихо. – Вы убиваете короля.

Принцесса не пожелала ответить ему. Она подошла к больному, взяла его за руку и осыпала поцелуями.

– Покончите с прошлым, сир, – сказала она, – тем самым вы подадите достойный пример своему народу. Никто не предупредил вас, и вы рисковали навсегда остаться потерянными для вечности. Дайте обет жить по-христиански, если вам суждено жить; умрите, как христианин, если Бог призовет вас к себе.

Она скова приложила губами к руке короля и медленно пошла к двери. В приемной она опустила на лицо длинную темную вуаль, спустилась по ступенькам лестницы и села в карету, оставив после себя недоумение и невыразимый ужас.

Королю удалось прийти в себя только после того, как он обо всем расспросил докторов. Однако он по-прежнему пребывал в подавленном состоянии.

– Я не желаю повторения сцен, какие я пережил в Меце с герцогиней де Шатору. – Пошлите за герцогиней д'Эгийон и попросите ее увезти графиню Дю Барри в Рюэй.

Это приказание вызвало бурю. Борде хотел было вставить несколько слов, но король приказал ему молчать. Впрочем, Борде видел, что его коллега готов все передать дофину. Борде знал, каков будет исход болезни короля. Он не стал спорить и, покидая королевскую резиденцию, только предупредил графиню Дю Барри о готовящемся ударе.

Графиня, напуганная враждебными лицами и оскорбительными ухмылками окружающих, поспешила скрыться. Час спустя ее уже не было в Версале. Герцогиня д'Эгийон, верная и признательная подруга, увезла впавшую в немилость графиню в замок Рюэй, доставшийся ей в наследство от великого Ришелье. Борде запретил входить к королю всем членам королевской семьи под предлогом возможной инфекции. Комната Людовика XV была отныне изолирована; теперь в нее могли зайти лишь священник или смерть. Король был в тот же день соборован, и эта новость немедленно облетела Париж, уже успевший пресытиться разговорами о немилости фаворитки.

Придворные устремились к дофину, однако тот приказал запереть двери и никого не принимать.

На следующий день король почувствовал себя лучше и послал герцога д'Эгийона с приветом к графине Дю Барри. Это происходило 9 мая 1774 года.

Придворные оставили приемную дофина и устремились в Рюэй, где жила фаворитка: такой длинной вереницы карет на дороге не видели со времен изгнания герцога де Шуазеля в Шантелу.

Вот так складывались обстоятельства. Значит, если король выживет, графиня Дю Барри по-прежнему будет королевой. Если же король умрет, Дю Барри станет не более чем всеми презираемой куртизанкой. Вот почему 9 мая 1774 года в восемь часов вечера Версаль представлял собою столь любопытное и интересное зрелище.

На Плац-д-Арм перед дворцом, у решетки, стали собираться толпы людей в надежде узнать последние новости.

Это были обыватели из Версаля и Парижа; в самых изысканных выражениях они пытались справиться о здоровье короля у телохранителей, молча ходивших взад и вперед перед дворцом, заложив руки за спину.

Мало-помалу толпы любопытных стали редеть; парижане расселись в таратайки и мирно отправились восвояси; жители Версаля, уверенные в том, что узнают новости из первых рук, тоже стали расходиться по домам.

В городе остались ночные патрули, исполнявшие свои обязанности не так рьяно, как обычно; огромный муравейник, именующийся Версальским дворцом, постепенно затих в ночи, как, впрочем, и окружавший его мир.

На углу обсаженной деревьями улицы, тянувшейся вдоль фасада дворца, на каменной скамейке сидел в этот вечер под густой каштановой кроной господин преклонных лет; он опирался обеими руками на трость, а голову опустил на руки, в задумчивости глядя на дворец. Несмотря на то, что это был уже согбенный, больной старик, глаза его горели молодым огнем, в них будто отражалась страстная мысль.

Он так глубоко задумался, что не замечал на другой стороне площади еще одного господина. После того, как тот потолкался вместе с другими любопытными у дворцовой решетки, расспрашивая телохранителей, он направился прямо через площадь к скамейке с намерением передохнуть.

Это был молодой человек. У него было скуластое лицо, приплюснутый лоб, орлиный нос, а губы его кривились в язвительной усмешке. Идя к скамейке, он посмеивался, словно отвечая своим затаенным мыслям.

Шагах в трех от скамейки он заметил старика и отступил, разглядывая его искоса и пытаясь вспомнить его имя; он только боялся, как бы его пристальный взгляд не был превратно истолкован.

– Решили подышать свежим воздухом, сударь? – проговорил он, сделав резкое движение. Старик поднял голову.

– А-а, да это мой прославленный учитель! – воскликнул молодой человек.

– А вы – доктор? – отвечал старик.

– Позвольте мне присесть рядом с вами.

– Будьте любезны, сударь.

Старик подвинулся. Давая место вновь прибывшему.

– Кажется, король чувствует себя лучше: народ ликует, – заметил молодой человек и рассмеялся. Старик ничего не ответил.

– Сегодня целый день кареты катили из Парижа в Рюэй, – продолжал молодой человек, – а из Рюэя – в Версаль... Графиня Дю Барри выйдет замуж за короля, как только он поправится.

И тут он рассмеялся громче прежнего.

Старик опять промолчал.

– Простите, что я смеюсь, – продолжал молодой человек, приходя в нервное возбуждение, – но каждый истинный француз любит своего короля, а мой король прекрасно себя чувствует.

– Не шутите такими вещами, сударь! – с мягкой укоризной проговорил старик. – Смерть человека – для кого-нибудь всегда несчастье, а смерть короля – почти всегда несчастье для его подданных.

– Даже смерть Людовика Пятнадцатого? – насмешливо спросил молодой человек. – О, дорогой учитель! И вы, мудрый философ, поддерживаете подобное заблуждение!.. Я знаю, что вы обожаете парадоксы и преуспели в них, однако не могу сказать, что этот ваш парадокс удачен...

Старик молча покачал головой.

– И потом, зачем нам думать о смерти короля? Кто о ней говорит? – продолжал молодой человек. – У короля – оспа, все мы знаем, что это такое; от него не отходят Борде и Ламартиньер, а они – хорошие доктора... Ручаюсь, что Людовик Возлюбленный выкарабкается, дорогой учитель. Правда, на этот раз французский народ не давится в церкви на девятидневном молебственном обеде, как во времена его первой болезни... Итак, всему приходит конец.

– Молчите! – вздрогнув, прошептал старик. – Молчите! Вы говорите как человек, на которого в эту самую минуту Бог направил указующий перст...

Удивившись столь необычным речам, молодой человек взглянул на собеседника, не сводившего глаз с фасада королевского замка.

– Может быть, вы располагаете более определенными сведениями? – спросил он.

– Взгляните! – проговорил старик, указывая на одно из окон дворца. – Что вы там видите?

– Освещенное окно... Вон то?

– Да... Но как оно освещено?

– Свечой в фонарике.

– Совершенно верно.

– Ну и что же?

– Знаете ли вы, юноша, символ чего – пламя этой свечи?

– Нет, сударь.

– Это символ жизни короля.

Молодой человек пристально посмотрел на старика, словно желая убедиться, в своем ли он уме.

– Один из моих друзей, господин де Жюсье, – продолжал старик, – поставил там эту свечу – она будет гореть до тех пор, пока король жив.

– Так это условный сигнал?

– Да, сигнал, с которого наследник Людовика Пятнадцатого не сводит глаз, прячась за занавеской. Сигнал должен предупредить честолюбцев о той минуте, когда начнется их царствование, а бедному философу, каковым являюсь я, он возвестит о той минуте, когда Бог положит конец целой эпохе ценой жизни одного человека.

Теперь пришла очередь молодому человеку вздрогнуть, после чего он придвинулся к собеседнику.

– Хорошенько запомните эту ночь, молодой человек. Взгляните, какую она предвещает бурю... Я увижу зарю, которая придет ей на смену: я не настолько стар, чтобы не дожить до завтра. Но царствование, которое, возможно, начнется с зарею..., вы увидите его конец..., оно включает в себе, подобно этой ночи, такие мрачные тайны, свидетелем которых вы явитесь, мне же не суждено их узнать, вот почему я не без любопытства слежу за дрожащим пламенем свечи, назначение которой я вам только что объяснив.

– Вы правы, – прошептал молодой человек. – Вы правы, учитель.

– Людовик Четырнадцатый правил семьдесят три года. Сколько же пробудет у власти Людовик Пятнадцатый?

– Ах! – вскричал молодой человек, показывая пальцем на окно, которое только что погрузилось во мрак.

– Король умер! – пробормотал старик, в ужасе вскочив на ноги.

Несколько минут оба молчали.

Вдруг карета, запряженная восьмеркой пущенных в галоп лошадей, вылетела из дворца. Впереди скакали два верховых с факелами в руках. В карете сидели дофин, Мария-Антуанетта и ее высочество Елизавета, сестра короля. Пламя факелов отбрасывало зловещий свет на их бледные лица. Карета промчалась мимо собеседников, шагах в десяти от скамейки.

– Да здравствует король Людовик Шестнадцатый! Да здравствует королева! – крикнул молодой человек пронзительным голосом, словно оскорбляя новых правителей, а не приветствуя их.

Дофин кивнул. Печальное и строгое лицо королевы мелькнуло в окне. Карета исчезла.

– Дорогой господин Руссо! – проговорил молодой человек. – Графиня Дю Барри овдовела.

– Завтра ее отправят в изгнание, – заметил старик. – Прощайте, господин Марат!..